

Семь искусств 3-4/2015



Журнал

Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

3-4/2015

Журнал

**«Семь искусств»
№ 3-4 (61) 2015**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2015

Журнал «Семь искусств» № 3-4 (61) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 411 с., 25,5 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2015

Оглавление

<i>Ирина Чайковская</i> Дюжина вопросов Евгению Берковичу, или Старые песни о главном	5
<i>Вера Парафонова</i> Вигалий Лазаревич Гинзбург	19
<i>Семён Кутателадзе</i> Мысли в остатке	64
<i>Семён Резник</i> Как сказка снова стала былью	75
<i>Валерий Хаит</i> Истоки музыки. О письмах Сергея Довлатова отцу из армии	81
<i>Борис Тененбаум</i> Муссолини. Главы из новой книги	93
<i>Сергей Баймухаметов</i> Победа и поражение Михаила Горбачёва	100
<i>Валерий Пахомов</i> Интернат. Мемуаразмы — мемуары и размышления	113
<i>Зеэв Фридман</i> «Значит, заметна дорога моя». Рисунки Зеэва Фридмана Предисловия Галины Блейх и Наталии Ланге	140
<i>Виктор Гопман</i> Дни «Юности»	156
<i>Ася Лapidус</i> Любовь и дружество	170
<i>Тамара Львова</i> Еще несколько историй: через океан — в одну сторону	176
<i>Дмитрий Бобышев</i> Человекотекст. Трилогия. Книга первая. "Я здесь"	218
<i>Лорина Дымова</i> Вернусь сюда в иные времена...	261
<i>Генрих Тумаринсон</i> Ну и жук!	271
<i>Борис Кушнер</i> Бессонница сердца. Избранные стихи, июль — декабрь 2014 г.	279
<i>Дина Рубина</i> Русская канарейка. Отрывок из главы «Леон», четвертой главы первого тома — «Желтухин»	304
<i>Владимир Кузьмук</i> Между Эросом и Танатосом	318
<i>Моисей Борода</i> Свет далёкой звезды	356

<i>Ян Пробштейн</i> Уоллес Стивенс (1879-1955) в переводах Яна Пробштейна	361
<i>Анри Труайя</i> Руки. Перевод Эдуарда Шехтмана	373
<i>Илья Корман</i> Трость Лихтенберга. О рассказе Андрея Платонова «Мусорный ветер». С историческим вступлением и «собачьим» отступлением	380
<i>Михаил Юдсон</i> Редкая птица. О трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка"	393
<i>Игорь Ефимов</i> Закат Америки. Саркома благих намерений	398

Ирина Чайковская

Дюжина вопросов ЕВГЕНИЮ БЕРКОВИЧУ, или Старые песни о главном

Дорогой Евгений, ваша редакторская работа в интернете — издание журналов «Семь искусств», «Еврейская старина» — принесла Вам успех. Сколько читателей, если это не секрет, посещает ваши издания ежедневно? Ожидали ли Вы, когда начинали это дело, что оно примет такой широкий оборот? В чем Вы видите причину такой популярности?

Позвольте, прежде всего, уточнить Ваш вопрос, чтобы наш разговор был предметным. «Еврейская Старина» — не журнал, а альманах, как и его знаменитый предшественник-тезка, издававшийся в начале двадцатого века выдающимся историком Шимоном Дубновым. Кроме упомянутых Вами изданий, мы с 2001 года выпускаем в свет «Заметки по еврейской истории» — один из старейших сетевых журналов этой тематики, и сравнительно новый и не совсем обычный продукт — журнал-газету «Мастерская». В общей сложности во всех наших четырех изданиях в месяц публикуются более сотни оригинальных, серьезных статей на самые разные темы.

Вы правы, издания пользуются популярностью, вокруг них сложился достаточно широкий круг постоянных читателей, с каждым номером растет число авторов, которых насчитывается уже более двух тысяч. Среди них есть люди, впервые взявшиеся за перо, но большинство — известные мастера своего дела, ведущие специалисты в той или иной области.

Что касается числа читателей, его по-разному оценивают различные счетчики, установленные на сайте. Например, счетчик mail.ru дает в среднем полторы тысячи читателей в день и около тридцати пяти тысяч в месяц. Статистика у нас открытая, так что каждый, кто захочет, может в любой момент получить точные числа. Должен подчеркнуть, что я никогда не придавал количеству читателей особого значения. Этот показатель для меня не играет определяющей роли. Главным является репутация изданий, а посещаемость сайта — это не цель, а побочный результат: с ростом репутации растет число серьезных читателей.

Что Вы понимаете под «репутацией»?

Репутация — это трудно определяемая, но большинству людей понятная категория. Для меня важно, чтобы журналы и альманах отвечали своим целям и соответствовали высокому требованиям интеллигентных посетителей портала. Это определяет и отбор материала, и требования к авторам. Обязательным условием является оригинальность присланной работы, она не должна быть уже опубликованной в том же виде в другом сетевом издании. Зачем повторять то, на что можно просто дать ссылку?



По мне репутация важнее посещаемости. Наш читатель знает: то, что он найдет в «Заметках» или в «Семи искусствах», это оригинальные работы, присланные в редакцию авторами. Потом уже наши статьи появятся на сотнях сайтов, в личных блогах и журналах, в социальных сетях. Чаще всего, даже без ссылки на первоисточник, а то и без указания автора. Тут трудно что-либо поделать, в русскоязычном интернете понятие «авторского права» пока не прижилось. Остается утешаться старой истиной: «плохое не воруют».

Получается, что Вы един в нескольких лицах, — ученый-математик, руководитель проекта в крупной немецкой компании, публицист, писатель, издатель. Когда Вас спрашивают про род вашей деятельности, что Вы отвечаете? Кем Вы сами себя воспринимаете в первую очередь?

Называть себя «ученым» или «писателем», с моей точки зрения, дурной вкус. Это все равно, что говорить «мое творчество» или «я кушаю». Лев Давыдович Ландау возмущался, когда кто-то называл себя «ученым». «Это кот бывает ученым, а мы научные работники», — говорил он.



Со студентами физфака МГУ на первомайской демонстрации 1963 года

Собственно математикой я активно занимался в первое десятилетие своей самостоятельной жизни, учась и работая в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

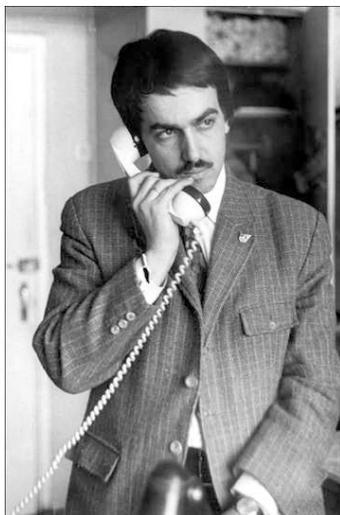
Это были счастливые и продуктивные годы. Мне удалось получить несколько новых результатов, сейчас я их в двух словах перечислю, не пугайтесь ученых терминов: построил общую теорию аппроксимации экстремальных задач, предложил и исследовал ряд моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, разработал методы их численного решения... Опубликовал несколько десятков статей в серьезных научных журналах, защитил диссертацию на факультете Вычислительной математики и кибернетики МГУ, читал спецкурсы для студентов и аспирантов-математиков, лекции на факультете повышения квалификации инженеров.

Не знаю, к сожалению или к счастью, но остаться на всю жизнь исследователем-математиком и преподавателем не получилось, сказала усилившаяся тогда после войн на Ближнем Востоке 1967 и 1973 годов кампания государственного антисемитизма в Советском Союзе. Оглядываясь назад, поражаюсь, в каком театре абсурда мы участвовали, в каком кафкианском мире жили! Современной молодежи трудно объяснить, почему серьезная научно-исследовательская организация всемирными силами стремится избавиться от своего молодого научного сотрудника, который ни в чем не провинился, имеет только благодарности и премии за хорошую работу. Кроме того, он кандидат физико-математических наук, победитель трех конкурсов молодых ученых в МГУ, автор многих научных работ, переведенных на иностранные языки и многократно цитируемых... И мой случай далеко не единственный. Подобное происходило повсеместно, в каждом академическом НИИ, в ведущих ВУЗах. Тогда усиленно проводилась установка партии: очистить от евреев три ключевые отрасли народного хозяйства: фундаментальную науку, высшее образование, оборонную промышленность. О пользе дела никто не задумывался. Какая экономика выдержит такое «врачительное» отношение к кадрам?

Короче, после года безуспешных усилий продолжать работу в университете, пришлось уйти и начать новую жизнь, теперь уже разработчиком больших информационных систем. Этим я занимался и в Москве, и в Ганновере, после переезда в Германию в 1995 году.

Вы и сейчас работаете в той же немецкой фирме, куда попали после приезда в новую страну?

В Германии во всех государственных компаниях по достижении пенсионного возраста (тогда он был 65, сейчас 67 лет) контракт с работником прекращается. И я стал пенсионером после почти 15 лет работы в крупнейшем немецком научно-исследовательском институте, занимающемся разработкой информационных банковских систем и моделей финансовой математики. Так что этот период деятельности для меня закончился.



В Научно-исследовательском
вычислительном центре МГУ,
1968 г.



В научно-исследовательском институте финансовой математики, Ганновер, 2003

Сказать то же самое о математике я не могу, ибо математика — это нечто большее, чем профессия. Мне нравится выражение, которое я не раз повторял в разных интервью: «математика — это порода, нельзя быть бывшим математиком, как невозможно стать бывшим пуделем». Сталкиваясь с новой жизненной ситуацией, я невольно в голове строю ее математическую модель. Так мне легче с ней разобраться. Математика вносит в мир порядок и понимание.

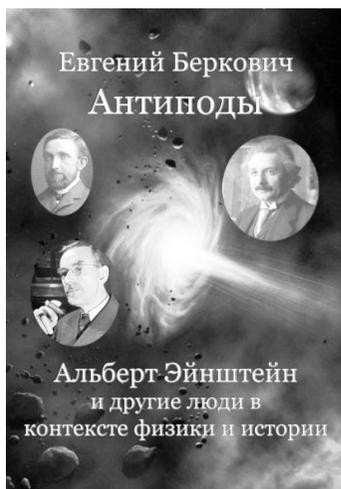


В научно-исследовательском институте финансовой математики, Ганновер, 2003

Теперь о других видах деятельности, которые Вы назвали. «Публицист» ко мне плохо подходит, я не откликаюсь регулярно в печати на актуальные проблемы современности, хотя мои статьи выходят иногда в толстых журналах в рубрике «Публицистика». Чем я, действительно, сейчас занят, помимо издательской и редакторской деятельности, это история. Меня интересуют некоторые страницы новой и новейшей истории, в частности, истории науки и литературы. Мои исследования жизни и творчества Альберта Эйнштейна, Томаса Манна, других известных ученых и литераторов в контексте истории публикуются в таких серьезных «толстых» журналах, как «Иностранная литература», «Нева», «Вопросы литературы», «Человек» и др. Этим темам посвящены и мои последние книжки «Одиссея Петера

Прингсхайма» (2013) и «Антиподы. Альберт Эйнштейн и другие люди в контексте физики и истории» (2014).

Вот таким длинным получился ответ на Ваш такой простой с виду вопрос.



Вы человек поздний. Имею в виду, что, приехав в Германию в 50 лет и начав практически с нуля, Вы добились того, что стали в своей области не последним человеком. Это своего рода феномен. Ведь известно, что активность с годами снижается, математики, как правило, совершают открытия в молодые годы. Но есть и исключения. Мой знакомый московский математик Александр Рабинович и в возрасте за 60 продолжает осваивать новые пласты науки, стараясь внести в них свой вклад. То же желание вижу у Вас. А как же физиология? Склероз? Быстрое забывание? Более медленная работа мозга? Утомляемость? Обычно люди на это ссылаются...

Ох, какие сложные вопросы Вы задаете! Над ними бьются медики, физиологи, психологи и другие специалисты уже не одну сотню лет. По своему опыту могу сказать, что резкая смена занятий иногда заметно омолаживает. Взгляните на людей, у которых родился поздний ребенок, или начавших работать в зрелом возрасте в другой стране... Для тренировки мозга врачи рекомендуют разгадывать кроссворды. Поверьте мне, ежедневная работа с десятками авторов, пишущих на разные темы, дает нагрузку на память и сообразительность не меньшую. А если при этом нужно для собственных исследований перелопатить еще десятки источников на разных языках, то тренировка мозга оказывается весьма интенсивной. Это все, что можно противопоставить неумолимым законам природы.

Я филолог, но всю жизнь интересуюсь наукой. Помню, что в моей юности было много познавательных книг типа «Охотников за микробами» или «Когда человека не было», которые живо и увлекательно рассказывали о разных науках. Такие писатели-фантасты, как Конан Дойль с его «Затерянным миром», Иван Ефремов с «Лезвием бритвы» и «Туманностью Андромеды», умели

заразить юных интересом к палеонтологии, к космосу, к наукам о человеке... А что сейчас? У меня ощущение, что популяризацией науки мало кто озабочен. Если говорить о России, там сейчас популярная профессия — чиновник.

Я сейчас не часто бываю в России, поэтому не берусь оценивать сегодняшнее положение российской науки. Регулярно читая газету «Троицкий вариант», вижу озабоченность многих ученых результатами реформы Академии наук. В то же время нельзя не отметить и усилия по поддержке науки со стороны некоторых меценатов, общественных организаций. Взять хотя бы конкурс «Просветитель», на котором уже не один год отмечаются авторы лучших книг, популяризирующих гуманитарные и естественные науки. В этом году, например, среди победителей конкурса — книга Бориса Штерна о новых открытиях в физике «Прорыв за край мира». В число финалистов этого конкурса нередко попадают постоянные авторы наших журналов, например, в прошлом году — Борис Тененбаум, в этом — Павел Полян...

Тяжело говорить о положении науки в России. А если взглянуть в глобальном масштабе. Да, интернет, да, удивительные возможности коммуникации людей. Но вот есть ли сейчас в европейской или американской науке гении, подобные Эйнштейну, о котором Вы много пишете? И вопрос, к этому примыкающий. Эйнштейна, как мы знаем, поддержал Макс Планк. Читала у Вас, что в Англии была группа экспериментаторов, стремившаяся найти подтверждение гипотезам молодого гения. Видите ли Вы у сегодняшних ученых такое же безудержное желание служить науке, а не своей карьере? Не считаете, что инерция среды, недоброжелательность, косность, а порой и зависть коллег задерживают появление новых Эйнштейнов?

А самому Эйнштейну разве среда помогала? После окончания Цюрихского политехнического института ему, единственному с курса, не нашлось места ассистента в каком-нибудь учебном или исследовательском заведении, чтобы заниматься наукой, так сказать, на рабочем месте, а не урывками после работы в патентном бюро или в выходные дни. Тем не менее, этот патентный советник второго класса опубликовал в 1905 году в журнале «Анналы физики» три статьи, совершившие революцию в науке. Значение этих работ столь велико, что автор даже одной из них был бы признан научным сообществом гением и навсегда вписал бы свое имя в историю физики. А тут один автор на все три работы! Не зря биографы Эйнштейна и историки науки называют 1905 год «годом чудес». Вы думаете, что теперь-то началось всемирное признание ученого? Ничего подобного! Ни одна из этих великих работ не была принята ни одним университетом в качестве диссертационной — ведь великий физик к моменту публикации своих эпохальных работ не имел даже первой ученой степени! Это ли не издевательство? Пришлось Эйнштейну писать еще одну работу, чтобы получить звание «доктора» и сравняться по положению в научной иерархии со своими однокурсниками, уже давно защитившими свои диссертации.

А дальше, Вы думаете, началась его нормальная научная работа в каком-нибудь университете или институте? После публикации гениальных статей Эйнштейн еще целых четыре года ходил на далекую от науки работу в Патентное бюро Берна. Только в 1909 году он написал заявление об увольнении в связи с переходом на работу экстраординарным профессором в Цюрихский политехникум. Директор

Патентного бюро вначале даже посмеялся над этим заявлением, посчитав его шуткой: еще никто из его подчиненных не становился профессором, пусть не «полным», а только «экстраординарным».

И дальше судьба не слишком благоволила к автору теории относительности. Ни один университет Германии не пригласил его на достойную такого ученого профессорскую должность. Полным (ординарным) профессором его впервые сделал Немецкий университет в Праге в 1911 году. Альберту даже пришлось для этого принять австрийское гражданство, Прага тогда относилась к Австро-Венгрии, а профессор — это государственный служащий. Лишь в 1914-м усилиями Макса Планка и некоторых его берлинских коллег Эйнштейн получил место профессора в Прусской академии наук, где он работал вплоть до прихода Гитлера к власти.

Так что гениям всегда трудно, и я не вижу сейчас существенных отличий от начала двадцатого века. Талантливая молодежь рождается постоянно, и в России всегда есть кто-то, кто готов повторить подвиг Эйнштейна. Другое дело, что оформлять и развивать свои результаты ему придется, скорее всего, в какой-то другой стране, уж очень неблагоприятна сейчас к ученым российская экономическая и политическая обстановка.

Можете привести пример?

Пожалуйста: Максим Концевич, талантливейший математик, получивший самые престижные научные премии, причем не только по математике, но и по физике. Он учился в той же математической школе №91 в Москве на улице Воровского (теперь она, как и раньше, Поварская), что и мои старшие дети, у того же замечательного педагога Владимира Мироновича Сапожникова, светлая ему память! Максим — победитель международных математических олимпиад, а студент МГУ он стал только после вмешательства академика Колмогорова, приемную комиссию смущала национальность абитуриента. После окончания мехмата Максим проработал несколько лет в Институте проблем передачи информации, а потом оказался на научной конференции в Бонне, где ему пришла в голову идея, как решить задачу, над которой уже не одно десятилетие бились математики. Когда он там же рассказал о ней коллегам, ему сразу предложили остаться в Германии и поработать над диссертацией. Результаты оказались поразительными: он решил эту задачу, открыв, по сути, новое научное направление. В 1997 году Концевича награждают премией Пуанкаре за выдающийся вклад в математическую физику, в следующем году он удостоивается высшей награды для молодых математиков — Филдсовской премии. Через десять лет — в 2008 году — Концевич получает шведскую премию Крафорда «за вклад в математику из современной теоретической физики». Но и это еще не все. В 2012 году Концевич получил сразу две престижнейшие премии. Одну, премию Шао, называют Нобелевской премией Востока. Ее вручают в Гонконге за работы, оказавшие «существенное положительное влияние на человечество». Вторая награда — недавно учрежденная Премия по фундаментальной физике, по размеру почти в три раза больше Нобелевской премии. И наконец, в этом, 2014 году Максим получил самую крупную математическую премию мира — Премию за прорыв в математике. Ее учредили три миллиардера: российский владелец mail.ru Юрий Мильнер, создатель социальной сети фейсбук Марк Цукерберг и один из авторов Гугла Сергей Брин, тоже выходец из Советского Союза.

Сейчас Максим Концевич — член Французской академии наук, постоянный профессор престижнейшего Института высших научных исследований под Парижем, основанного по образцу Института перспективных исследований в Принстоне, где до конца жизни работал Альберт Эйнштейн.

Вот так выпускник московской школы №91 и мехмата МГУ вошел в число «бессмертных», как со времен кардинала Ришелье называют французских академиков. Чем не символ нынешнего состояния дел в российской и мировой науке?

Как Вы думаете, наш век будут называть веком какой науки?

Когда я был еще студентом физфака МГУ, на одной встрече с академиком Игорем Евгеньевичем Таммом ему задали этот же вопрос. Он, к разочарованию студентов-физиков, сказал: грядущий век будет веком биологии.



Лекция на физфаке МГУ, 1962 г.

Думаю, этот ответ сохраняет свою силу и сегодня, но я бы все же добавил: и веком физики. Мне кажется, что физики сегодня очень близки к фундаментальному прорыву в понимании устройства Вселенной, ее возникновения и развития. Если удастся объединить квантовую механику с общей теорией относительности Эйнштейна, другими словами, физику микромира с космологией, то будет осуществлен грандиозный прорыв в познании мира. Тем самым будет подтверждено, что будущее науки определяется не узкими специалистами, знающими «все ни о чем», а людьми с широким научным кругозором.

Обучение становится все более техническим, удаленным от гуманитарного знания. Вас это не тревожит? Сужасом думаю о том, что могут натворить с миром молодые энергичные технократы...

Я не вижу здесь какой-то особенной новизны — эта опасность существовала всегда, разве что возможности разрушения мира сейчас многократно возросли. Мне кажется, не число молодых энергичных технократов должно нас беспокоить, а уровень образования и зрелости общества в целом, наличие в нем демократических институтов. Только тогда общество может быть противовесом власти и не допустить опасных экспериментов и злоупотреблений знаниями.

В тоталитарных государствах общество в указанном смысле неэффективно, власть фактически формирует нужное ей общественное мнение. Весь ход истории двадцатого века подтверждает, что у «абсолютной власти» всегда найдутся рычаги, способные повернуть общественное мнение на 180 градусов. Этого за считанные годы добивалась и коммунистическая пропаганда в СССР, и нацистская пропаганда в Третьем Рейхе, когда еще не было такого мощного инструмента влияния на умы, как телевидение. Вспомните, как в 1933 году бесславно провалился объявленный первого апреля всегерманский бойкот еврейских предприятий. Народ в целом не поддержал эту антисемитскую акцию, проводившуюся нацистскими властями. Но уже через пять лет, в ноябре 1938 года всегерманский еврейский погром, известный как Хрустальная ночь, прошел при почти полной поддержке населения Германии. Пятилет непрерывной «промывки мозгов» оказалось достаточно, чтобы общественное мнение развернулось в нужную нацистам сторону, и народ стал поддерживать гитлеровские инициативы.

Вот о том, чтобы власть не была абсолютной и одной пропаганде всегда могла быть противопоставлена другая, и должны заботиться неравнодушные и ответственные люди.

Вы, я знаю, человек книги. Перевезли с собой из Москвы огромную библиотеку. А как сейчас? Читаете бумажные книги? Каким видите будущее бумажных изданий?

Бумажные книги, конечно, читаю, но в основном в связи с моими историческими и литературоведческими шгудиями. Домашняя библиотека, хотя и продолжает пополняться, давно достигла естественных физических пределов, накладываемых ограниченным объемом квартиры и подсобных помещений. Регулярно передаю часть книг в разные библиотеки, но не могу удержаться и продолжаю покупать новые.

Всего, что нужно для работы, конечно, не купишь, и тут выручает прекрасно организованная библиотечная система Германии. Я активно пользуюсь университетской библиотекой Ганновера и Центральной библиотекой земли Нижняя Саксония. Фонды у них значительные, но не это главное. Все серьезные библиотеки страны связаны между собой единой сетью, позволяющей искать нужную книгу сразу по всей стране. А если ты знаешь, какие страницы книги тебе нужны, можешь прямо через интернет заказать бумажную копию.



Библиотечные книги, которые я в данный момент использую в работе, размещаются у меня в специальном книжном шкафу, где, как правило, собираются вместе более сотни томов.

А книгами из интернета Вы не пользуетесь?

Четкая работа библиотек в Германии отчасти компенсирует трудность поиска книги в немецком интернете. В этом его существенное отличие от интернета российского. Читатель русского сектора мировой сети имеет в распоряжении десятки открытых электронных библиотек, содержащих сотни тысяч наименований книг. Авторское право еще не стало серьезным тормозом в получении нужной книги. Не задумываясь, любой школьник за секунды найдет в сети любой том русской классики, хоть Пушкина, хоть Толстого или Достоевского.

В Германии не так. Здесь книги, например, Томаса Манна, охраняются законом об авторском праве и не могут быть свободно выложены в сети для всеобщего пользования. Приходится либо покупать электронные версии, либо обращаться в традиционные библиотеки.



В Еврейской библиотеке Ганновера

К слову, Еврейская библиотека Ганновера, в создании которой я активно участвую, вошла в общегерманскую библиотечную сеть, так что весь ее фонд доступен для поиска любому пользователю интернета.

Бумажные книги, по моему мнению, еще долго будут верно служить читателям.

Какая, на ваш взгляд, самая большая опасность для человечества? Может оно деградировать и от компьютеров снова перейти к палке-копалке?

Об опасности я уже сказал: это тоталитарный режим в любой стране, где есть ядерное оружие, но отсутствуют или слабы демократические институты.

Вы много пишете о Холокосте, о праведниках, спасавших евреев. Между тем, Вы живете на территории Германии, страны, породившей «расовые законы против евреев», душегубки, крематории. Насколько я знаю, антисемитизм в Германии имеет давние корни. Сейчас, когда на ее территории снова сконцентрировалось порядочно евреев, не кажется ли Вам, что «инстинкты» у немецкого населения могут проснуться? У нас с Вами были на эту тему споры. Давайте вынесем их на люди.

Этот вопрос мне задают практически в каждом интервью. Мои ответы есть в интернете, так что я не буду повторяться. Добавлю несколько общих соображений.

Человек живет в мире стереотипов. В принципе, стереотипы — это средство, позволяющее справиться со сложностью нашей действительности. Ведь са-

мому разобраться во всех деталях каждой ситуации — человеку не хватает жизни. А придерживаясь того или иного стереотипа, он экономит время и силы, полагаясь на «общее мнение». Жить в мире стереотипов уютно и комфортно, не нужно самому мучиться с запутанными конфликтами, искать решения сложных проблем. Вот почему человек с большим трудом расстается с привычным стереотипом. Вспомните, как долго человечество верило, что Земля плоская.

Сам по себе стереотип может быть и хорош, и плох, все зависит от того, какое мнение он выражает. Если оно правильное, верно отражает действительность, то стереотип — полезен. Если же мнение ложно, то стереотип называется «предрассудком» и может стать причиной серьезных ошибок.

В 1907 году Томасу Манну, как и ряду других писателей и деятелей культуры, предложили высказаться о проблемах эмансипации и ассимиляции евреев. Ответ писателя вылился в эссе «Решение еврейского вопроса». Это название не имело тогда того зловещего смысла, который мы вкладываем в него сейчас, после Холокоста.

В первых же строках этого эссе Томас заявляет: «я убежденный и бескомпромиссный филосемит». В это легко можно было бы поверить, зная, что совсем недавно Томас взял в жены Катю Прингсхайм из известного в Мюнхене еврейского дома Прингсхаймов. Однако непосредственно после признания в филосемитизме автор начинает использовать в отношении евреев такие выражения, которые взяты, скорее, из лексикона антисемитов. Здесь и «безусловно деградировавшая и обнищавшая в гетто раса», и типичные для евреев, по мнению автора, такие черты, как «жирный горб, кривые ноги и красные, постоянно жестикулирующие руки, наглое и хитрое поведение»...

Очевидно, что автор «Будденброков» находится в плену господствовавших тогда антисемитских стереотипов. Не зря он за несколько лет до этого работал со старшим братом Генрихом в открывенно антисемитском журнале «Двадцатый век». И не избавился от этих предрассудков до конца жизни. Например, в своем последнем законченном романе «Доктор Фаустус», рисующем путь Германии к Третьему Рейху, персонажем, высказывающим откровенно фашистские, антигуманные взгляды выступает отвратительный тип, еврей доктор Хайм Брейзахер. Не нашлось у нобелевского лауреата по литературе в палитре красок, чтобы нарисовать иной образ типичного нацистского пропагандиста. Вот какова сила стереотипов, когда они выступают в роли предрассудков.

Это, конечно, очень интересно, но хотелось бы ближе к проблеме Холокоста.

Ваш «инстинкт немецкого населения» — точно такой же предрассудок, только зеркально отраженный. С таким предрассудком, действительно, легче жить, проще объяснить страшную Катастрофу европейского еврейства. Ибо иначе она представляется совершенно необъяснимой. Как могла самая цивилизованная в то время нация, давшая миру великих философов, композиторов, ученых, дойти до геноцида другого народа?

Германия до Гитлера занимала ведущее положение во многих областях человеческой деятельности. Рассмотрим, хотя бы, науку. Многие открытия, заложившие основу современной цивилизации, были сделаны в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков учеными, говорившими на немецком языке. Вильгельм

Конрад Рентген открыл лучи, носящие теперь его имя, а Филипп Ленард исследовал катодные лучи, позволившие Дж. Дж. Томпсону открыть электрон, а Альберту Эйнштейну объяснить законы фотоэффекта. Фриц Габер синтезировал аммиак из воздуха, Макс Планк стал одним из создателей квантовой механики, Альберт Эйнштейн заложил фундамент теории относительности. Основополагающие результаты были получены и в социологии (Макс Вебер), и в психологии (венская школа Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, Альфреда Адлера), и в философии (Мартин Хайдеггер). Этот список можно было бы значительно расширить. Через двадцать лет после учреждения нобелевских премий более половины всех лауреатов по физике, химии, биологии и медицине составляли немцы.

Как же получилось, что страна Гёте и Гегеля, Гаусса и Гильберта, страна с таким славным культурным прошлым и с таким мощным интеллектуальным потенциалом смогла в двадцатом веке опуститься во мрак средневековья и потрясти мир кошмаром Холокоста? Над этой загадкой до сих пор бьются историки и литераторы, социологи и режиссеры, философы и юристы... Этой теме посвящены сотни научных монографий и документальных фильмов, тысячи статей, рассказов, повестей и романов... А убедительного ответа нет.

И тут появляется мнение, что все дело во врожденной немецкой ненависти к евреям. Или, как Вы выразились, «инстинкте». И все стало просто и ясно. Историк Даниэль Гольдхаген даже написал об этом солидный труд «Добровольные палачи Гитлера», ставший бестселлером, переведенный на десятки языков. Этой версии придерживаются очень многие люди, судя по всему, и Вы тоже.

Если что-то облегчает жизнь, делает ясной запутанную проблему, то почему бы и не согласиться? Ответ прост: такой подход неверен и может привести к непоправимым ошибкам. Если бы гипотеза Гольдхагена была бы верна, то проблеме «нового Холокоста» можно было бы решить просто: изолировать немцев от остального человечества, и дело сделано! У других же нет этого «инстинкта». Не напоминает ли это Вам попытки гитлеровцев решить «еврейский вопрос»?

На самом деле, причина Катастрофы совсем не в немцах. Ненаучность книги Гольдхагена уже доказана историками.

Бациллы антисемитизма давно живут на земле. И чума нацизма может поразить любую страну, любой народ. Все дело в состоянии общества, в стечении особых обстоятельств. В тридцатые годы прошлого века такой несчастной «заболевшей» страной оказалась Германия. «Коричневая чума» на двенадцать лет поразила все немецкое общество и принесла неисчислимые беды другим народам.

После разгрома Гитлера и падения Третьего Рейха начался нелегкий процесс выздоровления. В результате на карте Европы появилась обновленная демократическая Германия. Выздоровление принесло и иммунитет: ни одна страна мира так не заботится о том, чтобы страшное прошлое не повторилось. Об этом можно было бы говорить много, но рамки беседы заставляют ограничивать себя.

Сейчас антисемитизм вновь поднимает голову во всем мире. Теракты, направленные против евреев, совершаются не только в Израиле, но и в Нью-Йорке и Брюсселе, Париже и Бомбее... Антиизраильские демонстрации с откровенными антисемитскими лозунгами проходят во многих европейских городах. На общем фоне Германия выглядит сейчас единственной страной, где решительно пресекаются антисемитские акции. И если на марш неонацистов выходит пара сотен человек, то тут же на антимарш собираются несколько тысяч антифашистов. Конечно, никакой иммунитет не может гарантировать, что болезнь не повторится, тем более,

со времен окончания Второй мировой войны родились уже три поколения. Поэтому нигде нельзя терять бдительности. Трагедия вновь может повториться в любом месте, если люди не научатся ее предотвращать.

Урок, который человечество должно было извлечь из случившейся в XX веке Катастрофы европейского еврейства, состоит вовсе не в том, что особый «немецкий инстинкт», врожденная ненависть к евреям рано или поздно делает немцев «народом-преступником», виновным в гибели миллионов людей. То, что произошло в Германии в тридцатых-сороковых годах прошлого века, учит другому. А именно: если власть в любой стране захватывает диктатор-негодяй, то через небольшое число лет почти вся нация с промытыми тотальной пропагандой мозгами становится нацией негодяев. «Немецкий инстинкт» тут ни при чем.

Долгие годы все, что было связано с еврейской тематикой, редакциями российских журналов отклонялось. В 1980-1990-х годах я написала три повести, в которых звучала еврейская тема. Тогда их не взял ни один журнал. Сейчас Вы напечатали одну из них в своем интернет-издании. Очень Вам благодарна, но все же спрошу: какие у Вас резоны? Поезд вроде бы ушел...

В советское время слово «еврей» было если не всегда ругательным, то уж точно не вполне приличным. Его трудно было произнести, не повышая или не понижая голоса. Это слово произносили или излишне громко, с вызовом, когда хотели кого-то оскорбить, или, наоборот, шепотом, как бы извиняясь, что приходится касаться больных тем. В печати старались употреблять это слово как можно реже.

Вот показательный пример. В 1972 году в серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет прекрасная биография Томаса Манна, написанная блестящим знатоком творчества писателя и переводчиком его основных произведений на русский язык Соломоном Аптом. В этой книге 372 страницы, а так как она есть в электронном виде, то нетрудно посчитать общее число слов — их в книге более 170 тысяч. Так вот, среди всех этих слов «еврей» встречается всего ... три раза, да и то по далеким от главной темам. И это в книге об авторе тетралогии «Иосиф и его братья», описывающей истоки еврейской истории. Это в биографии писателя, посвятившего «еврейскому вопросу» десятки очерков и статей. Это в жизнеописании Томаса Манна, у которого евреи были литературными друзьями и соратниками (например, издатель Самуэль Фишер или критик Самуэль Люблинский), но были также и непримиримые литературные враги-евреи (например, Теодор Лессинг или Альфред Карр).

Одна из целей, которую я себе ставил, начиная издание «Заметок», состояла в том, чтобы вернуть слову «еврей» его нормальное значение, чтобы люди перестали его стыдиться. Одним из девизов журнала стал слоган: «Еврей — это звучит гордо!». Правда, он должен быть неразлучен с другой максимой: «Быть евреем — это труд!».

Можно сказать, что сейчас положение во многом изменилось. Еврейская тема — уже не такая острая экзотика, толстые журналы перестали, как огня, ее бояться. Например, мои большие статьи об отношении Томаса Манна к еврейскому вопросу опубликованы такими солидными столичными изданиями, как «Иностранная литература» и «Вопросы литературы»... Хотя во многих издательствах по-прежнему к еврейской тематике чувствуется предубеждение, основанное на пред-
рассудках.

Поэтому мы будем продолжать стратегическую линию «Заметок по еврейской истории» и «Еврейской Старины» и стараться представить интеллигентному читателю все стороны богатой еврейской истории, традиции, культуры.



На семинаре "Еврейская история и культура", Ганновер, 2015

Замечу при этом, что журнал «Семь искусств» и журнал-газета «Мастерская» не связаны напрямую с еврейской тематикой, они, так сказать, «общечеловеческого» содержания.

Если вернуться к Вам, чего бы Вы хотели себе пожелать в ближайшем и в отдаленном будущем?

Когда долго и настойчиво занимаешься какой-то темой, то волей-неволей возникают новые идеи, предложения, проекты... Чем глубже вникаешь в предмет, тем яснее понимаешь, что еще необходимо сделать. В последние два десятка лет я опубликовал немало работ по истории физики и математики, изучал историю антисемитизма в Европе, писал о жизни и трудах Альберта Эйнштейна, Томаса Манна, других европейских интеллектуалов... Естественно, что с этими направлениями у меня связано множество новых задумок. Но, как известно, «если хочешь насмешить Бога, то расскажи ему о своих планах». Поэтому от рассказа о задуманном я воздержусь, а себе пожелаю, чтобы и дальше мне было так же интересно заниматься своим делом, как было до сих пор.

Спасибо за Ваши вопросы.



Вера Парафонова

ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ ГИНЗБУРГ

Это небольшое повествование написано по работам Виталия Лазаревича Гинзбурга — одного из колоритнейших ученых XX столетия. Знаменитый физик-теоретик — сотрудник ФИАН (Физического института имени П.Н. Лебедева РАН) с 1940 года. В 2003 году он стал лауреатом Нобелевской премии за «решающий вклад в объяснение двух феноменов квантовой физики: сверхпроводимости и сверхтекучести», пополнив плеяду своих именитых коллег-фиановцев, вслед за И.Е. Таммом, И.М. Франком, П.А. Черенковым, А.М. Прохоровым, Г.Н. Басовым, А.Д. Сахаровым.

Мало кому, особенно по советским временам, было известно участие В.Л. Гинзбурга в создании отечественного термоядерного оружия. Теперь это уже не секрет. Однако немало страниц биографии этого удивительного человека еще ждут своего исследователя. Мне же просто было интересно понять: как становятся обычные сотрудники самых обыкновенных, хотя и академических институтов, Нобелевскими лауреатами?

«Слойки» и «сэндвичи» Виталия Гинзбурга

«Теоретик — курица, которая несет золотые яйца», — любил повторять Сергей Иванович Вавилов — директор ФИАНа и президент Академии наук СССР. Тем самым он подчеркивал мощь и возможности теоретической физики, главный инструмент которой... авторучка, иногда компьютер, да человек, могущий эти «золотые яйца» нести. В очередной раз передовая роль теорфизики, советской академической науки и ее преданных служителей подтверждена самой престижной наградой в мире — Нобелевской премией. В этом году ее получают трое ученых и среди них — два выпускника Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — Алексей Алексеевич Абрикосов (ныне сотрудник Аргонской Национальной Лаборатории, США) и Виталий Лазаревич Гинзбург (Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Россия).

Почему я пишу о советской науке? Потому что премия этого года вручается ученым, которые внесли «решающий вклад в объяснение двух феноменов квантовой физики: сверхпроводимости и сверхтекучести». А работы эти выполнены еще в 50-х годах прошлого столетия в существовавшем в то время государстве под названием СССР. По поводу давности своих работ, отмеченных наградой, о которой мечтают практически все физики еще со студенческой скамьи, Виталий Лазаревич пошутил: «В России надо жить долго». Ему 87 лет, но он по-прежнему бодр, на работу в ФИАН, невзирая ни на какую погоду ходит пешком, никогда не пользуется институтским лифтом и любит повторять: «На внешний вид не жалуясь, но годы, конечно, берут свое».

А мне интереснее в его биографии другое: как становятся обычные сотрудники самых обыкновенных, хотя и академических институтов, Нобелевскими лауреатами? С ФИАНом вообще случай особый. Это практически единственный институт в стране, в Европе и едва ли не в мире, где в разные годы трудились почти десяток Нобелевских лауреатов: И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков, А.М. Прохоров, Г.Н. Басов, А.Д. Сахаров, теперь уже и В.Л. Гинзбург.

І. РАЗБЕГ

Эффект излучения

Виталий Лазаревич не раз в своих публикациях говорил, что теоретической физикой занялся случайно. Но не слишком ли много «случайностей» на одну человеческую жизнь? Случайно, как он сам вспоминает, со своей ошибочной идеей «об индуцированном излучении при соударениях» движущегося заряда он обратился не ко Льву Давидовичу Ландау, который «сразу бы заметил, что это неверно, и облил меня холодным душем», а к Игорю Евгеньевичу Тамму, который заинтересовался проблемой и «посоветовал мне посмотреть статьи по квантовой электродинамике». Кстати, наряду с И.Е. Таммом, он всегда считал и считает Л.Д. Ландау одним из лучших своих учителей. И тот и другой — были выдающимися теоретиками нашего времени. И здесь Виталию Гинзбургу не просто повезло, а фантастически повезло в том, что он имел возможность работать вместе с ними, обсуждать свои, подчас, самые неправдоподобные идеи.

А пока... «Я стал смотреть. И, о чудо, ничего не зная и ничего не понимая в высоких материях, проявил нечто важное и интересное. Я познакомился с квантовой электродинамикой в ее наиболее ясной, я и сейчас так считаю, форме: когда все сводится к осцилляторам поля и их квантованию. Я быстро написал четыре статьи: три для ДАН («Доклады Академии наук») и заметку для ЖЭТФ («Журнал экспериментальной и теоретической физики») о кулоновской калибровке».

Начиналось же все в 1934 году. Именно тогда С.И. Вавиловым и П.А. Черенковым было открыто физическое явление, которое называется сейчас излучением Вавилова-Черенкова, сокращенно В.Ч. В 1937 году И.Е. Таммом и И.М. Франком была построена классическая теория эффекта. Они показали, что «заряд, равномерно движущийся в среде со «сверхсветовой» скоростью, должен излучать». «Это было уже на моей памяти, — написал Виталий Лазаревич. — Довольно естественно в такой ситуации, что, занявшись квантовой электродинамикой, я в 1940 году построил квантовую теорию излучения В.Ч., а также рассмотрел этот эффект в анизотропной среде — в кристаллах. С тех пор излучение равномерно движущихся источников — сюда относятся помимо эффекта В.Ч., переходное излучение и эффект Доплера — стало одной из моих любимых областей. Да, мне нравятся все эти эффекты, они кажутся мне красивыми. Но, конечно, как и в других случаях, оценка «красиво» довольно субъективна. Так, например, Л.Д. Ландау был, можно сказать, совершенно равнодушен к эффектам, о которых идет речь». «...Не всегда помнили и помнят о том, что я все это начал, но это уже вопрос не важный. Важно то, что за один 1938-1939 учебный год я написал семь-восемь статей и, главное, обрел себя, был счастлив, понял, что могу работать. И все осциллятор! Он играл для меня как бы роль «баска» — струны басовой — в известной легенде о Паганини».

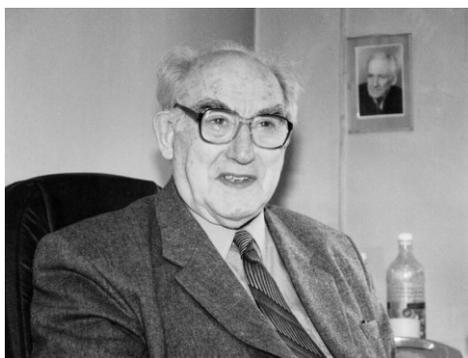
Здесь стоит сказать, что в 1995 году Вигалий Лазаревич Гинзбург был награжден высшей наградой Российской Академии наук — Большой Золотой медалью имени М.В. Ломоносова. Еще он отмечен Ленинской и Государственной премиями, орденами советского-российского государства, а также премиями имени академика Л.И. Мандельштама, имени М.В. Ломоносова, имени Дж. Бардина, Золотой медалью Лондонского Королевского астрономического общества, Золотой медалью имени С.И. Вавилова, Международной премией имени Вольфа, Золотой медалью «Юнеско — Нильс Бор», медалью Никольсона Американского физического общества. Можно перечислять и далее, но при чем здесь проблема «излучения равномерно движущихся источников», так называемый «эффект Вавилова-Черенкова», с чего мы начали? Объясняется все очень просто. По статусу РАНовской медали лауреат должен произнести речь на заседании Общего собрания, что и было сделано 1 ноября 1996 года в здании Президиума Академии наук. Определяя свой выбор темы доклада, В.Л. Гинзбург произнес буквально следующее:

«В своей уже долгой жизни я занимался многим... И в качестве темы настоящего доклада я мог выбирать между теорией сверхпроводимости, астрофизикой космических лучей и излучением равномерно движущихся источников. Я остановился на последней возможности по двум причинам. Первая: я буквально люблю этот круг вопросов. Конечно, слово «любовь» практически не встречается в научной литературе, но это лишь дань выработавшемуся стилю изложения. Фактически же, все мы в науке, как и в жизни, что-то любим, а чего-то не любим. Люблю я проблематику, связанную с излучением равномерно движущихся источников, вероятно, потому, что с ней связаны мои первые научные результаты, да и было это в молодости. Вторая причина в том, что излучение равномерно движущихся источников — это российская и к тому же академическая тема».

И это правда. Самое яркое физическое явление в этой области — эффект Вавилова-Черенкова — открыт соответственно С.И. Вавиловым и П.А. Черенковым. И.Е. Тамм и И.М. Франк спустя три года этот эффект объяснили. Фактически они развили теорию «излучения электрона, движущегося в среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света». В 1940 году В.Л. Гинзбург разработал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова. А совместно с И.М. Франком в 1945 году он впервые рассмотрел и предсказал переходное излучение. Кстати сказать, ныне на измерении энергии, предсказанного им переходного излучения, основаны так называемые переходные счетчики, нашедшие широкое применение в физике частиц высоких энергий. Но поскольку энергия для одной границы раздела весьма мала, в подобных детекторах часто используется «слойка» из многих пластинок материала, разделенных, например, воздушными прослойками. В дальнейшем анализ вопроса «об излучении при движении вблизи среды» был использован В.Л. Гинзбургом при обсуждении «различных возможностей генерации микрорадиоволн». Но это было потом. А здесь лишь следует заметить, что все указанные авторы — сотрудники ФИАН, все они — академики АН СССР. Более того, И.Е. Тамм, И.М. Франк и П.А. Черенков в 1958 году удостоены Нобелевской премии по физике «за открытие и объяснение эффекта Вавилова-Черенкова». Сам Сергей Иванович Вавилов премии не получил, поскольку к тому времени он ушел из жизни, не дожив и до шестидесяти, а посмертно Нобелевские премии не присуждаются.

Так чем же отличился на заре своей научной жизни молодой Гинзбург? Как известно, способов вычисления интенсивности излучения В.Ч. известно не-

сколько. Тамм и Франк решали уравнения электродинамики в среде, определяя «интенсивность излучения как поток вектора Пойнтинга через цилиндрическую поверхность, окружающую траекторию заряда». Другой метод расчета основан на тех же классических уравнениях, определяющих силу, тормозящую заряд при его движении. Есть и третий способ получения той же интенсивности, или мощности, состоящий «в вычислении энергии электромагнитного поля, излучаемого зарядом в единицу времени». Вот этим и занялся В.Л. Гинзбург, посчитав, что «для этой цели удобно использовать весьма прозрачный, так называемый гамильтоновский метод». Расчет гамильтоновским методом оказался в данном случае «нагляден и технически очень прост». «Именно эта простота, с которой я случайно столкнулся, — отметил он в своем докладе в Президиуме РАН, — побудила меня заняться теоретической физикой. Окончил я МГУ в 1938 году как оптик-экспериментатор и считал, что теоретиком мне становиться не следует в связи с недостаточными математическими способностями».



Виталий Лазаревич Гинзбург. ФИАН, 2001 г. Фото Андрея Соломонова

Таким образом, первоначальные научные результаты не только дали возможность, спустя годы, удостоиться Большой Золотой медали РАН «по совокупности работ», но послужили основой... для кандидатской диссертации, которую Виталий Лазаревич защитил весной 1940 года. И сразу же стал «ходить в талантах», ибо оказался едва ли не первым аспирантом, защитившимся досрочно. Было намерение оставить его в МГУ, но так уж судьба распорядилась, и с 1 сентября 1940 года он — докторант ФИАНа. Его научным руководителем стал Игорь Евгеньевич Тамм. Здесь он стал его заместителем, а потом и возглавил теор-отдел имени своего учителя И.Е. Тамма. И вся дальнейшая жизнь прошла в стенах этого всемирно известного Физического института.

О радиолокации и не только

Итак, вплоть до середины 1941 года он занимается «классической и квантовой электродинамикой, а также теорией частиц с высшими спинами». Гинзбург вспоминает: «Войну мы в какой-то мере ждали и опасались ее, но не готовились к ней, жили надеждой, что «пронесет». Не собираюсь обобщать, но именно такая атмосфера царил в теоретическом отделе ФИАНа».

«Не пронесло»... Ранним утром 22 июня 1941 года Германия вторглась в СССР, но лишь ближе к обеду по радио выступил Молотов с сообщением о начале войны. Бомбежки советских городов к тому времени не прекращались уже несколько часов. «Ясно помню, как слушал его с двухлетней дочкой на руках. Помню и речь Сталина 3 июля, когда этот заливший страну кровью и слезами диктатор назвал своих слушателей, кажется, в первый и в последний раз братьями и сестрами», — напишет потом Виталий Лазаревич. Поскольку «рядовых необученных» в тот момент в армию не брали, он не был мобилизован. Но для таких случаев было организовано «народное ополчение». «Вскоре огромная масса людей из этого «ополчения» была уничтожена или взята в плен под Москвой», — расскажет Гинзбург. — Разумеется, я также сразу попал в ополчение и провел целый день в какой-то школе, где нас «формировали», а вечером отпустили с указанием явиться «с вещами» по первому зову».

Вскоре вышло постановление об эвакуации Академии наук, и он с престарелым отцом, которому было 78 лет, тетеи женой выехал в Казань. Единственная дочь была эвакуирована с бабушкой раньше. «До нашего отъезда лишь однажды немецкая авиация бомбила Москву. Мы с женой случайно оказались в момент тревоги около станции метро, где и провели ночь. Так что я видел утром лишь следы налета...». В Казани, наряду с другими гражданами, пришлось «рыть недалеко от города окопы, к счастью, не понадобившиеся». Какой-либо отсрочки от призыва, так называемой «брони», у молодого докторанта не было, она тогда предназначалась лишь людям, занимавшим «видное положение». Гинзбург же, видимо, не представлял особой ценности, как не имеющий военной специальности, потому его все еще не призывали. Он напишет потом: «Я не уклонялся от фронта, два раза добровольно записывался, брони у меня не было. Но была какая-то инструкция: не обученных военному делу ученых без особой надобности в армию не брать. И нужно сказать, что это было дальновидное решение, сыгравшее положительную роль после войны, когда развернулось восстановление промышленности и создавалась новая техника...»

Так или иначе, в ожидании призыва, он стремился все же поскорее закончить докторскую диссертацию и действительно защитил ее в мае 1942 года. Посвящена она была «теории частиц с высшими спинами». По этому поводу сам Гинзбург сказал: «Еще до поступления в ФИАН я занялся теорией частиц с высшими спиновыми состояниями. Эта работа потом продолжалась много лет, частично совместно с И.Е. Таммом, а также с молодыми сотрудниками. Я не имею оснований считать свою диссертацию слабой, она получила вполне хорошую оценку. Однако если бы условия были мирными, я не спешил бы с защитой. Но в упомянутой ситуации, да еще в силу перехода на другую тематику, поспешность была оправдана».

Жизнь в Казани была, конечно же, не сладкой. Семья занимала небольшую комнату в университетском общежитии, где зимой температура опускалась ниже нуля. Отец Виталия Лазаревича не выдержал и скончался в середине 1942 года. По словам Гинзбурга, «академию кое-чем снабжали, и мы не голодали, но есть все время хотелось...» И вот в это время, в 1943 году он занялся... теорией сверхпроводимости и сделал впоследствии в этой области целый ряд работ. Наиболее известная из них, совместная со Львом Давидовичем Ландау «К теории сверхпроводимости» опубликована в 1950 году.

«В мире шла страшная война, и я сам теперь плохо понимаю, — скажет Виталий Лазаревич, — почему в эвакуации, в Казани, в условиях холодного и полуголодного существования меня привлекали тайны физики низких

температур. Но так было. Плохое владение математическим аппаратом, неумение сконцентрироваться на чем-то одном — занимался почти одновременно несколькими вопросами, трудности обмена научной информацией, мешали быстрому продвижению вперед, и лишь в 1950 году было сделано нечто законченное, имею в виду пси-теорию сверхпроводимости. Но, разумеется, эта законченность весьма условна, все время рождались новые вопросы и задачи».

Началось же все с доклада Льва Ландау. Вероятно это было в 1940 году, как вспоминает Гинзбург начало своей деятельности в этом направлении: «В 1939 году, после годичного пребывания в тюрьме, Л.Д. Ландау начал работать над созданием теории сверхтекучести гелия II. Как известно, П.Л. Капица мотивировал свою просьбу освободить Ландау из тюрьмы именно стремлением получить его помощь в области теории сверхтекучести. Я присутствовал на докладе Ландау, посвященном этой теории, соответствующая статья поступила в редакцию 15 мая 1941 года. В конце работы рассматривается также сверхпроводимость, трактуемая как сверхтекучесть электронной жидкости в металле. Не знаю, высказывалось ли такое утверждение и раньше, но это маловероятно. Ведь сверхтекучесть в собственном смысле слова была открыта только в 1938 году независимо и одновременно Капицей и Алленом и Мизнером...»

Итак, к 1943 году, когда он «начал заниматься теорией сверхпроводимости, прошло уже 32 года со времени открытия этого явления». Тем не менее, «на макроскопическом уровне сверхпроводимость еще не была понята и оставалась буквально «белым пятном» в теории металлов, да и, пожалуй, во всей физике конденсированных сред», а «сверхтекучесть гелия II была тогда лишь недавно, всего 5 лет, как обнаружена в явной форме», ее же «связь со сверхпроводимостью и вовсе лишь намечена».

Здесь, наверное, следует заметить, что, даже в самый разгар войны отечественные физики занимались всем, что только «Бог на душу положит». Тем более физики оказались не у дел, когда война только грянула. По словам самого Гинзбурга, «даже И.В. Курчатов занялся сначала размагничиванием кораблей для борьбы с магнитными минами и только в конце 1942 года стал руководителем ядерной программы. Я, как уже упоминал, занимался совершенно абстрактным исследованием уравнений для частиц с высшими спинами. С началом войны, однако, все мы начали искать какого-то более близкого к практике, если не к обороне, приложения своих сил. Случайно я получил совет заняться якобы важной для обороны проблемой распространения радиоволн в ионосфере. Так я и поступил, а затем посвятил этой тематике много сил и времени».

Так, в далеком 1941 году, следуя довольно случайному совету, Гинзбург занялся, наивно полагая, что это поможет обороне страны, «проблемой распространения радиоволн в ионосфере и вообще физикой плазмы», причем «первой была рассмотрена задача об изменении формы импульса волн, отражающихся от ионизированного слоя». «Занятия плазмой пригодились впоследствии, когда я сравнительно недолго занимался теорией управляемого термоядерного реактора», — считает академик. А тогда, в середине 40-х годов, это привело к увлечению радиоастрономией, потом астрофизикой космических лучей, гамма-астрономией.

Мы к этому еще вернемся. А пока... маленькое и совсем не лирическое отступление.

Комната с окнами во двор

К окончанию войны, в 1945 году, физики в СССР, по причинам давно всем известным, — уже в большом почете. Создаются новые институты и высшие учебные заведения, «бурно растут» имеющиеся научные учреждения. Так, еще в 30-е годы в Горьковском университете образовалась сильная группа физиков и математиков. И эта группа решает создать «особый радиофизический факультет». Но, поскольку своих специалистов все же недостаточно, то из Москвы, в частности, из ФИАНа приглашаются три профессора. Они должны работать «вахтовым методом», то есть «по совместительству», время от времени приезжая из столицы читать лекции. Среди этих троих вовсе не случайно оказывается и В.Л. Гинзбург. Причем именно ему поручается «организовать и возглавить кафедру распространения радиоволн». Ведь уже с начала войны именно он занимается этой проблемой и «успел опубликовать ряд статей».

Воспоминания: «От Москвы до Горького ночь езды. Помню, как в конце 1945 года приехал на поезде в мало комфортабельных условиях и нанял какого-то мужичка, везшего на санках мой чемодан от вокзала до центральной части города, где находились университет и гостиница. Шли пешком. На «моей кафедре» был вначале только один сотрудник. Но вскоре появились способные студенты, а затем и аспиранты. Многие окончившие кафедру давно доктора наук, кафедра существует до сих пор. Возглавить кафедру в тех тяжелых послевоенных условиях — сейчас мне это кажется авантюрой. Но тогда! Мне было 29 лет. Как доктор наук, я имел право заведовать кафедрой, мне хотелось учить молодежь, а в Москве это сделать было трудно...»

Скорее всего, как и его коллеги, ездившие из Москвы, он через пару лет все же оставил бы Горький, но судьба сложилась иначе. Он встретил там свою теперешнюю, вторую жену Нину Ивановну Ермакову. В 1946 году они поженились. Не стоило бы и упоминать о семейной жизни Гинзбурга, если бы не особые обстоятельства. Нина была фактически... сослана в Горький и не имела права жить в Москве. Вот в какой ситуации Виталий Лазаревич в тот момент оказался:

«Отец мой был беспартийным старым инженером. Не было ни родных, ни близких знакомых, занимавшихся политической деятельностью или хотя бы просто разбиравшихся в истинном положении в стране. Ни одного репрессированного я лично тогда не знал. Вокруг были одни коммунистические лозунги, восхваление «великого Сталина» и информация о происках фашистов. К тому же советская власть имела ведь и реальные достижения. Достаточно упомянуть ликвидацию неграмотности и безработицы, отсутствие в довоенные времена расовой дискриминации и, конкретно, государственного антисемитизма, возможность учиться. Поэтому и сегодня не собираюсь каяться в том, что в 1937 году в возрасте 21 года вступил в комсомол. Не было в этом и тени корысти, в аспирантуру физфака брали и беспартийных, а никаких других планов на будущее у меня не было.

Не стыжусь я и того, что в 1942 году вступил в КПСС, точнее, стал кандидатом партии. Это произошло в Казани, где основная часть Академии наук СССР находилась в эвакуации. Это было время, когда немцы достигли Волги. Замечу, кстати, что никаких партийных должностей, членства в партбюро и т.п., я никогда не занимал. В 1942 году я стал доктором физико-математических наук, работал в Физическом институте АН СССР — ФИАНе, но препода-

давать в Москве мне было негде, а силы были. Поэтому, когда в 1945 году меня пригласили стать по совместительству профессором радиофака Нижегородского, тогда Горьковского университета, я согласился. Там я и встретил Нину Ермакову, которая, как оказалось, была не простой советской гражданкой, а ссыльной.

Отец ее был коммунистом, видным инженером; в 1938 году его арестовали, и он отбывал свой 15-летний срок на Севере. Но удалось собрать много подписей сослуживцев, совсем непростое дело в те времена, и И.П. Ермакова привезли в Москву «на доследование». А тут разразилась война. Бутырскую тюрьму эвакуировали в Саратов, где отец жены умер от голода, кажется, в одной камере с известным биологом Н.И. Вавиловым. Нина в это время училась на мехмате МГУ, имела знакомых студентов тоже с репрессированными родителями. И тут наши славные «органы» решили создать «дело» о группе молодежи, решивших, якобы, из мести убить самого великого вождя и учителя. К несчастью, Нина жила на Арбате, по которому этот вождь иногда «проезжал в пяти машинах» (пользуюсь образом Б. Слуцкого). Вот из окна арбатской квартиры юные террористы и должны были стрелять. Но сценаристы из КГБ не учли того обстоятельства, что Нина с матерью ютилась в комнате с окнами во двор.

Пришлось поэтому переквалифицировать ей обвинение в терроре на «невинное» обвинение в контрреволюционных разговорах и участии в «нехорошей» группе террористов (статьи 58-10, 58-11 тогдашнего Уголовного Кодекса). Отсутствие окон на Арбат и отказ чистосердечно признать свои грехи, несмотря на десять дней отсидки в карцере без сна, привели к крайне мягкому по тем временам «приговору» ОСО (особого отдела) — к трем годам лагерей с зачетом девяти месяцев, проведенных в тюрьме, с июля 1944 года. Но тут, в связи с окончанием войны, была объявлена амнистия. Причем она была половинчатой: из лагеря выпустили, но жить в больших городах запретили. Вот Нина и оказалась прописанной в селе Бор, расположенном на Волге против Нижнего Новгорода, где она, и то лишь по счастливому стечению обстоятельств, смогла поступить в Политехнический институт».

Здесь и произошла та знаменательная встреча студентки и профессора. Лично мне довелось увидеть Нину Ивановну спустя почти пятьдесят лет. Мы с фотокорреспондентом «АТОМИУМа» спешили на Ленинский проспект к Гинзбургам, где были назначены съемки для журнала. В последний момент у метро вспомнили о цветах. Мы уже опаздывали. И когда, в буквальном смысле слова, «влетели» в довольно скромную квартиру известного академика, я просто застыла на пороге... От изумления. «Что же вы остановились? Проходите», — эта простая фраза, сказанная столь душевно знакомому лишь по телефону человеку, вывела меня из состояния оцепенения. Но я все равно никак не могла отвести своего взгляда от Нины Ивановны. Тут она слегка даже насторожилась: «Что Вы так смотрите на меня?» «Я столько о Вас читала, а теперь вот вижу...» — пролепетала я что-то вроде этого, чуть не брякнув, «живьем». На самом деле меня потрясла ее красота, и это спустя столько лет! Каково же было состояние 29-летнего физика, можно только догадываться. Если этот, подающий надежды молодой профессор, в столь неоднозначные годы, несмотря ни на что, подчас рискуя многим и не только карьерой, не побоялся встать рядом и прошагать вместе всю жизнь. Вот и «до Нобеля дослужились!»



Роскошные розы любимой женщине — Нине Ивановне Гинзбург.
2001 г. Фото Андрея Соломонова.

Но вернемся в сороковые. Итак, в сентябре 1945 года Нина была освобождена. Поскольку в Горьком у нее жила тетьа, она и выбрала этот город. Прописаться смогла лишь на другом берегу Волги. Добрые люди помогли и с поступлением в Горьковский политех, который она окончила в 1947 году. И до 1949, будучи женой профессора, став Гинзбург, она... незаконно жила в предоставленной ее мужу в Горьком комнате. И только в конце 1949 года по ходатайству еще одного известного ученого А.А. Андропова ее в городе прописали. Случилось это лишь «после того, как 29 октября 1949 года на Волге произошла крупная авария — перевернулся катер, перевозивший людей из Горького в Бор». Из примерно 250 человек находившихся на нем, Нина оказалась в числе 13 спасшихся.

Естественно, Вигалий Лазаревич «каждый год, а чаще было нельзя, подавал прошения о разрешении жене переехать в Москву». Эти заявления поддерживали директора ФИАН, известные физики и общественные деятели С.И. Вавилов и Д.В. Скобельцин. Но успеха не имел, узнал лишь, что и у упомянутых директоров тоже сосланы родственники, а добиться их прописки в Москве не удастся. Лишь в 1953 году после смерти Сталина последовала новая амнистия, и Нина смогла переехать в столицу. «В 1956 году она, как и все ее товарищи по «антисоветской группе», была полностью реабилитирована, то есть была признана несостоятельность выдвинутых обвинений. При этом «в квартиру матери Нины приходил следователь, который при свидетелях составил акт о том, что окна комнаты, действительно, не выходят на Арбат...»

Вот и объяснение: почему Вигалий Лазаревич «так долго преподавал и вел научную работу в Горьком». Там проводилось много исследований. Кафедрой он заведывал практически до 1961 года. А два последних раза, ездил в Горький в восьмидесятые годы, чтобы поведаться со своим сотрудником по теор-отделу А.Д. Сахаровым. «По иронии судьбы — так, во всяком случае, я это воспринимаю, — сказал Гинзбург, — он был сослан именно в Горький».

Бразильское Солнце

Научная жизнь шла своим чередом. Еще в 30-е годы известные советские радиофизики Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси думали о радиолокации Луны, а затем, видимо, и о радиолокации других небесных тел. Так или иначе, в конце

1945 или в начале 1946 года Н.Д. Папалекси предложил Гинзбургу «выяснить условия отражения радиоволн от Солнца». «Разумеется, по сути дела это была типичная ионосферная задача, все формулы были у меня под рукой, — обрадовался поначалу молодой теоретик. — Результаты расчетов, однако, не казались особенно оптимистическими, поскольку для широкого набора параметров, которые тогда во многом оставались неизвестными, радиоволны должны были сильно поглощаться в короне или хромосфере и не доходить до уровня отражения. Но отсюда сразу же следовал более интересный вывод: источником солнечного радиоизлучения должна быть не фотосфера, а... хромосфера, а для более длинных волн — корона. Таким образом, температура солнечного радиоизлучения, исходящего из короны, (речь шла о волнах с длиной больше метра), даже в равновесных условиях, то есть при отсутствии каких-то возмущений и спорадических процессов, должна достигать около миллиона градусов при температуре фотосферы около 6000 К. Все это изложено в моей первой астрономической работе».

В то же время «узким местом радиоастрономии» было «низкое угловое разрешение». Оно-то и не позволяло исследовать на Солнце области «составляющие даже минуты дуги». В это трудно сегодня поверить. Ведь сейчас «радиоинтерферометры далеко обогнали по силе углового разрешения лучшие оптические телескопы». Но тогда? Что-то нужно было предпринять. И Н.Д. Папалекси предлагает «провести измерения радиоизлучения Солнца во время полного солнечного затмения 20 мая 1947 года». Для чего следует использовать «установленную на пароходе антенну с широкой диаграммой направленности, составляющую несколько градусов». Работать она должна на волне 1,5 м. Удача! Проведенные измерения оказались первыми в своем роде! Ведь, «если интенсивность оптического излучения Солнца во время полного затмения уменьшается на несколько порядков, то на волне полтора метра интенсивность во время затмения не уменьшилась более, чем на 60 процентов». Тем самым и было доказано, что «метровое радиоизлучение исходит из короны»...

Волею судьбы В.Л. Гинзбург был включен в состав Бразильской экспедиции АН СССР, проводившей упомянутые радионаблюдения Солнца с теплохода «Грибоедов». Это было, по его словам, «скорее своеобразной премией за работу в области зарождавшихся тогда радиоастрономических исследований в СССР». Однако, в самих измерениях радиоизлучения Солнца, проводившихся на корабле, он участия не принимал. Основная часть экспедиции, в том числе небольшая ионосферная группа, в состав которой он входил, отправилась вглубь Бразилии для «проведения оптических измерений». Из-за плохой погоды ионосферные наблюдения совершенно не удались. Но втянутый из-за участия в экспедиции в радиоастрономическую деятельность, он на некоторое время стал почти радиоастрономом-профессионалом, то есть «постарался ознакомиться со всем имеющимся материалом, методами измерения и т.д.». В результате были написаны, возможно первые в мировой литературе, радиоастрономические обзоры. Кто сейчас это подтвердит или опровергнет? «Сейчас по прошествии стольких лет мне трудно судить о ценности этих статей и не хочется в них подробнее разбираться», — скажет автор. И отметит лишь «предложение использовать дифракцию радиоволн на лунном крае с целью повышения углового разрешения деталей на Солнце во время затмений». Метод дифракции радиоизлучения на лунном крае широко применялся и применяется, поэтому добавить здесь нечего...

Однако, сколь далеким оставался все-таки Гинзбург от астрономии, говорит такой простой факт: «На обратном пути из Бразилии, в силу случайного, хотя и

счастливого стечения обстоятельств, участники экспедиции смогли посетить Лейден. И вот вместо того, чтобы познакомиться с Я. Оортом и, вообще, принять участие в обсуждении астрономических вопросов, я бросился в Крюгенную Лабораторию имени Камерлинг Оннеса, поскольку больше всего интересовался тогда физикой низких температур...». Как он сам напишет: «Работа в области астрофизики проводилась мной довольно спорадическим и хаотическим образом и то, что ближе к радиоастрономии, можно несколько условно разделить на три основных направления: это ионосферные и внеионосферные мерцания радионисточников, колебания интенсивности солнечного радиоизлучения, использование поляризационных измерений, использование спутниковых измерений; это теория спорадического радиоизлучения Солнца; это теория синхротронного космического радиоизлучения, связь с проблемой происхождения космических лучей и с астрофизикой высоких энергий в целом. Именно этой проблематикой, если говорить об астрофизике, я занимался больше всего и продолжаю интересоваться ею и в настоящее время, хотя в меньшей степени, чем раньше».

О пользе чтения

Конечно, оценить роль Гинзбурга в астрономии должны специалисты. Нам же самое время перейти к «важнейшей линии астрономических исследований», в которых Виталий Лазаревич принимал непосредственное участие, — к астрофизике космических лучей и гамма-астрономии. Началось все с теории синхротронного излучения, или «синхротронной теории космического излучения в астрофизике космических лучей», по традиции часто называемой «проблемой происхождения космических лучей».

Примерно к 1948 году стало ясно, что «длинноволновое несолнечное космическое радиоизлучение имеет эффективную температуру, свыше 10 000 К». Потому «интерпретировать такое радиоизлучение, как тепловое излучение межзвездного газа», оказалось невозможным. Следовало предположить «существование какого-то нетеплового источника», по аналогии, например, с источником нетеплового (спорадического) радиоизлучения Солнца. Так вполне естественным образом родилась «радиозвездная гипотеза». Согласно ей: существуют «некие звезды» — «аномально мощные радионисточники», которые и «ответственны за нетепловое космическое радиоизлучение».

«Радиозвездная гипотеза», связывающая нетепловое космическое радиоизлучение с присутствием в Галактике достаточно большого количества «радиозвезд», начала бурно развиваться и вскоре... столкнулась с затруднениями. Ее сторонникам, равно, как и противникам, приходилось делать все больше и больше допущений, иногда произвольных и неправдоподобных, о неких гипотетических «радиозвездах». Кроме всего прочего, для объяснения наблюдений потребовалось вводить такое огромное количество этих самых «радиозвезд», обладающих столь «необычными свойствами и пространственным распределением», что никакую критику это уже не выдерживало. Впоследствии эти предположения и впрямь не подтвердились, а в дальнейшем и вовсе победила «альтернативная гипотеза, связывающая нетепловое радиоизлучение... с синхротронным механизмом». К этой научной победе приложил свою руку, перо, а заодно и светлую мысль, и «неофит в аст-

рономии» Виталий Гинзбург. Соревнование или борьба между двумя этими представлениями заняла несколько лет.

Напомним, что космическое радиоизлучение было открыто в 1931 году, а публикации появились в середине 30-х годов. Солнечное радиоизлучение обнаружено в середине 40-х одновременно в нескольких местах. Наконец, сразу после Второй мировой войны началось бурное развитие радиоастрономии в разных странах. Первым, после Солнца, отождествленным источником космического радиоизлучения оказалась Крабовидная туманность. Успехи радиоастрономии в тот период были обусловлены двумя причинами. Первая связана с совершенствованием радиоаппаратуры, чувствительность которой достигла фантастического уровня, вторая причина — в существовании значительно более интенсивного космического радиоизлучения, чем это предполагалось.

Электромагнитное излучение, возникающее при движении релятивистских частиц в магнитном поле, так называемое, синхротронное излучение, было довольно подробно проанализировано еще в 1912 году. Вопрос приобрел актуальность лишь в 40-е годы в связи с созданием кольцевых электронных ускорителей, в особенности синхротронов. Продолжает Гинзбург: «Сегодня кажется, что в такой ситуации должна была еще, по крайней мере, в 1946-1947 годах возникнуть мысль о применении синхротронного механизма к космическим условиям. *Post factum*, правда, очень многие идеи и гипотезы кажутся очевидными. На деле же для применения синхротронного механизма в астрономии нужно было знать и теорию синхротронного излучения, и представлять себе условия его возникновения в тех или иных конкретных ситуациях вдали от Земли. Так или иначе, лишь в 1950 году Альфвен и Герлсфосон привлекли синхротронный механизм для объяснения излучения радиозвезд. В общем, ценность их работы состояла не в выборе модели, а в том, что впервые было обращено внимание на возможную связь космического радиоизлучения с космическими лучами. Эта линия была продолжена в статье Кипенхойера, где и оценивается интенсивность синхротронного излучения, которое должно возникнуть в межзвездном пространстве...»

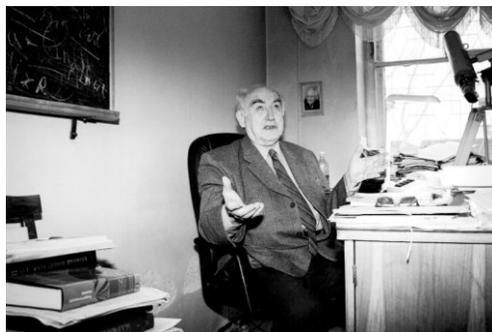
Статьи появились в *Physical Review* в виде небольших писем и не привлекли к себе практически никакого внимания. Помимо краткости, роль здесь, вероятно, в еще большей мере сыграл другой, едва ли не главный фактор: незнакомство большинства астрономов с синхротронным механизмом. Кроме того, опубликованы они были не в астрономическом журнале. А привлекательность популярной в то время «радиозвездной гипотезы» довершила дело.

Виталий Лазаревич всегда любил читать научную литературу, был знаком с синхротронным механизмом, потому он эти статьи заметил и сразу же «несколько подробнее повторил» все содержащиеся в них оценки. Его работа, поступившая в редакцию «ДАН» в октябре 1950 года, не содержала, в принципе, новых идей, если не касаться приведенного в ней «обсуждения радиоизлучения космических лучей в земном магнитном поле», но поспособствовала «внедрению» синхротронного механизма в астрономию. Процесс этот оказался длительным и нелегким даже в СССР, где Гинзбург выступал с докладами и вообще всячески пропагандировал синхротронную теорию:

«Радиозвездная гипотеза на Западе отставалась еще несколько лет. Судя по трудам Манчестерского симпозиума по радиоастрономии, в которых была помещена статья о «радиозвездной гипотезе, а мой посланный на симпозиум доклад даже не опубликован, «астрономическое общественное

мнение» в 1955 году еще склонялось к «радиозвездной» модели. Но уже на следующем Парижском симпозиуме в 1958 году синхротронный механизм был безоговорочно признан в качестве доминирующего при объяснении нетеплового космического радиоизлучения. На этот раз и мой доклад «Радиоастрономия и происхождение космических лучей» был помещен в Трудах симпозиума, хотя я и не имел возможности на нем присутствовать».

А вот это — следствие его «недолгих исследований в области управляемого термоядерного синтеза». Когда А.Д. Сахаров и И.Е. Тамм «загорелись термоядом», а Гинзбургу «особенно нечего было делать «по бомбе» (об этом речь ниже), то он тоже «заялся термоядом». Послушаем его самого: «Я решал всякие там задачи И вдруг, в один прекрасный день меня лишили допуска. Эта работа стала считаться столь секретной, то ли в 1952, то ли в конце 1951 года — не помню, что мне перестали давать в первом отделе собственные тетради по термояду... Я потом даже опубликовал некоторые свои отчеты, термоядерные, они есть в «Трудах ФИАН». После этого я, конечно, совершенно не занимался спецедеятельностью. Но еще 40 лет числился секретным — меня не пускали за границу».



Момент фотосъемки для журнала «АТОМиУМ». 2001 г. Фото Андрея Соломонова.

И тем не менее, молодому теоретику Виталию Гинзбургу удалось отстоять новую в то время альтернативную гипотезу «о природе нетеплового радиоизлучения», которая, в конце концов, и оказалась справедливой. Ведь его статья «по существу явилась и на какое-то время осталась первым откликом на предложение использовать синхротронный механизм в астрономии». Как он сам размышляет: «Дело, вероятно, в том, что реакция астрономов была прямо противоположна моей — синхротронный механизм казался таинственным и спекулятивным, а «радиозвезды» хотя и задавали загадки, но каких только звезд не бывает?» «Мне представлялось несколько странным, что статьи появились в физическом журнале и к тому же в виде кратких писем. Так или иначе, внимание астрономов они не привлекли. Я же, напротив, сразу уверовал в синхротронный механизм как ответственный за нетепловое космическое радиоизлучение. Связываю я это не с какой-то особой своепроницательностью, а с уже отмеченной близостью к физике и удаленностью от классической астрономии. В таких условиях синхротронный механизм был ясен и правдоподобен, гипотетически же странные «радиозвезды» оставались чем-то чисто спекулятивным...»

«Хвосты» так и остались

Так что, первый «поход к звездам» окончился для Гинзбурга, не быстро, правда, но научной победой. Одной из первых. Случайность это или чей-то промысел? Ведь, как он сам рассказал, во время учебы в МГУ, «я как-то сжулил, и вообще не сдавали не проходил астрономию и химию, что и сейчас ощущаю. Астрономией я начал заниматься с 1945 года и давно для некоторых являюсь астрономом, даже формально член Международного Астрономического союза, а в 1970 году был выбран иностранным членом Королевского Астрономического общества, а также был Дарвиновским лектором этого общества в 1975 году. И в то же время я полный невежда в элементарной школьной астрономии: не знаю созвездий, плохо знаю небесные координаты и т.п. Разумеется, выучить это не так трудно. Но мое слабое место как раз «выучивание» — учить что-то неинтересное я не умею, здесь не хватает воли, которая есть в некоторых других случаях. Поэтому многие «хвосты», в том числе и элементарная астрономия, так и остались».

На самом деле академик отчасти на себя наговаривает. Все объясняется очень просто. Гинзбург в университет «с первого захода» не поступил, но не стал ждать следующего года и пошел на заочное отделение. Через год перевелся на второй курс, в результате чего некоторые предметы и «выпали» из его программы, поскольку они преподавались первокурсникам. Сравнивая затем свои самостоятельные занятия с успехами товарищей по курсу, он понял, что много потерял в математике, хотя отдельные лекции проводились и для студентов-заочников.

Вот его воспоминания: «На первом курсе очного факультета преподавался курс астрономии и мои товарищи вспоминали о нем с удовольствием. Я же как-то умудрился попасть сразу на второй курс без экзаменов по астрономии, а также по химии. Поэтому, а также в силу отсутствия соответствующих школьных знаний, даже став профессором физики, я оставался совершенно безграмотным в области астрономии и химии. И в обоих случаях, как я убежден, возмездие последовало. Ибо с 1964 года я занимаюсь проблемой высокотемпературной сверхпроводимости, на сегодня именно здесь лежит центр тяжести моей работы. Эта проблема оказалась тесно связанной с некоторыми вопросами химии, которых я не знаю. Что же касается астрономии, то начну со смешного. Не раз, особенно в период увлечения «новой астрономией» с ее квазарами, пульсарами и т.д., я рассказывал и на лекциях, и в кругу знакомых о различных астрономических открытиях: о радио-, рентгеновском и гамма «небе». Но обычного-то звездного неба я не знаю и на вопросы: «Что это за звезда или созвездие?» — так и приходится отвечать — «не знаю». И если я охарактеризовал такую ситуацию как смешную, а не постыдную, то только потому, что и не считаю себя астрономом-профессионалом. Впрочем, мне все-таки немного стыдно, но так уж жизнь сложилась. Когда в 1946 году, в тридцатилетнем возрасте я написал свою первую работу по астрономии, то был уже автором многих работ по физике, а еще большее их число ждало, когда же дойдут до них руки. Не хватало ни времени, ни сил, да и жизнь была тяжелой. Где уж здесь изучать карту звездного неба, запомнить ее, сжиться с ней...»

В другом месте он рассказывает так: «Это кажется странным, но факты свидетельствуют о том, что незнание самых элементарных вещей в той или иной области, конкретно имею в виду астрономию и физику, — еще не мешает получению вполне интересных и важных результатов в этих областях. Особенно много таких случаев я знаю в отношении математиков, занявшихся решением физических задач

и успешно это делающих. И это несмотря на незнакомство с физикой в целом, не говоря уже о многих деталях. Точно так же, есть немало физиков, к ним я отношу и себя, которые сделали работы по астрономии, представляющие интерес. Они опубликованы без каких-либо скидок в астрономической литературе, несмотря на низкую, так сказать, общенаучную культуру и квалификацию их авторов».

II. РЫВОК

Единственный талант... ораторский

Еще одно историческое отступление. Пора, наверное, рассказать: откуда же появился в Москве однажды этот мальчик Витя Гинзбург? Но лучше него самого опять же не напишешь.

«Я родился 4 октября 1916 года в Москве, где и живу всю жизнь. Исключение составляют только два года, проведенные во время войны в эвакуации в Казани. Мой отец — инженер, работавший области очистки воды. Кстати, он имел ряд патентов. Отец впервые женился в 1914 году в возрасте 51 года. Моей матери, она была врачом, было тогда 28 лет. Я — единственный ребенок в семье. Мать я практически не помню: в 1920 году она умерла от брюшного тифа. Ее младшая сестра переехала к нам. И в той мере, в какой это возможно, заменила мать.

Время было очень тяжелое: мировая, а затем гражданская война. Москва стала столицей и находилась, в общем, в привилегированном положении, но все равно было голодно, свирепствовали болезни. Память у меня в целом плохая или во всяком случае с высоким порогом. Выше этого порога оказалась одна из картин, увиденная недалеко от нашей квартиры в центре Москвы, году так в 1920-м. Едет телега, возчик идет рядом, а на телеге гробы, из которых торчат руки и ноги. Другое воспоминание: уже не страшное, но характерное. Где-то удалось купить свежее мясо, но выяснилось, что это собака. А собак в России в нормальных условиях никогда не ели. Вместе с тем чисто материальные трудности были для нашей семьи значительно меньшими, чем в среднем по стране. Мы имели крышу над головой. Москву не занимали воюющие стороны. Настоящего голода не было.

А вот что у меня было с избытком, так это одиночество. Оно усугубилось в связи с тем, что я не ходил в школу до четвертого класса, до 11 лет. Почему так получилось, не помню. Школа, как и почти все в стране, подвергалась тогда всяческим реорганизациям, и, вероятно, родители считали более целесообразным учить меня дома. Несомненно, при этом была допущена ошибка. Ибо когда я наконец в школу пошел, она оказалась совсем не такая уж плохая. Это была бывшая гимназия, сохранились и многие старые учителя. Но не везет, так уж не везет. Когда в 1931 году я окончил семь классов, кто-то где-то решил, что больше и не нужно, и «полная» средняя школа была ликвидирована. Через несколько лет одумались, произошло ее возрождение, но я так и проучился в школе всего четыре года.

После семи классов «полагалось» поступать в фабрично-заводское училище, где, по идее, одновременно продолжалось образование и готовились кадры квалифицированных рабочих. Но я не пошел по этому пути. Посту-

пил работать лаборантом в рентгеноструктурную лабораторию одного высшего учебного заведения. Там я общался в основном с двумя другими лаборантами. Они были старше меня на три года, увлекались физикой и изобретательством. Оба, кстати, стали хорошими физиками. Знаний я набрался немало, но проникся увлеченностью и интересом к работе, что было важнее.

В 1933 году, впервые за ряд лет, стали проводить по открытому конкурсу прием в университеты. Я решил поступить на физический факультет МГУ. И за три месяца «прошел» трехлетний курс, соответствовавший 8, 9 и 10 классам средней школы. Вступительные экзамены я сдал, но принят не был. Преимущество имели абитуриенты с лучшими анкетными данными, имеется в виду происхождение и род занятий родителей. Но особой дискриминации не было: сдал экзамены не блестяще. Я не стал дожидаться следующего года, а ушел с работы и поступил на заочное отделение МГУ. Опять учился почти самостоятельно и, наконец, в 1934 году перешел на второй курс очного отделения. Так, только в 18 лет, я начал нормально учиться, «как все».

Виталий Лазаревич, как он сам об этом пишет, огорчен отсутствием хорошей нормальной школы, которое, как он считает, самым отрицательным образом сказалось на нем навсегда: «Считаю я плохо, медленно, с натугой, нет автоматизма. Всегда была боязнь расчетов, нелюбовь к ним. Разумеется, в основе лежит отсутствие математических способностей, к счастью, не тотальное». Школьные годы пришлось, по его мнению, «на самый, пожалуй неудачный период в истории советского среднего образования: от старой школы (гимназий и т.п.) остались лишь здания и отдельные преподаватели, а в остальном царил хаос», «лишь в физике я этого не чувствовал». А вот это для него самого осталось загадкой: «Интерес к физике появился уже тогда и твердо, хотя я и сам не понимаю, почему. Очень мне нравилась книга О.Д. Хвольсона «Физика наших дней», кажется, я ее читал еще в школе или сразу после нее. В общем, никаких колебаний в выборе физики у меня никогда не было со времен этой семилетки».



Академик В.Л. Гинзбург готовится к теорсеминару в своём рабочем кабинете.
2001 г. Фото Андрея Соломонова.

В работе «Как я стал физиком-теоретиком и вообще о себе...» он пишет (а может, и наговаривает на себя?): «Я, например, совершенно не запоминаю стихов и вообще «выучить» что-то наизусть, доклад, например, не в состоянии. Через всю жизнь прошло сожаление, что не знаю языков, мог бы знать больше и в том и в

этом. А попробуй, когда идет работа, много интересного, поучи глаголы или названия созвездий на карте неба. Нет, на это я не был способен никогда». Однако, несмотря на такие его сожаления, общепринятым языком ученых всех стран он овладел в совершенстве. Настолько, что даже знаменитый Дирак во время так называемой «Скоттоновской лекции», посвященной астрофизике космических лучей, которую Гинзбург прочел в конце 1967 или начале 1968 года в Кембридже, «захохотал и зааплодировал». И это Поль Дирак, «славившийся своей молчаливостью и сдержанностью», причем «было распространено мнение, что он интересуется узким кругом вопросов, часто весьма непопулярных в научных кругах».

Тут стоит упомянуть, что «единственный талант», который Гинзбург сам за собой признает, — ораторский: «Вот здесь что-то «от Бога». Я волнуюсь, готовлюсь, мне важно выступить успешно. Может быть здесь какой-то актерский элемент? И это дает плоды». Здесь мало что можно добавить. Скажу лишь, что его знаменитые на всю столицу семинары неизменно собирали большое количество слушателей. На них всегда было интересно познать нечто новое, поспорить с самим Мэтром, разобраться в сложностях и хитросплетениях едва зарождающихся теорий. Это непередаваемо! И Гинзбург, зная за собой свой успех, всегда всех, даже журналистов, неизменно приглашал: «А Вы приходите к нам на семинар!» Из гуманитариев отваживались немногие. Но те, кто «не заслабел», кто это действие видел, участвовал в нем, наверное, не забудут никогда. Впрочем, о «теоресеминаре Гинзбурга» речь еще впереди.

Честолюбие, как движитель прогресса

Прислушаемся к другим рассуждениям Виталия Лазаревича — они интересны, хотя он вовсе не стремится «открыть Америку»: «В общем, никакое учебное заведение не сделает, конечно, человека очень хорошим писателем, физиком или математиком, если нет соответствующих задатков. Но, во-первых, одних задатков мало. Сколько талантливых людей «не реализовалось» и какую роль здесь сыграли недостатки образования? Во-вторых, хорошая подготовка, тренинг и т.п. могут, по-видимому, сделать достойного профессионала и из человека со средними способностями, который при других условиях будет лишь тянуть лямку, станет неудачником, не будет получать удовлетворения от работы и т.п. ...Как я считаю, мне исключительно повезло в смысле «реализации» моих скромных способностей».

И далее: «Здесь невольно хочется затронуть и еще одну мою «любимую» тему. Вот спортсмен, пробежавший, скажем, стометровку за 9,9 секунды, стал Олимпийским чемпионом, а с 10,2 секундами бегун оказался уже четвертым и не получил даже бронзовой медали. Цифры, разумеется, взяты с потолка. А роль здесь сыграли, быть может, совсем случайные обстоятельства: как спал, с кем спал, что ел: удел четвертого значительно лучше, он вносит свой вклад, делает хорошие работы, если первый делает очень хорошие. Но все равно роль случая, удачи может быть огромной. Для титанов типа Эйнштейна, это не так, слишком большой «запас» и отрыв от других. Талант Максвелла, Бора, Планка, Паули, Ферми, Гейзенберга, Дирака тоже вряд ли сильно зависел от флуктуаций удачи, случайной мысли и т.п. Но другое дело, мне кажется, де Бройль, даже Шредингер, не говоря уже о многочисленных Нобелевских лауреатах. М. фон Лауэ был вполне квалифицированным физиком, но, как утверждают, мысль о дифракции рентгеновских лучей в

кристаллах, была «пивной идеей» (Bieridee). Брегги, Рентген, Зеeman, Штарк, Ленард, Джозефсон, Пензиас и Вильсон, Хьюиш и Райль, Черенков, Басов и Прохоров, да три четверти всего списка это в значительной мере удачи, это не «божественные» откровения. И это не обесценивает большинство работ и премий. Я хочу лишь подчеркнуть, что шансы на удачу зависят как от случая, так и от кучи факторов, среди которых и здоровье, и вовремя прочтенная статья или книга, и активность и честолюбие (как стимул) и, вероятно, многое другое. Интересная тема».

В другом месте он говорит: «Главное, о чем я хотел сказать, следующее. Не имея, как мне казалось, для этого нужных данных и предпосылок, я стал физиком - теоретиком, причем довольно известным и преуспевающим. Под последним я имею в виду не то, что я стал член-коррпом (1953), потом академиком (1966), Лауреатом (Ленинской и Государственной премий), а также имею иностранные отличия. Все это достаточно условно, и даже полные ничтожества добиваются формально многого. А вот научные результаты — другое дело, это нечто объективное. И здесь я считаю, что получил много важных и довольно высокого класса результатов. Разумеется, человек сам себе не судья. Но иметь свое мнение каждый имеет право. И мое мнение такое, что я много сделал. В библиографическом «справочнике» в связи с 50- и 60-летием все это изложено. Конечно, там, как практически всегда в таких случаях, есть преувеличения и акценты, может быть, не те. Но суть все та же, что в области сверхпроводимости, сверхтекучести, сегнетоэлектричества, эффекта В.Ч. и переходного излучения, радиоастрономии, происхождении космических лучей, рассеяния света, да и еще ряда разрозненных тем, я сделал довольно много. И вот вопрос: почему? Прежде всего, конечно, ссылаются, так думают и говорят, на способности. Но это не так, не вполне так. Я считаю, что математические способности у меня просто ниже средних, аппаратом я всегда владел и владею плохо. Задачи, в смысле задач из задачникoв, я всегда решал плохо. Память, особенно на формулы плохая. Она, правда, довольно хорошая на идеи и литературные ссылки. Теореминимума Ландау я не сдавал и, если бы и сдал, то с очень большим трудом. Часто, очень часто я как-то чувствовал себя обманщиком. Спрашиваешь студента или аспиранта, а сам не знаешь как вывести формулу и т.п.

В чем дело? Есть, во-первых, какой-то нюх, понимание физики, цепкость, комбинаторная и ассоциативная хватка. Во-вторых, было большое стремление «придумать эффект», что-то сделать. Почему? Думаю, что это родилось из комплекса неполноценности. Грешно жаловаться, но в общем тяжело складывалась жизнь. Отец был превосходным человеком, но старше меня на 53 года, да и были разные трудности дома. Было мало друзей, не было ни братьев, ни сестер, ни хорошей школы. Потом не было и какого-то блеска на физфаке, ну хорошо учился и все. И когда «пошло», я был счастлив. И хотелось делать что-то еще и еще. Здесь и самоутверждение, и большая радость, счастье, когда что-либо придумаешь. Какова роль честолюбия и тщеславия? Эти качества считаются малопочтенными и невольно всякий пишущий стремится их отрицать. Я тоже не уверен в себе, что могу написать всю правду. Однако я склонен различать «хорошее» честолюбие от честолюбия вообще и тщеславия. «Хорошее честолюбие» у меня, безусловно, есть, под этим я понимаю стремление и желание сделать работу, хорошую работу и стремление, чтобы эта работа была признана, стала известна. Но я не хотел бы известности «за чужой счет», необоснованной...»

Уже получив Нобелевскую премию он признался: «Я всегда старался делать только хорошие работы, мне хочется, чтобы они были известны, и я радуюсь Нобелевской премии. Не хочу себя идеализировать, но, если бы за эту работу премию

получил кто-нибудь другой, я бы огорчился. Я не настолько благородный человек, чтобы говорить: важнее всего истина, важнее всего открытие. Мне кажется, это здоровое тщеславие».

Отгадка загадки

И опять военные сороковые. Голод. Холод. Эвакуация. Казань. В.Л. Гинзбург увлекается теорией, которая впоследствии будет названа «теория Гинзбурга-Ландау», хотя сами авторы именовали ее просто пси-теорией сверхпроводимости. Сверхпроводимостью Виталий Лазаревич занялся, как уже упоминалось, в 1943 году под влиянием теории сверхтекучести Льва Давидовича. И все последующие годы посвятил ее развитию и усовершенствованию. Теперь это главный итог 60-летней научной деятельности академика РАН В.Л. Гинзбурга. Он оценен Нобелевской премией 2003 года.

С 1911 года известно, что некоторые металлы при низких температурах — всего в несколько градусов выше абсолютного нуля — пропускают электрический ток без сопротивления. Они называются сверхпроводниками. Эти сверхпроводящие материалы обладают еще одним свойством: они способны частично или полностью вытеснять магнитный поток. Сверхпроводники первого рода вытесняют магнитные потоки полностью, их еще называют диамагнетиками. Проявляется этот «эффект Мейснера», свободно парящим постоянным магнитом над сверхпроводящим диском (весьма известный физический опыт). Сверхпроводники же второго рода допускают сочетание сверхпроводимости и сильного магнитного поля.

Изучение сверхтекучих жидкостей позволяет «глубже проникнуть в процессы, происходящие в материи», в то время как сверхпроводящие материалы уже с начала прошлого столетия успешно применяются, как в ускорительной технике, позволяющей проникать в те же тайны природы, так и целях медицинской диагностики. И есть надежда, что однажды они позволят решить проблему энергетики на планете. Ее ведь можно решать разными путями, как наращиванием, «производительных мощностей», но есть предел любым ресурсам на Земле. А можно и применением экономичных методов. Ведь, что ни говори, а компьютер энергии потребляет все меньше и меньше. Это и есть «экономия от высоких технологий».

Сверхпроводимость же, особенно в первые два десятилетия после ее открытия, раскрывала свои «секреты» весьма и весьма скудно. Жидкий гелий, например, полученный впервые в Лейдене в 1908 году, лишь через 15 лет стал доступен другим лабораториям. Эффект Мейснера и вовсе был обнаружен через 22 года после открытия сверхпроводимости, в 1933 году. В результате только в 1934 году была создана первая двухжидкостная модель. После чего стало ясно, что «металл в нормальном и сверхпроводящем состояниях можно рассматривать как две фазы вещества в термодинамическом смысле этого понятия». Далее, в 1936 году обнаружена сверхтеплопроводность гелия II и лишь в 1938 году установлена его сверхтекучесть. Таким образом, открытие сверхтекучести заняло 27 лет (!), в отличие от сверхпроводимости, открытой, практически «одним ударом», потому что измерять электрическое сопротивление, даже заполненного ртутью капилляра, сравнительно легко. А вот «исследовать характер протекания жидкости, именно гелия II, через эти капилляры или щели» намного сложнее. К тому же, нужно было еще додуматься до таких измерений.

Здесь следует лишь подчеркнуть, что «понять природу сверхпроводимости безуспешно пытались Эйнштейн и Бор». И хотя была некоторая ясность, что следует учитывать взаимодействие между электронами проводимости, однако, определилось это лишь в 1950 году с открытием изотопического эффекта. Именно он позволил выяснить роль взаимодействия электронов проводимости с кристаллической решеткой. Собственно и само создание теории БКШ оказалось возможным благодаря открытию «зависимости критической температуры сверхпроводников первого рода от массы атомов в решетке». Однако, до середины 50-х годов, вплоть до создания квантовой теории, сверхпроводимость прочно занимала место самого загадочного явления в физике конденсированного состояния и, в частности, в физике металлов. Ситуация стала проясняться лишь в 1956-1958 годах, когда Ландау выдвинул теорию ферми-жидкости. Собственно, до создания квантовой теории было совершенно неясно поведение и несверхпроводящих металлов, точнее, металлов в нормальном состоянии.

Открытие и дальнейшее изучение сверхтекучести и, главное, теория сверхтекучести Ландау позволили рассматривать сверхпроводимость как сверхтекучесть электронной жидкости в металлах. Здесь имеется в виду протекание через капилляры и щели без трения. И все же, пишет в своих работах Виталий Лазаревич Гинзбург:

«Природа сверхтекучести оставалась неясной. Как мы знаем сегодня, решение задачи (или загадки) в том, что электроны в сверхпроводнике образуют «пары» со спином нуль. Последние уже могут претерпевать бозе-эйнштейновскую конденсацию, с которой и связывается переход в сверхпроводящее состояние. Мой весьма скромный вклад в это дело состоит в указании на то, что в бозе-газе заряженных частиц должен наблюдаться эффект Мейснера. До самой идеи «спаривания» я не додумался. Ее впервые высказал Отт в 1946 году. Купер в 1956 году указал на конкретный механизм спаривания в ферми-газе с притяжением между частицами. В 1957 году была создана Бардином, Купером и Шриффером первая последовательная микротехория сверхпроводимости — БКШ. В этой работе нет каких-либо указаний на бозе-эйнштейновскую конденсацию, но по существу дело именно в ней».

Критическая область вне критики

И хотя пси-теория была сформулирована и развита еще в 50-е годы прошлого столетия, непосредственную актуальность она приобрела в связи созданием и быстрым развитием новых материалов. Сегодня уже производятся сверхпроводники, сохраняющие свои свойства при все более высоких температурах и магнитных полях. Не последнюю роль в этом сыграла и теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. В принципе, она обобщила и решила ряд проблем теории Г. и Ф. Лондонов, уже тогда «во многом объяснявшей поведение сверхпроводников первого рода, полностью вытесняющих магнитное поле в области низких температур и слабых полей». Исходной можно признать работу В.Л. Гинзбурга «О поверхностной энергии и поведении сверхпроводников малых размеров», выполненную еще в 1944 году. Из нее уже ясно, что теория Лондонов непригодна для описания поведения сверхпро-

водников в достаточно сильных полях и, в частности, для расчета критического поля в случае пленок.

«Чувство, что в теории сверхпроводимости нужно учитывать квантовые эффекты, нашло отражение в моей заметке «Теория сверхтекучести и критическая скорость в гелии II», посвященной, в основном, критической скорости в гелии II, — напишет Гинзбург. — Вместе с тем в этой статье я попытался также применить к «лямбда»-переходу в жидком гелии теорию фазовых переходов второго рода. В качестве параметра порядка для жидкого гелия была выбрана... некоторая волновая функция «пси». К сожалению, я не помню в точности, в какой мере и какая именно аргументация побудила меня в дальнейшем ввести параметр порядка, равный «пси». Более важным для меня было желание объяснить поверхностное натяжение за счет градиентного члена. В квантовой механике этот член имеет вид кинетической энергии. Вот с этим я и пришел к Ландау, вероятно, в конце 1949 года. Мы были с Львом Давидовичем в хороших отношениях, я посещал его семинар и часто советовался с ним по различным вопросам. Идею ввести в качестве параметра порядка некоторую «эффективную волновую функцию сверхпроводящих электронов» «пси» Ландау одобрил и, таким образом, мы сразу же пришли к свободной энергии».

После установления уравнений Гинзбурга-Ландау или, как принято говорить в научной литературе, основных в пси-теории выражений, нужно было на их основе решать различные задачи, сравнивать теорию с опытом. Естественно, этим в основном занимался Гинзбург, систематически встречаясь с Ландау и обсуждая результаты: «Не следует забывать, что в основе всего лежала общая теория фазовых переходов второго рода, развитая Ландау еще в 1937 году, уже использованная мной для ряда случаев, а в данной работе примененная к сверхпроводимости».

Постоянно цитируемая ныне специалистами в этой области, статья В.Л. Гинзбурга и Л.Д. Ландау «К теории сверхпроводимости» поступила в печать 20 апреля 1950 года, но работа над ней заняла немало времени. Пси-теория рассматривала критическую область вблизи точки фазового перехода, где теория Ландау неприменима. В одно из основных квантовомеханических уравнений новой теории в качестве параметра входил и некий эффективный заряд e^* . Когда Гинзбург пришел к выводу, что этот заряд лежит в пределах от 2 до 3 элементарных зарядов электрона, то это показалось странным. Поскольку, как отметил Ландау, «эффективный заряд e^* не должен зависеть от координат, иначе нарушается градиентная инвариантность теории», то есть он должен быть универсальным. И только после создания теории сверхпроводимости БКШ в 1957 году, Горьков показал, что эффективный заряд e^* строго равен двум зарядам электрона — $2e$. И лишь в 1961 году были проведены соответствующие опыты, фактически определившие значение e^* .

«И последнее. Совершенно ясно с точки зрения теории БКШ, — спустя годы отметит Гинзбург, — ведь, переносятся пары электронов. Смысл этого результата в том, что речь должна идти о куперовских парах, как раз имеющих заряд $2e$. Таким образом, в смысле независимости от координат, этот заряд, действительно, универсален, но и не равен e ». «Любопытно было», — скажет он, — что такая простая мысль не пришла никому в голову, ни мне, ни Ландау. В случае Ландау это не случайно, — как уже упоминалось, в своей теории сверхтекучести он не видел связи между сверхтекучестью и бозе-эйнштейновской статистикой атомов гелия-4. Поэтому и идея «спаривания» электронов с превращением фермионов

в бозоны не возникла. Себе же я не нахожу оправдания, ибо даже отмечал, что для заряженного бозе-газа должен иметь место эффект Мейснера. Только работа Купера сделала идею спаривания популярной и непосредственно привела к созданию теории БКШ».

При разработке теории Гинзбурга-Ландау был обнаружен еще один фундаментальный параметр, влияющий на устойчивость сверхпроводящего состояния. В своей работе ее авторы рассмотрели лишь одну из областей возможных значений этого параметра, тогда как при прочих значениях должна «наблюдаться некоторая неустойчивость». Другими словами, речь изначально шла о сверхпроводниках первого рода, и было указано, что «при некотором, вполне определенном значении, наступает неустойчивость».

Лишь после работ другого Нобелевского лауреата этого года Алексея Алексеевича Абрикосова стало понятно, что при этом значении образуется некая «вихревая решетка» и сверхпроводники ведут себя так, как было в основном выяснено еще Л.В. Шубниковым с сотрудниками в 30-е годы. Ими было фактически обнаружено существование сверхпроводников второго рода, хотя это стало ясно лишь спустя два десятилетия. Именно в 1935-1936 годах Шубников (в 1937 году он был арестован и через три месяца расстрелян) и его соавторы «выявили характерное для сверхпроводников второго рода поведение ряда сплавов в магнитном поле». В 1957 году А.А. Абрикосов показал, что эта «неустойчивость соответствует возникновению смешанного состояния, где сверхпроводящая и нормальная фазы сосуществуют, а магнитный поток проникает в сверхпроводник отдельными порциями — квантами, которые образуют так называемую решетку вихрей Абрикосова. Именно это смешанное состояние реализуется в определенном интервале магнитных полей в сверхпроводниках второго рода». Впрочем оказалось, что теория, разработанная для сверхпроводников первого рода, работает еще и здесь.

Мягкие моды

Начало, середина, конец 40-х годов. Гинзбург работает с упоением. Его научные интересы и впрямь широки. Он принимает самое непосредственное участие даже в исследованиях «по теории сегнетоэлектрических явлений и мягких мод», в исследованиях ферроэлектриков. Имя его, как автора или одного из авторов «феноменологической (термодинамической) теории сегнетоэлектрических явлений, а также концепции мягких мод», отмечено во всех известных книгах на эти темы, написанных советскими коллегами. Причем, его работы «по теории сегнетоэлектричества и мягким модам» долгое время на Западе вообще не упоминались, либо вскользь, не иначе как в примечаниях, переводчиками или редакторами переводов на русский язык, «признавалось», что «теорию сегнетоэлектриков типа ВаТіОз (титаната бария) и вообще термодинамическую теорию сегнетоэлектриков разрабатывал также Гинзбург, а концепция мягкой моды принадлежит и... Гинзбургу». Между тем, его первая основополагающая работа в этой области «О диэлектрических свойствах сегнетоэлектриков и титаната бария» опубликована сразу после войны, что отмечено в знаменитом курсе Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица такими словами: «количественная теория сегнетоэлектричества может быть развита в соответствии с общей теорией фазовых переходов второго рода; это было сделано В.Л. Гинзбургом в 1945 году».

Концепция мягкой моды «выкристаллизовывалась постепенно в результате значительного числа теоретических и экспериментальных исследований». На эксперименте с мягкой модой впервые, насколько известно, столкнулись Ландсберг и Мандельштам «в ходе исследования комбинационного (рамановского) рассеяния света вблизи α - β -перехода в кварце». «Но, насколько я знаю, теория Ландау в явном виде для описания сегнетиков до моей работы 1945 года не использовалась», — напишет Виталий Лазаревич в своей статье, представляющей собой фактически доклад, подготовленный им для состоявшегося в августе 1985 года в Японском городе Кобе 6-го Международного совещания по сегнетоэлектричеству.

Трагедия ученого в данном случае заключалась в том, что на этом совещании, как и на всех предшествующих подобных форумах, присутствовать он не мог. Ему попросту не разрешили выезд из страны. Как он сам написал впоследствии: «Никаких претензий я ни к кому не предъявляю, если не говорить о советских порядках, в силу которых я не имел возможности посещать соответствующие конференции, а большую часть обсуждаемого в докладе периода даже не мог публиковать статьи на английском языке... В 2001 году я был приглашен с докладом на 10-ю Международную конференцию по сегнетоэлектричеству в Мадрид, в Испанию, и на этот раз — и таким образом, впервые — поехал на конференцию по сегнетоэлектричеству, несмотря на свои 85 лет. Соответствующий доклад опубликовал». Мы еще вернемся к этому докладу. В основном, это повтор несостоявшегося доклада в стране Восходящего Солнца. А пока — истоки.

К моменту написания его работы в 1944 году ситуация сложилась следующая. То, что «поликристаллы (керамика) титаната бария обладают очень высокой диэлектрической проницаемостью, причем она сильно зависит от температуры и имеет довольно острый максимум около 400 К», обнаружили Вул и Гольдман. Причем, скудость имеющихся данных и поликристалличность исследуемых образцов помешали им понять, что речь идет о новом сегнетоэлектрике. Продолжает Виталий Лазаревич: «Я работал и работаю в том же институте и поэтому, естественно, заинтересовался их результатами. Знал я и теорию Ландау, а также мог обсуждать возникающие вопросы с самим Ландау. Так и родилась работа «О диэлектрических свойствах сегнетоэлектриков и титаната бария», поступившая в печать 31 июля 1945 года, то есть почти 60 лет назад. В ней после краткого обзора свойств сегнетоэлектриков совершенно стандартным образом строится термодинамическая теория для перехода из непирозлектрической модификации в пирозлектрическую».

В одной из своих работ на эту тему академик приводит такой курьезный случай: «Кажется, в 50-е годы я давал по поводу пьезоэффекта в ВаTiO₃ показания в Московском суде — был у нас уже в то время договор с Америкой о взаимной юридической помощи. Так вот, некто в США, имевший какой-то патент, предъявил американскому правительству денежные требования в связи с использованием пьезоэлементов из ВаTiO₃. Однако правительство США привлекло мои показания, по сути дела работу 1945 года, для того, чтобы отклонить иск. Замечу, что я сам, хотя и являясь автором нескольких сотен статей и ряда предложений изобретательского характера, никогда никаких патентов не брал».

Кстати, очень любопытен раздел «Сегнетоэлектричество, мягкие моды и проблема высокотемпературной сверхпроводимости», отправленного в Японию доклада. Как известно, он был написан в 1985 году, а высокотемпературная сверхпроводимость открыта... два года спустя. «Я вообще не стал бы касаться проблемы высокотемпературной сверхпроводимости, — написал Гинзбург, — если бы орга-

низаторы, приглашая меня сделать доклад на этой конференции, не упомянули в качестве возможной темы «связь сегнетоэлектричества со сверхпроводимостью: есть ли она?». В конце работы, на основе своих теоретических расчетов, он напишет: «Теперь уже ясна та связь между сегнетоэлектричеством и сверхпроводимостью, которую хотелось здесь подчеркнуть. Разумеется, подобная связь между сегнетоэлектричеством и сверхпроводимостью, выраженная на языке проницаемости является косвенной, не непосредственной. То же самое можно сказать, однако, в отношении связи сегнетоэлектричества со сверхпроводимостью в терминах мягких мод, близости к структурным переходам и т.д. Оба подхода, оба языка законны и, возможно, могут способствовать пониманию проблемы высокотемпературной сверхпроводимости. Я могу лишь констатировать, что «язык проницаемости» мне ближе и более понятен».

А начинается этот последний раздел написанного в 1985 году доклада (как сам автор объяснил в Мадриде: «Раздел не опущен и совсем не изменялся, ибо по своему физическому содержанию представляется мне интересным и сегодня») таким рассуждением: «Проблема высокотемпературной сверхпроводимости состоит в выяснении возможности создать сверхпроводники или сверхпроводящие «системы», например, «сэндвичи», состоящие из слоев металла и диэлектрика, для которых критическая температура значительно выше известной в настоящее время. Проблему высокотемпературной сверхпроводимости можно в настоящее время считать открытой... Создать вещество с критической температурой большей 70 К, весьма нелегко, для этого необходимы весьма жесткие еще недостаточно ясные условия. Более того, не исключено, что создать высокотемпературные сверхпроводники в более или менее обычных условиях, скажем, без наложения очень высоких давлений, вообще не удастся».

Однако мы сильно забежали вперед. Это уже следующий немаловажный этап научной жизни и деятельности ныне всемирно известного физика-теоретика.

Меня спасла ... водородная бомба!

Вернемся прежде лет на 50 назад, например, в 1947 год. Времена сталинские. И тучи начали сгущаться над головой Гинзбурга не шуточные. Член партии с 1944 года, «настолько потерявший классовое чутье», что женился... на ссыльной. К тому же — еврей. Как оказалось — это очень существенно. А вдобавок «космополит и низкопоклонник». Сейчас мало кто помнит этот «дикий термин», но во второй половине 40-х годов он не сходил со страниц газет и повесток дня собраний. Нашлись, оказывается, плохие люди, которые стали «низко поклоняться перед иностранщиной», раболепствовать перед заграничной наукой, одновременно уничтожая отечественные ценности и интересы. Сколь многих привлекли, к так называемому, «суду чести», репрессировали, сложно сказать. И вот наступило 4 октября 1947 года. Кстати, это не только день рождения Виталия Лазаревича. Именно в этот день в «Литературной газете» появилась статья «Против низкопоклонства». В ней, «наряду с некоторыми врагами «подлинно научной» мичуринско-лысенковской биологии», как низкопоклонник был заклеимен и Гинзбург. Нельзя не отметить, что 11 видных советских физиков отправили в «Литгазету» протест, назвав обвинения против В.Л. Гинзбурга «оскорбительной клеветой». Так же отнеслась к ста-

тье и парторганизация ФИАНа в специально принятой резолюции. Но, разумеется, никаких опровержений в газете опубликовано не было.

По словам самого Виталия Лазаревича: «Идеологическая борьба с низкопоклонством набирала силу. Немедленно Высшая аттестационная комиссия не утвердила меня в звании профессора, к которому я был представлен Горьковским университетом. Мое имя пошло гулять по страницам различных приказов и статей в качестве отрицательного примера. Из Ученого совета ФИАНа меня вывели для «укрепления ученого совета». Пишу обо всем этом не из мстительности — смешно это было бы, а чтобы в какой-то мере передать колорит эпохи. А главное, сообщить такое свое убеждение: по перечисленной совокупности обстоятельств я стал верным кандидатом на арест. Спасла меня... водородная бомба».

Вероятно, не сносить ему головы, если бы как раз в 1947 году И.В. Курчатов не привлек И.Е. Тамма к ядерным делам. Тамм в свою очередь привлек к работе В.Л. Гинзбурга, А.Д. Сахарова и ряд других сотрудников своего отдела. «Вскоре я сделал одно важное предложение, другое — Андрей Дмитриевич. К сожалению, даже сейчас, когда СССР и США обмениваются военными наблюдениями, а министр обороны США недавно осматривал новое советское оружие, эти работы 40-летней давности остаются засекреченными», — спустя годы напишет Виталий Лазаревич.



Интервью в домашней обстановке с корреспондентом журнала «АТОМиУМ» Верой Парафоновой. 2001 г. Фото Андрея Соломонова.

Итак, гигантская работа по созданию советской атомной бомбы, которую с 11 февраля 1943 года возглавил И.В. Курчатов, в 1947 году была в самом разгаре. До испытательного взрыва, — 29 августа 1949 года, было, впрочем, еще далеко... Кто хоть немного интересуется физикой, знают практически всю сферу научных интересов В.Л. Гинзбурга. Но есть в его жизни и менее известные работы. Непопулярны они не потому, что малоинтересны, а в силу их сверхсекретности. Он не любит о них рассказывать. Однако, два года назад на страницах журнала «АТОМиУМ» он все-таки согласился побеседовать и ответить на вопросы. Приведу небольшую часть нашего интервью:

— **Виталий Лазаревич, в перерывах между «электродинамикой, спинами, плазмой и сверхпроводимостью» в сфере Ваших научных интересов фигурировали «астрофизика, сегнетоэлектричество, кристаллооптика» и много чего еще. Наименее освещенная сторона вашей деятельности — это работа над водородной бомбой. Поскольку вы присутствовали при рождении идеи, интересно было бы узнать, с чего вообще все начиналось?**

— Вы напрасно считаете, что я много знаю. У нас, в отличие от Америки, была фантастическая секретность. Только сейчас, спустя десятилетия, когда что-то рассекречивается, я узнаю. Но, реконструируя ситуацию, предполагаю примерно следующее. У нас были всякие шпионские данные, в частности от Фукса. Американцы тогда уже думали о водородной бомбе и какие-то проекты у них были. Эти сведения дошли до нас. Работа над атомной бомбой к тому времени шла полным ходом. Уже были видны результаты и, я так понимаю, к концу 1947 — началу 1948 годов стало ясно, что «дело выгорит» и что надо двигаться дальше. Тогда-то и было принято решение: заняться также и водородной бомбой.

Это было поручено группе Я. Зельдовича. Она находилась в институте Химической физики АН СССР. Сам Зельдович был уже на «объекте». Они разработывали некий вариант водородной бомбы, который назывался «трубой», на таком, кодовом что ли, языке. Это заполненная дейтерием «труба», с одного конца которой предполагалось произвести взрыв атомной бомбы, тогда в «трубе» пойдет реакция. Вот с чего начиналось. Но я так понимаю, что их результаты в общем были мало впечатляющими. Ничего не выходило. И действительно, ничего и не вышло. Кроме того, у наших властей была такая манера: все работы запараллеливать. И вот Игорю Евгеньевичу Тамму было поручено возглавить такую параллельную группу по водородной бомбе. Это постановление, если мне не изменяет память, вышло в 1948 году.

Почему Курчатов с самого начала не привлек его к этой работе — я так и не знаю и могу лишь высказать гипотезу. Игорь Евгеньевич был видный теоретик. До революции, однако, он был меньшевиком-интернационалистом. Брата его арестовали и расстреляли в 30-х годах. И КГБ, очевидно, возражало против него. Но в 1948 году его все-таки привлекли. Почему? Никаких оснований подозревать его в чем-то дурном не было. Это само собой. Но, кроме того, по-видимому, это дело вообще считалось не важным. Такие второстепенные, понимаете ли, задворки. Это, кстати, есть в воспоминаниях у Сахарова. Существенную роль в этом сыграл наш директор Сергей Иванович Вавилов. Он хотел, чтобы институт был привлечен, ведь с этими атомными делами тогда были связаны всякие блага — деньги давали. Совокупность всех соображений и привела к тому, что вышло постановление, в соответствии с которым Игоря Евгеньевича Тамма привлекли к этой работе.

Теперь, что касается меня. Я был заместителем заведующего, Игоря Евгеньевича, но у меня была плохая анкета. Моя жена, как вы читали, была в ссылке в это время. Поэтому, почему меня допустили, я до сих пор не понимаю. По-видимому, дело действительно считалось не таким уж важным. «Ну, пусть поработает», — так я оказался допущенным к этой работе. Ну, а дальнейшие события описаны Сахаровым. Ему пришла одна идея. Мне — другая. И с этими двумя идеями, такое было впечатление, что водородную бомбу можно сделать. Институт поэтому «вошел» с этим предложением, как говорится, в вышестоящие инстанции. И решено было делать. Это произошло примерно в 1949 или в 1950 году.

Мне вспомнился такой рассказ то ли Сахарова, то ли Тамма, не помню, кто из них мне его поведал. Когда решение было принято, и нужно было ехать на объект, их пригласил к себе Ванников. Тоже интересная личность, генерал-полковник, старый большевик. Он был начальником... в общем, Берия был главный, а под ним Ванников. Короче, пригласил он Сахарова и Тамма и начал уговаривать, чтобы они переехали в Арзамас-16, делать водородную бомбу. Но они, естественно, отговаривались, мол, мы будем приезжать, у нас здесь семьи. Зачем же туда с детьми? Тот их уговаривает, в общем, как-то течет разговор. В это время раздается телефонный

звонок. Ванников снимает трубку: «Да-а. Слушаю. Они у меня. Вот говорят, что не хотелось бы им ехать. Что они будут приезжать. Да. Хорошо. Я им скажу. До свидания». Когда он повесил трубку, он им сказал: «Это звонил Лаврентий Павлович. Он очень советует вам принять наше предложение». Ну, всё. Уехали. А я оставался здесь на свое счастье. И занимался помимо спецработы наукой. Ездил даже к жене в Нижний Новгород, поскольку ей приезд в Москву грозил двумя годами. В общем, чудеса в решетке! Она приехала в Москву только в 1953 году после очередной амнистии. Так мы и жили...»

Без квантовой механики бомбу не сделаешь

По всем показателям получается, что Гинзбургу опять фантастически повезло. На этот раз в том, что он «был признан неблагонадежным» и на объект его не допустили. Он остался в Москве, пусть и «за часовым» и все еще допущенным к менее секретной работе, хотя формально с высшим грифом «Сов. Секретно. Особая папка». Он и этому был несказанно рад, потому что таким образом получил «некую охранную грамоту» и мог ездить... к сосланной жене.

Остался он в столице во главе небольшой «группы поддержки» напишет он потом: «Нам давали задания, иногда приезжали Тамм и Сахаров. Работавшие в Москве С.З. Беленький и Е.С. Фрадкин делали весьма ценные расчеты, кажется они были связаны с ИПМ (теперь Институт прикладной механики им. М.В. Келдыша)... А поскольку «закрытой» работы после отъезда Тамма и Сахарова у меня было мало, я мог заниматься работой «для души». Дело не в том, что я манкировал, а в том, что расчеты и матфизика не моя стихия, а именно этим теперь и нужно было заниматься. Поэтому я обрадовался, когда в 1950 году по инициативе А.Д. Сахарова и И.Е. Тамма начались исследования в области управляемого термоядерного синтеза. На первом этапе это была, конечно, физическая задача, и я ей тоже занялся, кое-что сделал. Работа считалась тогда столь важной и секретной, что году так в 1952-м, или в конце 1951, меня от нее вообще отстранили. Может быть, именно поэтому после рассекречивания этой проблемы (это заслуга И.В. Курчатова, сделавшего в 1956 году в Англии свой известный доклад о термоядерной проблеме), я в 1962 году опубликовал свои старые отчеты в «Трудах ФИАН».

После отстранения от работы по термояду я, насколько помню, совсем уже ничего не делал «закрытого», собственно ничего от меня и не требовали. К сожалению, в 1955 году послали в составе экспертной комиссии во главе с И.Е. Таммом к Ю.Б. Харитону. Но меня тогда настолько все это не интересовало, что ничего даже не помню из показанного нам. После этого числился «секретным» до 1987 года — еще целых 32 года (а может быть, числось и до сих пор?). Меня много раз не пускали в этой связи за границу, мотивируя «возражениями Средмаша». Как сказано, это издевательство продолжалось до конца 80-х годов, хотя я и писал письма Брежневу, Зимянину, Рябову, не говоря уже о письмах в Президиум АН СССР. Не я один, конечно, страдал от этой идиотской секретности. Впрочем, ссылки на секретность были лишь поводом «не пущать» и, вероятно, мстить за какие-то мнимые прегрешения, фигурировавшие в доносах: а на меня их, я знаю, написано предостаточно — язык у меня длинный, да и недругов немало».

Но это уже другой вопрос. В целом же участие в «атомном проекте» для Виталия Лазаревича Гинзбурга обернулось весьма положительной стороной: «Во-

первых, это, возможно, вообще спасло мне жизнь. Дело в том, что начиная с 1947 года меня не только начали травить в печати как космополита, я должен был фигурировать в качестве одной из жертв и на Всесоюзном совещании по физике, намеченном на март 1949 года, но отмененном в последний момент. Как я слышал, это тоже заслуга И.В. Курчатова. Думаю, что женатый на репрессированной, космополит и еврей я был бы в тот период арестован и, вероятно, погиб вместе с женой. Но, как раз в этом году началась моя закрытая работа, и я тем самым получил «охранную грамоту»... Позволю себе сделать небольшое отступление, касающееся деятельности Игоря Васильевича. Его роль в создании атомного оружия хорошо известна. С моей точки зрения, его большая заслуга в привлечении к работе Тамма, несмотря на объективные и субъективные препятствия. Насколько известно, именно Курчатова в 1949 году спас советскую физику от «лысенкования». Совещание было назначено на 21 марта 1949 года, но в последний момент отменено. Имеются основания полагать, что отменил его Сталин, которому Берия сообщил о заявлении И.В. Курчатова, что «без теории относительности и квантовой механики бомбу не создашь». А ведь время было критическое: готовилось испытание первой советской атомной бомбы».

III. РЕЗУЛЬТАТ

От сверхпроводимости к сверхсекретности

Мало кому, особенно по советским временам, было известно участие Гинзбурга в создании отечественного термоядерного оружия. В 2001 году об этом уже можно было и поговорить:

— **Виталий Лазаревич, идея Сахарова — это «слойка». А ваша идея?**

— Литий-шесть.

— **Расскажите, если это не секрет.**

— Кстати, это довольно интересно. Я не собираюсь тягаться с Сахаровым, но любопытно, что его идея не пошла. Да, первая и вторая наши водородные бомбы были сделаны как «слойки». Но эту «слойку» американцы, по-моему, справедливо, называют просто усиленной обычной атомной бомбой. Просто здесь дополнительно используется еще синтез легких элементов. Помню, я как-то говорил с Сахаровым, тогда я сам не знал третьей идеи, и спросил его: «Пошло это дело?» (имелась в виду «слойка»). Он ответил: «Нет». Я даже не понял, почему? Сейчас-то я уже понимаю и скажу вам, в чем дело.

Идея «слойки» — это обычная бомба, а вокруг нее слои урана и лития-дейтерия. При взрыве уран испаряется. Когда же он испарился, то давление возрастает в 92 раза, потому что все электроны освободились. Слой дейтерия или дейтерида лития сжимается. А для того, чтобы хорошо шла реакция, и нужно, чтобы плотность была высокая. Вот идея «слойки». И такая «слойка» была сделана. И первый, и второй наш водородный взрыв считается «слойкой». Её мощность ограничена. А нужно-то было (и потом они это осуществили) получать для водородной бомбы какую угодно мощность. Это и есть третья идея. Это потом развивалось на объекте. У Сахарова это описано.

— Скажите, а почему наши бомбы получаются очень маленькие и компактные?

— Вот этого я не могу вам сказать. Я знаю, что вы имеете в виду. Их первая водородная бомба — огромная стационарная установка, кажется, на атолле Бикини построена или что-то в этом духе. Они вначале не использовали литий-6 и вообще у них какие-то трудности были. Оттого и была огромная штука, а мы сразу сделали более маленькую. Но сейчас-то, я уверен, во всяком случае, они не отстали от нас.

— Наш заряд, говорят, чуть ли не в артиллерийский снаряд умещается...

— Есть разные конструкции. Я просто, действительно, совершенно не в курсе. У нас была большая секретность. Мне не сообщали. А у меня никакого любопытства не было.

— Как вам пришла идея использовать литий?

— Все началось вот с этих реакций: $\{d + d \rightarrow 3He + n + 3,27 \text{ МэВ}\}$ и $\{d + d \rightarrow t + p + 4,03 \text{ МэВ}\}$. Первая дает гелий-3, нейтроны (n) и энергию, вторая — тритий (t), протоны (p) и энергию. Но эти реакции довольно маломощные. В это же время я вычитал, как сейчас помню в “Физик-ревью” (как это ни странно, но они — американцы — это опубликовали) про реакцию: $\{d + t \rightarrow 4He + n + 17,6 \text{ МэВ}\}$. Примерно в то же время я узнал, что сечение вот этой третьей реакции, с тритием, очень большое. Она дает гелий-4, очень много нейтронов и чуть не в сто раз большую вероятность реакции. Значит, ее-то и надо использовать. Но где взять тритий? Его в природе нет. Этот радиоактивный элемент живет где-то около 18 лет. Так что важно было заменить тритий. И единственный мой вклад во все это дело — вот эта реакция $\{6Li + n \rightarrow t + 4He + 4,6 \text{ МэВ}\}$. Литий-6 плюс нейтрон как раз дают тритий и еще какую-то энергию. Я и предложил использовать литий-6. Но в природе его в обычном литии (это в основном литий-7) содержится, я забыл точную цифру, где-то 6-7 процентов. Нужно было эти изотопы разделить.

Тут я вам приведу еще один пример нашей сверхсекретности. Через много лет, кажется, году в 1964, это значит, через 25 лет, случайно я заговорил с академиком Константиновым. Он тогда был директором Ленинградского физико-технического института, предшественник Жореса Алферова на этом посту. И он мне сообщил, что он строил завод по разделению изотопов лития-6 и лития-7. То есть занимался тем, что из природного лития выделял этот самый литий-6. Он и не знал, что это я предложил использовать литий. Вы представляете себе степень засекреченности? Вообще говоря, у нас в этом смысле, по сравнению с Америкой, было что-то чудовищное. Засекреченность фантастическая. Игорь Евгеньевич Тамм, как я сейчас узнал, тоже не знал очень многого. Ему дали задание делать эту водородную бомбу, а он, так сказать, не знал, что уже сделано, какие сведения известны и т.д.

Американцы в своих первых изделиях не употребляли литий. И потом они, когда наш взрыв произошел, в результате анализа собранных с самолета продуктов взрыва, увидели этот литий-6. Они страшно взволновались, и вообще придали этому большое значение. Что русские, мол, додумались до лития-6.

Так вот, суть в том, что если сделать слои легкого вещества из лития-6, когда идет атомная реакция от обычной бомбы, то нейтроны, взаимодействуя с литием, дают тритий, а тритий с дейтерием как раз и «загорается» — это и есть водородная бомба. Так что мой вклад, повторяю, состоит в том, чтобы использовать

литий-6. Я не придаю этому большого значения, так, идея некая, но она сыграла, фактически, важную роль. Объективно же — это мелкое инженерное предложение. Я вообще не ценю всех этих идей: и Сахаровской и своей. Это не есть что-то такое весомое, какая-то великая идея. Вот вы вчера были на семинаре. Слушали доклад: «Теория струн. Теория поля». Даже я ничего не понял. А вы и подавно. Заоблачные дали. А тут просто — взяли литий-6 и всё.



Участникам семинара зачитывается сообщение из зарубежной прессы.
2001 г. Фото Андрея Соломонова.

— **Кстати, Виталий Лазаревич, «теория струн» — это что такое?**

— О!!! Послушайте, давайте не будем. Это я и сам не понимаю. Ну, некие попытки выйти за пределы существующей теории. Нельзя объять необъятного...

— **Вы занимались еще термоядерными реакторами.**

— Да. Это тоже не лишено интереса. Когда я «сидел» в Москве, приехал как-то Сахаров и рассказал историю, довольно любопытную. Она связана с Олегом Лаврентьевым. Этот солдат срочной службы прислал Сталину и вообще в ЦК партии всякие предложения: как сделать, во-первых, водородную бомбу — глупости какие-то у него там были и, кроме того, как использовать энергию синтеза легких элементов. Это дело попало на отзыв Сахарову. И в отзыве он указал, что, конечно же, так делать нельзя, нужна магнитная изоляция...

— **Лаврентьев электрическое удержание плазмы предлагал?**

— Да, электрическое. Я подробности всей этой истории сейчас не помню. Но, во всяком случае, Сахаров и Тамм загорелись термоядом. А поскольку мне особенно «по бомбе» делать было нечего, я этим термоядом занялся тоже. И вот что еще очень интересно. Я считал, что наши руководящие товарищи мечтают об этом термояде для того, чтобы получать энергию. А Головин, был такой Игорь Николаевич Головин, заместитель Курчатова в Институте атомной энергии, он мне как-то уже через много лет раскрыл глаза. На самом деле ни о какой энергии никто даже и не думал, — это было просто для того, чтобы с помощью этой реакции, которую вы знаете, получать как можно больше трития. Тритий был нужен. Короче говоря, начали называть это «термояд»...

— **Сейчас существуют самые разные, если можно так сказать, термоядерные направления. На Ваш взгляд, какие из них наиболее перспективны?**

— Вообще термояд — это очень сложно. Тогда, когда была сверхсекретность, казалось, через два-три года что-то выйдет. Вы же видите — прошло 50 лет. А установки для получения энергии нет. Это страшно дорогое, сложное дело. Но я уверен, тем не менее, что сделать можно. Это не тайна природы, понимаете? Но технически очень сложно.

И опять роковые пятидесятые. В 1952 году вновь начались угрожающие осложнения, когда некоторые собственные отчеты по управляемому термоядерному синтезу Гинзбургу перестали выдавать: «Как напишет Сахаров в главе 11 «Воспоминаний», в начале марта 1953 года «были подготовлены эшелоны для депортации евреев и напечатаны оправдывающие эту акцию пропагандистские материалы». К сожалению, других точных сведений на этот счет у меня нет. Не знаю, какая мне была уготована судьба — остаться в какой-то «шарашке» на правах еще «нужного еврея» или уехать в обреченном на гибель эшелоне. К счастью, не довелось Сталину осуществить свои последние безумные планы».

Как он сам рассказал: «В 1955 году, когда Сталина уже не стало, секретность немножко ослабла, и меня даже один раз послали в составе комиссии, по-видимому, проверять ту самую «третью идею», уже современную. Но мне это было так неинтересно, что я даже не понял в чем дело. В составе группы я поехал на несколько дней в тот самый, как он теперь называется? Саров, кажется. Это вообще впечатление. Это охранялось, как граница. Летели на самолете. Приземлились. Вспаханная полоса. Ряды колючей проволоки. Несколько дней ходили. Что-то там такое. Я даже не помню, что мы там узнавали. Я вам что хочу сказать? И за это ничегонеделание в течение нескольких дней я получил орден Трудового Красного знамени. Вы понимаете? Да за него тогда человек мог всю жизнь трудиться! Вот так они раздавали награды: трижды Герой, четырежды Герой... Товарищ Сталин просто так хотел бомбу, что он их осыпал прямо золотым дождем, когда взорвалась первая, во водородная, а обычная бомба.

А когда «водородка» вспыхнула, меня тоже наградили. Я получил орден Ленина. За лигий фактически. Меня избрали членом-корреспондентом Академии наук. Я не понимал — за что меня выбрали? Я был гонимый человек. Считался низкопоклонником. Жена сослана. Меня вывели из ученого Совета ФИАН «для укрепления ученого Совета ФИАН», такая была формулировка. А потом вдруг наградили. Героя, конечно, не дали, потому что «нечист», орден Ленина — ступенькой ниже, но премию в два раза больше обычной — 200 тысяч рублей. Это называлось Сталинская премия первой степени. И с 1953 года из гонимого человека, который «висит на волоске», я стал более-менее таким вот заслуженным товарищем. Деньги дали. Главное, жена вернулась. Так что началась человеческая жизнь. Стал членом-корреспондентом. Несомненно, здесь тоже сыграла роль указанная «закрытая» работа, хотя я и без того был автором многих (и позволю себе сказать, в ряде случаев неплохих) работ. Но кто бы стал меня выбирать, если бы не одобрение И.В. Курчатова? Надеюсь, история создания нашей «водородки» в конце концов будет опубликована, ведь, скрывать все это сейчас просто абсурдно.

Главное же после смерти Сталина и расстрела Берии во многом изменилась ситуация в стране. Не место здесь об этом писать. Замечу лишь, что вплоть до знаменитого доклада Хрущева в 1956 году я, как и очень многие, все же продолжал не понимать истинную роль Сталина в осуществлении уже ставших известными зверств. И стыдно мне за эту слепоту. Прозрение я переживал тактяжело, что забыл о всякой осторожности и привлек к себе внимание КГБ. Ряд знакомых стали нас с

женой избегать и, как потом удалось выяснить, дело было в том, что их вызывали «куда следует» и требовали сведений обо мне. Но уже ослабла карающая рука и, по крайней мере, людей моего ранга за одну болтовню в кругу советских людей в тюрьму или психушку не сажали». В общем, только к 1954 году превратился Виталий Лазаревич Гинзбург «из полуопального человека даже в персону».

С тех пор жизнь потекла, в основном, нормально.

«Сахаризация» процесса

Единственное, в чем Гинзбург серьезно пострадал, так это в заграничных поездках. Ссылаясь на секретность, его часто не пускали за рубеж. И он, естественно, многое потерял, не имея возможности присутствовать на научных конференциях, на которые со всего мира получал приглашения. По его убеждению, «ссылки на секретность были лишь предлогом». Более осведомленные в секретных делах ездили значительно свободнее. Впрочем, в 60-е годы и он «кое-где побывал» и «пару раз даже с женой» — редкая привилегия в советское время. Но и это вскоре закончилось «в силу каких-то доносов», а затем в связи с близостью... к Сахарову.



Нина Ивановна и Виталий Лазаревич Гинзбурги в пресс-центре газеты «Известия». 2004 г. Фото автора.

Здесь речь не о какой-то личной близости. Все дело в том, что с 1971 года Виталий Лазаревич стал заведывать Отделом теоретической физики имени И.Е. Тамма ФИАНа. А Сахаров с середины 40-х годов и вплоть до своей кончины (за исключением нескольких лет, когда он работал в Арзамасе-16) был сотрудником этого отдела. Он вернулся в ФИАН в 1969 году. Потому, видно, в 1971 году и начались новые неприятности. Но это не была уже «угроза для жизни»: «Меня опять почти перестали пускать за границу. Например, я не смог сам произнести свою Дарвиновскую лекцию. И она была прочтена на заседании Королевского Астрономического Общества по заранее отправленному мной тексту...» «Лишь после запросов «на самый верх», после нескольких возмущенных писем, мне все же несколько раз удалось поехать на международные конференции. Но обычно происходило это «с такой трепкой нервов, что и врагу не пожелаешь». «Лишь с 1987 года я езжу за границу без чрезвычайных трудностей, хотя, как обычно, с массой бюрократических препон... Как видно из сказанного, лишь в 1987 году я избавился (навсегда ли?) от «внешних» трудностей. Зато в силу своеобразного «закона сохранения» возросли,

так сказать, «внутренние» затруднения. Дело в том, что начиная лет так с 65 все труднее плодотворно работать, хотя я и стараюсь преодолеть это препятствие».

Вообще в отделе к Сахарову относились вполне лояльно. Даже, когда он был в 1980 году выслан в Горький, по инициативе коллектива он остался сотрудником отдела. И с разрешения властей коллеги к нему ездили. Когда Сахаров в самом конце 1986 года вернулся в Москву и появился в отделе в самый день своего приезда, он был тепло встречен. Затем была знаменитая встреча в переполненном актовом зале ФИАНа. Как заведующему отделом, Гинзбургу, естественно, пришлось много заниматься «делом Сахарова». «Никаких направленных против Сахарова «писем» я не подписывал, старался ему помогать и дважды навещал в Нижнем Новгороде во время ссылки, — напишет Гинзбург. — Отнюдь не ставлю это себе в заслугу, хочу лишь объяснить, почему не был у властей в фаворе. Думаю, что я сделал все, что мог и упрекнуть мне себя не в чем, в целом же об этом должны судить другие».

Как все-таки повлияли пережитые тяжелые испытания на мою научную работу? — задал однажды такой вопрос самому себе Виталий Лазаревич и написал: «Напрашивается простой ответ — в лучших условиях удалось бы больше сделать. Но, честно говоря, я в этом не уверен. Ведь всю свою «рабочую жизнь», с 1938 года, я мог почти без перерывов заниматься чем хочу, не заботясь о куске хлеба, пусть и не всегда с маслом. Это во-первых. А во-вторых, и это типично и для многих моих товарищей, наука и занятия ею занимали в нашей жизни огромное место, это было одновременно и работой, и хобби, и отдыхом, и даже наркотиком. Думаю, что живи я в лучших условиях, был бы, возможно, счастливее, больше отдыхал и повидал. Но интеграл от научной деятельности, если можно так выразиться, вполне вероятно не был бы большим, чем он есть».

Итак, Виталий Лазаревич Гинзбург к середине прошлого столетия, кроме многочисленных полученных научных результатов в области радиоастрономии, космического радиоизлучения, происхождения космических лучей и прочих научных дисциплин, успел издать статьи «о теории частиц с высшими спинами, о квантовой теории эффекта Вавилова-Черенкова, опубликовать работы по акустике, спектроскопии, кристаллооптике, рентгеновской и гамма-астрономии, радиофизике». Совместно с Л.Д. Ландау в 1950 году он построил полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости — теорию Гинзбурга-Ландау, совместно с Л.П. Питаевским в 1958 году — полуфеноменологическую теорию сверхтекучести — теорию Гинзбурга-Питаевского. В теории фазовых переходов второго рода в 1960 году вывел критерий применимости среднего поля, так называемый критерий Гинзбурга. Вообще «функционал Гинзбурга и критерий Гинзбурга в теории фазовых переходов — это едва ли не самые цитируемые и «активно работающие» в самых разных областях теоретической физики представления». А знаменитое уравнение Гинзбурга-Ландау — основа феноменологической теории сверхпроводимости? Без того понимания, которое возникло при формулировке, решении и анализе этого уравнения, было бы просто невымыслимо развитие теории и технологических применений этого замечательного и важного явления.

ВТСП, КТСП, далее везде

Казалось бы и этого уже достаточно для активной научной жизни. Однако с 1964 года он увлечен проблемой высокотемпературной сверхпроводимости. Приведу небольшой фрагмент нашей беседы, состоявшейся в 2001 году:

— Виталий Лазаревич, поскольку все-таки сложно «объять необъятное» — чем вы только ни занимались в науке, скажите, а самая интересная область из тех, которым вы посвятили свою научную жизнь, какая?

— Мне больше всего нравится сверхпроводимость. Здесь я больше всего и достижений имел. С 1964 по 1986 год я был очень увлечен проблемой высокотемпературной сверхпроводимости — ВТСП, но открыли в итоге не мы.

— Однако плодом широко развернутых с начала 70-х годов исследований проблемы высокотемпературной сверхпроводимости в Отделе теоретической физики ФИАН, стала первая в мировой литературе монография на эту тему «Проблема высокотемпературной сверхпроводимости» под Вашей редакцией.

— Ее создавала целая группа авторов теор-отдела ФИАН, а редактором был также Д.А. Киржниц. Эта книга вышла в 1977 году на русском и в 1982 году — на английском языках.

— А что Вы можете сказать по поводу комнатнотемпературной сверхпроводимости?

— У специалистов, работающих в области сверхпроводимости, имеется некая привлекательная цель, можно сказать, мечта. Если до 1987 года такой мечтой было создание ВТСП — высокотемпературных сверхпроводников, то теперь мечта — создание комнатнотемпературных сверхпроводников — КТСП. Это как раз не требует каких-то фантастических установок. Если такое вещество вообще существует. Но мы не знаем, — есть ли оно?

Проблеме высокотемпературной сверхпроводимости отдано немало лет — почти четверть века: «22 года высокотемпературная сверхпроводимость была для меня мечтой, думать о ней было чем-то вроде азартной игры, — написал Виталий Лазаревич в одной из своих статей. — Сейчас это огромная область исследований, ей посвящены десятки тысяч работ, ею в том или ином плане занимаются сотни, если не тысячи людей. Многое сделано, но очень многое не сделано. Ведь нет еще достаточной ясности даже в вопросе о механизме сверхпроводимости в ВТСП-купратах, тем более не ясны многочисленные частные вопросы. Среди них первое место занимает вопрос о максимально достижимом значении критической температуры в не слишком экзотических условиях, скажем, при атмосферном давлении и для устойчивого материала. Можно задать вопрос о возможности создания сверхпроводников с критическими температурами, лежащими в области комнатных температур. В принципе КТСП возможна, но никакой гарантии на этот счет нет. Сегодня проблема комнатнотемпературной сверхпроводимости заняла место, принадлежавшее проблеме ВТСП до середины 80-х годов. Остается лишь с нетерпением ждать развития событий».

И тут, как определил это явление Виталий Лазаревич, возник некий «ВТСП психоз». Одним из проявлений бума стало, по его мнению, почти полное забвение всего того, что делалось до 1986 года: «Ведь, проблема ВТСП родилась отнюдь не в 1986 году, а, по крайней мере, на целых 22 года раньше — на современном уровне ее впервые в 1964 году поставил В. Литл. Он же задал вопрос, почему критическая температура известных тогда сверхпроводников не высока? И указал возможный

путь повышения критической температуры вплоть до комнатной и более высоких температур. Именно он предложил заменить электрон-фононное взаимодействие, приводящее к сверхпроводимости в модели Бардина, Купера и Шриффера (БКШ), взаимодействием электронов проводимости со связанными электронами или с экситонами. Литтл предложил создать «экситонный сверхпроводник» на основе органических соединений, построив длинную проводящую (металлическую) органическую молекулу («spine»), окруженную боковыми «поляризаторами» — другими органическими молекулами».

Работа Литтла привлекла большое внимание. Гинзбург, в частности, предложил несколько иной вариант, заменив «квазиодномерную проводящую нить в модели Литтла на квазидвумерную структуру — «сэндвич». То есть проводящую тонкую пленку, находящуюся между диэлектрическими пластинками — «поляризаторами», о чем сообщил в своей статье «К вопросу о поверхностной сверхпроводимости». В ней, в частности, предполагалось «для повышения критической температуры использовать диэлектрические покрытия металлических поверхностей». Подчеркивалось, что «квазидвумерные структуры выгоднее квазиодномерных структур в связи со значительно меньшей ролью флуктуаций».

Так Гинзбург и Литтл в 1964 году «независимо высказали идею о возможном нефононном механизме сверхпроводимости в так называемых низкоразмерных (квазиодномерных или квазидвумерных) системах. Было показано, что замена фононов на экситоны (подсистемы связанных электронов) в принципе позволяет повысить температуру сверхпроводящего перехода до 50-500 К». Однако, поиск подобных сверхпроводников успехом пока не увенчался.

В рассматриваемой Гинзбургом модели квазидвумерного сверхпроводника-«сэндвича», представляющего собой тонкую сверхпроводниковую пленку, расположенную между слоями диэлектрика, по его представлению, электроны должны взаимодействовать не с фононами, энергия которых ограничена уровнем температуры Дебая, а с определенными квазичастицами — экситонами. Поскольку наиболее перспективные современные высокотемпературные сверхпроводники: ВТСП-купраты изначально представляют собой непроводящую диэлектрическую слоистую основу из оксида меди CuO с примесями различных металлов, это предположение весьма важно. Ведь, сильно обособленный класс материалов, купратные высокотемпературные сверхпроводники, способствуют и поныне не прекращающимся спорам об истинных механизмах сверхпроводимости, которые начались сразу же после их открытия.

«Стопка» сэндвичей — это «слойка»

В дальнейшем в известной монографии, вышедшей под редакцией В.Л. Гинзбурга и Д.А. Киржница, «Проблема высокотемпературной сверхпроводимости», Виталий Лазаревич «вплотную занялся проблемой ВТСП, сконцентрировав внимание на «сэндвичах» — тонких металлических пленках в диэлектрических или полупроводниковых «обкладках», а также на слоистых сверхпроводящих соединениях — этих как бы «стопках» сэндвичей». Эта книга занимает особое место в ряду выпущенных за полвека работ на эту тему. Во-первых, это плод усилий целой группы сотрудников теор-отдела ФИАНа, в течение нескольких лет «штурмовавших» проблему ВТСП. Опубликованная на русском языке и переведенная на

английский язык, эта монография была по сути первой и практически в течение десяти лет единственной из работ, посвященных этой теме. В ней рассмотрен целый спектр возможных путей получения ВТСП. Приведу заключение из этой книги, причем, написано это было в 1976 году:

«Из общих теоретических соображений мы в настоящее время считаем наиболее разумной оценку критической температуры меньшей или равной 300 К, причем, конечно, речь идет о материалах и системах, находящихся в более или менее нормальных условиях (равновесные или квазиравновесные металлические системы при отсутствии давления или под сравнительно небольшими давлениями и т.п.). При этом если не говорить о металлическом водороде и, быть может, органических металлах, а также полуметаллах, находящихся вблизи области электронных фазовых переходов, то предполагается использовать экситонный механизм притяжения между электронами проводимости. В этом плане наиболее перспективными с точки зрения возможности повышения критической температуры представляются, по-видимому, слоистые соединения и «сэндвичи» диэлектрик-металл-диэлектрик. Однако состояние теории, не говоря уже об эксперименте, далеко еще не такое, чтобы можно было считать закрытыми и другие возможные направления, в частности использование нитевидных соединений. Более того, при современном состоянии проблемы высокотемпературной сверхпроводимости наиболее правильным и плодотворным представляется непредвзятый подход, попытки продвинуться вперед в самых различных направлениях.

Исследования проблемы высокотемпературной сверхпроводимости вступают во второе десятилетие своей истории (если говорить о сознательном поиске веществ с критической температурой более 90 К при использовании экситонного и других механизмов). Одновременно, как можно полагать, начинается новый этап этих исследований, характеризующийся не только большим размахом и разнообразием, но и значительно лучшим пониманием возникающих задач. Никакой гарантии, что прилагаемые усилия приведут к существенному успеху, все еще нет, но ряд новых сверхпроводящих веществ уже созданы и исследуются. Поэтому в любом случае трудно сомневаться в том, что дальнейшее исследование проблемы высокотемпературной сверхпроводимости принесет много интересного для физики и техники, даже если и не будут созданы материалы, остающиеся сверхпроводящими при азотных температурах (или, тем более, при комнатных температурах). Впрочем, как подчеркивалось, и подобная конечная цель ни в какой мере не кажется нам дискредитированной. Ближайшее десятилетие, как можно думать, явится решающим для проблемы высокотемпературной сверхпроводимости».

Время шло, а довольно «многочисленные попытки создать ВТСП надежным и воспроизводимым образом» к успеху не приводили. В результате «после некоторой вспышки активности наступило затишье», что дало Гинзбургу повод в его популярной статье «Высокотемпературная сверхпроводимость», опубликованной в 1984 году, охарактеризовать сложившуюся ситуацию таким образом: «Как-то получилось, что исследования в области высокотемпературной сверхпроводимости оказались немодными. Трудно чего-либо добиться уговорами. Обычно лишь какой-то явный успех (или сообщение в печати, пусть и неточное, о таком успехе) может совершенно, и притом быстро, изменить ситуацию. Почувствовав «запах жаренного», вчерашние скептики или даже хулители способны превратиться в рья-

ных сторонников нового направления. Короче говоря, поиски высокотемпературной сверхпроводимости, особенно при существующих неясностях в области теории, вполне могут привести к неожиданным результатам, к открытиям». И уж никак не ожидал он, что это «предсказание» сбудется всего через два года.

И это при том, что современное состояние теории твердого тела и, в частности, теории сверхпроводимости, по мнению В.Л. Гинзбурга: «Не позволяет вычислить критическую температуру или хотя бы достаточно точно и определенно, особенно в случае сложных материалов, указать, какое именно соединение нужно исследовать. Поэтому теоретики не могли подсказать экспериментаторам, как и где искать ВТСП лучше и надежнее, чем это было сделано в монографии. К оксидам принадлежит соединение (LBCO), обнаружение в котором в 1986 году сверхпроводимости с критической температурой около 30-40 К считается открытием ВТСП. Однако и сейчас хотя бы грубо предсказывать значения критической температуры для определенного материала не удается и, более того, еще не ясен даже сам механизм сверхпроводимости в купратах, в частности в наиболее хорошо исследованном соединении (YSCO) с критической температурой около 90 К».

Наравне с другими учеными, Виталий Лазаревич Гинзбург продолжал искать иные механизмы «возникновения сверхпроводимости помимо электрон-фононного взаимодействия», которые могли бы позволить получить сверхпроводящие материалы при температурах выше 100 Кельвинов. В статье «Сверхпроводимость и сверхтекучесть», имеющей второе название, «что удалось и чего не удалось сделать», он пишет: «Здесь не место сколько-нибудь подробно останавливаться на современном состоянии проблемы ВТСП. Ограничусь несколькими замечаниями. ВТСП-купраты на первый взгляд сильно отличаются от «обычных» сверхпроводников. Это обстоятельство породило мнение, согласно которому ВТСП-купраты представляют собой нечто особенное — то ли теория БКШ к ним неприменима, то ли, уж во всяком случае, в них действует нефононный механизм спаривания. Никакого монопольного положения фононный механизм не занимает. Возможны, в принципе, экситонный (электронный) механизм, механизм Шафрота (образование пар с последующей их бозе-эйнштейновской конденсацией), спиновый механизм (спаривание за счет обмена спиновыми волнами или, как иногда говорят, за счет спиновых флуктуаций), а также некоторые другие. Поскольку я всегда пропагандировал экситонный механизм, то был бы только рад, если бы именно он действовал в ВТСП. Но нет уверенности, что это так. Вопрос все еще открыт».

И продолжает: «Мы не знаем никаких запретов общего характера, препятствующих действию экситонного механизма. Но проявиться экситонному механизму действительно нелегко, для этого нужны какие-то специальные условия, недостаточно еще ясные... Наивысшая зафиксированная сейчас критическая температура достигает 164 К. Такое значение получить при фононном механизме еще можно. Но, если будут достигнуты критические температуры, превышающие 200 К, то фононный механизм уже вряд ли достаточен. Для экситонного же механизма даже комнатные температуры не предел. Поиски ВТСП со все более высокими критическими температурами, конечно, ведутся и будут вестись. Мне по-прежнему кажется, что наиболее перспективными в этом отношении являются слоистые соединения и «сэндвичи» диэлектрик-металл-диэлектрик. При этом естественно использовать технику atomic layer-by-layer synthesis. Роль диэлектрика в таких сэндвичах могут, в частности, играть органические соединения. Впрочем, открывающееся количество возможностей здесь поистине безбрежно».

Теорсеминар и... терроризм

21 ноября 2001 года, Виталий Лазаревич поблагодарил всех присутствующих в этот день в актовом зале ФИАНа и... закрыл свой знаменитый «семинар Гинзбурга» навсегда. Причина банальна: незадолго до этого события академику исполнилось 85 лет. Вообще-то юбилейный 1700-й «Общемосковский семинар по теоретической физике» был намечен на 31 октября, но был сорван: некто сообщил в милицию, «что здание ФИАНа заминировано». Приехавшие многочисленные участники, да и просто желающие на нем побывать, полдня провели за воротами института и отправились по домам. Случайность то была или не случайность? Просто хулиганский поступок или желание насолить почитаемому научной публикой Физики? Осталось тайной.

А семинар был действительно популярен. Даже шутка такая среди физиков бродила: «Вы не подкажете, где находится универмаг «Москва»? «А-а это напротив здания, где проходят семинары Гинзбурга», — звучит ответ. Шутки шутками, но, как говорится, «в каждой шутке есть лишь доля шутки». А если уж совсем серьезно, то родился Общемосковский семинар то ли в 1955, то ли в 1956 годах — сейчас никто и не помнит. Нумеровать заседания тоже стали не сразу. Это ли важно? Как написал сам Гинзбург: «До середины 50-х годов в теоретическом отделе ФИАН был только один семинар «по вторникам», руководимый И.Е. Таммом. В основном он был посвящен физике элементарных частиц, сейчас более распространено название «физика высоких энергий». Я же организовал небольшой семинарчик «по средам» с довольно широкой тематикой, но без физики высоких энергий».



На одном из заседаний знаменитого теоретического семинара.
Конференц-зал ФИАН, 2001 г. Фото Андрея Соломонова.

Впоследствии на этом «небольшом семинарчике у Гинзбурга» можно было не только узнать практически все последние научные новости в области физики и астрофизики, но и прослушать один-два интереснейших доклада с самого переднего фронта науки, читаемых специалистами из числа жителей и гостей столицы. Ведь мало, наверное, найдется тем, с которыми хотя бы косвенно не соприкоснулся в своей долгой научной жизни известный физик и астрофизик. На семинарах это особенно чувствовалось. Однажды Виталий Лазаревич даже составил список «особенно важных и интересных проблем» в области макро-, микро- и астрофизики. Список получился внушительным и далеко не полным, и его назвали «физминимум Гинзбурга».

Сам автор при «составлении некоторого списка проблем, представляющихся в данное время наиболее важными и интересными», присвоил ему модное ныне наименование «проект». По этому поводу, буквально сразу после появления первой подобной «классификации» Гинзбурга в печати, один из его старших товарищей сказал: «Если бы Вы написали эту статью до избрания академиком, то никогда бы им не стали». Возможно, он и прав, согласился автор, но все же больше понадеялся на широту взглядов своих коллег. Ведь выделение «особенно важных» проблем носит, конечно же, субъективный отпечаток. И тем не менее, по его мнению «эти проблемы должны в первую очередь обсуждаться или комментироваться в специальных лекциях или статьях, ведь формула «все об одном или кое-что обо всем» весьма привлекательна, но уже нереальна — за всем не угонишься». Такой список, естественно, меняющийся со временем и составляет, по его убеждению, некий «физический минимум». В него включены темы, о которых каждый физик должен иметь хотя бы некоторое представление, то есть хотя бы знать, о чем идет речь.

Интересующихся можно отправить к известной книге академика «О физике и астрофизике» или к статье «Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века?», последний вариант которой помещен под №1 в третьем издании книги «О науке, о себе и о других» (2003 год). Начинается она словами: «Скорость развития науки в наше время поражает. Буквально в продолжении одной-двух человеческих жизней произошли гигантские изменения в физике, астрономии, биологии, да и во многих других областях...»

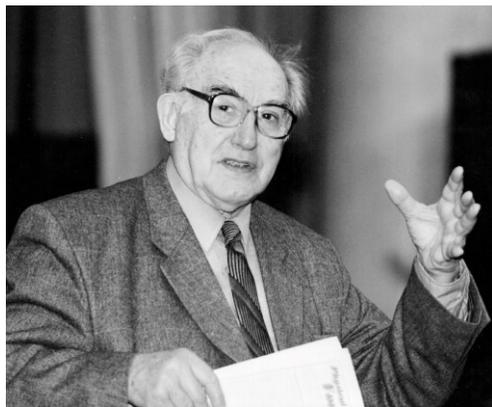
Главная трудность на этом пути, по мнению Гинзбурга, связана «с гигантским увеличением накопленного материала, объема информации». «Физика так разрослась», что, по его образному выражению, «за деревьями трудно разглядеть лес», трудно охватить мысленным взором картину современной физики как целого. Между тем у физики есть стержень — это фундаментальные понятия и законы, сформулированные в теорфизике. Однако, «все эти книги не могут отражать последнего слова в науке, по ним трудно, если не невозможно чувствовать биение пульса научной жизни». Такой цели, как известно, служат семинары. Сам Виталий Лазаревич руководил в ФИАНе одним из таких семинаров более 40 лет... Постепенно семинар разросся. А последнее его заседание началось с доклада академика под общим названием «Недодуманное, недоделанное...» Что опять же породило среди физиков шутку — после того, как один из учеников Виталия Лазаревича, получив от него препринт в подарок, передал его своим сотрудникам с резолюцией: «Додумать, доделать».

Сам автор объяснил все, как всегда, просто: «Моей особенностью, в известной мере недостатком, всегда являлось стремление поскорее окончить рассмотрение задачи или вопроса, которыми занимался в данный момент. Совсем «кончить» почти никогда нельзя. Для меня каким-то условным окончанием значило написать соответствующую статью. При этом «подпирало» желание рассматривать уже другие задачи, стоявшие «на очереди». И отсюда некоторая спешка. В итоге часто оставалось что-то недодуманное, недоделанное. Конечно, это плохо. Но, в то же время, это естественная цена за сохранение темпа и известной эффективности в работе. Кроме того, иногда речь шла о понимании, что дальнейшее развитие в данном вопросе мне «не по зубам». Некоторые в такой ситуации не понимают, что найти решение им не по силам и годами бьются головой о стенку. Такое поведение заслуживает даже известного уважения, и иногда может, в конце концов, принести блестящие плоды. Каждый сам решает, как себя вести. Я, во всяком случае, наткнувшись на стенку, отступал и начинал заниматься чем-то другим. Иной, чаще встре-

чающийся случай, когда я «недодумывал, недоделывал», был связан просто с пониманием, порой обманчивым, что двигаться дальше в данном направлении мало интересно, и имеет лишь, так сказать, «академический характер». Поэтому бросал, ведь всего объять невозможно. Пример: исследование излучения Вавилова-Черенкова для мультиполей. И таким образом, остался ряд вопросов и задач, которые, по моему мнению, заслуживают рассмотрения, но ими заниматься, очевидно, уже не смогу, да и в большинстве случаев и не хочу. Вот я и перечислил некоторые из этих вопросов в письменном виде».

В этом списке Гинзбурга оказались: релятивистские уравнения для частиц с высшими спинами и «внутренними» степенями свободы; принцип эквивалентности в ОТО (общей теории относительности) и излучение равномерно ускоренного заряда; увлекаемое поперечное магнитное поле и его квантование; эффект Вавилова-Черенкова; сверхдиамагнетизм; ферротороики; сверхтекучесть — пси-теория вблизи «лямбда»-точки и термоциркуляционный эффект; сверхпроводимость — обобщение пси-теории, а также ферромагнитные сверхпроводники; термоэлектрические эффекты в сверхпроводящем состоянии и, наконец, КТСП — комнатнотемпературная сверхпроводимость.

«Кстати, я мог бы значительно расширить список упоминаемых задач, — прокомментировал Виталий Лазаревич, — особенно за счет астрофизики космических лучей, распространения радиоволн и др., но не стал этого делать — ведь моей целью отнюдь не было стремление к какой-то полноте. Хочу настоятельно подчеркнуть также, что за одним, пожалуй, исключением (имеется в виду КТСП), речь идет не о «мировых проблемах», то есть принципиально важных проблемах физики, а о частных, если хотите, «приземленных» конкретных вопросах. Что касается «великих проблем», то мне о них нечего сказать по существу дела. Перечисление же их в известной мере содержится в статье «Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века?»



А теперь итоги очередного заседания теорсеминара.
2001 г. Фото Андрея Соломонова.

Затем академик перешел к изложению принципа эквивалентности в общей теории относительности, сопроводив доклад словами: «В великом Курсе Ландау-Лифшица ОТО называется «самой красивой из существующих физических тео-

рий». Я полностью разделяю это мнение, хотя у более молодого поколения физиков, возможно, и другие вкусы». Разумеется, ОТО это физическая теория, но она столь тесно связана с астрономией, что ее можно отнести и к астрофизике... Потом прозвучали выступления участников семинара, после чего и состоялось его «историческое» закрытие. Практически сразу после окончания к его бессменному руководителю «начали обращаться с вопросами и даже упреками».

«Один экзальтированный физик прислал даже письмо, — написал Виталий Лазаревич в препринте «Семинар 1700-й и последний», — обвиняя меня в предательстве дела всей моей жизни, ибо я резко закрыл семинар, не обеспечив преемственности и, так сказать, «наследника». Должен, во-первых, заметить, что не считаю семинар «делом всей моей жизни», а лишь одним из элементов нормальной работы. Во-вторых, и это важно по существу, ко мне сразу же подошли несколько человек, и мы начали обсуждать возможности сохранения семинара в какой-то новой форме. В силу сказанного, не испытываю никаких утрызений совести в связи с тем, что закрыл «свой» семинар.

Закрыть семинар я решил уже довольно давно, но выдержал характер и заранее рассказал об этом только жене и дочери. Причина проста: хотелось сделать дело резко, неожиданно, а не заниматься тяготиной, заранее обсуждая некоторые последствия и растворяв действительно существующую проблему в болтовне. А проблема состоит в том, что в теоретическом отделе ФИАН (теперь официально, Отделении теоретической физики имени И.Е. Тамма) нужно иметь некоторый общий, «большой» семинар. Эту роль когда-то играл вторичный семинар Игоря Евгеньевича. Но отдел разросся, а тонус научной жизни в отделе, да и в России вообще изменился не в лучшую сторону: интерес к науке упал, у многих появилось какое-то безразличие к работе. Здесь, однако, не место развивать и анализировать этот момент. Я хочу лишь отметить, что мне непонятен и, прямо скажу, несимпатичен как специалист, физик или астроном, интересующийся лишь какой-то узкой проблемой или областью, и не жалующийся хотя бы бегло следить за развитием и достижениями физики и астрономии в целом. Конечно, бывают исключения, а о гениях судить вообще не берусь. Так или иначе, для отдела, для его успешной работы и, в частности, воспитания молодежи, необходимо иметь общий семинар...

Термоэффект в нобелевском исполнении

Два года назад на мой вопрос, доволен ли он своей жизнью, Виталий Лазаревич Гинзбург ответил: «Сейчас я пишу статью о Планке. И когда сравниваешь себя с великими людьми, видишь, что ты — ничтожество. Вообще уровень таких людей, как Эйнштейн, — это вообще что-то недостижимое. Ну, конечно, я довольно много сделал. Даже больше, чем это отвечает моим способностям. Но это связано с тем, что я люблю науку и люблю работать». Сейчас, став уже Нобелевским лауреатом, он сказал: «Вообще учтите, что я абсолютно не лезу в великие ученые. Но я вот, понимаете, 60 лет трудился и науку я люблю. Я не за премию работал и не к премии стремился».

Так получилось... Но этого и следовало ожидать. Объять необъятное, конечно, невозможно. И мало, наверное, найдется людей, которые все-таки вольно или невольно стремились к этому. Виталий Лазаревич из этой скромной когорты. Потому, видно, и тревожит его то, что он не успел, не смог, не осилил. Свою работу,

в которой он рассуждает о том, «что удалось и чего не удалось сделать», он заканчивает словами: «Цель настоящей статьи будет достигнута уже в том случае, если она поможет обратить внимание на эти проблемы как теоретиков, так и экспериментаторов».

Однажды он так ответил на вопрос журнала «Physics world» «Какова по Вашему мнению, важнейшая нерешенная проблема в Вашей области?»: «Я считаю физику все еще единой... Поэтому, строго говоря, у меня нет «моей области». Но, несколько условно, мне все же ближе сверхпроводимость. В этой области важнейшей представляется проблема высокотемпературной и комнатнотемпературной сверхпроводимости. Каков механизм сверхпроводимости в уже известных ВТСП (купратах)? Достижима ли КТСП?»

Характер исследований в области физики низких температур, как и всей физики, действительно, радикально изменился. Он пишет: «Трудно сейчас даже представить себе, что жидкий гелий с 1908 по 1923 годы получали лишь в одной лаборатории. Трудно представить себе, что в течение трех десятилетий использование сверхпроводимости в физике, не говоря уже о технике, было более чем скромным. Лишь в 60-х годах удалось создать сильные сверхпроводящие магниты, получившие широкое распространение. Можно упомянуть различные приложения сверхпроводимости, включая гигантские сверхпроводящие магниты в токамаках и томографах. Создание высокотемпературных сверхпроводников породило большие надежды на возможность новых применений сверхпроводимости. В этом направлении уже немало сделано даже в отношении линий электропередачи и сильных магнитов, не говоря уже о некоторых других возможностях. Многие тысячи статей и сотни, если не тысячи исследователей — какой контраст с тем, что было, скажем, в 1943 году, да и всего 10 лет назад!»

Однако остался целый ряд вопросов и проблем, в отношении которых ясность еще не достигнута. Здесь «развитие пси-теории сверхпроводимости и ее применение к ВТСП, использование пси-теории сверхтекучести, проблема поверхностной (двумерной) сверхпроводимости, вопрос о термоэффектах в сверхпроводниках (и, особенно, их связь с теплопередачей), циркулярный эффект в неравномерно нагретом сосуде со сверхтекучей жидкостью и кое-что другое, не говоря уже о теории ВТСП». И они не могут не волновать известного физика-теоретика. Потому, видно, в интервью газете «Известия» на вопрос о теме его Нобелевской лекции, академик ответил: «Петру Капице Нобелевскую премию присудили в 84 года за работы, которые он, как и я, сделал в далекой молодости. Нобелевскую лекцию полагается читать по теме отмеченного открытия. Но Капица был неординарный человек. Он произнес что-то вроде следующего, мол, я уже забыл, чем занимался в молодости, лучше я расскажу, что делаю теперь. Я не забыл своих работ по сверхпроводимости, но думаю, кроме этой темы, коснуться некоторых невыявленных свойств термоэлектрического эффекта, которым я занимался в 1940-х годах. А в третьей части лекции я хотел бы сказать о важных задачах, которые стоят перед физикой и астрофизикой в XXI веке. Эти задачи должен знать каждый грамотный физик».

Начиналось все опять же в «грозовые сороковые». Свою первую статью по сверхпроводимости Виталий Лазаревич без скуки вспоминать не может, а вот вторая работа, выполненная в том же 1943 году, остается актуальной и сегодня. Она посвящена термоэлектрическим явлениям в сверхпроводниках. «До этого считалось, что в сверхпроводящем состоянии термоэлектрические эффекты полностью исчезают, — пишет автор. — На самом деле термоэлектрические явления в сверх-

проводниках отнюдь не исчезают, хотя и могут проявляться лишь в особых условиях». Дело в том, что в сверхпроводнике нужно учитывать «возможность появления двух токов — сверхпроводящего и нормального. Ведь в несверхпроводящем (нормальном) состоянии в металле может течь лишь один ток, причем в простейшем случае соблюдается закон Ома».

Теплопередача возможна также в полупроводниках, обладающих одновременно соответствующими электронной и дырочной проводимостями. Изучение же термоэлектрических явлений в сверхпроводниках начаты в 1927 году, но, как это ни странно, «термоэлектрические явления в сверхпроводящем состоянии недостаточно исследованы и до сих пор». 60 лет тому назад (!), когда была выполнена работа «О термоэлектрических явлениях в сверхпроводниках», «сплавы и вообще неоднородные сверхпроводники считались чем-то «грязным», было даже не ясно, можно ли в таких условиях использовать уравнения Лондонов». Поэтому в упомянутой работе «случай неоднородного сверхпроводника» автором лишь затронут.

Как в дальнейшем оказалось, «термоэффект для неоднородных изотропных сверхпроводников и легче проанализировать, и легче наблюдать. Для этой цели удобнее всего рассматривать не биметаллическую пластинку, а сверхпроводящее кольцо (цепь, контур). Биметаллическая пластина и контур из двух сверхпроводников топологически отличаются только наличием во втором случае отверстия, что приводит к возможности появления квантованного потока магнитного поля через отверстие. В отношении термотока в сверхпроводящем контуре все, в принципе, казалось бы ясно, но это не так. Дело в том, что для достаточно массивного и замкнутого контура тороидного типа (полого цилиндра из двух сверхпроводников) измеренный поток оказался на порядки выше и к тому же обладающим другой температурной зависимостью. Природа такого «гигантского» термоэффекта в сверхпроводниках не выяснена. Лишь в самое последнее время удалось предложить механизм рождения вихрей в стенках сверхпроводящего цилиндра. Надеюсь, хотя и слабо, что невнимание к термоэффектам в сверхпроводниках (в сверхпроводящем состоянии), наконец, прекратится, и появятся соответствующие экспериментальные работы, в частности для ВТСП».

Случай
неоднородности

Гинзбург

19/V/99

Автограф Виталия Лазаревича Гинзбурга на книге «О науке, о себе и о других», подаренной автору. Москва, ФИАН, 19.05.1999 г.

В работе «Сверхпроводимость: позавчера, вчера, сегодня, завтра» в разделе «Завтра» он говорит: «Нельзя здесь не отметить, что современное состояние теории твердого тела никак невозможно признать удовлетворительным. Разумеется, за

прошедшее столетие успехи колоссальны, если взглянуть на путь, пройденный от идеи Друде 1900 года о движении электронов в проводниках до современного положения в физике металлов. Но, с другой стороны, из «первых принципов» не удается сегодня предсказать свойства даже простейшей, казалось бы, системы — металлического водорода. Встречающиеся иногда суждения о том, что в физике в принципиальном отношении почти все сделано, просто абсурдны. Нет никаких сомнений в том, что перед теорией систем со многими частицами стоят еще огромные по своей трудности нерешенные задачи. Только тогда, когда окажется возможным вычислять параметры и характеристики соединений любого заданного состава и структуры, можно будет сказать, что достигнуто известное завершение теории вещества в конденсированном состоянии. Разумеется, это относится и к сверхпроводникам. Трудно сказать, сколько десятилетий придется ждать достижения подобной цели. Пока что у нас имеется один естественный рубеж — 2011-й год, то есть столетие со дня открытия сверхпроводимости. К сожалению, мы не в состоянии сделать уверенный прогноз даже на оставшееся до этого десятилетие. Но я не был бы особенно удивлен, если бы к 2011 году уже были созданы комнатнотемпературные сверхпроводники. Впрочем, это не больше чем мечта...»

Но ведь, такой мечтой до середины 80-х годов прошлого столетия была и высокотемпературная сверхпроводимость? «Голубая мечта» человечества — сверхпроводимость при комнатной температуре, возможно, уже не за горами. Какого типа соединения позволят ее реализовать? А вдруг ими станут «слоистые двумерные системы» Виталия Гинзбурга — Нобелевского лауреата по физике начала второго тысячелетия новой эры?

PS. Я должна извиниться перед уважаемым читателем за использование специальной терминологии. Однако когда пишешь о работах специалиста такого уровня — это, видимо, неизбежно.

Литература:

1. В.Л. Гинзбург «О физике и астрофизике». Статьи и выступления. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Бюро Квантум, 1995. — 512с
2. В.Л. Гинзбург «О науке, о себе и о других». Статьи и выступления. 3-е изд., дополненное. — М.: Издательство Физико-математической литературы. 2003. — 544 с.
 - «Какие проблемы физики и астрофизики представляются особенно важными и интересными в начале XXI века?»,
 - «Излучение равномерно движущихся источников» (эффект Вавилова-Черенкова, эффект Доплера в среде, переходное излучение и некоторые другие явления),
 - «О зарождении развитии астрофизики космических лучей»,
 - «Несколько замечаний к истории развития радиоастрономии»,
 - «Несколько замечаний о сегнетоэлектричестве, мягких модах и родственных вопросах»,
 - «Сверхпроводимость: позавчера, вчера, сегодня, завтра»,
 - «Сверхпроводимость и сверхтекучесть» (что удалось и чего не удалось сделать),
 - «Долгая, разнообразная и нелегкая жизнь» (к 100-летию со дня рождения Игоря Евгеньевича Тамма),

- «Заметки астрофизика-любителя»,
- «Дела давно минувших дней» (воспоминания о моем участии в «атомном проекте»),
- «Как я стал физиком-теоретиком и вообще о себе»,
- «Ответы на вопросы журнала «Physics World».

3. В.Л. Гинзбург «Семинар 1700-й и последний», препринг ФИАН

4. В.А. Парафонова «Теоретик всего», журнал «АТОМиУМ» №2, 2001 год (издание ЦНИИ Атоминформ Минатома России).



Семён Кутателадзе

МЫСЛИ В ОСТАТКЕ

(продолжение. Начало в № 8/2011)

Дифференцирование как поиск тенденций и интегрирование как предсказание будущего по тенденциям — вечные технологии сознания. Теперешний анализ лишь малая часть этого. Человечество ждет новые технологии поиска тенденций и формирования прогнозов, использующие математику в целом в объемах, недоступных сегодня. Это и будет анализ будущего, о котором говорил Гёдель.

Латинский язык играл важнейшую коммуникативную роль в европейской науке в эпоху просвещения не потому, что он наиболее приспособлен к передаче научной информации, а по естественно-историческим причинам. Главная из них в том, что это был язык католической церкви. Роль латинского языка стремительно уменьшалась с укреплением национальных государств и национальных религиозных институтов.

В наше время английский язык доминирует в сфере научных публикаций не потому, что он наиболее приспособлен для информационных потоков науки. Английский язык занимает привилегированное положение во многом по тем же экономическим и политическим причинам, по которым доллар является мировой резервной валютой. Исторический опыт не даёт никаких оснований считать, что такое положение английского языка сохранится навсегда.

Разнообразие культурных традиций и языков разных народов — не бременение, а сокровище. Язык и письменность — механизмы передачи исторического опыта и ментальности народов. Совсем не исключено, что иероглифическое письмо будет в недалеком будущем доминировать в науке, поскольку всё большее число носителей иероглифической культуры в популяции *homo sapiens* вовлекается в сферу науки и технологии.

Революции в России — акты народовластия. Гулаг и развал Союза — преступления тирании.

Наука по большому счету — сфера обслуживания. Можно заявлять, что уравнения Максвелла навсегда окупили фундаментальные исследования. Но это не более, чем софизм, приятный уху учёных. Реально наука в основном объёме — сфера бюджетная. В этом смысле наука всегда противостоит любой власти. Учёные — люди наёмные и в таком своём качестве от других наёмных работников ничем не отличаются. Разговаривать о проблемах и задачах науки надо с нанимателями — налогоплательщиками, то есть с обществом.

Власть в классических демократиях делегируется обществом своим законным представителям. Стало быть, диалог с такими представителями в классических демократиях есть в значительной мере диалог с обществом. Перенести западного образца диалоги науки с властью в Россию сейчас вряд ли возможно в принципе. Общественное устройство России не рассматривается многими как образец

классической демократии. Советы, создаваемые вдоль вертикали власти, не площадки для диалога с обществом в нашей стране. Отчуждение науки от власти в России — вещь объективная и нет оснований сокрушаться по этому поводу. В России актуален прямой диалог науки с обществом, а не диалог с обществом через властные институты.

Гниль рождает гниль, а грязь разводит грязь. Трагедия математики в России в том, что небоскрёб математики в СССР был воздвигнут на политической могиле Лузина, в преследовании которого замешаны его выдающиеся ученики. Ядовитые миазмы этого фундамента много лет питали гадости, разъедавшие математическую жизнь СССР, — карьеризм, политиканство, ксенофобию, коллективистские расправы над неугодными под флагами советского патриотизма и лицемерного рвения за нравственную чистоту профессии.

Математик сегодня — тот, кто знает доказательство хотя бы одной из теорем Гельфанда.

Загадочная формула Будкера: «я бы ввёл формулу человеческого достоинства как дробь, числитель которой — то, что человек объективно собой представляет, а знаменатель — его порядочность».

Был Пифагор олимпийщиком или не был — мало кому интересно.

Высказать высшую степень уважения человеку — спросить у него совета. Высказать высшую степень уважения учёному — попросить его рассказать о своей науке.

За пределами науки встречается масса выдающихся интеллектуальных вещей — литература, музыка, журналистика, дизайн, шахматы и многое другое. Там же расположена философия и львиная доля каждой из так называемых общественных наук.

Суверенитет и самоуправство по семантике близки, а воспринимаются по-разному.

Древний феномен: многие люто ненавидят тех, кому сделали гадость.

Математика занята формами мышления, а экономика — кошелёчками и кошельками.

Мудрые мысли стариков — увёртки от непосильных дел.

А. А. Марков старший протестовал против решения Синода по поводу Л. Н. Толстого и был отречён от церкви по собственному заявлению в этой связи. Слово математика не слышно, когда его замалчивают или зашикивают.

Гений — талант плюс труд. Классическая формула может быть дополнена. Гениальность — мера адаптивности к неосознанному. Человек гениально управляет многими процессами в своей жизни бессознательно. Дети обладают высшей мерой гениальности. Сознание адаптирует человека социально, чем ограничивает его гениальность. Труд — триггер гениальности, путь к осознанию таланта.

Philosophy lives but resides beyond science today.

Наивные попытки использовать библиометрию как средство борьбы с око-лоучёными в управлении наукой привели к тому, что получилось в России: вместо укрепления роли науки и образования в обществе ему навязаны ложные цели — престиж и рейтинг. Власти предрежащие этими инструментами поедают остатки науки и образования.

Источник злобы — комплекс неполноценности, отягощённый манией величия.

Нельзя быть гением в себе, ибо гениальность — атрибут социальный.

Гением человек становится раз и навсегда. Поэтому талант можно пропить, а гений может только спиться.

Иллюзия, господствующая в научной элите страны, в том, что диалог с властью возможен. Власть в России строго монетарная, поэтому общение учёных с властью проходит под лозунгом увеличения финансирования как панацеи. Любой распорядитель финансов не расположен их тратить просто так. Власть не понимает роли науки. Наука — цитадель свободного мышления и потому любой власти чужда. Поэтому власть ведёт диалог с наукой в стиле «мы и так науке много даём, а пользы видим мало». Сервильным институтам, вроде церкви или ангажированных СМИ, власть потворствует и немало способствует. Такая политика ведёт к деградации культуры.

«Царское дело», «государевы люди», «околоток» и прочие клише политического арго наших дней — крайняя форма сервильности à la Russe.

Учёным следует быть брезгливее к хамелеонам. Да и всем это не помешает.

Under systematic discussion is the question whether scientific genius is extinct. Scientific genius is defined as “unusual mental ability” by the WordWeb Dictionary. A person having “exceptional intellectual ability and originality” is also referred to as a genius by the same dictionary. In fact the words “unusual” and “exceptional” are crucial. Man has not changed biologically, but mankind grows and so the number of persons with “unusual mental ability” is now greater than before. Moreover, the difference between the average level of originality and ability and the “exceptional” originality and ability, which is determined socially rather than biologically, is much less now than before. This means that scientific genius proliferates today and will become more common in future. Lamentations about the past are nothing but a nostalgia about the ripe years of the present-day elders.

Повторять что-либо не всегда зазорно. Всегда зазорно повторять то, что зазорно.

Суверенная демократия — дорога к суверенной религии и суверенной науке.

Любовь и ненависть — чувства интимные.

По мнению Льва Толстого совесть не принадлежит человеку: «совесть это голос того единого духовного существа, которое живёт во всех». Толстой был также не свободен от общества, как и любой из людей.

Стандарты научной добросовестности размываются там, где не наука, а ее конденсационный след.

Академия наук — сливки научного сообщества России. Правда, сильно разбавленные.

Учёные не забудут коллаборационистов — вольных и невольных союзников ликвидации академических свобод.

Ренегатство — явление обыденное.

Патриотизм — ответственность за родину, большую или малую.

Patriotism is responsibility for the homeland whatever great or small.

Все суждения о науке и образовании в России, стекающие по вертикали власти, основаны на принятии в качестве аксиомы следующей гипотезы: место России в рейтингах и её участие в обороте научной информации, оцениваемом импакт-факторами и индексами цитирования, имеют решающее значение в определении состояния и целей науки и образования в стране. Соответствие этой аксиомы реалиям жизни не беспокоит ни реформаторов по должности, ни просветителей по суперэго, ни научных нарциссов в себе. Между тем подлинные цели науки и образования в любой великой стране — отнюдь не повышение престижа, оцениваемого местами в рейтингах и библиометрическим ранжированием.

Непонимание не уходит с годами, но выбор Тютчева в конце жизни не *silēntium*, как в юности, а взаимное сочувствие как благодать.

Антонимы слова «горе» лежат в синонимическом ряде слова «радость». Поразительно, сколь поучителен и актуален опыт предков, зафиксированный русским языком. «Горе-политики» и «горе-реформаторы» — слова новые, а лексическая конструкция старая. Выражение «наша радость» в языке живет веками, но к реформаторам и политикам не применимо.

Гуманитарная мысль России тонет в гуманитарной бессмыслице. Победы глупости и мерзости над здравым смыслом и добром совсем нередки.

Много глупости стекает по вертикали, но глупость на вершины поднимается из низин. Такой круговорот глупости в природе. Дураков всюду хватает. И в каждом человеке для своего личного дурака укромное местечко есть. Мы все дураконосители, но не все заразные.

Математика — наука о простейших и универсальных формах мышления. Язык — способ существования и передачи форм мышления. Суждение «математика — это язык» указывает только на особую роль математики в системе наук.

Mathematics is inspiration per se.

История в математическом плане — наука о конкретных динамических системах. История человечества — инвентаризация нашего прошлого и его анализ, то есть определение тенденций развития. Оценка прошлого — идеология. Прогнозы будущего — футурология. Идеология и футурология вне науки.

Людей с особым мнением много больше, чем с неособым.

Директивы в науке омерзительны.

Успешной вакцинации человечества против мракобесия и глупости пока не было.

Сталинизм и антисталинизм — дела миллионов. И победы, и репрессии тоже. Народ — главный персонаж истории России. Правители в своих поступках связаны народом куда больше, чем народ правителями. Зло не дело одного дьявола, а добро не дело одного бога. Удалять источник добра и зла из каждого — вступать в противоречие с универсальным гуманизмом.

Есть большие проблемы с либеральными искусствами и не в России, но такой катастрофы как в России нет. В России нельзя говорить о едином поле humanities. Подлинная гуманитарная мысль придавлена массой имитаторов, воспитанных во время директивного управления мыслью.

Патриотизм не про мы, а про я. Патриотизм — вещь приватная, форма эгоцентризма, вопреки многим противоположным суждениям. Патриотизм — личная ответственность за лучший из миров. В комбинации с коллективизмом патриотизм легко превращается в шовинизм и нацизм. Экзальтация патриотизм убивает. Ура-патриотизм — труп патриотизма. Космополитизм — патриотизм без границ.

Гений не свойство человека, а его оценка человечеством.

Гений в науке — вроде пророка в религии. Суждения гения отделены от его личности. Гений нужен другим после своей смерти.

Про солнце судят не только по пятнам, но и по пятнам тоже.

Есть люди, которые отвечают за всё. Мир — это их мир.

Люди, использующие термины «совок» и «либераст» в отношении друг друга, принадлежат к одному и тому же социальному кластеру.

Академия наук — духовная скрепа России. Глупость чиновников, маразм стариков и оппортунизм молодых могут и остатки Академии разрушить.

Википедия — лучшее, что делают люди за всю историю человечества.

Разговор о зверинце не обязательно вести с его обитателями.

Приличные гуманитарии страдают от комплекса неполноценности в той же пропорции, в какой неприличные преисполнены манией величия.

Умные редко глупеют, а глупые редко умнеют. Такой вот экспериментальный факт.

Гениальность не индульгенция на гадости, а низость свидетеля не основание для исключения его свидетельств.

Вертикаль власти в России устроена по принципу полупроводника — сверху вниз команды проходят, а обратной связи нет.

Есть люди полезные в разном возрасте, а есть бесполезные в любом возрасте.

Клоуны у власти хуже клоунов без власти.

Чем больше учёный, чем острее он ощущает пределы собственной некомпетентности.

Университет — храм науки. В той же аналогии министр науки и образования — патриарх. Кто я такой, чтобы патриарха судить, если он на мои грехи указывает отечески. Но если патриарх сквернословит публично, да еще на службе, — это уже не про меня, а против моей церкви, моих храмов и моей веры.

Школе создаёт только живое общение с мастером. С уходом мастера остаются ученики, а школа исчезает.

Размазывание критериев научности в сфере науки открывает дорогу плагиату. Субъективный дискурс — стартовая площадка плагиаризма.

Стандарты научной добросовестности размываются там, где не наука, а её конденсационный след.

Иллюзии союза власти и науки рождают только сервильность. Вертикаль власти — твердое тело, а не степень свободы.

Недостаточная эффективность работы Академии — заклинание, а не обоснованное суждение. Никакого аудита работы академии, предъявленного обществу, не существует. Имеются только разговоры о малой конкурентоспособности, основанные на символах престижа типа индексов цитирования и инвективы в стиле «такой получил нобелевскую премию, а не академик».

Никуда стремление сожрать себе подобного не девается — это генетические особенности некоторых особей, которые вокруг нас выются.

Порядочность не требует отвечать на непорядочные выпады в свой адрес. Пусть клеветник и доносчик захлебнётся в собственной блевотине от ярости и бессилия.

Не замечать свой индекс Хирша — очень характерный признак настоящего ученого.

Великий и могучий русский язык: придурок явно при дураке.

И у притворства должна быть грань. Честь, как и совесть, выше целесообразности.

The unreasonable effectiveness of mathematics presupposes some “effectiveness” which might be reasonable or unreasonable. Mathematics deals with the simplest and universal forms of the reasoning of humankind. There is no alternative to the mathematics we have. Mathematics is the only universal tool for theoretical reasoning of humankind, if we neglect revelation, mysticism, forecasting, etc. So the thesis of unreasonable effectiveness of mathematics is nothing but an emotional expression, presenting another self-appraisal of humankind. It is one of the wordings of anthropocentrism like “we must know, we will now.” But *ignoramus et ignorabimus* is still an unpleasant fact whereas “unreasonable effectiveness of mathematics” is just an instance of senseless rhetoric.

Знакомо всё до нельзя. Чем прочнее человек встраивается в вертикальную систему или тиранию, чем больше он становится винтиком, тем больше иллюзий собственной важности, незаменимости и даже независимости от чужих мнений

возникает чисто рефлекторно как сохранение личности. Слова о независимости — правда в том смысле, что член вертикали как полупроводник: снизу сигнал не пропускает, а сверху на ура с полной независимостью.

Экспериментатор не особый тип учёного. Научное исследование — единство теории и практики. Эксперимент — часть деятельности учёного.

Надежды на перемены к лучшему, идущие сверху, не это ли источник всех наших верований и заблуждений?!

Rare love collapses in omnipresent hatred.

Наука в России пала жертвой хама. Наука и мудрость связаны друг с другом столь же тесно, как хамство и власть.

Королевские фанты не политика.

Героями не движут доктрины и ненависть. Героями становятся не в суждениях апологетов, а в памяти народной.

Наука не гетто, и участие в проекте в стиле Большого брата по Орвеллу не всем по вкусу.

Навесить ярлыки с помощью библиометрии на учёных и их коллективы — замысел чиновников, мечтающих управлять наукой. Но эти мечтания тщетны — наука бессмертна и самодостаточна.

«По одежке встречают, по уму провожают» — давно наши предки поняли. Библиометрия — одежда творчества учёного, о содержании творчества она не говорит ровным счетом ничего. Вообще топология знания сложна и открытия обычно делаются не в той точке, где толкнутся сотни исследователей с высоким взаимообразным h -фактором, а в стороне от толпы, которая видит только окрестности друг друга. Высокий h -фактор конкретного исследователя отнюдь не доказательство научной глубины и значения его результатов, а чаще всего свидетельство других социальных феноменов. Наука не терпит суеты и толкотни локтями. Примеры последних лет в России и денисован, и Перельман, и алмазы в Канаде, и наноструктуры лонсдейлига... Полное отсутствие публикаций всех сотрудников лаборатории — явное свидетельство неуместности её существования. Остальные случаи требуют экспертной оценки, а не формальных библиометрических показателей. Наука появилась не вчера и для проверки гипотез о ней материала предостаточно. Можно предложить померить ретроспективные библиометрические показатели академика Лысенко или академика Островитянова и проверить ими предложения защитников борцов за примат информационного шума над компетенцией и результатами.

Граница между знанием и незнанием фрактальна. Толкотня и гонка за престижем идёт не на границе, а во внутренней точке знания. Там рождаются совсем фальшивые публикации и фальшивые диссертации. Они нас раздражают, а вот журнальные статьи даже те, которые никто не читает, нас вроде должны радовать, если их много или если на них много ссылок. Между тем ссылка на работу не означает, что её прочли. Сами авторы часто испытывают такое омерзение к своему творению, что собственную статью напишут, но не прочитают ни разу. Да и что читать — автор лучше других знает, что нового за ним нет и ядовитого зол на всех за свою импотентность, прикрывая фиговым листком из числа работ, цитирований и прочих формаль-

ных показателей. Хиршев квадратик приблизить к сакральности подлинной науки не в состоянии. Библиометрия — основной инструмент профанации науки.

Гуманитарный компонент необходим любому студенту. Теология тут не при чем. Теология о боге, то есть предмет не гуманитарный. За игрой слов прячется обскурантизм.

Разные вещи не становятся одной по личной воле.

Субъективизм — проявление веры. Ничего более чуждого науке нет.

Нынешние профессора содхнут непременно, освободив места для других профессоров из теперешних студентов. А вот чтение лекций по конспектам студенческих времен обречено. Публичные лекции — институт столь же вечный, как театр, а диктовка базовых курсов — ритуальный анахронизм. MOOCs — это тропинки к новым технологиям образования. Уже сохранение видео-лекций выдающихся мастеров благо. Как бы обогатили обучение видео-лекции, скажем, Ключевского или Ферми. Роль преподавателя — индивидуального поводыря/гида/ангела-хранителя — в очной паре учитель-ученик никуда никогда не денется, а вот технологии образования времен рождения книгопечатания отмирают у нас на глазах. Полезно помнить, что многолетний семинар, созданный мастером или мастерами, никакой из MOOCs не сможет заменить. Школу создаёт только живое общение. Профессия педагога не умрёт.

Самоорганизация учёных и прямой диалог с обществом — решающие компоненты перемен к лучшему. За эти годы стало яснее, что противодействие лженауки — малая часть нравственного выздоровления академического сообщества. Диссергейт тому яркое свидетельство.

Педагог — консерватор по должности. Новаторы всегда ученики. Вообще в вузе стоит педагогам руководствоваться аналогией с тем, что они не отличаются от исполнителей на платном концерте. Программа объявлена — исполняй. Публика не ждёт, чтобы её воспитывали. Запреты перьев, ручек и телефонов не сеют разумное, доброе, вечное. Эти вещи, если и проявляются, то личностью педагога эманцируются.

Не всем в принципе доступно понимание того, чем занимается философия. Всем в принципе доступно то, чем занимается наука, в частности, её суждения о пространстве-времени. Дискурс, который игнорирует научные представления, лежит за пределами науки. За пределами науки в разных занятиях есть свой мировой уровень. Только это вне науки.

Общая теория относительности не фантазия Эйнштейна.

Учёные обязаны ориентироваться на научные представления.

Мыслителей вне науки нет.

Одна из общих причин размазывания грани между собственными и заимствованными суждениями в том, что любой мало-мальски аналитический дискурс стал приравниваться к науке. Львиная доля сочинений политологов, философов и даже экономистов — журналистика чистой воды. Журналистика не наука. Журналистика — дело полезное, но недолгое. На обед похожа — каждый день новое нужно. В журналистике оригинальность и независимость мышления — вещи не

главные. Позиционирование собственного сообщения в мировом потоке информации и очистка его от субъективного в задачу типичного дискурса не входит. Микрия дискурса в науку — одна из причин расцвета плагиаризма.

Не всякое заимствование чужого — криминал. Тут есть грань. Ну сколько любителей пословиц, поговорок и цитирований без указания источника в быту и в прессе. Размазывание критериев научности в сфере науки открывает дорогу плагиату. Сколько мы видим сочинений философов, социологов, политологов и экономистов, где нет никаких ссылок и через абзац «я полагаю». Любое преступление начнется в сфере морали. Субъективный дискурс — стартовая площадка плагиаризма.

Плагиат — чистый разбой и воровство. Важно подчеркивать, что один из главных источников плагиата — размывание критериев научности внутри науки. То есть приличные философы, и приличные историки, и приличные биологи, и приличные математики создают своих неприличных визави. В математике плагиат в чистом виде такая редкая вещь, что с ней столкнуться можно пару раз за десятки лет. В математике этические нормы размываются иначе — ликвидируют должные ссылки на соавторов при переиздании сочинений, защищают неверные работы угодных людей и проваливают неудобных, имитируют результаты и т.п. Строгая форма научных публикаций в математике предохраняет её от плагиата. В политологии и философии этот механизм не действует.

Есть люди, которым тепло при любой власти. История их стирает.

Крупный учёный — это не для истории. В ней крупных учёных нет. Ну а в жизни есть и совсем нередко крупность коррелирует с сервильностью.

Нынешние обскуранты всё отняли, чтобы поделить, в конечном счёте, строго между собой. Шариковское «отнять и поделить» — лозунг их временной тусовки.

Ньютон ощущал себя мальчиком, собирающим камешки. И через триста лет этот образ так же точен! Чудо и радость науки и свободы.

Уходящее прошлое не пример для подражания.

Математика гораздо менее философична, чем представляется философам. Она связана с простейшими формами сознаниями и далеко не всегда с формализмами. Скажем, Рамануджана никакие формализмы не интересовали, как и всю автхтонную индийскую математику. Понять как и что — это одно, а доказать — совсем другое. Тезис Бурбаки о тождественности доказательства и математики имеет весьма ограниченное значение в современном существовании математики. Бездоказательная — экспериментальная и познавательная — математика вездесуща и никакой философской или формальной истиной не оперирует. Знание превалирует над доказательством и пониманием.

Есть мёртвые, на которых не клеветают. Эти из популяции ушли навсегда.

Украина — жертва мелких амбиций собственных политиканов и презрения к ним нормальных людей. Люди думали, что особого вреда не будет — наворуются и сядут. Чересчур богатая страна — одни уж отсидели, а конца тем, кто ворует, во власти не видать...

Знания в науке обезличены, а обучение их персонафицирует. Личности синтезируют науку и образование, гуманизируя производство и сохранение знаний. Люди эти исключительные и посещают наш мир редко.

Без зла добра не видно.

Учёность не влечет ни образованности, ни воспитанности, ни такта. учёный может быть и неучем и невеждой. Учёные люди обычно учёны малосеньких рамках, что делает их ограниченными. Среди учёных больше павлинов, хвастунов и болтунов, чем среди неучёных. Учёных по убеждению, то есть тех, для кого общие принципы науки императивны, очень немного. Среди них нет хамов и верхоглядов.

Символы патриотизма уместны по национальным праздникам. Публичная демонстрация их гражданами ежедневно — свидетель страха, доказательство сервильности. Звезды Давида, нашитые во времена холокоста, из этого ряда.

Попытки государственного управления строем русского языка — полное безумие. Дай волю, нынешние радители языка от политики распяли бы и Петра Первого и Льва Толстого.

Вандализм, как и прочие нечистоты, течёт сверху вниз.

“Things” are not the same as “concepts.” Concepts in mathematics are definitions. Concepts in philosophy seem to be perceptions of whatever kinds of “things.”

Молодым в науке России особенно тяжело из-за разрыва естественной цепи учитель — ученик — учитель — ученик с разрывом в 5–7 лет. Одно звено выпало и формально цепь ученик — учитель сохранилась, да реально взаимопонимания должного нет. Это тяжёлые разрывы периода brain drain и разрушения преемственности научных школ, которые восполнить удастся нескоро, если не никогда.

Старость склоняет к пессимизму, а молодость — к оптимизму. Старость подразумевает опыт, а молодость — его временное отсутствие. Выступления против реформы Академии наук не остановили произвольные ограничения академических свобод, прежде всего, свободы творчества. Управленцы наукой без научного опыта и учёных степеней не просто нонсенс, а позор.

Учёный, нарушающий этические принципы науки, нелоялен науке. Явление весьма частое.

Среди учёных невеж немало. Как ни удивительно, и невежды среди учёных не редкость.

И среди академиков уроды водятся, но обворовывать сотрудников и было и есть в академии абсолютно неприлично.

Люди с совестью, способные на сопереживание и сочувствие другим, в России были, есть и будут.

Каждый человек неповторим и талантлив, а вот дар не каждому даётся. Остаётся только на судьбу жалиться — дару взяться неоткуда, если тебе не достался. Правда, многие завистью исходят и чужой дар личной обидой считают. У настоящих людей превалирует не зависть к другим, а восхищение чужим талантом и даром. Печально это констатировать, но отсутствие зависти в научной среде —

вещь крайне редкая. Чаще низменные страсти встречаются вроде властолюбия и карьеризма. Сколько людей меняется при продвижении по служебной лестнице или даже просто при попытках продвижения вверх. Имя им легион. Учиться человечности нужно у других. Стать человеком не дар, а обязанность, исполнять которую можно научиться подражанием.

Стать лучшими людьми — это и есть главный завет предков.

Декларация от декорации — так надо квалифицировать заявление любого сервильного общественного совета.

Гротендик — человек истории, грандиозного дара и огромной совести. Его мало понимали при жизни и будут понимать столетиями.

Лидерство в науке постом не определяется. Научный и моральный авторитет либо есть у учёного, либо нет. Гнетущее впечатление производит борьба за кабинеты и формальное доминирование. Настоящие лидеры за посты не держатся — у них задачи и цели другие. Закрепление номинального лидерства — закономерный финал разрушения академических принципов в России.

Уровень толерантности к гостям у математиков повыше, чем у физиков. Математики в общем эгоцентричны. Физики профессионально несколько иные. На них легче полагаться.

В России наука сознательно разрушается сверху, что освобождает место невежеству. Лженаука — один из естественных феноменов интеллектуальной деградации общества.

Порядочные люди теряют порядочность бездействием в непорядочных ситуациях. Самый распространённый способ механизм — «всем врожденная способность примиренья».

Поражает востребованность пустого словоблудия вроде бы мыслящими людьми. Героям российского дискурса кажется, что они продолжают гуманитарную традицию от Аристотеля. Ничего подобного их словесному мусору под видом аналитической или практической философии настоящие мыслители прошлого себе не позволяли. Дискурсы, лишённые элементарной последовательности и семантической опрятности, выдаются за научные сочинения и пропагандируются. Диву даёшься...

Слоны москкам на лай не отвечают. Давят иногда, но не трубят.



Семён Резник

КАК СКАЗКА СНОВА СТАЛА БЫЛЬЮ

От автора

В предлагаемой вниманию читателей статье обсуждаются некоторые аспекты истории российской биологической науки, изложенные профессором М. Анохиным в «Литературной газете» от 6 февраля 2015 года. Статья профессора столь тенденциозно освещала роль и место академика Н.И. Вавилова, с одной стороны, и его ангипода Т.Д. Лысенко, с другой, что мне пришлось написать контр-статью, которую я направил в ту же газету, дабы ее читатели могли познакомиться с альтернативной точкой зрения на тот же предмет.

Так как в нынешней структуре редакции «Литгазеты», как обозначено на ее интернетсайте, Отдела науки не значится, то я направил ее шеф-редактору отдела «Политика и экономика» И.А. Серкову — он же заместитель главного редактора. Понимая, что для решения вопроса о публикации требуется время, я в сопроводительном письме просил для начала подтвердить получение моей статьи. Ответа не было.

Выждав неделю, я вторично послал письмо и статью — на имя главного редактора Ю.М. Полякова. Подтверждения снова не получил. Поскольку прошел уже месяц, то понятно, что никакого ответа не будет.

В глухую пору брежневского застоя, когда Литгазету возглавлял еще не всеми забытый литературный начальник А.Б. Чаковский, мне не раз приходилось предлагать редакции неудобоваримые для ее нежного желудка материалы. Они, конечно, не публиковались, но получение их редакция подтверждала и отказ печатать пыталась как-то мотивировать. Переписка с тогдашней редакцией «Литгазеты» составила значительную часть моей книги «Непредсказуемое прошлое: Выбранные места из переписки с друзьями» (Спб., «Алетейя», 2010).

Полагаю, что *глухое* молчание нынешней редакции *оглушительно* красноречиво.

С плюрализмом мнений, появившимся на страницах Литгазеты во времена Горбачева и Ельцина, снова покончено.

Несчастливая Россия...

С.Р.

11 марта 2015

«Литературная газета»

Заместителю главного редактора

Шеф-редактору отдела «Политика, экономика»

Серкову Игорю Александровичу

Уважаемый Игорь Александрович!

К Вам обращается из Вашингтона Семен Ефимович Резник, писатель, журналист, историк русской науки и общественной мысли, автор 20 книг, член международного ПЭН-клуба, член СП Москвы.

Первая моя книга — научно-художественная биография Н.И. Вавилова — была издана в серии ЖЗЛ, согласно выходным данным, в 1968 году. На самом деле она вышла годом позже, потому что Т.Д. Лысенко инспирировал донос в ЦК партии, в результате чего книгу признали «идеологически вредной» и велели уничтожить. Вмешательство ведущих ученых спасло книгу, но стотысячный тираж почти год томился в типографии в опечатанной комнате. Так что я являюсь одной из жертв Лысенко, хотя и не с таким трагичным финалом, как у Н.И. Вавилова.

В США, где я живу с 1982 г., я издал еще одну книгу о Вавиллове, был со-редактором английского перевода книги Вавилова «Пять континентов», опубликовал о нем ряд статей и очерков. Вавилов является одним из персонажей других моих книг, издававшихся в США и России, в том числе в только что вышедшей книге об академике А.А. Ухтомском (Спб., «Алетейя», 2015). Сейчас я работаю над новой биографией Н.И. Вавилова, так что вавиловская тема — одна из основных для меня.

В ЛГ напечатана статья профессора, доктора медицинских наук М. Анохина «Накормившие ложью» (ЛГ, 6.2.2015). Не знаю, в какой области медицины специализируется автор, но ясно, что не в генетике. О Вавиллове и Лысенко он мало что знает, а то, что ему все-таки известно, в статье искажено.

В прилагаемой статье изложена иная точка зрения на роль Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко в российской и мировой науке. Надеюсь, что ЛГ ее напечатает.

Прошу уведомить о получении этого письма и прилагаемой статьи.

С уважением
Семен Резник

Пряник, пропитанный ядом

Статья профессора, доктора медицинских наук М. Анохина «Накормившие ложью», опубликованная в «Литературной газете» 6.2.2015, подается как рецензия на телефильм «Николай Вавилов. Накормивший человечество». Но статья написана не для того, чтобы рассказать о фильме, а чтобы очернить Н.И. Вавилова и поднять на шит его антипода Т.Д. Лысенко.

В последние годы такие попытки делались неоднократно, в том числе и профессором М. Анохиным. Но приоритет в этом важном деле по праву принадлежит корифею всех наук товарищу Сталину. Поскольку корифей был, как теперь выясняется, еще и *эффективным менеджером*, то его попытка увенчалась успехом. Лысенко стал создателем самого передового, самого мичуринского, самого сталинского учения, а ученый, накормивший человечество, был заморожен голодом в Саратовской тюрьме.

Спор, который Лысенко навязал Вавилову и всем генетикам, не имел отношения к науке, ибо в науке он давно был решен. Это спор о том, можно ли путем «воспитания», т.е. воздействием внешних условий, целенаправленно изменять наследственную природу организмов, или надо искать другие пути. Не знаю, в какой области медицины специализируется профессор Анохин, но, судя по его статьям, генетика и растениеводство далеки от него, как от всех нас туманность Андромеды.

Поясно суть того спора примером, который должен быть особенно понятен доктору *медицинских наук*.

С тех пор как вид *homo sapiens* появился на нашей планете, сменилось много сотен людских поколений. При этом на протяжении всей истории человечества был ОДИН чудесный случай (допустим, что он действительно был!), когда младенца родила *девственница*. Один-единственный! Ибо так устроен организм женщины, что прежде чем зачать новую жизнь, она должна утратить девственность. Этот *благодаря приобретаемый* в каждом поколении признак НЕ передается от матерей дочерям, поэтому девочки рождаются девственницами.

Ну а тот необыкновенный младенец *мужского* пола, который был зачат Девой Марией? Он появился на свет в еврейской семье и на седьмой день подвергся религиозному обряду обрезания. С этого великого события ведется современное летоисчисление, христианская эра; в этот день, 1 января, наступает Новый Год. Ко времени рождения Иисуса Христа религиозные евреи практиковали обрезание мальчиков полторы тысячи лет и продолжают практиковать до сих пор. Но еврейские мальчики рождаются с крайней плотью точно так же, как славянские, китайские, африканские... Приобретаемый признак НЕ передается по наследству и по мужской линии.

То, что наследственные изменения возникают совершенно иначе и не носят адаптивного характера, биологи установили задолго до появления Лысенко с его «мичуринским» учением. Больше ста лет выясняли, много копий было сломано, один умелец по наследственной передаче приобретенных признаков покончил с собой, когда был уличен в фальсификации. Так что вопрос был решен наукой вполне однозначно. Как вопрос о невозможности создания вечного двигателя или превращения свинца в золото, над чем несколько столетий бились алхимики.

Но алхимия «колхозного ученого» привлекала простотой и легкостью. Более того, она резонировала с настроем советских властителей и воспитываемого ими общества. Море им было по колено. Радиорепродукторы с утра до ночи разносили по стране бодрящие песни про то, как сказку сделать былью.

А вот на колхозных и совхозных полях, как и на опытных делянках, сказка былью не становилась. Виновато в том было не *передовое учение*, а происки классового врага. «И в ученом мире, и не в ученом мире, а классовый враг — всегда враг, ученый он или нет». Так говорил Заратустра с высоких трибун, под одобрительные реплики «эффективного менеджера», сидевшего в президиуме. Газеты это тиражировали.

Чем больше было провалов, тем агрессивнее становился Лысенко, тем активнее его поддерживала вертикаль власти, тем в большую немилость впадал Вавилов и другие ученые — все, кто не хотел или не умел плясать под дудку всепобеждаемого учения.

Вавилов по натуре был мягким, сговорчивым человеком. Но чем сильнее его травлили, тем тверже он становился. Сказал с трибуны, что за свои убеждения пойдет на костер. И пошел. Генетика в СССР была разгромлена. Последствия не изжиты до сих пор.

Развал сельского хозяйства в стране победившего социализма был вызван многими факторами, больше всего — насильственной коллективизацией. Но немалую лепту в тот развал внесло и «передовое мичуринское учение, созданное Трофимом Денисовичем Лысенко» (сам слышал такую формулировку на лекции одного весьма известного «мичуринца»).

Что давало практике передовое учение, легко понять на примере гибридной кукурузы. Повышенную урожайность так называемых инкухт-гибридов кукурузы

открыли ученые США. Это был дар небес: без дополнительных затрат — от 30 до 50 процентов прибавки урожая. Вавилов и «кукурузники» его института настаивали на внедрении этого метода в СССР. Но в передовое учение инсхут не укладывался. Лысенко заблокировал выход гибридной кукурузы на поля на десятилетия. Страна ежегодно недополучала миллионы пудов зерна, скотина дохла от бескормицы, люди недоедали.

Доктор Анохин пишет: «Определение “жулик” надо отнести к советской мифологии, в которой Лысенко оболган, причем академик Сахаров в Академии наук открыто обвинил Лысенко в убийстве Вавилова». Значит, не Сахаров, не Вавилов были жертвами советской мифологии, а Лысенко!?

Меня восхищает эта словесная эквилибристика. Высший пилотаж! Правда, он более уместен на цирковой арене или на сцене колхозного клуба.

Веселей играй, гармошка,
Мы с подружкой вдвоем
Академику Лысенко
Величальную поем.

Он мичуринской дорогой
Твердой поступью идет,
Морганистам, вейсманистам
Нас дурачить не даст.

Академиком Лысенко
Все колхозники горды.
Он во всех краях отчизны
Учит нас растить сады.

Перестраивать природу
Нам в стране своей пришлось,
Чтоб советскому народу
Благодатнее жилось.

Не правда ли, очень похоже на *величальную песню*, сочиненную профессором Анохиным.

Вавиловский закон гомологических рядов, по его мнению, известен со времен Дарвина. Такой «аргумент» приводили лысенковцы, что не мешало им яростно бороться за русский приоритет. Клеймить закон как *антидарвиновский* это тоже им не мешало.

«300 тысяч образцов семян, собранных по всему миру Вавиловым, никакой пользы не принесли», утверждает д-р Анохин, тогда как «в США лишь в результате экспедиций Д.Г. Фэйрчайлда (зятя изобретателя телефона Александра Белла) внедрили более 200 000 (двести тысяч) культурных растений».

Если так, то *зять изобретателя телефона* явно перестарался. Ибо 200 000 *внедренных* сортов означало бы, что каждый сорт занимает площадь крохотной делянки, на полях царит чересполосица, на них не то что трактору, ослику не развернуться. Не обязательно видеть поля американских фермеров, занятые до горизонта монокультурой, чтобы понять, какой это абсурд. Сорты, введенные в практику, ценны величиной занимаемой ими площади, на которой они превосходят по продуктивности все другие сорта. Множество сортов на карликовых участках практике

не нужны, их возделывают на опытных делянках, чтобы выявить и *отобрать* наиболее перспективные для дальнейшей работы.

Самое замечательное в статье д-ра Анохина, это «объяснение» того, почему *зять изобретателя телефона* преуспел, а Вавилов провалился. Оказывается, «американцы занимались высокоурожайные сорта из стран достаточно развитым сельским хозяйством, тогда как Вавилов, путешествуя по всем континентам, наибольший интерес проявлял к диким местам, вроде Эфиопии и джунглей Амазонки».

Что это за географические новости? Доктор меднаук слышал звон, да не знает где он.

Вавилов, рискуя жизнью, пробивался в малодоступные горные районы, где зарождалось земледелие и сосредотачивался наибольший генетический потенциал культурной флоры, еще не освоенный наукой. Что же касается передовых стран, то их он изъездил вдоль и поперек. Большинство специалистов знал лично, бывал на их опытных станциях, вел переписку, наладил *обмен* семенным материалом. Крепкие связи были у него с американскими учеными и научными учреждениями. Он трижды по многу месяцев бывал в США, ездил по стране, хорошо знал Фэйрчайлда, Харлана, отца и сына Куков, Шаповалова, Тейлора и других ведущих селекционеров — сотрудников Вашингтонского бюро растениеводства и десятков других учреждений. Они снабжали его как семенами американской селекции, так и теми, что американские *охотники за растениями* привозили из экспедиций — из той же Эфиопии, например. Собранные американцами семена в значительной части дублировались в коллекции ВИРа, а материалы ВИРовской коллекции дублировались в США. То же относится к селекционным учреждениям стран Европы, Японии, Тайваня, Северной Африки, Палестины...

Вавилов и его институт были неотделимой частью мировой науки (частью *глобуса*, как он говорил). И *глобус* признал его одним из крупнейших генетиков и растениеводов мира. Это лысенковцы отгораживали железным занавесом *передовую советскую мичуринскую науку от буржуазной, загнивающей, бесплодной науки* Запада. Как напоминает аннотация к только что вышедшей книге одного из единомышленников д-ра Анохина, «“Два мира — две науки” — название одного из разделов доклада академика Т.Д. Лысенко на знаменитой сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 года». Так смотрел на науку не только Лысенко, но и его покровитель — *корифей всех наук и эффективный менеджер*, лично редактировавший его доклад. Так же смотрит сегодня профессор Анохин. С Вавиловым все они несовместны, как гений и злодейство. Для Николая Ивановича мир науки был един.

Вавилов, прежде всего, был теоретиком, но вклад его школы в практику сельского хозяйства СССР переоценить невозможно. Добываемый им исходный селекционный материал изучался на опытных станциях и предоставлялся не только селекционерам-профессионалам, но всем желающим, от юных пионеров до пенсионеров. Миллионы гектаров занимали в довоенные годы сорта пшеницы ближайшего сотрудника Вавилова В.Е. Писарева. Другие миллионные площади занимали сорта другого пшеничника вавиловской школы В.В. Таланова. Звеном вавиловского института была государственная система сортоиспытания и семеноводства — ее создал тот же В.В. Таланов. Без такой системы селекционные сорта невозможно размножить и вводить в практику. Возглавлял ее Таланов до своего ареста в 1931 году. Через пять лет умер, ошельмованный и заклеянный.

Вавилов был энтузиастом продвижения сельского хозяйства на север, и даже на крайний север. Он основал опытную станцию под Мурманском, поставил

во главе ее своего ученика И.Г. Эйхфельда, тот стал изучать и внедрять полевые и овощные культуры в советском Заполярье. Исходный материал ему поставил Вавилов. Он начал работу под руководством Вавилова в 1923 году, когда о Лысенко никто не имел никакого понятия. В середине 1930-х, уловив перемену ветра, Эйхфельд заявил, будто всегда работал методами Лысенко. Вознагражден за это был знатно: при дележе вавиловского наследства стал директором ВИРа. Но это уже другая история.

Юг интересовал Вавилова не меньше, чем север. Мне довелось писать книгу о Г.С. Зайцеве, «короле» хлопчатника. Зайцев умер в 1929 году в возрасте 41 года, проработал в науке всего 14 лет, из коих пять лет было отнято борьбой за выживание. Используя семенной материал, добываемый Вавиловым, Зайцев вывел сорта, коими к 1929 году засеивалась половина всех площадей под хлопчатником. Кстати, первые, еще не антинаучные, работы Лысенко проводились по методике Зайцева, на что он сам указывал в своей первой книге. Все это не помешало сделать Зайцева «вредителем в хлопководстве» — к счастью для него, посмертно. А в 1970-е он стал «гордостью узбекского народа», по словам тогдашнего «эффективного менеджера» Узбекистана.

Травля Вавилова глубоко беспокоила его коллег во всем мире. Слух об аресте Николая Ивановича в 1936 г. был расценен как «удар в лицо цивилизации» (американский генетик Давенпорт). Тогда слух оказался ложным. Удар был отсрочен на четыре года...

Статья д-ра Анохина — это новая попытка нанести удар в лицо цивилизации. Но на это она не тянет. Это ядовитый плевок в лицо читателям. Судя по отзывам на его статью в интернете, немало читателей восприняли ее как медовый пряник и со вкусом жевали, не заметив, что он пропитан ядом. Мне жаль этих читателей.



Валерий Хаит

ИСТОКИ МУЗЫКИ

О письмах Сергея Довлатова отцу из армии

О Довлатове пишут много. Пишут друзья, коллеги, даже случайные знакомые. То есть не только те, кто его хорошо знал, но и просто участники мимолетных встреч и застолий. А поскольку он был человек общительный, компанейский, число таких публикаций нарастает. Появляются и тексты о Довлатове, написанные людьми ему посторонними, просто читателями. Я один из них.

Впервые я прочел Довлатова в конце 80-х. Тогда же и единственный раз услышал его голос по «Свободе». Помню ощущение легкости и естественности речи, живых интонаций. С тех пор вот уже десять лет я читаю и перечитываю Довлатова. Я алчно слежу за новыми публикациями о нем. Любой текст, где мелькает фамилия Довлатов, мне изначально интересен. Независимо от его литературных достоинств. Это какая-то болезнь. Я пытаюсь обратить в свою веру друзей и знакомых. Я готов спорить с любым, кто не считает Довлатова выдающимся писателем (а такие, как ни странно, тоже встречаются!). Более того, я считаю, что Довлатов — это чуть ли не единственный мост в русскую (я имею в виду нормальную, то есть связанную с традицией) литературу двадцать первого века. Что он — необходимое, причем долгожданное, звено в цепи, что без него перспективы русской словесности были бы вовсе удручающими.

Да, без сомнения, я болен Довлатовым. Такое, кстати, у меня уже было. С Давидом Самойловым, например. Но прошло. С Зошенко, правда, не прошло. С Пушкиным Александром Сергеевичем. Вот «Египетские ночи» недавно перечитал. Очень рекомендую... А Довлатова читаю уже десять лет. И, представьте, не проходит.

Спрашивается — почему? Сюжет вроде бы знаком. Чем закончится, известно. Что же держит? Видимо, собственно литература. То есть порядок слов. Смысл того, что они выражают. Человеческое обаяние стоящего за ними автора. Его выстраданные мысли и чувства. Которые перекликаются с вашими... (Нет, до чего все-таки заразителен довлатовский стиль! Как видите, и я не удержался...)

Словом, как я уже сказал, любая новая публикация о Довлатове для меня — праздник. Практически все, что появляется о нем в Интернете, почти тут же у меня на столе. Я хочу понять, кто он, откуда, в чем его тайна. И жажду поделиться с кем-нибудь своими находками.

Так, прочитав письма молодого Довлатова отцу из армии ^[1], обнаружил, как мне кажется, что в этих письмах отчетливо видны все черты будущего Довлатова. Что он с самого начала, может быть, еще не понимал, но уже чувствовал свой путь и предназначение. Конечно, в этих письмах основной объем занимает другое. В них много бытовых деталей, просьб, много характерных для попавшего в армию молодого парня забот и рассуждений. Но талант уже давал о себе знать. Подсознание работало. Путь к себе становился все более отчетливым. Попробую подтвердить это...

Предоущение судьбы

В 1962 году, когда Довлатов попал в армию, ему было двадцать лет. К тому времени он уже был женат (хотя и на грани развода) и имел за плечами два курса филфака Ленинградского университета.

Что занимало умы и сердца молодых людей в начале 60-х? Знаю по своему опыту: успех у девушек, спорт, юмор, вечное соперничество в компаниях. Конечно же, и у Довлатова все это было, причем даже в армии, но главным — и об этом он писал отцу — было другое: знание своего предназначения. Он рано понял, что пришел в этот мир, чтобы стать писателем; причем с самого начала трезво оценивал свои возможности. А к жизни относился как к материалу для своих будущих текстов. И что особенно поразительно — уже в эти годы у него появились принципы и критерии, которым он следовал потом всю жизнь.

Он писал стихи и знал, что будет писать прозу. Он писал прозу и понимал, что еще рано. Он жил, служил, выпивал, влюблялся, дрался, но все это как на шампур нанизывалось на стержень его судьбы.

«Пойми, Донат. Я совершенно искренне говорю, что я не только не считаю себя поэтом <...> но даже не думаю, что это дело будет со мной всю жизнь».

«Очевидно, некоторое время я не буду посылать стихов, я сочиняю длинную вещь, наполовину в прозе».

«Я уже, кажется, писал тебе, что не рассчитываю стать настоящим писателем, потому что слишком велика разница между имеющимися образцами и тем, что я могу накатать. Но я хочу усердием и кропотливым трудом добиться того, чтоб за мои стихи и рассказы платили деньги, необходимые на покупку колбасы и перцовки.

А потом, я не согласен с тем, что инженер, например, может быть всякий, а писатель — непременно — Лев Толстой. Можно написать не слишком много и не слишком гениально, но о важных вещах и с толком».

«Написал я четыре рассказа. До этого несколько раз начинал повесть, да все рвал. Еще рано».

«Я думаю, что если когда-нибудь я буду писать серьезно, то в прозе».

«Часто думаю о том, что я стану делать после армии <...> но ничего не придумал пока. Может быть, я и мог бы написать занятную повесть, ведь я знаю жизнь всех лагерей, начиная с общего и кончая особым, знаю множество историй и легенд преступного мира, т. е., как говорится по-лагерному, по фене, *волоку* в этом деле. <...> Но пока я живу себе, смотрю, многое записываю, накопилось две тетрадки. Рассказывать могу, как Шехерезада, три года подряд».

«И еще вот что. Я понял, что при всех отрицательных сторонах жизнь моя здесь намного *благороднее*, чем раньше.

Во-первых, облагораживает то, что здесь строго мужской коллектив, облагораживает даже оружие. Несмотря на мат и драки, внутренне облагораживает. И эти три года будут для меня временем самых искренних поступков и самых благородных чувств, так что было бы хорошо, если бы главные убеждения утвердились во мне в эти три года...»

Невольник вкуса

Как-то Бродский в разговоре с Довлатовым сказал: «Вкус бывает только у портных».

Что ж, у знаменитого поэта было немало экстравагантных высказываний. На мой взгляд, это все равно что сказать: совесть бывает только у присяжных. Я думаю, что вкус, как и совесть, категория врожденная. Его можно развить, улучшить. А можно и испортить. Но изначально он должен быть.

Что такое вкус? Это физиологическое неприятие безвкусицы, пошлости. Того, что Пушкин называл *vulgar*. Самое интересное, что грань тут очень тонкая. В жизни мы очень часто видим, что человек с так называемым тонким вкусом (ну, скажем, профессионально разбирающийся в живописи, в музыке) вполне может быть пошляком.

А Бродский, возможно, имел в виду следующее. Настоящий художник о такой вещи, как вкус, просто не задумывается. Оно обладает им изначально. В отличие от портного, который зависит от моды.

Я думаю, что безупречным вкусом Довлатов был наделен от рождения. Судя по его текстам и воспоминаниям о нем, именно ему и было свойственно органическое неприятие пошлости. Любая вычурность, красивость, претенциозность определялась для него словом «ипостась», которое он терпеть не мог. В рассказах его друзей много примеров, когда он обижал, оскорблял за банальность, за штампованную фразу. «Что ты хотел этим сказать?» — допытывался он. Кричал: «Бухгалтера!»

Объяснить это можно, скажем, так. Язык был для Довлатова живым инструментом правды. А литература — правдой, выраженной словами. Он жил литературой. Причем настолько, что литературные сюжеты были для него важнее жизненных. Помните знаменитое: «Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной» («Соло на ундервуде») [2]?

Отсюда нетрудно понять, почему неискренность, фальшь, выраженные словами, он воспринимал как личное оскорбление.

И примеры этого неприятия пошлости, умения ее распознавать есть уже и в письмах к отцу.

«Р. Рождественский мне не нравится. В его стихах гражданственность, так называемая, очень примитивная, а стихи похожи на худшую часть стихов Маяковского. А худшие стихи Маяковского, кстати сказать, очень плохие.

К тому же у Маяковского в этих самых «гражданственных» стихах втрое больше юмора, ума и толку.

Ты лучше достань сборник Слуцкого, или Винокурова, или «Струну» Ахмадулиной, еще есть Юнна Мориц».

А какое точное попадание в случае с Е. Евтушенко!

«Недавно я читал стихи Евтушенко и понял, что это единственный мне известный поэт, которому идет на пользу то, что в СССР нет „свободы слова“. Мне кажется, что если ему позволить писать все, что угодно, он будет писать пошло и дешево».

Самое интересное, что Довлатову тогда что-то нравилось и у Евтушенко, он даже цитировал. Но главное все-таки в Евгении Александровиче понял. И припечатал...

И еще одно довлатовское качество, прямо связанное с его природным вкусом. Это умение хорошо разбираться в людях. Причем не только в тех, что его окружали.

Вот Довлатову, скажем, вменяют в вину, что он описывал реальных людей и часто выставлял их в неприглядном свете. Более того, придумывал не слишком украшающие их истории. К тому же часто с реальными фамилиями.

Что ж, это было; и многие обижались не на шутку. Я помню, например, как горячился на телеэкране Андрей Вознесенский, опровергая опубликованную в довлатовских «Записных книжках» унизительную для него историю с Андреем Битовым. Да, этого не было. Но вполне могло быть. Ибо соответствовало разгаданным Довлатовым человеческим качествам будущего автора изопов. И отличалось от реальности точно так же, как правда искусства отличается от правды жизни.

Да, он обижал людей, выставлял их в смешном свете, но, уверен, за черты им свойственные. Имелли он на это право? Не знаю. Думаю, что он просто не мог иначе.

И в стихах, присылаемых из армии отцу и другим адресатам, тоже много было вымышленного. Но при этом «я ручаюсь за то, что даже в самых плохих стихах нет ни капли неправды, неискренности или неправдивых чувств».

Мне кажется также существенным, что при практически безупречном вкусе Довлатов обладал еще и идеальным слухом. Тот факт, что в зрелых своих вещах он не начинал слов в предложении с одной и той же буквы, говорит, на мой взгляд, именно об этом. А не только о том, что он сознательно ставил перед собой какие-то ограничения, формальные задачи.

Суть, по-моему, вот в чем. Главное в стиле Довлатова — короткая фраза. А каждый мало-мальски пишущий человек знает, как даже в длинных предложениях всякие, пусть даже удаленные друг от друга повторы слов режут слух. Довлатову, с его короткими предложениями, видимо, резали слух даже одинаковые начальные буквы. Думаю, что не ошибаюсь.

А еще о довлатовском вкусе говорит то, что в литературе он был сторонником нормы. То есть простоты. И не той, что хуже воровства, а простоты в пушкинском понимании — в стремлении как можно более ясно и просто донести до читателя свои мысли и чувства. Автор не может не думать о читателе. Он пишет в надежде, что его не только прочтут, но и поймут. Конечно, это лишь в тех случаях, когда есть что сказать. Потому что в случаях противоположных и задача иная: как можно более умело скрыть, что сказать нечего.

Пастернак писал о том, что неумение найги и сказать правду никаким умением говорить неправду не покрыть. Для Довлатова литература изначально была не игрой в слова, а способом коммуникации, реализованной потребностью поделиться с кем-то (пусть даже сначала с бумагой) своими чувствами, мыслями, просто чем-то тебя поразившим.

И в письме к отцу осенью 1962 года Довлатов уже пытался сформулировать эту свою озабоченность правдой, напрямую связанную с простотой:

«...Я понял, что стихи должны быть абсолютно простыми, иначе даже такие гении, как Пастернак или Мандельштам, в конечном счете останутся беспомощны и бесполезны, конечно, по сравнению с их даром и возможностями...»

Улыбка разума

«Юмор — инверсия жизни. Лучше так: юмор — инверсия здравого смысла. Улыбка разума»^[3], — записал Довлатов в «Соло на IBM». Он хотел понять природу смешного, пытался вывести его формулу.

Думаю, это ему удалось.

Инверсия — перестановка, смещение. Юмор — смещение смысла. То есть парадокс. Это общеизвестно. Но ключевое слово в определении Довлатова, мне кажется, «разум». Настоящий юмор — это то, что вызывает смех умного человека. Вершина юмора — ирония. А еще выше — самоирония. Довлатов всеми этими разновидностями смешного владел виртуозно. Его зрелые вещи пропитаны юмором, иронией и самоиронией, как паруса солью.

Между тем в его письмах из армии юмора не так уж много.

Сам Довлатов объясняет это так:

«Ты понимаешь, Донат, весь юмор и живость у меня утекают в письма маме и Аньке^{1[4]}, потому что дамы очень волнуются, и я их старательно весело и развлекаю в каждом письме...»

(Я очень надеюсь, что эти письма сохранились и тоже могут быть напечатаны...)

И все же остроты и иронические построения зрелого Довлатова встречаются уже и в письмах к отцу.

«Десять штук безопасных лезвий свели бы меня с ума».

«Стихов я писать не буду до тех пор, пока не напишу одного трудного стихотворения про карусель. Делаю огромные усилия, чтобы не рифмовать: карусель — карасей...»

«Будь здоров, не кури, плохо питайся (творогом, простоквашей), выздоравливай, три года готовь организм к грандиозной пьянке по случаю моего приезда».

«Читал в «Огоньке» несколько стихов Рождественского. Мне кажется, что я их уже когда-то читал, но тогда они были лучше».

«Светлана приезжает 9-го. Она ко мне очень хорошо относится, настолько, что всех остальных мужчин называет на ты и произвольными именами, чаще всего Володями».

«Я научился печатать на машинке со скоростью машинистки, находящейся на грани увольнения».

«В субботу я выпил много экспортной водки. Мама говорит, что у меня, равно как и у тебя, в нетрезвом виде бесследно пропадает обаяние».

«Народ в команде хороший. Тут царит обстановка простого, безыскусственного хамства».

А вот цитата в цитате:

«Донат, я вспомнил одну мысль из книги Акимова. Она в твоём вкусе: „Безвыходное положение это то, простой и ясный выход из которого нам не нравится“».

Я не знаю, как насчет Доната Мечика, но, судя по зрелому довлатовскому юмору, эта фраза вполне во вкусе самого Сергея Донатовича.

Кстати, по поводу уникальности довлатовского стиля брезжиг еще такая мысль. Думаю, что юмор для него был стилиобразующим фактором. Острота не

может быть длинной. По-настоящему остроумный, иронический человек никогда не бывает многословным. В отличие от записного юмориста.

У Довлатова короткая фраза сначала произнесена вслух. Потом записана. Как острота. Как афоризм. Когда порядок слов единственно возможен. Иначе юмор, смысл гибнет. Фраза на длину выдыха...

И еще о юморе. В «Записных книжках» Довлатова много каламбуров, шуток, построенных на игре слов: «Соединенные Штаты Армении», «Романс охранника „В бананово-лимонном Сыктывкаре“», «Диссидентский романс „В оппозицию девушка провожала бойца“», «Чемпионат страны по метанию бисера». Опечатки: «джинсы с тоником», «кофе с молотком» и т.д. и т.п. [5]

Я не большой поклонник подобного юмора. Даже у Довлатова. Просто я привел эти примеры, чтобы сделать еще один мостик к довлатовским письмам отцу.

«Додулат — личность презанятная. В нем есть эдакая утесовская пошлячка. Но он очень забавно разговаривает, не слишком умно, но непрерывно. Например, он говорил про одного майора, что у него „денег — курвы не клюют“.

Про меня сказал, что я настолько высокий, что мне, чтоб побриться, надо влезть на табурет. Про худенькую Светлану сказал: „Не все то золото, что без тиг“».

Через стихи к прозе

В армейских письмах Довлатова много стихов. Он интересуется поэзией, высказывается по поводу известных поэтов.

Я отобрал несколько наиболее мне понравившихся довлатовских стихотворений. И что поразительно, мне показалось, что в них тоже весь будущий Довлатов-прозаик.

Погоня

(веселая песенка)

А след по снегу катится
Как по листу строка
И смерть висит как капелька
На кончике штыка

Под ветром лес качается
И понимает лес
Что там где след кончается
Сосновый будет крест

А снег сверкает кафелем
Дорога далека
И смерть висит как капелька
На кончике штыка

Подзаголовок, мне кажется, говорит не только об умении автора сочетать трагедию с иронией, прятать трагедию за иронией, но и, опять же, о хорошем вкусе. Легкий танцующий ритм стихотворения не вполне соответствует его довольно-таки невеселому содержанию. Отсюда и необходимость подзаголовка.

* * *

Дангес фон Геккерен
Конечно был подонком
Тогда на кой же хрен
Известен он потомкам

Французик молодой
Был просто очарован
Пикантной полнотой
Натали Гончаровой

Он с ней плясал кадрили
Купался в волнах вальса
А Пушкин — тот хандрил
Поскольку волновался

Поэту надоел
Прилипчивый повеса
Он вызвал на дуэль
Несчастливого Дангеса

А тот и не читал
Его стихотворений
Не знал он ни черта
Про то что Пушкин гений

Поэт стрелял второй
Пошла Дангесу пруха
Устукал мой герой
Ревнивого супруга

Откуда мог он знать
Что дураки и дуры
Когда-то будут звать
Его врагом культуры

Тут он сам все объясняет: «Пожалуйста, не считай, что это абсолютная белиберда. Я хотел туда вложить смысл, пусть озорной, но все же разумный».

Смешно предполагать, что Довлатов плохо относился к Пушкину. Но его раздражала официальная пушкинистика, навязывающая людям единое мнение о поэте. Отсюда пародийность, отчетливо заметная в этом виртуозном стихотворении и нашедшая свое блестящее завершение в довлатовском «Заповеднике».

Памяти Н. Жабина

Жабин был из кулачья,
Подхалим и жадина.
Схоронили у ручья
Николая Жабина.

Мой рассказ на этом весь,
Нечего рассказывать.
Лучше б жил такой, как есть,
Николай Аркадьевич.

От этого стихотворения, как мне кажется, прямой путь к строчкам из «Соло на IBM»:

«— Что может быть важнее справедливости?
— Важнее справедливости? Хотя бы милость к падшим» [6].

Запись, кстати, во многом ключевая по отношению ко всей прозе Довлатова.

Дамское танго

Я умею танцевать танго,
И танцую я его ловко.
Только зря ты все глядишь, Таня,
Ты уж лучше пригласи Левку.
Вы, по-моему, вполне пара,
Он ведь парень боевой с Охты,
Ты, Танюша, пожалей парня,
Он давно уж по тебе сохнет.
Ты красивее других, тоньше,
И глаза твои синей моря,
Ты танцуешь, будто ты тонешь,
Будто ты себя спасти молишь.
Танцевали мы с тобой часто,
Я хочу тебе сказать честно,
Я же чувствую, что ты чья-то,
Но, послушай, ведь и я чей-то.
Есть у каждого из нас тайна.
Патефон давно охрип, шепчет.
Лучше вальса подождем, Таня,
Мне его не танцевать легче.

Несмотря на то, что по признанию самого Довлатова это стихотворение было написано в состоянии некоторого подпития, в нем, на мой взгляд, есть и психологическая глубина, и эмоциональная точность, и умение скупыми средствами сказать гораздо больше, чем написано. Что как раз и характерно для его зрелой прозы.

* * *

Убийца строил дом,
Работал он на совесть,
Без перекуров то есть,
Без выходных пригом.

Он топором стучал,
Работал на морозе,
И даже ватник сбросил,
А я сидел, скучал.

С восьми до четырех
Я мерз в тулупе теплом
И валенками топал,
Преступника стерег.

Короче говоря,
Построил дом убийца,
Причем довольно быстро,
К седьмому ноября.

Он оглядел работу,
Не вытирая пота,
В бревно вогнал топор,
И улыбнулся, черт.

Внимательный читатель Довлатова легко сделает вывод, что в этом стихотворении — уже вся будущая «Зона». Вспомним: «Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить» [7].

И наконец:

* * *
На станции метро, среди колонн,
Два проходимца пьют одеколон,
И рыбий хвост валяется в углу
На мраморно сверкающем полу.

Мы ближе к коммунизму с каждым днем,
Мы запросто беседуем о нем.
А в космосе, быть может, среди звезд
Летает по орбите рыбий хвост.

Вот еще пример сочетания высокого и низкого, характерный для довлатовской прозы. Не говоря уже о ненавязчивой (в отличие от многих других) эстетизации выпивки как единственной возможности в те времена ощутить свободу. Ну, как минимум, свободу слова...

А возвращаясь к роли стихов в становлении Довлатова-прозаика, хочется сказать, что лучше всех разгадал тайну его стиля, конечно же, Бродский. В статье «Мир уродлив, и люди грустны: О Сереже Довлатове» он писал: «Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения...»

И в конце статьи Бродский вновь возвращается к этой мысли: «Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы; на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи...» [8]

Довлатов в шутку сетовал, что никто так и не хочет признать его единственным эпигоном Пушкина [9]. И это тот случай, когда в шутке содержится не доля правды, а, может быть, вся правда. Довлатов действительно шел за Пушкиным.

Восторгаясь пушкинской прозой, он понимал, что Пушкин пришел к ней через стихи, что это была проза поэта. Не ощущая в себе большого поэтического дара, но относясь к поэзии с огромным пиететом, он считал себя достойным **лишь** прозы. Но интуитивно чувствовал, что путь этот пролегает через стихи.

Пушкин сумел написать огромный роман, но в стихах, — «Евгений Онегин». Максимальный объем пушкинской прозы — столь любимая и многократно перечитываемая Довлатовым «Капитанская дочка» — чтение на два — два с половиной часа.

Вообще-то, мне кажется, проза поэта и прозаика — это разные вещи. Рискну даже предположить, что если бы Лев Толстой и Федор Достоевский писали в молодости стихи, то мы никогда не смогли бы стать читателями ни «Войны и мира», ни «Братьев Карамазовых». Во всяком случае, в таком объеме.

И еще один, как мне кажется, важный момент. И об этом тоже писал Бродский: «Безусловно одно — двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом. За этим стояло, безусловно, нечто большее: представление о существовании душ более совершенных, нежели его собственная...»^[10]

Примерно о том же фраза Довлатова из письма к отцу: «Но больше всего меня привлекла одна строчка из статьи Б. Сарнова: „По-моему, поэзия есть высшее проявление человеческой порядочности“».

Так это или не так — другой вопрос. Важно, что Довлатов об этом думал и этим мерил. Причем прозу тоже. И, полагаю, не только в молодости.

Интеллектуальная составляющая

Итак, то, что подкупает нас в зрелом Довлатове, оказывается, было уже и в молодом. Искренность и самоирония, откровенность до незащитности. Ненавязчивость и неагрессивность. И главное — отсутствие пафоса. Даже наоборот, нарочитое приземление, снижение.

«Дорогой Донат! Фортуна наконец повернулась ко мне харей».

Но самое поразительное, что при всем неприятии пафоса и так называемых «серьезных разговоров» его зрелая проза интеллектуально насыщена, она полна мыслей и рассуждений. Невольно вспоминаются слова Пушкина о Боратынском: «Он у нас оригинален — ибо мыслит». Выяснилось, что этот момент тоже был для Довлатова принципиальным.

В одном из писем Елене Скульской Сергей Довлатов, давая оценку своей новой вещи, писал: «...Но это была школа. Школа свободной манеры. Школа интеллектуального комментария. Пусть мои соображения наивны (это так), но раньше я вообще их избегал.

Интеллект — такой мощный фактор прозы, что его совершенно необходимо подключить. Пусть вышло короткое замыкание — дальше будет лучше. Еще эрудиция в запасе (которой нет, но будет)»^[11].

Практически все тексты зрелого Довлатова пронизаны этими интеллектуальными комментариями. Он размышляет, причем всерьез, скрывая эту свою серьезность за ироническими пассажами. А как выяснилось, это было ему свойственно

еще в молодые годы, когда жизнь радостна сама по себе и ни о чем таком серьезном даже не задумываешься.

В подтверждение я хочу привести последнее из опубликованных писем Довлатова отцу из армии. Причем практически полностью:

«Дорогой Донат,
за десять лет сознательной жизни я понял, что устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. <...>

Человек, как нормальный представитель фауны, труслив и эгоистичен. Если бы существовал аппарат, способный фиксировать наши скрытые побуждения, мы бы отказались узнавать самих себя.

Процветание Запада объясняется тем, что капитализм всецело поощряет самые мощные и естественные свойства человека, например, стремление к личному благополучию. Непреодолимая трудность нашего строя заключается в том, что он требует от людей того, что не свойственно вообще человеческой природе, например, самоотречения и пр.

Возникает вопрос, чем тогда объяснить примеры героизма, полного отречения от себя и пр.

Все это существует. Когда я был на севере, то видел, как мои знакомые, нормально глупые, нормально несимпатичные люди, совершали героические поступки. И тогда я понял, что в некоторых обстоятельствах у человека выключается тормоз себялюбия, и тогда его силы и возможности беспредельны. Это может случиться под воздействием азарта, любви, музыки и даже стихов. И еще — в силу убеждения, что особенно важно.

Например, К. — всем известная стерва и выжига, но по отношению к Б. способна на семейный героизм.

А. Матросов обнял пулемет в силу азарта, но, конечно, в лучшем и крайнем смысле этого слова.

По всей вероятности, задача искусства состоит в том, чтоб выключить в человеке тормоз себялюбия.

Рациональный фактор изменяется очень быстро. Путь от телеги к ракете — это одно мгновение. Но натура человека абсолютно неизменна. Рассчитывать можно только на тех, кто физически связан с тобой (кровно и пр.), всем остальным нет до тебя никакого дела <...>

Мы живем в плохое время и в плохой стране, где ложь и неискренность стали таким же инстинктом, как голод и любовь. Если у меня будет сын, я его постараюсь воспитать физически здоровым, неприхотливым человеком и приучить к беспартийным радостям, к спорту, к охоте, к еде, к путешествиям и пр. Да я и сам еще рассчитываю на кое-что в этом смысле.

Если что в моем письме тебе покажется неверным, то лишь потому, что не сумел изложить все это достаточно грамотно и убедительно».

Это было написано осенью 1963-го. Довлатову только что исполнилось 22 года...

И в завершение — еще одна фраза Бродского о Довлатове из уже цитированной мною статьи «Мир уродлив и люди грустны»: «Неизменная реакция на его рассказы и повести — признательность за отсутствие претензии, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце. Тон его речи воспитывает в читателе сдержанность и действует отрезвляюще: вы становитесь им, и это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику, не говоря — потомку...»^[12]

Примечания

- [1] Сергей Довлатов. Творчество, личность, судьба. СПб.: АОЗТ «Журнал „Звезда“», 1999. (В дальнейшем все цитаты из писем приводятся по этому изданию, в квадратных скобках указывается номер письма).
- [2] Сергей Довлатов. Собрание прозы в 3 томах. СПб.: Лимбус-Пресс, 1995. Т. 3. С. 289.
- [3] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 306.
- [4] Аня Райлян — ленинградская приятельница С. Д. (*Прим. составителя книги*)
- [5] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 293, 303, 333, 336.
- [6] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 303.
- [7] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 1. С. 35.
- [8] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 358.
- [9] См.: Сергей Довлатов. Эпистолярный роман с Игорем Ефимовым. М.: Захаров, 2000. С. 323.
- [10] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 357.
- [11] Малоизвестный Довлатов. СПб.: Лимбус-Пресс, 1995. С. 489.
- [12] Сергей Довлатов. Цит. соч. Т. 3. С. 359–560.



Борис Тененбаум

МУССОЛИНИ

Главы из новой книги

(Окончание. Начало в №9-10/2013 и сл.)

Конец эпохи Муссолини

I

В деревне Донго, несмотря на всю ее малость, был и собственный парк, разбитый у берега озера, и даже с каменным парапетом у линии воды. Там-то, у парапета, конвой выстроил пятнадцать иерархов фашистской партии, пойманных вместе с Муссолини. Когда "полковник Валерио" втолкнул к ним еще одного человека, в иерархию не входившего — Марчелло Петаччи, брата Кларетты — они бурно запротестовали:

"Выкинуть его! Он предатель, он недостойн умереть вместе с нами!".

И они его действительно вытолкнули, и кто-то из них воскликнул: *"Да здравствует Италия!"* — но времени на такие церемонии было мало.

Всех казнимых повернули лицом к озеру и скосили одним залпом.

Но их было 15, и стрелков в расстрельной команде было столько же, и получилось так, что напавал убили не всех, и пришлось заниматься хлопотливым делом добивания раненых — из пистолета, и в упор — а тем временем Марчелло Петаччи вырвался из рук конвойных и побежал.

И бежать ему было некуда, и был доктор Марчелло Петаччи упитанным человеком, а вовсе не спортсменом — но ужас неминуемой смерти придал ему силы, и догнать его никак не могли.

В конце концов он бросился в озеро, и поплыл куда-то — но теперь, когда он перестал метаться, преследователи сумели наконец хорошенько в него прицелиться. Так в озере Марчелло Петаччи пристрелили — но труп в воде не оставили, а вытащили на берег.

В числе прочих его кинули в кузов грузовика, потом подобрали и тела Бенито Муссолини и Кларетты. Они, таким образом, оказались последними при загрузке, и их бросили поверх остальных.

В Милан грузовик пришел 29-го апреля 1945-го года.

Трупы выставили на потеху толпе на маленькой площади Пьяцца Лорето, возле гаража с бензоколонкой. На тела казненных плевали, мочились, в них кидали камни и всякий мусор. В руки Муссолини всунули какую-то палку и сказали, что это его скипетр, какой-то человек держал труп Кларетты, чтобы все могли видеть ее лицо.

На Пьяцца Лорето пригасили пойманного живым Акиле Стараче и показали ему труп Муссолини.

Он поглядел на тело своего вождя, выкинул правую руку вперед и вверх, как и полагалось в образцовом римском салюте, и закричал:

"Да здравствует дуче!".

Муссолини говорил в свое время, что Стараче глуп, но верен — и верным он оказался до последнего часа. Или даже до последней минуты, — потому что примерно столько времени после своего последнего приветствия дуче он и прожил.

Акиле Стараче застрелили тут же, на месте — и тут кому-то из партизан и пришла в голову блестящая мысль — подвесить трупы за ноги на перекладине стоек бензоколонки.

Так и сделали.

Они висели все вместе, одним рядом, слева направо — и Никола Бомбаччи, и Бенито Муссолини, и Клара Петаччи, и Акиле Стараче, и все остальные. Какая-то добрая душа завернула обратно задрвшуюся юбку Кларетты и подвязала ее к коленям — наверное, для того, чтобы покойная выглядела все-таки как-то поприличней.

Муссолини не пожалел никто. Еще когда его труп лежал на земле, сильно брошенный камень расколол ему череп. И теперь с головы дуче тонкой желтоватосерой жидкой струйкой наземь стекали мозги ...

Они собирались в лужицу у подножия его виселицы.

II

Гитлер покончил с собой в Берлине 30-го апреля, на следующий после публичного поругания над телом его соратника. В Италии на это особого внимания не обратили — война так или иначе догорала, но в разбомбленной стране не хватало хлеба, и людям было не до символических сближений.

Трупы с виселицы на Пьяцца Лорето сняли по настоянию архиепископа Миланского — он был страшно возмущен, призывал “... *похоронить покойных по христианскому обычаю* ...” — и его послушались.

Ярость понемногу спадала. Маршала Родольфо Грациани подержали в тюрьме, в 1950 году приговорили к 19 годам тюрьмы, но очень скоро амнистировали, и он дожил до 1955-го.

Дино Гранди и вовсе повезло — его вместе с Чинао приговорили к смертной казни, но заочно, потому что в августе 1943 года он бежал в Испанию. Потом его немало поносило по свету — он жил в Португалии, потом — в Бразилии. Но к концу жизни все-таки вернулся в Италию, и умер в родном городе, Болонье, на 93-ем году жизни.

Маршала Бадольо сразу после войны собирались было судить примерно таким же образом, как судили руководителей Рейха — по обвинению в разжигании войны, судом международного трибунала. Черчилль спас его от тюрьмы, а к 1947 году с маршала сняли и все обвинения.

В своем родовом поместье он дожил до 1956 года.

Вальтер Аудизио, убивший Муссолини — ну, или считавшийся его убийцей — сделал политическую карьеру. В 1946-ом Италия после проведенного в стране референдума стала республикой — и уже в 1948 Аудизио стал депутатом парламента от коммунистической партии, а в 1963 вошел в сенат.

В 1968 он оставил политическую стезю и вошел в директорат крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni (Eni S.p.A.) — он умер в 1973, оставив значительное состояние.

Странная карьера в какой-нибудь другой стране — но не в Италии.

В политической жизни послевоенной Италии участвовала и Анжелика Балабанова. Вторая Мировая Война застала ее в Нью-Йорке, но в но сразу после окончания военных действий она вернулась в Европу, примкнула в 1947 году к Социа-

листической партии итальянских трудящихся, очень способствовала ее преобразованию в Итальянскую социал-демократическую партию, и бескомпромиссно сражалась против партнерства ее с коммунистами. Анжелика Балабанова вообще в большевизме после смерти Ленина сильно разочаровалась. Умерла она в ноябре 1965, пережив Муссолини больше чем на 20 лет.

Похоронена в Риме.

За четыре года донее скончалась и Маргарита Царфати. В 1938 ей пришлось бежать, и почти 10 лет она провела в Латинской Америке сначала в Аргентине, а потом в Уругвае. Способный человек, Маргарита Царфати испанский язык освоила так, что в Монтевидео работала журналистом — но в 1947 вернулась на родину.

Несмотря на тесно связанное с Муссолини прошлое, претензий к ней не имели — и в 50-е годы она опять стала видной фигурой в итальянской культуре.

У нее был огромный личный архив, содержащий более 1000 писем Муссолини, но она их никогда не публиковала, и куда они делись после ее смерти, неизвестно и по сей день.

Леде Рафанелли не понадобилось возвращаться в Италию — все годы фашистской диктатуры она так там и жила в полном уединении — но в 1946 опубликовала письма к ней, написанные ее возлюбленным еще до того, как он остал дуче. Она собрала их в книгу, которую назвала: "*Una donna e Mussolini*" — "*Женщина и Муссолини*".

Книга вышла еще раз в 1975, в издательстве "Риццоли", с прибавкой к названию "Любовная переписка" (*Una donna e Mussolini: la corrispondenza amorosa*, 1975 Rizzoli).

Эдда Чиано, любимая дочь Бенито Муссолини, проклявшая своего отца, дожила до 1995. Она сохранила значительную часть дневников Галеаццо Чиано, и опубликовала их так скоро, как только смогла. При всей своей субъективности, дневники оказались очень ценным документом для историков, занимавшихся Второй Мировой Войной.

Наверное, самым выдающимся из потомков Бенито Муссолини оказался его младший сын, Романо.

Он еще в ранней юности увлекался джазом — чем, говорят, сильно раздражал Генриха Гиммлера.

Так вот, Романо Муссолини, сначала выступал под псевдонимом, а в 1960-х годах перестал прятаться и создал свой джазовый оркестр, да еще с английским названием — "*Romano Mussolini All Stars*" — "*Романо Муссолини, Все Звезды*".

Он вообще был широким человеком. Смеялся над отцом, когда тот якобы понимал Ницше — но когда его дочь, Алессандра Муссолини, основала довольно-таки радикальную партию "Социальная инициатива", с сильным креном в сторону идей фашизма раннего периода, Романо написал для этой партии гимн.

Кстати — Романо Муссолини был женат на Анне Виллани Шиколоне, сестре Софи Лорен, и Алессандра от этого брака и родилась, так что эта примечательная дама оказалась одновременно и внучкой диктатора, и племянницей кинозвезды.

Жизнь — странная вещь — но почему-то кажется, что такое могло случиться только в Италии.

III

Одним из лучших специалистов по части того, что может или не может случиться в Италии, был Луиджи Барзини. Ссылка в глушь за политическую неблагонадежность, как ни странно, избавила его от многих неприятностей — на своем малень-

ком островке в Адриатике он пережил и американские бомбежки, и германское вторжение летом 1943, и битву за Италию, которая длилась вплоть до весны 1945.

После краха Республики Сало Луиджи Барзини вышел на свободу, и снова занялся своим ремеслом — журналистикой. В 1958 он занялся и политикой — стал депутатом парламента от Итальянской Либеральной Партии — но широкую известность ему все-таки принесло не это, а книги. Одна из них, названная "Итальянцы", в Америке стала бестселлером.

Автор рассказывает о "... *мире глазами итальянца* ..." — и о том, какое огромное место в этом мире занимает семья, и что такое локальный патриотизм, и что такое Церковь — если речь идет об Италии — и как по-разному смотрят на жизнь на Севере Италии — где-нибудь в Турине или в Милане — и на Юге страны, и что линия этого культурного раздела Север/Юг проходит как раз через Рим, столицу Италии. Барзини объясняет, что чем дальше на север, тем больше итальянцы схожи с европейцами вообще — хотя бы в смысле отношения к деньгам и времени — а чем дальше на юг, тем меньше этому придают значения.

Там и деньги сами по себе не так важны, и время течет себе и течет, вне зависимости от графиков и расписаний — но зато резко возрастает роль престижа, и человек прежде всего стремится слыть тем, кого уважают и боятся.

Ну, и Луиджи Барзини не обошел и такой важной темы в истории Италии, как эра Муссолини.

В его глазах она началась как столкновение вдоль еще одного разлома в политической жизни Италии — резкого расхождения между левыми и правыми.

Крайне левые видели будущее Италии социалистическим. Типичный бунтарь-социалист полагал, что убийство короля, или бомба в набитом публикой театре, или захват фабрики — все это немедленно вызовет желанную революцию.

Бенито Муссолини в пору своей юности был именно таким.

Но, помимо крайне левых, в Италии были и крайне правые. Их программа начиналась с того, что левых как политический фактор следует уничтожить. А уж дальше, освободив себе руки, можно приступать к действительно серьезным делам — к широкой экспансии и к захвату колоний.

Противостояние левых и правых в 1919-1922 вылилось буквально в форме гражданской войны — только что закончилась она относительно бескровно, и итогом ее стало установление нового режима во главе с Муссолини — бывшим социалистом, ставшим пламенным националистом.

С этого в Италии и началась диктатура — и больше всего Барзини поражало то, что за границей режим принимали всерьез. В ходе своей профессиональной деятельности он много поездил по миру — и читал в иностранных газетах о таких-то и таких-то намерениях коварного диктатора, Бенито Муссолини. А когда возвращался домой, то видел совершенно некомпетентную администрацию, вороватые и коррумпированные элиты, и власть, озабоченную только одним — созданием фасада могущества. И в итоге в 1940-ом году Бенито Муссолини совершил непрощаемый грех ...

Он поверил собственной пропаганде.

IV

У Марка Алданова есть новелла о последнем дне, прожитом Бенито Муссолини. Алданов обычно смещает фокус повествования — главный герой у него, как правило, появляется не сразу, по имени до поры не называется, и показан со стороны глазами какого-нибудь незначительного персонажа.

Но в данном случае писатель изменил своему обычаю.

Новелла сразу начинается с размышлений дуче о сохранности заветного сундучка, где он хранит некие деньги, и уже в четвертом абзаце он уже назван — да, это Муссолини.

Ну, а дальше подробно рассказано, как диктатор оказался в ловушке, и был извлечен из кузова грузовика, одетым в немецкую шинель, и как и его, и Кларетту помещают в крестьянском доме — хоть и под охраной, но вместе, и в хорошей комнате.

А хозяину дома партизаны говорят, что у него тут временно побудет немецкая супружеская пара — и тот соглашается, потому что деваться ему все равно некуда — но ворчливо заявляет, что ладно, он не против — но кормить гостей он не будет, потому что нечем.

А потом оказывается, что дама, попавшая крестьянину в постоялицы, для немки просто на диво хорошо говорит по-итальянски — и долго и многословно его благодарит, и говорит, что "*... они всем довольны ...*" — а ее муж, человек пожилой и явно больной, все больше отмалчивается.

Наутро следующего дня, смягчившись, крестьянин все-таки приносит своим постояльцам немного какой-то нехитрой еды — но вдруг, приглядевшись к старому немцу, у которого трясется челюсть, догадывается, кто он такой — и пятится назад. Дальше М. Алданов о прозревшем хозяине дома забывает, роняя только одну короткую фразу:

"... за дверь он ахнул, хлопнул себя по лбу, и побежал ..."

Внимание автора теперь занимает совершенно другой человек — тот, который только что приехал, и сказал Кларетте, что "*... вреда им не причинят ...*" — а потом увез и ее, и Муссолини из дома, доvez до какого-то угла, сказал уже им обоим, что "*... комедия окончена ...*", и застрелил обоих.

М. Алданов — великий мастер, и ему нет нужды говорить о том, что Кларетта Петаччи страшно испугана — потому-то она и трещит без умолку, и непрерывно всех благодарит, и изво всех сил старается понравиться всем и каждому — в полном отчаянии цешляясь за соломинку ...

И из текста видно, как глубоко отвратителен автору убийца, "полковник Валерио".

Да, что и говорить — Марк Александрович Алданов бежал от российской революции 1917-1918, и про расстрелы знал не понаслышке. В России в случае особо высокопоставленных людей казнь и обставлялась примерно так же — под видом фотосъемки, например.

Но, понятно, новеллу свою М. Алданов писал все-таки о Муссолини — и поток мысли павшего диктатора тоже появляется в тексте. Он думает, в частности, о том, как ошибся — следовало сохранять нейтралитет. Не надо было лезть в большую игру великих держав, надо было оставаться в стороне, вести торговлю, дожидаться верного исхода — ну, и так далее.

Тут, конечно, на ум сразу приходит пример генерала Франко.

Контраст действительно разительный. И Франко, и Муссолини были в своих странах диктаторами с неограниченными полномочиями, и их сходство доходило до того, что и тот, и другой в качестве своих министров иностранных дел полагались на близких родственников.

Серрано Суньер в Испании вполне соответствовал графу Галеаццо Чиано в Италии.

Но Франко в 1942 году сместил Серрано Суньера с поста министра иностранных дел, заменив его генералом Хордана, слывшим англофилом. Тот уже был однажды главой испанского МИДа, был за свое англофильство уволен — но сохранен. В 1942 это оказалось очень на руку — у Франко оказался в наличии “... *правильный кандидат* ...” на роль министра.

А на Серрано Суньера была свалена на ответственность за сближение с Германией — хотя в этом он был совершенно неповинен — но, как бы то ни было, его отодвинули от политической деятельности, и он занялся юридической карьерой.

И в итоге казнить его не пришлось — Серрано Суньера умер в 2003 году, на 102-м году жизни.

Что касается Франциско Франко, то он правил Испанией вплоть до 1975, и скончался в возрасте 83-х лет, так и оставаясь неоспоримым главой государства. Память по себе он оставил смешанную — в среде интеллигенции многие его ненавидели.

Тем не менее, Франко оказался очень способным правителем — достаточно сказать, что после Второй мировой войны, в течение долгих 10 лет, с 1945 по 1955, он умудрился нейтрализовать все попытки отстранить его от власти.

Раз за разом он доказывал и англичанам, и американцам, что только он может гарантировать Испании покой и порядок. “Испанская Партия”, которую мы так подробно разобрали в этой книге, была не единственной его победой.

Что до Муссолини, то обстоятельства его смерти — фарс, перешедший в трагедию — оказали серьезное влияние на расклад политических сил в Италии в послевоенный период.

В 1948-ом году, в первые свободные выборы в Италии с 1922-го года, большую победу одержали христианские демократы, партия, считавшаяся “... *светской ветвью Церкви* ...”.

Луиджи Барзини объясняет это тем, что народ испугался того, что у коммунистов может оказаться шанс на установление диктатуры, еще более жестокой, чем та, что существовала при Республике Сало.

Трудно сказать — но виселица на Пьяцца Лорето и впрямь стала казаться чем-то постыдным даже многим коммунистам. Этот поворот начался еще в начале 60-х, при генеральном секретаре Компартии Пальмиро Тольятти — хотя Луиджи Лонго был одним из его заместителей.

Что до Италии, то она после Второй Мировой Войны совершенно исцелилась от всяких имперских амбиций — как оказалось, куда удобнее быть просто частью Европейского Союза.

К 2013 Италия твердо стоит на вполне достойном месте среди стран Европы. Памятников Бенито Муссолини, конечно, нигде нет — но и память его особо не проклинают.

Он по своим долгам расплатился сполна.

**

В заключение — несколько сугубо личных замечаний:

В свое время я немало поездил по Италии. Конечно, нет никакой нужды рассказывать современному российскому читателю ни о музеях, ни о городах, ни о пейзажах этой страны — границы открыты, и при наличии желания все это можно посмотреть самолично.

Но о двух эпизодах в ходе моих итальянских путешествий все-таки хочется рассказать.

Один случился в 1991 году, когда я поездом отправился с Юга на Север — из Рима в Милан.

И оказалось, что на главном вокзале в Риме перронные часы НЕ идут.

Во Флоренции они шли — но показывали неправильное время.

В Милане — шли, отставая на 3 минуты.

В Лугано — столице Тичино, единственного кантона в Швейцарской Конфедерации, население которого составляют итальянцы — часы шли секунда в секунду.

Если прибавить к этому, что у моего приятеля, поехавшего из Рима на Юг, в Неаполе чемодан украли прямо на перроне, то трудно придумать более красноречивую иллюстрацию к тезису Луиджи Барзини о глубокой разнице между регионами Италии — чем дальше на Север, тем ближе к Европе.

Второй эпизод случился много раньше, весной 1981.

Я попал тогда в Рим сразу из Москвы — и по сравнению с чинной и несколько пуританской столицей СССР Рим в моих глазах выглядел городом шумным, замусоренным и безалаберным. Это был первый западный город, который я увидел не в кино — и конечно же, многое в нем поражало.

Но ничто не поразило больше, чем витрина одного из маленьких римских магазинчиков, торгующих сувенирами. В ней были выставлены изображения знаменитых итальянцев — и я вдруг увидел там бюсты Пальмиро Тольятти и Бенито Муссолини.

Это не укладывалось в голове.

Тольятти был коммунистом, в честь которого в СССР был назван целый город, а Муссолини — исчадием ада, родоначальником фашизма, как бы "... младшим братом Адольфа Гитлера ...". И тем не менее — в глазах владельца магазинчика оба они были частью прошлого — стертого временем, ушедшего в пыль, и ставшего сейчас всего лишь частью мелкой, чисто сувенирной коммерции.

Все это ушло и забылось — и на полке в витрине оба бюста стояли рядом.

**



Сергей Баймухаметов

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ МИХАИЛА ГОРБАЧЁВА

30 лет назад, 11 марта 1985 года, состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Генеральным секретарем избрали М.С. Горбачева. В СССР начались политические и экономические реформы, вошедшие в историю как «перестройка и гласность»

Как Горбачев захватил власть

Теперь-то, через десятилетия, мы знаем и понимаем, что все качалось на весах. Как говорится, упали случайная (!) пушинка на ту или иную чашу — и... И — неизвестность. История пошла бы другим путем?

С одной стороны, вроде бы все осознавали и говорили: необходимы перемены, так дальше жить нельзя. От мужиков в заводских курилках до членов Политбюро. Шеф КГБ с 1967 по 1982 годы Юрий Андропов, став после смерти Брежнева генсеком ЦК, сказал на заседании Политбюро в 1983 году: «Мы не знаем страны, в которой живем».

Эдуард Шеварднадзе, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, говорил в частных беседах секретарю ЦК КПСС Горбачеву: «Ну все, Михаил Сергеевич, дошли уже до предела! Все заржавело, прогнило — нельзя в таком состоянии дальше оставаться». Горбачев отвечал: «Согласен с тобой полностью».

Были к тому же и причины, связанные с возрастом, болезнями и личностными особенностями представителей высшего руководства. Потом это назвали геронтократией, то есть властью престарелых. Но суть, наверно, далеко и не только в возрасте, а в той норме жизни и руководства страной — просто так у нас никто не уходил. Если тебя не «съели» соратники, будешь вечен на посту.

Вот пример — Андрей Кириленко, ровесник Брежнева, 1906 года рождения, член Президиума-Политбюро с 1962 по 1982 год. Он уже не мог читать текст, специально для него напечатанный крупными буквами, однако на XXVI съезде оглашал список нового состава ЦК, с трудом выговаривая, искажая фамилии. Делегаты многозначительно переглядывались. Лишь когда он перестал узнавать знакомых, Брежнев поручил Андропову переговорить с Кириленко об отставке. Кириленко расплакался, сказал: «Ну хорошо, Юрий, раз так, раз надо... Но ты мне помоги написать заявление, сам я не справлюсь».

Однако решение Политбюро об отставке А.П. Кириленко было принято 22 ноября 1982 года — уже после смерти Брежнева.

Итак, все и всё понимали. Но что и как делать? Кто будет делать? И была ли неизбежна именно перестройка, тем более — гласность? Изменения, конечно, были бы в любом случае, но в какую сторону? Например, Андропов начал с «закручивания гаек», наведения «дисциплины и порядка». Через год он умер, а новый

генсек, Константин Черненко, вернул страну в старый добрый для него брежневский покой. Только вот и Черненко на следующий год тоже умер.

Опять же суть не в возрасте, а в состоянии дел в стране. Позднее Горбачев вспоминал: «Ну разве это проблема — зубной порошок?.. Или туалетная бумага? Помню, комиссию целую создали под руководством секретаря ЦК Ивана Васильевича Капиганова по ликвидации дефицита женских колготок».

Михаил Горбачев, придя к власти 11 марта 1985 года, через месяц на всю страну и на весь мир объявил, что у нас «застой», начнутся реформы.

Сейчас, 30 лет спустя, по данным соцопросов, «видят в перестройке больше минусов, чем плюсов» и относятся к ней «резко отрицательно» в общей сложности более 60 процентов россиян. 25 процентов не определились с ответом или «не интересуются вопросом».

При этом кто-то не знает, а кто-то и забыл, что тогда, во второй половине восьмидесятых, весь народ, все мы, кроме партийно-советской номенклатуры, горячо поддерживали Горбачева, твердили, что дальше так жить нельзя. А теперь считаем виноватым во всем Горбачева...

Он может сколь угодно говорить, что его отстранили, перестройку исказили и т.д., но должен понимать: не удержал власть — значит, виноват. Надо было быть жестче, не окружать себя дураками, лизоблюдами, предателями и т.д. Взаяся за гуж — отечай. Реформатор, не удержавший власть, совершает преступление перед теми, кого втянул в реформы.

Потом Горбачев объяснял, что он боролся со сталинской системой насилия, за то, чтобы насилия не было и т.д. А я, современник, горько думаю: а саперные лопатки в Алма-Ате в декабре 1986 года, саперные лопатки и газ «Черемуха» в Тбилиси в апреле 1989-го, танки в Вильнюсе в январе 1991 года?

Эта кровь на руках Горбачева.

Если он не отдал под трибунал тех, кто стрелял в народ — значит, кровь на его руках.

Но... Русло реки на карте спрямляется, оно не такое, как в действительности. Карта обозначает основное направление. То же самое — история. Пройдут еще десятилетия. Детали будут известны лишь редким специалистам, людские и политические трагедии станут мелкими частностями.

Про Горбачева же напишут, что он изменил ход мировой истории, дал свободу народам и странам. И это правда.

Но чтобы начать реформы, надо иметь власть. Как он действовал в тот решающий момент, когда ему доложили, что умер генсек Черненко, как ему удалось стать генсеком? Мы пока не знаем полной правды, подробностей. Сам Горбачев уверял и уверяет, что его избрание на Политбюро ЦК КПСС было в порядке вещей. Без интриг, во всяком случае — с его стороны. Но это не так.

Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко умер 10 марта 1985 года, по официальной версии — в 19 часов 20 минут. И Горбачев на завтра, на 10 часов утра 11 марта, назначил заседание Политбюро.

По установившейся официальной версии, оно состоялось в 14-15 часов 11 марта. Все там высказались за Горбачева, и с полным единодушием «вышли» на пленум.

При внимательном анализе даже в официально установленном протоколе можно найти немало нестыковок, в том числе по часам и датам.

Как иногда бывает, неожиданная информация прорывается буквально из первых-вторых рук, от самых верных людей. Например, от Раисы Максимовны, жены Горбачева. «10 марта 1985 года... Умер Константин Устинович Черненко, — писала она в мемуарах, изданных в 1991 году. — В десять часов вечера состоялось экстренное заседание Политбюро».

То есть не 11 марта, а в тот же вечер 10 марта! Меньше, чем через 3 часа после смерти Черненко.

Притом Раиса Максимовна уточняет: муж приехал на дачу поздно ночью, и разговор о заседании Политбюро и предстоящем пленуме ЦК они вели в саду... Вышли гулять холодной мартовской поздней ночью? Вполне вероятно: ясно же, в каком состоянии Горбачев — никакие нервы не выдержат. А может, прослушки боялись. «Когда я перестал быть президентом, в доме, где мы жили, начали выгаскивать все, что подавалось нам как защита и обеспечение безопасности информации, — писал впоследствии Горбачев. — Оказалось, под всей нашей квартирой были подслушивающие устройства расставлены».

Да, гораздо позднее, в 2012 году, в книге «Наедине с собой» и Михаил Горбачев напишет:

«10 марта 11 часов ночи... К назначенному часу подъехали члены Политбюро и Секретариата ЦК. Открыв заседание, я сообщил о случившемся. Встали, помолчали. Заслушали академика Чазова. Он кратко доложил историю болезни и обстоятельства смерти Константина Устиновича Черненко. Приняли решение о похоронах Генерального секретаря ЦК, назначили заседания Политбюро и Пленума ЦК КПСС на 11 марта. Создали похоронную комиссию, включив в нее всех членов Политбюро. Когда встал вопрос о председателе комиссии, вышла небольшая заминка. Дело в том, что председателем комиссии по организации похорон умершего генсека, как правило, назначался будущий генсек. И Гришин вдруг говорит:

— А почему медлим с председателем? Все ведь ясно. Давайте Михаила Сергеевича...

(Это был зондаж!) Я призвал не торопиться, назначить пленум на 17 часов следующего дня, а Политбюро — на 14. У всех будет время — ночь и полдня — все обдумать, взвесить. Определимся на Политбюро и пойдем с этим на пленум».

То есть все было рутинно, спокойно, никакой борьбы. (Правда, вырвалось у него все-таки: «Это был зондаж!»)

Однако любому ясно, что жестокая борьба за власть развернулась сразу же, как только главный врач Политбюро Евгений Чазов известил второго секретаря ЦК Горбачева, что Черненко умер в 19 часов 20 минут 10 марта.

Точнее, она началась еще раньше. По свидетельству члена Политбюро А.Н. Яковлева, «ближайшее окружение Черненко уже готовило речи и политическую программу для Гришина». Член Политбюро, первый секретарь Московского горкома партии Виктор Гришин 22, 24 и 28 февраля от имени Черненко провел встречу с избирателями, зачитал его обращение, затем организовал вручение ему удостоверения депутата. Выставил смертельно больного старика перед телекамерами, и тот что-то с трудом говорил... (Впоследствии Горбачев назвал эту действительно беспрецедентную акцию «фарсом, апофеозом цинизма и безнравственности»). Как будто борьба за власть бывает нравственной. Как будто сам не перешагивал через нормы.) Все это показали по телевидению, в газетах появились фотографии — Черненко и Гришин. Так был подан знак партии и стране. Если не о премнике, то о притязаниях на трон.

А в тот вечер — как будто ничего и не было, тишь да гладь. Раиса Максимова пишет, в 1991 году:

«Михаил Сергеевич был очень уставшим. Сначала молчал. Потом говорит: «Завтра — Пленум. Может встать вопрос о том, чтобы я возглавил партию». Для меня такой разговор был неожиданностью. В какой-то степени — потрясением. Больше того. Я поняла, что это неожиданность и для мужа. Никаких разговоров на эту тему у нас раньше никогда не было».

Тем не менее и на самом деле, Горбачев в тот же вечер предпринял решительнейшие меры для захвата власти.

Неофициальному, неизвестному, проведенному поздним вечером 10 марта, и официальному, от 11 марта, заседаниям Политбюро предшествовали закулисные переговоры авторитетнейшего на то время члена Политбюро, министра иностранных дел Андрея Громыко с Горбачевым. Через посредников. Громыко передал, что выдвинет Горбачева на пост генсека — с условием, что получит пост Председателя Президиума Верховного Совета. «Мне известно, что такая встреча состоялась. Судя по дальнейшим событиям, они обо всем договорились», — писал в мемуарах А.Н. Яковлев.

И только в 2012 году сам Горбачев напишет:

«Громыко оказался в Шереметьево. Разговор вел по закрытой связи из автомобиля. Я поставил его в известность о кончине Константина Черненко. Сообщил, что на 11 часов вечера назначено заседание Политбюро и попросил его приехать за 30 минут до начала заседания. Мы встретились, как условились. Разговор был коротким. Я сказал, что все мы ожидали, что вот-вот это случится. Теперь это случилось, и нам надо принимать очень ответственное решение. Нельзя допустить ошибки:

— Люди ждут перемен. Они назрели. Их нельзя больше откладывать. Будет трудно, но надо решаться. Думаю, что в этой ситуации нам с вами нужно объединить усилия.

Громыко спокойно и твердо сказал:

— Согласен с Вашими оценками и принимаю ваше предложение».

Расклад сил в Политбюро (10 членов) на тот момент был такой. Решительно против Горбачева — пятеро. Старая брежневско-черненко-ская гвардия: Николай Тихонов — председатель Совета Министров СССР, Григорий Романов — секретарь ЦК КПСС, Виктор Гришин — первый секретарь МГК, Владимир Щербицкий — первый секретарь ЦК КП Украины, Динмухамед Кунаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана, в их руках и за ними — две крупнейшие республики Союза, две крупнейшие парторганизации (Московская и Ленинградская, Романов был первым секретарем Ленинградского обкома с 1970 по 1983 год, и, наконец, вся исполнительная власть во главе с Советом Министров СССР. Кто ж устоит против такой силищи.

А на стороне Горбачева — двое: он сам и Громыко.

Новые члены Политбюро — Гейдар Алиев, Виталий Воротников, Михаил Соломенцев — склонялись к Горбачеву, их привел к высшей власти Андропов, покровитель Горбачева, но... вполне могли присоединиться к тем, кто сильнее.

Так что шансов у Горбачева практически не было.

Если не считать распорядительной власти второго секретаря ЦК и — времени. Точнее, времени и обстоятельств.

Горбачев проводит экстренное заседание Политбюро в 22 часа 10 минут 10 марта. (Свидетельство секретаря ЦК Николая Рыжкова.) То есть через 2 часа 50 минут после смерти Черненко.

На тот момент из противников Горбачева в Москве находились только двое — Тихонов и Гришин. Кунаев — в Алма-Ате, Щербицкий — в Америке, Романов — на даче в Прибалтике.

Есть невнятные слухи, что Романов будто бы успел на заседание. Но вряд ли они соответствуют действительности, или же, скорее всего, речь о заседании 11 марта. А 10 марта — не мог успеть. От дачи на Куршской косе до аэропорта Паланги — 82 километра, включая паромную переправу. Потом самолет до Внукова, оттуда — до Москвы. Никак не успевал. Даже если с дачи вылетал вертолетом.

Так что все решилось в эти 2 часа 50 минут. И были, разумеется, предприняты дополнительные оргмеры. На следующий день, 11 марта, состоялось официальное, более или менее известное по протоколам заседание Политбюро (Кунаев и Романов уже прибыли, а Щербицкий так и не долетел из Америки).

«Самое интересное выступление было у Кунаева, — вспоминал Горбачев двадцать лет спустя. — Кунаев сказал, что не будет скрывать, что мы уже обсудили этот вопрос со всеми секретарями, поговорили с членами ЦК. Он сказал, что их мнение таково, что, если будут предлагать не Горбачева, то мы будем выступать решительно против».

Было выступление Кунаева «организовано» группой Горбачева-Громько, говорил ли он искренне — уже не имеет значения. Главное в том, что, получается, Кунаев фактически пригрозил Политбюро — от имени всех руководителей ЦК союзных республик. Поставил ультиматум. С которым невозможно было не считаться. То есть Кунаев фактически и привел Горбачева к власти? Если это так, то поразительно, как его Горбачев «отблагодарил». Через полтора года Кунаева отправили на пенсию. Романова — сразу, 1 июля 1985-го, Гришина — в феврале 1986-го. Дольше всех продержался Щербицкий — до 1989 года.

Сразу же после заседания Политбюро 11 марта начался пленум ЦК, на котором Громько от имени Политбюро выдвинул кандидатуру Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

Это была молниеносная операция.

После смерти Брежнева пленум состоялся на третий день.

После смерти Андропова — на четвертый день,

После смерти Черненко — через 20 часов максимум.

Если бы Горбачев поддался на уговоры (вполне резонные хотя бы из соображений приличия) не спешить, мощная брежневская партия собралась бы с силами, организовалась и почти наверняка победила, поставив во главе страны Гришина или Романова. А Горбачева назначили бы министром сельского хозяйства (должность козла отпущения перед отправкой в номенклатурное небытие) или отправили бы послом в Африку.

10-11 марта 1985 года судьба страны качалась на весах случая.

Как и почему Горбачев потерял власть

Во-первых, он, Генеральный секретарь ЦК КПСС, был идеалистом. Во-вторых, из-за рокового стечения обстоятельств.

Вы скажете: «Там идеалистов не было и быть не могло. Тем более, в первой части рассказывается, как Горбачев буквально за несколько часов, которые были в

его распоряжении, захватил власть, имея меньшинство в Политбюро. Гроссмейстер дворцовой интриги и — идеалист?»

Да, но... Вначале попробуем ответить на вопрос: почему он начал уничтожать коммунистическую систему? Наверняка не сознательно, просто не понимая, пытаясь реформировать, а она была не реформируема принципиально. Тот режим мог жить только в сталинско-брежневском виде. Как только попытались придать ему человеческий облик и смысл — рухнул сам по себе.

Объяснения Горбачева мы знаем: застой, перестройка, демократия... Но вполне возможно, что часть ответа кроется и в области личной. Горбачев — из поколения шестидесятников. А для них разоблачение преступлений сталинизма стало потрясением на всю жизнь. Оба деда Горбачева были репрессированы, раскулачены. Дед его жены, Райсы Максимовны, расстрелян в 1937 году.

Да, у Горбачева классово надежное рабоче-крестьянское происхождение. Комбайнер, в 17 лет орденоседец, в МГУ «въехал на белом комбайне». И в университете вел себя не как тихий провинциал, отличался свободомыслием, задавал преподавателям неудобные вопросы, дружил со Зденком Мильнаржем, известным потом чешским диссидентом, одним из руководителей «Пражской весны» — движения, которое пыталось построить «социализм с человеческим лицом».

Все шестидесятники начинали как активные сторонники «восстановления ленинских норм». Очень многие из них в итоге разочаровались в самой идее «социализма с человеческим лицом», стали антикоммунистами.

Но не Горбачев. Его случай — уникален.

Представим человека, 30 лет работающего (живущего!) в системе партгосноменклатуры. Это особые люди. Карьера для них — главное. Даже когда они считают, что вроде достигли очень и очень многого, все равно готовы к новым, более высоким должностям, ждут их. А таких, как Горбачев, в истории СССР (исключая Ленина и Сталина) — 5 человек.

Взойдя на самую высокую вершину, получив невиданную власть, любой человек инстинктивно стремится удержаться на вершине, зафиксировать положение, вечный статус кво. Но уж никак не подвергать себя риску, не «раскачивать лодку» коренными реформами.

«Перестройка» — да. В варианте: власть «перестраивает», а народ «поддерживает», то есть исполняет и терпит. И даже слегка «активно участвует». «Гласность» — уже поперек системы. Прежде все вершилось в тиши, в этом и была магия власти, триада власти: чудо — тайна — авторитет. А уж вбрасывать в тоталитарное поле слово «демократия»! Безумие. К «безумию» Горбачев пришел не сразу: спустя год и десять месяцев после того, как стал генсеком — на январском пленуме ЦК 1987 года.

Он ведь мог вообще и не заикаться о «гласности», тем более о «демократии», а взять курс на «укрепление дисциплины и порядка» (что нашим народом всегда приветствуется) — и уж на его-то век власти бы хватило. А он разрушил свой трон. И всю систему.

Мало «демократии», так он отменил вечное идеологическое пугало — «кругом одни враги», и сам «образ врага» начал менять на какие-то «общечеловеческие ценности».

Так мог поступить только идеалист.

И потому он потерял власть. Потому что ввел демократию в КПСС.

Рождая свет — сгущаешь тьму.

На январском пленуме 1987 года Горбачев начал перестройку партии. Прежде всего — ввел действительную выборность руководящих органов.

КПСС была полувоенной организацией, Сталин назвал ее орденом меченосцев. Основа основ — так называемый демократический централизм. Руководители назначались сверху, «из центра». ЦК КПСС «рекомендовал» кандидатуру пленуму ЦК КП союзной республики, обком — горкому, горком — райкому, и так до заводских и совхозных партсобраний, где рекомендованных «выбирали» единогласно.

Горбачев систему сломал. Ввел альтернативные выборы. Сейчас говорят, что бонзы партии встретили нововведение в штыки. По первости — да, не разобрали, что эта демократия им только на руку. А когда поняли — обрадовались.

Рядовые коммунисты решение пленума приветствовали: «Правильно! Мы тут, на месте, лучше знаем, кого выбирать первым секретарем! А то привозят все время людей со стороны!»

Ну, начали выбирать. Если выбирали не прежнего номенклатурщика, а ученого, инженера, начальника цеха, они не могли ничего сделать. Потому как нет навыка аппаратной работы, они чужие аппарату, и никто их особо не слушал и не боялся.

Но, как правило, на выборах побеждали не сторонники Горбачева, многочисленные, однако неопытные, разобщенные — побеждала сплоченная прежняя номенклатура. И она уже не боялась вышестоящих комитетов: «Не смейте нами командовать, у нас перестройка, гласность и эта... как ее... демократизация!»

Вот какие получились пироги.

Партия подлежала реформированию или улучшению только путем назначения новых людей на командные должности — сверху. Жестко, неуклонно поддерживая железную дисциплину и естественный страх перед вышестоящим органом.

Горбачев же, введя в партии демократические выборы, мгновенно потерял свою армию. Демократия в армии — хуже не придумаешь.

Хуже того, демократизация сделала КПСС мощным противником Горбачева. Пользуясь демократией, партия начала открытую борьбу против него. Должность, личность Генерального секретаря перестала быть священной и неприкосновенной!

Когда в августе 1991 года ГКЧП (так называемый государственный комитет по чрезвычайному положению) поднял путч, партийная армия Горбачева не двинулась с места. Ни один горком-обком не встал на его защиту. Наоборот, они поддержали заговорщиков. Более того, путч созрел как раз в главном штабе — в ЦК КПСС.

А оставь Горбачев прежние порядки в партии, никто бы не осмелился.

Почему КПСС выступила против своего Генерального секретаря?

Потому что везде и всюду коренной вопрос — о власти. Так еще Ленин учил.

Партноменклатура обожествляла Сталина, потому что он дал ей безраздельную власть. А Горбачев начал отнимать. На том же январском пленуме он провозгласил лозунг «Власть — Советам!» То есть — народу. Начал отстранять КПСС от управления страной.

Такое — не прощается. Вспомним Хрущева. В 1962-63 годах он разделил обкомы на промышленные и сельскохозяйственные, упразднил сельские райкомы, сделал их всего лишь парткоммами при районных управлениях сельского хозяйства. Начал отстранять партию от власти! На следующий же год, в 1964-м, заговорщики

сместили Хрущева с поста. Во время его отдыха на юге. (Горбачев тоже отдыхал на юге в августе 1991 года.)

Против Хрущева восстали не только в верхах — протестовали и на низших уровнях. Помню, в 1967 году, мальчишкой-корреспондентом, был на одном из совещаний партийно-хозяйственного актива Возвышенского района. Начальник райсельхозуправления начал возражать секретарю райкома. Ему из зала (!) закричали: «Это вам не хрущевские времена, когда вы райкомом командовали!»

Путч августа 1991 года, рожденный в недрах ЦК КПСС, провалился. Но цели своей заговорщики добились — первый президент СССР Горбачев потерял власть. СССР — «отменили».

Воспользовавшись общей смутой, растерянностью союзных органов, президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще тайно подписали соглашение: Договор 1922 года об образовании Союза ССР считается с этого дня утратившим силу, и СССР прекращает свое существование как «субъект международного права и геополитической реальности».

Первый удар в спину Горбачев получил от ГКЧП — людей, которых он же назначил на высшие должности в партии, государстве, армии.

Второй удар — от тех, кого привел к власти на волне демократизации.

Когда Горбачева спросили, не хотел ли он бросить в Беловежскую пущу, где собрались заговорщики, десантный полк, он ответил: «А его уже и бросить было нельзя, потому что армия подчинялась России». Потом добавил: «Пролилась бы кровь, хотя этот вариант я обдумывал...»

И еще: «В декабре 91-го уже ничего нельзя было сделать — я видел, сколько вокруг меня мурла, и Ельцин не худший из них. Жизнь подбрасывала мне такие разочарования, что не дай Бог: меня предавали не только политики, о чем хорошо известно, но и люди, с которыми связывали десятилетия личной дружбы».

Не бойся врагов — бойся окружающих...

Теперь о том, как ложь овладевает массами. И чем она грубей, нелепей, абсурдней, наглей, агрессивней — тем легче овладевает, успешней.

12 декабря 1991 года состоялось заседание Верховного Совета РСФСР. На повестке дня — два постановления: ратификация Беловежских соглашений и денонсация договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года.

По первому вопросу: «против» — 6, «воздержались» — 7, «за» — 188 депутатов.

По второму: «против» — 3, «воздержались» — 9, «за» — 161.

Это не Горбачев — это народные депутаты России.

Сергей Бабурин — один из немногих, кто голосовал «против», тогда сказал: «Смысл решения, которое нам предстоит принять, сводится, если отбросить все оговорки, околичности, к одному: чтобы избавиться от недееспособного центра во главе с Горбачевым — предлагается ликвидировать наше государство... Нравится нам это, не нравится, но то, что мы сегодня делаем, — это, действительно, антиконституционные действия на уровне Советского Союза».

Отметим: «Чтобы избавиться от недееспособного центра во главе с Горбачевым — предлагается ликвидировать наше государство».

На все были готовы, лишь бы свергнуть Горбачева?!

Кто эти люди? В абсолютном большинстве своем — члены КПСС.

И они, коммунисты, вот уже 25 лет везде и всюду буквально кричат, что были и есть за Советский Союз, что СССР разрушил Горбачев, вопреки воле партии и воле народов.

Голоса членов ГКЧП в хоре лжи — отдельная тема. Все гэкачеписты на всех углах кричали (а пресса транслировала!), что они пытались спасти СССР. И мало кто их спрашивал: «Почему же вы устроили путч за день до подписания Союзного договора, назначенного на 20 августа 1991 года?»

Весь секрет в том, что после подписания союзного договора 20 августа 1991 года Павлов был бы смещен с поста премьер-министра, и Председателем Совета Министров СССР стал бы Нурсултан Назарбаев. Соответственно, поменялось бы все руководство, в первую очередь — силовые министры. Так Горбачев и Назарбаев договорились при встрече.

Как оказалось, кабинет президента СССР прослушивался! Председатель КГБ Крючков предъявил запись тем, кого ждала неминуемая отставка, участникам будущего заговора. Вот тогда-то они срочно решили «спасти Советский Союз». Министр обороны Язов каялся и признавался в первые дни после ареста, что он никогда бы не пошел на заговор, если бы не прослушал запись разговора Горбачева и Назарбаева, не узнал о своем предстоящем увольнении. Это уже потом он изменил показания и забормотал, как его более наглые подельники, о «спасении Советского Союза...».

Так что они спасали свои должности, а не СССР.

Одним из активных участников заговора, его парламентским покровителем был Анатолий Лукьянов, поставленный Горбачевым на должность Председателя Верховного Совета СССР. Относительно недавно, 5 лет назад, в одном из интервью Лукьянов объяснял: «Это была плохо организованная попытка людей поехать к руководителю страны и договориться с ним о том, что нельзя подписывать договор, который разрушает Союз, и что он должен вмешаться».

Значит, никем и ничем не уполномоченные граждане Лукьянов, Янаев, Бакланов, Крючков, Павлов, Пуго, Стародубцев, Гизяков и Язов в последний момент решили, что готовый к подписанию Союзный договор на их взгляд плох — и ввели танки в Москву. И предъявили ультиматум законному президенту. Почему-то это никого не удивляет.

А еще Лукьянов добавил, что распад СССР готовился Западом, что Горбачева привели к власти в СССР западные спецслужбы, и процитировал якобы высказывание якобы Маргарет Тэтчер, в ту пору премьер-министра Великобритании:

«Вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовывать ваши намерения... Этим человеком был Горбачев, который характеризовался экспертом как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый».

Это интервью Лукьянова по всей сети распространялось и распространяется под заголовком «Кто стоит за разрушением СССР».

Далее Лукьянов добавил: «Есть запись в интернете... Говорили, что такой ее речи не было, что эта запись фальсифицированная. Не знаю, но, вспоминая ее разговор со мной, я могу только сказать, что все эти выражения очень похожи на особенности ее речи».

Очень убедительно, да? «Есть запись в интернете...» И это говорит юрист с дипломом МГУ, некогда государственный деятель, бывший председатель Верховного Совета СССР.

А теперь выйдем на улицу и начнем спрашивать: «Кто разрушил СССР?» Почти все нам ответят: «Горбачев!»
То есть речь — о нас.

Как Горбачев все-таки победил

Встречаются над Атлантикой два воробья. Один летит из СССР в Америку, другой — наоборот. Наш спрашивает: «Зачем ты к нам устремился?» «Да с голоду сдохнешь в этой Америке! Крутом порядок, каждое зернышко подбирают!» — жалуется американский воробей. «А у нас лафа, вдоль всех дорог понасыпано, клной — не хочу!» — сообщает советский. «Чего ж ты улетаешь?» — удивляется американец. Наш отвечает: «Почирикать хочется!»

Анекдот — это очень серьезно. Вот какое значение придавали советские люди свободе слова, которой не было. У нас ведь и закона о печатине было. Напомню про мятежного профессора Георгия Ивановича Куницына — фронтовика, в годы хрущевской оттепели — заместителя заведующего отделом культуры ЦК (уволенного в 1966 году), человека, благодаря которому вышли ныне культовые, а тогда заподозренные в неблагонадежности кинофильмы 60-х годов, начиная от «Обыкновенного фашизма» и заканчивая «Андреем Рублевым». Помню, уже во второй половине 70-х годов отчаянный Георгий Иванович на каком-то московском писательском собрании завел с виду невинный разговор: мол, у нас самые разные законы есть — о водах, о лесах и прочем. Не пора ли, дорогие товарищи, озаботиться и законом о печати... Люди из президиума начали потихоньку исчезать. Начальство понять можно. Ведь, коли оно случайно услышит где-нибудь не те речи, обязано тут же «поставить на место» и «дать отпор». А тут возразить нечего. Сплошная забота о социалистической законности! По сути — жуткая по тем временам крамола.

«Чирикать» не позволялось никому. Подрыв устоев, основ.

Ровно через год после прихода к власти Горбачев с трибуны XXVII съезда КПСС (февраль-март 1986 г.) провозгласил: «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении».

Прошел год. Ошеломительный год. Страна увидела фильм «Покаяние». Вышли повесть Валентина Распутина «Пожар», роман «Плаха» Чингиза Айтматова, «Печальный детектив» Виктора Астафьева...

Настал январь 1987-го. Команда Горбачева готовилась к пленуму. К бою. Настроения и намерения ортодоксальной партийной номенклатуры были известны. Она пошла в атаку. Роль тарана взял на себя Иван Полозков, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, один из создателей и будущий лидер КПРФ: «Чем зачитывается сегодня молодежь? От каких произведений в восторге обыватель? «Пожар», «Плаха», «Печальный детектив». Метод отрицания в отражении действительности стал почти чуть ли не единственным, а надо же утверждать идеалы. Не пора ли нам в этом деле основательно подразобраться?»

Многие встретили его слова аплодисментами, некоторые выступили с поддержкой, в том числе и старейший член Политбюро Андрей Андреевич Громыко: «Здесь возник вопрос, какой должна быть литература? Если она будет оглушать читателя только отрицательными персонажами, моральными уродами, юридическими, неполноценными, то сама литература будет юридической».

Отдельно обрушились на прессу — «кто позволил очернять», «доколе» и т.д.

«Я в этом плане с товарищем Полозковым решительно не согласен, — возразил академик Георгий Арбатов. — Все больше людей, которые в нынешнюю политику партии начинают верить всей душой. А если мы покончим с гласностью, это воспримут как первый сигнал, что все кончается и возвращается на круги своя. Гласность должна стать постоянной частью, постоянным элементом нашей жизни».

«Намеки, не очень ли газетчики размахались, не надо ли их немножко прижать — очень опасны, — заявил всенародно любимый артист, председатель Союза театральных деятелей Михаил Ульянов. — Мы хотим видеть жизнь такой, какая она есть, во всей ее многогранности, противоположности, противоречиях, острых углах и нерешенных проблемах... Собственно говоря, эти столкновения мнений и есть перестройка. Они должны быть. Это нормально. Капица сказал: «Если в науке не существует противоположных мнений, наука превращается в кладбище». Так не хотим же мы превратить нашу страну в кладбище только потому, что кому-то неудобно читать острые статьи?.. Время винтиков прошло, и это прекрасно. Пришло время народа, который сам управляет своим государством».

Эти выступления тогда не были опубликованы. Несмотря на декларируемую Горбачевым же гласность.

К народу вышел лишь доклад Генерального секретаря, в котором определено четко и жестко: «У нас не должно быть зон, закрытых для критики, и лиц, стоящих вне критики. Народу нужна вся правда... Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали все, чтобы у нас не было темных углов, где бы опять завелась плесень».

И далее: «Настало время приступить к разработке правовых актов, гарантирующих гласность».

То есть Горбачев предложил перейти от произвольно толкуемого понятия «гласность» к Закону о средствах массовой информации — первому за всю историю СССР!

Мы не случайно здесь много говорим о гласности. Потому что она была тогда не сама по себе.

Повторим, что в 1986 году с трибуны съезда заявил Горбачев: «Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении». И то, что сказал в дискуссии на январском пленуме Михаил Ульянов: «Время винтиков прошло, и это прекрасно. Пришло время народа, который сам управляет своим государством».

Горбачев и его единомышленники прямо связали свободу слова с народовластием, с управлением государством. Которого тогда не было, о котором, несмотря на два года перестройки, говорили в кулуарах только отдельные радикальные перестройщики.

В том и суть, что на январском пленуме Горбачев объявил, а затем и УСТАНОВИЛ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ.

Настоящую, насколько это было тогда возможно. В школе изучали Конституцию: «Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов».

И в то же время марионеточные Советы были нормой жизни. Обыденностью.

Вот документ, по которому в СССР проводились выборы — от Председателя Верховного Совета до председателя спортивного общества: «При необходимости замены или перемещении работников, занимающих выборные должности, местные партийные органы, центральные организации принимают соответствующие решения, предварительно получив согласие ЦК КПСС, и лишь после этого проводят выборы и вносят предложения об утверждении или освобождении работников». («Инструкции по работе с секретными документами ЦК КПСС», прил. VI, док. 7, л. 4, п. 12).

Секретно, «совершенно секретно».

А что до Советов, то бесконечно принимались постановления ЦК о повышении их роли в жизни страны, и никому в голову не приходило спросить, удивиться: а на каком основании и почему какая-то партия «повышает роль» верховной власти? Просто не замечали.

Горбачев на январском пленуме поломал эту железную систему.

Решения о Советах поначалу воспринимались как давно привычное партийное словоблудие про «народную» власть. Но в этом случае было четко указано: лишить КПСС несвойственных ей управленческих функций, Советы должны стать подлинными органами власти. И как путь реализации — взрывное постановление: проводить выборы в Советы на альтернативной основе.

И покатила народная волна. Уже летом 1987 года на выборы в местные Советы вышли кандидаты от народа, от заводов и институтов. Все вдруг вспомнили, что по Конституции власть в стране — Советы, а не райкомы-обкомы.

В 1989 году при выборах делегатов на Первый съезд народных депутатов СССР проиграли, потерпели поражение 35 первых секретарей обкомов! Легко представить, каким это стало шоком, какой резонанс был в тех областях, как аукнулось по всей стране. В Ленинграде не был избран ни один партийный и ни один прежний (назначенный) советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, включая первого секретаря и командующего Ленинградским военным округом.

Дальнейшее известно. Путч, распад СССР, новая жизнь в новых условиях. При которых народ, увы, не сумел удержать свою власть в своих руках. Да он ее толком и не получил, не взял. И тут же отдал номенклатуре. Или — позволил отнять. Невелика разница.

Самые радикальные и одновременно самые пессимистичные посыпали голову пеплом, говорили: страна у нас хорошая, а вот народ — послушно-агрессивное большинство... Так откуда ж ему взяться, другому народу? Народовластие никогда в истории не утверждалось вдруг и сразу.

Если революции происходят бурно, то ползучие перевороты — незаметно. Они усугубляются обманами и парадоксами. Например, это ведь мы на своих руках вознесли Ельцина к вершинам власти. Горбачеву и не снилась такая поддержка. А потом смотрели, как Ельцин тотчас же, на наших глазах, стал убирать из власти народных интеллигентов горбачевского призыва и заменил их новой номенклатурой. Которая сейчас превратилась в единственный инструмент, источник и содержание власти.

При горбачевской демократизации дорожка в Советы тоже не ковром выстилалась. Везде административные рогатки вроде участковых комиссий. Но их прорывали, потому что была энергия и стремление масс. Горбачев дал нам надежду на новую, лучшую жизнь. И эта надежда тут же сказалась даже на... физическом состоянии, здоровье. В 1986-1990 годах продолжительность жизни мужчин вдруг резко пошла вверх и составила 64,9 года — самый высокий показатель за всю ис-

торию России! Как и в годы хрущевской оттепели, с 1955 по 1964 год, когда средняя продолжительность жизни мужчин выросла на 6,3 года. Это было время освобождения от сталинской казармы. И здесь уровень жизни не имеет значения. В более благополучные в материальном отношении двадцать брежневских лет, с 1964-го по 1984-й, мужчины стали жить меньше, чем в предыдущие бедноватые десять лет.

Да, даже серьезные демографы донне пишут, что продолжительность жизни мужчин в годы горбачевской перестройки выросла благодаря антиалкогольной кампании. Дескать, пить стали меньше — жить дольше. Однако есть большие сомнения. Пили ничуть не меньше. Во-первых, на волне общего послабления, либерализации стали гнать самогон беспрепятственно, особенно в деревнях-поселках. Море было разливанное. Во-вторых, та часть населения, которая вымирала от алкоголя, вымирала по-прежнему, даже еще интенсивней. Травились жутко, потому что пили вместо ядовитой, но все-таки казенной «вермути» вообще невообразимую дрянь, суррогаты. То есть, наоборот, антиалкогольная кампания, по всем показателям, должна была сократить продолжительность жизни мужчин.

Однако она выросла. Потому что было время свободы, всеобщего энтузиазма, надежд на новую жизнь. Мужчина живет свободой и надеждой.

Энергии и стремления масс уже давно нет. Ушли вместе и одновременно с горбачевской эпохой (интересное, примечательное совпадение и сопоставление). Люди разочаровались. Устали. Бедные — выживают. Есть работа, зарплата — и слава богу, сиди и не рыпайся. Да и куда рыпаться-то? Более или менее богатые — тише воды и ниже травы. Потому что при любом несанкционированном движении, поддержке кандидата, неугодного администрации, мгновенно станешь бедным.

В нашей жизни появилось что-то очень похожее на власть сельсовета в деревне — под присмотром инструкторов райкомов. В смысле двоемыслия, двоечувствия, двойного восприятия действительности, определяемых научно-технической молодежью конца 70-х годов модным словом «квази». На все случаи и обо всем. Вроде бы и свобода слова есть, и выборы, но на всем лежит тоскливый оттенок «вроде бы» и «как бы». Да и очень ли они нужны нам, в массе? Есть ли потребность?

Быть может, происходящее исторически закономерно. Большой шаг вперед — затем полшага назад. Однако рывками, неукложе, страдальчески, но ведь все-таки далеко ушли от сталинско-брежневского прошлого. И в этом — великая историческая заслуга Михаила Сергеевича Горбачева. «Что бы ни происходило с Россией, назад она уже не вернется, — говорит он сейчас. — Перестройка победила — это я проиграл как политик».

Дальнейшее — в руках народа. Хочет «как бы» — будет «как бы». Куда придем и к чему — от нас зависит. Или же скажем, как нынче многие: от нас ничего не зависит. Ну что ж, значит, так тому и быть, мы — хозяева своему слову.

Как скажем — так и будем.

ДОПОЛНЕНИЕ. Михаил Сергеевич Горбачев говорит: «Я пытался все время связать с политикой нравственность и мораль. Это, может быть, самая большая утопия, но без этого не может быть успешной политики. Цинизм, который охватил не только нашу страну, но и весь мир, мир политики в особенности — это самая большая опасность».



Валерий Пахомов

ИНТЕРНАТ

Мемуаразы — мемуары и размышления

Воспоминания

Звонок раздался где-то во втором часу ночи. Уже в этом было что-то зловещее. Я хоть и часто работаю по ночам, но не люблю, когда мне звонят так поздно. Значит, что-то очень срочное и наверняка печальное. Звонил Володя Дубровский:

— Мне только что сообщили из Черноголовки, умер Саша Земляков.

— Как, что?

— Подробностей не знаю, надеюсь узнать завтра.

Когда первый шок прошел и улеглись охи-ахи, я вспомнил, что вот буквально несколько дней тому назад Саша звонил мне. Было это 31-го декабря, мы немного потрелились о том о сем, поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а потом он задал мне вопрос:

— Ты знаешь, почему колбасу режут наискосок?

— Не знаю.

От Саши можно было ожидать многого — это могло быть какое-то неожиданное «открытие», а могла быть и просто шутка.

— Так вот подумай, до Нового года еще есть время.

На этом разговор и закончился. Оказалось, что и с Володей состоялся такой диалог. Как потом выяснилось, жить Саше оставалось два-три часа, но это уже устанавливала медицинская экспертиза. Его обнаружили в своей квартире в ванной через несколько дней.

Я собрался с силами и написал на сайте объявлений интерната: «Умер Саша Земляков. Закрылась еще одна яркая страница в истории интерната. Не пишите мне письма, подробностей пока не знаю». Интернет зафиксировал дату 07.01.2005 и время 01.43.

Прошло пять лет, и сейчас я понимаю, что закрылась не только яркая страница в истории интерната, но и кончилась целая эпоха в истории страны. Эпоха романтизма, когда мы тянулись к знаниям, потому что верили в то, что образованные люди построят цивилизованный мир, в котором всем будет комфортно, где не будет унижения, голода и беспомощности, где не будет вторжения в личную жизнь и будет безнравственно решать за других, что им можно, а что нельзя. Нам прививали эту веру, и мы старались ее прививать своим воспитанникам. Мы жили на удивительном островке, где жизнь была совсем другой и ценности были совсем другие. Этим островком был Колмогоровский Интернат. И мне хочется поделиться немного этим ощущением, тем более, что скоро и рассказать об этом будет некому. А по многим эпизодам уже и сейчас я — единственный живой свидетель происходивших событий.

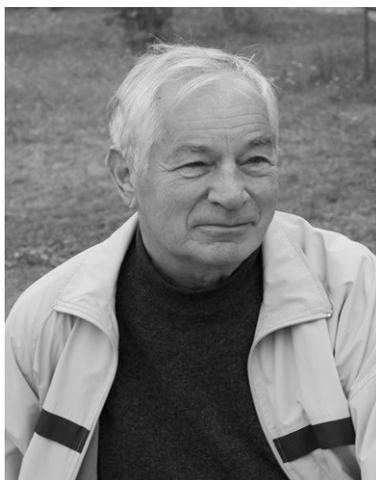
Начало работы

Весной 1967 года я сдавал экзамен по Спектральной теории операторов молодому преподавателю кафедры Теории функций и функционального анализа В.А. Садовничему. Предстояла полугодовая преддипломная практика, а он был ку-

ратором нашего курса или кафедры, я уж не припомню, по этой самой практике. После экзамена Виктор Антонович спросил меня, нашел ли я место, в котором буду проходить преддипломную практику, и, получив отрицательный ответ, предложил мне поработать в Колмогоровском интернате. Я с радостью согласился. Он дал мне номер телефона А.Б. Сосинского, чтобы я договорился с ним о времени, прошел у него собеседование на предмет профпригодности и, в случае положительного результата, получил бы направление на работу в качестве преподавателя.

Этот момент стал решающим в моей жизни, сравнимым по значимости разве что с поступлением на Механико-математический факультет МГУ.

Знакомство с Лешей Сосинским. Алексей Брониславович Сосинский задал мне по телефону пару ничего не значащих, как мне тогда показалось, вопросов и сказал, чтобы я пришел в интернат в последний день августа, когда будет составляться временное расписание занятий. Придя в назначенный день, я, наконец, познакомился с самим Сосинским, который оказался молодым человеком, одетым в спортивном стиле: светлые брюки, свитер, также светлые туфли и спортивная сумка с торчащей из нее теннисной ракеткой. Узнав, что я тоже увлекаюсь спортом, он как будто бы обрадовался и предложил мне поработать с ним в паре преподавателем алгебры в двухгодичном потоке. В тот же день я прошел собеседование с директором школы-интерната Раисой Аркадьевной Острой. Мне кажется, мы оба произвели хорошее впечатление друг на друга, и я был зачислен в качестве совместителя в преподавательский штат интерната. Начался новый этап моей жизни — я стал педагогом. И тут нельзя не рассказать, хотя бы вкратце, о человеке, под влиянием которого я воспитывался как педагог.



Алексей Брониславович Сосинский
примерно через 40 лет после нашего знакомства

Сейчас, спустя десятилетия, я могу в полной мере оценить это влияние. Несомненно, Леша Сосинский был педагог высочайшего класса, что называется «от Бога». Родился он во Франции в очень известной семье эмигрантов первой волны. Его родители знали многих знаменитых людей, сохранили переписку с

М. Цветаевой и много других важных для истории и культуры документов. После войны родителей, как и многих эмигрантов этой волны, потянуло на Родину, но, в отличие от тех, кто доехал до Москвы и отправился дальше в Сибирь (а то и еще дальше), им повезло: они получили предложение сначала поработать в ООН, а потом возвращаться в Россию. Так Леша еще несколько лет провел в Нью-Йорке, прежде чем вернуться в Москву. О себе мне он почти ничего не рассказывал, поэтому я не могу сказать, что именно — высокая ли культура среды, в которой он рос, или природные дарования сделали из него педагога совершенно непохожего на типичного мехматского преподавателя. На мехмате был очень популярен стиль, который я бы назвал стилем «Ландау-Гельфанда», когда за неудачное высказывание или формулировку теоремы с мелкой погрешностью ты мог быть осмеян, обозван ослом или хуже того. Я помню, как одна из преподавательниц на экзамене у первокурсников кричала другой: «Зоя Михайловна, Зоя Михайловна, посмотрите, какого идиота я нашла!». И этот стиль почему-то считался нормальным. Считалось, что это — школа выживания, но я помню и о том, сколько судеб было при этом покалечено. Конечно, был и другой стиль общения, шедший от старой интеллигенции — стиль Колмогорова, Александрова, Шафаревича, Рашевского и др. Но стиль «Ландау-Гельфанда» был много популярнее. Это было что-то похожее на дедовщину в армии, а может быть и шло из лагерей, в которых просидела чуть ли не шестая часть страны. Так вот, Леша, благодаря своей доброжелательности, очень высокой математической и общей культуре, обладающий к тому же мастерством изложения материала, заставлял аудиторию чувствовать себя на равных с ним, свободно общаться, задавать вопросы. И он же завел за правило, что к нему (а соответственно и к другим его коллегам) обращались на «Вы», но по имени, а не по имени-отчеству. Конечно, это не распространялось на пожилых людей и преподавателей других дисциплин. И у него все это было естественно, шло от природы. Со школьником он общался на равных, с удовольствием играл в футбол, проявляя при этом азарт и споря с игроками и судьями (даже когда те ошибались, по его мнению, а ведь мог бы просто цыкнуть). Почти никогда не ехидничал и не смеялся над промахами людей. Помнится, как-то в интернате проходили практику студентки Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Сидела в учительской заведующая кафедрой из этого института. И вот в это время Леше позвонил брат, оставшийся во Франции. Они поговорили, естественно, по-французски, минут пять, после чего заведующая кафедрой отпустила Леше комплимент, что, мол, он неплохо говорит по-французски, заметив при этом, что некоторые обороты, которые он употребил, француз бы не употребил никогда. Мы все ожидали, вот сейчас он её «приложит». Не знаю, что Леша испытывал в душе, но он улыбнулся и поблагодарил за замечания. Потом я всю жизнь пытался в аналогичных ситуациях не «бороться за правду», а поступать так же, но у меня не всегда получалось. Это должно идти от души.

Несколько слов о преподавании математики в первые годы интерната

Преподавание математики в интернате имело ряд особенностей. Во-первых, среди преподавателей практически не было профессиональных школьных педагогов. Я помню только двоих: И.К. Сурина и А.А. Шершевского. Но, хотя они и были, как мне тогда казалось, людьми преклонного возраста, они оба, в особенности Александр Абрамович, совершенно великолепно вписывались в коллектив, и, ско-

рее всего, прекрасно его дополняли. Их задача, насколько я понимаю, заключалась в том, чтобы воспитанники интерната не «оторвались» от программы по математике для средней школы. А большинство преподавателей составляли совместители: студенты, аспиранты, доценты, профессора и академики (перечисление в порядке убывания по количеству). Так вот, в курсе алгебры изучались: элементы теории чисел, комбинаторика с элементами теории вероятностей, теория конечных полей с элементами теории Галуа, комплексные числа, элементы линейной алгебры (когда я читал этот курс, то добавил еще элементы линейного программирования и первые представления о математической экономике). Конечно, заканчивался он задачами со вступительных экзаменов в ВУЗ'ы, но на это отводились последние полгода. Примерно так же был устроен курс математического анализа, и, может быть, только курс геометрии был в рамках школьной математики углубленного типа. А уж какие «полеты» были на спецкурсах... На мехмате была популярна поговорка: «Если хочешь что-то выучить, прочти на эту тему спецкурс или напиши книгу». Этот принцип воплощался в интернате в полной мере. Какие только спецкурсы не читались! Думаю, что мало найдется в мире университетов, которые могли бы похвастаться таким разнообразием и широтой охвата тем. Плюс к тому надо учесть, что читалось это для школьников, поэтому требовалась особая подготовка к лекциям, перевод на совершенно другой язык, где меньше формальностей, а серьезные идеи излагаются чуть ли не с помощью рисунков. Могу с полной уверенностью сказать, что преподаватели, прошедшие эту школу, и в ВУЗ'ах становились лучшими педагогами. По крайней мере, если я в университете слыл хорошим педагогом, то, главным образом, это было благодаря интернатскому опыту. При этом я прочел около десятка разных спецкурсов, из которых удачными были, я думаю, парочка.

Особо мне запомнился случай со спецкурсом по математической логике. Андрей Николаевич Колмогоров следил, насколько ему позволяли дела, за тем, что читается на спецкурсах. А поскольку математическая логика была одним из его серьезных увлечений в жизни, то он, естественно, вызвал меня к себе и попросил рассказать вкратце содержание курса. Выслушав, дал несколько дельных советов (что-то убрать из-за сложности или из-за бессодержательности, что-то добавить и т.д.). Советы были как всегда, когда их давал Академик, абсолютно правильными и очень полезными. А закончил он это совершенно неожиданным для меня образом. Он сказал примерно следующее: «Мне кажется, что курс следует прочесть так, чтобы ребята получили представления об основах математической логики и поняли при этом, что заниматься надо другими вещами». История с этим курсом кончилась анекдотически. Поскольку я не имел представления о предмете (тогда на мехмате не было обязательного курса по логике) и изучал его параллельно с изложением, то до тех пор, пока рассказывал основные понятия, все шло нормально. Потом, когда я вышел на центральные результаты (теорема Гёделя и т.п.), то началось такое занудство, что все слушатели разбежались. Андрей Николаевич, помня про наш разговор, месяца через три вызвал меня к себе в кабинет и спросил, как идет курс. Я объяснил ему, что удачно выполнил только вторую часть его пожелания. Он ответил, что для девятиклассника это все слишком сложно, но он убежден, что уже на первом курсе следует ввести обязательный курс логики. И ввел его через пару месяцев на мехмате, не помню, на первом или втором курсе. И первые лекции читал сам. В отличие от меня, не знавшего предмет, он, конечно, знал его, как мало кто знает. Но результат был примерно тот же, вторая часть его пожелания была выполнена блестяще. Если говорить честно, то студенты плакали, но уйти с лекций, в отличие от

школьников, не могли. Довольно быстро курс был отработан (совершенно точно — блестящим педагогом В. Успенским, кажется, совместно с другим замечательным математиком — А. Драгалиным), сейчас это нормальный курс университетской программы. Что же касается теоремы Гёделя, то через пару лет я слушал её доказательство в исполнении Лёши Сосинского на его семинаре в интернате и восхищался, до чего же просто можно это сделать, обойдя (но объяснив) пару малосущественных деталей.

Первая часть мемуаров, включающая этот эпизод, вышла к 45-летию Интерната, как и была мне заказана. После этого мне позвонил Володя Годованчук, сказал довольно много приятного, отметив при этом, что он был слушателем первого курса по Математической логике, прочитанного Андреем Николаевичем, и подтверждает, что так оно и было. А еще на встрече с выпускниками Интерната Дима Абрамов — выпускник Интерната, а потом еще и его директор — рассказал мне, что он был слушателем моего курса, описанного здесь. Он, наоборот, меня успокаивал, что не все было так печально. Несколько человек мне все-таки удалось заинтересовать. В частности, сам Дима долго потом искал книгу Стефана Коула Клини «Математика метаматематики».

Но вернемся к началу моей педагогической деятельности. «Что ещё в испарине тех времен? Был студент речист, не «весьма умен» ... (была ведь и такая оценка)», как писал чуть позже, поступивший на химфак МГУ Бахит Кенжеев, поэт, которого я очень люблю и давно пропагандирую. Одной из идей Колмогорова была следующая система ведения практических занятий: один преподаватель ведет урок, а двое ему ассистируют. Это означает, что они все время ходят между рядами, следят за тем, как ребята решают задачи, что-то подсказывают, задают наводящие вопросы, выслушивают решения, усложняют задачу тем, кто её уже решил в более простом варианте. Можно себе представить, как это трудно-вести таким именно образом занятие на хорошем уровне. Для большинства преподавателей, в силу их молодости и избытка энергии, это было тяжелым испытанием, не давало им «развернуться». А уж про школьников и говорить нечего, единицы выносили до конца такой интенсивный стиль. Некоторые начинали от перенапряжения засыпать. На практике этот стиль не прижился. Хотя, мне кажется, он давал неплохие результаты в Летних школах, когда позволял преподавателям быстрее знакомиться со школьниками.

Но возвращаюсь в Интернат. Реально из-за нехватки преподавателей в классе работали двое, а не трое. Я работал в паре с Лёшей Сосинским, который читал лекции и готовил основные материалы к практическим занятиям по алгебре. Он объяснил мне, что я должен делать, как его ассистент, и мы пошли в класс. Классов было пять, мы вели занятия в трех или четырех из них, точно вспомнить не могу. Занятие длилось два академических часа подряд — «пара», перерывы были между «парами». Мы проработали в двух классах, когда Лёша сказал: «Ты понял стиль? Теперь давай, ты — к доске, я — помощник». Так и продолжалось некоторое время — Лёша начинал, я ассистировал, потом наоборот. При этом, когда он замечал, что что-то идет не так или что можно улучшить изложение, то спокойно подходил к доске и говорил, что можно еще и вот так посмотреть на данный вопрос. Или: «А вот еще одно решение этой задачи. Посмотрим на нее иначе...». После чего следовало какое-нибудь красивое решение, связанное, например, с иной интерпретацией вопроса. Любой математик знает, какие «изюминки» часто возникают таким вот образом, и как это важно в воспитании вкуса, в развитии воображения. Иногда возникала дискуссия, в которую вступали ученики — активность, ко-

торая порадует любого педагога. Где-то ещё через пару месяцев Леша сказал, что ему надоело работать вдвоём, что дальше мы делим класс пополам, причем он в каждом классе берет вторую половину (по фамилиям в алфавитном порядке), так как она талантливее той, в которой фамилии начинаются с первых букв алфавита. Конечно, это была шутка, но с этого времени мы стали вести занятия с половинами класса, и я до сих пор уверен, что для полноценных занятий группа не должна быть более пятнадцати человек. А лучше всего — человек десять. К сожалению, это не прижилось по одной простой причине — классов стало больше, аудиторий стало не хватать.

Следующей идеей А.Н. Колмогорова была идея преемственности и ротации. Идея преемственности состояла в том, чтобы *большая часть преподавателей состояла из выпускников интерната*. Конечно, на первых порах такое было просто невозможно, но затем это более или менее выполнялось. Нужно сказать, что благодаря преемственности, через некоторое время сложились какие-то стандарты преподавания и появились первые дидактические материалы. Но сначала мы наблюдали полную свободу творчества, которой, как всегда, сопутствовали успехи и неудачи. Совершенно замечательный математик и педагог Саша Земляков готовился к занятиям, особенно к лекциям, продумывая их можно сказать поминутно — даже шутки, которые произносились на лекции, никогда не были экспромтом. При этом ничто не могло заставить его отступить от продуманного плана. Саша был выпускником интерната, круглым отличником и медалистом. Начал преподавать в интернате, будучи студентом первого курса. С его смерти я начал свое повествование, о нем я постараюсь написать подробнее дальше. К сожалению, он слишком рано ушел из жизни, оставив после себя кучу рукописного наследия, часть из которого сейчас потихоньку издается. Во многом благодаря его ученикам. Но как бы было здорово привести в порядок еще и незавершенные его работы и заметки! Сколько полезного получила бы педагогика. Некому!

Другую крайность представлял собой Женя Гайдуков. Он был талантливый математик, неплохой скрипач и довольно эрудированный человек. Как человек искусства, Женя любил импровизации. Он редко когда готовился к занятиям. Тем, кто не учился на мехмате, это удивительно, даже может вызвать у таких людей негодование. Могу только сказать, что почти никто на мехмате не готовится тщательно к занятиям (кроме, быть может, лекций). Рядовой школьный преподаватель, конечно, вряд ли смог бы так вести занятия, но для выпускника мехмата с глубокой подготовкой и широкой эрудицией это не составляло особого труда. Женя Гайдуков был настоящий импровизатор. Он как-то сказал мне, что, сколько бы ни продумывал тему или план занятия, зайдя в класс, сразу же видел по глазам, что это сегодня пойдет, а это — нет. Другими словами, он работал как хороший артист на сцене. И у него почти всегда получалось неплохо, благодаря его высокой квалификации и таланту. Он терпеть не мог занудства на занятиях, справедливо полагая, что оно идет от отсутствия либо фантазии, либо достаточного кругозора. От него пошло: «Занудство высокой степени называется нудизмом». Легендой стали проверки контрольных работ по «методу Гайдукова». Метод состоял в том, что, собрав контрольные работы, Женя нес их до ближайшего мусорного ящика на улице и туда все выбрасывал. Приходя в школу, выставлял оценки по своему пониманию, кто чего заслужил. Поскольку он хорошо знал учеников, то протесты это вызывало редко. Главным образом тогда, когда он выставлял оценку ученику, отсутствовавшему на контрольной.

Представляю ужас, который охватывает работника просвещения, читающего эти строки. В качестве оправдания скажу только, что такой способ проверки применялся крайне редко, когда возникала ситуация цейгнота. Но я думаю, что настоящая проверка дала бы те же результаты. И на то у меня есть основания. Андрей Егоров — замечательный педагог и человек, легенда интерната, проработавший в нем чуть ли не столько лет, сколько тот существует — так вот он показал мне эксперимент, который я проводил много раз и всегда практически со стопроцентным успехом. А именно, заходя в незнакомую аудиторию, где тебе и твоим коллегам предстоит принимать экзамен, каждый из нас брал листок и, глядя на лица аудитории, расставлял оценки всем экзаменуемым. А поскольку фамилии присутствующих мы еще не знали, то рисовали план аудитории и расставляли оценки по местам, на которых находились экзаменуемые. Листы подписывали и складывали в конверт. После экзамена сверяли результаты. Может показаться удивительным, но результаты практически совпадали с предсказанными, причем независимо от того, какой была аудитория — были ли то восьмиклассники, поступающие в интернат, учащиеся интерната или студенты МГУ. Более того, в университете Мариана Нгуаби в Браззавиле (Конго) и в университете Поля Валери в Монпелье (Франция) было ровно то же самое. Я и сейчас, при первой встрече с любым человеком, продолжаю этот эксперимент и, как мне кажется, редко ошибаюсь. Но вернемся к тем годам.

На первых порах и оценки ставились достаточно вольно, по крайней мере, для человека со стороны. Вчерашний отличник получал в соответствии с требованиями мехмата или физфака двойку за двойкой в течение семестра (полугодия), а затем в качестве итоговой получал «отлично» или «хорошо», что уже больше соответствовало требованиям обычной школы. Действительно, почему у школьников должны были ухудшаться оценки, из-за того, что они поступили в элитное заведение, тем более, что некоторые из них возвращались домой. Я убежден, что это было правильно. Конечно, со временем проверки и инструкции надзорных органов всё или практически всё привели в соответствие с общими требованиями. Оценки стали среднеарифметическими. Сначала мы проводили их «обоснование» наиболее простым способом, т.е. в конце семестра добавляли задним числом нужное количество пятёрок или четверок так, чтобы вывести ученика на нужную оценку. Потом и это стало сложно. Поэтому двойки и тройки стали редко ставить в журналы, чаще в «конduit», и при этом требовали их исправлять. В общем, школа как-то адаптировалась к давлению снаружи, хотя при этом каждый раз что-то и терялось. Я по-прежнему считаю, что талант может воспитываться только талантом, а инструкции по ведению занятий и оценке знаний пишутся посредственностями для посредственностей.

Что еще запомнилось, связанного с преподаванием в те времена. В первом выпуске работали совсем еще молодые математик В. Арнольд и филолог-лингвист А. Зализняк. В. Арнольд только что защитил докторскую диссертацию, а А. Зализняк, по-моему, был еще аспирантом. Впоследствии оба стали академиками. Кстати, оба получили в 2008 году (когда писались эти строки) Государственные премии РФ. В школе работали такие яркие личности, как Юлий Ким — знаменитый бард, а также драматург и писатель, преподавали: математику — Дима Гордеев — он же довольно известный художник, Женя Радкевич — известный математик и режиссер (а многие его помнят и как актера), рано ушедший из жизни талантливый математик Володя Алексеев, Сережа Матвеев — он очень быстро стал член-кором РАН, его одноклассник Саша Звонкин — очень известен своими работами по вос-

питанию в детях младшего возраста математических навыков (а книгу его на эту тему я считаю просто гениальной); литературу — Юрий Подлипчук, написавший фундаментальный труд по «Слову о полку Игореве»; английский язык — Саша Ливергант, сейчас известнейший специалист по литературному переводу и главный редактор журнала «Иностранная литература»; физику — Яков Смородинский, крупный физик-ядерщик и популяризатор науки, и еще два человека, о которых нельзя не сказать: Саша Зильберман и Женя Сурков. Оба они — история Интерната (и не только).



Молодые преподаватели Интерната: Дима Гордеев, Женя Сурков, Лёша Сосинский, Юлий Ким и Володя Пуцато.

Каждый из тех, кто тогда преподавал, был личностью и заслуживает отдельного рассказа, но вряд ли я знаю всех достаточно хорошо, чтобы это осуществить. Но о некоторых из них, с кем я дружил и много общался, попробую написать дальше.

Литературные и музыкальные вечера

Много лет спустя, кажется, в конце 2003 года, один из моих учеников, депутат Госдумы РФ, а потом и губернатор Псковской губернии, Миша Кузнецов пригласил меня на корпоративный Новый год в один из московских банков, сказав, что меня там ждет сюрприз. Сюрприз был очень приятным — практически все руководство банка, многие сотрудники и гости были выпускниками интерната, а некоторые у меня и учились. Встреча была теплой, но больше всего меня поразило то, что почти никто не вспоминал уроки алгебры, но многие восторженно вспоминали Музыкально-литературные вечера, которые я вел в интернате. Были другие встречи, и там все повторялось. Это было удивительно, поскольку в те времена, когда я их вел, мне казалось, что затея того не стоит, что это напрасная трата сил и энергии. Теперь я понимаю, что всё обстоит совершенно иначе. Многим детям, а особенно из провинции, духовная пища нужна не менее, чем профессиональное образование. Конечно, не все испытывают этот голод. Глухому музыка неинтересна, как и слепому — живопись. Также достаточно много людей «глухи» к поэзии, а иногда и вообще к литературе, даже, несмотря на то, что они прекрасные физики или математики. Мне кажется, что кризис школьного преподавания возник уже давно,

когда программы начали расширять за счет включения все большего и большего числа обязательных предметов и увеличения объёмов обязательных знаний. Вместо развития имеющихся у ученика способностей, образование шло по пути универсализации знаний. Хорошо, что не ввели обязательные занятия по балету, а то хромые не смогли бы получить Аттестат зрелости. Вернемся к истории этих вечеров.

Некоторое время «гуманитарную нишу» в интернате заполнял Юлий Ким. Недаром он был в те годы таким же символом интерната, как академик А.Н. Колмогоров. Получая мизерную зарплату как преподаватель истории и обществоведения (а, кажется, и литературы), он проводил в школе массу времени, ставя спектакли. Трудно себе представить, сколько сил и энергии необходимо иметь, чтобы научить школьников двигаться по сцене, декламировать, петь и танцевать. Юлик был всем — сценаристом, композитором, поэтом, а при этом еще и режиссером-постановщиком, хореографом, хормейстером и, наконец, музыкантом и актером, участвующими в спектакле. И при этом он еще раз в неделю вел литературные вечера «При зеленой лампе».



Тогда только-только в журнале «Москва» был напечатан «журнальный вариант» романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, потрясший всю интеллигенцию страны, и не только ее — весь мир. Но в отличие от всего мира, в СССР это произведение прочитать было почти невозможно: журналы из библиотек тут же разворовали, а книга не издавалась. По рукам, от знакомого к знакомому ходили небольшое количество журналов. Их давали почитать «на ночь». Я, например, получил первый журнал на одну ночь, после чего передал его дальше. Второй журнал получил также на ночь, но уже через неделю. Потом купил на черном рынке в Театральном проезде оба журнала за сумасшедшие по тем временам деньги — 100 руб., что равнялось моей аспирантской стипендии плюс интернатская зарплата.

Так вот Юлик при зеленой лампе читал по вечерам роман «Мастер и Маргарита». Происходило это в актовом зале в атмосфере полумрака и некоторой торжественности. Он сидел на сцене, горела лампа с зеленым стеклянным абажуром, тишина была неимоверная.

Читал негромко, но очень выразительно — практически в ролях. В зале сидели 50-60 человек, получавших огромное удовольствие. Я был один из них, хотя книгу знал от корки до корки. Конечно же, это был праздник!

Обращаю внимание: 50-60 человек, а училось в интернате около 400 человек. Грубо говоря, примерно седьмая часть физико-математических вундеркиндов. Это соответствует моим многолетним наблюдениям: от 10 до 15 процентов естественнонаучной интеллигенции испытывают «гуманитарный голод» или, исполь-

зую музыкальную терминологию, «имеют гуманитарный слух». А в специализированных школах считают, как правило, что раз ты вундеркинд, то все должен изучать по углубленной программе, и удивляются, как призер олимпиады по физике может спокойно рифмовать «стул» со «столом». Мы еще поговорим об этом. Но вернемся к вечерам.

Когда Юлику пришлось покинуть интернат (если кто-то не в курсе — было указание «сверху» и его выгнали по политическим мотивам), некоторое время вечера «При зеленой лампе» проводил Дима Гордеев. Спектакли пытались ставить разные люди, в том числе и А. Эфрос. Но все заглохло. Профессиональный режиссер не может отдавать столько сил работе со школьником, сколько отдавал Ю. Ким. Да я и сейчас уверен, что в лице Кима мир мог бы получить высококлассного режиссера-постановщика, хотя, с другой стороны, тогда бы у него было бы меньше времени для сочинения стихов и песен.

Что касается моих вечеров, то их история началась с того, что я, будучи коллекционером пластинок классической музыки и обладателем стереофонического проигрывателя «Невский», приносил его с парочкой пластинок по средам. С утра у меня были занятия, после обеда спецкурс, а после спецкурса мы собирались в том же классе послушать музыку с перерывом на ужин. Собиралось человек 10-15. Что мы слушали? Я помню уже плохо. Были 5-я и 9-я симфонии Бетховена, «Царь Эдип», «Петрушка» и «Весна священная» Стравинского, «Порги и Бесс» Гершвина, 14-я и 17-я сонаты Бетховена, произведения Паганини, органная музыка Сезара Франка, немного Онеггера, немного Дебюсси, немного Равеля. Кстати, эпизод с 9-й симфонией Бетховена вошел в фильм. Чтобы меня не снимали операторы, я закрыл лицо рукой. Но разве можно перехитрить хорошего оператора? Он выбрал ракурс, и получился такой Мыслитель, Роден бы просто заплакал, обняв свою скульптуру. В выборе произведений я исходил из того, что другая музыка достаточно много звучит по радио. Андрей Николаевич не одобрял мою любовь к Стравинскому, он несколько раз спрашивал меня, что я нахожу в этой «дёрганой» музыке. В пик у меня (как мне тогда казалось) он провел сам несколько музыкальных вечеров. Они, естественно, собирали полный актовый зал школьников. В программе были: Моцарт, Куперен, Шарпантье, Бетховен. Проигрыватель у него был получше, но все равно слабенький для актового зала. Акустика в этом зале была плохая. Видимо, это немного раздражало академика, да и времени не хватало. Вечера не стали регулярными.

Тем временем в университете всюду развернул свою деятельность клуб «Топаз», руководителем которого был Анатолий Тимофеевич Фоменко (сначала студент, потом аспирант, потом профессор, академик). Я был техническим директором этого клуба. Это означало, что я был обладателем радиолы «Эстония» с шикарными по тем временам акустическими колонками. Радиолу эту мы (аспиранты, студенты и один уже выпускник — всего пять человек) купили вскладчину, т.к. университет не хотел нам ничем помогать. Я заплатил чуть-чуть больше и договорился о праве выкупить в течение года оставшиеся доли. На этой радиоле каждый вторник после окончания заседания Московского математического общества мы проводили музыкальные вечера в холле 16-го этажа зоны «Б» МГУ. Часть вечеров проводил академик Павел Сергеевич Александров, поэтому вечера назывались «Александровские вторники». Обставлены они были великолепно. Толя Фоменко рисовал объявления, которые были шедеврами графики. Их вывешивали в главном здании при входе в зону «Б», и никто не мог пройти мимо равнодушно. Иногда мы

сами отливали крупные свечи, используя в качестве красителей женскую косметику. Это сейчас все можно купить, а тогда ничего не было, и мы все делали сами. Народу приходило много. Мы начали, может быть, первыми в Москве пропагандировать А. Брукнера, Г. Малера. Тогда у нас про них знали единицы. Профессор Г.Е. Шилов принёс оперы Р. Вагнера, мы однажды целиком прослушали «Кольцо Нибелунгов» в том же режиме, что и на Байретском фестивале, а в другой раз прослушали все симфонии А. Брукнера в течение одного воскресенья. Много можно еще рассказывать про клуб «Топаз» (кстати, изначально это было: «То-» — Толя Фоменко, «п-» — Пахомов, «а-» — Александров и «з-» — Звонкин), но аспирантура закончилась, мы выехали из общежития и музыкальные вечера в университете сначала стали происходить реже и реже, а потом и вовсе прекратились. Хотя мы время от времени собирались у кого-нибудь на дому и слушали музыку.

Радиолу я забрал себе и отвез в интернат. Теперь у меня был мощный музыкальный аппарат. Мне разрешили использовать для проведения музыкальных вечеров Кабинет литературы. К тому времени Дима Гордеев уже перестал читать М. Булгакова, и я решил придать новый формат своим вечерам. Я начал читать «Мастера и Маргариту» в первой половине вечера, а во второй — ставил музыку, которая, на мой взгляд, соответствовала прочитанной части, предворяя маленьким и рассказами о композиторе и произведении. Поскольку у Булгакова в книге было много всякой дьявольщины, то и музыка подбиралась соответственная — симфонии Брукнера, «Фангастическая симфония» Берлиоза, 1-я симфония Малера с ее великолепной гротескной аллегорией в 3-й части и жутчайшим накалом страстей в 4-й. Если прочитанный кусок заканчивался чем-то веселым, то и музыка была веселая и шуточная. Следует ещё отметить, что к журнальному варианту у меня добавился отпечатанный на машинке список всех выкинутых цензурой частей произведения, которые Толя Фоменко раздобыл у сестры писателя, подарив ей пару своих гравюр и добившись расположения к себе. Вечера шли на ура. В интернате появились меломаны. Интернат приобрел проигрыватель, я заказывал в Лавке композитора на ул. Герцена пластинки, которые выкупались Интернатом. Образовалась небольшая коллекция пластинок в Интернате. Ребята сами приходили и слушали музыку. Любителей было около 40 человек. Был какой-то подъем. Литературная часть менялась: то я читал стихи Вагантов и крутил «Кармину Бурана» Карла Орфа, то стихи А. Вознесенского и музыку С. Прокофьева, то «Улитку на склоне» Стругацких, которую собрал из двух публикаций, чисто интуитивно перемежая главы и, как оказалось, попал в точку — через много лет «Улитка» вышла именно в таком виде. В Государственной библиотеке им. Ленина один из членов клуба «Топаз» Володя Кузнецов — выпускник и преподаватель интерната — переснял кучу хороших экзиритмических переводов либретто знаменитых опер, и у нас появилась возможность слушать великие исполнения с пониманием текстов. Я устраивал прослушивание «Волшебной флейты» и «Дона Жуана» Моцарта, «Тангейзера» Вагнера, «Орфея и Эвридику» Глюка и «Дидону и Энея» Перселла. Сам переведил «Жанну д'Арк на костре» Онегера и «Джезус Крайст — суперстар» Райса и Вебера.

С последним из упомянутых вечеров связана забавная история. Рассказали мне ее двое выпускников Интерната на банкете по поводу его юбилея в 2008 году. Альбом с рок-оперой «Джезус Крайст — суперстар» я попросил у Толи Фоменко, а ему его кто-то привез из-за границы. У нас тогда ходили только магнитофонные копии очень плохого качества, поскольку и сами магнитофоны были никудыш-

ными. А тут такое счастье — фирменный диск с текстом. Я сделал ее перевод, не очень точный, но стилистически довольно жесткий с хлесткими фразами, поскольку сам так воспринимал ее музыку. Что-то в таком духе, как следующий кусок. В арии Марии Магдалины, где она убаюкивает Христа, есть такие слова: «Закрывай глаза, пусть мир немножко покрутится без тебя». Или что-то в этом роде, но точно абсолютно спокойная фраза. У меня это звучало примерно так: «Пусть этот мир хоть перевернется — закрывай глаза и спи спокойно». И все примерно в таком духе. Это где-то соответствовало нашим настроениям, перевод понравился Фоменко и он его использовал при проведении Музыкального вечера клуба «Топаз». Позднее Алла Ярхо сделала профессиональный перевод, потом были и другие, например, эквилибристические переводы, но Толя мне как-то сказал, что мой перевод ему понравился больше. Итак, Литературно-музыкальный вечер в Интернате, объявление «Рок-опера JCS». Я боялся, что не хватит мест. Пришло человек 35, может 40. Немного больше, чем обычно. Я немного рассказал о сюжете, прочел некоторые отрывки из Евангелие, обращая внимание на неоднозначность трактовок, отрывки из «Иуды Искариота» Леонида Андреева и, наконец, свой перевод, снабдив его комментариями по поводу использования некоторых музыкальных приемов в произведении. Вечер прошел очень хорошо. И все бы ничего, но комсорг Интерната Иван Иванович Мельников, нынешний Вице-спикер Госдумы РФ, второе лицо в КПРФ, объявил на то же время собрание комсоров всех классов в Комитете комсомола Интерната. Пришло человек 5. Где остальные? Пошли слушать рок-оперу про Иисуса Христа! Ну, они получат! Однако, на следующий день, узнав, что это проводил я, он ограничился устным порицанием. Я обо всем этом узнал практически 30 лет спустя. Тогда же примерно я узнал, что среди посетителей моих вечеров ходила легенда, что я нелегально достал и читаю выброшенные цензурой отрывки из «Мастера и Маргариты», и что КГБ меня может посадить, поэтому я сильно рискую. Но я нигде не скрывал того, что я читаю. И директор Иван Трифонович Тропин меня в этом поддерживал. Не думаю, что я рисковал. Да если бы и думал, все равно поступал бы точно так же.

Но жизнь брала своё. Времени становилось всё меньше и меньше. Вечера давались большим трудом: жил я далеко в Подмосковье, выезжал из дома в среду в 6 утра, а возвращался домой последним автобусом или последней электричкой в 01-30. Хорошо, что, преподавая в университете, ты можешь до определенной степени регулировать свое расписание, но всё равно с возрастом становится труднее и труднее жить в таком режиме. Вдобавок ко всему мне начало казаться, что мои труды совершенно напрасны, что вся эта музыка никому не интересна. В общем, энтузиазм пропадал, но прекратить эти вечера я не мог. Последний раз я провел их в сезоне 1987-1988 гг. В 1988 году начал срочно изучать французский, чтобы уехать в Африку. Естественно было не до вечеров. В 1989 году уехал в Конго. И вот каково же было мое удивление, когда после всего этого я узнал, что для моих слушателей Музыкально-литературные вечера остались, как одни из самых ярких впечатлений интернатской жизни. Как жаль, что я тогда этого не чувствовал! Как бы мне это помогло в жизни.

Кстати, пока писал этот кусок, позвонила мне Зоя Савилова. В прошлом моя ученица, а сейчас — преподаватель интерната (теперь СУНЦ МГУ). Когда я сказал ей, что пишу мемуары, она сразу же вспомнила именно эти вечера.

И еще один маленький штрих, не имеющий отношения к интернату, но, на мой взгляд, интересный. Андрей Николаевич очень любил Моцарта, особенно

оперу «Дон Жуан». Как-то мы говорили с ним о Моцарте, и я сказал, что царицей опер является, на мой взгляд, «Волшебная флейта». Даже притом, что драматургия там весьма условна, музыкальные решения совершенно великолепны. Андрей Николаевич сказал, что и в музыкальном плане, и в литературном «Дон Жуан» кажется ему интереснее. При этом отметил, что Бетховен так же, как и я, выше ценит «Волшебную флейту», но по другой причине — он считал оперу «Дон Жуан» безнравственной. В ближайшую среду после этого разговора я, естественно, устроил прослушивание «Дона Жуана» в великолепном исполнении с Д. Фишером-Дискау, Бригит Нильсон, П. Шрайером и дирижером Карлом Бёмом и согласился как с Л.-В. Бетховеном, так и с Андреем Николаевичем. И опять меня не покидало ощущение того, что у великого Моцарта маленький оркестр показывает просто чудеса и, иногда кажется, что играет чуть ли не Вагнеровский оркестр в сотню музыкантов. Такое ощущение, что он хорошо усвоил многие приемы композиторов XIX — XX веков.

Андрей Николаевич Колмогоров

Об Андрее Николаевиче написано очень много, и может показаться, что уже ничего не добавишь. Но это не так. Столь многогранную личность не могут описать даже сотни мемуаристов. Меня с ним связывают близко две истории. Вторая по времени, может быть, менее интересная — редактирование учебника «Алгебра и начала анализа для 9-10 классов». А первая — связана с работой Юрия Викторовича Подлипчука «Слово о полку Игореве». Научный перевод и комментарии». В эти времена наше общение было частым и обычно происходило в неофициальной обстановке, что и позволяет мне говорить о его характере и человеческих качествах в повседневной жизни.



Андрей Николаевич Колмогоров, слева — В. Вавилов, спиной — автор этих строк

История с учебниками проста и, если не вдаваться в детали, заключалась в следующем. Как недавно стало известно, Андрей Николаевич, следуя плану своей жизни, составленному чуть ли не в сорок лет, после своего шестидесятилетия ушел практически со всех руководящих постов и занялся реформой образования. В 1963 году по, главным образом, его инициативе, поддержанной еще несколькими академиками (Соболев, Лаврентьев и Кикоин), были открыты три физико-математических интерната (Новосибирский, Ленинградский и Московский). В 1964 году он возглавил комиссию АН СССР и АПН СССР по реформе математического образо-

вания. В те же годы они с академиком И. Кикоиным открыли журнал «Квант», где возглавили каждый свой отдел. И много другого было сделано в те времена, о чем я собираюсь поговорить дальше.

Андрей Николаевич неоднократно говорил, что, если проследить судьбу известных ученых, то обнаружишь, что практически у каждого из них в жизни был человек, встреча с которым решила его судьбу. Чаще всего это был учитель, и чаще всего это влияние происходило через непосредственное общение. Людей с математическими наклонностями не так уж много (по оценкам автора этих заметок — не более 10 процентов). Настоящих талантов — и того меньше. Разбросаны они по всей стране, и шансов у них, особенно в провинции, встретиться с таким учителем, практически нет. Поэтому было бы правильно, если мы хотим развивать науку, отбирать ребят с математическими наклонностями и помещать их в особые условия обучения в специализированном заведении. Отсюда и идея создания специализированных школ-интернатов при крупных научных и университетских центрах.

При этом необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Нужно проводить отбор кандидатов в такие интернаты по всей стране. По крайней мере, с максимально широкой географией.
2. Поскольку дети отрываются от семьи одной стороны, а с другой стороны темпы обучения и нагрузка в таком интернате существенно отличаются от тех, к которым они привыкли, то необходимо кандидатов собирать в летние школы, где с ними проводить занятия на темы, в которых они все равны, т.е. выходящие за рамки школьной программы, но доступные школьникам. После такой школы проводится окончательный отбор учеников в интернат. При этом меньше шансов, что туда попадет ребенок, не приспособленный жить и работать в коллективе или не выдерживающий необходимый темп обучения. Конечно, жизнь в летней школе сопровождалась спортивными и культурными мероприятиями, была достаточно полной. Поэтому даже не поступившие возвращались домой полными впечатлений от «другой жизни» и, часто, меняли своё отношение к учебе. Я считаю, что и в том случае, когда человек понял, что это «не его», и начинает искать себя в других областях, есть большая польза. Но большинство из тех, кто не поступил в двухгодичный поток, активно готовились к следующему году. Многие из них поступали затем на одногодичный поток.
3. Обучение, как в летней школе, так и в интернате должно быть максимально индивидуализировано (об этом я уже писал выше).
4. На первой стадии рассматривались только школы-интернаты с физико-математическим уклоном. Это было связано с тем, что, с одной стороны, успехи в этих областях (ядерная физика, полупроводники, квантовая электроника, развитие ЭВМ и успехи в Космосе) позволяли надеяться на поддержку в верхах, без чего это было бы невозможно. С другой стороны, математические и физические способности так же, как и музыкальные, обычно проявляются чуть раньше, чем другие, где, как например, в филологии (истории, психологии и др.) необходимы жизненный опыт и большая эрудиция. Многие математические задачи при разумной постановке по силам даже маленьким детям. В Ленинградском интернате было еще и биологическое отделение. Андрей Николаевич шутил по его поводу, что на него собирают любителей бабочек и читают им лекции по кибернетике.

5. Преподавать основные дисциплины должны преподаватели, аспиранты и студенты университета.

Этот последний пункт очень важен. Дело в том, что, наблюдая историю любой кафедры, видишь, что она в момент своего зарождения является, как правило, одной из самых передовых. Это, конечно, объясняется молодостью и энтузиазмом коллектива. Потом кафедра стареет и, хотя регалий у нее появляется много, она как-то больше живет по инерции прошлой славы. В какой-то момент она старится настолько, что становится скорее тормозом для науки. На таких кафедрах не любят молодых, энергичных и задорных ученых, предпочитая им хоть и более серых, но более спокойных. Потом старики уходят, а их места занимает эта более серая собратья, и все это длится довольно долго до «переворота», возникающего по разным причинам. Однако, что терпимо для университета, для интерната почти смерть. То, что я писал про музыкальные вечера, относится в полной мере и к преподаванию. Конечно, с возрастом я становился опытнее, но энтузиазм улетучивался. Да и дистанция между мной и школьниками увеличивалась, никому и в голову уже не приходило звать меня по имени. Я уже большую часть нагрузки в процессе обучения перекладывал на моих напарников — студентов и аспирантов, чаще всего моих же бывших учеников. И, конечно, я очень хорошо понимал в это время Андрея Николаевича — работа по воспитанию талантов держится большей частью на энтузиазме. Такие как я уже могли давать только знания, как некую совокупность информации. Они могут читать хорошо лекции, имея большой опыт в своей практике, но не заниматься индивидуальной работой с талантами школьного возраста (это не мешает, впрочем, работать с аспирантами — практически коллегами — что принципиально отличается от работы в школе).

Казалось бы, что может быть легче, чем организовать такой процесс, если государству нужны ученые. Но, увы, любому государству нужны не ученые, а результаты их работы. Поскольку руководители разных уровней не состоят из нобелевских лауреатов, то ученые, как правило, только мешают руководить. Им говоришь, сделай то-то, а они в ответ — это противоречит законам Ньютона. А то и основополагающие учения норовят пересмотреть. И главное, у них всегда какая-то своя точка зрения по каждому вопросу, отличная от общепринятой. Такое терпеть сложно. Поэтому развивалось все не просто. Интернаты эти, хотя и удалось создать, числились по линии спецшкол для детей с отклонениями. Родители должны были платить за учебу (для сравнения: в Индии используется наш опыт, но там все на государственном обеспечении, и какой рывок в науке делает Индия!). Норма питания в физико-математическом интернате была в 4 раза ниже, чем в спортивном интернате. Никто из чиновников не хотел признавать иных подходов к преподаванию, отличных от регламентированных инструкциями, и т.д., и т.п.

Но возвращаюсь к А.Н. Колмогорову. Предполагая, что таких интернатов будет больше, а кроме них в больших городах — университетских центрах будет большое число спецшкол, Андрей Николаевич организовал написание специальных учебников для старших классов по алгебре и началам анализа и по геометрии. Его симпатии были обращены к французской системе преподавания математики — она была гораздо более стройной и логичной, нежели наша традиционная. Отмечу сразу, что во Франции к ней относятся не так однозначно. Противников очень много (далее мы поговорим, почему). Но для спецшкол учебники, по-моему, подходили очень неплохо. Работа же комиссий по реформе образования шла ни шатко ни валко. Такая реформа всегда идет тяжело. Сторонников реформы было не так

уж много, а противники просто «забалтывали» реформу. Не ставилось никаких экспериментов в некрутных масштабах. Комиссии по разным предметам работали разобщенно. Никто даже не задавался простейшим, на мой взгляд, вопросом: «А сколько новых понятий и терминов может освоить средний школьник за неделю, месяц, год?». В программу чуть ли ни каждого предмета входила куча всякой информации, переварить которую было просто не по силам. И вот в этой обстановке Министр просвещения СССР М.А. Прокофьев издал в начале лета 1983 года приказ о переходе на новые учебные программы в школе с сентября 1985 года. С учетом того, что учебники печатались практически полуготамиллионными тиражами, а полиграфическая база тех времен была крайне примитивна, необходимо было сдать их в набор до весны 1984 г. Реально на написание учебников оставалось 6 — 7 месяцев. Тот, кто писал книги, а особенно учебники, причем рассчитанные на невероятно широкую аудиторию, понимает, что в такие сроки практически нереально написать учебник, не говоря уж о том, чтобы его «обкатать». Поэтому были принято решение, подготовить новые учебники по математике на основе этих самых уже чуть-чуть обкатанных учебников для спецшкол.

По алгебре и началам анализа это было проще, поэтому Андрей Николаевич возложил основную «писательскую» работу на Борю Ивлева и Сашу Абрамова — первых выпускников интерната, преподававших в это время в интернате и представлявших примерное состояние современной школы. Редактировать этот учебник он попросил меня.

Не буду рассказывать, как происходил процесс. Скажу только, что учебник все-таки получился. Хоть и не без мелких накладок, но нареканий не вызывал и был впоследствии перепечатан во многих странах. А вот с геометрией все обстояло совершенно иначе. Попытка придать логику и некоторую строгость в изложении, привела к другой концепции изложения. Появилось много новых понятий, некоторые из них довольно абстрактные. Короче говоря, всем учителям математики в СССР необходимо было переучиваться, что при низком уровне их образования было практически невозможно. Не знаю, предполагал ли Андрей Николаевич, что встретит такое сильное сопротивление, просто саботаж. Вряд ли. На большом количестве всевозможных обсуждений учителя говорили, что они **не читали и не собираются читать (!)** этот учебник. В школах чуть ли не каждый учитель излагал геометрию по-своему. И это притом, что уровень большинства из них не дотягивал и до тройки. Дошло до того, что в журнале «Коммунист» появилась статья академика Л.С. Понгрягина, где он обвинял А.Н. Колмогорова во всех бедах преподавания, цитируя при этом Аллу Пугачеву. Статья была больше похожа на донос. Я тогда пошутил, что слепой-то слепой, а ведь узрел у Пугачевой математические способности. Мне кажется, что именно эта организованная травля и добила Андрея Николаевича.

Пару слов об этой фразе из песни Пугачевой: «Кандидат наук — и тот над задачей плачет». Я считаю, что эта фраза была и есть **Абсолютно Справедлива**. Но говорит она не о сложности школьной математики, а о деградации ученой степени. Нужно было «размыть» элиту интеллигенции — стали штамповать кандидатов, а потом и докторов с интеллектом дворника. Потом стали проводить в Академию Наук людей по партийным спискам. Конечно, «дворники» выживали ученых, но провалов становилось все больше, а наука теряла авторитет. Пока не оказалась убитой.

История со «Словом о полку Игореве»

Началась эта история давно, практически на десять лет раньше, чем описываемые выше события. В 1975 году в г. Алма-Ата вышла книга известного казахского поэта Олжаса Сулейменова «Аз и Я». Название очень многозначное, но еще интересней книга по своему содержанию. Первая её часть была посвящена «Слову о полку Игореве». В ней автор рассказывает историю находки: как Мусин-Пушкин приобрел рукопись, как попытался перевести на современный язык, как рукопись погибла во время пожара и, наконец, как до сих пор очень многие специалисты пытаются перевести это произведение, и как много разных гипотез имеется относительно его происхождения. Действительно, произведение сильно выпадает из ряда дошедших до нас произведений того времени. Среди сухих хроник, жизнеописаний, изложений библейских сюжетов и бытовых произведений, вдруг появляется произведение, в котором художественные образы, гиперболы настолько яркие, что в русской литературе аналогичное не встречается до конца 18-го века. Там чувства имеют цвета, Обида выступает в виде девы, ритм речи напоминает стихотворный и т.д., и т.п. При этом упоминается масса исторических событий, иные из которых просто ставят в тупик историков. Например, появление Готских дев на Днепре. Ну и, кроме того, произведение, несомненно, христианское, если учесть еще и его изложение в Ипатьевской летописи. Я имею в виду покаяние Игоря. Произведение явно не принадлежит к героическому эпосу, оно скорее назидательное, призывающее отказаться от личных амбиций в пользу общего дела.

Одна беда — в произведении куча «темных» мест, не поддающихся переводу. У разных авторов от 50 и выше. А некоторые слова вообще в русской речи не встречались, хотя смысл их можно предположить из контекста, или корневой основы, или... Обычно переводчики при этом грешат на переписчиков, мол, те допустили ошибки при переписывании. И на этом основании корректировали текст. Но все равно главные «тёмные места» переводам не поддавались. Олжас Сулейменов посмотрел на это иначе. Известно, что древние тексты писались чаще всего без разделительных пробелов и часто без гласных. Мусину-Пушкину пришлось сделать для перевода собственную разбивку текста и его огласовку. Никто не пересматривал эту разбивку. Сулейменов попробовал переделать разбивку и огласовку «тёмных мест» и обнаружил в этих местах фразы на тюркских языках!!! Причем они хорошо вписывались в текст «Слова...». Ему удалось интерпретировать большую часть «тёмных мест». Из этого он сделал вывод, развитый во второй части книги, о том, что Древняя Русь и Степь представляли собой конгломерат с переплетенными судьбами и культурами.

Произведение произвело на меня сильное впечатление, и поскольку я не был специалистом в этой области, то оно завоевало полностью мое воображение. Я скупил 10 последних экземпляров в «Книжном мире» (и правильно сделал — вскоре их изъяли из продажи) и раздавал своим знакомым, если считал их обладателями интеллекта и любителями истории (сам я тогда увлекался Римской историей). И вот на Дне рождения Андрея Егорова в том же году я рассказал эту историю присутствующим, среди которых был и Юрий Викторович Поддигчук, преподававший когда-то в интернате литературу и русский язык.

Работал он в интернате, не имея московской прописки и денег на квартиру. Кроме преподавания он ставил литературные спектакли, обнаруживая недоюжинные режиссерские способности, проводил литературные вечера, приходил ко мне на музыкально-литературные вечера. По-моему, мы что-то делали и вместе, «Царя

Эдипа» и еще что-то, сейчас уже не помню что. Бесперспективность жизни в Москве (в смысле жилья), вынудила его уехать в родной Хабаровск. Там он преподавал в педагогическом институте, вел различные литературные кружки, ставил любительские спектакли (один из них был «Реквием» А. Ахматовой — получивший восторженные отзывы Андеграунда, другой — по «Слову о полку Игореве» — где-то в духе античных спектаклей и т.п.). Студенты высоко ценили его, многие отзывы и воспоминания о нем можно найти в Интернете. В Москву он прилетал часто, тогда это не стоило дорого, и преподаватель института мог себе это позволить. На Дне рождения мы и собрались во время одного такого очередного его прилета. Книга Сулейменова его очень заинтересовала, и я подарил ему чуть ли не последний оставшийся у меня экземпляр.

Чтобы была понятнее атмосфера того времени, сделаю маленькое отступление. В то время мы сильно увлеклись критикой Николая Морозова древней хронологии. Сначала профессор М.М. Постников прочел на мехмате лекцию на эту тему, а затем всё долго разбиралось на домашнем семинаре под руководством А.Т. Фоменко. Конечно, весь клуб «Топаз», к этому моменту существенно разросшийся, участвовал в работе этого семинара. Семинар проходил на разных квартирах, но чаще всего у Степы Пачикова. Большая часть из еще живых участников этого семинара живет за границей, в основном в США. А тогда это были студенты, аспиранты и молодые преподаватели МГУ.

Иногда Андрей Николаевич спрашивал меня, чаще с иронией, о «последних открытиях», сделанных на семинаре. Помню, однажды он рассказал мне историю о том, как он не пропустил статью Н. Морозова в «Доклады АН СССР». Почетный академик Н. Морозов написал статью о том, что Земля под действием давления солнечных лучей хоть и немного, но постепенно удаляется с круговой орбиты вокруг Солнца. На замечание Андрея Николаевича о том, что эта сила так же зависит от расстояния, как и гравитационная, а значит, их сумма определяет движение по эллиптической орбите, если выразиться более точно, Морозов ответил, что это силы разной природы, и потому не складываются. Когда Андрей Николаевич отверг статью, Морозов ходил жаловаться по разным инстанциям — от О.Ю. Шмидта до ЦК Компартии. Отто Юльевич много раз говорил Колмогорову: «Да не связывайтесь вы с ним. Напечатайте, ничего из-за этого не случится!». Но Андрей Николаевич так и не пропустил статью. Надо сказать, что по научным вопросам он всегда проявлял принципиальность. Впрочем, если говорить про наши увлечения, то надо сказать, что иногда он слушал мои рассказы и с явным вниманием.

Так вот, прошел год с того Дня рождения. Я уже забыл про наш разговор, как вдруг появляется Юрий Викторович с огромной рукописью и словами: «Ты меня в это втянул, так вот теперь думай сам, что делать!». Первое, что я сделал — это прочел рукопись. И был потрясен. Он сделал то, что нужно было давно сделать, но никто не сделал. Взяв за основу, по-видимому, наименее всего подвергшийся редактированию текст копии, сделанной с оригинала для Екатерины II, он соединил весь текст обратно и начал новую разбивку. Причем делал это по всем правилам, ища аналоги слов и их употребления в других древних текстах, не допуская явных исторических или биологических нелепостей (таких как, например, «бусые врани» — серые вороны — они идут из перевода в перевод, хотя водятся в Канаде и т.п.). В кратких заметках бессмысленно пытаться изложить методологию и все результаты, полученные в большой и серьезной работе. Но сразу бросалась в глаза

научность и фундаментальность подхода. Темных мест практически не стало. Корректировок практически не приходилось делать.

Что можно было сделать в такой ситуации? Я рассказал историю Андрею Николаевичу. Он был в курсе проблематики, поскольку сам занимался в свое время филологическими проблемами и продолжал это свое увлечение, но уже скорее пассивно. Поскольку незадолго до этого вышло несколько статей, в которых авторы утверждали, что «Слово...» было написано за границей, он также заинтересовался, не доказывается ли там иностранное происхождение «Слова...». Я вкратце объяснил содержание работы, по-видимому, достаточно убедительно, потому что академик предложил мне, чтобы я дал ему рукопись на несколько дней. Через, кажется, неделю, он привез рукопись в интернат. Его реакция на прочитанное была очень положительной, но, при этом Андрей Николаевич заметил, что он не самый крупный специалист в этой области, а посему необходимо получить заключение от кого-нибудь из авторитетных ученых-филологов. Он сказал, что есть такой ученый — Михаил Леонович Гаспаров, с которым он когда-то написал несколько работ и которому он полностью доверяет. Так вот, очень хотелось бы, чтобы Михаил Леонович прочел работу и написал своё заключение. Андрей Николаевич снабдил рукопись запиской примерно такого содержания: «Уважаемый Михаил Леонович! Мои молодые коллеги-математики подготовили работу, которая мне показалась представляющей интерес для исследователей лигатуры средних веков. Я хотел бы, чтобы Вы, как один из самых авторитетных специалистов в этой области, выразили свое мнение относительно новизны и ценности этой работы. С уважением, А.Н. Колмогоров».

Это была большая победа. Андрей Николаевич всегда был очень требователен к научным работам и то, что он ее поддержал, означало, что работа эта действительно стоящая. Юрий Викторович, окрыленный этой поддержкой, тут же позвонил Гаспарову, и тут же получил предложение встретиться. При встрече ситуация повторилась. Михаил Леонович быстро оценил работу, но поскольку он большей частью занимался западной средневековой литературой, то предложил, чтобы работу прочли такие специалисты по древнерусской литературе, как В.П. Григорьев и Т.А. Сумникова. Вскоре Юрий Викторович получил от них всех положительные отзывы с рекомендацией издать в издательстве «Наука». Затем прошло несколько обсуждений в научно-исследовательских институтах (истории, русского языка). Добавились положительные рецензии от историка академика Б.А. Рыбакова и целого ряда других ученых. Все это время происходили дискуссии и обсуждения работы, многие замечания были приняты. Активно участвовали в этой работе и мы с Женей Сурковым — физиком-теоретиком из Курчатовского института и одновременно преподавателем интерната — хотя наши заслуги были скромнее. В конце концов, со всеми нужными бумагами книга легла в издательстве «Наука» в ожидании её включения в план изданий на ближайший год. Андрей Николаевич регулярно интересовался тем, как идут дела и, как мне показалось, был очень доволен, когда книгу приняли в издательство. А Михаил Леонович (впоследствии также избранный в действительные члены АН СССР) даже как-то несколько схибно заметил, что Подлипчук вошел в науку с черного входа.

Приближался юбилейный год — год «Слова о полку Игореве» и книга выходила очень кстати. Возглавлял юбилейный комитет академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он был известным ученым, отсидевшим в свое время на Соловках, много выступавшим по вопросам охраны памятников культуры. В определенных

кругах его величали «Совестью нации», хотя в отличие от академика А.Д. Сахарова, заслужившего такой же титул посмертно, Дмитрий Сергеевич никогда не шел на конфликт с властью, а скорее был ее любимцем, которому разрешалось кое-что делать и из того, что запрещено делать другим. Он создал в Ленинграде свою школу, в которой кроме него работали его ученики, среди которых наиболее известными в то время были члены-корреспонденты Академии Наук СССР Л.А. Дмитриев и О.В. Творогов. «Словом...» Дмитрий Сергеевич занимался давно. В 1950 году в «Литературных памятниках» он дал свой перевод на современный русский язык «Слова...», где попытался трактовать ряд «тёмных» мест, но при переводе сделал почти рекордное количество исправлений текста. Затем вышло много работ на эту тему, которые были обобщены в книге «Слово о полку Игореве» и культура его времени», изданной в 1978 году. Эта юбилейная работа практически перечеркивалась работой Подличука. Академик был не из тех людей, которые позволяют перечеркнуть свои достижения, даже если они оказались ложными. В отличие от А.Н. Колмогорова, который покинул почти все административные посты, чтобы не тормозить науку, Д.С. Лихачев к этому времени занимал не менее десятка всяких постов и увеличивал количество своих званий и других регалий.

Короче говоря, в один прекрасный день в коридоре издательства «Наука» в Москве появился академик Лихачев. Он случайно зашел в одну комнату, где случайно обнаружил на одном из столов рукопись Подличука, и со словами: «Так это же по моей части. Надо почитать» — взял со стола рукопись и унес её с собой. Больше её никто не видал. Через некоторое время начала происходить чертовщина, хотя в отличие от Булгаковской, она имела рациональное объяснение. Так одна из рецензенток, хорошая ученая, но слабый человек, попросила вернуть её рецензию со словами: «Книга всё равно теперь не выйдет, а мне работы лишаться не хочется». Отменились пара обсуждений на различных семинарах. Когда я рассказывал это Колмогорову, Андрей Николаевич в свойственной ему манере замыкался. Не знаю, о чем он в эти моменты думал, но мне казалось, что он иногда жалел о своем решении оставить административную деятельность. А один раз, когда я рассказал ему, что Ф.П. Филин собрал Ученый совет своего института и предложил отозвать заключение Совета с рекомендацией к опубликованию в издательстве «Наука» (им же подписанное), Андрей Николаевич рассказал следующую историю. Однажды, когда Ф.П. Филин выдвигался в члены-корреспонденты АН СССР, А.Н. Колмогоров пришел на заседание в их отделение и выступил там с категорическим отводом. Филин провалился на выборах, в центральных газетах появились заметки о том, что вот-де некоторые академики (без указания фамилии) позволяют себе ходить не в свои отделения и вносить смуту в их деятельность. «Но я этим могу только гордиться», — закончил академик.

Академик Б.А. Рыбаков, хорошо ориентировавшийся в этой жизни, посоветовал Юрию Викторовичу съездить в Ленинград и встретиться там с Лихачёвым. Сказав при этом примерно следующее: «Ну, книжку *эти* вам издать не дадут, но может быть предложить что-нибудь достойное взамен». Так все и оказалось. Со слов Подличука, Дмитрий Сергеевич скрылся на даче, поручив беседу своему ученику О. Творогову. Последний объяснил Юрию Викторовичу, что «Слово...» — главный объект исследования всей жизни академика Лихачева, и он не собирается ни от чего отказываться. Если Юрий Викторович откажется от публикации своего произведения, то он может ему гарантировать через год защиту докторской диссертации по материалам, имеющимся в распоряжении учеников академика. В процессе беседы в комнату заходил Л. Дмитриев, взглянуть на это провинциальное чудо.

Андрей Николаевич не стал комментировать этот рассказ и, мне кажется, в очередной раз пожалел, что бросил административную работу. Мы же, наоборот, все как один советовали Подлипчуку согласиться на докторскую, тем более что у него не было и кандидатской степени. Всем было интересно, как будут обходиться с этим фактом, т.е. принципиально это было возможно, но при этом нужно было как следует «отпирить» работу, выражаясь нынешним языком. Ему говорили, что как только он получит известность и регалии, он сможет выдать «на-гора» свой труд. Но Юра считал такой подход к делу безнравственным и бесчестным, а отказаться от своих убеждений не мог.

Он уехал к себе в Хабаровск, пару мелких кусочков своей работы опубликовал в каком-то местном журнале и Вестнике педагогического института, т.е. там, где это никто не замечает. А материалы оставшиеся в Ленинграде потихоньку «разворовывали», т.е. они печатались с небольшой переработкой, если это не противоречило концепции Д.С. Лихачева. А потом и сам Дмитрий Сергеевич использовал часть их в своем обобщающем труде «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Работы последних лет», вышедшем в 1998 году. Юрий Викторович умер, когда я жил в Африке. У меня не было никакой связи с моими друзьями в России (в Конго, где я тогда находился, шла война и связь не работала), поэтому я даже не знал, когда это произошло. В 2004 году в информации о выходящих книгах я обнаружил работу Ю.В. Подлипчука «Слово о полку Игореве». Научный перевод и комментарий», издательство «Наука», М., 2004 (тираж 2000 экз.). Издание ее инициировал и оплатил сын, Виктор Юрьевич Подлипчук — выпускник нашего интерната, успешный физик, кандидат физико-математических наук, а теперь, как это часто случается у нас с хорошими физиками, менеджер верхнего звена в одной из самых крупных аудиторских компаний мира. Издательство «Наука» полгода тянуло с публикацией, но когда М.Л. Гаспаров и В.П. Григорьев подтвердили свои отзывы, дело сдвинулось. Книга издана хорошего качества и полиграфии. Правда, историю создания труда, написанную Юриным сыном, выкинули из-за упоминания Пушкинского дома. Не прошло и тридцати лет...

Юрий Викторович Подлипчук глазами учеников и критиков

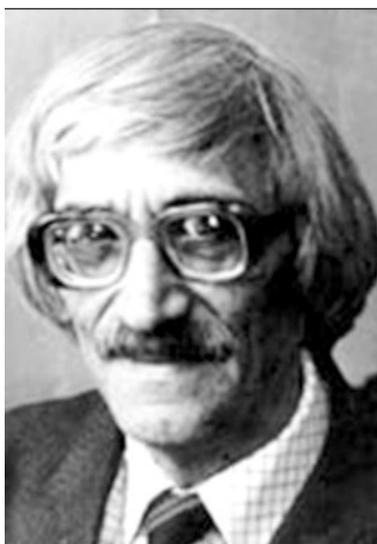
Я достаточно подробно описал историю с переводом «Слова...», но когда я ее перечитываю, ощущаю какое-то чувство незавершенности. Мне кажется, что образ Подлипчука остался в стороне изложения, и я решил добавить сюда несколько мазков чужой кисти. Материала было немало. Есть очень хорошее эссе Сергея Яковлева «Волшебный круг», опубликованное в журнале «Нева» № 8 за 2006 год. Сергей — в прошлом выпускник Интерната, а теперь писатель. Это большое и цельное произведение, его легко найти в Интернете. Я собрал небольшую подборку того, что менее известно, но по разным причинам мне показалось интересным.

Вот что пишет о нем его студентка **Шевелева В.С.:**

Мне посчастливилось учиться в пединституте у прекрасного актёра (так сложилась жизнь, что после войны он не вернулся в театр, а стал педагогом, наш театр потерял в его лице уникального трагика) — преподавателя русской литературы Юрия Владимировича Подлипчука.



Вот в таком виде вышла книга



Это — Юра в Хабаровске

Его лекции о Ф.М. Достоевском его студенты вспоминают, как незабываемые спектакли-действия, пересказывают его истории и хранят светлую память о нём. А как он исполнял "Мастера и Маргариту"!!!

А его спецкурсы по драматургии были для меня самым ярким событием. Я открыла не только «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, но и совершенно иной театр — театр страсти и разума (так я называла его лекции). Меня он прозвал оракулом (при этом подчеркивал изыяны этого поприща).

В научных кругах его знают по работе над " Словом о полку Игореве" (перевод и толкование тёмных мест)

Не льпо ли ны бяшетъ, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстїи о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича?

Перевод Ю.В. Подлипчука Повествование о походе| Игоревом —| Игоря, сына Святослава, |внука Олега, —|нелепо же нам было, друзья,| начать старыми словами| героических сказаний.| О походе Игоревом,| Игоря Святославича.

Ещё до встречи с его талантом я видела прекрасных педагогов-словесников, умеющих НАПОЛНЯТЬ ТЕКСТ ЖИЗНЬЮ, ИМПРОВИЗИРОВАТЬ и ЛИЦЕДЕЙСТВОВАТЬ (те, кто учился у Нины Наумовны Школьник, разделяют моё мнение), но после встречи с ним я стала собирать копилку актёрских приёмов в работе педагога.

Вот его студент Александр САВЧЕНКО (07.12.2006, Тихоокеанская звезда):

Восемьдесят лет назад Юрий Викторович Подлипчук родился в Хабаровске. Тринадцать лет назад его не стало. Я люблю перечитывать его лекции по литературе второй половины XIX века.

Открываю наугад и читаю. И даже, мне кажется, слышу его скрипучий голос, вижу перед собой фигуру в стареньком костюмчике, обсыпанном табаком (курил Юрий Викторович дешёвые папиросы), пепельные спадающие до плеч волосы. Внешне Подлипчук напоминал нахохленную птицу с ястребиным взглядом из-под очков. А когда он усаживался перед студентами прямо на скамью, изогнувшись, то сходство с Гоголем было поразительное!

Вдруг открылась страница с таким текстом:

«У меня свой Достоевский. «Моим» его делает острое чувство бездны. У Пушкина и Толстого — твердь, с отдельными провалами. У Тютчева — пропасть и вера в спасение. У Достоевского — кружение в бездне, парение, которое само по себе становится опорой».

Или еще:

«Достоевский — истерика. Но есть такие надломы и узлы, когда высказаться можно только так. Он — единственный, кто вполне постиг предельную искренность и нашел способ открыться в слове человеку.

Я понимаю людей, которые не могут выдержать этого напряжения, их приводят в ужас темные двойники. Они есть, и каждый вынимает черта из собственной души. Взгляните на сегодняшний день сквозь Достоевского...»

Это — Юрий Викторович Подлипчук.

Становится неловко, когда в интеллигентной среде вдруг услышишь: «Подлипчук? Не читал. А что он написал?». Будь моя воля, я бы каждый урок литературы в школе начинал с его «разборов классики». Иначе нынешнее «младое племя» будет думать, что русский язык — это то, что они слышат сегодня на улице или с экрана телевизора, что это — не Божий дар, а что-то вроде набора инструментов, гаечных ключей, с помощью которых можно «общаться», «тусануться» или «оторваться».

Где-то в 70-х годах прошлого века никому не известный преподаватель литературы Ю.В. Подлипчук в знаменитой физико-математической школе академика А.П. Колмогорова при МГУ познакомился с известным литературоведом М.М. Бахтиным. И произошел у него любопытный разговор с ним.

— Романы Достоевского — никакая не трагедия идей, не карнавал. Это — кабак.

Бахтин, исследующий тексты Достоевского как карнавальные изумленно воскликнул:

— А вы сами откуда это знаете?!

— Я — артист, а Достоевский — сцена для юриdivых.

Эту историю Юрий Викторович рассказывал мне однажды у себя дома, где из-за болезни принимал зачет спецкурса о Достоевском.

Это сегодня известно, что нашелся в Хабаровске человек, который перевел «Слово о полку Игореве», сделал к нему собственный научный комментарий, вступил в полемику с самим Лихачевым, был незаурядным толкователем Гоголя, Достоевского, Чехова. А в годы перестройки фигура институтского «препода» (до конца своей жизни Юрий Викторович ходил без каких-либо степеней и умер, так и не увидев напечатанным свой главный труд) у многих докторов наук от литературы вызвала немой вопрос: «Откуда взялся?»

В биографии его много белых пятен (личное дело Юрий Викторович забрал из вуза со словами: «Чтобы духа моего не было!»): сын репрессированных родителей, окончил актерское отделение театрального училища, работал во многих театрах страны в разных амплуа, диктором на радио, учителем в школе. Что интересно, филфак Хабаровского пединститута он закончил заочно, сдав старославянский язык на тройку. Но зато копался в древнерусских текстах так, что вышедшая спустя годы (благодаря стараниям его сына) в Российской Академии наук монография о «Слове...» стала посмертным ему памятником.

«Мы не знаем о себе самых простых вещей, — писал он в рукописи. — Русская история перевалила уже за тысячу лет. 700 из них падает на древнюю русскую литературу. Интерес к ней велик. Чем объяснить это? Почему нас все больше тянет к древним текстам — летописям и житиям святых?»

Ответ Подлипчук искал, погрузившись на годы в «Слово...».

На одной из страниц студенческих лекций я с удивлением обнаружил сегодня цитату из Подлипчука: «Летописи — всегда страсть, а летописец — священнослужитель, он говорит от имени Бога...»

Запомнился такой случай. В один из моих визитов к нему Юрий Викторович показал мне свое «сокровище». Библиотеку, которую собирал всю жизнь. Ни до, ни после я не видел столько книг. Достоевский, Лесков, Лев Гумилев, Ницше, Солженицын, Кафка, дореволюционный Гоголь без цензурных изъятий.

— Это — алмаз! Драгоценный перл! — любовно поглаживал Юрий Викторович зеленую обложку.

У Подлипчука книги занимали две комнаты, он и спал среди них. Было у него несколько уник, их никому не показывал. До сих пор храню его подарок — томик стихотворений Бунина, который страстный книголюб вручил мне со словами:

— Жидковато, не тот коленкор, интеллигентом пахнет.

Впрочем, когда Юрий Викторович видел, как студенты читают книги или, вернее, приходят «сдавать» его любимого Достоевского, не прочитав ни строчки, то приходил в ярость. «Неуды» сыпались на их головы столь жестоко и обильно, что во дворике дома, в котором жил «упертый» преподаватель, регулярно собиралась толпа с «Братьями Карамазовыми» в руках. Среди них были горемыки, которые ходили к нему по шесть раз, но Подлипчук был неумолим:

— Общение с книгой без памяти о ней, без благодарности сознания о пережитом, без отклика — смерть чтения, — говорил он и... снова назначал пересдачи.

«Преступление и наказание» читают по-разному. Одни больше «про преступление», другие — «про наказание». Большинство пропускает суть: логику насилия. Первый шаг так человечен — «убить ради благодеяния ближним». Но второй, третий превращают борца за справедливость в профессионального убийцу. Перечитайте этот роман и иное. Не для школьных штудий сына или дочери, а для себя. Это абсолютно художественно. Ажурная композиция, колоссальной лепки характеры, благородный лаконизм. А какая мощь, мечты об идеале! Какое именно духовное напряжение!

Провинциальный учитель каким-то шестым чувством объяснял нам то, что до сих пор является загадкой для докторов от литературы.

— Достоевский слишком много на себя взвалил — груз, непосильный для отдельного человека. «Слово о полку Игореве» — это сплошной «Идиот». Это — высокий реализм и очерк. Отсюда пошли его великие грешники, — делился с нами своими прозрениями Подлипчук.

У самого Юрия Викторовича как-то не получалось жить по научнообразным читатам и скучному регламенту занятий, царивших на «факультете не-читающих девиц». Был он шероховат, занозист. Самолюбив. Говорил правду-матку в глаза, мог и матюкнуться, если уж очень допекали. Особенно когда при нем говорилось, что Достоевский чего-то не довыразил, Гоголь чего-то не допонял, Толстой не доучел, Чехов не разглядел. Он был против «селекции» в литературе на «чистых» и «нечистых».

Ему претило то, что знатоки их творчества изобрели прибор наподобие того, что увидел Гулливер в академии в Лагадо. Механические очки для открытия отвлеченных истин — соцреализм. Потому и ушел из института непризнанным бунтарем-разночинцем. На многое замахнулся, но сил уже не было.

По странному закону психологии, на мой взгляд, именно чуткость, надрасадность его интеллектуально-душевного порыва породили «больное» внимание Юрия Викторовича к «черным безднам» Достоевского.

Жизнь человека, если ее взять отдельно, до обидного коротка. Природа дала прожить Юрию Викторовичу всего 67 лет. Он любил говорить притчами. Вспомню одну: об отце, воспитавшем детей под землей. Им надо было умереть, чтобы выйти на свет...

Главная книга его жизни наконец-то издана. Ее могут прочитать нынешние студенты. Это уже — победа.

Перед своим уходом, уже тяжело больной, он мечтал написать «живой учебник» по литературе. Каким он хотел его видеть? Юрий Викторович страстно мечтал о подлинности великой русской литературы. Он к ней относился прежде всего как к документу. И потому собирал материалы, подтвержденные архивными данными.

Он всегда хотел соединить несоединимое.

А вот кусочек из статьи профессора филофака МГУ **Андрея Ранчина**. Судя по тексту, он ничего не знал ни о Юре, ни об истории с его трудом. Тем интереснее заметка:

... Если научная репутация А.А. Зализняка предполагала (как, естественно, и оказалось), что его книга окажется ценным исследованием, то недавно изданная книга другого автора, посвященная «Слову...», меня приятно удивила. Фамилия Ю.В. Подлипчука автору этих строк ничего не говорила; между тем, когда издается монография неизвестного в ученом мире сочинителя с претензией дать новый перевод, новые толкования «темных мест», новую композиционную разбивку текста памятника, это всегда настораживает. Сомнения усиливал эпитет «научный»: если в книге предлагается комментарий к «Слову...», то и так ясно, что перевод произведения тоже претендует на научность. Конечно, сомнения могло бы развеять место издания (издательство «Наука»), но, в конце концов, сейчас можно издать что угодно и где угодно — были бы деньги. Определение «научное издание» не убеждало, наоборот: если книга вышла в издательстве «Наука», то убеждать в ее профессиональном статусе следует лишь в случае, когда оный отсутствует или проблематичен. А набранное петитом под данными о тираже слово «Заказное» казалось, все ставило на свои места.

К счастью, я ошибся. Действительно, «Слово о полку Игореве» — единственный древнерусский (древнерусский?) памятник, манящий дилетантов, как сахар мух и как дамы кавалеров из «Мертвых душ». С маниакальной страстью что-нибудь написать о «Слове...», обуревающей инженеров, литераторствующих дам, физиков и лириков, сопоставимо разве всенародное влечение к Пушкину, сочинения и биография которого оказались густо засижены доморощенной «народной» пушкинистикой. Но книга Ю.В. Подлипчука не из этого ряда.

Прежде всего, автор книги, в общем, очень хорошо ориентируется в исследовании «Слова о полку Игореве». Правда, как мне представляется, из важных для изучения структуры произведения работ он не ссылается на книги М.Л. Гаспарова и Т.М. Николаевой. Можно сделать и ряд замечаний частного характера, вызванных пропуском Ю.В. Подлипчуком существенных для его толкований исследований. Например, доказывая, что прилагательное «Троянь / Трояня / Трояни» — это производное от названия города Тмуторокань, он пропускает работу Р. Пиккио «Мотив Трои в "Слове о полку Игореве"». Я отнюдь не убежден, как известный итальянский славист, что «Трояни» это «троянские», но разобрать аргументы Р. Пиккио все-таки следовало бы.

Хорошо знаком автор новой книги о «Слове...» с древнерусской грамматикой и палеографией и с историей.

Подход Ю.В. Подлипчука одновременно прост и оригинален. «Так как текст в рукописи был дан при начертании слитно, то первым издателям пришлось быть пионерами и в разбивке текста "Слова" не только на слова, но и на синтаксические структуры. Первые переводы наглядно показывают, как многого не понимали первоначально в СПИ из-за ограниченных знаний истории русского языка и древней русской истории. Многие позднее было уточнено и в переводах, и в комментариях. Но разбивка А.И. Мусина-Пушкина сохранилась в основе и по сей день. Сличение многочисленных переводов приводит к любопытному заключению: исследователи с большей решительностью исправляли древний текст, дошедший в копиях, чем разбивку на слова и синтаксические структуры Мусина-Пушкина и соредкторов» (стр. 40).

Ю.В. Подлипчук остроумно предлагает изменить во многих случаях деление текста «Слова...» на предложения, что позволяет избежать громоздких и радикальных конъектур, обычно принимаемых медиевистами. Отдельные конъектуры самого Ю.В. Подлипчука, предполагающие не только изменение границ предложений, но и буквенные замены, спорны. К примеру, полагая, что «Троянь» — это ошибочное написание вместо исконого «Трокань» («Тмутороканский»), автор не учитывает, что такая ошибка (палеографически возможная) оказывается повторяющейся несколько раз, что резко снижает убедительность конъектур. Грешит Ю.В. Подлипчук и использованием словаря В.И. Даля как источника параллелей к лексике «Слова...» (см., например, прочтение «шереширь» как «живыми шереширь» — «живой шугой — лодками» (с. 210Ч212), основанное на данных далевого словаря). Автор книги, думается, излишне склонен к «распечатыванию» метафор «Слова...» — как при введении конъектур, эти метафоры порой разрушающих, так и при переводе.

Сомнительна в принципе возможность прояснения *всех* «темных мест» «Слова...». Между тем, Ю.В. Подлипчук исходит именно из такой позиции и делает «все тайное явным».

Но все же повторю еще раз: эта книга — действительно в целом серьезное исследование «Слова...», которое медиевистам не нужно игнорировать.

Мои комментарии к заметке: Конечно же, Юра не мог изучить работы Гаспарова, Николаевой и Пиккио, поскольку они написаны много позже его работы. Не знаю, как Пиккио, но Гаспаров и Николаева с его работой были знакомы. Насчет тоекратного повторения. Здесь как посмотреть: если переписчик однажды увидел Троянь, то наверняка и в следующем месте прочтет это слово также. Мне понравилось, что, не зная автора, но заведомо зная, что он не из бонз, от которых зависит твое положение, профессор Ранчин написал добрую и благожелательную рецензию. Все-таки МГУ! А может быть, и знал, да сделал вид, что не знает, чтобы не дразнить «питерских»... Все-таки МГУ!

(продолжение следует)



Зеэв Фридман

«ЗНАЧИТ, ЗАМЕТНА ДОРОГА МОЯ»

РИСУНКИ ЗЕЭВА ФРИДМАНА

Предисловия Галины Блейх и Наталии Ланге

*Образы, образы — всюду, кругом.
Кто тут знаком? Кто незнаком?
Вы все во мне, вы — это я.
Значит, заметна дорога моя.*

Зеэв Фридман

От редакции:

Вышел альбом рисунков нашего автора, профессионального музыканта Зеэва Фридмана. Рисованию он нигде не учился, но рисовал всегда — на страницах своих дневников, студенческих конспектов, обрывках нот, газет, рисунки в его тетрадях соседствуют с рукописями рассказов и стихов.

В альбоме более двухсот рисунков, сделанных им в России и Израиле. Среди них портреты коллег Зеэва — музыкантов израильского оркестра «Симфониетта», где он работал. В альбом также включены два юмористических рассказа из книги Зеэва «Когда зажжется свет в ночи» (Иерусалим, 2012) с рисунками автора.

ГАЛИНА БЛЕЙХ

Музыкант, писатель, художник...

К сожалению, мне не довелось познакомиться с Зеэвом Фридманом. Я соприкоснулась с его внутренним миром только благодаря литературным произведениям и немногочисленным рисункам. И с тех пор меня не покидает чувство, что я будто беседовала с близким мне человеком, мучительно ищущим ответа на основной вопрос бытия и сумевшим облечь свои поиски и переживания в законченную художественную форму.

Как художник я остановилась только на рисунках Зеэва, оставив за рамками несомненные достоинства его литературных произведений. Говорят, по-настоящему талантливый человек талантлив во всем. Зеэв обладал прекрасным чувством формы и стиля, что бы он ни делал. И рисунки его, рождавшиеся как бы между прочим, порой как случайные зарисовки, удивительно органичны и точны. Как правило, Зеэв рисует людей и животных, часто переплетая их образы между собой, с юмором подмечая общие черты, заостряя и усиливая характерные детали и доводя изображение до гротеска. Его рисунки — как бы мысли вслух: образы теснятся на листе бумаги, накладываются друг на друга, зачастую сопровождаются подписями.

Любовь, музыка, поиск национальной самоидентификации, горькая ирония и самоирония, доброта и мечтательность — все это составляет суть его рисунков.

В них прочитывается обаяние глубокой, разносторонне одаренной личности человека, увы, так рано ушедшего от нас.

Вступительное слово Г. Блейх на презентации книги З. Фридмана:

 kniga_fridman-bleyh.mpg

<https://docs.google.com/file/d/0B9gM_6_t7xO8V3hFUjNJRHJNcHM/edit>

НАТАЛИЯ ЛАНГЕ

Рисунки Зеэва (Володи) Фридмана

Наша семья почти два десятилетия была близко знакома с Зеэвом (Владимиром) Фридманом. Скромный, красивый, добрый человек, замечательный музыкант, играющий на кларнете в оркестре «Симфонietta-Безр-Шева», талантливый педагог, которого любили и уважали ученики. Он дарил нам билеты на симфонические концерты, и мы, тогда еще новые репатрианты, только приехавшие в Израиль, могли наслаждаться классической музыкой.

Владимир ушел молодым, и только после его скоростного ухода мы узнали, что он писал повести и рассказы, делал рисунки на тетрадных полях, на страницах телефонной книги, на случайно подвернувшихся обрывках бумаги, на нотах, изображая точными штрихами свое время. Перед нами оживают персонажи еще не написанных рассказов и портреты знакомых ему людей, фантастические существа и гротескные наброски. Иногда точным пером мастера Зеэв изображает целые сцены так, как режиссер делает серию кадров еще не существующего фильма.

Особняком стоит серия узнаваемых портретов коллег-музыкантов, сделанных на релетициях с доброй улыбкой художника. Видно, что Володя тепло относился к своим товарищам.

Он ходил в синагогу, соблюдал еврейские традиции и ярко изображал религиозных евреев.

Иногда ироничный взгляд художника открывает нам сложные отношения между людьми. Часто гротескно изображенные лица и фигуры людей похожи на животных, а порой животные и птицы напоминают людей... Художник прибегает к фангасмагории, образы заполняют его воображение и выливаются в рисунки и рассказы.

Кажется, что кто-то легко водит его рукой с обыкновенной шариковой ручкой или карандашом, — и оживают на бумаге сценки, где реальные и придуманные автором персонажи наблюдают за нами.

Жаль, что жизнь Зеэва оборвалась так рано, и мы, увы, никогда не узнаем, для каких конкретно глав его книги эти рисунки могли бы стать иллюстрациями. Линия выразительна и точна. Нет излишеств. Мысль четко выражена в сюжетных сценках. Это интимный разговор автора со своим воображением.

Зеэв был человеком очень скромным. Я думаю, что при жизни он даже не планировал издание своих рисунков, быстрых набросков, иллюстраций. Но благодаря кропотливому труду его мамы Ригы, собирающей по капле, как пчела собирает мед, сохранившиеся зарисовки-размышления сына, портреты, образы фантастических существ, графику, — мы имеем счастливую возможность познакомиться с талантливым Человеком, который выражал себя в рисунке, слове, музыке, дарил духовный свет людям.

**ПОДБОРКА РИСУНКОВ ЗЕЭВА
НАЧИНАЕТСЯ С ЕГО АВТОПОРТРЕТА**



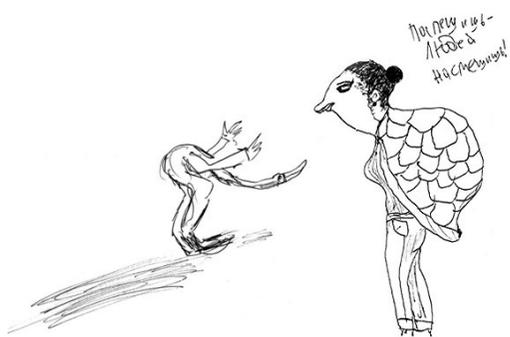








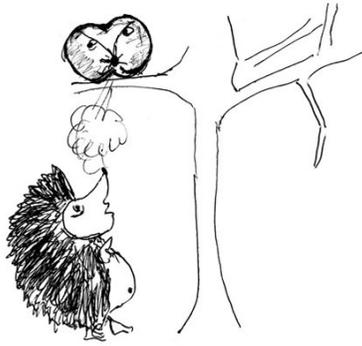




мечтатель















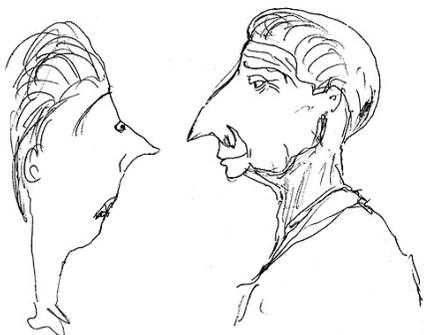


































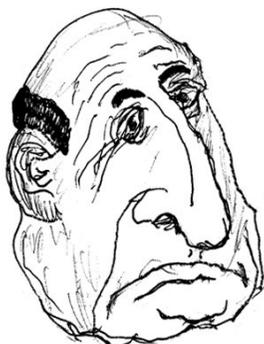






















Виктор Гопман

ДНИ «ЮНОСТИ»

Давно уже я собирался приступить к этому тексту — или к этой истории, да всё откладывал и откладывал. И откладывал. Осознавая при этом, что каждое приближение очередного дня рождения невольно заставляет задумываться о быстротекущем времени, особенно когда первой цифрой моего двухзначного числа нежданно-негаданно стала семерка, а затем и вторая цифра перестала быть нулем. Иными словами, стандартная фраза подобного рода текстов («Господи, когда же это было!») невольно обрела значение, всё более и более... значимое, что ли, скажем так, не боясь тавтологии.

Итак, время действия — первая половина 1960-х годов, место действия — здание, расположенное совсем рядом с метро «Новокузнецкая», только трамвайную линию перейти. Точное его нахождение было известно всей стране и по много раз на день напоминалось самой широкой аудитории: «Пишите нам по адресу: Москва, Радио, Пятницкая, 25».

Повествование это, безусловно, документальное. Имена действующих лиц, с которыми мне довелось и посчастливилось пересечься за эти годы, все желающие могут проверить по разделу «Персоналии» Музея телевидения и радио в интернете, а вход туда открыт для каждого.

Началось же всё — как и многое в моей жизни — вполне случайно. Учился я на филологическом факультете МГУ, разумеется, в здании, что на Моховой (которая как раз тогда стала составной частью проспекта Маркса). Старое университетское здание (слева наш филфак и ниже этажом журфак, справа — Институт восточных языков, впоследствии Институт стран Азии и Африки, посредине «Круглая читалка») подковой огибало университетский «дворик на проспекте Маркса, или на бывшей Моховой» (цитируя Игоря Волгина, в те времена студента истфака). Дворик, наше любимое место времяпрепровождения и встреч, был известен под кодовым названием "психодром", и толклись там, причем в любое время года, наряду со студентами названных факультетов, также и самые разнообразные гости, причем привлекали их не только прелести наших соучениц-филологинь, но также роскошь интеллектуального общения. И вот, в один прекрасный день, один из знакомцев по психодрому (заметим, не из числа местных учащихся; назовем его Миша К.) предложил мне сопроводить его на радиостанцию «Юность», дабы разведать перспективы (опустим для краткости причины приглашения его в редакцию, равно как и причины, по которым я был выбран им в попутчики).

Получив в бюро пропусков соответствующие бумажки, мы поднялись на третий этаж, для знакомства с редактором «Юности», занимавшимся освещением студенческой жизни страны; звали же его Олег Смола (ударение на первой гласной). Всем собравшимся, числом менее десяти человек, было предложено подготовиться к грядущим зимним студенческим каникулам материалы, в пределах пятидесяти минут, характера скорее развлекательного, а там, дескать, видно будет... Мы с Мишей взяли за дело всерьез и выдали с полдюжину различных штучек, которые в целом получили одобрение редакции и благополучно проследовали в эфир. В их числе были и «Репортаж из проруби» — беседа с моржихой, студенткой од-

ного из московских ВУЗов, и рассказ о новогоднем вечере студенческой самодеятельности, и вошь души человека, вынужденного сдавать экзамен второго января... Беседа с моржикой велась прямо у проруби во льду Москва-реки (она — в воде, мы — на кромке льда), с использованием портативного магнитофона «Репортер-3» (если я не ошибаюсь с названием), весившего при этом не менее пяти кило и носимого в коричневом таком футляре через плечо — вот так, с первых же шагов, я столкнулся с технической стороной радиожурналистики. А на самодеятельный концерт (вроде бы, как помнится, в клубе МАИ) мы выезжали в тонвагене, передвижной студии, оборудованной студийными магнитофонами, стационарными устройствами высотой примерно по пояс человеку среднего роста, осуществляющими запись на открытых катушках (они же бобины). И продолжая насчет технической стороны радиожурналистики: по возвращении на Пятницкую магнитофонная пленка отдавалась стенографисткам для расшифровки, а полученную от них машинопись мы использовали при написании материала, чередуя свой, авторский, текст и текст записи, должным образом смонтированной, в ходе чего физически (то есть, ножницами) удалялись ненужные слова, посторонние звуки, вздохи, сопение и щелчки технического происхождения, а целостность пленки восстанавливалась путем склейки. Потом написанный материал шел к редактору (в нашем случае — к Олегу Смоле), после — к заведующему отделом и, наконец, к главному редактору «Юности» (или к его заму). Затем, взяв в одну руку одобренный текст «кадра» (так назывался каждый отдельный материал программы) и текст расшифровки всей сделанной ранее записи, а в другую — бобину с этой записью, автор направлялся в монтажную, где оператор выкраивал из рулона пленки несколько метров, на которых оказалось зафиксированным всё, достойное для звучания в эфире. Полученный таким образом негатив передавался режиссеру передачи; тот приглашал актеров для зачитания текста, написанного автором, перемежал его документальными записями негатива, добавлял, по необходимости, музыку или какие иные звуки, и результат переписывался на чистую пленку. Теперь оставалось только склеить вместе кадры программы, добавить известную всей стране заставку на два голоса «Говорит Радиостанция “Юность”», и готовый продукт передавался главному редактору (или заму), чтобы он, прослушав его и сверив с ранее одобренным печатным текстом, снабдил резолюцией: «В эфир!».

Редакция отдела, в котором я начинал свои радиоигры, находилась на третьем этаже — большая комната столов на двадцать, на каждом — телефон; курили все поголовно. А еще на третьем этаже был буфет — это помимо основной столовой на первом этаже, состоявшей из двух залов, общего и диетического, а также примыкающей к ней (к столовой) небольшой пельменной, оборудованной лучшей во всем здании кофейной машиной. Стандартный заказ там выглядел так: порция пельменей, кофейная чашечка сметаны, в которую эти пельмени обмакивались, и двойной кофе с какой-нибудь булочкой. Столовая была, в общем-то, обыкновенной учрежденческой столовой — как, впрочем, и буфет (я уже не застал времена, когда там давали вино в разлив и постоянно водилось пиво). Но главное — на третьем же этаже были студии прямого эфира, и дикторы Всесоюзного радио пользовались услугами буфета вне очереди; там-то я впервые и увидел живую самого Левитана, небольшого роста и плотного сложения гражданина явно выраженной национальной окраски.

В дни исторического Октябрьского пленума ЦК (1964 г.), когда, как известно, Н.С. Хрущев был освобожден от всех своих партийных и государственных

должностей, у входа в коридорчик, который вел в эти студии, стояли два автоматчика — впрочем, стояли они сами по себе, а журналисты, штатные и нештатные, ходили мимо сами по себе, и никаких ограничений я вроде бы не заметил. Правда, вход в эфирный отсек всегда был по спецпропускам, и посторонние туда вовсе не совались.



Значок (он же нагрудный знак) радиостанции «Юность»
(в ряде ситуаций заменявший удостоверение и пропуск)

Студийные блоки «Юности» находились на втором этаже. Каждый блок включал студию как таковую (звуконепроницаемое помещение со столом, за которым сидели дикторы и (или) актеры, а над которым висели микрофоны), аппаратную, отделенную от студии окном в полстены (где по эту сторону окна располагался микшерный пульт — место работы режиссера передачи, осуществлявшего все звукозаписывающие действия) и монтажную (небольшую комнатку с несколькими магнитофонами), где оператор работал с пленкой — монтировал, переписывал и всё такое.

Так вот, редакция, в которой я начинал свои радиоигры, располагалась на третьем этаже. Называлось же это творческое подразделение «Отделом трудового воспитания» — что и правильно, поскольку, как сказал вроде бы Энгельс, «труд создал человека», а также взрастил и воспитал его, как отмечается в известной песне на слова Михаила Исаковского. Журналисты отдела, совместно со своими внештатниками, делали дневную (с четырех до пяти по московскому времени) программу «Юности», включавшую много чего всякого: рассказы о великих стройках и трудовых коллективах, беседы с передовиками производства и молодыми учеными, интервью с зарубежными друзьями Страны Советов, спортивные очерки, зарисовки из студенческой жизни... Во всем в этом я начал мало-помалу принимать вполне деятельное участие. Ведь оно вот как: придешь к Олегу Смоле по студенческой части, а сидящий за соседним столом редактор, который отвечает за освеще-

ние промышленных предприятий, и скажет: «Олег, у твоего внешатника есть пара часиков?» И, не дожидаясь ни ответа Олега, ни, тем более, моей реакции, продолжит — обращаясь уже напрямую ко мне: «Смотался бы ты на АЗЛК — там у них какой-то почин намечается... Слепи кадрик на пять минут...». В общем-то, ход его мыслей очевиден: репортерским магнитофоном человек пользоваться умеет и уже сделал некоторое количество передач, вроде бы не вызвавших нареканий начальства, так что событие осветить сможет. Ясен ему и ход моих мыслей: денек работы без особых терзаний (полдня — смотаться на завод и поговорить с зачинателем почина, еще полдня — написать страничку-другую авторского текста и смонтировать пленку — ну, строго говоря, постоять рядом с оператором, наблюдая, как тот занимается собственно монтажом, то есть, резкой-склежкой), и вот пятнадцать рубликов в кармане (для ориентации напомним: в те годы месячная зарплата молодого специалиста составляла порядка ста рублей, а обедающий в местной столовой за пределы рубля не выходил, даже ни в чем себе не отказывая).

По студенческой же тематике, у основного своего работодателя, я сделал некоторое количество материалов в основном о подготовке к так называемому «третьему трудовому семестру», о летних планах студенческих трудовых отрядов, а также о планах студенческих агитбригад, равно как и об их достижениях на текущий момент (упомяну, в частности, рассказ о квартете физфака МГУ, руководителем которого был Сергей Никитин). Так незаметно прошли каникулы, к концу которых выяснилось, что Олег Смола поступил в аспирантуру моего факультета (по кафедре советской литературы). Меня же он как бы оставил в наследство новому редактору по делам советского студенчества — Леониду Азарху. Азарх — это знаковое имя на всесоюзном, а впоследствии на российском радио, и то, что я изначально оказался в кругу его нештатных авторов, иначе как везением не назовешь. Другое дело, что сохранить такое место на протяжении нескольких лет вообще-то непросто, и тут можно, без ложной скромности, процитировать Суворова (Александра Васильевича, разумеется — а не Резуна): «Раз счастье, два раза счастье — помилуй Бог! надо же когда-нибудь и немножко умения».

Так вот, за неделю до начала учебного года Азарх сказал мне: «Возьми магнитофончик и принеси столько записей к торжественной дате, сколько удастся накопать». Я и отправился по произвольному маршруту: сначала, естественно, к себе, на «психодром», потом в инязовский дворик на Метростроевской, а оттуда в сторону Пироговки — в пединститут и, соответственно, мединститут. И везде, обращаясь преимущественно к хорошеньким девушкам, задавал вполне тривиальные вопросы, типа «Рады ли вы, что влились в студенческую семью?», «О чем вы подумали в первую очередь, увидев свою фамилию в списке принятых?», «Почему вы поступали именно сюда?», или «Каковы ваши планы на этот учебный год?» (это если девушка, гордо надув губки, сообщала: «Да я ведь уже на втором курсе»).

Принесенные записи удачно легли в текст получасовой программы, прозвучавшей первого сентября, и так началась моя радиожизнь под эгидой Азарха, переросшая со временем в сотрудничество. При этом следует заметить, что фамилия моя имелаась на бланке «эфирного» текста передачи и в бухгалтерских документах — но в эфире никогда не звучала. По причине, сами понимаете, ее неблагозвучности. Несколько раз мне предлагали взять благопристойный псевдоним, но я всё отмахивался. Можно сказать, что в этом плане я был вроде Иосифа Давыдовича, который неизменно оставался Кобзоном — в отличие, скажем, от Аркадия Штейнбока, превратившегося в Арканова, или Михаила Литвина, ставшего Мишиным.

Около года я занимался освещением так называемой «студенческой жизни страны» — это были материалы самого различного свойства: беседы с преподавателями и студентами московских вузов, интервью с иностранными студентами-гостями столицы, рассказы о научно-техническом творчестве учащихся технических институтов и о буднях студентов творческих вузов, о студенческой художественной самодельности, о литературных объединениях и любительских киностудиях.

Еще одно направление (или, скорее, ответвление) моей радиодейтельности было связано с тем, что по пути к столу Азарха я проходил мимо стола спортивного обозревателя «Юности» Александра Седова. И вот где-то на втором году моего пребывания в этой среде он неожиданно остановил меня (до сих пор мы только здоровались и хорошо если перекидывались парой случайных слов) и сказал: «Слушай-ка, старый, тут нужен культурный такой рассказец про работу “Дома спортивной моды”. Возьмешься?» К этому времени я уже мог позволить себе какой ни на есть выбор и отговаривался занятостью от предложений насчет, скажем, интервью с комсоргом строительного треста — но Седов обратился ко мне впервые, да ведь и речь не шла о беседе с очередной комсомолкой, спортсменкой и отличницей (три минуты эфира, семь с полтиной в платежной ведомости), вот я и отправился на встречу с создателями одежды для олимпийцев — тем более, что находились они буквально в семи минутах ходьбы. А после десятиминутного (и прилично оплаченного) рассказа о модных тенденциях в мире спорта Седов послал меня на фабрику спортивного инвентаря, где делали, в частности, клюшки для хоккейной сборной. Оттуда я принес не только материал для очередного рассказа, но также и подарок: сувенирную клюшку размером не более полуметра, с автографами всех олимпийских чемпионов, которую решил сдать в музей редакции (главным образом, потому, что дома для нее уж точно не нашлось бы места). Экспозиция музея располагалась на застекленных полках обыкновенного серванта в кабинете главного редактора, куда я и направился по возвращении. Хозяином этого кабинета совсем недавно стал Вячеслав Владимирович Янчевский, бывший до того замом главного. Я вообще-то намеревался только поздороваться и скромно сделать свой вклад, но главный остановил меня и минут десять расспрашивал: с кем я работаю, на какие темы пишу, где учусь и всё такое. Это была первая моя сравнительно продолжительная беседа с начальством, всю значимость которой я, откровенно говоря, тогда не оценил. Или недооценил. И по ее окончании отправился к Седову, сдать репортерский магнитофон и доложить о выполнении задания.

Со временем Седов стал давать мне свой пропуск в Лужники, в ложу прессы — когда игра, в силу маловажности, не требовала его присутствия. Интересно, что наш спортивный обозреватель был человеком довольно бесстрастным — во всяком случае, не принадлежал к числу фанатов, отговариваясь при этом стандартной фразой «Я болею за сборную». А ревностных болельщиков на «Юности» было немало: тот же Азарх, в частности, яростно болел за «Динамо», в отличие от вашего покорного слуги, который был стойким спартаковцем, как и, в частности, ведущие режиссеры радиостанции Вадим Жуков и Сергей Штейн. Тут отвлечемся и скажем пару слов о системе отношений на «Юности». Я, следуя принятой практике, обращался ко всем по имени и на «ты» — вне зависимости от того, что разница в возрасте (штатных работников со мной) могла составлять и пять лет, и десять, а в случае с названными режиссерами достигала полутора десятилетий. Ну, как бы считалось, что мы все делаем одно дело, и это нас уравнивало. Исключения были редки: в частности, по имени-отчеству титуловался заместитель главного редактора (а

впоследствии и главный редактор), вышеупомянутый Вячеслав Владимирович Янчевский — не только в силу статуса, но и потому, что ему было уж под полтинник.

Тем временем Азарх перебрался (точнее говоря, был переброшен) из отдела трудового воспитания в отдел художественного воспитания; при этом он, формально говоря, спустился с третьего этажа на второй — подальше от буфета, зато поближе к студийному блоку (и к кабинетам главного редактора и его заместителя). Последовал за ним и я.

Отдел этот отвечал за вечернюю программу «Юности» — а подразумевало художественное воспитание, сами понимаете, и музыку, и театр, и кино с телевидением, и литературу (а также поэзию, как неотъемлемую ее часть). В эти волны я и окунулся — что доставляло мне, несомненно, большее удовольствие, нежели производство рассказов о трудовых, научно-технических и культурных подвигах советской молодежи.

Почти у самого входа в комнату, отведенную отделу, сидел Владимир Ершов, заведовавший на «Юности» поэзией, и ясное дело, что пройти мимо него я не мог — хотя бы чисто физически. Тем более, что, познакомив нас, Азарх сказал Ершову: «Вот тебе человек: мало того, что любит стихи, так к тому же их и не пишет. Поэтому используй его в хвост и в гриву». А на дворе был 1966 год — канун многочисленных юбилеев. Сначала полвека исполнялось Советской власти, а потом, по порядку, пошли пятидесятилетия комсомола, советской милиции, и так далее, и так далее, вплоть до цирка (растяжка, вознесенная на соответствующую высоту поперек улицы Горького, гласила: «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СОВЕТСКОМУ ЦИРКУ») — и общественности предоставлялась возможность воспринимать лозунг в самом широком диапазоне). Разумеется, Ершов, запустил цикл передач «Поэзия моей комсомолки». А ведь комсомольские поэты — это не только Джек Алтаузен и далее, через Бедного, Безыменского, Голодного, Долматовского, Жарова, вплоть до Александра Яшина. Это также и Асеев, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский, Светлов... Вот было поручено мне, скажем, сделать передачу о Николае Дементьеве. Ладно, пусть поэт не из самых сильных. Однако рассказ-то можно начать и так, для создания общенсторического фона:

Только ворон выслан
 Сторожить в полях...
 За полями — Висла,
 Ветер да поляк;
 За полями ментик
 Вылетает в лог!
 Военком Дементьев,
 Саблю наголо!

А потом уже, после таких самодостаточных строк Багрицкого — и ведь связанных же с темой, кто бы стал спорить — переходим собственно к Дементьеву. (Ну, правда, времена всё же были не те, чтобы позволить себе, скажем, делая передачу о Светлове, процитировать — всё ради того общего фона — письмо Марины Цветаевой Пастернаку: «Передай Светлову, что его Гренада — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший — стих за все эти годы» — но это так, в скобках.)

У Ершова хорошо проходили и небольшие кадры о книжках молодых поэтов (раз молодой — значит, по определению, относится к сфере интересов «Юности»). Я вовсю пользовался этим обстоятельством. Скажем, будучи в Юрмале на

каникулах, приобретал там, в местном магазинчике, пару книжек издательства «Лиесма» (вполне приличные поэтические сборники, кстати), отбирал пяток стихотворений, что годятся для всесоюзного эфира, перекладывал их своими прозаическими рассуждениями по соответствующей тематике — вот вам и передача, посвященная многонациональной советской поэзии. Отсылал ее почтой («Москва — Радио — Юность — Ершову»), а по возвращении домой она уже была на пороге эфира, а то, глядишь, и прошла, можно и скромную денежку получить, очень кстати после месяца расходов на Взморье. Я вообще частенько навещал московский магазин, где продавались книги, изданные в союзных республиках (это на улице Кирова, через дорогу от известного всему миру здания); книжки там стоили в пределах 30 копеек каждая, а за передачу я получал порядка 30 рублей. Покупал то, что нравилось, и передачи делал о том, что нравилось.

Кстати, эту практику воспринял и Азарх, который как-то, придя в редакцию, достализ портфеля двухтомник Тютчева, вышедший в Литпамятниках, со словами: «Вот, шел сейчас и прикупил. Дороговато, конечно, но что поделаешь. Придется передачку делать, чтобы оправдать расходы». Так, с легкой руки Азарха, мы стали именовать это дело «оправданием расходов на приобретение книги».



Пригласительный билет на заседание «Бригантины»

А тем временем на «Юности» появилась новая часовая программа — «Бригантина», официально именуемая «клубом романтиков, первооткрывателей, фангазеров». В эфир она выходила в последнее воскресенье месяца, в шестнадцать ноль-ноль МСК — то есть, в самый, говоря по-нынешнему, прайм-тайм. Идея родилась у Янчевского, бывшего тогда еще заместителем главного редактора радиостанции, а реализацию замысла он сходу передоверил Азарху. Не успел я оглянуться, как оказался в числе, скажем прямо, основных корабелов — главным образом, наверное, потому, что дело это было хлопотное и трудоемкое, особых дивидендов не сулившее; к тому же с меня, нештатного автора и по совместительству студента, в случае, не дай Бог чего — какой спрос. Надо сказать, что программа, будучи детищем Янчевского, могла рассчитывать на определенные вроде бы льготы и привилегии. Ну, для начала сделали профессиональную запись самой песни Павла Когана-Георгия Лепского, и ее звучание по первой программе Всесоюзного радио само по себе стало событием — будем, в конце концов, называть вещи своими именами. Впрочем, мы кое-что позволяли себе и сверх того. Так, пару раз, как бы под дурачка, в качестве музыкального оформления я пропихнул «Фантастику-романтику» Юлия

Кима («И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса-а-а-а...») — насколько мне известно, это был один из первых эфиров «бардовской песни» на Всесоюзном радио вообще и на «Юности» в частности.

«Бригантины» получались разные. Так, для записи космической программы были приглашены гости из Звездного городка, включая комсорга отряда космонавтов, а поскольку их имена называть в эфире было нельзя, то простую роль ведущего в анонимной аудитории дали регулярному гостю «Бригантины», фантасту Еремею Парнову. Программа, готовившаяся ко Дню Военно-Морского Флота, записывалась в кают-компании "Авроры", с участием капитанов не менее чем второго ранга, а песня для музыкального сопровождения была выбрана та, незабываемая, про «знакомый платок голубой», и пел ее вместе со всеми присутствующими автор «Вечера на рейде» Василий Павлович Соловьев-Седой. Композитора мы, разумеется, пригласили — но вот как-то не подумали, что в кают-компании легендарного крейсера может не оказаться фортепьяно. К счастью, в числе участников был неизменный друг «Юности» Александр Колкер, который и решил проблему, вызвавшись аккомпанировать на чисто случайно нашедшемся аккордеоне; естественно, что пришел он на запись с женой, Марией Пахоменко, которая уже со второго куплета повела импровизированный военно-морской хор за собой, чем значительно повысила качественный уровень исполнения.

Несколько «Бригантин» было посвящено научной фантастике, что естественно, учитывая любовь к ней, как всенародную, так и лично автора этих строк. Здесь уместно напомнить о том времени, когда разворачивались описываемые события. Итак, 12 октября 1964 года — первый полет космического экипажа (Комаров-Феоктистов-Егоров). А на следующий день, 13 октября, заканчивается хрущевская оттепель, и Россия вступает в царствование Ильича Второго, растянувшееся — кто бы мог тогда предугадать — почти на два десятилетия. И, пожалуй, символично, что одна из первых акций эпохи застоя — публикация уже в январе 1965 года, в бывших аджубеевских «Известиях», статьи В. Немцова на целый подвал, под угрожающим названием «Для кого пишут фантасты?» Немцов, фигура одиозная, автор уж куда как научно фантастических рассказов, рыцарь пресловутой «Мечты Бескрылой Приземленной», которую Кристоаль Хозевич Хунта, доктор самых неожиданных наук, порывался отловить, дабы набить из нее чучело. В редакцию «Известий» хлынул поток возмущенных писем (знаю об этом со слов приятелей-студентов журфака). Была в этом потоке и моя капля — послание злое, выдержанное в ключе «что ж вы делаете, гады!» Через пару месяцев я неожиданно получаю ответ, на редакционном бланке, в примирительном ключе: «Спасибо за внимание к нашим публикациям... На статью пришло немало откликов, как «за», так и «против»... Тема интересная, хотя и не однозначная...» От тех же приятелей узнаю, что редакцию несколько смутила плотность и тональность обрушившегося на них эпистолярного урагана, и было принято решение: направить наиболее яростным авторам стандартную успокоительную отписку.

Благополучно сдав летнюю сессию 1965 года, я вылезаю с инициативой: устроить на «Бригантине» круглый стол фантастов. Начальство вроде бы не против — это они еще не знают, что я решил собрать в студии «всех-всех-всех», во главе с самим Аркадием Стругацким. К Аркадию Натановичу приезжаю с домашними заготовками и не успокаиваюсь, не выдав их целиком и полностью. Начавши с письма-ответа из «Известий» (и с гордостью продемонстрировав его), я пустился в рассуждения: вот как совпали по времени первый полноценный космический рейс

и смещение Хрущева, вот, дескать, и на третьей планете Солнечной системы совершился переход от эпохи героических звездолетчиков, «Хиуса», «Тахмасиба», Горбовского, Быкова к дворцовым интригам Арканара. Потом мы заговорили о фантастике в более широком плане. Я вякнул что-то о «Стране водяных» Акутагавы, после чего Аркадий Натанович спросил, люблю ли я японцев. В ответ я тут же назвал «Пионовый фонарь» и «Луну в тумане» — то есть вещи, им переведенные... Что до меня бы, то этой встрече не было бы конца (кажется, только-только мы перешли к американской фантастике, а хочется поговорить еще и об этом, и еще о том), но сколько можно отрывать человека от пишущей машинки. Мысленно стиснув зубы и прикусив язык, я приступил к делу: как насчет его участия в «Бригантине». Он спокойно сказал, что будет рад и ждет моего звонка, дабы вернуться к этому разговору. Прощаясь, достаю из портфеля «Страну багровых туч», первую книжку братьев (Детгиз, 1959). Покосившись на лежащее на столе известинское письмо, Аркадий Натанович пишет: «Вите Гопману с благодарностью за хорошее к нам отношение». И дата: «24.08.65».



Автограф Аркадия Стругацкого

Первая «Бригантина» фантастов состоялась осенью 1965 года. В студии сидели Ариадна Громова, Еремей Парнов, Север Гансовский, а в красном углу ни кто иной, как сам Станислав Лем, приехавший тогда в Москву на пару недель. Но вот про Стругацкого начальство сказало: «Давай-ка повременим...»

Пара слов о том, как я оформил свой первый визит к Лему. Есть у него такой рассказ — «Автоинтервью», где автор в ироническом тоне, как бы на два голоса (интервьюера и интервьюируемого) рассуждает о своем творчестве. А начинается рассказ отчасти странноватой фразой: «Сию я в гостиничном номере и завожу ключиком заводную уточку...» Сами понимаете, что, прежде чем отправиться в гостиницу «Пекин», я приобрел в «Детском мире» жестяного заводного селезня пестрой окраски, в коридоре завел птичку, постучался в дверь и, получив приглашение заходить, впустил через порог игрушку, которая пошла к Лему, раскачиваясь на ходу и слегка побрякивая. Естественно, что читатели (и тем более читатели) порой знают тексты своих любимцев лучше авторов. Вот и тут оказался тот самый случай: Лем вытаращил глаза и уставился на меня как на... ну, сами понимаете... Я спешно напомнил ему, какое конкретно произведение классика мировой

фантастики иллюстрирует этот хэппенинг, после чего он развеселился и заверил меня, что будет пользоваться моим подарком и в ходе проведения других бесед с журналистами. Участвовать в передаче согласился тут же, хотя и вздохнул, узнав, что Стругацкого не будет. (Кстати, в скобках: говорил Лем практически без акцента, а если акцент и просвечивал, то скорее не польский, а сами понимаете, какой — недаром жена, впервые увидев пана Станислава в живом виде, то есть не на фотографии, немедленно сказала: «Господи! Вылитый дядя Изя!»)

Для автографа я принес свой любимый роман — «Непобедимый» (сборник «В мире фантастики и приключений», Лениздат, 1964), и Лем написал: «Виктору Гопману — с дружеским рукопожатием. Москва, 65 год».



Автограф Станислава Лема

И продолжим тему автографов, являющихся документальными свидетельствами моих рассказов. Вообще-то их у меня набралось за эти годы немало, но в массе своей они были сделаны в разных сборниках фантастики и приключений (издаваемых «Молодой гвардией», «Знанием», «Мыслью», Детгизом), и эти, порой весьма объемные, тома я просто физически не смог привезти в Израиль. Так что где-то там, в неизвестном пост-советском пространстве, возможно, и по сю пору существуют эти книжечки, с разными памятными надписями, типа «Виктору, рыжебородому пирату...» (Ариадна Громова) или «Виктору — впередсмотрящему "Бригантины"...» (Лев Скрягин, автор популярнейшей книги «По следам морских катастроф»), и все такое. Что касается автографа Громова, то следует уточнить, что в те давние времена моя ныне седая борода действительно была огненно-рыжей.

На первой «Бригантине» фантастов не было Валентина Берестова — и жаль. Потому что хотя собственно фантастических произведений у Валентина Дмитриевича не так уж и много — чтобы не сказать «совсем мало» — но фантастичным он был сам, по своей сути, по манере поведения. Археолог (по образованию), поэт (и не только по натуре, но выпустивший не один сборник стихов), человек душевный,

легкий в общении — он несколько раз участвовал в заседаниях «Бригантины», рассказывал о своих археологических находках, о своих странствиях. Берестов неизменно становился украшением всех передач с его участием, активно и непринужденно вступая в разговоры с присутствующими в студии, задавая интереснейшие вопросы и порой предлагая ответы более точные и тонкие, чем спрошенный им сосед по студийному круглому столу.

Вот его автограф на книге «Меч в золотых ножнах» (Молодая гвардия, 1964): «Виктору Гопману, вольному сыну эфира, с глубоким почтением и трепетом». Поставив дату (28.V.66) и подмигнув мне, он дописывает: «Пятницкая, 25; 104 студия, прямо перед микрофоном в момент передачи».



Автограф Валентина Берестова

Ну, разумеется, насчет того, что «прямо перед микрофоном» — это милое поэтическое преувеличение, абсолютно в его стиле. «Бригантина» не знала прямого эфира — как, в сущности, практически все радиопрограммы тех лет (за исключением «Последних известий» и спортивных репортажей) и делалась загодя. По большей части в программах принимали участие странствующие и путешествующие, этнографы и моряки, летчики и геологи, писатели и журналисты-международники, рассказывавшие о своих приключениях и похождениях, о захватывающих, достопримечательных, забавных и поучительных случаях и происшествиях из своей жизни либо из жизни своих литературных героев. За пару недель до эфира все собирались в самой большой студии на Пятницкой (номер 104 на десятом этаже), потом запись расшифровывалась, я складывал выступления участников в желательном мне порядке, переслаивал авторским текстом, обозначал места включения музыки и сдавал рукопись на машинку. Дальше текст отправлялся по инстанции, в конце концов попадал — утвержденный и одобренный — мне в руки, и я с бобинами пленки в зубах отправлялся в аппаратную, монтировать звуковой негатив передачи.

Не всегда производственный процесс шел гладко. Заявляюсь я как-то в редакцию, а мне и говорят: «Загляни к уполномоченному Главлита, у него вопрос». Главлит — это советская цензура; иду я и думаю: «Что же там такого нашли в рас-

сказах о путешествиях?» А цензура обнаружилась, оказывается, у главного штурмана полярной авиации Валентина Ивановича Аккуратова, который рассказал в студии, как он с коллегами уточнял карту Крайнего Севера: при этом они не только наносили на карту новые острова, но и стирали обозначенные предыдущими экспедициями контуры земель, на деле несуществующих. Аккуратов соответственно и назвал свой рассказ: «История одного закрытия» — в том смысле, дескать, что открытия могут быть разные, в том числе и со знаком «минус». И вот по поводу этого минусового открытия вызывают меня к уполномоченному Главлита, который и говорит: «Тут у вас речь идет про остров такой-то и остров такой-то...» (их названий я сейчас не припомню, что и не удивительно, потому что на деле-то их и не существует — см. выше, насчет «закрытия»). Я покорно соглашаюсь. — «Однако я не нахожу эти острова на карте», — говорит уполномоченный. И с этим я не спору, вякая в том только смысле, что «их же закрыли, потому их и нет с тех пор; сказано же, что это открытие наоборот, в смысле закрытие». — «Нет, надо справку о том, что таких островов на карте не существует». У меня, наверное, глаза закатились под лоб, потому что он поясняет, с оттенком известной доброжелательности: «Вы поймите, а вдруг они существуют, но являются секретной территорией». — «Но, наверное, Аккуратову виднее...» — бормочу я. — «Он, конечно, старый полярник, человек заслуженный, — соглашается цензор, — но желательно получить официальный ответ из Госкомгидрометеорологии. Вот мой телефон, пусть со мной свяжутся...»

Осатаневший и на ватных ногах, я поплелся звонить. Хорошо, что Аккуратов был дома. Я изложил ему ситуацию, он высказался на этот счет красочно и витиевато, как подобает старому полярному волку (жаль, я не сообразил по горячим следам записать весь период — нынешние слабаки ведь так и не матерятся, в десяток-то этажей с чердаком, крышей и печной трубой). Потом спросил: «Сколько мне причитается за передачу?» Я сказал, что гонорар выписывают в секретариате, но вообще-то рублей пятьдесят-шестьдесят. — «Пара ящиков водки, — задумчиво отреагировал он. — Ладно, есть смысл принимать меры». Уж не знаю, кому из своих дружок звонил флаг-штурман и кто потом отзванивал цензору, но после обеда текст передачи со штампом Главлита — как свидетельство о достижении взаимного понимания — был уже у меня на руках.

Или вот еще история про Главлит и его уполномоченных. Фангаст Еремей Парнов, регулярный гость «Бригантины», говоря о делах космических, демонстрирует известную смелость и цитирует Пастернака (для ориентации — на дворе зима 1966 года):

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь.

Причем, как человек опытный в публичных выступлениях, преподносит эту цитату вроде бы по ходу дела — с тем, чтобы ее легко было вырезать, буде возникнет такое пожелание высших сил, включая Главлит. Авторство, однако, он не затушевывает, говоря открытым текстом нечто вроде: «Вот этот повтор в гениальном четверостишии Пастернака — «И страшным, страшным креном...» — информации в *битах* вроде бы содержит не так много, однако...» — и далее следует рассуждение по сути разговора, ведущегося в студии и связанного с космическими путеше-

ствиями — никакой политики, Боже упаси). Ну, фраза о Пастернаке — самоочевидная и, охотно допускаю, почти произвольная цитата из статьи Маяковского «Как делать стихи» («Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака»: «В тот день тебя от гребенок до ног, // как трагик в провинции драму Шекспирову, // таскал за собой и знал назубок, // шатался по городу и репетировал»). Автор передачи (то есть, автор этих строк) в свою очередь демонстрирует известную смелость и оставляет этот пассаж, подумав про себя: «Ну, выкинет цензура — так выкинет, ничего не поделаешь...». По всей вероятности, сходным образом помыслили и редактор программы (Азарх), и главный редактор радиостанции, подписавший текст к эфиру. Затем настает черед цензуры. Так вот, и после него — о чудо! — имя Пастернака остается нетронутым. Однако при этом цензор вычеркивает из фразы два совершенно невинных слова — «в битах». Неисповедимы дела Твои, Господи.

Две или три «Бригантины» были основаны на песнях бардовских (они же авторские, они же ка-эс-пэшные, они же туристические, они же студенческие). Одним словом,

Счастлив, кому знакомо
Щемящее чувство дороги.
Ветер рвет горизонты
И раздувает рассвет.

Эти программы мы делали совместно с Борисом Вахнюком, автором «Аэлиты» («Сын Неба, где ты? // Слышался надо мной // Голос чужой планеты, // Голос любви земной...»).

А в 1969 году состоялся мой последний выход в эфир на волнах радиостанции «Юность» — что стало, кстати, и последним из оказанных мне благодеяний Азарха. Это была передача, минут на сорок пять, о цикле стихов Александра Блока «Кармен».

Как океан меняет цвет,
Когда в нагромождённой туче
Вдруг полыхнёт мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слёзы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

Стихотворения этого цикла посвящены Любови Александровне Андреевой-Дельмас, оперной певице, чья Кармен сводила с ума весь Петербург — не стал исключением и Блок, увидевший ее на сцене Мариинки в марте 1914 года (то есть, если смотреть с вершин 1969 года, 55 лет тому назад, — юбилей, правда, относительный, но как формальный повод вполне сгодился).

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...

Текст передачи я отдал Азарху в конце 1968 года — к тому времени я уже скромно работал в некоем НИИ, как и весь народ, с девяти до пяти, и, соответственно, был практически лишен возможности появляться на Пятницкой, 25.

Прежде чем продолжить рассказ — два слова о Евгении Сينيцыне, который был одним из отцов-основателей и радиостанции «Юность», и — впоследствии — информационной телепрограммы «Время». А еще Сينيцын не только страстно любил поэзию, но и писал стихи; самое, пожалуй, известное его стихотворение — поразившая Шукшина «Калина красная» (а музыка — Яна Абрамовича Френкеля, неизменного автора и друга «Юности»).

Так вот, на предновогодних посиделках (меня там не было, потому всё со слов Азарха) зашла речь о планах на 1969 год, и Сينيцын (в то время ведущий обозреватель «Юности») объявил: «А еще исполняется пятьдесят или сколько там лет блоковскому циклу «Кармен» — надо бы не забыть эту вежу в русской лирике». Азарх тут же спросил, сделалли он что-то конкретное, или речь идет просто о планах. И, услышав, что это пока только намерения, добавил: «А вот у Гопмана уже есть готовая передача». «Ну-ка, дай посмотреть...» — сказал Сينيцын. Он взял текст с собой и наутро сказал Азарху что-то вроде: «Ладно, не буду перебегать ему дорогу...»

Собственно, тут и конец рассказа про радиостанцию «Юность» — моего рассказа, имею в виду, поскольку всё последующее продолжало совершаться, да только без меня.

PS. Перечитав написанное, осознал, что в тексте ни разу не упомянуто имя Наталья Бехтиной. Которая после журфака МГУ четверть века отдала радиостанции «Юность», чей голос и сегодня звучит в московском эфире — «От первого лица» (и это — кредо Бехтиной, а не просто название ее авторской программы на «Радио России»).

Работать с ней напрямую мне не доводилось, но мы пересекались практически всякий раз, когда я появлялся в редакции — потому хотя бы, что она дружила с Азархом, и мы регулярно трапезовали вместе — либо пили кофе, либо обедали.

Наталья была умна и очаровательна, легка в общении и неизменно дружелюбна. С ней было приятно поболтать за обеденным столом (в смысле, в обеденный перерыв), и забавно потрепаться на всяческие, что называется, темы дня, и полезно, а главное — поучительно — поговорить по делу, обсудить производственные вопросы. Она умела сказать доброе слово — как бы невзначай, как бы ненароком, но неизменно по сути, и ее похвала стоила многого.



Ася Лapidус

ЛЮБОВЬ И ДРУЖЕСТВО

Прощайте, прощайте — пора нам уходить

Попутные слова по столбняку печали,
Прощанье, суета, казенный дом разлук,
Петлистый дар судьбы — дорога в зазеркалье,
По паутине сна заброшенный маршрут.

Разбитое окно — богатство разоренья,
Мигает солнца луч — пылица на стекле.
Кукушкиным яйцом — в чужом пире похмелье,
И дым отечества — кухонный чад на пустыре.

Позвольте заглянуть в кухонное окошко,
Там ужин на столе — скворчит сковорода,
Но мне туда нельзя — заказана дорожка,
Я умерла давно — и горе — не беда.

Не наслежу в сенях, не засмеюсь не к месту,
Ногой не прочеркну на тонком каблуке,
Ушла, как не была — извечная невеста,
Конфетным фангигом полет на сквозняке.

Паучья лапка и захлеб скороговорки,
Сутулость узких плеч — стрекозкино крыло,
А дым совсем и не сладкий, дым он горький,
Как хорошо, что все быльем позаросло.

Извольте позабыть, как пахнет подорожник,
Как кожиста с испода летняя листва,
Как серебриг дорогу мелкий дождик,
Как морщится река у сумерек моста.

Извольте вспоминать услужливое детство,
Проулков долготу и бесконечность дня,
Дыханья духоту и локоток соседства,
Извольте позабыть, что нет давно меня.

До свиданья — мальчики... Откровенно о сокровенном

Забуть, как сердце расколосось
И вновь срослось...
Марина Цветаева

Если судить по фотографиям, я была прекрасно хороша собой — копна рыжих волос, сияющее — готовое рассмеяться лицо, нежный овал — а как на самом деле — не знаю. В зеркале себя помню смутно, и не сказать, чтобы расплывчатые зыбкие воспоминания эти возвращали мне ослепительную красавицу — нет у меня этого ощущения. Как раз — наоборот — я себе очень даже не нравилась.



Заневестилась я, скорее поздно, хотя окунулась в любовные перипетии со всем неистовством молодости и бездумности достаточно рано, и, разумеется, с полным непониманием мало мне интересной реальности. Возраст любви чреват, как известно, знакомствами с совершенно особым оттенком если не влюбленности, то нежной очарованности, и я надышалась этим перенасыщенным воздухом сполна и до полного одурения.

Как я познакомилась с Ильей — не помню — а его папу я встретила раньше и запомнила — он был поразительно похож на Пастернака и читал свои стихи — хорошие или нет, не знаю — я тогда совершенно растерялась, да и не умею понимать на слух. К тому же Илюшкин папа был учителем математики в школе — а школу и учителей я не выносила, как тюремные оковы и тюремных же надзирателей, в присутствии которых неподвластное внимание мое рассеивалось непонятно на что.

Мой собственный родитель писал профессионально и относился к труду своему, как и к самому себе, с неизменной иронией. Друзья его тоже сочиничествовали — и домашность писательства отвергала какой бы то ни было пиетет. В нашем малопритязательном доме в воздухе дымком плавала несерьезность — спасительно как бы исключавшая реалии неблагополучия, которых было больше, чем достаточно. Но явление школьного учителя, увлеченно читавшего собственные стихи за чашкой чая, было и удивительно и печально, напоминая об общей подневольности и что греха таить — личной неудачливости.

Илья же, напротив — выросший в тридцатилетие из заметно заласканного ребенка, казался на редкость благополучным, даже преуспевающим, что не исклю-

чало, а, скорее, подчеркивало отсутствие в нем шаблонной целенаправленности. Мне он был замечательно интересен — холодные голубые, чуть стянутые к вискам, треугольные глаза, медленная улыбка и медлительный, как бы снисходительный, разговор. Blondинистые его волосы слегка курчавились, но ангельского облика не создавали — суховатая манера держаться исключала подобное. Кстати, к моменту нашего знакомства Илья успел жениться и развестись, где-то я встречала очень чем-то симпатичную его экс- и бледного худенького мальчика — его сына.

Как-то он был у меня на дне рождения и произнес неожиданный и запомнившийся мне слово в слово и на всю жизнь тост:

— У каждого есть его лучшая часть — у некоторых деньги, у некоторых карьера, у некоторых дача, а у Аси родители.

Сначала я горько обиделась — ничего, правда, не сказала, но обиделась. А теперь вспоминаю эту тираду с гордостью и благодарностью.

Не могу не привести — опять же дословно — еще одной цитаты из Илюшкиных высказываний о моей персоне, точнее, о моем весьма скромном происхождении. Однажды он представил меня своему знакомому:

— Это Ася — из хорошей литературной семьи.

«Вы гражданка-самозванка! Вы не лампочка, а склянка», — зазвенело у меня в голове. Господи, спаси и помилуй — я замерла от ужаса, и чувство глубочайшего стыда запершило и навсегда застряло в горле. Промолчала, конечно, — а что скажешь — он ведь как лучше хотел.

Про самого Илью было известно, что он писал стихи, даже опубликовался в подпольном «Синтаксисе», но он об этом помалкивал — разумеется, из осторожности, но тогда казалось — из благородной скромности. Надо сказать — стихи его мне нравятся и по сей день.

Однажды и он пригласил меня на день своего рождения, это происходило в родительском доме его — где-то на Арбате — и тогда я познакомилась еще и с сестрой его и с мамой — тоже учительницей — и это вновь поразило меня — маленькая седая и очень пожилая скромная женщина никак не походила на цветущего сына, что-то у нее было с позвоночником, и, улыбалась она приветливо и доброжелательно, разрушая враз мои представления и об Илюшке и об учителях-шкрабах.

Наше приятельство с Илейей безусловно не перерастало в душевно-внимательную дружбу — я не чувствовала с его стороны ни малейшей теплой заинтересованности, тем не менее мы были на очень даже дружеской ноге. Мы с удовольствием водили знакомство, и он презнакомил меня кое с кем из своих друзей.

Во-первых, это был Валя Р., который чинно представил себя Валентином и который мне тут же головокружительно понравился — черт знает, почему — скорее всего, потому что показался взрослым. Еще бы — он был лысоват, с остатками песочного что ли цвета волос, очкаст, явно книжно-интеллигентен, и, думаю теперь, что на самом деле с детским, слегка растерянным лицом, а тогда показался крайне уверенным в себе, говорил серьезно, умно и вдумчиво — не перебивая себя, как мои сверстники, а неторопливо, скорее всего, как я сейчас понимаю, из застенчивости — я и тогда сразу почувствовала, что он книжник. Разумеется, разговаривали мало — Валя подвез меня домой — сам вел собственную машину — бывают же такие невероятные прельстители.

Во-вторых, Володя Павлов. Не сказать, что Володя обладал большой привлекательностью — чисто внешне, по крайней мере. Он был худ, невелик ростом, лицо маленькое, косяное — присыпано редкими веснушками, зато улыбался

неожиданно открыто и как бы всем своим существом, при этом умные желтоватые глаза его смеялись. Про него все говорили, что он талантливый ученый — это придавало ему некую почему-то театральность, как бы почетный титул, и отдавало несерьезностью, в нем вообще была какая-то нарочитость. При первом же знакомстве он сказал мне зачем-то, что он чуваш и что в детстве его звали Хиро-хито. Это меня не то что озадачило, но удивило — подобные биографические подробности мне были и непривычны, и совершенно безразличны — но потом он тут же добавил, что его отец какой-то ГБ-шный чин, и тут я внутренне споткнулась, а потом решила, что, хотя означая, похоже тяготившая его, информация в некотором роде любопытна, но все равно — рассказать некому, потому что рассказывать подобное и непорядочно, и бестактно, да и никому на самом деле это неинтересно.

У Володи был какой-то скрипучий голос в нос — некрасивый, зато особенный. Жил он в отдельной однокомнатной безукоризненно чистой квартире один, и у него вечно толпились друзья и подруги, самой интересной из которых была Мила — с чудесно смуглым лицом — азиатски-округлого нежного очерка, и с восточными раскосыми глазами. Кто-то сказал мне, что ее отец был шофером у Капицы.

Еще помню Олега Завьялова — самого, пожалуй, приятного из этой компании — не наружностью — а какой-то еще милой скромностью, хотя и наружность у него была под стать — правда, мешало сходство с Есениным, но тут уж ничего не поделаешь. Жена Олега, Аня, казалась не просто симпатичной — она была очаровательной женщиной с милой улыбкой — мягкой и прелестной.

Валя, Володя, Мила и Олег — кончили университетский физфак и защитили диссертации или доучивались в аспирантуре. Илюшка кончил мехмат, но не математику, как я, а механику, и был свежееиспеченным кандидатом, чем по-детски гордился. Да, еще все они были отпетыми спортсменами — катались на горных лыжах, а Валя к тому же ходил в горы — был альпинистом.

Бывал у Павлова еще и Толя Левин — высокий с яркой внешностью. Чем он занимался — не знаю — по-видимому, человек он был славный, но на мой, возможно весьма претенциозный взгляд, он явно не дотягивал до остальных — похоже ему не хватало того что теперь столь же претенциозно называют «классом». Хотя это вроде и не имело значения, но имело.

Заходил Сережа Хоружий — казавшийся почему-то неприятным и неопрятным — яркий и влажный рот красным пятачком — в разговоре витиеватый или лицом бледный — мой папа знал его отчима — Семку Кэмрада, то ли они с папой в незапамятные времена работали вместе, то ли сидели — сама-то я Кэмрада никогда не видала, и, когда спросила о нем Сережу, он ответил отстраненно — был мужем моей мамы.

Много лет спустя, когда я уже была в нетях, Хоружий перевел Джеймса Джойса — «Улисса» — тяжеловесный трехтомник, ныне благополучно проживающий у меня на книжной полке. Не знаю, были ли у него еще тогда подобные амбиции, но как-то он привел в дом к Мите Авалиани — тоже Илюшкиному приятелю (кстати, сам Илья тогда не пришел) — двух англичанок — одну замечательную красавицу с синими-синими глазами, а другую с простоватым скучным лицом (если я не путаю, на второй Сережа потом женился).

Иностранские девушки довольно бесцеремонно задавали каждому из присутствующих один и тот же сакраментальный вопрос — не испытываем ли мы комплекса неполноценности перед Западом — отвечать надо было прямо тут же, хотя можно было и отказаться, что, по-моему, я и сделала — впрочем, возможно, меня и не спросили.

О жизни на Западе мы не имели ни малейшего представления — какой уж там комплекс неполноценности! — но щекотливая бесцеремонность вопроса и задела и удивила — думаю, не одну меня. К тому же было очевидно, что подобные обсуждения, во-первых, снабжали информацией разве что только КГБ, во-вторых, безусловно, были неумными и бестактно неуместными. Помню, как в воздухе болезненно повисло недоумение — гости-хозяева московского разлива были заметно образованнее и интереснее бойких иностранок, но отвечая на прямолинейный этот вопрос, спотыкались, как двоечники — просто из неловкости.

А милый хозяин дома — Митя Авалиани потом подарил мне свою теннисную ракетку — самому ему уже было не играть — болезнь позвоночника. Он писал волшебные стихи, зачастую заковыкая их в анаграммы и панторифмы, палиндромы и листовертни — получалась на редкость раскованная свобода слова. Мне тоже так хотелось — хотя, конечно, я ему и в подметки не годилась, но он был добр, и доброжелателен, и похвалил мое «*Суди палача Ланидус*».

Насколько мне известно, Володя Павлов не писал стихов, зато прекрасно готовил, он вообще был на все руки мастер — например, сам себе шил. Был приятным чистюлей — бывают ведь неприятные, а вот он был приятным. Одет он был всегда как-то не то чтобы лощено, но специально, и, на самом деле, это не шло ему — небрежность, как мне казалось, была бы более уместной. Но человеком он был — по любому стандарту — куда более значительным, чем казался даже самому себе, хотя зачастую, чтобы произвести впечатление, нес какую-то откровенную ерунду, и я, принимая ее всерьез, пугалась, долго обдумывала его слова, и, не находя в них особого смысла, очень расстраивалась.

Вообще-то мне весь этот антураж нравился неслыханно. Весело, интересно и ужасно ново. Мне не пришлось выбирать — роман случился с Валей. Вернее, это не у него, а у меня случился роман — простить себе который я очень долго не могла.

Валя ни в коем случае не был романтической фигурой, думаю, что у него не только не было серьезных намерений — у него не было ни малейших намерений касательно моей персоны, что поначалу попросту не укладывалось у меня в голове, а потом больно задело самолюбие. Я не заслуживала небрежения ни с какой стороны, и быть одним из звеньев в цепочке возлюбленных не самого неотразимого из Дон Жуанов было обидно. Тем более что инициатива исходила от него — в самом что ни на есть явном и настойчивом виде.

Надо сказать, что эта обида была в известной степени, скорее, недоумением и из странного самолюбия удерживала меня около него многие годы. Только недавно мне все-таки удалось смириться, когда я поняла, что Валя один из немногих (или из очень немногих) близких мне по духу людей. Мы с ним, если менялись, то более или менее в одном направлении — в то время, как с другими, пути-дороги и интересы решительно разошлись. С ним мне по-прежнему и приятно, и интересно — но хотя мы живем с ним в разных полушариях, до сих пор я не могу простить этой любовной истории ни ему, ни себе.

Тем не менее мы с ним часто говорим по телефону и встречаемся тоже нередко и с неизменным удовольствием — он обязательно и непременно бывает у нас, когда попадает в Нью-Йорк, а недавно — было дело — назначили встречу и жарким летним днем пересеклись в Париже — а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты — что да, то да — мы уютно посидели в немудрящем ресторанчике в неожиданно тихом переулке, в окрестности *Notre-Dame*.

Когда-то я любила бывать у него дома в просторной и запыленной квартире с большим количеством обитателей. Помню шаркающего полупарализованного дядю Боря. Помню маленькую шустрю племянницу — белобрысую девочку Люську в сопровождении бочковатой и любопытной няньки. Помню Валину маму — коротенькую крепенькую женщину, похожую на гриб-боровик, со светлыми распахнутыми глазами — чем-то она напоминала курсистку — наверно косой, свернутой седым, но казалось как бы пепельным пучком на затылке, и еще — твердостью взгляда наивных глаз. Говорила она словно простуженным голосом, и явно гордилась своими сыновьями. Валин младший брат — Сережа тоже был старше меня, но был мне совсем неинтересен — не знаю почему — какой-то он был обыкновенный, хотя фотография его однажды была напечатана на обложке журнала «Советский Союз». А вот некрасивый очкастый Валя с припухшими сонными веками казался «да» и был для меня куда более вдохновляющим.

Я люблю вспоминать — почему-то получается без горечи. Теперь с высоты возраста и жизненного опыта я понимаю — как была простодушно наивна в поисках романтических надежд — с этим в стране победившего социализма был самый большой дефицит. Суровый цинизм подневольной жизни рождает — в общем, не то чтобы черствость, но больших тонкостей-деликатностей не приходится ожидать. Впрочем, все, что было — было и прошло — мне и посейчас многое не очень понятно, да и стыдно признаться — наши отношения, по сути, исключали то, что зовется сердечной привязанностью. Хотя все мое существо было исполнено ею. И на самом деле — знакомство со всеми тремя было ничем иным, как привязчивой нежностью в чистом виде — с моей стороны, — безусловно. Но, скорее всего, лучше не судить навсегда ушедшего — утраченное время вспять не течет, и понять его вряд ли получится. Река это или ручей — не знаю — но журчание прошлого — по крайней мере, для меня звучит зачаровывающей музыкой, слушать которую мне с каждым годом все дороже.



Тамара Львова

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ: ЧЕРЕЗ ОКЕАН — В ОДНУ СТОРОНУ

Другу моему (более полувека!) и соавтору повести «ЧЕРЕЗ ОКЕАН» (см. «СЕМЬ ИСКУССТВ» №№ 10,11,12, 2014 г.) Владимиру Фрумкину посвящаю эти страницы — без него их бы не было.
Т.Л.

Володя! Мне, увы, не удалось уговорить-«облазнить» тебя продолжить нашу «ПОВЕСТЬ-ПЕРЕКЛИЧКУ»: занят ли другой работой или... просто — надоело. А во мне, потревоженные ею, «выскочили — выпрыгнули» еще несколько, кажется, любопытных воспоминаний и НЕ ДАЮТ ПОКОЯ, ТРЕБУЮТ: НАПИШИ, РАССКАЖИ. Вот и придумала (НЕ ПЕРВАЯ!): «ПИСЬМА ДАЛЕКОМУ ДРУГУ» (В ОДНУ СТОРОНУ) Ты согласился быть первым читателем и советчиком. А начну я с адреса хорошо тебе известного — улица Герцена 45 (теперь снова — Большая Морская) и назову этот СЮЖЕТ...

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ



Ленинград, Дом композиторов

Не могу вспомнить точно, КОГДА увидела этот, "на всю оставшуюся жизнь" врезавшийся в память портрет, ни ТОГО, кто сидел тогда за столом в председательском кресле своего кабинета. Это мог быть — Василий Павлович Соловьев-Седой, у него за спиной и висел портрет: если ОН — значит, было это в 1958-62 гг., когда я, еще "внештатный автор", бегала по заданиям Детской и Литературной редакций Радио и Телевидения; вполне могла получить "музыкальную тему"; В.П. был тогда Председателем Ленинградского отделения Союза композиторов; только странно, очень странно — самого Председателя не запомнила, а больше встречаться с ним не довелось. Остается думать, что ТАК "ВЫСТРЕЛИЛ" В МЕНЯ ПОРТРЕТ, что ничего и никого более не увидела...

Вероятнее, случилось это позднее: приходила в Дом композиторов после 64 г., с твоей, Володя, подачи, к А.П. Петрову, приглашала — и не раз! — быть комментатором на твоих музыкальных конкурсах нашей очень популярной тогда передачи «Турнир СК» (старшеклассников). Конечно, Андрея Павловича хорошо помню, особенно на Большом конкурсе, посвященном его балету в Мариинском театре — "Сотворение мира". Как восхищался он ответами наших ребят, только что посмотревших балет, как живо комментировал!..

Не сомневалась бы, что именно у него в кабинете, за его спиной, видела тот незабываемый ПОРТРЕТ. Но... почему тогда ТЫ, Володя, бывавший там множество раз, его, как сказал мне, НЕ ПОМНИШЬ?.. Почему НЕ ПОМНИТ его твой друг музыковед Михаил Григорьевич Бялик, близкий в те годы А. Петрову человек (ты, по моей просьбе, спросил его)?.. Не могу я ответить на эти вопросы... Знаю только одно: за это РУЧАЮСЬ, как говорил Б.Н. Ельцин: "Голову кладу на рельсы!" — Я ВИДЕЛА ЭТОТ ПОРТРЕТ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. ТАМ, НА ГЕРЦЕНА (теперь Б. Морской) 45, В КАБИНЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Ленинградского отделения СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ, у него за спиной. ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ВИДЕЛА. И НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛА...



Фильм "Телец", Ленин

Тебе надоело, Володя? Чей, наконец, этот ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ?.. Теперь скажу: ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. Как поняла сразу, последних лет (или месяцев?) его жизни...

Поверь, я остолбенела, глаз отвести не могла — такого Ленина никогда, ни до, ни после не видела, а ты ведь помнишь, конечно, бесчисленные, везде и всюду — сотни, тысячи! — его изображений: в графике, живописи, скульптуре... Ничего похожего, близкого — другой человек! Такое — НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ! — В ГЛАЗАХ ОТЧАЯНИЕ... ОДИНОЧЕСТВО... БЕЗНАДЕЖНОСТЬ...

Мы видели немало великих полотен знаменитых художников, знаем их, любим. У каждого из нас — что-то особое, только свое... Но, клянусь, ТАКОГО — ВЫСТРЕЛУ ПОДОБНОГО! — впечатления, я не помню за всю свою долгую жизнь. А ведь ни одну интересную выставку не пропускала ни в Русском музее, ни в Эрмитаже...

... Услышала, как сквозь сон, довольный голос хозяина кабинета (Василия Павловича? Андрея Павловича?): "УВИДЕЛИ?.. СМОТРИТЕ?.. НУ КАК?.."

Я спросила, голос, наверное, дрожал: «Чей это?.. Кто художник?.. Никогда не видела»...

Он (и снова — КТО?), с особым нажимом, ответил: «А вот этого Вам знать — не надо»...

...С тем и ушла. И портрета никогда больше не видела... А ведь пыталась найти, спрашивала, искала, в Публичку ходила — в зал ИЗО. Ничего... Словно и не было этого портрета. Растворился в воздухе...

Впрочем, нет. Увидела его через много лет, в... "другом обличье" — в замечательном фильме Александра Сокурова "Телец". Ленина, больного, умирающего, сыграл, по-моему, гениально, мой старый знакомый Леонид Мозговой: когда работала в библиотеке, он приходил к нам — читал детям стихи и прозу; особенно запомнился — "Черный монах" Чехова... Так вот, Владимир Ильич у Л. Мозгового и А. Сокурова в фильме "Телец" (2000г.) — словно с того ПОРТРЕТА: безмерно ТРАГИЧЕСКАЯ фигура ВСЕ ПОНЯВШЕГО и... уже НИЧЕГО НЕ СПОСОБНОГО ИЗМЕНИТЬ, бессильного, умирающего человека. Воплощение ОТЧАЯНИЯ...

Должна признаться, что ЭТОТ ФИЛЬМ, «воссоединившись» с далекими воспоминаниями о ТОМ ПОРТРЕТЕ, во многом изменили, перевернули уже накрепко сложившееся к тому времени представление о Ленине: он способен был стать ДРУГИМ...

... И все-таки, ты, наверное, спросишь, Володя, с какой радости я начинаю свои новые письма к тебе с В.И. Ленина, которого — я это знаю — ты не очень жалуешь? Да и я, признаться, — тоже. Видишь ли... В нашей повести «ЧЕРЕЗ ОКЕАН», во втором ее разделе — «ДВЕ ЮНОСТИ — МОЛОДОСТИ», есть совсем небольшой эпизод, где я рассказываю о потрясении, испытанном нами, молодыми журналистами, мной и моим мужем Женей, работавшими тогда, в 56 году, в городе Сортавала, в Карелии, прогремевшим на всю страну, да и на весь мир, докладом Н. Хрущева на XX съезде — о КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ. Там я и упоминаю Ленина-Сталина, сравниваю их... И — не ожидала! — именно эти, какие-нибудь полстраницы! — вызвали более всего откликов, раздумий, НЕСОГЛАСИЙ... Мне звонили, писали электронные письма, да и сама я кое-кому позвонила. Вспомнился ВДРУГ тот «ТАИНСВЕННЫЙ ПОРТРЕТ» в Доме композиторов и фильм Александра Сокурова с Леонидом Мозговым в роли Ленина. Вот и захотелось познакомить наших читателей с некоторыми из этих откликов, ответить, поспорить... Но сначала — придется открыть нашу ПОВЕСТЬ — ПЕРЕКЛИЧКУ и дословно процитировать этот, вызвавший столь разные отклики, свой собственный текст:

...«Да, перелом, изменения мироощущения начались тогда. Но как долго они длились! Ведь вначале это была горячая вера в «возвращение ленинских норм партийной жизни». Я и сейчас по-разному к ним отношусь: Ленин для меня — революционер-фанатик, наследник русских народников, трагическая личность; к концу жизни он многое осознал, но уже бессильно было что-либо изменить (наш с тобой знакомый Леонид Мозговой замечательно сыграл его, умирающего, в фильме А. Сокурова «Телец»). Да и ГДЕ, КОГДА, КАКАЯ революция не оборачивалась жестокостью? И забывают часто: гражданская война только в 1922-м году кончилась. Ленин тогда уже был безнадежно болен. Прожил бы еще лет 20 — кто знает, как бы все обернулось. НЭП все-таки он ввел... А Сталин — злодей, кровопийца, изверг, ради ВЛАСТИ своей уничтоживший миллионы людей. И нет ему прощения во веки веков...»

Вот и все, что написано о Ленине — Сталине в нашей повести. Прочитала еще раз и решила — приведу еще несколько доводов «в свою пользу». Доводы мои следующие... Почему-то никто из «несогласных» и даже просто — собеседников

не вспомнил, что еще 30 августа 1918 года В.И. Ленин был тяжело ранен и долго не мог оправиться, а в 1922-м перенес, один за другим, один — в мае, второй — месяц спустя, два инсульта, от которых уже не оправился до конца своих дней... И тоже не вспомнили, что кругом тогда шла НАСТОЯЩАЯ война, и НАСТОЯЩИЕ были бунты и восстания, что НАСТОЯЩИЕ были ВРАГИ, с которыми надо было бороться тому, кто возглавил революцию — не было другого выхода... Был ли Ленин жесток, нетерпим к тем, кого считал врагами? Конечно! Как, например, «решил проблему «инакомыслия» — сразу и навсегда?»

«АРЕСТОВАТЬ НЕСКОЛЬКО СОТ И БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ МОТИВОВ
— ВЫЕЗЖАЙТЕ, ГОСПОДА!»

(Цитирую по Б. Сарнову, «Сталин и писатели», том 3, стр.541) Да, безусловно, жесток и нетерпим. И фанатично предан своей ложной, утопической идее. А фанатики, всегда и везде, — СТРАШНЫ. Но... посадил на пароход и — пожалуйста, восвояси! Не расстрелял, не уничтожил, не стгноил миллионы ни в чем не повинных — ВЫДУМАННЫХ ВРАГОВ!

...А теперь — пусть говорят другие...

Первым «даю слово» Заслуженному артисту России Леониду Павловичу Мозговому, сыгравшему Ленина в фильме А. Сокурова «Телец» (говорила с ним по телефону). Поразил меня Леня (так называю его по старому нашему знакомству) тем, что сказал почти то, что написано у меня — а тогда еще не читал: просто спросила, как относится к своему герою...

— «Я был воспитан в почитании к этому человеку. Когда маятник пошел в другую сторону, растерялся... Сейчас, через столетие, его легко судить — тогда жили в другом государстве... Александр Николаевич Сокуров, в этом его заслуга, заново открыл мне Ленина. Он СНИЗИЛ мое представление о нем как о ГЕНИИ, но не УНИЗИЛ его как человека. Я играл СТРАДАЮЩЕГО Ленина, КОТОРЫЙ МНОГОЕ ПОНЯЛ, но СДЕЛАТЬ уже из-за болезни ничего НЕ МОГ»...

Далее — Л. Мозговой сказал нечто меня удивившее, о чем я, такой внимательный зритель, сама не додумалась: «Он понимает, что ЗАСЛУЖИЛ свою болезнь, свои СТРАДАНИЯ за свою ВИНУ, ЗА ТО, ЧТО СДЕЛАЛ. Таким я его играл»...

В заключение, несколько слов, прямо к нашей теме не относящихся, но, кажется мне, интересных, жалко их было бы «потерять». Леонид Павлович Мозговой считает ТРИ свои роли, сыгранные в фильмах А. Сокурова: Ленина («Телец»), Гитлера («Молох»), Чехова («Камень») — «главным счастьем своей жизни». После триумфального шествия фильма «ТЕЛЕЦ» в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» (2001 г.) его, артиста Мозгового, назвали (и — пошло гулять!) — АДЛЬФОМ ИЛЬИЧЕМ ЧЕХОВЫМ...

...А сейчас, Володя, ты прочтешь нечто СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. Я не решаюсь назвать имя автора — настолько написанное им кажется мне прямолинейным, более того — грубым. Но... заверяю: человек этот — не просто умный и широко образованный; он безусловно талантлив: крупный ученый (доктор физ.-мат. наук), к тому же — поэт, хорошие стихи пишет — книжечку свою мне подарил, и прозаик тоже, и ставил спектакли, и художественные тексты переводит. Словом, один из самых одаренных наших «турнирных детей» — ты его, конечно, знаешь... Отдадим должное — согласны ли, не согласны и с формой, и с содержанием, — как лаконично сумел выразить то, что хотел сказать: поистине, «КРАТКОСТЬ — СЕСТРА ТАЛАНТА». Итак, вот что он написал:

«А с ЛЫСОВИЧКОМ уже давно никакого вопроса и нет — все факты давно установлены и разжеваны, и всякий, кому не наплевать именно на факты, отлично знает, что это беспредельно ВЛАСТОЛЮБИВЫЙ, КРОВАВЫЙ, БЕЗЖАЛОСТНЫЙ УРОД, в определенном смысле и ПАХАНУ до него далеко»... («ПАХАН» — ты, конечно, понял — Сталин... Замечу: выделено всюду — мной)

«Краткостью», признаюсь, не владею, зато люблю КОНТРАСТЫ! Сейчас прочтешь другого нашего «турнирного сына», тоже из самых ярких. Миша, Михаил Яковлевич Адамский, Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, директор 397, одной из лучших петербургских гимназий и, что для меня сейчас особенно важно — ИСТОРИК, совсем в ином тоне, очень осторожно, делится с нами своими раздумьями об Ильиче:

... «В моем отношении к В.И. нет однозначного ответа. Оно эволюционировало на протяжении всей жизни. Если кратко:

1) Ленин — безусловно выдающийся политик.

2) Методы его неприемлемы с точки зрения нравственности, но ДЕЙСТВЕННЫ.

3) Без изучения его работ нельзя понять историю русской революции и всей истории XX века.

4) Мне кажется, что время его объективной оценки еще не пришло: слишком много пены вокруг и политической конъюнктуры.»

Даже у сдержанного, «благовоспитанного» Михаила Яковлевича меняется интонация, когда речь заходит о Сталине: «Для меня он — фигура одиозная, ибо массовые репрессии невозможно забыть»...

ВНИМАНИЕ, Володя! Ты, кажется, знаешь о Б. Окуджаве все. А — ЭТО? Миша заканчивает свое письмо ко мне — доверяя не себе, а ему, Б.Ш., сказать самые ТОЧНЫЕ, прямо в цель бьющие слова о Сталине. Их услышал и сразу же записал его друг на ВЕЧЕРЕ Б. Окуджавы в Ленинграде — ответ на вопрос зрителя (вопроса он не помнит), записал — слово в слово. Миша мне эти слова продиктовал:

«Я согласен со всеми эпитетами: «ВЫДАЮЩИЙСЯ», «ГЕНИАЛЬНЫЙ», «ВЕЛИКИЙ» и т.д. — при условии, если за всем этим будет стоять одно слово: «УБИЙЦА»...

И я согласна. Целиком и полностью...

Но, пожалуй, добавлю. В том же письме М.Я. Адамский вспоминает слова Л. Троцкого:

"СТАЛИН — самая ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ нашей партии"...

Нет, не согласна я со Львом Давыдовичем! Не был Сталин "ПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ" да еще "ВЫДАЮЩЕЙСЯ". Он был ГЕНИЕМ... И вспоминается мне, Володя, наш конкурс на Турнире по пушкинскому "Моцарту и Сальери" (по-моему, литературно-музыкальный — ты его вел вместе с А.А. Пурцеладзе). Вы спрашивали ребят: согласны ли они с Александром Сергеевичем, что... "ТЕНИЙ и ЗЛОДЕЙСТВО — две вещи НЕСОВМЕСТИМЫЕ"?.. Не помню, к чему привела тогда очень острая дискуссия, но — сейчас я твердо убеждена: "СОВМЕСТИМЫ"! Еще как — "СОВМЕСТИМЫ"!.. Иосиф Сталин был ГЕНИЕМ ЗЛОДЕЙСТВА...

... Говорят, «Бог ТРОИЦУ любит»... Вот и я приведу всего строку из письма ТРЕТЬЕГО нашего «турнирного сына», тоже из самых талантливых и лю-

бимых, «ПЕВЦА Турнира», нашего поэта, Саши Карпова, ныне — Александра Анатольевича, доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой истории русской литературы СПбГУ (мне все хочется сказать — ЛГУ: это ведь мой Университет, мой филфак). И о фильме «Телец» говорит, и о том, что кажется мне самой сутью нашей дискуссии...

«Дорогая Тамара Львовна! Фильм — замечательный, Мозговой — великолепный актер... А РЕВОЛЮЦИИ ЛУЧШЕ бы не было»...

Полностью согласна, Саша!... Но как полагал сам Ленин? Что для него РЕВОЛЮЦИЯ?..

«Революцией называется отчаянная борьба классов, дошедшая до наивысшего ожесточения»... (Цитирую по «Словарию иностранных слов» 1949 г.) И этим все сказано: не было бы революции — да еще с ЛОЖНОЙ, УТОПИЧЕСКОЙ, абсолютно НЕОСУЩЕСТВИМОЙ идеей! — не было бы и «наивысшего ожесточения»... Вспомнился еще один исторический персонаж: «Величайший деятель Великой французской революции»... «Готов принести ВСЕ в жертву «СПРАВЕДЛИВОСТИ»... Он же — «Организатор якобинского террора»... Террора жесточайшего. Ты понял, конечно, Володя, о ком я?.. Максимилиан Робеспьер... «НЕПОДКУПНЫЙ И БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» — таков и сегодня он в памяти французоз. Его имя «все еще вызывает нескончаемые споры, противоречивые чувства, взаимоисключающие оценки» («Энциклопедический словарь, 1955 г.) Разве эти слова — все до единого! — нельзя отнести к нашему Владимиру Ильичу?..

У меня в компьютере еще несколько писем — откликов. Но думаю — достаточно... Что бы ни говорили мои оппоненты — для меня они НЕСРАВНИМЫ: Ленин и Сталин, ИДЕЙНЫЙ ФАНАТИК и ЗЛОДЕЙ — УБИЙЦА... Я заканчиваю сейчас читать 3-й том (всего их 4, каждый — более 900 страниц!) Бенедикта Сарнова — «Сталин и писатели». Прочитать бы эту КНИГУ — ПОДВИГ ее автора, недавно от нас ушедшего — каждому думающему человеку, особенно — молодому, творческому! Я даже не о тех сейчас — а сколько их! — которых расстреляли сталинские «тройки». Возьмем хотя бы один сюжет-главу: «СТАЛИН И ПЛАТОНОВ». Как издевались над ним, как выкручивали руки, как Сталин по-иезуитски погубил его единственного сына...

«Этот свой любимый прием — взятие заложника — Сталин использовал постоянно... Тот же «ход», едва ли не впервые опробованный на Платонове, он потом повторил на Ахматовой: ее оставил на свободе, а сына гноил в тюрьмах и лагерях»...

Как надо было унижить, растоптать, сломать человека — талантливого ПИСАТЕЛЯ, чтобы он ОТКАЗАЛСЯ от всего написанного им ранее... Из письма А.П. Платонова Сталину 8 июля 31 г. (после публикации в журнале «Красная новь» его повести «ВПРОК» — о «сплошной коллективизации»):

«Вся моя забота — в уменьшении вреда от моей прошлой литературной деятельности» ... И еще, чуть дальше: «...чтобы другим страшно стало, чтобы ясно было, что какое бы то ни было выступление, объективно вредящее пролетариату, есть подлость, и подлость особо гнусная, если ее делает пролетарский человек.»

А вот всего несколько слов кающегося редактора провинившейся «Красной нови» А. Фадеева — «Об одной кулацкой хронике» (кажется мне, что статьи этой достаточно, чтобы, вспомнив о ней через четверть века, сделать роковой выстрел):

«ОЗЛОБЛЕННАЯ МОРДА КЛАССОВОГО ВРАГА ВЫЛЕЗАЕТ ИЗ-ПОД «ДУШЕВНОЙ МАСКИ» (стр. 734)...

Забывается, в небытие уходит прошлое... И только искусство может о нем напомнить. НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО!..

... Ты не задумывался, Володя, о том, что все лучшее в молодой советской литературе было написано в 20-е годы — Б. Сарнов в своей книге не раз называет их «либеральными»? Прочитирую его еще раз: «То, что случилось с Леонидом Соболевым и Юрием Олешей, происходило со всеми классиками и корифеями соцреализма (речь идет о творческой деградации — Т.Л.)

Можно ли в повести А.Н. Толстого «Хлеб» и «Рассказах Ивана Сударева» узнать автора «Петра Первого», «Детства Никиты», «Ибикуса»?

Можно ли в романе Эренбурга «Девятый вал» узнать автора «Хулио Хуренито»?

Можно ли в беспомощных, графоманских стихах Николая Тихонова узнать автора «Орды», и «Браги» — первых стихотворных сборниках этого поэта?..»

Несколько строк из предсмертного письма А. Фадеева в ЦК КПСС:

"С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать..." (Цитирую по Б. Сарнову, т. 4, стр.239)

Не столько о Ленине я говорю сейчас — о ВРЕМЕНИ. Разное это ВРЕМЯ, 20-е и 30-е годы...

...Закончить хочу тем же, с чего начала — пусть в ЭПИЛОГЕ моего послания тебе, Володя, снова появится ... «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ». Я, кажется, почти разгадала его тайну. И помог мне в этом твой давний друг, музыковед, Заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Григорьевич Бялик. Ты удивлен? Да, он написал тебе, а ты переслал мне, его подробное письмо, спасибо ему. Но в письме этом утверждается: НЕТ! Не видел он портрета Ленина в кабинете Председателя Союза композиторов на Герцена 45, ни у Василия Павловича Соловьева — Седого, с 54-го года (меня тогда еще и в Ленинграде не было, вернулись из Карелии — в 56-м), ни после 64-го — у Андрея Павловича Петрова, хотя бывал и у того и другого, по роду своей работы, часто и многократно. Или... — деликатный он человек — допускает мысль, что ЗАБЫЛ, НЕ ЗАПОМНИЛ (я ведь настаиваю — ПОРТРЕТ БЫЛ!): «Видимо, недостаточно восприимчив к изобразительному искусству». Нет, я ТАКОЙ МЫСЛИ НЕ ДОПУСКАЮ! Не может быть, совершенно исключается, чтобы он, музыковед и пианист, тонкий знаток всех видов искусства, множество раз бывавший в этом кабинете, ТАКОЙ ПОРТРЕТ, ТАКОГО ЛЕНИНА, невиданного никем из нас прежде, написанного несомненно кистью большого художника, — НЕ ЗАМЕТИЛ, НЕ ЗАПОМНИЛ; я ведь — с ОДНОГО РАЗА и на всю жизнь!..

Чем же помогло мне письмо М.Г. Бялика «почти разгадать» тайну?... Есть в нем несколько строк о НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ выставке в Доме композиторов ленинградского художника Гавриила Гликмана, которую М.Г., по его просьбе, помогал готовить. Много хлопот с ней было. Текст буклета написал. Выставка предполагалась интересная: новые яркие работы... Но перед самым открытием, М.Г. был при этом — пришел поддержать приятеля-художника; далее цитирую:

— «Явилась СВОРА ИЗ ОБКОМА и ГОРКОМА, которая ходила от полотна к полотну, громко гогоча... Моим мнением никто не поинтересовался, а сам сказать, что я о них думаю, не решился. Теперь стыдно...

Далее — последовал приказ: «ЗАПРЕТИТЬ!» Не состоялась выставка... (Помнишь, Володя, как нам на «Турнире СК» точно так же запрещали вопросы и целые конкурсы, и тоже иногда, буквально накануне? Нам и «СВОРЫ ИЗ ОБКОМА и ГОРКОМА» не нужно было — хватало звонка «сверху»).

... Читала я про эту выставку — и ОСЕНИЛО! Только этот вариант и возможен. И вполне реален... Почему раньше не сообразила?.. Не мог ТАКОЙ ПОРТРЕТ с ТАКИМ ЛЕНИНЫМ долго висеть в кабинете Председателя Союза, был ли это В.П. Соловьев-Седой или А.П. Петров. НЕ МОГ!!! Может быть — неделю повисел, может быть, несколько дней. Просто — вам обоим, и Михаилу Григорьевичу, и тебе, Володя (ты же тоже его не помнишь) НЕ ПОВЕЗЛО. В эти считанные дни вы не заходили в кабинет Председателя. Могло так быть? Ну а мне — ПОВЕЗЛО! Я как раз в эти дни и пришла. Наверное, все-таки к А.П. Петрову — пригласить его комментировать музыкальный конкурс. И УВИДЕЛА ПОРТРЕТ!.. А потом пришли — может быть, просигналил кто-то? — те же самые или другие, из Обкома — Горкома, и приказали: «УБРАТЬ!»... И убрали...

...А что если лежит сейчас в каком-нибудь музейном запаснике, под грудой мусора и пыли или... бережно закутанный заботливой рукой, «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ» ДРУГОГО ЛЕНИНА, безмерно трагического, все понявшего, кисти неизвестного, быть может, гениального художника и ЖДЕТ СВОЕГО ЧАСА? Бывает ведь так — через столетия воскресает, казалось, навсегда утраченное...

И совсем в заключение... Чтоб не возводил ты на меня «напраслину», не утверждал, что я «защищаю» Ленина». НЕТ! И еще раз — НЕТ!

... Ведь я, Володя, о том В.И., которого отвергаешь ты, не спорю. Хочешь доказательство?.. Еще одна цитата из 3-го тома Б. Сарнова "Сталин и писатели". В главе о Платонове (стр.842) автор приводит "поразительное по откровенности признание" Ленина Юрию Анненкову о своем отношении к искусству (меня оно тоже поразило — видишь, "любю воду на твою мельницу"):

— «Я, знаете, в искусстве не силен. Искусство для меня — это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандистская роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — «ДЗЫК- ДЗЫК! — ВЫРЕЖЕМ. ЗА НЕНУЖНОСТЬЮ».

Удивительное высказывание, не правда ли?.. А точнее — чудовищное... И принадлежит оно отнюдь не "КУХАРКЕ", революцией призванной управлять государством, а высокообразованному — В.И. Ульянову... В страшные бездны швыряет человека фанатизм. Любой фанатизм. Любого человека. Во все времена. И ТОГДА, и СЕЙЧАС...

... В общем, очень мне, Володя, интересна загадка "ТАИНСТВЕННОГО ПОРТРЕТА"... ТРАГИЧНОЙ видится последняя страница жизни возможно ПРОСНУВШЕГОСЯ и УЖАСНУВШЕГОСЯ своим деяниям фанатика «коммунистической идеи», Владимира Ильича Ленина... Илия ошибаюсь?.. О чем хотел сказать нам неизвестный и безусловно талантливый художник?.. Узнаем ли когда-нибудь?..

ЗИГЗАГИ ОДНОЙ СУДЬБЫ, или НАШ ДРУГ МАТВЕЙ

Володя! Ты помнишь, в нашей с тобой ПОВЕСТИ — ПЕРЕКЛИЧКЕ мою главку "ПАПА ЗДОРОВ!"? Я рассказала там, как и почему в апреле 53-го года "бежала" из Челябинска в Карелию к мужу Жене и как в киоске на какой-то станции

купила "спасительную" для моего отца, да и для нас — молодоженов тоже, газету "ПРАВДА": "УБИЙЦЫ в белых халатах" оказались НЕ УБИЙЦАМИ... Событие это было столь ГРАНДИОЗНО, что не решилась я на его фоне рассказать тебе о ДРУГОМ СОБЫТИИ, на ДРУГОЙ СТАНЦИИ того же пути, наверное на сутки раньше случившемся, абсолютно личном, но тоже для меня — незабываемом. Пусть даже было это не СОБЫТИЕМ, но уж точно — совершенно неожиданным ПРОИСШЕСТВИЕМ... Подъезжаем к городу Инза Ульяновской области (в энциклопедии прочитала: "Крупный железнодорожный узел")... Стоим там минут 20. Я волнуюсь. Причесалась, приделась — на станции надеюсь встретиться с ближайшим другом, моим и Жениным, Матвеем Лукнищким. Не виделись более года: после вузовского "распределения" разлетелись в разные стороны: мы с Женей, выпускники ЛГУ — в редакции газет, я — в Челябинск, он — в Петрозаводск, Матвей (тогда же кончил юридический) — следователем в Инзу. Я уверена — придет: ему, с двух сторон, посланы телеграммы, с Урала и из Карелии: "Тамара проездом... такого-то числа, таким — то поездом, вагон №... Приходи"... Поезд остановился. Я выскакиваю почти на ходу... Конечно, пришел! Бежит к вагону с букетом цветов. Все тот же Матвей — крупный, широкоплечий и широколицый, приземистый, так же торчит вверх и в разные стороны его густая темная шевелюра... Но где знакомая обаятельная улыбка? Где радость встречи? На лице — железная решительность, неподвижность... "СЛЕДОВАТЕЛЬ? Так изменился?" — мелькает у меня мысль.



Друзья-фронтовики — Матвей и Женя, Петергоф

Матвей замедляет шаг. Подходит. Букет не отдает. Крепко — мне больно! — сжимает руку ниже локтя:

— Быстро — в вагон. Берем вещи. Остаешься у меня. Совсем. Я давно этого хотел. Жене напишем. Быстро!!!..

Я — почти в обмороке:

— Ты что?.. Опомнись!.. Я еду к Жене... Он ждет...

— Не хочешь?..

— Нет...

— Хорошо подумала?

— О чем?..

— Точно не хочешь?

— Точно...

Лицо меняется. Теперь оно растерянное, жалкое. Таким не видела. Освобождаю руку. Стоим. Долго. Молча. Слов нет. Звонок. Я иду в вагон. Матвей сует мне букет. Поезд трогается...

... Чтобы ты знал, Володя: не договаривались мы, но... НИКОГДА, НИКОМУ, НИ ДРУГОМУ, НИ ДРУГ ДРУГУ, сколько ни пришлось видеться, ни словом, ни намеком, о том что было тогда на перроне станции Инза. Жене, конечно, тоже... Если бы он сегодня... БЫЛ, я бы и сейчас не рассказала... А тогда... Долго еще, совершенно растерянная, обомлевшая лежала неподвижно на своей верхней плацкартной полке... И это — МАТВЕЙ! Наш Матвей! Лучший друг! Воплощение ФРОНТОВОГО ДРУЖЕСТВА!.. Загадочное существо — человек... Теперь я уже непременно ДОЛЖНА рассказать о нем...

...С Матвеем меня познакомил Женя вскоре после того, как стал за мной ухаживать — значит, на 5-м курсе, осенью 51-го года: "Мой лучший друг. Тоже фронтовик. Будет, значит, и тебе другом"...Новый, 52-ой, мы уже встречали вместе (см. фото)



Много я, Володя, знала фронтовиков: почти все мои сокурсники — парни были старше нас, девочек, — " НА ВОЙНУ": Женя меня — на 7 лет, Матвей — на 6... Конечно, помнишь, как воспевали в те годы фронтовую дружбу: в кино, поэзии, песнях, живописи. Но одно дело — воспевать, другое — БЫТЬ! Такого я не встречала, ни до, ни после: Матвей ДЫШАЛ фронтовой ДРУЖБОЙ!

Жил он тогда у какой-то дальней родственницы, очень нуждался, подрабатывал (мешки с товаром таскал в каком-то магазине), но — хорошо это помню! — без конца отправлял посылки в разные концы страны. Объяснял: "Фронтовому другу. Голодуха у них" (у нас в Ленинграде куда лучше было). Или — иначе: "Женился фронтовой друг. Поздравить надо". Но — чаще всего: "Встреча у нас намечается. Приедут фронтовые друзья. Готовлюсь..." Забегу вперед — об этом еще расскажу — тогда Матвей, так же как и мы с Женей, уже вернулся в Ленинград, женился. К ним, в гостеприимный дом на Суворовском проспекте, то и дело приезжал «фронтовой друг», а то и несколько сразу: из Сибири или Средней Азии, с Украины или Дальнего Востока. И всех принимали, всем радовались. Какие встречи были!.. Не раз, помню, по его просьбе, водила очередного "ДРУГА" по городу, гидом была, говорят, хорошим...

Внимание, Володя!.. Потом поймешь, почему важно запомнить — мы снова возвращаемся в студенческие годы. Договорились как-то в воскресенье поехать вместе за город. Встретились на Финляндском вокзале. Матвей был не один. Представил нам свою спутницу: "Муся"... Понятия мы о Мусе не имели. Никогда о ней не говорил. Была она "невидная", как показалось мне, — "СТАРАЯ" (срунда, конечно: наверное, их ровесница); в нашей веселой компании больше молчала — смущалась. Но мне она понравилась — что-то было в ней неразгаданное, хотелось узнать поближе... Не удалось. Больше мы Мусю не видели. Спрашивала о ней Матвея. Уходил от ответа. Как-то бросил: "Уехала она. Работает в..." (назвал город — не помню — где-то далеко). Больше не спрашивала... И побежали годы...

Вот тут ты и удивись, Володя. Однажды звонит Матвей (виделись мы тогда довольно редко, много работали: Женя — в заводской многотиражке, я — внештатно! — на телевидении; Матвей успел более нас — уже где-то старшим следователем): приглашает непременно быть ТОГДА-ТО, по такому-то адресу на Суворовском: он женился, хочет нас познакомить...

И мы пришли. Познакомились. С милой, скромной его женой Галиной (и — снова показалось мне — "НЕВИДНОЙ", "СТАРОЙ", конечно же, НЕ СТАРОЙ! — это я рядом с ними очень уж молодая была). Работала Галя в Публичке — опытный библиотекарь. Маму ее Матвей представил — Раису Михайловну, папу и... надо было его видеть! — готового сквозь землю провалиться, смотрящего мимо нас, когда он, ласково подталкивая вперед, широко расставив ноги, буквально вытащил из-под них и поставил перед нами прелестную, нарядную, с большим бантом на головке, девчужку лет четырех: "Наша дочка — Галочка"...

Да, Володя, это была дочка, его, МАТВЕЯ, а теперь и Галины, ДОЧКА, которую он только что привез из далекого города, названия его не помню, где Галочка жила со своей мамой... Мусей, той самой Мусей, с которой мы один раз ездили за город и, к моему сожалению, как следует не познакомились. Муся (я узнала об этом позднее) внезапно заболела и... скоропостижно СКОНЧАЛАСЬ. Умирая, просила кого-то дать телеграмму в Ленинград... такому-то, ничего о нем более не сказала. Матвей опоздал — Муси уже не было. Пришлось объясняться, доказывать, что он — ОТЕЦ. Девочку (ее кто-то из друзей уже собирался "удочерить" — так говорят?) ему отдали не сразу — буквально воевал за нее: никто его не знал, не видел, никому Муся о нем не говорила, никаких документов, подтверждающих отцовство, у него не было... Отвоевал Матвей дочку. Привез домой и... скоропалительно женился на ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНЩИНЕ Галине Петровне (такое совпадение — тоже Галя), которая согласилась быть ей МАТЕРЬЮ. И — СТАЛА. Хорошей МАТЕРЬЮ. А Раиса Михайловна — доброй, ласковой бабушкой...

Мы с Женей часто бывали в их доме, я говорила уже — очень гостеприимном. Встречали там не раз Новый год, праздновали юбилеи, дни рождения, знакомились с фронтовыми друзьями Матвея. А во главе стола всегда была хозяйка: КРАСАВИЦА — БАБУШКА, Раиса Михайловна. В первый и последний раз в жизни видела я СТАРУЮ КРАСАВИЦУ (на этот раз без кавычек), в самом деле — КРАСАВИЦУ, совсем седую, величавую, приветливую, с тонкими чертами лица — глаз не оторвешь...

... Помнишь, Володя, у двух наших поэтов: А. Пушкина и Н. Заболоцкого — такой разный ответ на вечный вопрос (задает его Н.З. в своем стихотворении «Некрасивая девочка»):

... "А если это так, то ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА/ И почему ее обожествляют люди?"... У Пушкина («Красавица»): "...Благоговяя богомольно / Перед СВЯТЫ-НЕЙ КРАСОТЫ»...

Это — о Раисе Михайловне...

У Заболоцкого: "...Сосуд она, в котором пустота, / Или ОГОНЬ, мерцающий в сосуде?"

Это о Галине. И о бедной Мусе... О двух женщинах Матвея, которых я знала... (Напоминаю — выделено мной —Т.Л.) Да, бывали мы с Женей у них часто. И Галочку полюбили. Росла на наших глазах. Очень маму и папу любила. И бабушку с дедушкой. Матвей боготворил ее, баловал... Замечательная была семья...



На ступенях Камероновой галереи. Слева от Матвея — Тамара, справа — Муся

И еще шагнем через десятилетия. Ты, Володя, уехал в 74-м, мой Женя, увелена, не без твоего примера, — в 77-м. Не поехала я с ним. Осталась с шестилетней дочкой. Обиды на него не было, скорее — вина: два года уговаривал меня, в больнице лежал, с инфарктом, язвой желудка. Не поехала...

Но — речь ведь не о нас, о Матвее. Он в первое время часто приезжал ко мне, поддерживал, помогал, чем мог. О Жене НЕ ГОВОРИЛ. ИМЕНИ ЕГО НЕ ПРОИЗНОСИЛ. Несмотря на мои просьбы написать ему — другу своему ближайшему! — отказался категорически: "СТРАНУ СВОЮ ПРЕДАЛ! ЗНАТЬ ЕГО НЕ ХОЧУ!.. СОВЕТСКУЮ РОДИНУ НА ЧТО ПРОМЕНЯЛ?..». Мы реже стали встречаться — не хотелось мне; кое-что я уже понимала... С Женей поддерживала связь через приятельницу: для меня, журналистки-сценаристки, получать от него письма-посылки было небезопасно...

И еще лет 10 прошло. Звонок. Матвей. Хочет приехать — у него важная новость. НИКОГДА ТЕБЕ, ВОЛОДЯ, НЕ ДОГАДАТЬСЯ: приехал — прощаться: уезжает в Израиль!!! Один. Без семьи! Галя и Галочка не едут, остаются!.. Какие бури — перемены должны были произойти в нем?.. Не мог объяснить мне при том нашем свидании. УЕХАЛ...

Через несколько лет прислал густо исписанную толстую тетрадь — просил сказать свое мнение, подредактировать — воспоминания о войне, о фронтовых друзьях; я сделала, что могла, отправила ему... О судьбе той рукописи, несомненно интересной и хорошо написанной, узнать не довелось. Надеюсь, встретимся, но...

Вот тебе, Володя, и КОНЕЦ, ДИКИЙ, ЖЕСТОКИЙ, НЕЛЕПЫЙ друга нашего Матвея Лукницкого. ИСТИННОГО, РЕДКОГО ГЕРОЯ ФРОНТОВОГО СОДРУЖЕСТВА. Там, в Израиле, он, переходя дорогу, стал ЖЕРТВОЙ ДТП — попал под автобус. Погиб... Чудовищно это. Больно. Обидно. ...

Не разгадала я ЗИГЗАГОВ ЕГО ЗАГАДОЧНОЙ ДУШИ. То вспомнится такой далекий теперь ПЕРРОН НА СТАНЦИИ ИНЗА... ТО — «ФРОНТОВОМУ ДРУГУ ПОСЫЛКА. ГОЛОДУХА У НИХ»... То — как "воевал" за ДОЧКУ брошенной им Муси... То слышу о Жене: «Родину предал! Знать его не хочу!» То — «Прощаться пришел. Уезжаю... Один...»

Нет, не разгадала...



Матвей

На днях я позвонила Галочке. Работает. У нее — дочка, трое внуков: две старших — девочки и малыш — ВНУК.

ЕГО НАЗВАЛИ МАТВЕЕМ...

МОИ КУРОРТЫ

Володя! Предполагала три совершенно отдельных сюжета — воспоминания. Но — ВДРУГ! — им "захотелось" ОБЪЕДИНИТЬСЯ в три главки одного. Получится ли?.. «МАТВЕЯ» моего ты одобрил. Удивился ЗИГЗАГАМ его странной судьбы. Опечалился ее трагическому концу. Понравилось и как я рассказала о нем.

А вот «КУРОРТЫ» посылаю тебе со страхом. Особенно — ТРЕТИЙ... Что скажешь?..

Итак, глава 1-я — "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (год 35-36, я — малышка); 2-ая — "ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ" (перед самой ПЕРЕСТРОЙКОЙ, 83-84-й, мне — за 50); 3-я — "ДАМА... БЕЗ СОБАЧКИ" (видишь, даже хронологию побоку: мне — 29, год 59-й).

1

Позднее раскаяние

Ты помнишь, Володя, жили мы до войны в Запорожье, на Украине... Неожиданно я, невесть почему, подхватила серьезную болезнь с устрашающим названием: "воспаление почечных лоханок". Мама — в панике. После долгих хлопот папе, через Профсоюз на своем комбинате "Запорожсталь", удалось достать путевку в специальный детский санаторий в Крыму — на берегу моря, в Феодосии. Конечно, мама поехала со мной: ребенку, то бишь мне, всего 5-6. Я — в санатории; она поблизости сняла угол, каждый день меня навещает...

«НАВЕЩАЕТ»... Это было целое приключение! Свидания с родными решались только по выходным — нас отпускали на весь день: гуляй с мамой-папой, ешь мороженое, купайся!.. Но наши законы... Кто и когда их исполнял, тогда и теперь? Мамы подходили к высокому, из досок, забору, да еще поставленному на вал, насыпанный вокруг санатория (прямо-таки — КОНЦЛАГЕРЬ!), а мы, ребятня, хватаясь за кустики и травку, сплошь покрывавшие этот вал, ползли по зеленой горке вверх, не раз на трудном пути соскальзывая вниз, и снова лезли, выше, выше! Добирались, счастливые, до забора, испещренного множеством дырочек (тут уж старались — сверлили папы); мамы, каждая у "своего окошка", жадно рассматривали любимое чадо, узнавали о наших новостях — анализах, совали в руки гостинцы, и мы, очень довольные, победителями, свернувшись калачиком, стремглав скатывались вниз. Не помню, чтобы кто-нибудь всерьез пострадал, руку-ногу сломал, даже здорово ушибся. Так, бывало, чуть-чуть. Очень ловко скатывались... Воспитатели, вожатые, врачи, думаю, знали — не могли не знать! — об этих "злостных нарушениях режима", но... почему-то дружно не замечали их...

Тут-то, у забора, все и началось... Вначале мама приходила одна. Потом я стала замечать: ее поджидает дяденька. Под деревом стоит, в тенечке... Может быть, не ее ждет? Нет, ее — уходили вместе, это я в дырочку разглядела. Не могу объяснить тебе, Володя, почему мне это не понравилось. Очень не понравилось. А он все приходит и приходит. С мамой. Каждый день. Всякое вкусенькое стал мне приносить. Улыбается. Рукой помашет, когда уходят... Чужой дяденька. Противный. И не нужны мне его гостинцы...

... Но вот долгожданный выходной. Сейчас придет мама. Обещала — сразу на море! Сколько хочу, будем плескаться, пока не замерзнем. (Купались мы с ребятами каждый день: попрыгаешь пять минут у самого берега, гудит горн: ВЫХОДИМ! БЫСТРО! А с мамой — далеко-далеко заплывем: лежу у нее на ладонях, ногами болтаю, скоро сама буду плавать. Вода теплая — хорошо!)

Пришла мама. Красивая, нарядная. Новая прическа у нее — я заметила. Пускают сегодня родителей прямо в нашу палату. И меня причесала по-новому, челочку — набок. Тоже нарядила — платье новое принесла и сандалики. Все подошло, точь-

в-точь. Гордо иду по дорожке к воротам, крепко держу маму за руку... Только вышли — а там... — я и забыла про него — этот дяденька. Стоит — улыбается...

И совсем не на пляж мы пошли, а в кафе. Нет, не в кафе, в кафе мы с мамой были, а в РЕСТОРАН, на самом берегу моря... Первый раз такое увидела... Как ДВОРЕЦ из волшебной сказки... Все светится. Потолок разноцветный какой-то, из стеклышек. Сели за столик под пальмой — настоящая пальма, развесистая. Дяденька взял листок — "меню" называется — стал читать: "Выбирайте, — говорит, — что хотите!" Мы и выбрали. Только названия все непонятные... Я заметила: мама тоже не знает — дяденька подсказывал. Скоро нам принесли на подносе... ТАКОЕ!!! Разные-разные салатики. Потом — какие-то рыбки маленькие, без косточек; наверное, только что в море поймали. И котлетки кругленькие, а, может, и не котлетки вовсе. А еще тортик с узором, с цветком по самой серединке — жалко было резать! Посмотрели бы наши ребята из санатория... Ем я, все пробую. Уже и не могу. Объелась. Спасибо бы надо сказать, мама учила, а мне... не хочется. Не хочется — и все. Дяденька не нравится. Все равно — не нравится. Хоть и угостил вкусно. Все равно — противный. Не буду смотреть на него. На маму буду. Но мама... Смотрю, смотрю... Мама тоже не нравится! Вся какая-то не такая. Смеется странно — не слышала я, чтоб так смеялась. И голос не такой. Не похожа на маму... Сидят, между собой разговаривают. Рюмками стучаются... Забыли что ли про меня?.. И так грустно стало. Папу вспомнила. Сидел бы с нами вместо этого дяденьки папа, как бы хорошо было...

... А дальше... Что было дальше, Володя!!!.

Отчего — почему, не могу объяснить — ведь всего 5, нет, наверное, все-таки 6 лет было? Что понимала? Но — ВЗБЕСИЛАСЬ. По-настоящему ВЗБЕСИЛАСЬ. И вдруг вспомнился другой дяденька, из дома напротив нашего, называли его большие тетеньки и бабушки "горьким пьяницей": так и вижу, как на картинке — еле идет, шатается, кричит, ругается и... К-А-А-К — грохнется!.. Выбегает кто-то, тащат его в подъезд. Очень интересно смотреть — даже плакала, когда уводили с прогулки, не дождавшись "представления"...

И вот я, Володя, — трудно поверить, да? — но так было! — хватаю рюмку со стола — там на самом доньшке капля чего-то недопитого (мама потом говорила: думала — ПОЛНАЯ!) и, ОПРОКИНУВ лихо, все ВЫПИВАЮ... И — начинается... СПЕКТАКЛЬ! Самый настоящий СПЕКТАКЛЬ: "Я — ГОРЬКАЯ ПЬЯНИЦА!.." У маленькой девочки — ИСТЕРИКА! Напили несчастную! Она вскакивает. Но стоять не может. Шатается. Рыдает. Бьет кулачками по столу... И КРИЧИТ, КРИЧИТ ВО ВЕСЬ ГОЛОС: «ДОМОЙ ХОЧУ! К ПАПЕ! К ПАПЕ!..» Дяденька пытается меня успокоить, сначала — ласково, уговаривает, потом начинает злиться, повышает голос, хватается за руки, пытается шлепнуть — я вырываюсь, ору и... ГРОХАЮСЬ на пол, как тот "горький пьяница" из дома напротив!.. Люди с соседних столиков оборачиваются, осуждающе смотрят, подбегает кто-то со стаканом воды...

И тут... моя мама, сидевшая неподвижно, словно замерла, ВСТАЕТ... СПОКОЙНО, ВЛАСТНО ПОДНИМАЕТ МЕНЯ, поправляет платье и волосы. ОБНИМАЕТ, ЦЕЛУЕТ:

— «Успокойся, не плачь, доченька! Дяденька больше не придет... Мы скоро поедем к папе...» Крепко берет меня за руку...

И мы УХОДИМ... Одни. Без дяденьки. Он, растерянный, смотрит нам вслед... Мама ведет меня к себе, в свой "угол", умывает, укладывает, ложится рядом — в санаторий отводит утром: сказала, что нездоровилось мне...

Больше я дяденьку не видела. Ни разу. И, по-моему, мама — тоже. Исчез дяденька... А скоро мы домой уехали, в свое Большое Запорожье. На вокзале нас папа встречал. С цветами — для мамы. И голубым воздушным шариком — для меня...

Ну, и как ты думаешь, Володя, что это было, моя ИСТЕРИКА? Абсолютно приговорная, сыгранная, как по нотам, и в то же время — столь же искренняя, ПРОТЕСТНАЯ? — "Молодец, умница! — скажешь ты? — Инстинктивно, ничего не понимая, ПАПУ ЗАЩИЩАЛА!..» Так ты подумал?.. Вот и я так же: много лет, можно сказать — всю жизнь, ГОРДИЛАСЬ той ИСТЕРИКОЙ, тем СПЕКТАКЛЕМ в ресторане. И только совсем недавно, СЕЙЧАС, "при заходе солнца" — что-то в сердце моем ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ: а о маме-то я подумала? Единственный был курорт в ее жизни. Так сложилось. Ни до ни после не пришлось... «ДО» — я была малышкой, «ПОСЛЕ» — ВОЙНА ПРИШЛА... Бомбежки, эвакуация, уже с двумя детьми, братику годик — ежедневная борьба за выживание... А потом?.. Тяжкие послевоенные годы в Челябинске (не Москва — Ленинград!): продуктовые карточки — на десятилетия, бесконечные очереди... И меня после школы, отказывая себе во всем, отправили учиться в Ленинград... Какие КУРОРТЫ! А там и молодость прошла, болезни подступили, старость... Ну что плохого — развлекалась бы немного моя бедная мама? Случился бы у нее — один за всю жизнь! — "курортный роман"?.. Вспоминала бы его потом... Словом, грызет меня "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"...

2

Последнее свидание

...Мы едем ЗА ГРАНИЦУ!!! Пусть не совсем настоящую, не в "капстрану" — НАШУ ЗАГРАНИЦУ, СТРАНУ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ... Но — все-таки!... Ты, Володя, к этому времени, самому концу "Брежневского застоя", началу 80-х, был уже около 10 лет в Америке. Может быть, подзабыл, какой музыкой звучали эти слова для нас, проживших всю жизнь в "дружной семье" — "тюрьме народов", НИКОГДА, НИЧЕГО дальше Крыма — Кавказа не видевших?.. А тут предложили мне, кажется, наш Василеостровский профсоюз (но точно не уверена, и Галина Андреевна Пушко, заведующая библиотеки, где я тогда работала, не помнит) — за мой "ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД"! — две путевки, мне и дочке, в Болгарию, на знаменитый курорт — "Золотой берег"... Мы обе, конечно, — "на седьмом небе"...

...Но и представить себе не могли, какой ожидает нас ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ, прежде чем доберемся до заветного "Берега". Обеих. И меня, и дочку — ей было тогда 14, училась на первом курсе педагогического училища... Сколько всяких бумаг: заявлений, характеристик, анкет, с печатями и без них — пришлось заполнять — заверять, у кого-то подписывать. Да что там!.. Помню, несколько дней "ловила" секретаря Юлиной комсомольской организации — совершенно необходима была справка о ее "МОРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ". Бедный секретарь, парнишка лет 17-ти, очень хотел нам помочь, три варианта предлагал — никак не мог эту справку "сочинить". Пришлось мне куда-то за "образцом" бегать...

И вот — самое страшное. Волнуюсь, как перед экзаменом в Университете — предстоит пройти через "районную партийную комиссию"... Не смейся, Володя, в самом деле, страшно: что угодно могут спросить, чтобы признать ДОСТОЙНОЙ представлять ЗА РУБЕЖОМ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА... Помню длинный стол,

за ним человек пять. Все они показались мне строгими и... очень старыми (потом узнала: "старые большевики"). Вопросы задавали все, каждый, с серьезным видом, ни разу не улыбнувшись, самые разные: о партийных руководителях Болгарии — и не только Болгарии! — их именах-фамилиях, чем занимаются, какой вклад внесли в укрепление дружбы с нами, Советским Союзом. Об исторических корнях этой дружбы... Один вопрос, неожиданный, уже в конце, помню: «А зачем Вам Болгария? Разве у нас в Сочи хуже?» Растерялась я, что-то пробормотала, но, в общем, "экзамен" выдержала с блеском: набрала у себя в библиотеке справочников о странах народной демократии — зубрила накануне ночь напролет. Знаешь, чем, наверное, их "взяла" — даже заулыбались, оживились: вспомнила рассказ Всеволода Гаршина "ЧЕТЫРЕ ДНЯ" про русско-турецкую войну 1877-78 гг. за освобождение болгарского народа от турецкого ига — вот, мол, о дружбе нашей славянской... "Схитрила" — не читали ведь! — не знали, что рассказ этот (с ранней юности загавший в душу), пожалуй, самый яростный антивоенный ВОПЛЬ из всего, что у нас и не у нас, кем-то и когда-то было написано. Так что вопрос о том, почему предпочла Болгарию Сочи ничего не изменил. А ведь мог бы... Растерялась — испугалась не зря... Сейчас расскажу... Думаешь, все про "тернистый путь"?.. Как бы не так! Мне пришлось СОВРАТЬ, Володя, когда отвечала на один вопрос длиннющей анкеты. Поездку — такую вымечтанную — мне это вранье порядком испортило. Все три недели, каждый день, гнала от себя страх: "поймают", "откроют", «сообщат в партком». Не помню точно формулировки вопроса. Нужно было ответить: "Предполагаются ли ВСТРЕЧИ С ИНОСТРАНЦАМИ? С кем именно?".. (А, может быть, проще: «Есть ли родственники за границей?..») Я ответила: "НЕТ!" Это и было вранье, Володя! Еще как "ПРЕДПОЛАГАЛА"! Уже полгода ждала и готовилась к встрече с моим бывшим мужем... Жил Женя в Германии (из Израиля уехал — я писала об этом); специально взял на работе отпуск. Тоже ждал, дни считал. И Юлечка мечтала о встрече с папой... Не могла я не соврать в этой поганой анкете — опытные знакомые объяснили: напишу о Жене — не выпустят: ИНОСТРАНЕЦ! А если тайну какую-то (интересно — КАКУЮ?) выдам?.. Или... УЕДЕМ с ним в ФРГ?..

...И все-таки дождалась, был он, — "ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ", самый «шикарный» КУРОРТ моей жизни! Великолепный отель, а в номере... не знала такого, не видела — "собственный" душ и (прости!), тоже "собственный", — ТУАЛЕТ! Кормили как вкусно! Но, главное, конечно, ПЛЯЖ, какой ПЛЯЖ!.. Я солнца боюсь с юности — в воде, наверное, час — и под навес, как под крылышко... Даже висевший надо мной "страх разоблачения", о котором писала, придавал некую авантюрную, приключенческую изюминку ежедневно происходящему... А происходило вот что...

Из ресторана, после завтрака, мы, как и все туристы нашей группы, спешили: надо было не прозевать — успеть занять "свое законное место" на пляже. А рядом с нами — видно мы с дочкой ему понравились — устраивался, тоже на "своем постоянном", средних лет мужчина, судя по разговору, наш, русский, наверное, из другой группы — "познакомились случайно". Обычное пляжное знакомство... Веселый, симпатичный — с Юлей в волейбол играл, плавал, потом нас до отеля провожал. Наверх не поднимался — строжайше было не рекомендовано приводить в номер посторонних...

Тут, Володя, не придерешься — все в порядке... Но после ужина, под вечер... Второй акт нашей "трагикомедии" был куда опаснее. Юля выходила в длинный коридор, ждала момента, чтобы — ни души! — взмах руки в окошко! — и тут же появлялся "пляжный знакомый", вальяжно, не торопясь, шел по коридору, и — мгنو-

венно! — к нашему номеру... Почти каждый вечер приходил Женя!!! Веселые были встречи: как ни странно, ни о чем серьезном не говорили — развлекал нас. Чай пили с чем-то вкусным. Какие-то «шмотки» приносил Юле. Меня, буквально умолил, снял с себя (я не хотела: «Дочке — пожалуйста, мне — не нужно!»), — взять на память симпатичный зеленый свитерок — безрукавку (удивисься, Володя, и сейчас ношу его дома). Уходил поздно, часов в 11 — снова Юлю в раздевку посылали...



Папа с дочкой — Женя с Юлей

Вначале все шло — лучше некуда! Но... дня через три (Женя по-домашнему сидел на моей кровати: стульев на всех не хватало) — ВДРУГ! — громкий стук в дверь... Мы — вздрагиваем: что делать?.. У нас к тому времени, в туристской группе и в отеле, уже были хорошие приятели, и у меня, и у Юли. Обычно и двери не запирали. Ко мне часто забегала милая дама — врач, москвичка, а у Юли появился даже "ухажер" — мальчик, ее ровесник, из Литвы, кажется... (Не волнуйся: "моральная устойчивость" не пострадала.) Снова СТУК!.. Я растерянно смотрю на Женю. Он успокаивающе кивает и — через секунду! — оказывается в ВАННОЙ. Щелкает задвижка. Я открываю дверь...

Не повезло. Ни москвичка моя, ни Юлин парнишка. Вошла соседка из номера напротив, очень несимпатичная — попросила о каком-то пустяке. И — к ужасу моему! — явно поболтать настроена: стоит у двери и... ГОВОРИТ, ГОВОРИТ! Я не слышу ни слова, не прошу — невежливо! — пройди, присесть, чуть ли не выпроваживаю. А она все ГОВОРИТ и ГОВОРИТ. Меня пронзает догадка: "Узнала, проверяет... СООБЩИТЬ хочет!" (А "сообщить" было кому: в каждой группе имелся — и мы знали КТО — специалист по этим делам.) Обошлось. Ушла. "Не сообщила". Зря я на нее "копала"... И, знаешь, что любопытно? Удивительное создание — человек: ко всему приспосабливается. Не раз еще стучали в нашу дверь во время Жениных ежевечерних визитов. Но — никаких больше волнений: удобный уголок для него в ванной устроила (кресло достала!),

журналы положила — сиди, читай... Умудрялись мы даже — и не раз — прогуляться вдвоем по ночному берегу, поистине, "ЗОЛОТОМУ"...

...Осталось рассказать о расставании. ПРОЩАНИИ. Мы оба чувствовали — НАВСЕГДА. (Так оно и вышло — больше увидеться не довелось.) Мы с Юлей уезжали раньше — увозили нас к черноморскому порту. Женя провожал — рукой мы на все махнули... (Подразнивали меня всю обратную дорогу мои «сокурортники»: «влюбился, мол, пляжный знакомый». А мы, между прочим, прожили с ним почти четверть века в законном браке.) Вещи помог донести. Стоял у самого автобуса. Смотрел на нас. А в глазах — слезы. ВТОРОЕ ПРОЩАНИЕ. ВТОРЫЕ СЛЕЗЫ. Первые — лет семь назад, когда было ПРОЩАНИЕ ПЕРВОЕ. Помню, подошел к Юлиной кровати — она спала еще — посмотрел, погладил по головке, вышел в прихожую... Резким движением взял чемодан, рюкзак накинул, посмотрел на меня — я стояла напротив, прислонившись к стенке — тогда и увидела слезы. Повернулся. Хлопнула дверь...

... Вот, Володя, и все, что хотела рассказать о "ПОСЛЕДНЕМ СВИДАНИИ"...

ПРИМЕЧАНИЕ

(Брату моему посвящается)

Володя, я так рада, что тебе понравились обе главки «КУРОРТА», и первая («Малышка — папу защитила!»), и вторая, "ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ". Особое впечатление произвел мой «ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ», перед отъездом в Болгарию, через районную партийную комиссию. Вспомнил, наверное, как уезжал сам? Радуйся, что молодые прочтут и узнают. Вот цитата из твоего письма:

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ И ВРЯД ЛИ ПОВЕРИТ, ЧТО ТАКОЕ МОГЛО БЫТЬ».

Прямо как в воду глядел... Удивительное совпадение! Вчера, когда прочла твое письмо, — огорчение было. Неважно, что речь совсем о другом — по сути о том же...

Слушала "ЭХО МОСКВЫ". Обсуждался новый законопроект нашей неугомимой Думы: предлагается, кажется депутатом от КПРФ, точно не помню, снова ввести в паспорта российских граждан графу — "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ". Ведущий просил слушателей, в ЖИВОМ ЭФИРЕ, поделиться своим мнением...

Звонок было довольно много и очень разных. Дискуссия, спор... Кто-то высказал ОПАСЕНИЕ — так, мол, было в долгие послевоенные десятилетия: "Увидит начальник злосчастный " 5-й пункт" — "ЕВРЕЙ" и — "КРЫШКА"!.. Ни тебе института, МГУ или ЛГУ, например, ни работы хорошей — будь ты хоть семи пядей во лбу. А если снова вернется?" (Кстати, мы с тобой, Володя, ох как это "проходили", о чем немало страниц в нашей повести "ЧЕРЕЗ ОКЕАН".)

И сразу — другой звонок. Мужчина — постоянный слушатель "ЭХА" (учти, особый слушатель, "избранный": далеко-далеко не все слушают "ЭХО"). Голос — звонкий, молодой. Уверенно, пренебрежительно, насмешливо возражает:

"ЧТО ЗА ЧУШЬ! НИЧЕГО ТАКОГО НЕ БЫЛО! И УЧИЛИСЬ, ГДЕ ХОТЕЛИ, И РАБОТАЛИ. ВЫДУМКИ ВСЕ!"

Так что прав ты, Володя, — «НЕ ЗНАЮТ» и «ВРЯД ЛИ ПОВЕРЯТ», но... чтобы ЗНАТЬ и ПОВЕРИТЬ, надо сначала — ПРОЧИТАТЬ. Вот чего опасаясь: НЕ ЧИТАЮТ!!! А, значит, и НЕ УЗНАЮТ, И НЕ ПОВЕРЯТ. И нашу с тобой "ПЕ-

РЕКЛИЧКУ" будут ли ЧИТАТЬ? Я говорю, прежде всего, о молодых. Мы получили немало отзывов, но, если правде в глаза: почти все — не от старших ли поколений? Как хотелось бы мне, чтобы этот молодой СЛУШАТЕЛЬ "ЭХА" прочитал то, что сейчас вспомнилось — коротенький эпизод из 70-х годов.

...Есть у меня родной брат, младший — Саша, Александр Львович Рабинович. Талантливый человек, яркий. Я не преувеличиваю. Вот я была — примерная отличница, трудолюбивая, старательная, непросто мне мои "пятерки" давались. А Саша — другое дело: легко, играючи учился, и в школе, и в институте. Потом — блестящим инженером был. Любили его коллеги: "Так интересно с ним работать!» Команду вокруг себя создал, в основном — из молодых женщин-инженеров. Как-то полшутя — полусерьез сказал мне: «У НАС, чтобы сотрудники твои оставались работать допоздна да еще по выходным приходили — ведь всё на энтузиазме, платить я им не могу! — один выход: окружить себя влюбленными женщинами». И — окружил! Совсем молодым кандидатскую какую-то необыкновенную защитил. А как бардовские песни под гитару пел! Читал, по-моему, больше меня, филолога ...

Так вот. Написал мой брат статью в какой-то (наш, конечно) научный журнал. Речь шла об экологии — предлагал новый метод очистки воды и воздуха от производственных загрязнений; на Урале, в Челябинске, где он живет, проблема это сверхактуальна.



Брат Саша с Юлей

И — ВДРУГ! Звонок из Москвы. Статьей заинтересовались... в Париже, где будет проходить конгресс (конференция?) экологов мира. Приглашают уважаемого автора статьи А. Л. Рабиновича приехать и выступить с докладом о предложенном им методе. Все расходы берут на себя...

... Несколько дней шли нервные согласования: Москва — Челябинск. Затем, в Париж была отправлена телеграмма, примерно такого содержания: " А.Л. Рабинович в настоящий момент приехать не может (объясняли причину: то ли -"болен", то ли — " в отъезде", то ли "занят срочной работой" — не помню). Вместо него отправляем в Париж... (допустим!) Н.П. Иванова". Через день — получили ответ:

"Хотим услышать доклад автора статьи А.Л. Рабиновича. С работами Н.П. Иванова в области экологии не знакомы. Очень сожалеем. Приглашение отменяется"...

Ну как? Почти анекдот, да? Нет, правда, Володя...

Не выступил Саша на том конгрессе с докладом, не встретился с виднейшими учеными -экологами разных стран. Не увидел Парижа. Ни тогда, ни потом — тяжело заболел, никуда уже не поедет...

Прочитает ли о моем брате молодой слушатель "Эха Москвы", который так уверенно провозгласил: "НИЧЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО! ВЫДУМКИ ВСЕ!..." Наверное, нет... Не прочитает. Не прочитает и нашей с тобой повести- переключки «ЧЕРЕЗ ОКЕАН», хотя бы две ее главы (мою — «НИ ПЯТЕРКИ, НИ МЕДАЛИ», твою — «МОИ КОСМОПОЛИТЫ»): они как раз — про «ЭТО». Зачем же пишем?..

И все-таки еще несколько слов о моем брате, по-моему, весьма любопытных. И совсем о другом...

Не поехал Саша в Париж в 70-х, но... лет через 10, 26-го апреля 86-го года, странно, что — в субботу, но это так (здесь необходима ТОЧНОСТЬ!), волею судеб, оказался в Гатчине, под Ленинградом, в Институте Ядерной Физики, сейчас говорят — «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров мира, а еще — «атомное сердце Гатчины»... Приехал Саша на несколько дней в командировку — очень мы с Юлей радовались...

И вот — звонок. Саша из Гатчины вернулся. Открываю. Какой-то не такой... Станный. Неподвижное лицо. Стоит за дверью. Неестественно-спокойно просит намочить и дать ему тряпку, которую можно будет выбросить. Тщательно вытирает туфли. Входит, не касаясь двери. Идет в ванную, слышу — открывает кран. Долго моется. Просит вынуть из чемодана и дать ему чистое белье. Выходит... Снятые с себя вещи складывает в «авоську». Все это время — ни слова. Наконец, проходит в комнату, садится на диван, мы — рядом. И... РАССКАЗЫВАЕТ...

Так мы с дочкой раньше всех своих сограждан, значит, и раньше тебя, Володя, не побывавших 26-го апреля 86-го года в «атомном сердце Гатчины», узнали о Чернобыльской катастрофе. Из далекой Припяти до Ленинграда, в ночь с субботы на воскресенье, долетела смертельная угроза, и неведомые мне приборы показали это. Только на ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 28-го в 21.00, «диктор припятской радиотрансляционной сети сообщил о сборе и временной эвакуации жителей города». Все далее — тебе известно... Я же, так до сих пор и не понимаю, почему мой брат, оказавшийся случайно в тот злополучный день в «ядерном институте», мог получить, как он сказал мне, некую дозу облучения и сделал все возможное, чтобы уберечь нас...

Удивительная история, не правда ли?..

3

Дама... без собачки

Есть ли у тебя любимые фильмы, Володя? Имею в виду, фильмы нашей юности — молодости? У меня — несколько. Но — ОДИН... С ним связаны совершенно особые воспоминания...

Вернулась я тогда из Ялты. На курорт ездила. Одна. Без мужа. Цель была — (прости!), по «женской части»: замужем шесть лет, а ребенка все нет; очень мы с Женей по этому поводу переживали... Словом, ехала — лечиться. А вернулась домой — новый фильм вышел, для всех — замечательный, для меня — ПОТРЯСАЮЩИЙ,

почти «МИСТИЧЕСКИЙ»... «ДАМА С СОБАЧКОЙ» режиссера Иосифа Хейфица по одноименному рассказу А.П. Чехова (к столетию со дня его рождения). Множество премий получил, в том числе — международных. В главных ролях — Алексей Баталов, Ия Саввина, Нина Алисова. «Ленфильм». Год 1959-й. Мне — 29...



Дама с собачкой, кадр из фильма

Если бы ты читал рассказ или роман — не поверил бы: выдумка, «перехлестывает» автор. Зачем? Но у нас с тобой — «мемуарная проза», абсолютно правдивая, так ведь?..

Посмотрели мы с Женей фильм. Вышли из кинотеатра — глаз на него не могу поднять: ну почему этот фильм появился именно сейчас, когда я только что вернулась, ТОЖЕ — из Ялты, куда ездила лечиться и ТОЖЕ — «по женской части», где — ТОЖЕ — встретила ЕГО и начался — ТОЖЕ! — ЕДИНСТВЕННЫЙ в моей замужней жизни РОМАН (помнишь, у мамы моей — из-за меня — не случившийся!)?.. И — ДАЛЬШЕ (тогда я этого еще не знала!)- дальше ТОЖЕ похоже. Да не бывает такого в нашей прозаической жизни! Но было, Володя, было. Чистая правда. Разве что КОНЕЦ — разный. И «ДАМА»... — без собачки. . .

...Познакомились мы в длинной очереди в столовую «самообслуживания»; оба — с пляжными сумками и подносами в руках. Народу в обед, как всегда, много, стоять — скучно, вот и разговорились: слово за слово. Приятный, интеллигентный с виду молодой человек, примерно ровесник. Отнес мой поднос к свободному столу, устроился — напротив... И с того дня, Володя, каждый день, не стовариваясь (утром я ходила на процедуры), встречались в обеденный час, под навесом этой всем ветрам открытой столовой, и — уже до ночи! — не расставались: пляж, вечерние прогулки, общий ужин на скамейке в парке — всухомятку и — разговоры, разговоры... Оба жили у частных хозяев — снимали «углы», «все удобства» — на улице, но... тогда это ничуть не смущало, нормальным казалось (недаром, без малого через четверть столетия! — так поразили, не такие уж, наверное, «шикарные», номера болгарского «Золотого берега»).

...Кто ОН, мой курортный знакомый?.. Инженер. Из Харькова. О жене тепло говорил. Сынишку лет шести обожал. Фото показывал. Как его звали?.. Нет, не скажу. Надеюсь, живы они с женой, сыну должно быть — за 60. В другой стране сейчас, если по-прежнему в Харькове, но... тесен МИР, не хочу, чтоб прочитали.

Называть его буду без имени — просто «ОН»... Сошли мы оба с ума, Володя. Непонятно, мгновенно: не девочка-мальчик ведь, семейные, взрослые люди...

Как волшебную сказку, внезапно ворвавшуюся в мою вполне добропорядочную жизнь, вспоминаю я эти три ялтинские недели. И — никаких сомнений, колебаний, мук совести. Это все — потом, потом. А тогда — только ПРАЗДНИК, РАДОСТЬ НЕСКАЗАННАЯ... Наверное, это и есть — «подарок судьбы», МГНОВЕНИЯ СЧАСТЬЯ?.. Вспомню лишь несколько моментов — ПИК.

...Экскурсия в горы. Сначала — ехали, потом долго взбирались вверх. Красота величественная: горы, бурная, через камни, речка, обрыв... Вели себя — теперь мне кажется — совершенно неприлично: не слушая экскурсовода, в стороне от всех, взявшись за руки и руки друг друга не выпуская, ни с кем ни слова не говоря, а ведь рядом были знакомые — всё шли и шли по тропинке куда-то вверх...

И еще... Далекая поездка — на катере, вдоль черноморского побережья. Волны порядочные — качка, брызги в лицо... Стояли вдвоем на самой корме — здесь уже без всяких знакомых! — и — совестно признаться, Володя! — ведь всегда, всю жизнь, стыдливая до глупости, осуждавшая иных: выставявших интимное на всеобщее обозрение; а тут — ПЛЕВАТЬ НА ВСЕХ! МЫ ИХ НЕ ВИДИМ! НИКОГО, КРОМЕ НАС, НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ! — ЦЕЛОВАЛИСЬ...

Наконец, самое незабываемое... Но лучше, чем я, расскажет о нем один из самых любимых моих поэтов, Николай Заболоцкий. Перечитай, Володя, в его цикле «Последняя любовь» второе стихотворение — «Морская прогулка». Уверена, эта та самая, наша, от Ялты — к Гаспре, «Ласточкиному гнезду» — миниатюрному замку на вершине отвесной, 40-метровой «Аврориной скалы». Называют его и «Жемчужиной Крыма», и «Замком любви»... Но запомнился мне почему-то не замок, а высоченный, почти круглый, грот, в который сквозь вход-щель, в ТЕМНОТУ, из яркого СВЕТА — проскользнул, «вплыл» наш катер... О нем и стихи Н. Заболоцкого. Я напомню тебе две строфы:

Вот — первая:

На сверкающем глассере белом
Мы заехали в каменный грот,
И скала опрокинутым телом
Заслонила от нас небосвод.

И — предпоследняя:

...Но водитель нажал на педали,
И опять мы, как будто во сне,
Полетели из мира печали
На высокой и легкой волне...

Прочитай (или — перечитай?), Володя, весь цикл. Это замечательные стихи. А та поездка — наша последняя, общая с НИМ, радость...

А потом я уехала. Первая. Была уверена — расстались навсегда. ОН провожал меня. В последнюю минуту дала слабину: протянула листок с домашним телефоном (давно просил, я — отказывалась)... Не надо бы!.. Почему?.. Помнишь, я говорила, что и дальше, после Ялты, «ДАМА... без собачки» продолжалась? Да, продолжалась, около двух лет... Анна Сергеевна приезжала к Дмитрию Дмитриевичу Гурову в Москву. ОН — приезжал ко мне в Ленинград... Но это уже не РАДОСТЬ была — МУКА...

...Мы жили тогда на Васильевском острове, на углу Среднего проспекта и 8-й Линии, в большой коммунальной квартире, с общей кухней, туалетом, без ванны (мыться ходили в баню, благо — недалеко, на углу 7-й)... До войны вся квартира принадлежала Жениным родителям — там и жили, и фотомастерская отца была; в ней и блокаду пережили; там от голода умер его маленький братишка Левочка (я писала об этом в нашей повести-переключке)... Уже во время войны (родителей в 43-44-ом, точно не знаю, как и многих блокадников, вывезли из Ленинграда) все шесть комнат заняли семьи, потерявшие жилье от бомбежек. Жене после войны, как фронтовику, вернули одну, хорошую, светлую — 18 кв. м... Сюда и приехали мы, отработав после Университета три года в Карелии...

Володя, мне хочется рассказать тебе один грустно-забавный эпизод из самых первых дней моей новой «коммунальной жизни». Я плохо ориентировалась еще в незнакомой обстановке, а ночью пришлось выйти (извини!) в общий коридор, двигалась вслепую, на ощупь — выключатель не нашла и — на обратном пути — «заблудилась»: ткнулась в чужую дверь, испугалась очень — шарахнулась, еле свою отыскала... А жили в той комнате, очень маленькой, как раз напротив нашей, молодые супруги, не знала даже еще их имен...

... Утром, как раз выходной был, захожу в кухню и вижу... **СОБРАНИЕ! ВСЕ ЖИЛЬЦЫ В СБОРЕ!** Бурно обсуждают что-то. Как по команде, обернулись ко мне. Осуждающие, насмешливые взгляды. А («молодожен») **ГНЕВНО**, во весь голос, провозглашает: «Вот она! Подглядывает. Ночью, в нашу дверь! Чего она там не видела! Как не стыдно! А еще журналистка! Университет кончила!..» Ох, и рыдала я, Володя. Вздох. Просила Женю: «Уедем! Уедем отсюда! Не могу здесь...» Куда уедем?... 10 лет прожили в этой коммуналке. И, представь, подружилась со всеми. Когда в 67-м переехали в свою теперешнюю квартиру, в одном из первых ЖСК, — ее ты знаешь, был у нас — долго еще перезванивались...

Чувствуешь: не хочется мне возвращаться к моей «Даме» ... без Ялты? Но — куда деваться?.. Коль «взялась за гуж...». Продолжу... Телефон у нас был один на всех, в общем коридоре. Звонила я, звонили мне — постоянно: была тогда внештатным автором Детской редакции, договаривалась о встречах с будущими участниками передач. Добрые мои соседи (!) безропотно терпели: работа уважаемая — **ТЕЛЕВИДЕНИЕ!** Из Челябинска тоже мне звонили, мама с папой... И среди множества этих звонков терялся **ОДИН**, не чаще раза в неделю... из Харькова. Говорил больше ОН. Да и о чем скажешь?.. Как здоровье жены и сынишки?.. Что еще? Ходят ведь непрерывно мимо, туда-сюда, с кастрюлями, посудой, венчиками, тети и дяди — каждое слово слышно. Вот и помалкивала. Думала — надоест ему. Но ОН все звонил, звонил. И — **ВДРУГ!**.. «**ПРИЕЗЖАЮ В КОМАНДИРОВКУ. ПОЗВОНЮ ИЗ ГОСТИНИЦЫ!**»... Не знаю, была ли я рада — растерялась, обомлела... Как видеться будем? Что Жене скажу?.. Уже когда трубку повесила, сообразила: «Какая командировка?» Был самый канун нескольких нерабочих дней — 7-го ноября, праздника «Октябрьской революции». Сразу скажу, **ПЯТЬ РАЗ** за почти два года приезжал ОН в Ленинград, всегда говорил — в «**КОМАНДИРОВКУ!**» и... все пять раз — в праздники: как видно, не было ни единой деловой ниточки, связывающей его завод в Харькове с моим городом на Неве. Тревожило: как объяснял эти поездки дома? Не спрашивала, а ОН не говорил...

... Мне трудно, Володя, писать тебе — рассказывать этот сюжет. В «помощники» взяла Николая Заболоцкого — ты уж прости... Есть у него в стихотворении «Последняя любовь», давшем название всему циклу, такие строки:

...И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные детиночей...

Пронзительно звучат они для меня. Одно слово заменю: «БЕСПРИУТНЫЕ ДЕТИ... ДОЖДЕЙ» ...Негде было нам «приютиться». Хоть недолго побыть вдвоем... А дожди, тоскливые, осенние, шли непрерывно. Куда податься? Какая уж тут «Дама с собачкой»: не снять ЕМУ было, как Гурову, отдельный номер в отеле: «командировка» и без того, думаю, недешево обошлась скромному инженеру; на двоих, даже, кажется, на троих, был его номер в гостинице...

Несколько дней шатались по улицам. Повела в Эрмитаж — с импрессионистами познакомила. (В Ленинграде ОН был впервые.) И в Русском музее от Брюлловского «Последнего дня Помпеи» оторвать не могла. Сказал, что я «открыла» ему Левигана. В кинотеатре «Аврора» на Невском новый фильм посмотрели. В кафе долго сидели — время тянули. А дождь то лил, то капал... Ленинградский, заунывный дождь...

ЕМУ-то хорошо — свободен. А мне — как?.. Не умела я Жене врать. И не нужно было. Да и что тут соврешь? Какие в праздники репетиции, деловые встречи? Куда-то мы с ним пойти собирались, с друзьями встретиться... Но — ВРАЛА, ВРАЛА. СОЧИНЯЛА. И еще как!.. Уходила из дому все три «командировочных» дня, муж один оставался. И ведь не только Жене ВРАЛА. Привела ЕГО на телевидение. Пропуск написала. В аппаратную поднялись, в студии заглянули — очень хотелось ЕМУ посмотреть. Знакомым представила: «Мой школьный товарищ. На праздники приехал. С Украины...» Ох, тяжкое это дело — ВРАНЬЕ...

И, как ни странно, Володя, благополучно прошли ЧЕТЫРЕ ЕГО приезда. А вот — ПЯТЫЙ... Недаром говорят: плохо ВРАНЬЕ кончается. Всегда. Раньше ли, позже — вылезает наружу... Был этот «ПЯТЫЙ» — особенный: впервые выдалась ЕМУ весенняя «командировка» — к 1-му мая. И дни — очень нам повезло! — для ленинградского мая прямо-таки летние: ясные, солнечные ... Во всю тут развернулся мой «гидовский» талант — упоенно водила его по городу, «влюбила» в МОЙ Ленинград... Усталые, но на подъеме, веселые, вошли в «Норд» (давно уже называется — «Север») — помнишь, Володя, магазин с кафе, напротив Гостиного двора на Невском, с самымивкусными на свете пирожными?.. И — сразу — еще за столик не сели, слышу радостное: «Тамара! Сколько лет — сколько зим! А Женья — где?»... Наш старый приятель, тоже журналист, давно с ним не виделись. С законной женой (с ней мы тоже знакомы) и маленькой дочкой ушатают «коронное блюдо» нордовское — совершенно воздушное, «райского вкуса», суфле; им-то и хотела поразить ЕГО... Пробормотала я что-то невнятное, представила своего «соученика, приехавшего с Украины» — заняли столик от них подальше. Съели что-то наскоро — быстро смотались...

А ВЕЧЕРОМ того же дня... пришел конец затянувшегося «курортного романа». ОН провожал меня домой, а на углу 8-й Линии и Среднего проспекта, где мы обычно прощались... стоял — ЖДАЛ Женья... И во сне присниться не могло: наш старый друг- приятель, сразу после «Норда», ПОЗВОНИЛ ему и рассказал,.. где и с кем меня видел, тогда как в ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ — Женья не сомневался! — была у меня в разгаре важная, давно запланированная встреча чуть ли не с академиком, героем предстоящей вскоре (в самом деле!) детской передачи о полярниках... Думаю, надеюсь, что именно так: приятелю нашему и в голову не пришло, что раскрыл глаза ревнивому мужу на «изменщицу — жену»; просто обрадовался нечаянной встрече, вспомнил друга, тоже фронтовика, — увидеться захотелось.

Вот и позвонил... Хороший ведь парень вроде был. Или — иначе?.. Понял, ЧТО увидел, по нашей растерянности, смущению, «бегству»? Тогда — элементарная подлость. Мне, собственно, это не так уж важно...

...Дома я все рассказала Жене — не могла больше ВРАТЬ. Да и догадывался уже. А ночью — вызвала скорую — отвезли его в больницу. Первый инфаркт. (Фронтовые ранения сказались.) Было ему тогда — 36. (Потом, через 15 лет, второй. Когда уезжал из страны).

На следующий день позвонил ОН:

— Я уезжаю. Позвонить можно?

— Нет. Не звони.

— Мы еще увидимся?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда. Все...

... И не было больше звонков из Харькова. И не увиделись НИКОГДА...

Ты помнишь, Володя, как заканчивается рассказ А. Чехова и фильм И. Хейфица о «Даме с собачкой» и Дмитрии Гурове? Автор оставляет им надежду:

«И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь...»

У «ДАМЫ... без собачки» и того, кого я называю — «ОН», надежды не оставалось. И потому закончу — в третий раз обращаюсь к нему — стихами (фрагментом, и снова — две строфы) Николая Заболоцкого из того же цикла — «Последняя любовь». Кто еще так писал о СЧАСТЬЕ?

... Оно так редко нам мелькает,
Такого требует труда!
Оно так быстро потухает
И исчезает навсегда!
Как ни лелей его в ладонях
И как к груди ни прижимай,
Дитя зари, на светлых конях
Оно умчится в дальний край!
И — УМЧАЛОСЬ!..

НАШ ЮНЫЙ КАПИТАЛИЗМ,

или

«В ЛИХИЕ 90-е» — «ГОДЫ НАДЕЖД»

Их называют и так, и этак. Да, «ЛИХИЕ». Еще какие! Даже — БАНДИТСКИЕ. Словом, годы «первоначального накопления», этап, пройденный Западом на столетия раньше... Но и «ГОДЫ НАДЕЖД»! Великих, радостных — ВЫШЛИ, наконец, НА ШИРОКУЮ ДОРОГУ. СТРОИМ ДРУГУЮ, ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ, СВОБОДНУЮ СТРАНУ! Я, Володя, свято в это верила, на митинги ходила... Снова открылось окно, пробитое Петром в Европу... Знакомые, с которыми довелось общаться — почти все! — придерживаются либо одной, либо другой точки зрения: ИЛИ — ИЛИ. Я же уверена: верны обе. И «ЛИХИЕ», и «ГОДЫ НАДЕЖД» — одновременно. Неповторимое время. Хочу рассказать об эпизоде той поры из

своей жизни — удивительном. Статью о нем написала, 14 страниц на машинке, с названием —

«Почти детективная история»...

Совершенно не помню, почему даже не пыталась опубликовать ее. Так и пролежала 20 лет в ящике письменного стола под горой ненужных бумаг. Как ни странно — наша. Прочитала. На последней странице — дата: 95 г. Устарела, конечно. Возьму из нее факты, имена, даты, может быть, фрагменты, цитаты. И — заново расскажу... Тем более, что история моя началась раньше — в 91-м. А истоки ее — еще в советском, далеком — 83-м...

По-моему, ты не знаешь, Володя, что я некогда была участницей судебного процесса? Не просто участницей — ГЛАВНОЙ ФИГУРАНТКОЙ, «СТОРОНОЙ ОБВИНЕНИЯ»!.. Что был этот процесс в Москве и приходилось мне множество раз совершенно напрасно мотаться в столицу из Ленинграда (отправляться с работы, дочку оставлять одну!): «СТОРОНА ОБВИНЯЕМОЙ» совершенно нагло в суд НЕ ЯВЛЯЛАСЬ, и заседание — в очередной раз — отменялось, переносилось... Что, наконец, суд все-таки состоялся, и открылось мне, тогда «простому советскому человеку», дотоле неведомое: как важно — наиважнейше! — иметь рядом СВОЕГО адвоката. (У вас, Володя, в Штатах, об этом издавна знает каждый? У нас теперь, пожалуй, — тоже.) Сказочно мне повезло! Моя ближайшая —детсадовская, потом — школьная подруга Элеонора Александровна Пчелинцева, для меня — Элла, опытный адвокат, работавшая раньше в Ленинграде, потом переехавшая в Москву, была... НЕТ, не адвокатом моим, ПОДРУГА не могла им быть, но советчицей — раз, СВИДЕТЕЛЕМ-ЮРИСТОМ (!) — два, «сосватала» мне одного из лучших московских адвокатов, своего приятеля — три... Но это еще не все. В зале суда сидели человек ДВАДЦАТЬ, абсолютно добровольных, я и знала-то не всех, свидетелей ОБВИНЕНИЯ — МОИХ свидетелей! И этого мало. Ты помнишь, в сюжете-главке «Дама... без собачки» удивительное совпадение: я только вернулась из Ялты — вышел на экраны фильм И. Хейфица «Дама с собачкой»? Не менее удивительное совпадение! 19 мая 1994 года, именно в тот день, когда в Головинском (Ленинградском) народном суде Москвы слушалось мое дело, в газете «Куранты» за подписью Андрея Редькина была опубликована статья «БОЙТЕСЬ НОТАРИУСОВ, ДАРЫ ПРИНИМАЮЩИХ», о точь-в-точь ТАКИХ ЖЕ делах, как мое, творящихся в ТОЙ ЖЕ, 17-й Государственной нотариальной конторе. Правда, фамилия нотариуса называлась другая — Л.Б. (не хочу называть имен, их детей жалею, пусть будут инициалы), сослуживицы той, тоже нотариуса, Л.П., что была на суде ЕДИНСТВЕННОЙ свидетельницей ОБВИНЯЕМОЙ. И всем сразу же — газету передавали из рук в руки! — стало совершенно очевидно: промысел, описанный в статье, был освоен и поставлен на поток в этой конторе сразу же после вступления в действие закона о приватизации жилья. А «Закон о собственности РСФСР» был принят в декабре 1990 года...

Ну что, Володя, удастся мне «детективный жанр»?.. Начала с конца, но сути не раскрыла. Итог держу в тайне. Теперь — на десятилетие назад...

ЖИЛА-БЫЛА НА СВЕТЕ ДОКТОР

О своей тете Фане, маминной младшей сестре, Фанне Константиновне Рапиовец (в девичестве — Айзенберг) я рассказывала в нашей повести «Через океан». Немного повторюсь, но и дополню.



"Душевный доктор" — теть Фаня

Была она красива, на редкость жизнерадостна, музыкальна, модница, но, главное, конечно, — очень хороший, «ДУШЕВНЫЙ» доктор, терапевт, потом — кардиолог. Всю войну в госпиталях раненых спасала рядом со своим мужем, она — майор, он — подполковник медицинской службы. Почему так уверенно говорю: **ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, ДУШЕВНЫЙ ДОКТОР**. Откуда знаю? Вот фрагмент из той, давней, найденной в ящике письменного стола статьи:

«Вскоре после войны видела у нее аккуратно связанные ленточками пачки писем от бойцов с фронта. В одном из них и прочитала: «Вы такой хороший, душевный доктор»... И еще помню, когда приезжала к ней девчонкой на каникулы в Прибалтику в 49 году (они с мужем по-прежнему работали в госпитале — лечились там фронтовики с тяжелыми последствиями ранений), так вот тогда... буквально лопалась от гордости: на обширной территории госпиталя все встречные раненые: безногие, безрукие, прыгавшие на костылях — видя меня, расцветали улыбками. Кто-то шептал вслед: «Это племянница Фаины Константиновны»... Кто-то говорил о тете добрые слова. Кто-то жал мне руку, называл себя, предлагал познакомиться. И казалось — не про тетю Фаню, а про меня — **ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ДОБРЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ ДОКТОР**... **«ТАКИХ И НЕ ВСТРЕЧАЛ НИКОГДА»**... **«ВСЕ БЫ ТАКИЕ БЫЛИ»**...

Уже много лет спустя, живя в Москве, у метро «Речной вокзал» и работая в другом конце города, она знала почти всех жильцов своего 14-этажного кооперативного дома. (Право на квартиру в столице они с мужем получили как фронтовики, жилье которых где-то в Белоруссии разбомбили.) Вот тут — **ВНИМАНИЕ**, Володя! **ОНА ВСЕХ ЗНАЛА И ЕЕ ВСЕ ЗНАЛИ**... К ней приходили за медицинскими советами, приводили детей, и она, как бы ни было поздно, как ни устала, выслушивала каждого, вникала в жалобы, рекомендовала лекарства и... **ПОМОГАЛА ИХ «ДОСТАВАТЬ»**, что тогда, ох как ценилось... Это из них были те человек **ДВАДЦАТЬ** — не меньше! — соседей по дому, которые пришли — и приходили не раз! — по доброй воле (я не просила их — не приглашала) на все отменявшиеся — переносившиеся судебные заседания... И дождалась: все, как один, выступили **СВИДЕТЕЛЯМИ**. Горячо, с подробностями, защищали **«ТАМАРОЧКУ, ЛЮБИМУЮ ПЛЕМЯННИЦУ, КОТОРАЯ ВСЕ ГОДЫ К ТЕТЕ ЕЗДИЛА, ОПЕКАЛА ЕЕ, ЗАБОТИЛАСЬ»**...

Но я убежала вперед... В 1983-м году умер муж Фаины Константиновны (далее — Ф.К.), Владимир Леонович Рапиовец, молчаливый, замкнутый человек, пожалуй, только ко мне, из всей многочисленной тетиной родни, хорошо относившийся. Несколько слов о нем. Когда-то блестяще окончивший московский медицинский институт и подававший большие надежды молодой ученый, он был в 39-м году раз и навсегда сломлен: исключение из партии, арест, допросы... И хоть повезло ему — выпустили, прежним уже не стал... Обо всем этом я узнала уже после его кончины, и... простила ему ДИКУЮ ВЫХОДКУ, о которой рассказала в нашей повести в главе «В ГОСТЯХ У ТЕТИ ФАИНЫ»... В том же 83-м — кто-то посоветовал — Ф.К. по всем правилам оформила ЗАВЕЩАНИЕ на меня и внучатую племянницу-москвичку Марину, дочь моего покойного двоюродного брата Кости, тоже, как и я, любимого племянника. Замечу, Володя, что тогда это прошло как-то мимо меня, почти не заметила. Более того. В самом слове «завещание» (повторюсь, была я — обыкновенный «советский человек») чудилось что-то стыдное, корыстное, «не наше». Да и что мы с Мариной могли получить? По половине выплаченного кооперативного пая. И все. Словом, узнала я о ЗАВЕЩАНИИ и — отмахнулась, забыла...

В начале 90-х тетю Фаню — чувствовала она себя уже неважно — поджидала необходимость переписать завещание: Марина с семьей собралась эмигрировать в Австралию. Теперь она хотела завещать квартиру только мне, своей ленинградской племяннице... Тогда-то впервые и появилась в квартире нотариус 17-й Государственной конторы Л.П. Вызов на дом как участница войны тетя Фаия оформила заранее, волновалась ожидая. Потом рассказывала мне по телефону, что была совершенно очарована чуткостью и предупредительностью к ней, старому человеку, нотариуса Л.П... Они и чай вместе попили, и поговорили о том, о сем. И завещание, конечно, переписали, как она просила...

Я словно была при этом. Вижу Л.П., крупную, громогласную, неотразимо обаятельную, когда она этого хочет. Какие смешные байки она рассказывает, как заразительно смеется. Новот ее лицо серьезно-сочувственно: она интересуется здоровьем, расспрашивает о покойном муже, восхищается военным прошлым. И моя бедная тетя сияет: в последние годы она выходит редко, друзей поубавилось, телефон не звонит непрерывно, как прежде, гостя для нее, да еще такая к ней расположенная — радость... Обещала Л.П. непременно навещать ее... Так или примерно так текла приятная беседа моей тети с нотариусом. У тети осталось чувство восторженной признательности. У ее собеседницы — важная информация: одна родственница — разрешение уже получено! — вот-вот уезжает из страны, другая живет в Ленинграде. Ф.К. жаждет общения и внимания...

Заметно старела моя тетя, но все-таки еще лет пять держалась: по-прежнему молодоважно казалась — никто не видел ее неухоженной, без косметики; красила волосы, по утрам делала зарядку. В квартире — безукоризненная чистота. Но... все больше тосковала — видно, крепко любила мужа. И начала стремительно сдавать — БОЛЕТЬ, СЛАБЕТЬ, ТЕРЯТЬ ПАМЯТЬ... Все чаще я ездила навещать ее. И тут — здорово «помог» ЛЕННАУЧФИЛЬМ: много лет была его внештатным автором. Почему-то назначали мне московских — и только московских! — консультантов, как будто не было у нас в Ленинграде — по любой теме! — ученых-специалистов. А ведь встречаться с ними приходилось не менее двух-трех раз по каждому сценарию. Вот и ездила регулярно в Москву «по делам службы», вот и были «дополнительные» свидания с тетей. А уж как она меня ждала — дни считала. Скучала...

«Детектив» — начинается

... И тут появилась АСЯ... Но сначала несколько строк из статьи в «Курантах», которую уже упоминала: «УКРАЛИ КВАРТИРУ. В МОСКВЕ ЭТО СЕГОДНЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ №1. ЕСЛИ НЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ, ТО, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ПО УЩЕРБУ, НАНЕСЕННОМУ МОСКВИЧАМ, И ПО БЕСПРЕДЕЛЬНОМУ НАСИЛИЮ, КОТОРОЕ ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ЭТОТ ВИД ПРЕСТУПНОГО ПРОМЫСЛА, КАК ПАРОВОЗ ВАГОНЫ». Называет его автор — «ОХОТОЙ НА ОДИНОКИХ СТАРИКОВ»...

Итак — «АСЯ»... Познакомились они, по словам тети Фани, на улице: под села к ней на скамейку симпатичная женщина, разговорились, потом стала приходить в гости, приносить дорогие конфеты, фрукты, вино (!) — я узнала об Асе летом 91-го года во время очередного приезда в Москву. У бедной Аси недавно умерла мама, завещала дочери делать добро какой-нибудь одинокой старушке. Я тут же позвонила ей (очень была благодарна всем, кто хорошо относился к тете), пригласила к нам, хотела познакомиться. Она, любезная, приветливая, обещала непременно зайти, но не пришла... Уехала я, так и не познакомившись с Асей...

А через несколько месяцев — теперь я знаю, было это вечером 22-го октября — позвонили мне, из Москвы, одна за другой, обе взволнованные, А.В. Новожилова, соседка, приходившая кормить тетю обедом, и Марина (еще не уехала; А.В. позвонила ей, а она — мне). Рассказали... Когда А.В. вошла в квартиру (у нее был свой ключ), тетя спала на кровати, одетая; на столе — остатки «пиршества», бутылка вина. Тетя объяснила, что у нее были гости, Ася и... ТАКОЕ СОВПАДЕНИЕ! — та самая, нотариус, милая Л.П.; она, оказалось, ее знакомая, принесли угощение, вино, хорошо посидели... А потом... она не помнит. Немножко выпила (много ли ей надо!), наверное, заснула — гости перенесли ее на кровать и ушли...

Я тут же позвонила тете. Спросила ее, не подписывала ли она каких-либо документов? (Об этом и беспокоились А.В. и Марина.) Она обиделась, даже возмутилась: «Что вы все меня за сумасшедшую принимаете? Чтобы я чужому человеку что-то подписывала!..» Этот же вопрос задала тете Фане моя подруга Элла (адвокат Элеонора Пчелинцева — вот она и появилась!), всегда навещавшая нас, когда я приезжала в Москву. Тетя ответила так же, с такой же обидой. А на ее второй вопрос, почему приходила нотариус, ответила: «Она Асина подруга. С детства. Как вы с Тамарочкой»... Посмотрела на меня как-то очень серьезно моя «детсадовская Эллочка», головой покачала: «Что-то не нравится мне это. Держи меня в курсе»... Но я отмахнулась — что за срунда! Ведь тоже — подруги!.. Совершенно успокоилась...

25 декабря 91-го года, днем, я позвонила в Москву — поздравить тетю Фаню с днем рождения. Она была оживленная, веселая, сказала, что у нее гости. — «Кто? — спросила я. — Ася. И ее подруга Л.П., нотариус. Помнишь, она уже была у меня? Такая хорошая женщина »... Очень я была рада, что не одна в этот день моя тетя... (Не знаю, понимаешь ли ты, Володя, как важно пожилому, одинокому человеку оказаться вдруг в центре внимания, почувствовать свою, как в прежние времена, «нужность», интерес к себе, симпатию?.. Я теперь понимаю: ведь лет мне сейчас даже чуть больше, чем тогда тете, и, как она, — я одна в пустой квартире. Но... не приходят ко мне «подруги детства», Ася с нотариусом Л.П. Не смейся, Володя...)

Всего через день — 27-го декабря — СВЕРШИЛОСЬ «РОКОВОЕ»! (Не забывай, пожалуйста — мы об этом понятия не имели: ни я, ни, значит, Элла, ни... сама тетя Фаня.) Нотариусом Л.П. — скажу по всем правилам — «была удостоверена доверенность А.А. М. (Асе!) на получение для оформления Дарственной всех

необходимых документов», а затем, в тот же день, и сама Дарственная — ей же (тут-то и совершили они свою первую ОШИБКУ, как почти всегда бывает в спешке совершаемого преступления: НЕВОЗМОЖНО И ТО И ДРУГОЕ В ОДИН ДЕНЬ, к тому же с порядковыми номерами, следующими один за другим, например, №№ 11 и 12 — необходимо было получить, да еще в разных местах, множество всяких бумаг)... Но, никуда не деться, документ подписан моей тетей СОБСТВЕННО-РУЧНО — это было проверено. Да, она, Рапиевец Фаина Константиновна, ПОДАРИЛА СВОЮ, по нашим меркам, прекрасную двухкомнатную квартиру со всем имуществом, совершенно чужому человеку... Как такое могло быть? Даже, если бы — чего никогда не было! — она разлюбила меня, рассердилась, были у нее другие родственники, с которыми она поддерживала всегда самые тесные контакты: ее родные племянники жили в Челябинске, Душанбе, внучата племянница — в Караганде, брат мужа — в Москве... Но ведь ПОДПИСАЛА! Каким образом мог состояться сам этот акт подписания? Да очень просто, мне кажется...

Не сомневаюсь, речи о квартире не было. Тетя, окруженная милыми внимательными гостями, за столом, уставленным деликатесами, выпив самую малость, ПОДПИСАЛА, НЕ ГЛЯДЯ все, что ей подсунули. Могли сказать, что это заявление о гуманитарной помощи или заказе к празднику, которые получала как фронтовичка не раз, о косметическом ремонте. Но более всего склоняюсь к версии... «СКАМЕЙКИ У ПОДЪЕЗДА»: тетя не раз говорила, что убрали эту скамейку и негде им, старикам, посидеть — я ей сама советовала написать жалобу домовому начальству... А очень вероятно, и совсем пустой лист был: у меня, кстати, сохранились три пустых листа, подписанных тетей в больнице: сказала ей, что нужно подписать «здесь», чтобы пенсию ее получить, и она подписала (тетя умерла, так что заполнять листы не потребовалось). И еще одну «тайну» открою. Ф.К. очень гордилась, что до своих за 80 читает-пишет без очков, хоть и замечала я в последние свои приезды, что очки бы ей очень не помешали. Ни в какую не хотела их надевать. Так что подписывала и НЕ ГЛЯДЯ, И НЕ ВИДЯ...

Напоминаю, Володя, что обо всех страстях тут описанных мы не ведали — не гадали. Были у меня тогда другие проблемы: искала человека, чтобы ухаживал за тетей постоянно, жил с ней — ох, какое трудное это оказалось дело... Буквально в ноги бросалась соседям — и нашла! Очень славная, добрая и ласковая, сама преклонных лет, Татьяна Семеновна Окунева перебралась к тете Фане, ухаживала за ней трогательно, не бросила меня одну в самые тяжкие дни тетиной последней болезни, звонила мне регулярно. Низкий ей поклон... (Пишу здесь о ней потому, что и она сыграла немаловажную роль в нашем «детективе»...) Но я опять забежала вперед. До этого была еще...

Дуэль длиною в год

...На авансцену выходит «мой адвокат» — Эллочка Пчелинцева. Что значит, Володя, в любом деле, тонкое профессиональное чутье! Ведь ничего она, как и я, не знала, но покоя мне не давала, тревожилась: шел уже 92-й, «квартирный бизнес» набирал обороты. Позвонила мне Элла, сказала твердо и безапелляционно: «ОФОРМЛЯЕМ ДАРСТВЕННУЮ»; «ВОКРУГ ФАИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ»; «ЗАВЕЩАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОСЛЕДНЕЕ, А ДАРСТВЕННАЯ — ОДНА, ЕДИНСТВЕННАЯ»... Я ведь понятия не имела, что существует эта самая ДАРСТВЕННАЯ, чем отличается от ЗАВЕЩА-

НИЯ — палец о палец бы не ударила... Все — Элла. Сказала ей: «Ерунда, страшилки придумываешь, но делай, как знаешь. Командуй!»... Поехала она к тете, провела с ней «устрашающую беседу» — и заразила идеей-фикс: НЕМЕДЛЕННО — ДАРСТВЕННУЮ!.. Ее энергичная натура жаждала деятельности, думаю, именно поэтому в наших еженедельных субботних перезвонах неустанно повторяла: «Приезжай скорей! Будем делать Дарственную!» Настояли-таки они обе на моем «внеочередном» приезде...

Вот тут-то и произошло «ПРОЗРЕНИЕ». В Москву приехала в мае 92-го. Позвонила на работу все к той же «нашей доброй знакомой» — Л.П. Она была очень любезна. Сказала, что, конечно, придет и сделает все, что нужно Ф.К. Но хотела бы предварительно поговорить со мной. Я отправилась в 17-ю Государственную нотариальную контору, что на улице Алабяна у станции метро «Сокол». Очередь там была неописуемая, громадная, с криками, чуть ли не драками, с предварительной записью. Но... Меня встретили как важную персону, нет, как долгожданную гостью, проводили в кабинет к Л.П... Она и впрямь умела быть обаятельной: расспрашивала о тете, ее здоровье и настроении. Беседовали мы довольно долго — я кожей чувствовала справедливую ненависть очереди за дверьми и поэтому плохо соображала. И все-таки ПОНЯЛА: Л.П. убедительно, аргументировано ОТГОВАРИВАЛА меня, а через меня Ф.К., делать ДАРСТВЕННУЮ. Она объяснила, что моя тетя, как участница войны, имеет льготы, которые потеряет, что ее не будет навещать работник собеса, что она перестанет получать заказы, что ее, возможно, выпишут из квартиры. И я — ПОВЕРИЛА! Ни тени сомнения!.. ДОЛОЙ ДАРСТВЕННУЮ! Зато она, все так же мило улыбаясь, очень быстро, без всякой волокиты, оформила новое ЗАВЕЩАНИЕ (Марина уехала, что-то надо было улучшить, поправить) на меня одну, от 26-го мая 92-го года. Теперь я понимаю, как в душе она смеялась над нами: ведь уже около полугода существовала ДАРСТВЕННАЯ Асе М., превращавшая это Завещание в пустую бумажку...

Изругала меня моя Элла — последними словами, разве что «дурачиной-простофилей» не обозвала — враньем, чистым враньем оказалось все, что наговорила мне любезная нотариус! Уехала я в тот раз ни с чем. Но глаза открылись: теперь мы твердо знали: по какой-то неведомой нам причине Л.П. НЕ ХОЧЕТ оформлять Дарственную и сделает все от нее зависящее, чтобы Дарственной этой не было. Отчего, почему — не понимали, но уже не сомневались: НЕ ХОЧЕТ!!!

И началась ВОЙНА. Странная, скрытная война, при сохранении обоюдной любезных улыбок, для меня тяжкая, мучительная, длившаяся более года. Совершенно не была я к ней готова — мама в детстве-юности частенько подшучивала надо мной: «ЛЕТАЕШЬ В ОБЛАКАХ, ДОЧЕНЬКА!» — такой, наверное, и осталась: ничего не понимала в капканах, хитросплетениях «матерой волчицы», моей противницы. Не Элла бы с ее железной настойчивостью, не тетя, с ее идеей-фикс — плюнула бы я на все это, отступила. Но они были, и Элла, мой «личный адвокат», и Фаня, любимая тетя. Устояла я, Володя, не сдалась...

Не буду рассказывать подробности. Они для посторонних скучны. Но — поверь: ЧТО ОНА СО МНОЙ ВЫТВОРЯЛА!.. Назначала день приезда, — а мне все труднее было, СОВЕСТНО(!), отпрашиваться с работы... Я приезжала: оказывалось, в этот, НАЗНАЧЕННЫЙ ею(!), день нотариальная контора закрыта. Или... Она говорила: «Документы Вам не нужны. Я Фаину Константиновну хорошо знаю. Приду — все сделаю.» Оказывалось: НУЖНЫ, НЕПРЕМЕННО НУЖНЫ, и не один — несколько, а получать их надо — заранее. Или... на больничном она. Или...

в командировке. А то и просто — приезжаю, звоню, но металл звучит в ее голосе: «Нет, прийти не смогу. Непредвиденные обстоятельства»... Другого бы нотариуса пригласить, но только своего можно, районного...

И вот, наконец, СВЕРШИЛОСЬ!.. 5-го мая 93 года. Я приехала СО ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, предварительно заказав посещение нотариуса. Л.П. появилась во-время, приветливая, доброжелательная и даже... с коробкой конфет.

Мы сидели за столиком, пили чай. Обрати внимание, Володя: «мы» — это, кроме указанных персонажей, МОЯ ЭЛЛА и Татьяна Семеновна Окунева, уже жившая тогда с тетей. Между делом, в светской беседе, Л.П. рассказывала нам страшные истории об извергах детях и внуках, завладевших квартирой старой бабушки и выгнавших ее на улицу — она ЗАПУГИВАЛА тетю Фаню, ОТГОВАРИВАЛА, ДАВИЛА НА НЕЕ. Обстановка становилась напряженной. И вдруг моя тетя нежданно, горько, по-детски расплакалась. Сквозь слезы, она объяснила ей, — напоминаю, в присутствии ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ — что «ТАМАРОЧКА — МОЯ ЛЮБИМАЯ ПЛЕМЯННИЦА, ОНА МНЕ КАК ДОЧКА, Я ХОЧУ ПОДАРИТЬ ЕЙ КВАРТИРУ»... Оба юриста посмотрели друг на друга. Жестко, всепонимающе. Никогда бы нотариус Л.П. не отступила, не будь тут этой невесты откуда взявшейся «подруги-адвоката». Но она была. Молча сидела напротив и смотрела в глаза. Выхода не было. «Конечно, раз Вы хотите, я удостоверю Вам ДОГОВОР ДАРЕНИЯ»... Только, видите ли, мне придется приехать к Вам еще раз... (Не сдалась еще она, нотариус Л.П.!) Я... забыла в конторе бланки»... Ничего себе! Настолько она была уверена в победе, что приехала к нам с пустыми руками, ни одной бумажки с собой не захватила.

— Когда Вы приедете?

— Теперь уже после дежурства, после семи...

И снова с лучезарной улыбкой, обращаясь к коллеге-юристу:

— Меня ждет машина. Не подвезти ли Вас к метро? (Так надеялась, что «коллега» уедет!)

— Нет, я еще посижу...

«Сидели» мы в том же составе еще много часов (с 12-ти дня). Гадали: придет — не придет. Чем дольше сидели, тем более склонялись к тому, что нет, не придет. Время тянулось медленно. Ожидание становилось невыносимым. Мне было неловко перед подругой — ее ждала семья, уговаривала ехать домой. Тетя начинала плакать — она оставалась. Еще раз поняла, до глубины души почувствовала: мы, беззащитные советские люди, этого напрочь не понимали: что значит в трудную минуту иметь рядом СВОЕГО АДВОКАТА, пусть даже в качестве частного лица.

Она явилась около 9-ти вечера. И во второй раз, как это было уже утром, я заметила зловонную гримасу, на миг искажившую ее лицо: так надеялась, что свидетель-юрист не выдержит, не досидит, исчезнет. И тогда бы она еще поборолась...

Теперь все было кончено. И снова надета улыбка, и вернулася приветливость — Л.П. была крепкий боец и умела достойно терпеть поражения. Ее можно пожалеть, Володя! Не позавидуешь. Она должна была удостоверить ДАРСТВЕННУЮ, ВТОРУЮ ДАРСТВЕННУЮ, что само по себе невозможно, потому что как дарить одно и то же ДВАЖДЫ? К тому же ПЕРВУЮ САМА оформляла. И нужно отдать ей должное, держалась она прекрасно.

Что оставалось делать? Кажется, только одно. Напомнить своей уважаемой клиентке, Ф.К., что в этой же комнате, за этим же столиком, полтора года назад она

уже подарила свою квартиру другому человеку — в конце концов, ей девятый десяток, могла забыть — КВАРТИРА ЕЙ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ! Возможно, она так бы и поступила, если бы... не было рядом «коллеги-юриста». Не решилась при ней нотариус Л.П. идти ва-банк. К тому же оставалась у нее крохотная надежда. Документ — ВТОРОЕ ДАРЕНИЕ!!! — был оформлен...

Последнюю, совсем уже беспомощную попытку Л.П. предприняла на следующий день утром, когда я приехала к ней, уплатив в сберкассе пошлину: она посоветовала не торопиться с регистрацией Дарственной в Департаменте муниципального жилья: «Зачем Вам, — сказала она сочувственно — торопиться? Это стоит что-то около 200 тысяч. Поезжайте спокойно домой, постепенно соберете, одолжите. Зарегистрировать можно и через год...»

Я пришла в ужас — фантастическая, немыслимая сумма! Тетя Фаня предложила продать что-то, обратиться к своим знакомым (все отнюдь небогатые!)... А мне уезжать сегодня, билет куплен. Хорошо догадалась позвонить Элле. «Ты что? Какие 200 тысяч! Немедленно звони в Департамент! (Дала номер телефона). Я позвонила. Узнала. 20 тысяч, а не 200! Тоже большая сумма. Но одолжили. Поехала. Уплатила. Регистрационный номер 1-172136... ВСЕ...

Мы облегченно вздохнули. И тетя, и я, и Элла. То, что могут существовать ДВЕ ДАРСТВЕННЫЕ, да еще удостоверенные ОДНИМ ЛИЦОМ, и в голову прийти не могло...

ЭПИЛОГ, или... ПОСЛЕ ТЕТИ ФАНИ

8-го января 94-го года Фаина Константиновна Рапиовец, бывший военный доктор, моя любимая тетя Фаня, скончалась после долгой болезни, от инсульта. Я отвезила ее в больницу (вызвала меня Татьяна Семеновна, она и навещала ее почти ежедневно) — тогда и видела тетю в последний раз. Впервые столкнулась тогда с удивившей профессиональной солидарностью медиков. Когда приехали, как обычно у нас, и тогда, и теперь, полыхнуло холодом и равнодушием, но как только узнали, что она врач, да еще — ТАКОЙ! — все изменилось мгновенно: и отношение, и палата, и уход... Сделали все, что возможно, но спасти не смогли. Позвонили из больницы, когда все было кончено...

Те, у кого умирали близкие, те, кому пришлось протащить на себе весь безмерно тяжкий процесс похорон, поймут меня. На поминках я держалась из последних сил, видела все, словно сквозь дымку. Пришли очень славные люди — их было много — в основном соседи по дому; две мои подруги, Элла и Мила Колерова, тоже кончала с нами челябинскую школу; и единственный родственник, Иван Леонович, брат покойного мужа тети Фани. Позже всех — она не была с нами ни в морге, ни на кладбище — явилась смуглая дама в трауре, скромно под села к столу, ни словом не обмолвилась.

Я не сразу узнала — Ася. До этого видела ее только раз: в один из моих приездов в Москву специально зашла со мной познакомиться. Яркая, шумная, экспансивная, «молодая пенсионерка», чуть за 55, она произвела на меня неприятное, даже гнетущее впечатление: преувеличенная, явно напоказ демонстрируемая любовь к моей тете (не в переносном, а в буквальном смысле целовала и обнимала ее) казалась неестественной и фальшивой. Еще, помню, удивила редкая для женщины

профессия — скорняк и прямо-таки поразило нынешнее, после пенсии, занятие, рассказала о нем весело, даже горделиво. На каких-то автобусах они ездили из Москвы (!) в Финляндию, что-то продавали, что-то покупали. Словом, была «челноком». Тогда, на заре нашего капитализма, это было в диковинку и называлось... презираемым словом — «СПЕКУЛЯНТКА».

Теперь она была совсем другая. Ни слова о тете — соседи ее такие теплые слова нашли, вспоминали, плакали... А у Аси, я заметила, странное выражение лица: напряженное, каменное, решительное. Так и сидела она молча за столом, пересидела всех, даже обеих моих подруг, и когда, уже буквально падая с ног, я пошла провожать ее, вдруг, на лестничной площадке, у лифта, резко повернулась ко мне и... сообщила, что является ХОЗЯЙКОЙ КВАРТИРЫ, которую Ф.К. ей ПОДАРИЛА еще в 91-м году, что у нее есть соответствующие законные документы и есть ключи от квартиры (я вспомнила: тетя, давно уже, потеряла ключи — мы заказали новые — оказывается, вот как она их «потеряла!»), так что хоть завтра она может вселяться... Так я узнала о существовании ВТОРОЙ, нет, точнее, ПЕРВОЙ ДАРСТВЕННОЙ...

А дальше, Володя, был суд, с которого начала и которым кончу... Длился он около года. Ездила я из Петербурга в Москву бесчисленное множество раз — помнишь, писала, что «моя Ася» преспокойно на него не являлась (оказывается, это можно — запросто!), и очередное заседание переносилось? «Не солоно хлебавши», я отправлялась домой.

И все-таки — она пришла, моя победа! Договор Дарения А.А. М. от 27-го декабря 91-го года признан Головинским межмуниципальным народным судом г. Москвы недействительным. Я выиграла и, значит, могла бы с удовлетворением закрыть эту тягостную страницу своей жизни. Но не вполне так. Осталось чувство глубокого недоумения, даже... обиды. Почему?..

Да, выступили соседи Ф.К. — свидетели. Асе досталось от них крепко. Не выбирали они для нее слов! Несколько человек (и, конечно, жившая с тетей Татьяна Семеновна) утверждали, что Ф.К. ЛИЧНО им говорила о том, что сначала ЗАВЕЩАЛА, а потом ПОДАРИЛА квартиру своей ленинградской племяннице Тamarочке. Был еще один документ — прочитали его на суде громко, выразительно: письмо заведующей моей библиотеки Галины Пушко. Она рассказывала, как часто приходилось отпускать меня в Москву, как трудно было подменять, ОТМЕНЯЛИ даже ВСТРЕЧИ С КЛАССАМИ — ОБСУЖДЕНИЯ КНИГ, ДИСПУТЫ — тут уж заметить меня было некем; но отпускали... И ездила. Опекала тетю. До самого конца...

Пригвоздили к «позорному столбу» нотариуса Л.П. моя подруга Элеонора Пчелинцева и блистательно выступивший «подаренный» мне ею адвокат; высоко-профессионально, напористо, в темпе вела судебные заседания судья Е.И. Прохорычева. Да и всем с самого начала было ясно, что речь идет о чистой воды мошенничестве. Чем же я недовольна?...

Во-первых, не потому, во всяком случае, не только потому, что только что перечислила, я выиграла дело. Всего этого для правосудия мало. ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА, оказывается, очень трудно доказуем. Запросто могла проиграть. «Спасло» неожиданное — только на суде открылось. Ася ПОБОЯЛАСЬ зарегистрировать Договор Дарения — ждала смерти тети Фани: узнала бы Ф.К., вся афера бы рухнула. Это и была их с Л.П. ВТОРАЯ ОШИБКА. Так что, собственно говоря, Договор этот так и не вступил в силу...

Во-вторых, свершилась, с моей точки зрения, великая несправедливость: пострадала только «мелкая сошка» — аферистка-мошенница Ася. «Матерая волчица» — нотариус Л.П., вышла сухой из воды. Наше более чем скромное требование в исковом заявлении — вынести частное определение в адрес Государственного нотариуса Л.П. о служебном несоответствии — осталось без внимания. ПОЧЕМУ??? По этому поводу приходят печальные мысли. Народный судья Е.И. Прохорычева вызвала ее в качестве СВИДЕТЕЛЯ, а не СОУЧАСТНИКА. И снова — ПОЧЕМУ??? Неловко слышать было, как лепетала она что-то невнятное, отвечая на прямо поставленные вопросы: Почему, с одной стороны, с таким пылом убеждала Ф.К. быть осторожной с родной племянницей, чтобы не быть обманутой и выброшенной на улицу, а, с другой, удостоверяла Дарственную АБСОЛЮТНО ЧУЖОМУ ЧЕЛОВЕКУ, даже не пытаюсь выяснить, с какой стати участница войны, которой уже перевалило за 80, дарит ей свою квартиру? Она не спрашивала ее и не отговаривала. Просто взяла и оформила. Ну, а если, как она говорит, сделала это с чистой совестью, ПОЧЕМУ ОФОРМИЛА ДАРЕНИЕ ВТОРИЧНО? Почему не сказала, что квартира УЖЕ ПОДАРЕНА?.. Не смогла Л.П. ответить на эти вопросы. А уважаемая, без сомнения опытная судья отпускает ее просто так. Я снова спрашиваю — ПОЧЕМУ???

ЭПИЛОГ ПОСЛЕ ЭПИЛОГА

Ты помнишь, Володя, об удивительном совпадении: статья А. Редькина в газете «Курантъ», опубликованной 19 мая 1994-го года, именно в тот день, когда шел суд — «Бойтесь нотариусов, дары принимающих»? (Кстати, мы так и не знаем, о каком «ДАРЕ» сторговалась с Асей наша нотариус?) Совпадение ОДНИМ ДНЕМ двух столь разных событий не ограничивается. Героиня статьи, сослуживица Л.П., из той же конторы, Л. Булгакова, тоже, к недоумению и огорчению автора, никакого наказания не понесла...

...И последнее. Приехав в Москву примерно через полгода после суда, я узнала, что 17-я нотариальная контора уже не Государственная, а Частная и что ГЛАВНАЯ в ней (хозяйка? арендатор?) наша старая знакомая — Л.П. Что тут добавить?..

Моя нигде не опубликованная статья 95 года заканчивалась так: «Английские буржуа первого поколения, 17-го века, накопили первоначальный капитал, разбойничая на морях-океанах. И стали цивилизованными предпринимателями. Может, и мы сейчас переживаем этот период?.. Как долго он продлится?.. Сколько нам ждать?»

Мы ждем уже 20 лет... Чего дождались?.. Куда завел нас «ЮНЫЙ КАПИТАЛИЗМ»? И почему РАСТАЯЛИ НАДЕЖДЫ?.. ВЕРНУТСЯ ЛИ?..

7 марта, 2015 г. СПб.

ПОСЛЕСЛОВИЕ, родившееся ВДРУГ (!) 8-го марта 2015-го года

Отчего и как, сейчас, Володя, расскажу... Помнишь, конечно, что один из самых любимых моих поэтов — Николай Заболоцкий? Вот и в главке о «ДАМЕ... без собачки» позволила себе трижды обратиться к нему за помощью. Но, чтобы было понятно, придется вспомнить нашу с тобой повесть — переключку «ЧЕРЕЗ

ОКЕАН». В сюжете «Картинки библиотечные» («В доме на Съездовской») я рассказываю о мальчишке-школьнике, который часто приходил к нам в юношескую библиотеку, где я тогда работала. Мы подружились — я помогала ему писать сочинения и как-то дала на несколько дней («нелегально!»: из читального зала ДОМОЙ — не полагайтесь) стихи Н. Заболоцкого. Тогда же посетовала, что у меня их нет — не достать... Через несколько лет, уже студентом, он принес и торжественно мне вручил маленький томик: Н. Заболоцкий. ИЗБРАННОЕ. Башкирское книжное издательство. Уфа. 1975. Очень я была тронута... И сейчас у меня есть этот томик, совершенно растрепанный, на странички рассыпавшийся. С подписью: «Тамаре Львовне. Июнь 1979».

А теперь — фрагмент из нашей повести (книга: Издательство «Булат», Москва, 2014.; см. стр.151; эл. журнал: «Семь искусств» №№ 10, 11, 12, 2014; в № 12)...

...«В конце книжечки — автобиография. Как положено: дед, отец, мать, где учился, когда начал писать. Последний абзац: «В 1930 году я женился на Е.В. Клыкковой. В 1932 году у нас родился сын Никита. В 1937 — дочь Наталья. Все время жил в Ленинграде»...

Дальше — пробел. И уже от редактора: «На этом автобиография прерывается. Здесь приводятся основные данные его дальнейшей жизни и творчества. С 1938 года Н.А. Заболоцкий был на Дальнем Востоке и в Алтайском крае. В 1945 году — в Караганде. С мая 1945 года он переехал в Москву...»

Володя! Я не могу это читать! Меня даже сейчас охватывают ЗЛОБА, БЕШЕНСТВО. Вот так просто захотел Н.А. Заболоцкий и поехал путешествовать из Ленинграда на Дальний Восток, потом — в Алтайский край; не понравилось ему на Алтае, надоело — и отправился в Караганду. Ну скажи, что тут мог понять молодой человек, купивший эту книжечку стихов в 1975 году, да еще в Башкирии, в Уфе?! Почему прервалась биография? Придет ли ему в голову, что это БОЛЬШОЙ ТЕРРОР отправил на долгие годы в «телятнике» замечательного поэта на Дальний Восток, в Алтайский край, Караганду?

Много ли тебе, Володя, приходилось читать таких автобиографий и биографий, которые стыдливо «прерывались» в 1937-1938 годах и часто уже безвозвратно? Я таких читала МНОЖЕСТВО. И всякий раз, как будто видела впервые, ЗЛОСТЬ И БЕШЕНСТВО кипели во мне.

Н. Заболоцкий вернулся. Но умер в 55 лет. Не сыграл ли в его безвременной кончине немалую роль этот злоеший «перерыв» в автобиографии?»

...Сыграл! Еще как — сыграл! Теперь, после 8-го марта 2015 г., я могу точно, абсолютно точно, ответить на этот вопрос. Ни врачи, ни поставленные ими диагнозы мне для этого не нужны. В тот день, в честь нашего ЖЕНСКОГО праздника (знаю, Володя, что в ваших Штатах вы его не отмечаете) дочка подарила мне, вместо моего, рассыпавшегося — я давно просила, а она долго, через Интернет, искала — солидный сборник, в твердой обложке: Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. «ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ». Москва. «Художественная литература» 1991.

Я тут же стала его листать-просматривать. А есть ли мой любимый цикл — «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»? Конечно, есть! Стр. 184. Пробегаю глазами первое стихотворение — «Чертополох»... Что это?.. Ведь все 10 наизусть знаю! Совершенно чужие, незнакомые — впервые их вижу — восемь строк:

Снилась мне высокая темница
И решетка, черная, как ночь,

За решеткой — сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встает стена чертополоха
Между мной и радостью моей.

Почему нет этих строк в моей книжечке 75-го года? Цензура? Конечно, цензура! Но — почему выбросили?.. Ведь никакой политики — чистая лирика, посвященная разлуке автора с любимой?.. Понимаю. Кажется, понимаю. Из-за одного слова: «РЕШЕТКА»! Да еще — «ЧЕРНАЯ, КАК НОЧЬ»... Да еще и — «ТЕМНИЦА»... Но, может быть, они правы? Почему именно такая метафора? Намек? Вспоминает самое страшное в своей жизни — РЕШЕТКУ, ЧЕРНУЮ, КАК НОЧЬ, в известном каждому ленинградцу Большом доме на ЛИТЕЙНОМ, точнее, ДПЗ (Доме предварительного заключения), за которой пришлось ему немало дней-ночей провести? Вспоминает то, ЧТО за этой РЕШЕТКОЙ было, а это «ЧТО» следовало ЗАБЫТЬ. Вот и «ИЗЪЯЛИ» восемь строк из стихотворения...

...Листаю дальше подаренный мне сборник... «Автобиографическая проза». Тоже незнакомая. Три названия. Одно из них: «ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ». Всего 11 страниц. Но — КАКИХ, Володя, КАКИХ!!! Абсолютно документальных. Правдивых. Написанных талантливейшей писательской рукой. О ЧУДОВИЩНОМ! ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОМ! НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМ! Тут-то и получила я окончательный ответ на собственный вопрос: ЧТО СОКРАТИЛО ЖИЗНЬ поэта Николая Заболоцкого? Почему прожил всего 55?..

Прочитав то, что я предполагаю написать, ты, думаю, спросишь: ЗАЧЕМ? КОМУ?.. Отвечу предварительно, чтобы ты, читая, ответ мой уже знал...

У нас много говорят и спорят сейчас о ЕДИНОМ УЧЕБНИКЕ ИСТОРИИ для школьников. Возможен ли? Нужен ли? Не попытка ли вернуть нас к «единомыслию», которое мы, ох как, проходили?! Слышала я как-то по радио «ЭХО МОСКВЫ» интервью с ученым-историком: очень он возмущался, неким сторонником «единого учебника». Тот утверждает, в частности, что и упоминать в нем не нужно о БОЛЬШОМ ТЕРРОРЕ — зачем, мол, «детям» в негативе представлять Отечество (это в 11-м классе!) — ПАТРИОТИЗМ надо воспитывать! Так вот... Есть предложение и у меня. Не великий труд — ПОДВИГ Бенедикта Сарнова «СТАЛИН И ПИСАТЕЛИ» включить в школьную программу, ВМЕСТО учебника по истории или литературе советского периода (была у меня такая, утопическая конечно, идея!). Но, поняла: даже «ВМЕСТО», не спасет: не осилить эти 4 тома — около 1000 страниц каждый! — нашим и без того сверхперегруженным старшеклассникам. А вот эти 11 СТРАНИЦ Николая Заболоцкого прочитать ВСЛУХ, в каждой школе, в каждом классе, на уроке истории или литературы — вполне реально... И ВСЕ. ДОСТАТОЧНО. В душе и памяти останутся навсегда...

А пока этих страниц ни в школе, ни после школы почти никто (их очень мало — я убедилась!) не знает, для тебя, Володя, и читателей этих сюжетов, если они будут, я попробую из 11-ти сделать ДВЕ-ТРИ. Нет, не своими словами: пересказать такое НЕВОЗМОЖНО. Пусть говорит сам Николай Алексеевич Заболоцкий... (Мои объясняющие ремарки- см. в скобках.)

ИЗ 11 СТРАНИЦ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЛЕНИНГРАДЕ 19 марта 1938 года...

НАЧАЛСЯ ОБЫСК. ОТОБРАЛИ ДВА ЧЕМОДАНА РУКОПИСЕЙ И КНИГ. Я ПОПРОЩАЛСЯ С СЕМЬЕЙ. МЛАДШЕЙ ДОЧКЕ БЫЛО В ТО ВРЕМЯ 11 МЕСЯЦЕВ. КОГДА Я ЦЕЛОВАЛ ЕЕ, ОНА ВПЕРВЫЕ ПРОЛЕПЕТАЛА: «ПАПА!»...

НАЧАЛСЯ ДОПРОС, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЛСЯ ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ СУТОК БЕЗ ПЕРЕРЫВА. ВСЛЕД ЗА ПЕРВЫМИ ФРАЗАМИ ПОСЛЫШАЛИСЬ БРАНЬ, КРИК, УГРОЗЫ...

ПО ХОДУ ДОПРОСА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НКВД ПЫТАЕТСЯ СКОЛОТИТЬ ДЕЛО О НЕКОЕЙ КОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ГЛАВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ СДЕЛАТЬ Н.С. ТИХОНОВА. В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ФИГУРИРОВАТЬ ПИСАТЕЛИ-ЛЕНИНГРАДЦЫ, К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ УЖЕ АРЕСТОВАННЫЕ: БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ, ЕЛЕНА ТАГЕР, ГЕОРГИЙ КУКЛИН, КАЖЕТСЯ, БОРИС КОРНИЛОВ, КТО-ТО ЕЩЕ И, НАКОНЕЦ, Я. УСИЛЕННО ДОПЫТЫВАЛИСЬ СВЕДЕНИЙ О ФЕДИНЕ И МАРШАКЕ...

НА ЧЕТВЕРТЫЕ СУТКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕРВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ГОЛОДА И БЕССОННИЦЫ, Я НАЧАЛ ПОСТЕПЕННО ТЕРЯТЬ ЯСНОСТЬ РАССУДКА. ПОМНИТСЯ, Я УЖЕ САМ КРИЧАЛ НА СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ГРОЗИЛ ИМ. ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ...

НЕ ЗНАЮ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЭТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ. НАКОНЕЦ, МЕНЯ ВЫТОЛКНУЛИ В ДРУГУЮ КОМНАТУ. ОГЛУШЕННЫЙ УДАРОМ СЗАДИ, Я УПАЛ, СТАЛ ПОДНИМАТЬСЯ, НО ПОСЛЕДОВАЛ ВТОРОЙ УДАР В ЛИЦО. Я ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ. ОЧНУЛСЯ Я, ЗАХЛЕБЫВАЯСЬ ОТ ВОДЫ, КОТОРУЮ КТО-ТО ЛИЛ НА МЕНЯ. МЕНЯ ПОДНЯЛИ НА РУКИ И, МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, НАЧАЛИ СРЫВАТЬ С МЕНЯ ОДЕЖДУ. Я СНОВА ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ...

(Он еще пытался сопротивляться, Володя! — Т.Л.)

...Я СХВАТИЛ СТОЯЩУЮ В УГЛУ ШВАБРУ, И, ПОЛЬЗУЯСЬ ЕЮ, КАК ПИКОЙ, ОБОРОНЯЛСЯ НАСКОЛЬКО МОГ... ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ СО МНОЙ, ИМ ПРИШЛОСЬ ПОДТАЩИТЬ К ДВЕРИ ПОЖАРНЫЙ КРАН И ПРИВЕСТИ ЕГО В ДЕЙСТВИЕ. СТРУЯ ВОДЫ ПОД СИЛЬНЫМ НАПОРОМ УДАРИЛА В МЕНЯ И ОБОЖГЛА ТЕЛО. МЕНЯ ЗАГНАЛИ ЭТОЙ СТРУЕЙ В УГОЛ И, ПОСЛЕ ДОЛГИХ УСИЛИЙ, ВЛОМИЛИСЬ В КАМЕРУ ЦЕЛОЙ ТОЛПОЙ. ТУТ МЕНЯ ЖЕСТОКО ИЗБИЛИ, ИСПИНАЛИ САПОГАМИ, И ВРАЧИ ВПОСЛЕДСТВИИ УДИВЛЯЛИСЬ, КАК ОСТАЛИСЬ ЦЕЛЫ МОИ ВНУТРЕННОСТИ — НАСТОЛЬКО ВЕЛИКИ БЫЛИ СЛЕДЫ ИСТЯЗАНИЙ...

Я КРИЧАЛ В ОТЧАЯНЬЕ И ТРЕБОВАЛ, ЧТОБЫ КАКОЙ-ТО ГУБЕРНАТОР ПРИКАЗАЛ ОСВОБОДИТЬ МЕНЯ. ЭТО ПРОДОЛЖАЛОСЬ БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО... ЗАТЕМ, КАК СКВОЗЬ СОН, ПОМНЮ, КАК КАКИЕ-ТО ЛЮДИ ВОЛОКЛИ МЕНЯ ПОД РУКИ ПО ДВОРУ... КОГДА СОЗНАНИЕ ВНОВЬ ВЕРНУЛОСЬ КО МНЕ, Я БЫЛ УЖЕ В БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ...

(Тюремная психбольница, Володя, казалась ему курортом, с благодарностью вспоминает врачей и сестер, жалевших их, в подавляющем большинстве, — «политических», арестованных по пресловутой 58 статье — с ужасом ждал возвращения в ДПЗ — «ДОМ ПЫТОК». — Т.Л.)

ИЗ БОЛЬНЫХ МНЕ ВСПОМИНАЕТСЯ УМАЛИШЕННЫЙ, КОТОРЫЙ, ИЗОБРАЖАЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, ЧАСТО ВСТАВАЛ В МОЕМ ИЗГОЛОВЬЕ И ТРУБНЫМ ГОЛОСОМ ПРОИЗНОСИЛ ВЕЛИЧАНИЯ СТАЛИНУ. ДРУГОЙ БЕГАЛ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ, ЛАЯ ПО-СОБАЧЬИ...

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ТЮРЬМУ, Я ОЖИДАЛ, ЧТО МЕНЯ СНОВА ВОЗЬМУТ НА ДОПРОС, И ПРИГОТОВИЛСЯ КО ВСЕМУ, ЛИШЬ БЫ НЕ НАКЛЕВЕТАТЬ НИ НА СЕБЯ, НИ НА ДРУГИХ. НА ДОПРОС МЕНЯ, ОДНАКО, НЕ ПОВЕЛИ, НО ВТОЛКНУЛИ В ОДНУ ИЗ БОЛЬШИХ ОБЩИХ КАМЕР, ДО ОТКАЗА НАПОЛНЕННУЮ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ. ЭТО БЫЛА БОЛЬШАЯ, ЧЕЛОВЕК НА 12-15, КОМНАТА, С РЕШЕТЧАТОЙ ДВЕРЬЮ, ВЫХОДИВШЕЙ В ТЮРЕМНЫЙ КОРИДОР. ЛЮДЕЙ В НЕЙ БЫЛО ЧЕЛОВЕК 70-80, А ПО ВРЕМЕНАМ ДОХОДИЛО И ДО 100. ОБЛАКА ПАРА И СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ТЮРЕМНОЕ ЗЛОВОННИЕ НЕСЛИСЬ ИЗ НЕЕ В КОРИДОР, И Я ПОМНЮ, КАК ОНИ ПОРАЗИЛИ МЕНЯ. ДВЕРЬ С ТРУДОМ ЗАКРЫЛАСЬ ЗА МНОЙ, И Я ОКАЗАЛСЯ В ТОЛПЕ ЛЮДЕЙ, СТОЯЩИХ ВПЛОТНУЮ ДРУГ ВОЗЛЕ ДРУГА ИЛИ СИДЯЩИХ БЕСПОРЯДОЧНЫМИ КУЧАМИ ПО ВСЕЙ КАМЕРЕ...

(Мне хочется включить в эти несколько страниц, хоть немного, о сокамерниках Н.З. Кстати, ты заметил, Володя, промелькнувшее слово — «РЕШЕТЧАТАЯ» (о двери)? Вот тебе и «РЕШЕТКА» из «ЧЕРТОПОЛОХА»... —Т.Л.)

ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО НАБЛЮДАТЬ ВСЕ ВИДЫ ОТЧАЯНИЯ, ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ БЕЗНАДЕЖНОСТИ, КОНВУЛЬСИВНОГО ИСТЕРИЧЕСКОГО ВЕСЕЛЬЯ И ЦИНИЧНОГО НАПЛЕВАТЕЛЬСТВА НА ВСЕ НА СВЕТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ. СТРАННО БЫЛО ВИДЕТЬ ЭТИХ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ТО РЫДАЮЩИХ, ТО ПАДАЮЩИХ В ОБМОРОК, ТО ТРЯСУЩИХСЯ ОТ СТРАХА, ЗАТРАВЛЕННЫХ И ЖАЛКИХ. МНЕ РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ АДРИАН ПИОТРОВСКИЙ, СИДЕВШИЙ В КАМЕРЕ НЕЗАДОЛГО ДО МЕНЯ, ПОТЕРЯЛ ОТ ГОРЯ ВСЯКИЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, МЕТАЛСЯ ПО КАМЕРЕ, ЦАРАПАЛ ГРУДЬ КАКИМ-ТО ГВОЗДЕМ И УСТРАИВАЛ ПО НОЧАМ ПОСТЫДНЫЕ ВЕЩИ НА ГЛАЗАХ У ВСЕЙ КАМЕРЫ...

КАМЕРА, КУДА Я ПОПАЛ, БЫЛА ПОДОБНА ОГРОМНОМУ, ВЕЧНО ЖУЖЖАВШЕМУ МУРАВЕЙНИКУ, ГДЕ ЛЮДИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ТОПТАЛИСЬ ДРУГ ПОДЛЕ ДРУГА, ДЫШАЛИ ЧУЖИМИ ИСПАРЕНИЯМИ, ХОДИЛИ, ПЕРЕШАГИВАЯ ЧЕРЕЗ ЛЕЖАЩИЕ ТЕЛА, ССОРИЛИСЬ И МИРИЛИСЬ, ПЛАКАЛИ И СМЕЯЛИСЬ. УГОЛОВНИКИ ЗДЕСЬ БЫЛИ СМЕШАНЫ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ, НО В 1937-1938 ГОДАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ БЫЛО В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ УГОЛОВНЫХ, И ПОТОМУ В ТЮРЬМЕ УГОЛОВНИКИ ДЕРЖАЛИСЬ РОБКО И НЕУВЕРЕННО. ОНИ БЫЛИ НАШИМИ ВЛАДЫКАМИ В ЛАГЕРЯХ, В ТЮРЬМЕ ЖЕ БЫЛИ ЕДВА ЗАМЕТНЫ...

(И все-таки были среди этого ужаса не потерявшие облик человеческий! —Т.Л.) ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И ПОБОИ ИСПЫТЫВАЛ В ТО ВРЕМЯ КАЖДЫЙ, КТО ПЫТАЛСЯ ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОПРОСАХ НЕ ТАК, КАК ЭТО БЫЛО УГОДНО СЛЕДОВАТЕЛЮ, ТО ЕСТЬ, ПОПРОСТУ ГОВОРЯ, ВСЯКИЙ, КТО НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ КЛЕВЕТНИКОМ...

ДАВ. ИС. (ДАВИДА ИСААКОВИЧА Н. Заболоцкий хорошо знал и почитал еще до ареста, довелось им поддерживать друг друга здесь, в камере. — Т. Л.) ВЫГОДСКОГО, ЧЕСТНЕЙШЕГО ЧЕЛОВЕКА, ТАЛАНТЛИВОГО ПИСАТЕЛЯ, СТАРИКА, СЛЕДОВАТЕЛЬ ТАСКАЛ ЗА БОРОДУ И ПЛЕВАЛ ЕМУ В ЛИЦО.

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО ПРОФЕССОРА МАТЕМАТИКИ, МОЕГО СОСЕДА ПО КАМЕРЕ, БОЛЬНОГО ПЕЧЕНЬЮ (ФАМИЛИЮ ЕГО НЕ МОГУ ПРИПОМНИТЬ), СЛЕДОВАТЕЛЬ-САДИСТ СТАВИЛ НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ И ЦЕЛЫМИ ЧАСАМИ ДЕРЖАЛ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ ОБОСТРИТЬ БОЛЕЗНЬ И ВЫЗВАТЬ НЕСТЕРПИМЫЕ БОЛИ. ОДНАЖДЫ, ПО ДОРОГЕ НА ДОПРОС, МЕНЯ ПО ОШИБКЕ ВТОЛКНУЛИ В ЧУЖОЙ КАБИНЕТ, И Я УВИДЕЛ, КАК КРАСИВАЯ МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ ПЛАТЬЕ УДАРИЛА СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ЛИЦУ И ТОТ СХВАТИЛ ЕЕ ЗА ВОЛОСЫ, ПОВАЛИЛ НА ПОЛ И СТАЛ ПИНАТЬ ЕЕ САПОГАМИ. МЕНЯ ТОТЧАС ЖЕ ВЫВОЛОКЛИ ИЗ КОМНАТЫ, И Я СЛЫШАЛ ЗА СПИНОЙ ЕЕ УЖАСНЫЕ ВОПЛИ...

(Но знаешь, что более всего удивляет? Как объясняли они себе происходившее с ними... Впрочем... чему удивляться? Вспомним наши с тобой детство и юность? Не такими ли были? — Т.Л.)

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЭТИ ... БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ПЫТКИ И ИСТЯЗАНИЯ? БОЛЬШИНСТВО БЫЛО УБЕЖДЕНО В ТОМ, ЧТО ИХ ВСЕРЬЕЗ ПРИНИМАЮТ ЗА ВЕЛИКИХ ПРЕСТУПНИКОВ. РАССКАЗЫВАЛИ ОБ ОДНОМ НЕСЧАСТНОМ, КОТОРЫЙ ПРИ КАЖДОМ ИЗБИЕНИИ НЕИСТОТОВО КРИЧАЛ: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИН!» ДВА МОЛОДЦА ЛУПИЛИ ЕГО РЕЗИНОВЫМИ ДУБИНКАМИ, ЗАВЕРНУТЫМИ В ГАЗЕТУ, А ОН, КОРЧАСЬ ОТ БОЛИ, СЛАВОСЛОВИЛ СТАЛИНА, ЖЕЛАЯ ЭТИМ ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОВЕРНОСТЬ... В МОЕЙ ГОЛОВЕ СОЗРЕВАЛА СТРАННАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО МЫ НАХОДИМСЯ В РУКАХ ФАШИСТОВ, КОТОРЫЕ ПОД НОСОМ У НАШЕЙ ВЛАСТИ НАШЛИ СПОСОБ УНИЧТОЖАТЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ... И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЧЕМ ИНЫМ МОГЛИ МЫ ОБЪЯСНИТЬ ВСЕ ТЕ УЖАСЫ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ С НАМИ, — МЫ, СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ, ВОСПИТАННЫЕ В ДУХЕ ПРЕДАННОСТИ ДЕЛУ СОЦИАЛИЗМА?..

(Помнишь, Володя, мою «сердитую» реакцию на таинственный «перерыв» в автобиографии Н.А. Заболоцкого: захотел, мол, поэт поездить по нашей стране — отправился на Дальний. Вот и узнаешь сейчас подробнее об этом его «путешествии». — Т.Л.)

ВЕЗЛИ НАС С ТАКИМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЯМИ, КАК БУДТО МЫ БЫЛИ НЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ, ЗАБИТЫЕ, ЗАМОРДОВАННЫЕ И НЕСЧАСТНЫЕ, НО КАКИЕ-ТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗЛОДЕИ, СПОСОБНЫЕ В КАЖДУЮ МИНУТУ ВЗОРВАТЬ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ, ДАЙ ТОЛЬКО НАМ ШАГ СТУПИТЬ СВОБОДНО. НАШ ПОЕЗД, СОСТОЯЩИЙ ИЗ БЕСКОНЕЧНОГО РЯДА ТЮРЕМНЫХ ТЕПЛУШЕК, ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ ДИКОВИННОЕ ЗРЕЛИЩЕ. НА КРЫШАХ ВАГОНОВ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРОЖЕКТОРА, ЗАЛИВАВШИЕ СВЕТОМ ОКРЕСТНОСТИ. ТУТ И ТАМ НА КРЫШАХ И ПЛОЩАДЯХ ТОРЧАЛИ ПУЛЕМЕТЫ, БЫЛО ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ОХРАНЫ, НА ОСТАНОВКАХ ВЫПУСКАЛИСЬ СОБАКИ ОВЧАРКИ, ГОТОВЫЕ РАСТЕРЗАТЬ ЛЮБОГО БЕГЛЕЦА. В ТЕ РЕДКИЕ ДНИ, КОГДА НАС ВЫВОДИЛИ В БАНЮ ИЛИ ВЕЛИ В КАКУЮ-ТО ПЕРЕСЫЛКУ, НАС ВЫСТРАИВАЛИ РЯДАМИ, СТАВИЛИ НА КОЛЕНИ В СНЕГ, ЗАВЕРТЫВАЛИ РУКИ ЗА СПИНУ. В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ МЫ СТОЯЛИ И ЖДАЛИ, ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ, А ВОКРУГ СМОТРЕЛИ НА НАС ДЕСЯТКИ РУЖЕЙНЫХ ДУЛ, И СЗАДИ, НАСЕДАЯ НА НАШИ ПЯТКИ, ЯРОСТНО ВЫЛИ ОВЧАРКИ, ВЫРЫВАЯСЬ ИЗ РУК ПРОВОДНИКОВ. ШЛИ В ЗАТЫЛОК ДРУГ К ДРУГУ.

— «ШАГ В СТОРОНУ — ОТКРЫВАЮ ОГОНЬ!» — БЫЛО ОБЫЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...

(А что они ели-пили — не приходит ли тебе в голову, Володя? Мне, честно говоря, до сих пор, не приходило... Т.Л.)

ШЕСТЬДЕСЯТ С ЛИШКОМ ДНЕЙ МЫ ТАЩИЛИСЬ ПО СИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ, ПРОСТАИВАЯ ЦЕЛЫМИ СУТКАМИ НА ЗАПАСНЫХ ПУТЯХ... СНАБЖЕНИЕ ВСЕЙ ЭТОЙ ГРОМАДЫ АРЕСТОВАННЫХ ЛЮДЕЙ, ДВИГАВШИХСЯ В ТО ВРЕМЯ ПО СИБИРИ НЕСКОНЧАЕМЫМИ ЭШЕЛОНАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЛО СЛОЖНУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЗАДАЧУ. НА МНОГИХ СТАНЦИЯХ ИЗ-ЗА ЛЮТЫХ МОРОЗОВ И НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬСТВА НЕВОЗМОЖНО БЫЛО СНАБДИТЬ ЛЮДЕЙ ДАЖЕ ВОДОЙ. ОДНАЖДЫ МЫ ОКОЛО ТРЕХ СУТОК ПОЧТИ НЕ ПОЛУЧАЛИ ВОДЫ И, ВСТРЕЧАЯ НОВЫЙ 1939 ГОД ГДЕ-ТО ОКОЛО БАЙКАЛА, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЛИЗАТЬ ЧЕРНЫЕ ЗАКОПТЕЛЫЕ СОСУЛЬКИ, НАРОСШИЕ НА СТЕНАХ ВАГОНА ОТ НАШИХ ЖЕ СОБСТВЕННЫХ ИСПАРЕНИЙ. ЭТО НОВОГОДНЕЕ ПИРШЕСТВО МНЕ НЕ УДАТСЯ ЗАБЫТЬ ДО КОНЦА ЖИЗНИ...

НАС ВЕЗЛИ ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, НА КРАЙ СВЕТА... ТАК МЫ ПРИБЫЛИ В ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»...

... Вот и все, Володя, о весьма приятном «ПУТЕШЕСТВИИ» на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК поэта Николая Заболоцкого, что мне удалось вместить в 3 страницы из его «автобиографической прозы», названной им — «ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ»...

К тебе только один вопрос: НЕОБХОДИМО ЛИ, нужно ли, прочесть ВСЕ эти 11 страниц, в каждой школе, в каждом классе, ВСЕМ нашим юным, накануне их прощания со школой?

— ДЛЯ ЧЕГО? — спросишь?.. Отвечу:

ЧТОБЫ ЭТО НЕ ПОВТОРИЛОСЬ...

Я ВЕДЬ ТОЖЕ — ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. НЕ ЭТО ЛИ ОНО И ЕСТЬ?..



Дмитрий Бобышев
ЧЕЛОВЕК ОТЕКСТ
Трилогия
Книга первая. "Я здесь"

(продолжение. Начало в №12/2014 и сл.)

Академический отпуск

Выпущенной из меня кровянки было достаточно не только для забрызганных очков хирурга, но и для того, чтобы омыть и даже частично отмыть ею мерзкое ощущение мышеловки, в которую я попал волею людей и обстоятельств. Выздоровление — хорошая пора для самоанализа, а убывающая боль и прибывающие силушки, как-то иначе, чем прежде, по-мужски укладывающиеся в организме, настраивали оптимистически.

Выводы были такие: в общем я, хотя и с потерями, из ловушки вырвался, а моё поведение в решительный момент было сугубо инстинктивным, хотя и по виду двусмысленным: шутовским и несколько дерзким, безусловно спасительным, безусловно не героическим, но при этом и не позорным. Я уподоблял его, говоря образно, поведению воды: в неё забивают гвозди, а она о том и не знает, её сжимают в кулаке, а она протекает сквозь пальцы.

Разумеется, моя пригча о справедливом ректоре на самого Евстропьева не повлияла, и Рейн не был восстановлен. Видимо, кандидат в депутаты, посоветовавшись с «доверенным лицом», расценил моё выступление в целом как нелепое, но объективно для него положительное. И похоже, это дало мне охранную грамоту на будущее: в оставшиеся полтора институтских года ни интереса к инженерству, ни усердия в учебе во мне не прибавилось, и у Павлюченко в деканате не раз чесались руки избавиться от нерадивого студента, но что-то, не иначе как решение в административных верхах, его останавливало.

Да и других исключений не последовало. Пуше сглаза мы остерегались призыва в армию, и не без оснований — едва кого-то снимали с военного учёта в институте, тут уж военкомат бил парня влёт. Найман подумывал хлопотать да и, кажется, хлопотал о белом билете, Рейн, уходя от военкома в бега по стране, добирался с геологическими партиями аж до Камчатки, прежде чем сумел поступить вновь на четвертый курс в другой Технологический институт, с которым нас часто путали, — Холодильной и мясо-молочной промышленности, так называемую «Холодильку». И я, несмотря на отпуск, хаживал всё-таки раз в неделю на военные занятия и получил в результате освобождающее от действительной службы звание офицера запаса. О газете «Культура» перестали и вспоминать.

Но, как оказалось позднее, не все службы так забывчивы и отходчивы. В КГБ было открыто «Дело газеты „Культура“», заведена папка — должно быть, не тощая, но долгое время никто по этому делу не «привлекался», покуда в 1965 году КГБ не арестовал группу выпускников Технологического института, в основном

более младших выпусков, и кроме них нашего неугомонного Зеликсона.

— А мы вас давно ждём! — как радушный хозяин дорогого гостя, приветствовал его следователь и с этими словами подшил нашу общую пухлую папку «Культура» к новому делу — «дело об изготовлении и распространении подпольного контрреволюционного журнала «Колокол».

С младшими «колокольчиками», как она их ласково называла, меня познакомила в 75-м году Наталья Горбаневская, прощаясь — тогда казалось, навек — перед отъездом за границу и оставив позади свой героический протест на Красной площади, «Хронику текущих событий», следственную тюрьму и Казанскую спецпсихбольницу. Уезжая, она как бы заштопывала дыру своего отсутствия связями между людьми, знакомыми лишь через неё.



С Натальей Горбаневской на её проводах 1975 г.

Мы тогда с открытостью и доверием подружились с Веней Иоффе, одним из активных звонарей (нет, скорее уж — отливщик) «Колокола», и он рассказал мне, с каким сочувствием следили его однокурсники за перипетиями нашей «Культуры».

В 57-м году мы, разумеется, не знали о существовании следственного дела, но и не питали особенных иллюзий относительно того, что «всё обошлось». Наоборот, недоумение вызывали прибывающие с Запада «друзья Советского Союза». Готовящийся молодежный фестиваль, казалось, давал повод им, свободным и раскованным, кормить своими рыбками-улыбками гниlostную пасть пропагандистского медведя. Но неужели они, выйдя из самолета где-нибудь в Шереметеве или Пулково, с первым же вздохом не чуяли запаха репрессивного государства? Правда, пахло уже не страхом, как раньше, хотя и страхом тоже, но больше угрозами и каким-то хитрованским и крупномасштабным жульничеством.

— Ты меня на «понял» не бери, понял? — так шутили когда-то наши школьные переростки.

Но и не всех же удавалось взять на этот «понт» — кинокрасавчик Жерар Филип, например, потешал Париж коллекцией грубого, чуть ли не брезентового, женского белья, закушленного во время московских гастролей. Ну, не брезентового, так байкового — какая разница? Вот уж — француз! Он разочаровал тех и этих и даже меня, — к тому же прославленный Фанфан-Тюльпан оказался на самом-то деле отчаянно лопоух.

А вот Ив Монган не разочаровал — наоборот, поголовно обаяв население хрущёвского царства-государства, он всё же по поводу подавления венгров где-то там горячо пошумел, шваркнул-таки партбилетом о стол.

Впрочем... этих мировых знаменитостей я своими глазами не видел. Но вдруг, проходя по Невскому неподалеку от кинотеатра «Титан», заметил остановившийся лимузин ЗИС-110, из которого вышел, как я точно знал и верил, великий поэт Пабло Неруда. Партбилет наверняка был в кармане его банкирского двубортного костюма вместе с чилийским паспортом и лауреатскими дипломами, и, да, он давно уже писал величественные пуды верлибров, прославляющие пролетариев топора и пилы, которые низводили под корень леса Кордильер или Анд. Но он был великий поэт, я это знал наверняка. До лесорубов он писал о любви и звёздах, и, когда я это читал, в сердце пульсировало солнце, а мозг заледеневал кристаллами. С ним была женщина, которая показалась мне ослепительной. Стройная, смуглолицая, в облегающем черном платье, с черными глазами и бровями вразлет, она была медно-рыжей, даже как бы подсвечивающей лысоватого спутника-лауреата яркостью своих волос и облика. С ними вывалился из машины мятым серым комком Саянов с портфелем, немедленно узнанный мною, и ещё некто, совсем уже серо-изжёванный, явно сопровождающий их по другому ведомству.

Компания направилась в магазин кустарных промыслов, торгующий рушниками и матрёшками.

Я тронулся дальше. Уж наверное закупил он этих поделок, увез к себе в замок на собственный остров, где, вперемежку с книгами на всех языках, они пылились на полках, пока не раскатали их по плитчатому полу подполковники хунты, прибывшие на двух катерах арестовать или скорей поугубить всплывшего, отягощённого лаврами, смертельно больного поэта.

— Чили прочуили! — злорадствуя, скаламбурил тогда, в сентябре 73-го, знакомый острослов и протопоп.

Проводы Уфлянда

Мать мне сказала без обиняков, за себя и за отчима:

— Ты уже взрослый. Но мы поддерживаем тебя, пока ты учишься, чтобы получить специальность. Стипендии ты уже давно не имеешь, это ладно — деньги небольшие. Но сейчас и на занятия не ходишь. Кроме того, мне не нравится, как ты себя ведёшь и как ты настроен. Содержать тебя просто так мы не будем. Иди ищи работу.

Это звучало обидно, но справедливо, хотя и находилось в противоречии с тем, что я хотел бы от неё услышать. Она знала о полной перемене моих интересов. Я и сам понимал, что по интересам надо и жизнь устраивать, расспрашивал филологов об учёбе в университете. Имени Жданова, между прочим... Но от этого некуда было деться — даже мой паспорт являлся в какой-то мере документом пропаганды. Там стояло место рождения: город Жданов Сталинской области. Выданный на четыре года, он подлежал замене как раз в пору первых попыток десталинизации, и — о удача! — мне удалось задурить голову районной паспортистке настолько, что она избавила меня сразу от двух злодеев, вписав в эту графу Мариуполь и прочеркнув область.

Но менять имя университета и города — «колыбели двух революций» (а на самом деле по крайней мере трёх) пора ещё не настала. Из универсантов я поговорил доверительно с Уфляндром.

Он сказал:

— Поэта учить — только портить. На филфаке тебе голову марксизмом за-долбают.

— Думаешь, в Техноложке нет марксизма? Это же в любом вузе...

— Не-е-ет, у вас один-два зачета, а у них там каждый курс, каждый семинар — это марксизм...

— У них? Там? Разве ты не в университете?

— Выперли...

Разговор состоялся ещё в 56-м, и с осенним призывом бедняга загремел в армию, да ещё и на Север, за Полярный круг. Провожая, поклонники образовали ему хоровод на перроне. «Воло», как его называли, ходил от одного к другому, прикладываясь к бутылочке, лобызался с каждым...

Мне он оставил заметку о Михаиле Еремине, одном из их неразлучной троицы. Поэты тогда группировались по трое, и вместе с Леонидом Виноградовым они такую терцину составляли, дополняя один другого даже внешне: брюнет, блондин и рыжий. В точности как в стихах Уфлянда:

*Застеснявшись вдруг, пыльные пьяницы
стали чистить друг другу спины.
Рыжий даже хотел побриться,
только чёрный ему отсоветовал...*

Даже влюблены они были в одну и ту же девушку, дочку актрисы, игравшей на сцене Александринки женщину-комиссара в кожаной тужурке и пулемётных лентах. Однажды весной, идучи по Троицкому мосту (тогда Кировскому), заспорили, кто из них влюблен самоотверженной. В доказательство своей любви чёрный (Виноградов) прыгнул через перила в Неву. Рыжий (Уфлянд) немедленно последовал за ним, а блондин побежал ловить такси к Петропавловке, куда выехали благополучно оба, и повёз их домой сушиться, греться и творить о себе новые легенды. А в завершение этот первый из бросившихся в воду соперников стал мужем актрисыной дочки, тоже актрисы.

Правильно: поэту нужна если не судьба, то хотя бы легенда, а на худой случай пригодится и театральная маска, пусть даже клоунская.

Скоро от Уфлянда стали приходиться письма без марки, сложенные треугольником, порой с отпечатками заполярного грунта вперемежку со штемпелями, и в каждом — по элегантно-условному карандашному рисунку с надписями, например: «Ты меня не оставишь...» Виновато-женственная фигура стояла перед сидящей монументально-мужественной. Эти рисунки, надписи, их стиль складывались заедино с лаконичными диалогами Хемингуэя, которым мы тогда зачитывались: «Пятая колонна и первые 38 рассказов».

В письмах упоминались ежедневные (там была полярная ночь) северные сияния, но остальные детали были куда как прозаичнее: «копаем землю в гимнастерках», «делаем то же, что нормальные производственники, только бесплатно»... Как там Дар, Глеб Семёнов, «День поэзии», Женька? Просьбы писать...

И я ему писал:

Тундра.

Трудно.

Рабочий ветер.

Он настёгивает гимнастёрку

из холста беззащитного цвета...

Это — там, на конце ответа.

«Беззащитный» цвет гимнастёрки — когда-то этот эпитет был скупо, но веско одобрен Слуцким, а «трудная тундра» позднее обругана Лёшей Лившицем, ставшим уже Львом Лосевым. Это из моего «Солдатского треугольника», Уфлянду посвященного. Он в ответ слал целую поэму с очаровательной концовкой:

... когда трамваи спят.

Трамваи спят семья.

Трамваи спят с открытыми глазами.

О нашем общем всесоюзном поругании он узнал тоже от меня. Вот его ответ:

Здравствуй, Дима!

Твоё письмо получил. Как аллигатор проглотил новости. Страшно огорчён, что не могу присутствовать при моём собственном разгроме... Я здесь лишён элементарных сведений, даже тех, которые преподносят в искажённом виде «Литературная газета»... Поэтому присылайте побольше литературной болтовни. Сейчас темно, но я попытаюсь на этом куске изобразить эскиз вещи «Где ты была». Поэму посылаю в благодарность за стихи. Каковы венгры? А? А польская печать?..

А вообще желаю всего самого хорошего только тебе и нашим общим доброжелателям. Остальным не желаю ничего.

Пиши. Уфлянд. 3.11.56

Разгром (и не только Уфлянда) был уже позади, и ему-то, лишившемуся всего, за что мы цеплялись, и потому свободному, оставалось лишь платоническое ощущение утихающего скандала. Да и мне было легче на душе оттого, что моя статья не оказалась поводом для реальной расправы над Уфляндом, но лишь началом красочной, как бы с фингалом под глазом, известности поэта.

Академический отпуск (продолжение)

«Содержать тебя просто так мы не будем». И я отправился искать работу. Кое-где поблизости от вокзалов висели уличные щиты «Наем рабочей силы», зазывающие на Таймыр и в Норильск, но кого они могли соблазнить? Ведь загоняли и на целину, в Казахстан. Мне знающие люди подсказали, что есть районные биржи труда при исполкомах. Побрёл туда, на Старо-Невский.

— Профессия есть? Нет? Значит, разнорабочий. Есть только два места: на макаронной фабрике №4 и на заводе шампанских вин.

Надо ли говорить, что я выбрал? Вместо пролетарской унылой заскорузлости с налипшей на нее мукой, вместо «номера четыре» — нечто празднично-светское, искрящееся, как разговор на балу:

— Могу ли я спросить вас, чем вы занимаетесь?

— Я веду класс фортепьяно в консерватории. А вы?

— А я работаю на заводе шампанских вин.

— О, это интересно. Расскажите, какие марочные вина вы выпускаете? Уступают ли они французским?

— Честно говоря, лишь некоторые...

Действительность, разумеется, не была так элегантна. За массивной стеной на правом берегу Невы располагался бетонный двор, заполненный бочками с «сырьём» — портвейном «Три семерки», — завод в основном гнал «бормотуху». Не столько, понимаете ли, «форте», сколько «пьяно»... Сбоку располагались два здания: побольше и получше — администрация и лаборатория, а поплоче — цех разлива, далее — несколько приземистых погребов, один из которых находился в стадии достройки. Там мне и предстояло работать.

Внизу Катя-бетонщица, рябая спокойная баба, мешала раствор, лебёдкой ведро подавалось наверх и — в мою тачку. Балансируя по прогибающимся доскам, я возил жидкую смесь песка и цемента Кропину, каменщику. Ну и, конечно, кирпичи. Чуть дождь — кладка прекращалась, все спускались под перекрытие. Там, у печурки, шли затяжные перекуры, велись философские толковища насчет квартальной премии — «запоят или не запоят», рассказывались случаи, соображалось, как бы добыть из бочек «сырья», — в разливочный цех строителей не пускали. Но резиновый шланг одолжить могли.

Прикладываться к той же кишке, что и все, я не смог, но придумал другое: надрезал обтаявшую в снегу берёзу, подставил под неё отбитую у цоколя лампу, и в нее накапало, даже нажурчало прозрачного ледяного и чуть сладковатого сока. Куда лучше марочных вин, только что не пузырилось! Берёзовый сок пуритански омывал мысли, а работающие корявые речи складывались в придурковатые куплеты «Перекур, или Разговор каменщиков во время перекура», которые я читал потом, не без подсмеха и подмига, в литературных компаниях. «Торжество земледелия» Заболоцкого (читанное почти из воздуха — из прозрачных перепечаток на папиросной бумаге) сыяло недостижимым или, во всяком случае, неповторимым образцом.

Строительный подряд на пьяном заводе заканчивался, и я, может быть, единственный трезвый работник, вышел однажды через проходную, чтобы больше туда не возвращаться. Но так называемый отпуск ещё продолжался, и по настоящей подсказке отчима я определился на один из хитроумных военных заводов, который выпускал «пылесосы». Характерная опечатка — я имел в виду пылесосы! Подобных заводов — так называемых «почтовых ящиков» — наткано было по городу немало, и числились они по мирным ведомствам. Впрочем, пылесосы они изготовляли тоже, я сам отдирал напильником припой с их полусферических боек (от слова «башка»), но основной продукцией были то ли ракеты, то ли торпеды, то ли какие-то части, общие для тех и других. Засекреченный участок с внутренней охраной приходилось огибать, когда я ходил через весь завод, занимающий целый квартал многоэтажных и когда-то жилых домов, в горячий цех, — там бесплатно можно было выпить газировки. Работа казалась лёгкой, в особенности после кирпичей и бетона, слесари-токари были помоложе и побойчей, чем мои предыдущие «коллеги по шампанскому», и с некоторыми можно было даже поговорить.

В один из раннеиюньских дней радио, постоянно гремевшее над головой бравурными репортажами с полей, перемежающимися то арией Каварадосси, то «Танцем с саблями», заговорило о чем-то дикторским голосом: фальшиво-значительно, но как бы вскользь, якобы задушевно и псевдовосторженно.

— Какая-то большая поганка заделывается, — вдруг затревожился мой сосед, слесарь четвертого разряда (мне был дан всего лишь второй).

Мы оба прислушались. И в самом деле: шли бесконечные благодарственные речи «дорогому Никите Сергеевичу», которые каким-то непостижимым образом, наподобие ленты Мёбиуса, переходили в отмену выплат по облигациям

государственных займов такого-то и такого-то года, с переносом выплат по другим ценным бумагам, в том числе займа «Золотой заём», на 20 лет. Даже у меня была одна такая, купленная на мою жалкую стипендию, «золотая» облигация. Я стал подначивать слесаря:

— Если у тебя в долг берут до полочки, а потом обещают отдать через 20 лет, то что ты тогда делаешь?

— Иду морду бить.

— А это — не то же самое? Ещё и благодарить требуют...

— Слушай, студент, вы начинайте, как в Венгрии, а мы, рабочие, вас поддержим!

— А ну, кончайте базар! — со стороны отозвался старый слесарь-лекальщик восьмого разряда. На этом союз интеллигенции и рабочего класса распался, так и не состоявшись...

Бобышевы пропадали семейством на Карельском перешейке: Василию Константиновичу там был выделен участок для дачи, и он возводил — нет, отнюдь не «палаты каменные», а всего лишь стандартный щитовой дом со шлаковой засыпкой для утепления. Все пока ютились во времянке. Разумнее всего было бы прекратить моё трудовое воспитание и использовать здорового парня на строительстве собственного дома. Но парень-то был с норовом, с гордостью, с обидами и причудами, а теперь уже и с собственным заработком...

И я княжил на пустой Тавриге. Контрастом убогому заводу, производящему, помимо своих торпед или частей к ним, ещё и шум, грязь и вонь, была просторная квартира со всегда открытой в сад балконной дверью. Хорошо дышалось, думалось, читалось, писалось. Правда, в том неказистом квартале Петроградской стороны, куда я ездил по утрам и где всё упомянутое испускалось и изготовлялось, стала занимать меня сероглазая Валентина, вертляво танцующая у своего станка, и я всё чаще стал ходить мимо неё в инструментальную мастерскую. Запах машинного масла, исходящий от неё, начал казаться мне привлекательным. Наконец, сговорились на субботу, у меня...

Клён в саду добродушно кивал кудлатой, как бы огромно-собачьей, головой. Я заранее принес бутылку армянского коньяка, килограмм шоколадных конфет. Лимон. Расставил всё на столе. Тахта коврово ширилась в углу.

Но вдруг явилась Галя Руби, принесла цветы. Поставила их в вазу на столе. Полубопытствовала о коньяке и конфетах, захотела попробовать того и другого. Мы живо заговорили о театральных гастролях, и тут же запорхали французские имена и названия: «Комеди Франсез», Мария Казарес... Жан-Луи Барро... Затем — о делах в Техноложке... О стихах... Всё-таки она оставалась моим лучшим другом. Хорошим парнем!

Когда пришла Валентина, Галя, окинув её критическим взглядом, удалилась. Коньяку оставалось лишь на полторы рюмки.

— Так я у тебя не одна! — возмутилась моя очаровательная станочница и покинула меня навсегда.

Да, с её стороны это и не могло выглядеть иначе. Но она была не права: я остался в разочаровании, смешанных чувствах и полном одиночестве.

«Хороший парень» тоже надолго пропал, чувствуя мою досаду. Но понемногу дружеские отношения с Галей восстановились. Да они, в сущности, никогда и не прерывались! Вот уже кончился мой «академический» отпуск, и я вернулся в Техноложку, отставая от бывшей группы ровно на один год. Часть зачётов за про-

шлюе была учтена, и сам процесс учебы стал легче. А в трудный момент, когда это случилось, белая команда готова была поддержать меня — курсовым ли проектом, расчётом ли, черчением...

Ближе к Новому году пошли чередой концерты и танцевальные вечера. Галя пригласила меня на бал в Дом архитектора, — можно ли было отказаться? Таинственный Монферранов дворец на Большой Морской, где гостей раздеваться загоняют вниз, в душный подвал, а затем возгоняют вверх...

Я полагал себя там не чужим, но о моем отце, архитекторе, никто уже не помнил, зато у Гали ведущим архитектором города оказался её родной дядя, который построил самую элегантную станцию метро — «Пушкинскую». И новый аэропорт! И театр! И еще одну станцию метро — «Владимирскую»! И мост! И — еще!

Нахватав закусок в буфете и купив бутылку грузинского «Цоликаури», мы с другом Галей расположились за столиком, к которому вскоре подошел и мастер архитектуры, тот самый «дядя Александр Владимирович», а с ним и его жена Вера, про которую Галя успела шепнуть мне, что она — «грузинская княжна». Да и про меня, наверное, им шепнула, что я, мол, «поэт». Их полусухое шампанское присоединилось к нашему сухому белому.

На бал был вызван настоящий джаз-оркестр, и я пригласил танцевать княжну Веру. Музыка была хороша — настоящий свинг, под который было легко импровизировать. Играли профессионалы, которые, правда, вскоре подошли и мастером самодеятельности ЛИСИ (Строительного института), — «оттепель» не могла ещё полностью растопить запрет на джаз. Играли здорово и, главное, самые лакомые новинки: вот «Колыбельная птвичьего острова». До чего же божественно её исполняла магнитофонная Элла! Сережа Вольф даже сочинил сказку — не «на мотив», конечно, но по мотивам её пения. А эта солистка, увы, не Элла, но тоже очень даже ничего: Нонна. Нонна Суханова. Дылда с прической Бабетты, идущей на войну, с пластикой подростка, раскованного и рискованного... Вон как на неё усталился Лёва Поляков, наймановский приятель из спортсменов и искателей приключений.

— Здорово! Как ты попал сюда?

— Ребята из оркестра провели...

Пока мы переговариваемся, Нонна вдруг указывает на меня:

— Я хочу танцевать с этим мальчиком.

Танцуем...

— Я слышала, вы — поэт...

— Да, я пишу.

— Напишите мне поэму «Хулиган».

— Почему же именно такую?

— Потому что поэт должен быть хулиган. А вы — нет?

— Ну, некоторые тексты у меня достаточно дерзки.

— А я сейчас буду петь для вас. Что вы хотите услышать, какую песню?

Назовите.

— Спойте «*C'est si bon*».

— По-французски я не пою.

— Тогда не знаю.

— Хорошо. Я вам спою «Каплет дождик».

Это её коронный номер. Дурацкие слова, ритм и мелодия элементарны, но всё это вместе вышло пластинкой, и Нонна теперь знаменита. Пока она поёт, Лева мне шепчет:

— Чувак, тебе повезло. Она тебя хочет.

— Хочет — что?

— Ну, вообще. Сам понимаешь.

— Да я же здесь не один. Мне неудобно перед Галей. А ей перед архитектурной родней.

— Ну, чувачок, сам смотри. Тебе я бы уступил. А ведь я сюда притащился только из-за Нонны.

Теперь я танцую с Галей. В конце концов, мы ведь друзья, должна ж она понимать, что бывают особые обстоятельства. Нет, не понимает:

— Я тебя пригласила сюда, ты и должен меня проводить.

— Хорошо. Тогда мы уходим немедленно.

Надулись оба, и я молча отвел её на Васильевский остров.

Наша дружба заледенела. Но через какое-то время как ни в чем не бывало она предложила мне билет на сольный концерт Святослава Рихтера в Малом зале, и как было отказаться? Галя, мне кажется, была сотворена из того же материала, что и шекспировский Фортинбрас.

А Нонны Сухановой я больше не видел. Все ж поэмку я ей написал — не под тем названием, как ей хотелось, но как бы от лица её героя, и там уж с удовольствием побезобразничал в тексте. Выхватываю наугад:

... Эта девочка-сластена,
похожая фигурой на диван,
танцует, танцует,
и с нею мальчик, наверно, хулиган.
А рядом девочка-растрепка
похожа на стиральную доску,
танцует тоже,
и с нею мальчик, тоже, наверно, хулиган...

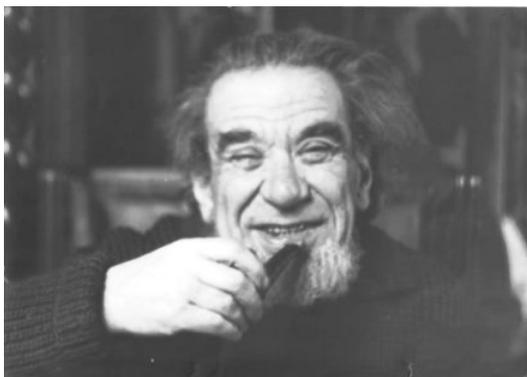
Как говорил Хлебников: и так далее.

Стихотворение это бродило по самиздату, затем ненароком попало в историю, о чем будет рассказано позже, но достигло ли оно адресата, я не знаю. Однако слышал, что Нонна всё-таки нашла себе поэта по есенинскому стереотипу: он был чубат, пьян, талантлив, а бузотерил не только в стихах, но и в быту.

Дар и одарённые

В солдатском письме Уфлянда был упомянут Дар. Это не роман Набокова, о котором мы тогда и не слышали, а писательский псевдоним Давида Яковлевича Ривкина, состоящий из его инициалов: ДЯР, для благозвучия — Дар. Давид Дар. Его старший сын Володя, серьёзный голубоглазый блондин, был среди нас вдумчивым студентом-технологом и лицом, видимо, пошёл в мать. Но и он был замечен в литературных поползновениях. А его добродушная сестра Лора, рыжеватая и пухлолицая, явно напоминающая отца, водилась с филологами и битниками и была не чужда самиздату. Довольно рано, скорей всего не закончив университета, она стала работать в Книжной лавке писателя, ни перед кем не робела, знала прекрасно сама, кто чего стоит, и в охотку продавала дефицитные синемундирные книги —

то Пастернака, то Заболоцкого, то Цветаевой — не членам Союза писателей, как ей предписывалось, а нашей непривлекательной братии.



Литературный наставник Д.Я. Дар 1977 г.

Их отец женился другим браком — и тут начинается его приметная особенность — на писательнице же Вере Пановой, ставшей лауреатом Сталинской премии, что было не фунт изюму. Для многих этим его примечательность и ограничивалась, но Давид Яковлевич являл незаурядную личность и сам по себе. Маленький, круглый, рыже-всклоченный и крупно-морщинистый, со шкиперской трубкой в прокуренных зубах, пыхающий клубами дыма и непрерывно кашляющий, — вряд ли такой почти карикатурной внешностью он прельстил Веру Фёдоровну, тоже, впрочем, уже белёсо-рыхлую в те годы... А вот Борис Вахтин, сын её от предыдущего брака, определённо был мужественно породист.

Значит, и в Даре была какая-то особая мужская косточка, очаровавшая не только крупнотиражную писательницу, но и литературную молодёжь. Действительно, бывал он иногда смел до дерзости и раза два вцеплялся эдаким разъярённым фокстерьером в шкуру начальственного медведя. Впрочем, ему это сходило с рук, как и многое другое: сталинское лауреатство жены служило надёжной защитой даже в пору десталинизации.

Для окружающего большинства его собственные литературные достижения считались мифическими, но, по случайности, не для меня: ещё в школьные годы мне попался «Господин Гориллиус», по виду антифашистский памфлет, написанный задорно и едко, причём не только о фашистах, а о любой вульгарной и похотливой власти. Мы с Толей Кольцовым зачитывались этой бойкой книжкой, цитируя чуть ли не наизусть! То, что он писал позднее, не печаталось, да и не очень-то было известно, что же именно он писал (говорил, что «сказки для взрослых»), и, следовательно, были они, вместе с его нелюбимым пасынком, непечатаемы вроде нас. Однако оба, не иначе как «сын и муж лауреата», состояли членами Союза писателей да и держались в Союзе с вызовом и порой даже наводили на его главарей опаску. Дар всё-таки был фронтовик из окопа под Пулковом, а Вахтин — независимый от них китаист.

На протяжении десятилетий оба соперника, отчим и пасынок, каждый по своему верховодили в неофициальной литературе города. Вахтин, рослый и статный, остался в моей памяти окруженным стройными женщинами и разнокалибер-

ными братьями по перу, признававшими его первенство как за ресторанным или банкетным, так и за письменным столом: Марамзин, Губин, Довлатов, успевший по молодости вскочить лишь в последний вагон отходящего в историю поезда. «Горожане» — так назывался их не вышедший ни в официальном издательстве, как они надеялись, ни даже в самиздате объединённый сборник рассказов, так же называли они и свою литературную группу. Их апогей пришёлся на раннюю глушь брежневского правления, в пору, когда интеллигенция пыталась легализовать свои начинания, лоя власть на слове. Напрасный труд! — сборник был обречён уже в силу своей самостийности, а красивый, ещё молодой или по крайней мере молодой Борис Вахтин вдруг скончался.

Его литературное наследие оказалось невелико: писал он мало и тщательно, его рассказы и повести изредка забрасывались в самиздат, но циркулировали там по малому кругу. Его повесть «Дублёрка» была совершенной классикой, вышедшей прямым ходом из гоголевской «Шинели», и это из неё выкроил себе на ушанку Владимир Войнович. Запомнился также крепко и точно сработанный «Летчик Тютчев», лишь название этого рассказа вызывало недоумение: зачем, ради какой неясной иронии тут впугано славное поэтическое имя? Но стиль вызывал уважение сделанностью, именно этот термин «сделанность» и был его мерой литературного качества, а обкатанные, как галька, слова создавали эффект объективности, даже эпичности. Сам этот способ письма находился под острым углом к торжествующему тогда жанру лирической повести и его рассаднику журналу «Юность». Трусливые стилистические потуги, начало которым положила ещё сталинская (даже трижды!) лауреатка Панова и отдали дань все-все-все, были отвергнуты её сыном, и очень решительно. Его «Самая счастливая деревня» была таким веским галечным камнем, который равно годился и для того, чтоб им придавить от сквозняка пачку свободолобивых рукописей на столе, и чтобы шваркнуть в витрину продажного литературства. Я бы рискнул даже объявить, что камешек этот был сварен в том же тектоническом печле, что и валун солженицынского «Архипелага», ибо говорили они, по существу, об одном — о геноциде народа. Вахтин — о геноциде именно русского, деревенского народа, к которому «повивальная бабка истории» испытывала особое расположение.

Дар был, конечно, совсем другим: он не интересовался никаким народом — ни русским, ни еврейским, принадлежа, пожалуй, к обоим, а лишь экстравагантными стихами, хорошим табачком-коньячком да смазливими и талантливыми ребятами. С восхищённым сочувствием отозвался о жизненном стиле одного чубатого и чубарого поэта:

— Глеба интересуют только три вещи: писать стихи, есть и пить. Нет, все-таки пить и потом есть. Но стихи всё равно на первом месте.

В ту изначальную пору, которую я пустился описывать, по литературским молодёжным углам пролетел слух: Вера Панова собирает альманах «День поэзии», наподобие знаменитого московского, и отбирать стихи для печати будет Дар. Поэты потянулись гуськом в писательские хоромы на углу Марсова поля и Мойки. Особняк братьев Адамини. Вековые ступени лестницы. Звонок. Удивившее меня знакомостью технологическое лицо, на миг показавшееся здесь не на месте. Впрочем, это же Володя, старший сын Дара:

— К Давиду Яковлевичу — сюда.

В комнате крепко накурено, а хозяин набивает новую трубку.

— Бобышев... «Пляж, песок. На песке — поясок...», «Двое в буковой роще»... Знаете, Вера Федоровна находит в вас определённое поэтическое дарование.

— Я никогда этого не говорила! — вдруг явственно прозвучал за стеной женский раздраженно-властный голос.

— Во всяком случае, — ничуть не смущаясь, продолжал Дар, — она собирается поддержать ваши стихи на обсуждении в редакции.

— И этого я не обещала, — вновь донеслось из-за стены.

— В общем, тексты можете оставить, а можете и забрать. Вам нужно сколько-нибудь денег?

— Спасибо, у меня есть.

Здесь легко подставляется на моё место кто-нибудь из многих «талантов» и даже «гениев», выдвигаемых им — но куда? Холоденко, Лапенков, Любегин, даже при даровитости, дальше даровских мишеньев в карьерах своих не пошли... Разве что Лёша Емельянов, темный, как тундра в ноябре, пэтэушник и производственник, был истинно взлелеян Даром и доведён им до ранга писателей, включая и членство в Союзе.

Тому способствовало назначение Дара руководителем ЛИТО в Доме культуры «Трудовых резервов» — ещё один маленький парадокс эпохи. Заведение, по замыслу своему дремучее и пролетарское, помещалось в двух шагах от Невского, поблизости от Дома книги. В одном из просторных интерьеров передельного собора заседал изысканный кружок эстетов и честолюбцев. Курить имел привилегию только сам мастер, и помещение наполнялось запахами кают-компаний. Несколько подлинных птенцов ремеслухи, или, как тогда уже стали говорить, профтехучилищ, жались в углу с раскрытыми ртами. Свободно развалился на стуле и поигрывая браслетом часов, а заодно и показывая витой серебряный перстень на указательном пальце, Сергей Вольф читал свою новую прозу «Благоустроенные поместья». Бабель не Бабель, Бунин не Бунин, но чем-то — возможно, именно своей благоустроенностью, протяжённой добротностью — его стиль отличается от советского, хотя реалии современны и даже местны. Кажется, только на днях парк городских такси пополнился десятками новеньких «Волг», и вот уже в его изложении волшебю зажигается в вечерней метели зелёный глазок свободного «мотора». Герой, авантюрный прагматик, как-то по-западному элегантен.

— Сережа, это Хемингуэй?

— Не читаю из принципа.

— Может быть, Шервуд Андерсон?

— Даже не слышал.

Ну, тогда, может быть, не американцы, а немцы — сам Эрих Мария Ремарк или один из его «Трёх товарищей», забредший случайно в наши вьюги и путаницы... Да ещё герой повести «Хлеб ранних лет» — чувственной и честной прозы восходящего Генриха Бёлля? Засохшие крошки в кармане, химический запах помады на губах подруги — это мы чуяли сквозь перевод, понимали и читали.

Дар настаивал на экспериментаторстве, форме, индивидуальном авторском почерке, для него Вольф был, пожалуй, манерен, если не чужд. В одно из бдений в кают-компаний он дал себя уговорить почитать что-нибудь своё. Хорошо. Вот пригча под названием «Пирог с капустой». Все в обжестии любят пирог с капустой, пусть бы повариха готовила это блюдо каждый день! И она готовит. «Пирог с капустой», повторяемый многократно в тексте, быстро приедается и едокам, и

слушателям притчи. Смысл? Какой хотите — от сексуального до политического: а не попробовать ли чего-нибудь иного?

В следующий раз объявляется турнир поэтов или, вернее, конкурс на лучший экспромт на заданную тему. Ее задаёт Дар, он же является судьёй и вручает «приз-сюрприз». Тема несколько неожиданная и потому трудная: «Отдых». Соревнователей много. Рядом хмурится над ритмической прозой Вольф, напротив кусает карандаш Найман, что-то вычеркивая, комкает и выбрасывает бумажку Рейн. Берёт новый лист. А стимул подхлестывает, гонит рифму за рифмой — откуда что берется? У меня получается что-то курортное:

После лета, после Грузии
это — нечто вроде грусти...

К моему изумлению, я — победитель! Каков же приз? Библиографическая редкость — «Александрийские песни» Михаила Кузмина. В хорошем состоянии, пометок на титуле нет, — рублей на тридцать потянет у букинистов. Но Толя выхватывает томик и вкатывает туда мгновенно рождённую эпиграмму-пародию:

Дима — что-то вроде дыма...

Теперь уже к букинистам не понесешь. И я вписываю туда для памяти целиком свой экспромт. Где теперь и у кого этот экземпляр, и какие загадки-отгадки он собой являет? Впрочем, «Александрийские песни» элегантны и прелестны, и «голубой» оттенок их более или менее скрытан, но всё равно в них проступает какое-то ощущение нечистоты, словно след чего-то вчерашнего и ночного. Поздней, когда мне попала в руки «Форель, разбивающая лёд», где уже ничего не скрывалось, я совершенно «простил» Кузмина, и его поэма стала одной из моих любимых. Это были стихи о любви и, следовательно, о жизни и смерти. А то, что любовь эта однопола, кому какое дело, не правда ли, Дар? В конце концов, в ней столько же низкой пошлости и столько же высокой духовности, как и в любви разнополой! Главное же средоточие книги — в её магическом задании, соединившем образность и ритм с содержанием, тоже магическим в полном смысле этого слова. Поэма «Лазарь» даёт прямой намёк на то, что эта книга — о воскрешении, а в «Форели» каждый удар из двенадцати приближает утонувшего любовника к жизни. Ход мировых часов, круговращение времени поэт нагружает задачей преодоления смерти, в сущности невыполнимой без помощи Спасителя, — а где же там Он?

Я говорил о «Форели» с Геннадием Шмаковым, считавшимся единственным в тогдашнем Союзе специалистом по Кузмину. Мы сидели за круглым столом, пили, кажется, чай. Золотой ангелок летел, отгалкиваясь от Петропавловского шпиля, в моём окне на Петроградской стороне. Шмаков вписал в мой экземпляр книги вымаранные цензурой строфы, имеющие отношение к Кронштадтскому мятежу. Но его толкование главного образа — форели и её ударов о лёд — поразило меня своей плоскостью:

— Этот образ имеет чисто эротическое содержание.

— То есть?

— То есть — удары пениса в анус растопляют лёд не любви.

Бедный! Он всё свёл к способу совокупления... Эти «пенисы-анусы» свели его самого бесповоротно в могилу. Он уехал в Нью-Йорк и поселился в полуподвальной камерке, но не где-нибудь, а на Пятой авеню. Когда я побывал у него в 80-м, он был захвачен знакомствами с небожителями балетного и литературного ми-

ров, но мы обещали держать друг друга в поле своих общений. Через некоторое время на мой телефонный звонок отозвался незнакомый насмешливый голос:

— *Who? Mr. Shmakov? Hah! Is this a name?*

— *Yes, it's the name. Is he around?*

— *No, Mr. Shmakov's gone. Hah-hah-hah!*

«Шмак» означает на нью-йоркском английском какое-то малоприличное, но популярное понятие — до сих пор не знаю, какое точно, а «уехал» или «умер» звучит одинаково. Я повесил трубку и вскоре узнал, что он умер от СПИДа.

А ведь катакомбные христиане означали Иисуса Христа тайным знаком рыбы, по сходству Его имени со словом «Ихтос», и Кузмин это, несомненно, знал. Знал он и о «Философии общего дела» Николая Федорова и, несомненно, или хотя бы возможно, чаял воскрешения мертвых. Во всяком случае, некоторые из его поэм представляли собой модели такого воскрешения, пусть не совсем удачного:

Живы мы? И все живые.

Мы мертвы? Завидный гроб!

Давид Яковлевич Дар не разделял массовых вероучений, но в Бога верил: своего, индивидуального. И — в самого себя, каким Бог его создал, со всеми своими неблагоприятностями. Он писал: «...Я уже не знаю, что такое похоть: то ли это дух, воплощенный в плоть, то ли плоть, проявляющая себя в духе. День и ночь гремит во мне оркестр моей похоти...». Мало кто способен на такую откровенность. Более того, Андрей Арьев напомнил мне однажды очаровательную фразу из «Дневника» Дара: «Вот и старость пришла. А где же мудрость?»

Кто знает, может быть, он был столь же искренен, щедро раздавая литературные комплименты своим любимцам, угощая их коньяком и давая им деньги «взаимь».

В середине 70-х Веру Панову разбил паралич, и Дар окружил её своей (и наёмной, конечно) заботой. Многие литературные бездельники, включая Довлатова, зарабатывали у него на хлеб и пиво, читая вслух для больной и полуслепой писательницы или записывая её, как они говорили, «религиозные бредни». Наконец она умерла, и ошипанный после тяжбы с другими её наследниками Дар надумал уехать в Израиль. Я отправился к нему прощаться. Я был к тому времени уже матёрым изгоем, напечатавшим в периодике лишь несколько искажённых отрывков, он стал изгоем совсем недавно, решившись уехать, и я получил от него все долгожданные похвалы за независимость, а он — от меня. Мы выпили по рюмке коньяку, и вдруг зазвонил телефон. Выкрикнув несколько резких отрывистых фраз, Дар шваркнул трубкой об аппарат. Это, оказывается, звонил Глеб Семёнов с осуждением его за предательство по отношению к родине, родной литературе и пишущей молодёжи.

— Я рад буду уместить своим черепом священные площади Иерусалима! — продолжал кипятиться Дар. — Что он, заодно с тем желторотым кагэбэшником, который вчера оскорблял меня?

— А что, вас вызывали?

— Да, и уже не раз...

— Из-за отъезда?

— И из-за отъезда тоже. Но главным образом по поводу какого-то подпольного журнала, которого я в глаза не видел! — восклицал старик-конспиратор, закатывая глаза к потолку, а руками показывая на лежащие на его столе машинописные пачки.

То были, конечно, последние выпуски запрещённого журнала «Евреи в СССР».

Я начал жадно листать страницы самиздата, за которым как-то особенно свирепо гонялась охранка. Находящийся тут застенчивый и ироничный Сеня Рогинский, с которым меня уже знакомила Наталья Горбаневская, имел явное отношение к этим выпускам. Нервный, весь на винге поэт Миша Генделев — тоже, вот я как раз наткнулся на его поэму «Менора», напечатанную там с фигурной симметрией. А о спокойно-весёлой Эмме Сотниковой и говорить не приходилось: её имя и домашний адрес были с дерзким вызовом напечатаны прямо в журнале!

Ощущение азартной игры охватило меня, но чуял я: мне везло. Я проводил Эмму, и в течение двух-трёх недель до её отъезда в Израиль эта красивая и смелая женщина дарила меня своей дружбой. Журнал «Евреи в СССР» оказался отчасти провокатором, проявляющим бюрократическую ситуацию для отъезжающих: о нём звенели «враждебные радиоголоса», за ним не прекращалась слежка. Но результаты всех этих перипетий были непредсказуемы: уехал Дар, но был арестован Рогинский, уехал Генделев, но затаскали по допросам Эмму. Наконец, уехала и она.

Первые сведения о Давиде Яковлевиче я узнавал ещё через Эмму: пустыня и жара оказались целительны для его астмы, он чувствовал себя бойцовски. Далее: он вступил в борьбу с Союзом местных писателей. Битва шла за какую-то поэтессу, позволившую себе в стихах употребить слово «влагалище». Союз писателей был безусловно против. Дар, несмотря на свою сексуальную ориентацию, исключаящую это понятие, стоял намертво за свободу выражения и, следовательно, за чуждое ему «влагалище». Битва была заведомо неравной...

Маленькая белая книжка, изданная по-русски в Израиле в 1980-м. На обложке в самом низу факсимильно изображена его подпись: Давид Дар. И всё. Внутри — мысли: бесстыдно-честные, безоглядно прямые. О любви и, следовательно, о жизни и смерти. И конечно, о литературе. Мир праху твоему, наставник!

Кружки и стрелы

Наша дружба с Рейном и Найманом долго не могла найти литературного выражения, хотя налицо были общие принципы: нам одинаково казалось невозможным то, что слыло полигической сервильностью в поведении и в текстах (а иначе как можно было бы, например, знакомиться с девушками или даже разговаривать друг с другом), нам всем нравились примерно одни и те же образцы высокой поэзии, будь то пренебрегаемые казённым толкованием метафизические стихи Державина, Боратынского или Тютчева, а то и даже неожиданные строки Пушкина, идущие вразрез с официальным оптимистическим идолом, установленным на площади Искусств и как бы приветствующим комсомол. Любить, читать, открывать для себя поэзию было необыкновенно увлекательным, трудным и захватывающим занятием: обнаруживались целые пласты, злонамеренно заваленные всяким мусором. Этот сор, вместе с ветшающими запретами, мы отбрасывали узконосыми, по тогдашней моде, туфлями, «ботами от Швейгольца», чем придётся, и делились друг с другом ослепительными находками — подпольными, подземными или же прямо тут, перед глазами находящимися. Каррарским мрамором засверкал Мандельштам, запульсировала вулканическая Цветаева, антрацитно заблестел Ходасевич, и даже несчастный Павел Васильев, «омуль с Иртыша», вдруг ударил по нервам:

*Четверорогие, как вымя,
по-псиному разинув ты,
торчком, с глазами кровавыми,
в горячечном, горчичном дыме
стояли поздние цветы.*

Ясно, какие критерии мы старались прикладывать и к своим стихам, и к поэзии друг друга, и к литературной продукции современников. И странное дело, что-то из написанного выдерживало и хоть строчкой или двумя, хотя бы метафорой или рифмой, но всё же звучало в согласии с высокими камертонами. Манеры письма тоже, при известной похожести, были всё-таки узнаваемы и различны, и нас, отличая каждого, воспринимали со стороны единой группой.

— Пора бы нам выдвинуть общий манифест, — предложил я однажды.

— За коллективку больше дают! — отверг мою идею Рейн.

— Больше — чего? — не понял я сразу.

— Большие срока, — пояснил он недвусмысленно-юридически.

Действительно, я на минуту забыл и про чёрные списки, и про незакрытое дело «Культуры», и про находящихся в заключении Красильникова и Черткова.

А Найман расхолодил с другой стороны:

— Сэнди Конрад сейчас вообще пишет свои тексты в жанре литературных манифестов. Пародийно, конечно. Не хватало и нам попасть в его коллекцию.

Сэнди Конрад, он же Саша Кондратов, коренастый блондин с линзами на глазах, был эксцентрическая личность: йог, милиционер, мастер спорта по стометровке, будущий семиотик и кибернетик, умерший молодым от прободения язвы, он был тогда абсурдистом и ёрником, — как в жизни, так и в литературе. Стиль его шуток чем-то напоминал каратэ.

Так не состоялся ещё один поэтический «изм». Но единство оставалось и крепко. Зависти друг к другу не водилось, да и не из чего было ей возникать, а вот особая литераторская ревность должна же была существовать: всё-таки поэзия — дело соловьиное, сольное. А как же дружба? Она явно конфликтовала с эгоцентризмом солистов, с тёмными солнышками их честолюбий. Здесь была болевая точка, противоречие... Об этом я написал, обратившись в стихах к Рейну по случаю его дня рождения. Он ответил тоже стихами, но написал их в строку, как обыкновенное письмо, и я воспроизвожу этот приём для обеих частей диалога. Вот моя часть:

*Ты, солнечный денёк, — блести почаще, а мы в тени побалуемся чаем.
Ты, солнце, — юбиляр жестяник. Мы годовщину вечности твоей справляем.
Тебе неплохо б латы для почину. А нам неплохо лето для начала.
Мы самовар несём тебе в починку паять, лудить, поить горячим чаем.
Когда ты в тучах — дыры в них сверли, заглядывай, играй через отверстия.
На пальцы по кольцу буй, ювелир, ты подарил своим недолгим сверстникам.
Мы все живем, куда срок не вышел, — и Женя друг, и генерал Михеев.
Гордость образованьем вышим, стал Женя Рейн мороженщик-механик.
И дня не отработав в Пятигорске, себя покрыл он солнечной полудой.
А для подруг и в сладость он, и в горечь: сто раз обманет, десять раз полюбит.
Но вот — поди ж ты — полюбил однажды, на палец навинтил кольцо с нарезкой,
и вот уже стоит, отважный, с прелестной Галею Наринской.
Сподобился небесным расписаньям, но друга не забыл. И не забудь.
Ведь, может быть, кого-то мы спасаем примером — о приятеле — забот.
И кто-нибудь да будет благодарен, хотя и плачет в маленькие горсти, и на ромашке большие*

не гадает, горя в мёрзлой тундре Мончегорской... Романтик, а теперь тебе — зарплата. Всё правильно. Но как, скажи, ты сладил с твоей грудною клеткою фрегата, с душою, тренированной для славы? Она ж по голове тебя как шарнет! И будто орден в карты проиграл, фуражку мнёт и по мундиру шарит обставленный друзьями генерал. Он от крамолы страшно уморился, призывников своих оберегая. И, солнце, ты лечебным юмористом блеснёшь у генерала на регалиях... Ты не эстрадам трафишь, а судам. Твой медный пест гремит в моё житье. Так долбани же в самое «сюда». — Где — правота? Где право — не моё? Ах, парень, лучше броки залатай, по-дворнички орудуй, по-сыновни. Ты, солнце, знаменитый золотарь. Так выгребай конюшни и слоновни... Кто бы помог? О, помоги, товарищ. Бездонно одиночество отвесное. Ты, солнце, в этот миг электросварщик: заваришь швы, определишь отверстия. Из тела ты сварганило котел. А что душа? Лишь пар. Но этим паром котел гудит. И мы не пропадём с такой душою работающей, парень.

Рейн прислал мне свою часть с запиской:

“Дорогой друг! Напоминаю тебе, что на этих днях пройдет пятый год нашего «появления». Стихи (или не стихи) к этому дню готовы. Вот они. К тому же это и ответ, только несколько косвенный.”

Какие нынче сумерки, дружок. Пойти пройтись, что ли, по каналу. Погоревать, что вот октябрь стриждёт деревья, догола их, догола их. Пустынный пир, пустите и меня. Не жадничайте, я хмелю скоро, тогда танцую буги-вуги я и думаю особенно сурово. Про этот столик с алчущим стеклом и про букет осенний и тернистый, мои друзья, поёжась над стихом, идут в умеренные очеркисты. Ах, Дима, Дима, как тебе сказать — среди твоих укулов и укуров, среди моих уроков и сугробов такое тесто трудно раскатать. Ты помнишь, Дима, твёрдый коридор и самогон среди молочных гор, замоскворецкий кисленький дымок. Ты мог, ну да — и я всё это мог. Так сокрушительна, как первый паровоз, судьба стонала в боевой клаксон, асфальтовой гоняла полосой, как лис карпатских около колёс. Та жизнь была, мы прожили её, от медных драк до сверных похорон. Не делать же, как пленное жульё, роскошный вид, что ты не покорён. Мы прожили стипендии, пайки, бесстыдство женское, стыда иконостас, прекрасные простые сапоги, всё то, что нынче растлеивает нас. Как ёлочный подарок во хмелю, произойдет туманный поворот, ах, Дима, Дима, я тебя молю не поступать тогда наоборот. Вторая жизнь уже уклон у ног, бесповоротная, мы рождены уже. Не сомневайся. Это точно. Но пока не будем думать о душе. Авось она пробьется и сюда, узнает каждого по родинкам и швам, пускай моей не разыскать следа, тогда твою разделю пополам. Я вижу, как в вольфрамовых носках, лелея наш папушеский разврат, мы оба принимаемся ласкать пластической русалки аппарат. Мы музыку строчим на куполах, купаемся в нарзане поутру, на маскарадных уличных балах танцуем негритянскую бурду...

За вычетом взаимных «укулов и укуров» общее опасение или даже предчувствие чего-то неправильного, «наоборотного», грозящего произойти, присутствует и в том и в другом голосе. И оно произошло, но чуть позднее.

А пока мы с Рейном едем электричкой в Комарово. Он везёт меня знакомиться с Мейлахами: у Мирры, его давнишней приятельницы, сегодня день рождения. По пути на вокзал мы покупаем подарок: это игрушка, забавная «самоходная»

такса, которая, если её тащить за поводок, смешно перебирает лапами. Я, стало быть, приложение к этому подарку, но главное везётся в малом — на одну папку — портфеле: магнитофонная бобина с голосами московских поэтов, которую привезли с собой Рейн и Лившиц из поездки. Весь фокус состоит в том, что её негде проиграть, а у Мейлахов наверняка есть магнитофон, и голоса эти будут если не подарком, то особым аттракционом к семейному празднику.

Рейн возбужден, весел. Кубистическую собачку мы уже несколько раз «выгуливали» по линолеуму полупустого вагона. Теперь он стал расписывать её желтые деревянные бока надписями. Вот, например, одна из них:

*Таксёру четвертак сую,
я говорил, таксуя:
— Задам же Мирре таксу я,
и разгону тоску я.*

Пустился рассказывать о Мейлахах: отец, Борис Соломонович, — столп пушкинистики, ястреб соцреализма и сталинский лауреат. Дача, куда мы едем, — о, ты увидишь, что это за дача! — хоромы, «Мейлахов курган», «Храм на цигатах»... За чем же мы едем туда, к таким вельможным людям? Ну, ты поймешь, зачем.

Электричка с волнующими стенаниями несёт нас к неясной цели. На перегоне у Белоострова разразилась сильная гроза. Поезд остановился, дёрнулся, остановился опять, весь в электрических вспышках и ливневом шуме. Длинными ремнями влага потянулась из-под раздвижных дверей с площадки вдоль всего вагона.

— Как дела, молодые люди? — обернулось к нам знакомое лицо с цыганскими глазами и в тубетейке.

Критик и фольклорист Дмитрий Молдавский, сочувствующий молодёжи завсегда Дима писателей. Да, Бронислав Кежун, например, не раз захопывал перед носом дверь на писательские мероприятия: «Только для членов Союза». А он наоборот: «Проходите». Что-то его тянуло к нам, но что-то и останавливало. Порой даже предлагал деньги, но не так, как Дар. Однажды в жаркий день зазвал меня к себе, разъезди мы с ним арбуз, он демонстрировал свою книжную коллекцию. Показывая на собрание Хлебникова, вдруг предложил:

— Хотите взять этот пятитомник? Берите.

Не веря своему счастью, я всё же спросил:

— А как же томик «Неизданного»? ^[1]_[SEP]

— С ним я не могу расстаться.

— Ну, тогда зачем разрознивать собрание? ^[1]_[SEP]

— Как хотите.

Неужели Молдавский тоже едет к Мейлахам? Нет, он — в Дом творчества. Когда мы вышли, грозы как не бывало, только в сосновых иглах искрились от закатного солнца брызги миновавшего ливня. Опавшая хвоя на дорожках пахла, как ей положено, муравьями, стволы опшывали скипидарной смолой. У калитки нас крепко обругал здоровенный барбос, его отозвала с крыльца благообразная женщина.

— Вы к Мирре? Подождите в саду.

Обогнув кирпичный угол и веранду, мы обнаружили с южной стороны действительно немалого дома обыкновенные грядки с зеленью и среди них — отрока с пучком укропа. Он немедленно заговорил с нами о своих наблюдениях за сравнительным ростом различных огородных растений. Его увлеченная речь складывалась в грамматически правильные сложно-подчиненные предложения с причастными и деепричастными оборотами, вводными словами, обстоятельствами места и

времени. То был младший сын пушкиниста, Миша, посланный, видимо, домработницей Фросей в последний момент нарвать укропу к столу. Годами позже, когда он подрос, мы подружались.

Скоро подошла молодёжная компания, успевшая после грозы прогуляться к заливу. Мирра, похожая на свою мать, представила друзей: физик Миша Петров, Штерны — Витя и Люда, он инженер, его супруга, впрочем, тоже. Люда немедленно дала понять, что ещё неизвестно, кто из них «тоже», а кто «впрочем». С Петровым у нас оказался общий приятель — Толя Кольцов, мой бывший одноклассник, был теперь его однокурсником. Мы с Женей представили жёлтую таксу, она прогулялась по дорожке, составляя уморительный контраст с живым и уже подобревшим сен-бернардом, затем гости стали изучать надписи. Витя углядел сходство одной из них с популярным стишком «Себя от холода страхуя», и этот момент оказался самым подходящим для приглашения всех к столу.

Боже, какие закуски! Присутствие великого пушкиниста и две-три его суховатых остроты ничуть не убавили аппетит. Фаршированные яйца! Паштеты! Салаты! Теперь я осознал ту, за всеми другими целями, главную — которая привела нас сюда.

От стола, откланявшись хозяйке, — к магнитофону, слушать московские голоса. Запись оказалась ужасной — кто-то ритмически бурчит, ничего не разобрать. И вдруг — сквозь шумы и хрипы — летящий женский голос, само вдохновение:

Дитя, не будь умней Отца,

не трогай этого растенья.

Его лилового венца

мучительно прикосновење.

Это читала стихи Белла Ахмадулина, о которой только и было известно, что на ней женился уже тогда прославившийся Евтушенко. Неизвестно, кто бывает несчастнее при таких союзах звёзд. Их поприща слишком уж близки, чтобы избежать соревнования, и поклонники вольно или невольно, а натравливают один талант на другой. Вот и сейчас: зазвучала она, и стало ясно, что дар её чище и выше, чем у него.

Она не сразу стала публиковаться, но и позднее я не видел этих стихов напечатанными. Однако возвышенная, торжественная интонация чтения, не теряя нежности, заставляла увидеть слово «отец» написанным с большой буквы, вопреки запретам цензуры. Конечно же, это был небесный Отец, воспринимаемый ею не совсем дочерне — скорее интимно и, увы, не без «прелести».

О московских поэтах мы были уже много слышаны. Приезжал Валентин Хромов, «Боженька» Хромов, как почему-то его прозывали москвичи, прокатился по компаниям неофициалов, держался уверенно, со столичной наглинкой, но отработывал её, честно доводя роль до конца. Его стихи были хороши скорей безоголосно, чем образностью или словарём, — то есть тем, что написаны они были в полной уверенности, что, собственно, стихи и не могут быть — для печати. Изредка всплывавший в строку матерок казался естественным и лишь подтверждал это чувство. Читал он по просьбам и чужие стихи — например, Станислава Красовицкого, и они-то вызывали настоящий восторг. «Стась — это будущий гений!» — так отзывались о его стихах и творческом потенциале сверстники, но его дар или, лучше сказать, дух совершил неожиданное сальто-мортале под куполом — нет, не цирка — но церкви.

А пока, возвращаясь к «Боженьке» Хромову, вспоминаю, как он в тот приезд едва не сорвал парад поэзии в Горном институте, как сказали бы теперь — презентацию

сборника поэтов-горняков, членов ЛИТО, подготовленную Глебом Семёновым. Вот он передо мной, этот ротапригнанный сборник с пометкой «На правах рукописи», значащей, что тиража хватило лишь на участников (всего-то пятнадцать), их знакомых, а также парт-, проф- и, может быть, рай-«комых»... Итого — 300 экземпляров, впоследствии подвергнутых аутодафе. Но, как водится, некоторые из них спаслись от огня! В отличие от громко-столичных, это провинциальное культурное событие не вызвало дискуссии в прессе, ведущей к запоминанию авторских имён, но, несомненно, ему предшествовала пыльная, потная подкованная борьба — запретить или разрешить. В этом и заключалась разница между Ленинградом и Москвой — местные результаты были почти ничемны. Имена, впрочем, помнились и так, актовъ зал Горного был полон, бледный Глеб Сергеевич маячил на сцене, вызывая выступающих, — это, после многих наветов, объяснений, увольнений и назначений вновь, был его звёздный оправдательный час: в трёх первых рядах сидела администрация, местный партком, районная идеологическая команда и все, «кому следовало».

А со стороны глядя — перепуганным кукольным Глеб выдёргивал своих марионеток, одетых в геологические тужурки, на сцену.

О берестяном ковшике ледяной воды в жаркий день, о солидарности пропотелых спин проскрежетал своим жестким от природы голосом Британишский.

— Хорошо, крепко сделано, а тематически — так совсем в жилу, — переговариваемся мы с Рейном.

Романтический, тоже в тужурке, Александр Городничкий читает о взрослой ревности и измене, и комсомольцы в его стихах уже готовы бодаться, как козлики или бычки (передние три ряда да и все последующие напрягаются: как он решит эту полузапретную тему?), но «коду» выводит поэт инфантильную, пуская кораблики с малышом:

*А что девчонки? Только плакать
да жаловаться мастера.*

Шумно, как всегда перед выступлением, шмыгнув носом, Агеев прочитал тоже что-то любовное в народном, некрасовско-есенинском стиле. Назывались эти стихи снижающе, но прочувствованно: «Корова».

Не совсем подходящее к его рыночно-площадному стилю, слишком филармоническое название «Зимняя сюита» выбрал для своего цикла стихов о замёрзших ушах влюблённого, спешащего на свидание, Горбовский. И не горняк, но — свой! А прочитал — эффектно, переведя внимание зала на быт и на юмор.

В целом выступление проходило удачно, и Семёнов, желая, видимо, подкрепить это чувство реакцией живого и дышащего собрания, предложил выступить слушателям с их оценкой.

Тут-то «Боженька» Хромов и вылез на сцену:

— Горняки! Геологоразведчики! Я не слышу стука геологических молотков в ваших стихах! Где в них романтика труда? Где находки и образцы редкоземельных элементов и руд? Где самородки?! — застучал он по кафедре кулаком.

Перстень на руке делал этот звук особенно резким.

— Лишаю вас слова! Если вам не нравится — уходите! — заверещал на него Глеб Семёнов.

Он, как насадка, защищал свой выводок, своё коллективное детище, но не от Хромова, конечно, а от идеологической комиссии, сидящей тут же. Зал загудел. Первые три ряда, наоборот, выжидательно замерли.

Скандалист удалился. При чем тут «геологические молотки»? Их как раз было достаточно в стихах горняков. Что-что, а тема труда, из числа дозволенных начальством и поощряемых, была ими представлена как требовалось — и реалистически, и романтически... Более того — это была, собственно говоря, единственная тема, смыкающая их творчество с официальным, и — ничего не было ни про армию, ни про державу, ни про... Нет, про партию, впрочем, кое-что было — у Льва Кукулина, но совсем уже кривоусмешно и самопародийно: мамыши на демонстрации вывозят в колясках своих малышей, а на них

*Заботливо смотрит Большая Партия,
самый главный отец из отцов.*

Нет, не только редкоземельные элементы, но даже самородок у них был — Глеб Горбовский: кудлат, самобытен, с сарказмом уже бывалого жителя этой планеты. Служил, во время учений двое суток прятался под избой — то ли симулируя военную хитрость, то ли нерасчётливо пустившись в бега... В его пьяном рассказе об этом упоминались какие-то танки, которых он в помрачении принял за истинно вражеские...

Жил поэт в дремучих коммуналках сначала на Васильевском острове, затем на Пушкинской улице у Московского вокзала, и нагая неприглядность быта, выраженная с просторечивым сарказмом, стала стилем и сущностью его стихов — разумеется, не для печати. Именно это, плюс хмельное буянство создавало о нём легенду наподобие есенинской. Но вот всё-таки захотелось в люди, и написал свою «Сю-сю-сюигу».

Да, в чём был прав дерзкий москвич — это общее жгучее желание напечататься, по-своему выраженное каждым из участников, и тут он оказался их выше. И — заявил о себе!

— Зачем заткнули Хромова? Верните его на сцену, дайте высказаться! — вдруг заревел Рейн, сидящий рядом со мной.

— Уходите и вы! Вам не удастся сорвать нам работу! — указал ему на дверь Семёнов.

Вышел и я за ним в коридор. Хромова там уже не было.

— Ну, куда пойдём? — спросил я, считая, что за мою поддержку с него причитается хотя бы пара пива.

— Знаешь, я тут... Мне надо кое к кому зайти, повидаться...

К кому тут можно зайти? Явно ведь, что все в зале... Не хочет ли он вернуться? Возмутившись таким предположением, я двинулся к выходу. Ветер с залива накинудся, заткнул мне рот, закрутил и, подталкивая в спину тощего гэдээровского пальто, погнал меня вдоль набережной. До остановки 6-го автобуса было ещё пилить и пилить...

Кружки и стрелы (продолжение)

Рейн зачастил в Москву, и скоро причина его отлучек прояснилась: не литературно, но романтически. Собрав у себя друзей, он представил их своей московской гостье Гале Наринской, а её — нам, как бы на одобрение:

— Знает множество стихов. Почти всю Цветаеву — наизусть! А умыться может в ложке воды, не хуже француженки.

Яркая, стройная, черноглазая и чернокудрявая, она заканчивала Нефтяной институт и по бесспорному праву признавалась там «Мисс Нефтью». Попросили

её почитать из Цветаевой. Она мило отнекивалась, вполне искренне. И — тактично и вовремя согласилась, чтобы не выглядеть ломакой.

Я любовь узнаю по боли всего тела вдоль...

Я любовь узнаю по трели...

В любви — все специалисты, а тут ещё — все поэты. Заспорили, как её — любовь! — верней распознать. Разгорячился даже всегда ироничный Илья Авербах: — По трели? Это же — любовь филистеров. Конечно же — по щели! По трещине! Именно — «всего тела вдоль»...

Он в это время ухаживал за Эйбой. Любовь, а верней — желание и поиск её заполняли пространство вокруг и внутри нас, как пятая стихия.

Я вдруг зацепился взглядами в «Подписных изданиях» на Литейном с Вичкой Аич и буквально заболел ею. Она в то время уже была сговорена с Мишей Блинским и отступать от этого не собиралась. Но и своими взорами явно не управляла: впивалась зрачками в зрачки, закусив губу, и вибрировала. Толя Найман меня лечил, привозя к Мише в дом рядом с Мальцевским (имени поэта Некрасова) рынком, — туда, откуда, по одному из источников, был увезён арестованный в августе 21-го года Гумилёв. Миша, непризнанный художник-карикатурист, не унывал и был готов обеспечивать будущую семью шитьём брюк. Мы застали его, когда он утюжил очередную пару. Я, исполняясь цинизмом, захотел сделать ему заказ, но он заломил цену. Непонятно как, но эта бытовая картина да ещё два-три стихотворения, посвящённые Вичке, исцелили меня на время.



20-летняя Вичка натурщица

Но мы ещё зацепимся с ней взглядами позже в компании за столом в писательском кафетерии, и мне не останется ничего другого, как завибрировать самому. Потом в городе и ненадолго в её жизни появится Галич, потом Нагибин. Потом... Потом она станет писательницей и образцом добродетели.

А тогда требовала своего и Техноложка, — хоть и не любви, а внимания. Ей доставались остатки. Но — счастливый случай! — образовалась возможность по-

ехать в Москву на практику, и я, в восторге от неожиданных щедрот фортуны, хватал на лету билет на сидячий поезд.

Там же в это время был и Рейн по своим литературно-разветвленным и, в сущности, никуда не ведущим делам. Но разве этого мало — быть, где всегда что-то происходит, провозглашается, превозносится, падает и перепадает? А к тому же и — не на шутку разворачивающиеся отношения...

Я дружески побывал у сестёр Наринских в задымлённой клетушке на Кировской-Мясницкой, вход со двора, второй этаж, и оттуда мы тесной компанией отправлялись в другую, такую же, по сути дела, клетушку, куда-то в пространства иных московских кривоколенных углов и — на верхотуру, к поэтессе Гале Андреевой. Хозяйка крохотного салона, вмещавшего не менее дюжины избранных, держала в руке длинный мундштук с сигаретой, часто поворачивалась в профиль, была сероглаза и хороша: выпуклые губы, сексапильно приподнятый нос, открытая шея... Её ни на минуту не оставлял без внимания красивый шатен с грузинской фамилией — к тому же и композиторской. Уверенный и умеренно оживлённый Леонид Чертков, суховатый и холодноватый Андрей Сергеев, уже известный Хромов. Красовицкого не было, а жаль. Зато был некто неопрятный и мешковатый, одетый в толстый заношенный трикотаж. Вёл он себя вольно, иногда даже почёсывался в паху и улыбался невпопад, закидывая стриженную шаром голову назад, и это усугубляло своим контрастом чопорность всей компании. Чей-то, как видно, родственник...

Стали читать стихи. Хозяйку прослушали терпеливо и вежливо. Мои иронические полураёшники, несмотря на их словесные фокусы, встречены были, увы, сдержанно. Рейн читал свое ударное «Яблоко», написанное крупными мазками слов, — так, что неприятие его было бы равносильно отрицанию левой живописи, и это задело внимание компании.

— «Оно было желто». Хорошо, кругло, — заметил и подчеркнул неправильность Лень Чертков.

— Тогда уж — кругло, — повисло в воздухе чье-то замечание.

То своё, что Чертков прочитал затем, было как раз правильно, даже до жесткости в чётко выверенных анапестах, которыми он воспевал заготовку и рубку дров. Тоже ведь — труд, но хотя б не «во благо чего-то там», а ради себя и для собственной печки. Ровные кругляши стрóf раскалывались на строки и укладывались в поленицу этого энергичного стихотворения, закончившегося «лошадными дозами крепкого сна». Акмеизм, но демократический, напоминающий Михаила Зенкевича, что ли? Или — Владимира Нарбута?

Андрей Сергеев был уже знаком по той бракованной ленте, прослушанной на даче у Мейлахов. Там он читал смутно доносящиеся стихи, в которых угадывался греческий миф о гермафродите, причудливый и пряный. Что-то в таком духе, как рассышалось и запомнилось: «Дымились горы, стлы реки/ дрожали тени по углам./ и Бог оставил человека./ расколотого пополам./ Души и тела половины/ протретпали на весу. Мужчина поднялся в пустыне./ очнулась женщина в лесу». Части целого блуждают по свету, чтобы снова слиться в одно, а когда находят друг друга, слышат голос сверху:

— *Вы стёрли души на пути, теперь вы несоединимы.*

Эстетизм, но трогательный и даже жизненный, особенно в пору любовных поисков, которыми все занимались наряду со стихами! Что же поэт написал с тех пор? Но Сергеев отказался читать «это старьё» и взамен стал ошеломлять виртуозными переводами из Джойса, из Даррэла: «Поминки по Финнегану», «Поношение Хости»...

Сколько саркастических словесных трюков, весёлого и лихого издевательства над противником! Неужели это ещё и соответствует оригиналу? Кто читал, говорит — да:

*Вы слышали о скверном жирном,
о его злодеянии чёрном,
о падении подзаборном
и о том, как наказан порок?
Наказан порок: нос между ног.
Балбаччо, балбуччо!*

Чего там только не было — позорился некий «Псевдо-Дант», происходили ирландско-британские выяснения по поводу самого адмирала Нельсона, который, «на служанку наставив ружьё, украл её девственно-ё». Переводы, даже если это были «переложения из», в тот вечер звучали мощней и ярче наших стихов. Моя память вынесла оттуда ещё одно, и не худшее стихотворение, а был то перевод или оригинал и чей, я установить не успел. Но и теперь люблю повторять его, прежде чем заснуть. Вот оно:

*Патриции гордо спят на спине,
рабы спят, лёжа на животе,
меняла спит на правом боку.
Гораций, вспомни, что ты поэт:
к жесткому ложу сердцем прижмись
в безумной надежде на страшный сон.*

Если искать эстетическую формулу всему услышанному в тот вечер, то она невзначай была высказана Чертковым в двух словах. Не без гордости он вдруг объявил:

— Я придумал название для книжки Стася: «Дневник капитана».

Да, мужественно и интимно. Двусмысленно-романтично. Картинно и фривольно. Поздней я увидел у Рейна машинописный, конечно, сборник Красовицкого. Это была одна из двадцати копий, снабжённых его автопортретом: лапидарная линия рисунка действительно выглядела иронически и элегантно. Но название было другим.

Заговорили об абсурде как таковом и о том, что лишь ирония сообщает абсурду смысл. Конечно, вспомнили об обэриутах и Заболоцком, заспорили, кто из нас верней цитирует его «Торжество Земледелия». Тут взгляды москвичей устремились на переминающегося в углу «чьего-то родственника», которого я уже посчитал за слабоумного. И он пустился наизусть, страницу за страницей, шпарить цитатами из этой поэмы. Оказалось, что у него невероятная, машинная память, приобретённая, увы, внезапно и драматически. Интеллектом он, правда, никогда не блистал, особенно если привлечь во внимание, что поехал кататься на мотоцикле без шапки да ещё в межсезонье. Пошел мокрый снег, и он вернулся домой с ледяной коркой на голове. Слёг в горячке. Думали, помрёт, а он выжил с фотографической памятью: запоминал тексты, даже не читая, а лишь взглянув на страницу.

Стали проверять его память по «Столбцам», пока не выскочила из него строка «Людоед у джентльмена неприличное отгрыз». Естественно, с удовольствием заговорили о неприличном. Конечно, академическим тоном, с видом знатоков и глубоких эрудитов. Провинциалы, то есть мы с Рейном, шокированы не были

и всюю забавлялись услышанным. Однако вмешалась хозяйка салона, да к стати и пришла пора расходиться.

Вскоре после этого вечера Чертков, по его выражению, «на вокзале был задержан за рукав», и задержание это растянулось на пять лагерных лет. Освободившись, писать стихи он стал меньше и реже, переехал в Ленинград, женившись на филологине Тане Никольской, превратился в историка литературы и архивариуса, а в творчестве перешел на прозу, которая мне нравилась, пожалуй, больше, чем его стихи, — именно в ней было что-то от «дневника капитана». Потом он эмигрировал, одним из первых из моих знакомых, объявив это в последний момент. Я заторопился на проводы, чтобы успеть спросить до прихода всей публики «зачем?». Он ответил, и мне его ответ пригодился позднее, когда пришлось самому объясняться перед непонятливыми: «Мне уже 40, и сколько ещё отпущено лет впереди, неизвестно. Но более или менее предсказуемо, какова будет моя жизнь здесь, и эта перспектива мне скучна. А там, на Западе, — что-то, а новизна гарантирована». Он поселился во Франции, преподавал литературу в Тулузе. Предложил показать мне «свой Париж», когда мы оба оказались там, но тот вечер был у меня занят, а другого не случилось. Потом он жил в Кёльне, издал книгу стихов «Огне-парк» и вдруг умер.

Сергеев, как известно, ушёл в переводы с английского. Дружил с Бродским. Суховато и холодно ватно встретился со мной в илинойской Урбане. Опубликовал очаровательную мемуарную прозу «Альбом для марок», получил за неё даже престижную литературную премию, и — внезапно его жизнь прошла: он был сбит машиной на одной из московских улиц.

А Николая Шатрова, ещё одного «капитана» дальнего поэтического плаванья, я узнал только за пределами его жизни. Рецензию на первую книгу мертвого поэта, вышедшую усилиями Феликса Гонеонского и Яна Пробштейна в Нью-Йорке, я назвал по его строке «Пригвождённый к стиху». Странно, что Сергеев его помянул в очерке об их общем кружке лишь мельком да и то с неприязнью. А ведь Шатрова признавал Пастернак, признавал Тарковский. Стихи его просты, но выразить он мог всё, и прежде всего свой характер, не уступающий лжи ни на полшага. Говорил он с читателем «как власть имущий», а в действительности читателей не было. Странная, нелепая судьба: на него наехал снегоочиститель, водитель которого заснул за рулём. Он был тяжело покалечен, болел, зарабатывал гроши. Но, видимо, бывал счастлив в любви: у него немало нежных и чувственных стихов. И был он счастливо награжден волевым, требовательной верой в то, что будет наконец прочитан.

*Кто мене даровит? Кто боле даровит?
В конце концов покажет время.*

Вот именно — не правда ли? На том памятном вечере его, как и Стася Красиовицкого, не было.

У восходящей звезды

Но домой из Москвы не тянуло, зато очень хотелось повидаться с обладательницей того заочного голоса с магнитофонной плёнки, который очаровывал воображаемым обликом, как очаровал ведь когда-то однажды влюбчивого короля Марка золотой волос Изольды. Используя уже испытанную технику, мы с Рейном остановились у киоска «Моссправки».

«Ахмадулина Белла Ахатовна, год рождения 1937-й», — уверенно написал он на бланке плавными завитками своего почерка.

Молодожёны-знаменитости жили в квартирке хрущёвского образца в районе новостроек, уже, впрочем, обжитом. Когда она открыла нам дверь, её облик, хотя и не Изольдин, совершенно слился с голосом и навсегда стал обозначать только её, Беллу.

Наш приход был данью признания именно ей, и хорошо, что она оказалась одна: мы смогли это высказать. И мы застали её, может быть, в последние «пять минут», когда она ещё была для нас «своей» — такой же, как мы. «Они» — то есть официальная, организованная и в сущности своей сервильная, а стало быть, бездарная литература старалась загнать нас в самодеятельность, помещая куда-то между выпиливанием лобзиком и уроками игры на баяне. Мы возмущённо сопротивлялись, и Ахмадулина, казалось, была с нами, а Евтушенко, хоть и двусмысленно и с оговорками на талант и прогрессивность, все-таки с «ними». Но эта граница иронически исчезала где-то там, в комканной пестроте одеял и подушек супружеской комнаты.

— Там беспорядок. «Гибель Помпеи». Посидим лучше на кухне, — предложила хозяйка.

Пуделёк редкой шоколадной масти выбежал из постельных развалин и ткнулся мокрыми усами в ладонь. Повсюду в хаосе неубранной квартиры виднелись яркие пятна заграничных одежек, этикеток, журналов. Стены прихожей, открытой спальни и даже кухни были завешаны современной живописью, придававшей квартире карнавалы вид. «Это — Васильев». Две руки тянулись по диагонали к двум другим, тянущимся навстречу. «А это — Целков». Натюрморт, яркий и мощный, как если бы Машков или Кончаловский остановились в разбеге к Фернану Леже.

— Вы хотите вина или водки?

— Да собственно... Пожалуй, вина.

Нам была выдана бутылка «Напареули», хозяйка налила себе водки.^[1]

— Мальчики, вы уже были в Сокольниках? Там в парке интересная выставка. Сходите, не пожалее...^[2]

Но не об этом же нам сейчас разговаривать. Заговорили, конечно, о стихах. О её стихах, о «Боге-женихе», о «девочке Настасье» и очевидной невозможности их где-либо напечатать. Она легко отмахнулась:

— Ну, те стихи уже дело своё сделали. Их планида была стать по душе Павлу Григорьевичу Ангокольскому, и он взял меня вне конкурса в свой семинар Литинститута.

Её разговор — это словесная игра, но игра, ведомая виртуозно. Слова, после малой паузы, подыскиваются редкие, даже изысканные — однако, точно поставленные на места во фразах, они нисколько не нарушают естественности речи.

— Планида этих стихов — вдохновлять. Вы уже вдохновили меня на подражание им. Послушайте:

Зачем ты трогала у ветра
его моторы и рули?..

.....

И месяц вдруг повис молоденький
среди бела дня, невесть откуда.

— Да, похоже... Я вижу, вы пользуетесь моим способом рифмовать: «мелодии — молоденький».

— Я думал, это напомнит вам скорей евтушенковские рифмы типа «Маша — мама»...

— Да, Женя всю пользуется моим открытием, и я никак не могу ему препятствовать. Между тем я эти принципы изложила в курсовой работе, которая так и называется «О рифме». Там описан ещё один, сверх остальных — «Принцип отдыха рифм». Он заключается в том, что сложные и необычные рифмы должны чередоваться с банальными, потому что слух отдыхает, покоясь на обыкновенном.

Нет, они не ленивы, как можно подумать. Они любопытны в пушкинском смысле этого слова. Их семинар собирает одарённых людей отовсюду. Вот Иван Харабаров, сибирский самородок и богатырь. Или Валерий Тур, сын известного драматурга. Помните словосочетание «братья Тур». Один из тех братьев — отец Валерия. Или — Юрий Панкратов, у которого самый свежий голос, когда-либо слышанный ею:

*О, как торопко ты померкла,
сирень в блестящем целофане!
О, эта робкая примерка
двух губ при первом целованьи...*

И кстати, он тоже рифмует «молоденький» и «молочницей».

Тут щелкнул замок, вошел её муж — усталый, с утра одетый в костюм с галстуком, раздраженный, подозрительный, но, черт возьми, знаменитый:

— Опять ты пьёшь! А собаку выводила?!

— Женя, это — поэты из Питера. Вот — Дима Бобышев, Женя Рейн...

Он, конечно, не нуждается в представлении. На нас якобы ноль внимания. Голубой глаз, как у снайпера, жёлтая челка падает на морщинки лба.

— И ты принимаешь их в таком бедламе? Немедленно убери квартиру!

Мы с Рейном дружелюбно галдим:

— Да что вы, ей-Богу! Да присоединяйтесь...

— Женя, ты хочешь водки или вина? — игнорирует мужнины упреки Белла.

— Нет, только шампанского!

Странное дело, нашлось даже шампанское. Правда, из уже открытой полбутылки, но все же с намёком на игривость.

В этот момент зазвонил телефон, и Белла схватила трубку:

— Да. Нет. Не сейчас. Нет, никак не могу. Да. Да. Перестань! Ты же знаешь.

Потом.

Муж опять взвился:

— Я тебе сказал: «Убери квартиру». Вымой немедленно пол на кухне!

Мы с Рейном поднялись:

— Спасибо за угощение. Нам пора.

Белла:

— Ну, что вы! Спасибо, что не обошли меня вниманием. Я сейчас отвезу вас в центр. Я обожаю водить мой «москвич».

Муж:

— Ты никуда не поедешь! Я отвезу их сам.^[1]_[SEP]

— Ты не сможешь.

— Посмотрим!

Действительно, внутренняя борьба с собой и сражения с автомобильным мотором потребовали какого-то времени. Наконец Евтушенко отвёз нас до кольцевой станции метро, где мы расстались. Их брак с Беллой просуществовал недолго. Его я увижу ещё, её — тоже, но уже с новым мужем, коренастым, маститым рассказчиком-лауреатом, вышедшим на минуту взглянуть из гостиничного номера на литературную мелочь, поклонников его жены.

Велеречивая манера её стихов бывала уместной, когда совпадала с возвышенностью темы — любовью или печалью. Но по несоответствию с темой случилось ей быть самопародийной и многословной, через силу отрабатывающей какое-то литературное задание. Знаменитой ей пришлось стать немедленно после нашей встречи и — на десятилетия вперёд... На 200-летию Пушкина мы, уже сами чуть моложе юбиляра, встретились в банкетном кабинете дома Энгельгардта, или Малого зала Петербургской филармонии. Вернее, я познакомился сперва с её новейшим мужем, живым широкоглазым художником, а он подвел её ко мне.

— Белла, Вы помните меня?

— Ну конечно, я всегда говорила, что ленинградцы меня читают и ценят больше, чем москвичи...

Померкшая красота, сгоревший взгляд, усилившийся эгоцентризм. И почти тот же голос.

Американские вещи

С перерывами на десятилетия Белла произносила мне эту фразу про ленинградцев еще два или три раза, по числу встреч, произнесла и на этот раз, когда и города-то с таким названием уже не было, да и я сам явился туда как бы из будущего инобытия, из Америки.

Между тем этот знак иной жизни, дразнящий по-разному население и власти, явился особенно в то московское лето, когда мы познакомились с Ахмадулиной: Американская выставка в Сокольниках! Странный зигзаг вечно одобряемой политики — то всё западное запрещали и поносили, то вдруг — на тебе, смотри и дивись... Ажиотаж был великий, билеты распространялись на предприятиях и — кому надо. И — тому, кто уж очень хотел. Во всяком случае, я билет себе раздобыл и с одной пересадкой добрался на метро до Сокольников. Теперь — куда? Я подолгу не останавливался в Москве, и чувства единого города-улья у меня не образовалось, я воспринимаю его как разрозненные соты, расположенные вокруг станций метро, и, выйдя наверх, часто теряю направление. Но в Сокольниках об этом не надо было беспокоиться: все шли на выставку. Да и милиции был показательный избыток. Потоку людей в парке была отдана асфальтовая дорога, народ шел по американскому плану, не задерживаясь, но и не ускоряя хода: для этого были сделаны выгородки, направляющие толпу зигзагами, а у самых ворот десятки турникетов рассеивали людскую массу на отдельных билетоносителей.

За сетчатой загородкой запестрел диковинный мир заграницы. Я решил осмотреть всё, благо времени я отпустил себе — хоть целый день. Яркость, новизна или необычность были главными зазывалами этой ярмарки, дразнящей и раздражающей уже тем, что на ней не только никаких товаров не купишь, но никогда их больше и не увидишь. Особенно густая толпа ошалелых, как я, соотечественников клубилась у входа в павильон автомобилей. Зашел и я поглядеть на эти диковинные

самобеглые коляски. Широкопоские, они переливались нездешними блесками, выгибали подобия турбин и крыльев, зазывая всем видом: «Давай улетим!» А я и водить-то не умел. И завести бы не смог. Однако сувенирных буклетов хватило на всех, и я с изумлением вычитал, что и переливы красок, и вычуры форм имеют свои стандарты и описания в гамме от «ночной жемчужины» до «адриатической волны», от спортивного седана до кабриолета и лимузина.

Я, житель страны, где автомобили были крашены тем же цветом, что и заборы, стоял перед лазурным «Шевроле Импала». Лендлизовские военные грузовики «шевроле» ещё можно было встретить на родных ухабах, но такое стрекозиное чудо я увидел впервые.

И вот сейчас я касаюсь клавиши времени. И клавиши пространства — тоже. И переносусь оттуда ровно на 25 лет вперёд, через всю Европу и Атлантику — вбок, на Запад, в Техас. Передо мной — ржавая «импала» со следами былой лазури на слегка помятых бортах. Я гощу у Яши Виньковецкого в Хьюстоне, нефтяном и космическом центре Америки. Яша, для меня инакомыслящий художник и любознатель, здесь — большой человек, теоретик-исследователь по разведке нефти в «Эксоне», он пока самый удачно-состоявшийся иммигрант из моих друзей, а я по отсутствию здешнего опыта — почти новорожденный. Но какое-то сходное с этим переживание я припоминаю в своей прежней жизни и спрашиваю:

— А что такое «Импала»?

— Это такая африканская антилопа. Очень изящное и быстрое животное.

— Сейчас она выглядит, как «Антилопа Гну».

— Да, я её обещал отдать безлошадному Коке Кузьминскому, пусть добивает. Но сначала Марк приведёт её в порядок, конечно.

По совпадению оказавшийся там же мой однокурсник-технолог Марик Зальцберг, умелец и мастер, возится пока с Яшиным подержанным «кадиллаком», чинит и проверяет его многочисленные кнопочные устройства.

— Что ты нянькаешься с ним, как с родным?

— А я и чиню, и одновременно изучаю. Мне это нужно: я тоже хочу купить себе «кадиллак». Цвета белой жемчужины. Такая у меня мечта.

Ясно. Побывал на той же выставке в Сокольниках, заронил себе в мозг перламутровый образ и четверть века растил из него свою жемчужину. Весь этот мир вещей — ярких, крепких, глянцеvitых, ловко и умно сработанных с расчетливым уважением к человеческому телу — так, чтобы весело было на них взглянуть, сподручно схватить пальцами, даже с удовольствием сесть в них, — остался у нас в памяти новым и свежим. Вернувшись из Хьюстона в Милуоки, где я тогда жил, я опять оказался в мире потрепанных идеалов. Местный музей, расположенный в экспериментальном здании на берегу великого озера Мичиган, — здании, сочинённом архитектором Саариненом в виде письменной тумбы с выдвинутыми в стороны ящиками, устроил выставку в одном из них. «Наш излюбленный мусор», — называлась она. «Американцы — главные в мире поставщики всемирной свалки», — гласила одна из вывесок перед красноречивой экспозицией. На стенде во всю стену, составляя композицию в духе вольного экспрессионизма, были прикреплены ломаные пылесосы и вентиляторы, лопнувшие шины и почти новые сапоги, аквариумы и телевизоры, менструальные тампоны и грампластинки, комканые, но всё ещё яркие одежки, шляпицы, вешалки, потертые диваны и почти целые стулья и, конечно, бесчисленные бутылки, стаканы, коробки, обёртки, салфетки, тарелки и вилки из пластика, стекла и бумаги.

Но свалка не была последним местом упокоения для американских вещей — наиболее живучие из них попадали в руки мусорщиков и перебирались на время в захапы и на чердаки их, как правило, двухэтажных домов: жилая Америка со времен Ильфа и Петрова выросла на этаж. Новая жизнь наступала в пору весенних уборок, совпадая с миграцией канадских казарок и университетских студентов, когда то тут, то там на домах вокруг кампуса появлялись по субботам оранжевые знаки дворовых распродаж.

Моя падчерица подружилась в митуокской школе с дочкой медсестры-надомницы, и матери обеих девочек иногда виделись, имея общие темы для разговоров. Пришлось и мне однажды отправиться к ним в гости, чтобы поддержать отношения. Но скучно не было: глава семейства оказался мусорщиком и рьяным американским патриотом, готовым защищать идеалы ценности капитализма с оружием в руках. Оружия в его основательном кирпичном доме с подвалом и чердаком, надо полагать, было достаточно. Хватало и автомобилей: сам он ездил на работу в пикапе, жена водила семейный «вэн», а для души стояла у него в гараже лелеемая «реплика» спортивного «форда» 40-какого-то года — пунцово-лаковая, с никелированными ободами, радиатором и трубами. Он выезжал на ней раз в году, на День независимости. Я тогда работал инженером в электронной фирме, жена преподавала в университете, но мы вынуждены были прирабатывать дворниками, а он возил своё семейство на лыжные курорты Швейцарии.

Загадка благосостояния этого мусорщика приоткрылась перед самым отъездом моего семейства из Милуоки. Мы захотели избавиться от накопившегося хлама, и наши новые знакомые подали прекрасную идею: присоединиться к их сезонной дворовой распродаже.

Принеся свои бебехи к их дому, я прикрепил наклейки с проставленными «от фонаря» ценами и расположил всё это на лужайке. Между тем хозяин с хозяйкой всё таскали и таскали из дому разнообразные вещи. Я пустился помогать им и, поднявшись на чердак, остановился в изумлении: в идеально-складском порядке он был весь завешан и заставлен подержанным, поношенным, бывшем в употреблении, но готовым принять новых владельцев барахлом. Чего там только не было!

Моя молодость и подлинная новизна этих вещей расплывались и отбывали в прошлое, сходясь в дальней перспективе в единую точку — ту самую выставку в Сокольниках, которую я решил тогда досмотреть до конца. Был жаркий день, страшно хотелось пить. Нигде в огороженной зоне выставки я не увидел ни признака питья или еды, зато за металлической сеткой выстроились автоматы с газировкой, лотки и киоски с пирожками и мороженым, чуть поодаль поднимался в безоблачное небо синеватый дымок чебуречной...

Нет, у меня ещё остались недоосмотренными несколько павильонов, и вот я стою перед одним из них: «Обувь». Глаз скользит по глянцевой коже лаковых туфель, по каучуку подошв, крепкой фактуре прогулочных башмаков. Вот таким богинком поддает банку пива седобородый Хемингуэй на знаменитом фотоснимке.

— Вы любите нашу выставку? — старательно произносит женский голос с акцентом.

Черные блестящие глаза и волосы, пунцовые губы, матовая белизна лица. Американка моего возраста. Красивая!

— Выставка мне очень нравится. Автомобили, безусловно, в первую очередь. Но я — не водитель. Мне интересны книги, фотографии, альбомы репродук-

ций. Очень умны, по-моему, и забавны рисунки Саула Штейнберга — философские, я бы сказал, карикатуры...

— О, Сол Стайнберг, каргунист. Да, это — хорошо... — Она легко и ярко улыбается. — А наша обувь?

— Обувь, конечно, нарядная. Но я ведь не могу её купить, и это мне досадно. Автомобиль ещё заводиться рассматривать, как картину. А обувь хороша на ногах.

— Выставка скоро закроется. Последний день — это суббота. Приходите. Что-то возможно...

— Понятно. За это — спасибо. Но в субботу я уже буду дома, в Ленинграде. А вы не привезёте туда вашу выставку?

— Нет, это — всё...

А я уже успел размечтаться. Как бы не так! Да тут к тому же полно стукачей, следят, чтоб не заводились контакты. Вот как раз один такой и смотрит, до чего противный... Тоже молодой, только по виду не наш, а их. И он произносит с настойчивостью:

— *Barbara, boss wants you to drop in, right away.*

— *Just in a moment, Peter,* — не торопится она.

А я напоследок спрашиваю:

— Скажите, где здесь попить можно? А то жарко...

— Это большая проблема, — говорит Питер. — Наш консул прислал сейчас много пепси-колы. Грузовик. Идите туда, там дадут. Первый глоток этой бурой шипучки мне показался отвратительным, второй понравился значительно больше, захотелось ещё, но посольский запас истощился, и третий глоток мне пришлось совершить уже в Америке.

Средний Запад. Я на приёме у одной славянской гримзы-профессорши, разговариваю с миловидной черноглазой дамой моих лет. Путая русские слова с английскими, рассказывает, как много лет назад она побывала в Москве, работая гидом. Где? В Сокольниках, на Американской выставке. Где, в каком павильоне? Показывала обувь. Барбара, этого не может быть! Видимо, глаза мои, как автомобильные фары, включили дальний свет, потому что и её глаза заблестели, лицо оживилось. Тут же рядом с ней возникла мозглявая фигура с неприязненным взглядом: не иначе как Питер. Он и есть. Значит, тогда не шпионил, а просто ревновал. Ревнует и сейчас — глаза как у вареного окуня, смотрит на нас, а сам прямо пальцем помешивает в чашке кофе. Это у них здесь знак — видишь, мол, какой я крутой. Не замай!

Барбара теперь домохозяйка, а Питер и в самом деле крут. Он преподаёт международное право, получая вдвое больше президента университета, куда меня приняли на половину минимальной ставки. Кроме того, он работает по контрактам: сочиняет конституции и кодексы для республик, отколовшихся от бывшего Советского Союза. В конце концов, конституция — это интересный писательский жанр. Нет, если случайные встречи способны повторяться, это значит, что известное ходячее выражение неверно и мир ещё не так уж перенаселён и тесен!

Ночные посетители

1958-й год был встречен с таким весельем, будто он собирался стать моим последним. Заводилой оказался Серёжа Вольф, в чью писательскую звезду я не только верил, но и воспринимал её непреложность как факт самого ближайшего будущего. Впрочем, для самого Вольфа такого понятия, как «будущее», не суще-

ствовало. Было лишь гипотетическое представление о нем, беспрерывно отгоняемое волной настоящего, на которой случалось ему и весело прокатиться. Надо сказать, что в стране, столь сосредоточенной на этом понятии, отрицание его было твердой жизненной установкой.

На такие катанья и пригласил меня Вольф. То был его точный писательский «наблюд». В долгое, застоявшееся веселье хорошо входить с морозцу, хлопнуть последний оставшийся на столе стопарик водки, обняться под музыку с новой знакомой да и увести её в ночь, в другую компанию. Звучало это слишком привлекательно, чтобы отказаться, и друг Галя, услышав о наших планах, уговорила меня взять её с собой. Сказано — сделано.

Двенадцатый удар я встретил на Тавриге, а в половине первого от тикающего счётчиком такси поднялся к Галиному семейному застолью на 17-й линии (в прохладном эркере её комнаты самоцветно переливалась ёлка), под мою гарантию родители отпустили дочку, и мы покатали на Жуковскую, где нас ждал Вольф. И далее всё по егоразгульному плану. Прибытие ночных посетителей оживляло гуляк, провозглашались новые тосты, и мятые женские мордочки вновь хорошели.

Так мы веселились или, вернее сказать, жгуче предчувствовали веселье, ища его, ожидая его встретить если не сейчас же, в затхлости остановившегося праздника полужанской компании, то непременно в следующей, находя и там, впрочем, кучу шапок и «польт», наваленных на кровать, руины салатов на столе да признаки начинающегося похмелья. Невдомек нам было и то, что играем-то мы двусмысленно-символические роли «тех, кто приходит в ночи», по существу мрачноватые на этом карнавале уходящего времени. Если бы я писал от третьего лица, мог бы прибавить здесь, не изменив правдивости повествования: «А жить ему оставалось всего пять с половиной месяцев...»

Но, к счастью, пишу я от первого лица, что делает такую фразу формально невозможной, хотя и пригягательной, даже жгуче желанной и красочно-эффектной. Но Вольфа подобные фразы и тогда не смущали. В его лирическом рассказе (жанр, порожденный Верой Пановой), влюбленные кони на сестрорецком пляже соединились, и его мама умерла. Умерла его мама.

В действительности же она была ещё жива, так же как и его нянька, обе — пенсионерки, и их доходов хватало на содержание семьи, состоящей из них самих, вольного писателя, его жены и их дочери, мячиком которой, унесённым отцом в кармане пиджака, мы играли однажды в футбол в переднем дворике на пересечении Мойки с каналом Грибоедова в компании (но как бы в разных командах) с Толей Найманом, обеда которого я вlepил упомянутый мячик над левым плечом Вольфа, в стеклянную дверь расположенного на этом углу здания. Стекло дверного переплёта лопнуло, и, захватив мячик, трое великовозрастных литераторов удалились с места происшествия.

Вечный свет

«А жить одному из них оставалось уже два месяца с небольшим...» Почему меня так тянет к себе эта фраза, повествующая обомне в третьем лице? Очень просто: потому что лицо это я хочу отделить от себя, чтобы самому остаться в живых. От чего бы так и не сделать? Надо только придумать ему имя, как когда-то живой, розовый, голубоглазый юноша Боря Бугаев изобрел писателя-гения Андрея Белого, а Белый по

тому же образцу отпочковал от себя элегантный фантом Леонида Ледяного и с этим уже не человеком, а отпрыском текста поступал как заблагорассудится.

У меня это лицо будет Вадимом Вольтовым. Вадим — потому что и Дима, и Вадик, — так звал я напарника детства и юности, и он на мой зов отзывался, а Вольтов — заведомая выдумка технологического студента, стремящегося позабыть на лекциях по электротехнике свою соседку, самую красивую девушку в институте. Ей тоже придется изменить причёску — сделать её блондинкой с прямой чёлкой — и дать ей нерусское имя: Кристина. Она приехала по студенческому обмену из Лодзи, и Вольтов, переведшийся курсом ниже, был счастлив видеться с Крысей, как звали её по-польски, на общих лекциях. Красавица Крыся — это звучало снижающе, что невероятно трогало и веселило моего Вольтова.

Летнюю практику они тоже должны были проходить вместе, в городе с устрашающим названием Сталиногорск: хрущёвская децентрализация явно его не одолела, хотя другой лозунг Хрущева «Плюс химизация» осуществлялся вовсю. Вольтов туда не торопился, Кристина тоже, и они решили по дороге дня два провести в прогулках по Москве, благо у каждого было где остановиться.

Два дня, две счастливые вечности предстояло Вадиму разделить с девушкой, когда он встретился с ней у Телеграфа, и оба немедленно пустились черпать и рассеивать свои полновесные запасы молодого времени. Крестя была одета по-летнему, от этого держалась домашне и даже двигалась свободней и раскованней, чем всегда. Исторические места её не интересовали, тянуло, наоборот, к современности, и Вольтов охотно отвез её к университету, этой цитадели архитектурного сталинизма, а затем к новейшим спортивным постройкам в Лужниках. Москва казалась размашисто, даже излишне просторной, тратящей бездумно асфальтовые поля своих пространств подобно тому, как двое молодых людей, оказавшихся там, травили, опустошая, амбары, ангары золотых минут ради того, чтобы побыть вместе. День был солнечный, набегающие белые облака не давали ходу жару, и тепло можно было вещественно ощутить, подержав его, как цыпленка, в ладони.

Оба были настолько очевидно счастливы, что прощальный поцелуй представлял необходимым завершением дня и казался неизбежным. Но Кристина отклонилась:

— Зачем ты все портишь? Ведь нам ещё столько учиться вместе, да и вся практика впереди. Я завтра уезжаю.

С опозданием в несколько дней Вольтов явился на практику. Автобус остановился у дощатой многоэтажной постройки шириной в два оконных пролета — это был щит для тренировки пожарников. Школа, где разместили приезжих студентов, была рядом с пожарной командой.

В классах стояли койки, коридоры были заставлены партами и столами в несколько ярусов. Девушки жили в смежном помещении, но Кристины там не было. В окнах виднелись тёмные башни и трубы комбината, окутанные парами. Ветер менялся, и в городе пахло то сухим пыльным дымом, то будто сахаром с бараньим салом — такой дух шел от завода органических соединений.

В клубе был объявлен концерт: Тульская областная капелла исполняла Моцарта. После концерта подразумевались танцы. Молодёжь собиралась у входа: парни в сукожных спецовках, лишь некоторые — в пиджаках, девушки выглядели понарядней. На ступенях, театрально скрестив руки, стоял подросток в чёрной полумаске. Вот — исчез. В толпе возникло движение, из середины послышалось хрипкое дыхание и шум резких движений, это была драка. В центре стоял грузин,

медленно качая тёмным лицом, а подросток в полумаске наносил ему удары кулаком, редко и всё в живот. Грузин выпрямился, крикнул, и нож остро заблестел в его руке. Толпа раздалась, подросток исчез в ней, и только полумаска валялась на полу. Эта сцена выглядела настолько неправдоподобно, что казалась воспроизведенной прямо в воздухе, на воображаемом экране.

Вадим шагнул сквозь этот экран и вошёл в зал, отыскал своё место и сразу увидел Кристину. Лишь несколько рядов разделяли их.

Четыре тенора в чёрном и женщина в белом, блондинка, вышли перед капеллой — солисты. Он их всех видел уже сегодня в столовой и никогда бы не принял за певцов, они были похожи на соседей по квартире, справляющих день рождения. Но они уже пели. Тихие маленькие голоса едва доносили звуки, но вступило сильное сопрано, и стало ясно, что это — латынь. Пение, помимо их скромных стараний и даже вопреки сопротивлению Вольтова, всё-таки тронуло его. Эта печаль, убогость, эта гармония без музыки всё же выстраивали среди полупустого зала вертикаль, по которой потекли ввысь его мысли. *Lux aeterna*, — поёт хор. Что великое ты можешь сделать перед вечностью, — только лишь умереть? Гляди через эти пустые ряды, за фанерные барьеры и дальше, — что ты видишь? Кристину. А дальше? Только пустую землю, шар под звёздами. Так кого же больше — живых или мертвых? Лишь одиночество и смерть ведут к вечности. *Lux aeterna*, вечный свет!

«А любовь?» — мысленно возразил Вольтов. Концерт окончился.

Концерт окончился, захлопали сиденья, и Вадим, задержавшись, пропустил вперёд Кристину. Они вышли вдвоём. Ещё не говоря ни слова, но уже улыбаясь, они отделились от толпы, спустились к реке и побрели к лодочной станции, вверх, не разбирая дороги, глядя лишь на реку, на вечеряющее небо да изредка друг на друга.

— Кристина, я написал стихи, — наконец объявил Вольтов. — «Господи, светлы твои чертоги».

— А дальше?

— Дальше — «Прямые твои железные дороги». Глава первая и последняя. Это про то, как мы были в Москве.

— Вадик, не надо о Москве, — попросила она.

— Хорошо, обещаю. А теперь пойдём домой. Как странно, что я живу в десятом классе!

— А я — в девятом. Завтра все собираются на пикник. Ты поедешь? Я хочу быть с тобой.

— Детки, в школу собирайтесь! — весело сказал Вольтов. Они пошли к школе.

Прямо от пристани, от шестов с белыми и розовыми флагами, от покачивающихся брёвен обе лодки сразу направились вверх, против течения. Комбинат располагался вдоль берега, и вся его громадная кухня была видна с реки: там что-то варилось, окутанное паром, желтыми дымами, в свистках, грохоте и шипении.

Жара понемногу спадала, и грести стало легче. Солнце совсем садилось, край огромного диска коснулся земли, и сразу же на нем четко обозначились дальние трубы. Маленький, крохотный комбинатик сам теперь жарился на этой сковороде, пуская чёрные дымочки.

Вадим почти без умысла увёл Кристину, и они побрели вдоль берега, оставив костёр, початые бутылки и всю эту раздражающую его компанию допивать и петь песни и неизвестно еще что — молодёжничать, прыгать через костер, что ли.

«Это же она — счастье или беда, — думал Вадим, — и насколько мне этого хватит, чтобы рядом был её профиль, — она идёт, не повернётся, смотрит всё прямо или в сторону, и никогда — на меня. Придется ли мне увидеть в ней банальность? Только не в ней. Лучше расстаться, это так, и это — скоро».

Дорога, смутно белея, повела их, мягко стеля пыль под ноги, впереди угадывались группы деревьев, дорога плавно огибала их, справа была река, а они брели, молча держась за руки, и думали с нежностью о дороге: дорожка. Потом река стала отходить вправо, вправо, сначала она ещё мерцала кое-где в тёмных пролётах, а потом что-то огромное совсем заслонило реку. И их дорожка затерялась в темноте. Казалось, что она уводит влево, но как будто и вправо, и прямо вроде бы тоже была дорога. Кое-где темнота казалась гуще, плотнее, и оттуда несло душным теплом. Неясный шум слабо шёл от земли, прямо из-под ног. Нора это, что ли, или пещера — откуда он слышен?

— Это человек! Вадик, уйдем отсюда скорей.

— Как человек?!

И тут Вольтов увидел, что это — да, человек, он лежит прямо на земле у раскрытой двери дома и дышит, даже дверь можно было теперь увидеть, это оттуда выходил нагретый воздух, а то, что теснилось по сторонам, это были тоже дома, это была деревня.

— Тихо! Уйдем, уйдем скорее отсюда.

Кристина тянула его, они уже бежали, ровный склон уводил их вниз, впереди замерцала река, они пошли медленней, и стало прохладней. Рядом забренчал жестяной колокольчик, и бледное пятно выступило из темноты.

— Ох, это лошадь, — сказала Кристина. — Как замечательно. Она здесь живет?

— Подойди сюда, конь, — позвал Вольтов.

Лошадь мотнула головой в сторону, и он, ухватив за свободный повод, попытался взобраться ей на спину. Блестя глазом, лошадь дернулась вбок, Вадим не удержался, упал, покатился по траве, но быстро вскочил, и он не сразу услышал, а понял, что всё мгновенно переменялось и уже происходит что-то совсем другое, неправильное, и — непоправимое. Он услышал топот ног из темноты, чьи-то короткие возгласы, и две тени вынырнули перед ним, и ещё, и ещё одна, топоча, все на него. Он быстро сделал уход влево-вправо-назад, но двое были уже за спиной, он подался вперед, и тень двинулась на него, он опять отклонился, и тот промахнулся, а Вольтов сильно ударил в темноту. Тот отшатнулся, но не упал. Вольтов стал уходить кругами, возвращаясь, а те за ним, в движениях рук у них было что-то странное для кулачной драки, но нельзя было оставить Крестю, и вдруг фигуры исчезли. Он остановился, прислушиваясь: где Кристина? Он позвал её, она не отозвалась, но в стороне был слышен какой-то разговор. Она стояла с теми, их было всего трое — он приблизился к ним. Кристина уговаривала:

— Уходите, оставьте нас, уходите.

Те враждебно бормотали, и Вольтов, подойдя, тоже сказал, скорей примирительно:

— Уходите.

Они повернулись к нему, и вдруг он почувствовал: что-то есть за спиной, что-то его тревожит сзади, и тут сразу — ах — словно жаркий бульжник вложили ему в туловище, в самую середину. И — ах — все пошло вниз, а земля поднялась и, приняв его, бережно опустила.

Воскресение и выздоровление

Итак, Вольтова не стало, его история печальна, но и моя собственная не многим от нее отличалась. В моем случае ни конокрадства, ни какого иного повода не было: просто пьяные привязались на улице. В общем, они ахнули меня сзади заточенным напильником в правый бок, туда, где печень, что смертельно. Но самодельный стилет угодил прежде в хлястик ремня, чуть соскользнул, протыкая его, вновь вонзился в ремень и затем уже под углом, на миллиметры минуя печень, пошел рушить требуху и слепоту моего кишечника. Помощь прибыла довольно скоро, и в ночь на воскресенье я был прооперирован опытным хирургом, который отбывал тогда своё последнее дежурство перед выходом на пенсию. Он не удержался и, уже зашивая мои повреждения, отхватил напоследок аппендикс. Так, на всякий случай.

Едва забрезжило сознание, явился милицейский следователь:

— Что, где, когда? Приметы?

Смутно различая его лицо, я рассказал, что помнил. Это совпало с тем, что сообщили окрестные жители, наблюдавшие всё происходившее, но, конечно, не поспешившие на подмогу. Зато они вызвали милицию и скорую помощь. Те субчики уже были на учёте, их без труда нашли и арестовали. Но история на этом не кончилась, а мои наблюдения за человечествомполнились еще одним эпизодом.

Вечером медицинский персонал ушёл, в больнице осталась, может быть, одна нянечка. Вот она в сером халате входит, где я лежу. В её лице смесь сочувствия и какой-то вороватой вины.

— К вам пришли эти... Родственники...

— Какие родственники? Чьи? Своих я не извещал.

— Ну, тех, кого забрали... Которые вас...

— Не пускайте. Не хочу их видеть.

Ушла. Через минуту, с ещё более виноватой миной:

— Очень уж хотят поговорить...

— Нет. Я же сказал — нет.

Тишина. Я начинаю успокаиваться. Открывается дверь, входит тип, угрюмый, как приговор. Стоит надо мной, смотрит. Я:

— Кто вы? Зачем?

— Родственник того, кто с вами все это... Его дядя. Надо поговорить.

— О чем? Вы же видите...

— Мы все восполним. Материально. Вы ведь числитесь работающим в бригаде?

— Да.

— Все пропущенные дни мы вам оплатим. Только уж на суде его не признавайте, а то будет плохо и нам, и вам. Договорились?

Я сказал ему, как Вольтов — своим убийцам: «Уходите!» Он ушел. Когда меня навестили студенты, те трое здоровяков, с которыми я, помимо учебных заданий, прирабатывал в монтажной бригаде, они рассказали, что к ним в цеху подошли двое и предупредили без обиняков: если я на суде признаю нападавших, мне живым оттуда не уехать. В общем, не только до суда, а прямо завтра же надо уезжать. Практику мне зачтут, об этом уже договорились. И — вот обратный билет. На него ушли все деньги, что я заработал. Дренажную трубку из моего брюха врач недавно выдернул. Швы были сняты, кое-как я ходил. Наутро, окружённый живым

кольцом наших парней, я был доведен до двери вагона, чемодан был внесён за мной, и я уехал. Чем кончился суд, да и произошел ли он, я не интересовался.

Зато годами меня преследовал сон: прокручивалась та же история с разными концовками, доходящими до рокового момента, когда я просыпался в испарине.

Это привело к тому, что жизнь стала представляться огромной, разветвлённой, широкошумной, с гнёздами чужих жизней в ней. В то же время оказалось, что мне умственно легко было оставить её без боли, без особенного сожаления, фатально. Стало как-то спокойней думать о вероятных опасностях, которые могут случиться в дальнейшем, тут помогал даже расчёт: при том, что я оставил позади, вряд ли мне суждено это повторить в ближайшем будущем. Но чтобы отнять жизнь у другого — этот Каинов грех, в копоти пережжённого кирпича от самого испода адской печки, — я бы не взял на себя даже ради справедливейшего возмездия. Даже ради самосохранения. Говоря совсем просто: убить хуже, чем быть убитым. Это чувство, переживаемое во сне, делалось все больше и больше свободным выбором и затем стало заветным убеждением.

Лишь одна мысль о моей невезучести суежилась в голове нерешённо. Конечно, удачей такое не назовешь: на 23-м году чуть не лишиться жизни. Но, с другой стороны, это «чуть», этот хлястик от ремня — разве не везение?

Этот философский вопрос я собирался поставить перед «дамами и господами» на моём дне рождения, который решил сделать итоговым, пародийно-юбилейным: в конце концов, в 23 года Маяковский написал «Облако», а я — что? Устроил и выставку с экспонатами, прикрепив их к обоям булавками. Первый письменный документ — письмо к матери с Кавказа: «Когда ты пришлешь мне псылку?» Продуктовые карточки. Табель с двойкой по алгебре. Шпаргалки. Доверенность от студента Левина на получение его стипендии. Стихи в рукописях. Карпатские фотографии. А вот и распятая летняя рубашка с дырочкой в боку. Вокруг дырочки — коричневое пятно, сравнительно небольшое: кровоизлияние было внутренним. И конечно, знаменитый ремешок с хлястиком. И — опять стихи.

Гости были уже почти семейные: Найман с Эрой, Рейн с Галей Наринской, кажется, еще Шгерны, оба в очках, у нее — многозначительный тик. Выставку рассматривали всерьёз, без улыбок. Видимо, смешное перевешивалось мрачным. Пришел Толя Кольцов в домашних тапках — спустился просто поздравить и долго отнекивался, пока я не посадил его за стол. Угощение было отменным, сухого вина — в меру, и философские вопросы отступали перед закусками. Но общее суждение всё-таки было вынесено: и в большом невезенье случается доля удачи.

Последний курс

По существу, это был всего лишь один учебный семестр, потому что вместо второго полагалась преддипломная практика по собственному выбору, дипломный проект и защита. Но начался он мрачно. Я ещё ходил скрюченный, хотя и не так, как летом, и полагал, что перенесённое ранение меня освобождает от каких-либо физических нагрузок. Не тут-то было. Павлюченко:

- Как?! Ваша группа уже отправлена, а вы не на сельхоз-работах!
- Да я же еще толком не выздоровел.
- Предъявите справку от врача.
- Ну, хорошо, тогда я должен записаться на приём...

— Ах, так? Два часа на сборы! В пять отсюда отходит машина. Поедете с другой группой. Иначе вылетите из института.

Уборку картофеля в дождливый день описывать не надо. Та же разваренная картошка на обед, алюминиевые миски и ложки, мытые в холодной воде, тоже не нуждаются в описании. Разве что приветливые улыбки единственной в этой группе милостливой девушки из провинции, расточаемые мне. Это — славно, это даже погоду меняет. Но сразу же — угрюмые разговоры в мужской половине: тут, мол, некоторые посторонние к нашим девушкам подъезжают, на неприятности нарываються. Можно им и тёмную устроить.

Так... Это уже почти смешно. Откуда такое быдло набралось в наш институт? Прямо из тех сталинбургских операторов, что ли? А мне сейчас и заточенного напильщика не надо: трах по пузу кулаком, и кишки наружу.

Погода портится. Девушка тоже перестаёт улыбаться: видимо, с ней «поговорили». А между тем я вступал в самую пору ухаживаний и соперничества. Сверстники женились пачками.

Я возвращался 6-м автобусом из Дома книги, и на одной из остановок вошла её высочество принцесса Уэльская в исполнении, как оказалось позднее, Наташи Каменцевой. Я увидел стройную фигуру, русые волосы с тогдашним начесом, блестящие карие глаза «домиком», заметил её походку. Она села чуть впереди и через проход от меня. Я залюбовался почти детским профилем, немного скруглёнными уголками глаз и губ и проехал свою остановку на Таврической. Она вышла на следующей, пересекла Тверскую и вошла в один из домов. Её облик помнился мне весь вечер и даже смутно грезился во сне. А утром я торопился в институт, как всегда, опаздывая, и, подбежав к остановке за углом сада, успел прыгнуть в захлопнувшуюся за спиной дверь 11-го троллейбуса. Шлёпнувшись на свободное место, я увидел через проход и чуть впереди от себя её высочество. Всё тот же маршрут, сотни раз проделанный мною в одиночестве или с другом Блохом, теперь я делил с нею, можно уже сказать, девушкой моей мечты. Где-нибудь на Литейном она, наверное, сойдет, и тогда — прощай. Или — на Невском, это уж точно. Нет. Тогда — у Пяти углов или у Витебского... Нет! Пошли мелькать поперечные мнемонические улицы, и вот — я вхожу вслед за ней в величественную трапецию Техноложки. Это уже — судьба!

Познакомились мы с ней, конечно, в вестибюле под часами. Причём, она подошла сама:

— Дима, ха-ха, это я, Наташа. Ты пойдешь сегодня в Промку?

Надо же, вычислила и меня, и наше литобъединение, где сегодня, действительно назначен очередной сбор поэтов! Просто невероятно!

— Конечно, Наташа. Идём вместе?

И начались наши прогулки: «Со мною девочка идет Наталья». Я сравнивал её с мокрой ученической тетрадью и со школьным завтраком, метафорически чудил, небо я населял морскими звёздами и тропическими медузами, а наледи под ногами дырявил словами донизу и насквозь. Хотелось, чтобы всюду ходил тёплый ветер. Меня влекло в её сторону безоглядно, и, когда я смотрел на неё, овал и черты созерцаемого лица вылепляли в точности портрет моего чувства — так, что казалось вероятным беспрепятственно переходить из одной личности в другую и обратно. Но — только казалось.

Был у неё воздыхатель, как тогда называли — «мальчик», мастер спорта по боксу, тоже студент Техноложки и, кстати, приятель Наймана, который меня с ним познакомил. Налитой силой, но быстроглазый и быстрый на язык парень.

— Ты ходишь с Наташкой Каменцевой? Она ничего. Но «тёщенька» — это нечто. Ольга Ефимовна. Я говорю одно, она говорит другое, я говорю, она говорит, я говорю, она говорит, — сымитировал он диалог в упрощенном, но, видимо, близком к образцу стиле. — Ты меня понял?



С женой Натальей на Финском заливе 1960 г.

Я понял, что он уже представлен семье, а это — степень близости, и он на неё претендует. Но животного противоборства, скорей всего, между нами не случится, словесность же — моя территория. В общем, такой соперник меня устраивал, а принцесса, разжалованная в «Наташку», тем более.

С «тёщенькой», которая и в самом деле стала впоследствии моей тёщей, я вскоре познакомился. За столом она попросила:

— Отрежьте мне, пожалуйста, кусок огурца.^[SEP]

— Пожалуйста! — и я отхватил ей половину.^[SEP]

— А нас учили в Смольном институте, что огурец следует резать не поперёк, а вдоль...

И всё после этого пошло перпендикулярно...^[SEP]

Мы пропустили электричку на Приозерск, доехали до Соснова, а оттуда автобусом до Новостройки — так назывались давнишние барачные выселки, откуда ещё километра три надо было идти по-над озером через сосняк.

Уже давно наступила осенняя темнота, ручной фонарь выхватывал из-под ног вялое быльё да крупичи песчаного грунта. Молодая кошечка наискосок перебежала дорогу перед фонарем. Позвала, мяукнув из темноты. Перебежала ещё раз, и ещё. Затем позвала откуда-то сади. Отстала. Луч фонаря высвечивал перед нами подобие туннеля, и мы шли в его тесных копиях сквозь толстенный массив темноты. Дорога заметно спускалась, доведя до протоки, и возобновлялась сразу за ней наподобие брода. А ведь здесь, кажется, был мост. Был, да сплыл. Загонять невесту в холодную воду негоже, придется нести на руках. Но где же мост, неужели его разобрали бесследно? Нет, вот он рядом, вполне пешеходный и проходимый. Дальше

дорога повела вдоль посёлка — знакомей и веселей. Вот и дом. Возня с ключами, поиски спичек в темноте, свет. Есть всё, что надо: лампа, дрова, в погребе — картошка и даже бочонок соленых волнушек под гнётом, наверху — чайник и много одеял. Печку топили за полночь, глядели на озаренные лица друг друга, любовались-миловались, потом легли. Слушали, как тишина заключает себя в тишину, а темнота — в темноту, словно шар в шаре.

Утром я стоял на заиндевевших досках крыльца со связкой ключей на ремешке, видел прибранные безлюдные участки с подвязанными кустами смородины и выбеленными стволами яблонь. Сквозь розоватую решётку прутьев блестело озеро. Никакой ущербности, никакого печального увядания — только холод здоровья, мужская волосатая сила, крепкая утренняя щетина на собственном подбородке — вот каким выглядело тогда осеннее утро.

И в то же время одного этого казалось до примитивности мало — как было выразить наплывы нежности, желание доверить другому всё без остатка, даже обезоружив себя? Для этого нужен был именно женский голос, перескоки сознания с серьезного на пустяк, пусть даже с грошёвой театральностью и подспудной практичностью, — со всеми чертами их сомнительного, но остающегося пленительным в любых своих выражениях женского мира, то есть, в конечном-то счете, для этого нужно было стать женщиной! И я выдумал себе поэтессу.

Инна Вольтова

Не пропадать же хорошему псевдониму — и чем искусственней он звучит, тем скорей запоминается. Я дал ей фамилию моего трагического неудачника, так вовремя отпочковавшегося от меня, а имя — самое простое, чтобы оттенить электрический блеск фамилии. Но это — только четверть дела, поэтессе нужен ещё собственный голос — не звук горловых связок, альт или сопрано, а внутренний и неповторимый голос, которым только и могут звучать её стихи. Ну и, конечно, сами стихи. Плюс легенда.

Не я один млею от звуков ахмадулинского голоса, этой, может быть, лучшей составляющей её поэтического дара, но и другие действовавшие тогда поэтессы пытались, подобно ей поднимаясь на цыпочки, ухватить улетающую ноту своего вдохновения. На геологических чтениях именно этим запомнилась Лена Кумпан, статная молодая женщина с глуховатым, но гипнотическим и глубоким голосом. Стихи были, как у многих горняков, про тяготы геологоразведки, а звучали почти эротически:

*Сним. Кажется, сним...
Или только на сёдлах качаемся?*

Этот ритмический подтекст первым и со всей определенностью угадал мэтр кружка Глеб Сергеевич, и в результате он в очередной раз запутал свои семейные отношения. Надо отдать должное неравной по возрасту паре, они крепко держались друг друга, и Лена достойно дожила до своего вдовства. Но из круга сверстников она выпала — не то что ухаживать, но даже и заговаривать с женою мастера было непререкаемым табу, и, мне кажется, Лена скучала. А нота её поэзии растворилась в галдэе последующей литературной давки.

Другое голосовое дарование выступало в кружке у Давида Яковлевича — Нина Королёва: русоволосая, колобковое лицо и фигура, стихи без претензий, а звук завораживающий и обезоруживающий:

Потому что баба я и слаба.

Это, может быть, даже излишне, до самопародийности искреннее признание наверняка ублажило чьи-то мужские амбиции. Теперь, когда знаешь чьи, он сам кажется математически вычисляемым из списка знакомых.

Мне по душе было другое — её сложно-простая имитация речи мастерового (я сам ещё недавно упражнялся в подобном):

Выточить из дерева, скажем, стул.

Сделать фанерованный, скажем, шкаф.

Но я бы так и не вычислил, у кого из окружающих мужчин бабья нота её лирики вызовет такие уж сильные ответные вибрации. Мне казалось, что с годами её дарование выцвело и поблекло, однако с ней произошел худший казус: она литературу перепутала с жизнью.

Её уловом, пойманном на червячка бабьей строчки, оказался вездесущий, где читались стихи, Шура Штейнберг — не поэт, но поэтообожатель, и подробности их многолетних семейных отношений описывались ею с той же искренностью, в тех же дольниках и хореямбах: с битьем посуды, упрёками, надрывами и тому подобным, — описывались и публиковались! То, что начиналось «от чистого сердца», кончилось «ну чистым Зоценко». Значит, не оттуда идет поэзия. От чистого сердца можно написать поздравления маме, любимой учительнице, а для стихов нужен точный звук голоса. Он исчез, да и был ли? Кроме того, писание из самых чистых побуждений уже санкционирует возможность писать из каких-то других, худших, но якобы справедливых побуждений: из мести, обиды, из желания напустить (именно так в её текстах!) чирьев на обидчиков и т. д. Формообразующий звук здесь уже не слышен, да и раньше-то он звучал не изнутри, а извне и в каком-то отдалении. Тогда ещё не догадываясь, где находится этот источник для всех безголосых поэтесс, я чувствовал их исконную подражательность, и моя Инна оказалась не исключением, но пародией на женскую, бабью поэзию. Это была поэзия чувихи.

Вот как Вольтова начинает, — так местная звезда выходит на танцплощадку:

Мне говорили: — Вы зовётесь Инна?

Какое электрическое имя!

И, словно фортку в сердце отворяли,
они твердили, глупые и милые.

Ведь вы всё это повторяли,
ещё не зная инниной фамилии.

Как слышны в небе выкрики пилотов.

Как мучат сказки о полётах!

Вы — Инна Вольтова?

Нет, нет, я — Ветрова.

Или — Воздухова. Или — Светова.

Как легче лететь?

Как лететь, чтобы видеть кругом:

быть пропеллером или крылом?

Как лететь, чтоб увидели — вот она,

Инна Полётова.

Дальше — густой интим:

Я завешу окна занавеской,
если ты за мной, как за невестой.

Надрыв:

С случайной спутницей,
зачем со мной ты спутался?

Бесправное примирение:

Когда тыходишь
уличной походкой
в пальто, пропахшем уличной погодой,
не опрокидывай мне чашек.
И не передвигай, пожалуйста, вещей.
Ты просто приходи почаще.
Меня почаще навещай.

Та самая, «бабья» нота:

Тебе хорошо. Ты — мужчина...

И — мелодраматический конец:

За всё мне плата. За шорох и шёлк.
За измятое платье, за то, что — пришел...

Написав пучок подобных стихотворений (в одном из самиздатских сборников напечатано около десятка, и больше у меня не сохранилось), я в возбуждении ездил по литературным знакомым и, дурачась, мистифицировал их. Сперва рассказывал про Инну: из простой семьи, работает продавщицей в ДЛТ, любит поэзию и очень застенчива: доверяет читать свои стихи только мне. Затем читал, следил за реакцией, меня распирало любопытство: поверят или нет? Конечно, нескрываемое веселье меня выдавало, и я в конце концов признавал мистификацию.

Это забавляло многих, но некоторые слушатели бывали раздосадованы обманом. Кое-кто присматривался ко мне внимательней, по-фрейдистски: а не женщина ли я сам? Литераторы вспоминали «Песни Западных славян» — проделку Мериме, околпачившую самого Пушкина:

— Ну, так то ж была поэзия!

А я уже собирался писать стихи за старушку-пенсионерку, за глухонемого... Но Рейн расхолодил меня, напомнив, что у Семёна Кирсанова была целая «Поэма поэтов», каждый из которых был он сам! Да, и этот замысел был не нов...

Всё же довольно долго мне удалось дурачить Зелика Штейнмана, критика, сунутого сверху руководить нашим литобъединением в Промке. Что он писал сам, никто не знал. Но был он репрессирован, реабилитирован и... на всю жизнь напуган. Вольностей не то чтобы не любил, но опасался чрезмерно, — как говорили тогда, перестраховывался. Все же мечтал, наверное, о молодой поэтессе, как Глеб Семёнов. Когда я стал рассказывать о продавщице, пишущей стихи, он насторожился:

— Приводите её сюда, в ЛИТО. Посмотрим, разберёмся...

— Но она дико застенчива. Просила меня только прочитать её стихи и передать мнения.

— Ну, почитайте.

Я читаю, предупредив, что пытаюсь воспроизвести её манеру и голос, передавая на самом деле смесь ахмадулинского воспаренья, кумпановского тёмного бормотанья и нино-королёвского чистосердечия. Эффект очевиден:

— Обязательно зовите к нам. Талантливая девушка.

Несколько раз потом спрашивал, несмотря на змеящиеся улыбки посвящённых. Пришлось придумать про антисептический аборт, сделанный у повитухи на Охте с фатальными, увы, последствиями. Все погрузстнели.

Но Инна Вольтова ещё немного поразвлекала своего создателя и круг его литературных приятелей. Вольф подначивал, Рейн запугивал судебной ответственностью, но я всё-таки сочинил письмо с сакраментальным обращением «Дорогая редакция», присоединил к нему, сколько было, Иннинных стихов и послал все это в журнал «Юность» в Москву.

Раньше, много раньше, чем на задах Промки образовался овраг, и гораздо раньше того, как туда залез беглый варёный рак из пивной «Пушкарь» и вдруг оглушительно свистнул, я получил конверт из «Юности» на имя моего возлюбленного создания. Тогдашний литконсультант, ставший впоследствии заведующим отделом поэзии, убеждал Инну в том, что способностей ей не занимать. Но. Чем она может объяснить, что при её врождённом умении рифмовать у неё всё-таки попадаются слабые рифмы типа «другой — чужой». Надо требовательней относиться к форме. Кроме того, разве всё так мрачно в жизни, как в некоторых из её стихов? Правда, образ «А на кофте дырочка, совсем как ножевая» точен и уместен в драматический момент отношений, но кто докажет, что это не мелодрама? Нет, в целом пессимистический фон стихов представляется ему неподходящим для такого ликующе-радостного чувства, каким должна быть настоящая любовь. Письмо заканчивалось просьбой прислать фотографию и телефон, а также надеждой консультанта на личную встречу при его ближайшей, скорейшей поездке в «Ваш прекрасный город».

Года два спустя я вспомнил об Инне Вольтовой, разговаривая с седой благожелательно-строгой дамой, сидя перед ней в её комнате на Петроградской. Как это нередко бывало, в разговоре возникла пауза, и мне показалось уместным заполнить её рассказом о моём бестелесном создании и о пылких чувствах, вызванных у издательских работников.

Моя собеседница заинтересовалась, попросила меня почитать вслух. Я стал воспроизводить стихи, невольно имитируя ту, прежнюю интонацию. Когда я дошёл до ножевой дырочки на кофте, я заметил выражение каменеющего гнева на её лице и остановил чтение, вдруг осознав, что, пародируя подражательниц, я невольно иронизирую над первоисточником звука, формообразующего для всей этой поэзии. Он находился, как я замечал ранее, не внутри молодых рукодельниц, включая и мою Вольтову, а далеко вне их существований — сходясь как раз сюда, к моей собеседнице. Именно она «научила женщин говорить». И в моих ли намерениях было заставить их замолчать?

Вскоре я услышал от Наймана, что Ахматова (а это была она) с оттенком карнавального ужаса, как рассказывают порой о рискованных артистических проделках, говорила о нашей компании: «О, эти — умеют всё». Быть молодым мужчиной, внезапно превратиться в женщину и при этом стать клоунессой — одно из таких умений.

(продолжение следует)



Лорина Дымова
ВЕРНУСЬ СЮДА
В ИНЫЕ ВРЕМЕНА...

Вернусь сюда в иные времена,
лет через двести или через триста,
и удивлюсь: тяжелая луна
все та же, те же звездные мониста.

И те же люди – та же ерунда
в их головах и те же сумасбродства.
Ей-богу, не рвалась бы я сюда,
когда б сказали мне про это сходство.

Ну что же, поживу еще разок
среди безумств, абсурда и надрыва,
и так же будет стих стучать в висок,
как будто я жила без перерыва.

НОЯБРЬСКАЯ ХАНДРА

Унылость ноября,
Пустынные пределы...
Но не твердите зря,
Что все, мол, надоело.
Не могут надоестъ
Ни облака, ни пиццы.
Когда еще, Бог весть,
Нам снова жить случится,
И в сумерках шутать,
И под дождями мокнуть.
И будет жизнь опять
Заглядывать к нам в окна.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ЗИМА

А ночью мысли – будто гвозди,
попробуй не сойди с ума:
вот ты явился к жизни в гости,
а на земле стоит зима,
и накрахмаленная скатерть

хрустит на праздничном столе.
Ты тоже приглашен, приятель,
как всякий сущий на земле.
Взгляни на милую соседку
или на ту, что визави,
спой непременно шансонетку
и каждой объяснись в любви.
Отведай то и это блюдо,
наполни доверху бокал
и не грусти, поскольку чудо,
что ты вообще сюда попал.

И вот июль.
Он жаркий, словно страсть,
нет, не сейчас, а в молодые годы.
В нем всё: восторг, отчаянье и власть,
в нем так же просто кануть и пропасть.
Не зная броду, мы суемся в воду –
а брода нет. Есть непосильный зной
и память, что всплывает временами,
о днях прозрачных, о поре иной...
Но неужели это было с нами?
Идет июль — безумный террорист.
Мы белые вывешиваем флаги,
а он — порывист, смугл и мускулист,
и в восхищенье от своей отваги.

ЯНТАРЬ

Чтобы ты снова меня захотел увидеть,
чтобы, как раньше, умел, но не мог обидеть,
чтобы поднять на тебя я не смела взгляд...

Но между нами лежит громадное лето,
солнце мешает взглядеться, да и охоты нету
прощать, обижать, объяснять и смотреть назад.

Продолговатые дни — камешки янтаря в шкатулке —
скачут по улицам, закатываются в переулки,
и исчезают — поди-ка потом отыщи.
Сколько их было! Звенели, блестели, катились,
встречи-разлуки в янтарь превратились.
Теперь-то понятно, мы были тогда богачи.

Но опустела шкатулка, разбилась копилка.
А солнце все так же непобедимо и пылко,
и кто-то другой примеряет янтарный браслет.
Ах, до чего ж он хорош на запястье!
Именно так, наверное, выглядит счастье:
солнечный мед и таинственный свет.

Густ август.
Лето настоялось,
И словно мёд
Густеет зной.
С жарой в обнимку
Ходит вялость,
И дремлет мир полубольной.

Он о прохладе небо просит,
Клянёт жару и мошкару.
...А на задворках бродит осень,
Готовая вступить в игру.

В ее хранятся арсенале
Дожди, и ветры, и разбой —
Чтоб мы с тобою вспоминали
Хмельного августа настой.

Небосвод не высок и не низок —
Так и будет теперь до зари.
И висит не луна, а огрызок,
Хоть в окно вообще не смотри.

Это значит, что кончилось лето,
И октябрь опускает флажок.
Это значит, что песенка спета.
Чья? Конечно же наша, дружок.

Летом всё откровенно и просто:
Страсть, любовь — всё приходит само,
Потому что июньские звезды
Золотое диктуют письмо.

Ни расчета, ни плана, ни цели.
Просто — вместе. И сходим с ума.
Запах хмеля... и пенье свирели...
И когда еще будет зима!

ДРОЗД

Весенний дрозд зашелся в свисте,
Знать, и у птиц шерше ля фам.
А вы опять о смысле жизни.
На что, друзья, он сдался вам?

Зачем весь век стремиться к цели,
На всем искать судьбы печать –
Спросите у дрозда в апреле
Но он не станет отвечать.

Жаль, неизвестно мне, как выглядит платан,
И в интернете я искать его не стану,
Хоть столько рифм: султан, кафешантан
и шарлатан — имеется к платану.
(Еще шайтан, кафтан и капитан —
Все перечислила бы, да боюсь, устану).

Известно мне, каков сосновый бор,
Как выглядят березы и осины.
Знакомы мне, пусть и с недавних пор,
Оливы, пальмы, даже апельсины.
(Судьба вручила мне такой набор,
Хотя о нем я вовсе не просила).

Но где платан? О нем я ни гу-гу,
И масса рифм напрасно пропадает.
Но коли напишу о нем — солгу,
Придумаю. И это — угнетает.
Хочу его воспеть, но не могу...
А он от невнимания страдает
И, уязвленный, думает в отчаянье:
Печально быть фигурой умолчания.

Два облака – два белые крыла,
Нарядный кипарис, шмеля гуденье.
Когда б я смертной не была,
То это были бы мои владенья.
А так... сюда я только на постой
За жизнью я подглядываю в щелку
И не шепчу: «Мгновение, постой!» –
Что толку!

ТУРИСТКА

Загнанная в клеть домов, разговоров и привычек
Выбивает дверь душа и летит себе на волю —
Жить без знаков препинанья, многоточий и кавычек,
Без намеков и попреков, просто так, в открытом поле.

Не выслушивать советы, не придумывать ответы —
Ну и пусть немного зябко! Ну и пусть немного страшно!
Ничего теперь не значат ни гаданье, ни приметы:
Все едино, все сравнялось – день грядущий, день вчерашний.

В чистом поле бродит время, бродят солнечные грозы.
Чьи-то сны и чьи-то души вьются рядом, как стрекозы.
Жаль, душа, что в чисто поле прилетела ты туристкой,
И пора нам собираться в путь обратный, путь неблизкий.

Вам не досталась
В общем-то малость
(и не считайте это бедой),
Вам не досталось
(экая жалость!)
Видеть меня молодой.

Мне не случилось
(чья это милость?
Кто-то берег меня от катастроф?)
Встретить вас юным
Шумным, безумным.
Ох, наломали б мы дров!

Не беспокойся, все пройдет.
А что сказала – то не в счет
И не тебе предназначалось.
Зачем? Себе самой назло.
Пройдет, верней, уже прошло.
Вернее, и не начиналось.

Всего-то навсего – стишок.
Стишок – он даже не грешок,
И пишется обычно сдуру.
Когда весна, луна – прости –
Неодолим соблазн: влести
В пейзаж и чью-нибудь фигуру.

А твой, дружок, силуэт,
Когда с небес струится свет,
Размыт, загадочен и строен.
Смотрю сквозь зыбкое стекло...
Пройдет, верней уже прошло.
И дом молчит, и мир спокоен.

А жизнь утекает — бессильно леченье,
но каждый надеется на исключенье
из правил, что будет уступка, поблажка:
ведь он, если честно, такая милашка!
Он больше не будет нахальным и нервным.
Хотите — он станет здороваться первым?
Курить перестанет, забудет о водке,
и деньги отправит двоюродной тетке.
Он просто уверен: все как-то устроится,
удвоится жизнь или даже утроится.
Он будет, увидите, жить образцово,
вы дайте ему лишь попробовать снова!

Эта страна, что считается ныне родной, —
как ни крути, не родная она, а чужая.
Неторопливо живу, ей ни в чем не мешая,
как и она мне... Ну разве что тягостен зной.

Но и другая, когда-то родная страна —
тоже чужая. Мне думать о ней неохота.
Краски поблекли, и стерлась давно позолота,
даже не помню дорогу и вид из окна.

Все хорошо. Лишь в одном закавыка — в душе:
хочет, дуриха, к чему-то она прилепиться.
Сколько уж лет по ночам ей весною не спится,
в темной квартире пустой на втором этаже.

ОТЕЧЕСТВО

Что вы! Спокойна душа и не мечется.
Медленный день мой нисколько не пуст.
А величавое слово «отечество»
не вызывает каких-либо чувств.

Лондон, Москва — да какая мне разница?
Кем-то — не мною — сие решено.
В слове «отечество» есть несуразища.
Жизнь это то, что я вижу в окно.

Дом белостенный и облачко синее,
древних камней опаленные лбы,
и вдалеке незаметная линия,
тонкий пунктир окончания судьбы

Пришла любовь. И постучала в дверь.
А я не знала, кто там, и открыла.
Ну вот, пойдя ей объясни теперь,
что поздно, что ни жажды и ни пыла.
Есть, к сожаленью, в доме зеркала,
и я смотрюсь в них иногда украдкой...

Она в ответ: «Но я уже пришла,
ну да, не буду я хмельной и сладкой.
Да, я всегда печальна и больна
и потеряла прежний вкус к нарядам,
зато теперь ты будешь не одна,
куда бы ни пошла — я тут, я рядом».

Я бы умерла со скуки,
и страдала, и томилаась,
и заламывала руки,
и наверно б удавилась
под твоим бесстрастным взглядом,
рассудительным и твердым,
коли мы бы жили рядом
и звучали бы аккордом.
А на нашем на концерте
вянет слух от разнобоя.
Перемешивают черги
визг пилы и стон гобоя.
А когда такие звуки —
хруст стекла и черепицы —
трудно умереть от скуки,
и концерт все длится, длится.

Закончился долгий душевный бедлам,
став шуткой нелепой и небылью.
И каждый к своим возвратился делам,
как будто безумья и не было.
Поистине глупость. Но кто без греха,
когда со страстями негусто?
Увы, умещается в клетке стиха
недавно безмерное чувство.

Сколько слов ты знаешь горьких!
Сколько слов я знаю сладких!
Но не скажем их, мой милый,
мы друг другу никогда.
Книжку мы давно закрыли,
и потеряны закладки.
Возвратиться на страницу?
Боже, что за ерунда!

Больше книг читать не буду
ни веселых, ни печальных.
Да и ты их выкинь тоже —
это мой тебе совет.
В них сюжет необъяснимый,
нелогичный и случайный.
Лучше сунься в телевизор
или, скажем, в интернет.

Там интриги и разборки,
шуры-муры и делишки,
грандиозные события,
интересное кино.
И забудь благополучно,
что прочел в давнишней книжке.
Автор спятил. И к тому же
книжки нет давным-давно.

Ты любишь старый фильм прокручивать
с начала до сегодня — весь.
Но это, милый мой, горячая
взрывоопаснейшая смесь.

Сидел бы лучше в тихом скверике,
смотрел, как гаснут этажи.
...Свиданья, радости, истерики —
поди попробуй докажи.

Давай обнимемся, дружок,
И друг на друга поглядим.
Перед дыханьем вечной ночи
Всё остальное прах и дым.

При чем тут здравый смысл и опыт?
И ночь грядущая, и день?
Лишь только лепет, только шепот,
И легкокрылая сирень.

Я скажу вам: не взывайте,
удержитесь, промолчите,
смысла вовсе не ищите...
Смысл? Какая чепуха!
Смысл дождя и листопада
объяснять вам вряд ли надо,
страсть безумного торнадо,
сумасшествие греха.

Жизнь, дружок, нас обольщает,
обещает и прощает,
и охотно возвращает
всё, что нам не додала.
Ничего, что седы прядки,
но зато свиданья сладки.
Значит, с жизни взятки гладки,
коль сейчас она мила.

Хоть слова сии опасны —
что же делать, мы согласны.
Может быть, и не напрасно
рассудила так она.
Над горой луна повисла,
желтоглаза и лучиста.
И ни в чем не ищет смысла
эта самая луна.

Еще чуть-чуть,
всего лишь шаг —
и крышка.
Пора уже утихнуть и устать.
Мы, верно, не по той учились книжке,
не с той страницы начали читать.

А потому всё спуталось. И годы
забыли, что всему свой час и срок.
Мелодию безумья и свободы
они трубят в свой золоченый рог.
И мы с тобой идем на зов опасный —
что толку спорить, возражать, хигригь! —
безумны, нерасчетливы, несчастны
и счастливы...
Да что тут говорить!

Небосвод, от звезд колючий —
Сердцу западня.
Ты, дружок, себя не мучай
И меня.

Путь обратный, путь угрюмый,
Фонари в окне.
Всю дорогу, милый, думай
Обо мне.

Что дано — за то спасибо,
Жаловаться грех.
Да, хотели б.
Да, могли бы.
Только тверд орех.

Беги и суетись, сражайся и спеши,
Хотя расплывчат смысл и цели неизвестны.
А чтобы ощутить присутствие души,
Подумай обо мне, и встанет всё на место:

Распутица, в окне бредущий человек,
Весенняя звезда с таинственным свеченьем —
И самому тебе твой сумасшедший бег
Покажется мурой и умопомраченьем.

И в этот миг душа с тобой заговорит,
И речи диктовать ей будут только боги,
О том, что вечен мир и для людей открыт,
И, кроме здешних, есть небесные дороги.



Генрих Тумаринсон

Ну и жук!

Учим японский

И японские девчонки,
И японские мальчишки
Разговор по телефону
Начинают с этих слов.

Но и взрослые японки,
Но и взрослые японцы
Поступают точно также,
Прижимая к уху трубку —
«Моси-моси» говорят.

Что такое «моси-моси»?
Скрыт ответ в самом вопросе,
Потому что «моси-моси» —
Это русское «алло».

И запомните, что, если
Вы в Японию звоните -
Может, в Токию звоните,
Может, в Осаку звоните
Или даже в Нагасаки —

Нужно с самого начала,
Нужно весело и громко
«Моси-моси» говорить.

Замечательное слово,
Очень тёплое, живое.
В этом слове две собачки
Мчатся наперегонки.

А ещё оно — как шарик...
Этот шарик я катаю
Взад-вперёд по языку

И, прищурясь по-японски,
Я всё время улыбаюсь.
Улыбаюсь, потому что
«Моси-моси» говорю.

Правильная Маша

Предупреждаю честно

Васю:

— Не обзывайся —

Нос расквасю.

И за спиною

Слышу Машу:

— А нужно говорить —

Расквашу!

День рождения

В яйце

И тесно, и темно —

Пора

Проклёвывать окно.

И скорлупа

Уже трещит.

Цыплёнок

Радостно пищит...

Сейчас

На свет он выйдет

И солнышко увидит!

Однокашники

Был он маленьким

И скромным,

Неприметным пеликаном,

А потом он

Стал огромным,

Стал

Почти что ВЕЛИКАНОМ.

Потому что спозаранку,

Клов просовывая в банку,

Пеликан клюет овсянку,

Или пшенку, или манку.

И подруге — пеликанке

Он дает клевать из банки.

Честно делится овсянкой,

Или пшенкой, или манкой.

И подруга подрастает,

Вот что значит дружба с кашей!

Пеликанка скоро станет

Настоящей ВЕЛИКАНШЕЙ.

Про молоко

Я думаю,
Вы знаете едва ли,
Что молоко
Неправильно назвали.

Но я переназвал его
Легко:
Да здравствует
Парное МУ-У-У-ЛОКО!

Портрет

Мальчик папу рисовал,
Тушью сделал он овал,
Но сперва внутри овала
Было места слишком мало.

Над овалом колдовал он,
Стал овал почти яйцом,
А немного позже стал он
Добрым папиным лицом.

Опустела банка туши,
Дело близится к концу.
Брови, нос, глаза и уши,
Как всегда, лицу к лицу.

Огорчаться нет причины,
Что отсутствуют морщины:
Тушь закончилась — ну, что же,
Будет папа помоложе.

Белой краской — только зубы,
Красной краской — только губы.
Папе голову покрасил
Сын-художник в желтый цвет —
Знал,
Что лысой краски нет...

Папа молод и прекрасен —
Полюбуйтесь на портрет!

Стыдно

Был огурчик
Прямо с грядки
И считал,
Что он — в порядке.
Но Серёжку
Огорчил,
Потому что
Он горчи́л.

И Серёжка,
Огорченный,
До конца
Его не съел,
А огурчик,
Весь зелёный,
Вдруг
Ужасно покраснел.

Стал он красным,
Стал он грустным —
Стыдно быть
Таким невкусным!

Про букву Ё

Медведь,
Увидев букву Ё,
Принёс её
В своё жильё.

Теперь
Живёт
В берлоге
Ё.
Медведь доволен:
Ё — моё!

Речь

Только что
Соседский пёс
Речь с балкона
Произнёс:

— В нашем доме
Есть собака —
Горлопанка,
Забияка.

Не могу
Терпеть такую:
Я такую
Атакую!
Сделать больно
Не хочу —
Уму-разуму
Учу.

Плотина

Здрасьте, бобры!
Будьте добры,
Исполните
Просьбу эту —
Постройте плотину
К рассвету.

Трудолюбивы,
Проворны,
Бодры,
С вечера
Взялись за дело
Бобры.

Светает.
Смотрите — вот она!
Плотина
За ночь
Сработана.

Не было у бобров
Пил, гвоздей, топоров.
Справились,
Тем не менее...

Выручило умение.

Соревнование

Саша и Маша
В четыре руки
Мыли посуду
Наперегонки.

Маленький чайник
В печали...
Носик его
Не встречали?

Есть и у кружки
Обида –
Ручка у кружки
Отбита.

Чашка, тарелка
Два блюда —
Это
Уже не посуда.

Саше и Маше
В четыре руки
Долго пришлось
Собирать черепки.
Было их много
Повсюду...

Саша и Маша
Наперегонки
Больше не моют
Посуду.

Летний день

Над речкой в небе
Ласточки кричат.
Над самую водой
Гудят стрекозы.
На берегу
Пасутся мирно козы
И на жару
По козьему ворчат.

Речные воды
По камням журчат,
Лепечут ивы,
Слушая журчанье.
И только рыбы в глубине
Молчат.
Не разгадать
Их вечное молчанье.

Неправда

Я
По берегу иду —
Карпы
Плавают в пруду.

Карпы уникальные:
Все они — зеркальные.

Вот он, толстый,
Плещет рядом.
Я в него
Впиваюсь взглядом.

Посмотрел
И поразился:
В карпе
Я не отразился!

Ухожу домой
Печальный...
Ну какой же он
Зеркальный?!

Петух-математик

Стал математиком петух –
Решил считать окрестных мух.

Но почему-то, отчего-то
Сбивался каждый раз со счета.

Тогда он начал мухлевать
И попытался мух клевать.

Одну из них он сразу слопал.
А всех других — увы, прохлопал.

Они над петухом летают
И ждут,
Когда их посчитают.

Повезло

Мне сегодня поутру
На крючок попался сом.
Рукавом глаза протру:
— Это сон или не сон?!

Поплавок сходил с ума
От упрямого сома.
Выгнулось удилице —
Вот какая силища!

Это правда или сон?
У меня в ведерке сом.
Сом весом, хотя и мал.
Это я его поймал!

Лукошко

Лукошко
Иной
Не желает судьбы.
Лукошко привыкло
Ходить по грибы.

Грибные места
Не забыло оно,
А нынче зима,
И в чулане темно.

Ноходишь
И чувствуешь
Запах грибной
И запах далекой
Тропинки лесной.

Приснился лукошку
Знакомый маршрут...
Как жаль, что зимою
Грибы не растут!

Едим арбуз

Он в пижамах полосатой
И со всех сторон пузатый.
У него прекрасный вкус,
Потому что он — арбуз.

Наша дружная семья —
Мама, папа, брат и я.
Мы сидим вокруг арбуза,
Аппетита не тая.

Получаю свой кусок,
Я бы съесть и больше мог.
И течет по подбородку
В три ручья арбузный сок.

Со стола исчез арбуз.
В животе — приятный груз...
На столе пригорок
Из арбузных корок.

Чистюля

Из травинки муравей
Сделал веник,
Подметает муравей
Муравейник.

Обида

Спросил я кукушку:
— А сколько мне лет?..
И тут же услышал
Неверный ответ.

Нет, я не ошибся —
Я был начеку:
Кукушка
Пять раз
Прокричала «ку-ку».

Она же считать
Не умеет совсем.
Мне вовсе не пять,
Потому что
Мне — семь!

Муму

Тургенев
Уже объяснил
Почему,
Герасим собаке
Дал имя «Муму».

Есть много
Красивых имён
Для собак —
«Муму» для собак
Не подходит никак.

А если вы скажете:
— Нет, ты не прав!
Тогда назовите корову
Гавгав.

В зоопарке

Давно я не был здесь.
Однако
Случилось всё.
Как в прошлый раз:
Меня заметила
Макака
И отвести
Не может глаз.

Я дал ей
Яблока объедок,
«До новой встречи!» —
Ей кричу...
Неужто, в самом деле,
Предок!?
Я в это верить
Не хочу.

Ну и жук!

Прямо в небо
Жук взлетел
Словно
Маленькая птица.
Он
Подняться ввысь
Хотел,
Чтоб на тучке
Прокатиться.

Жук настойчив был
И смел,
Но не вышло
Сесть на тучку.
...Приземлился,
Как сумел:
Лихо сел
На таксу Жучку.

Не ушибся,
Не смутился,
Удержался на ветру,
И на Жучке
Прокатился
Не по небу —
По двору.

И с тех пор,
Забыв о тучке,
Часто ездит
Жук на Жучке.



Борис Кушнер
БЕССОННИЦА СЕРДЦА
Избранные стихи, июль — декабрь 2014 г.

* * *

Швыряет краски скоморох,
Числа тем краскам нет.
«Чудак, достанет четырёх,
Чтоб весь раскрасить свет». —
Так математик нас учил,
Серьёзен и суров. —
Он знал один лишь цвет — чернил —
В пустыне строгих слов.
Пусть в мире совершенства нет,
Пусть горек знания плод, —
Мы верим — явится Поэт
И краски нам вернёт!

3 июля 2014 г., Route 22, West

* * *

Нет ни Людмилы, ни Руслана,
Живой воды, разрыв-травы,
Лишь дальний гул аэроплана
Нам дарит сказки синевы.

8 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Время бешеное,
На злобе замешанное,
Небеса ледовитые,
Цветы ядовитые.
Бомбей или Хельсинки —
Те же песенки.
Париж, Будапешт —
Без надежд.

8 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Птичьи переклички,
Ветра лёгкий вздох,
Возглас электрички
Из иных эпох.
Сверстников умерших
Слышу голоса,
Реже, ниже, меньше
Времени леса...

9 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Сидел себе в тени сурок,
Задумчиво обедая,
Не зная знаменитых строк,
Бетховена не ведая.
Он чинно завершал обед
Травой отменно свежую,
А я кивал как бы в ответ
Небесному безбрежью.

9 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Хорошо с весельчаками
Разделять восторгов вздор
На лугах под облаками,
На седых вершинах гор.
Ну, а станет не до смеха,
К чёрной пристани причаль, —
Это тоже в жизни века —
Вдохновенная печаль.

16 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Дальнего гула загадка —
Шёпот грозы, самолёт?
Только вдруг стало несладко,
И в позвоночнике — лёд.
Ужаса взрыв первобытен,
Что приключилось с тобой? —
Жди настоящих событий
В споре с молчащей судьбой...

16 июля 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-46

Я над пространством торжествую,
Нет ни управы, ни суда.
Ах, мне б рапсодию шестую
Подать сюда!
Я б обернулся вещей птицей —
Что этот мир? Концертный зал! —
И дерзким *Presto* репетиций
Я б к Северянину воззвал.
Родством смертельным сатанея:
«Я гений, Игорь, как и ты!»
.....
Ах, нет ли здесь в кустах Стейнвея —
Взорвать удуше маяты.

17 июля 2014 г., Route 22, West

* * *

Уходят люди и места,
Пассаты и мистралы,
И юным начинать с листа
Другой виток спирали.
И так до греческих календ,
До исполнения сроков —
Рожденья сказок и легенд,
Мессий и лжепророков.

19 июля 2014 г., Pittsburgh

* * *

Без предупрежденья,
Будням впереиз
Это наважденье —
Голубой экспресс.
И как будто мало
Краха всяких норм —
Вечный гул вокзала,
Вавилон платформ.
Полонезны лица,
Души широки, —
Впереди граница,
Родины штъки.

21 июля 2014 г., Route 22, East

* * *

Над рощей многокрыло
Раскинулся рассвет,
И всё как прежде было,
Да нас с Тобою нет.
Заката пламя ало,
Иль хлещет ливня плеть, —
Да нас с Тобой не стало,
Другим любить и петь.

22 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Пьянила мокрая земля
Животворящей силой,
И так тогда был счастлив я, —
Ну как земля носила!
Да что земля — за облака
Взлечу, взмахнув крылами! —
Внизу могучая река,
Озёра зеркалами.
Тромбонов полнозвучна медь,
Блаженство, не иначе. —
И смерть ещё не разглядеть
За радостью щенячьей.

22 июля 2014 г., Johnstown

* * *

Всей душою, всею кровью —
Вот Тебе моя рука!
Поплывём — да хоть к низовью! —
Лета — нежная река...

27 июля 2014 г., Pittsburgh

* * *

Ты шепчешь сам себе: «Чудак,
Ну, разве пожил мало»? —
Но облака клубились так,
Что сердце замирало.
И ты пытаешься испуг
Ввести в приличья рамки?
Но дело чьих могучих рук —
Те облачные замки?

Увещеванья — чистый бред,
И небо в чёрных латах.
Трепещешь? Роковой секрет
Хранится в тех палатах.

31 июля 2014 г., Route 22, West

* * *

Не дело сочинять письмо,
Вздыхать, грызть карандаш. —
Письмо напишется само,
Лишь волю сердцу дашь.
И будет в нём разлив весной,
И фейерверки лиц,
И синий парус над сосной,
И танец небылиц,
Цветенье яблонь, вишен, груш,
Медвежий мрак тайги...
.....
И чтоб не заподозрил муж,
Пред чтением сожги...

1 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Небо любое —
Хмурое, голубое,
Как сейчас, как давно, —
Лишь бы было оно.

4 августа 2014 г., Johnstown

* * *

Однообразие бетона —
Всё то же — далеко и близ,
И шины, не сбиваясь с тона,
Мычат убогий вокализ.
Легато одинокой ноты —
С ума сошло бы и бревно.
Что мне Гекубы-гугеноты,
Сам Папа Римский — всё равно!
Цинизма стрелы не сломили
Мой закалённый жизнью дух. —
Автомобиль глотает мили,
А я стихи. Одно из двух —
Иль оба спятили мы дружно,

Иль дьявол спрятал нашатырь —
Так пусть мотор ревёт натужно —
За перевалом — неба ширь!

7 августа 2014 г., Route 22, West

* * *

Плодятся ярости микробы —
Ничто учёному уму. —
Ужель пророк нам нужен, чтобы
В зелёном распознать чуму?

13 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Самодельная теплица,
Пса лохматится волчок,
И сияют солнца-лица,
И лоснится кабачок.
Здесь не место неудаче,
Здесь успех наверняка. —
Слаще рая жизнь на даче —
Вишня, лук, щавель, река.
Разве станешь слушать Орфа
Раз шиповник полн шмелей? —
Всею грудью волны торфа —
Наслаждайся, пой, шалей!

14 августа 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-51

Неутолимый гнев Ареса,
Балет Горгон-Медуз-Мегер. —
А мне совсем без интереса —
Пусть! *À la guerre comme à la guerre!*
Война — журавль, покой — синица,
Застой покойника глубок. —
И оттого война нам снится,
О чём в упор не ведал Блок.

15 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Зелена ещё листва,
Август в середине,
Ветер полон озорства,
Как тюлень на льдине.
И ещё зениг лучист,
Сердце — стая гончих.
Но взглядишь — заметишь лист,
Что желтее прочих.

15 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Не видишь из Хаоса ось?
Не веришь, что всё согласовано? —
Так линии вместе и врозь
В последних квартетах Бетховена.

16 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Бездонный купол голубой,
Безмолвна вышина. —
Так выше музыки любой
Живая тишина.
Я наяву или во сне? —
Лишь трепетная дрожь. —
Б-г в небесах и Б-г во мне, —
Всё остальное — ложь.

18 августа 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-53

Проблема — ужасом в лицо,
Как жало-ствол нагана. —
Что раньше — курица, яйцо? —
Плачь, ослик Буридана!
Куда девалась только прыть
Поэтской папироски. —
Оставь надежду — не открыть
Нам камень философский.

18 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Проснёшься ночью — не до смеха, —
Всё позади, не жить до ста.
А чаша внешнего успеха
Пуста.
Успех всегда по сути — внешний,
И тьмы ничтожеств с ним «на ты».
Но в жизни нет важнее вещи
Для ежедневной маяты.

21 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

На рассвете собаки лаяли,
Перекликались, как часовые.
Петухи затянули арии,
Хрипло-голосовые.
Пробужденье нежданно хлынуло
Дробным лязгом ведра из колодца, —
Только ради повтора унылого
Не хотелось сну расколоться.
Облака плыли сёмгой на нересте,
Напрягалась будильника стрелка,
И хрипел ежедневные ереси
За стеной репродуктор-тарелка.
А жилось тогда прямо и попросту —
Не какое-то хитрое скерцо —
Чтоб родиться этому опусу
Из бессонницы старого сердца.

24 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Мотор реветь не уставал,
Зари зарделась роза. —
И показался перевал —
Величье и угроза.
Рассвета дивные цветы,
Легко, небесно, ясно, —
Хоть всё, что выше суеты
Безумием опасно.

25 августа 2014 г., Route 22, East

* * *

Компьютер вдруг из рамок вырос —
На волю ветер из лесов! —
В компьютере завёлся вирус, —
Прощай, любимый *Microsoft!*
Здесь бесполезна медицина —
Такие скучные дела... —
Не разработана вакцина,
Беспомощны антитела.

27 августа 2014 г., Route 22, West

* * *

Потоки света не ослабли,
Над парком — синяя река,
И птиц весёлые ансамбли,
И весь оркестр Языка.

28 августа 2014 г., Pittsburgh

* * *

Ты для поэзии — обуза,
Как говорят, ни в зуб ногой,
Но хоть и отвернулась Муза,
Не знайся с Бабою Ягой.
Карга коварнее, чем Яго,
Заманиг в самый чёрный бор
И там сразиг — прощай, отвага! —
Глагольной рифмою в упор.
Стих-океан, считай ракушки
И не сажай корвет на риф, —
И брось нитьё — товарищ Пушкин
Глагольных не чуждался рифм.

29 августа 2014 г., Route 22, West

* * *

Не различить в упор черты —
Сегодня, как вчера.
И всё же опечален ты —
Чернее вечера.
Так крикни в утра окаём,
Судьбу благодаря:
«Я здесь ещё, ещё живём!
Премьера сентября!»

1 сентября 2014 г., Pittsburgh

* * *

И опять в лесу осеннем
Можно встретиться с оленем,
Можно встретиться с оленем
На развилках тайных троп.
Пусть в садах ещё не скучно,
Небо синее бестучно,
Небо синее бестучно,
И в горшках гелиотроп.
Пусть как летом, недотроги,
Скачут белки без дороги,
Скачут белки без дороги
По ветвям со всех сторон. —
Но уже рассветы строги,
Но уже рассветы строги,
И уже видны ожоги
В изумрудных чашах крон.

2 сентября 2014 г., Johnstown

ВАРИАЦИЯ 11-58

Молчит душа. Молчит, хоть тресни.
А мир встревожен — жаждет песни,
И реки слёз текут со щёк. —
Но коль не я, то кто ещё?
Сражён высокою болезнью,
Твержу, мычу — болезнь лиха —
«А где мне взять такую песню»... —
.....
Гармонь, дырявые меха.

4 сентября 2014 г., Johnstown

* * *

Жизнь зарастает сорняками, —
Не огород, чтоб прополоть.
Наш дух, парящий с облаками, —
Но как к земле склоняет плоть!
Её чертёж несовершенный —
Источник тягостных годин,
И всё-таки во всей Вселенной —
Один.

5 сентября 2014 г., Route 22, West

* * *

Минули эти вечера
Кухонных споров и застолий,
А кажется ещё вчера
Мы вместе были в той неволе.
Теперь иное на уме,
Копи, считай, не бей баклуши... —
Иль это жизнь в полутюрьме
Так сладостно сближала души?

5 сентября 2014 г., Route 22, West

* * *

Дела обычные, простые,
На то и дан нам выходной.
А сожаления пустые
Присуши глупости одной.
Намёки, сложности отрину,
Пусть ими тешится Эзоп. —
Всесущий написал картину. —
Где я? — Возьмите микроскоп!

7 сентября 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-61

Гуси канадские, не перелётные,
Тучки небесные, вечные странницы, —
Все одинокие — люди, животные,
Мудрые, глупые, горькие пьяницы.
Имя своё забываешь и отчество,
Старостью мучаешь голову вьюжную,
Лишь одиночество, лишь одиночество
Тянется с севера в сторону южную.
Не повстречаться с уплывшими шансами,
Клячи плетутся дорожками хмурыми.
И разрывается сердце романсами —
Мчатся упряжки, гневные с каурыми.

10 сентября 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-62

И вот опять во всём реале
Прокрался в комнату рассвет. —
Вороны яростно оралы,
Хрипели: «В мире правды нет.

И в небесах злодейство — норма.
А Б-г? Так Он ведь глух и нем.
И просто не хватает корма,
Зима на клнове между тем».
А я? Да можно ль быть опальной,
Бессильней щепки на реке,
Когда Судьба висит над спальней,
В безумстве, с бритвою в руке.

10 сентября 2014 г., Route 22, West

ПРОЩАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ

Поклон тебе, мой верный конь,
Теперь ты без седла.
Погас в глазах твоих огонь,
Сгорела жизнь дотла.
Не оборвёшь покой вершин
На ледяной заре
Мотора рёвом, свистом шин
Во вьюжном январе.
Недель неумолима плеть,
Их натиск тих, но лих.
Теперь тебе летать и петть
В последних снах моих.

13 сентября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Наш полёт к заре из мрака,
Миг — в пропасть кувыром! —
.....
А машина, как собака, —
Умерла — и в сердце ком...

15 сентября 2014 г., Route 22, East

СОНЕТ

Петрарка, Дант, Буонаротти,
Туманной Англии Поэт —
В любого века развороте
Державно царствовал Сонет.
Строкой и сжатой, и просторной
Сонет нам сердце захватил.
Он затмевал высокой формой
Само сияние светил.
Бессонных Муз благоволенья —

Ликуй и плачь, пылай, дрожи
Сквозь беспредельное волнение,
Сквозь озарения души.

Пришла эпоха Интернета,
И ей нет дела до Сонета.

22 сентября 2014 г., Route 22, East

5774 — 5775

Пусть эта песня не нова,
Но снова юной возродилась —
Шана Това, Шана Това,
Да будет с нами Б-жья милость.
И в этом лучшем из миров,
Что с каждым вдохом всё чудесней,
Пусть будет Новый Год здоров,
И пусть для внуков станет песней.

24 сентября 2014 г., Эдул 29, 5774, Johnstown

* * *

Торжественно молчат леса,
Примолкла птичья лига.
Недвижны неба паруса, —
За облаками — Книга.

25 сентября 2014 г., Johnstown

* * *

Гремит броня, танкисты в блеске-лоске,
Скрип портупей, сияние наград.
Сегодня громкий праздник в Брест-Лиговске,
Двух вурдалаков праздничный парад.
Разгром, расстрел, грабёж страны-мишени,
Усатых монстров сбывшиеся сны. —
Гудериан в строю и Кривошеин,
Своей отчизны верные сыны.
Отчизна, что ж, найдёт тебя расплата,
И приговор составят без прикрас.

.....
Так повстречались в Бресте два солдата,
Судьба солдата выполнять приказ...

27 сентября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Над лесом туча-Арарат,
Держава гроз баллистья, —
Как я, вдыхает аромат —
Кружат, спиралют листья.
Не избежать ни ей, ни мне
Сих изумрудных чар. —
Сентябрь в своём последнем дне,
Грядёт октябрь-гончар.

30 сентября 2014 г., Johnstown

* * *

И снова ржавых листьев хруст —
Оркестр моих шагов.
И небосвод бездонно пуст
В просветах облаков.
От пользы снись отрешена
Верней могильных плит. —
Замри и ты, и тишина
Тебя вознаградит.

1 октября 2014 г., Johnstown

* * *

В кронах ветра вздохи, —
Кронам опустеть...
Птиц переполохи,
Траурная медь.
Птичьи склоки-розни,
Терпкая кора... —
Для раздумий поздних
Тихая пора...

2 октября 2014 г., Johnstown

* * *

Лесов холодные костры,
Октябрь — исполать!
Вода и вечность — две сестры —
Здесь встретились опять.
Но миг изменчив и летуч —
Не встретятся нигде —
Два каравана синих туч —
По небу и воде.

2 октября 2014 г., Shawnee Lake, PA

* * *

И снова осень — всё же дожил! —
Нахлынула волной, как стих,
И клёны, важные, как дожи,
В пурпурных мантиях своих,
Меня до празднеств допустили. —
И что за счастье, Б-же мой,
В едва приметной первой стыли,
Грозящей раннею зимой.

2 октября 2014 г., Shawnee Lake, PA

ЙОМ КИШПУР

Не различить дорожных вех,
Кругом дожди стеной,
Не попросить прощений всех
С такой моей виной.
Сегодня просто, напрямик,
Без вдохновенных «бы» —
Судьбою полон каждый миг,
Но не прочесть Судьбы.

3 октября 2014 г., 9 Tuupei 5775 г., Route 22, West

* * *

Листов чуть слышное круженье,
Уймись, сует галиматья! —
Пожар. Лесов самосожженье
Во всю окружность бытия.

16 октября 2014 г., Johnstown

РОМАНС

За стеной гитар настройка, —
Две гитары и в разнос. —
Оборвала упряжь тройка,
Кони-звери под откос!
Так погаснет образ нежный,
Пронесённый сквозь года.
Так к утру под пылью снежной
Мы исчезнем без следа.
Пусть зарёй зажгутся дали,
Нам лишь чёрные гонцы. —
Отсыяли, отswerкали,
Отзвенели бубенцы...

23 октября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Итак, расплата. *Voilà!*
Кругом заимодавцы.
Мы выдавали векселя,
Весёлые мерзавцы.
Так жили в долг мы, не скупясь,
И сладка жизнь, как сдоба.
Сказать: «Прости»? Прервалась связь
Ни звука из-за гроба.

23 октября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Дурак на дураке кругом,
Страшнее рожи рожа.
И жизнь на сумасшедший дом
Всё более похожа.

23 октября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Вцепился критик, как репей,
Прилип, как банный лист.
Бушуй, ругайся, свирепей,
Я перед Б-гом чист.
И пусть отравлена стрела, —
Мне сердце не пронзиг.
Я — автор, у меня — крыла,
Ты — просто паразит.

27 октября 2014 г., Route 22, East

* * *

Лес свои наряды сбросил,
Ветер кружит меж стволов.
Это чудо, это осень,
Петь её — не хватит слов.
Эти плавные бемоли,
Ведь диеза ёж колюч,
Умолкают поневоле,
Проводив последний луч.
Небо пасмурно и бурно,
Ветр безжалостен и прост.
Но грядёт пора ноктюрна,
Серенад полночных звёзд.

28 октября 2014 г., Johnstown

* * *

Окно в заре пылало ало,
И за ночь так похолодало,
Что впору шубу надевать. —
В рассветных сумерках кровать
Плыла, как океанский лайнер,
Не чая Ленгты голубой,
И отзывался миг любовью
Тем сном, который длился втайне. —
Что это было? Рим, Париж?
Меж тем светлели кромки крыш,
И затевали ссоры птицы.
Пора вставать. Листать страницы
Поблекшей памяти — вотще.
Вот Дама в чёрном и в плаще,
Поскольку дождь звенел в прогнозе.
Вот суета зовёт раба.
Ты слышал? Хрюкнула труба.

.....
Конец стихам. Раздолье прозе.

30 октября 2014 г., Johnstown

* * *

Бетон стремился под колёса,
Летели чёрные леса,
И жизнь была, как знак вопроса,
Под обороты колеса
Моей истории несложной. —
Не тешь себя надеждой ложной —
Любил, любим был, ну так что ж? —
Проходит всё, и ты пройдёшь.

31 октября 2014 г., Route 22, West

* * *

Небо переулка
Было утром гулко.
Птицы знали цель
И в весёлом ралли
Радостно ныряли
В переулка щель.
Лица, мётлы, шланги,
Радужный узор,
Звуки «Чунги-Чанги»,
Дворников дозор.

Золотая рыбка, —
Прочь, печаль, взащей!
Вот моя улыбка,
Просто до ушей.

8 ноября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Ноябрьский день был ярок
В осях аллеи и арок,
И были чёрны тени,
Неслыханно резки.
Дымились светом парки,
И окна были яркие,
Как царские подарки
Отсутствием тоски.
И обнимал я осень,
Как будто годы сбросил,
Не разучился вовсе
Смеяться и любить.
Как будто нет в вопросе,
Что Гамлет произносит
Ответа «Нет, не быть».

9 ноября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Искра ли, не искра —
Б-жия душа... —
Г-ди, как быстро —
Вздых, и жизнь прошла...

10 ноября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Собака лаяла и выла,
Зима подкрадывалась с тыла
И резко вдруг пошла ва-банк. —
Неудержимая, как танк,
Она покрыла снегом склоны,
Эскарпы бешеных холмов. —
Кругом затмение умов,
Заледенелые газоны...

13 ноября 2014 г., Johnstown

* * *

Откуда это всё взялось —
Неописуемая злость,
Её напор и половодье.
Бушует дикое отродье,
Проклятья оскверняют высь. —
.....
Ещё вчера людьми звались...

13 ноября 2014 г., Johnstown

* * *

На улице лёгкий морозец,
И солнцем весь свет обуян,
И город, корабль-броненосец,
Плывёт в голубой океан.
Спокойствие гордой лазури,
В ней нет ни друзей, ни врагов,
В ней средство от одури-дури
Вчерашних коварных снегов.
Конец безысходных терзаний,
Братание с пьяным лучом,
И слышится возглас тарзаний,
И кровь закипает ключом.

15 ноября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Сейчас бы совершить вояж
На самый захудалый пляж,
Послушать робина... —
.....
Зимой особенно.

19 ноября 2014 г., Johnstown

* * *

Наш род поехал головой,
Где Робинзоны, Пятницы? —
Мужчина — тряпкой половой,
А женщины — стервятницы.

19 ноября 2014 г., Johnstown

* * *

Какие разыгрались страсти!
Теперь отчаянно расти.
И демоны разверзли пасти,
И смерть собрала нас в горсти.
Кружит над полем ворон-птица,
Блестит под солнцем чернь пера. —
Ах, если б только возвратиться
В давно прошедшее вчера...

21 ноября 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-66

Мгновенья сладостный карат,
О, миг, зеница ока! —
Поскольку прошлого возврат
Страшней всего Хичхока.
Краснознамённый строй теней,
И марш бушует левый.
И снова я прощаюсь с ней —
Прицессой, королевой...

21 ноября 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-67

Мне изъясняться ни к чему —
Спиноза-Кант — не по уму,
Не по глазам Мане-Моне
И плюс пустое портмоне.
Иеремия стонет, плача:
Я весь сплошная неудача.

24 ноября 2014 г., Route 22, East

* * *

Опять закат. Всё та же сцена.
Тоска, хоть на утёсы лезь.
И не поможет Авиценна —
Неисцелимая болезнь!
Ужели возвращенье в детство
Приносит мне движенье лет
И наважденье самоедства —
Наискучнейшей из диет.

25 ноября 2014 г., Route 22, West

* * *

Мгновенный замедлялся бег,
Умолкло пгичье пенье,
И лишь неслышно падал снег
Метафорой забвенья.
Укутал крыши пышный плед,
В сугробе роз огарки. —
Метафорой ушедших лет
Скамей бесцелье в парке...

26 ноября 2014 г., Pittsburgh

* * *

По улицам затишье,
Задумчивость палат,
И лишь крадётся мышью
Варяжский гость «Фиат».
Автомашине-крошке
Не в масть ширь полосы,
Над ней смеются кошки,
И вслед не лают псы.
Мираж исчез, как не был,
По ветру горсть пшена,
И снова только небо,
И только тишина...

28 ноября 2014 г., Pittsburgh

ВАРИАЦИЯ 11-68

В расход города и веси,
Колёс перестук. —
Мерцало море в Одессе,
Совсем отбившись от рук.
И всё казалось загадкой,
Как Иисус на осле,
В эпохе кровавой и гадкой,
Замешанной густо на зле.

30 ноября 2014 г., Pittsburgh

* * *

Дождь, пронзительно холодный,
Ветер рыщет — волк голодный,
Не найти сейчас овцу
Даже лучшему ловцу,

Ну, а нам с тобою, серый,
Не дожидаться новой эры,
Не дожидаться, не дожить —
Всё равно, ты — не сыть, сыть...

5 декабря 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-70

Ах, если б только Рэм и Ромул
Познали счастье мирных формул,
Какой бы мир построил Рим! —
Но мы о правде говорим,
А правде, брат, не до абстракций,
Она сложенье многих акций,
В ней всё — мудрец, подлец, дебил,
И Каин Авеля убил.

5 декабря 2014 г., Route 22, West

ВАРИАЦИЯ 11-71

На перевал взлетаю в риск,
Мне просто нет пути назад.
И сразу Корсаков и Римский
Запели в сто Шехерезад.
Какой на перевале ветер!
Моргнѣшь — сметѣт ко всем чертям!
На вызов ветра я ответил,
Послав его *cherchez la femme*.
А тучи раздували жабры,
И вместо манны сыпал снег... —
Я пил вино абракадабры
И совершал автопробег.

12 декабря 2014 г., Route 22, West

* * *

Что ни минута, то распутье, —
Принять решение спешу.
Решений этих поминутье
Невыносимо для души.
Но выбор нам не предоставлен
Полегче выбирать из нош. —
Что из того, что мы устали? —
Иди, решай, пока живѣшь.

18 декабря 2014 г., Pittsburgh

* * *

Памяти А.Г. Драгалина

Доска, исчерченная мелом,
Раздумья непосильный груз. —
Была наука в чёрно-белом —
Цветных мелков не знал Союз.
Эмоций взрыв в разгаре спора:
«Постой, дружище, ну, постой,
Нельзя нести такого вздора
О бесконечности простой!» —
«Нет! Роковой коня Олега,
Она — неразличимый мрак!» —
«Ну, старина, хоть ты коллега,
Но, Г-ди, такой дурак!»
Вот так с утра и до обеда
Текла учёная беседа,
Пока не вспыхнул в споре брод:
«In vino veritas, вперёд!»

21 декабря 2014 г., Pittsburgh

* * *

И вот прощальный взмах рукой,
Платформа поплыла.
Мне риск езды, а им — покой
И ангелов крыла.
Гудок, отчаявшись, затих,
Мой мир не мир, музей.
Темно и пусто мне без них,
Любимых и друзей.

22 декабря 2014 г., Pittsburgh

* * *

Повествовать уместно в прозе,
Она для этого дана.
Её приму в микстурной дозе
И выпью медленно до дна.
Но проза всё ж корабль причаленный, —
В часы заката и безлунный
Я обнимаю стих нечаянный,
Внезапный, как гроза в июне.

22 декабря 2014 г., Pittsburgh

* * *

Всё ниже аэроплан.
Небо, прощай, счастливо!
Встал на дыбы океан,
Город залива.

24 декабря 2014 г., А-319, Pittsburgh — San Francisco

* * *

Вигийствовали вигии
Об Ангелах и о Вие,
Возвышены, раздражены.
Небесность и очумелось,
А мне одного хотелось —
Простой тишины.

24 декабря 2014 г., А-319, Pittsburgh — San Francisco

* * *

Океану дела нет
Пляж, лагуна, мыс ли. —
Ослепителен рассвет,
Безысходны мысли.
Небо в тучах-облаках,
Или голубое, —
Всё земное пена, прах,
Вечен гул прибора.

26 декабря 2014 г., San Francisco

* * *

Снов наваждение, исчезни!
Шорохи шин *piano*,
Шепоты океана,
Лишь в опрокинутой бездне
Рокот аэроплана...

26 декабря 2014 г., San Francisco

* * *

Ночной полёт. Огни внизу
Сменились чёрною пустыней.
На окнах выступает иней,
И жизнь как будто на весу,

Как будто на тончайшей нити.
Шепнёт Мефисто-шелапут:
«Я пошутил, уж извините»...

.....

И только ножницы сверкнул.

29 декабря 2014 г., B-737-800, San Francisco — Pittsburgh

НОВЫЙ ГОД

Всего лишь смена цифр,
Мгновений суховей?
Но не раскрыть нам шифр,
Не знать судьбы своей.
И с чем придёт она —
В огне иль в треске льдин? —
Так выпьем же до дна
За просто «плюс один».

31 декабря 2014 г., Pittsburgh



Дина Рубина

РУССКАЯ КАНАРЕЙКА

Отрывок из главы «Леон»,
четвертой главы первого тома — «Желтухин»

А пройдемтесь по фасаду...

...Ибо дом, где некогда в бельэтаже, в квартире с каминами, витражами и мраморной наядой в ванной, в уюте, задиристых перепалках, шумных застолях и музыкальных трудах проживало известное в городе семейство; дом, чей парадный вход обрамляли колонны, прежде белые, а ныне облупленные и испещренные похабными рисунками и словесами; дом с флигелем в глубине мощенного камешками двора, со старинной цистерной для воды и водяной колонкой, — дом этот стал неузнаваем.

Он похож на потрепанный штормами и выброшенный на сушу бриг.

В своих ободранных стенах он укрывает потерянных и все потерявших, побитых и обугленных войной, ничем, кроме обид и бед между собой не связанных людей.

В каждой семье было свое горе, свои убитые, расстрелянные, пропавшие без вести, сидевшие по лагерям.

Тут жили бабки, пережившие оккупацию, семьи, бежавшие из окрестных сел от голода; вернувшиеся из эвакуации одесситы.

Они оседали всюду, куда удавалось поставить ногу, в самых неожиданных и не приспособленных для обитания человека местах. Сарайчики и всевозможные подсобки считались очень приличным жильем. Подвалы шли за полноценную квартиру; за полуподвал могли убить. Зашивались досками подлестничные пространства — там можно было бросить на пол матрац и поставить табуретку с примусом. Отгораживалась часть лестничной клетки — лишь бы поместилась койка и все тот же примус или чадающий керогаз...

Так что, пройдемтесь по фасаду, ознакомимся бегло с кое-каким населением...

И начнем, пожалуй, с управдома Якова Батракова.

Тощий, но с брюшком, большеголовый, но с тонкой кадыкастой шеей, все свободное от пьянства время он либо читал (был записан в пяти районных библиотеках), либо трепетно ухаживал за цветами в игрушечном — метр на полтора — палисаднике. Когда бывал трезвым, обходил владения, поглядывая, подправляя недочеты, настигая и наказывая нарушителей порядка.

— Стоять, вашу мать! — это на мальчишек, застигнутых за кропотливым искусством на многострадальных колоннах подъезда.

— Эт что за пыр-на-графья!!! Я вам дам прост-ра-ции!!!

Налимонившись, становился необычайно отважен и дерзок, и тогда непременно выступал с *выходной арией* — «*жиды обсели!*».

И главной мишенью управдома оказался хирург Юлий Михайлович Комиссаров.

Напившись, управдом выходил в центр двора, под окна Комиссарова, крайне редко бывавшего дома, и дурным дискантом заводит:

— Комиссар, выходи-и! *Зухтер* нападение на караульное помеще-ение!!!
Кай Юлий Циммерман, выходи-и! Я те дам прост-ра-ции!

И за тюлевыми занавесями всплывали и колыхались, как утопленные, бледные лица жены и дочери хирурга. Наконец, однажды, разбуженный после двойного дежурства, вечно недосыпавший Юлий Михайлович — толстый, волосатый, взлохмаченный и больше похожий на забойщика с мясокомбината, чем на овеянного городской славой хирурга, — вылетел к Батракову, в ярости размахивая огромным Стешиным тесаком для рубки мяса (что на кухне подвернулось), — и минут десять гонял управдома по двору, рыча:

— Р-р-распорю и не зашью...!

После чего целую неделю трезвый Батраков мирно окапывал ноготки-маргаритки в своем палисаднике, и в сетчатой авоське таскал из библиотеки тома Сухово-Кобылина и Мамина-Сибиряка.

Впрочем, уже через неделю жильцы не без удовольствия прислушивались к очередной арии управдома, одобрительно отмечая в ней новые фиоритуры:

— Гай Юлий Циммерман! Эт что за пыр-на-графья!!! *Зухтер* штык наперевес, я дам те прострации!!!

Что касается бывшей квартиры Этингеров, она оказалась бездонной и безразмерной. Она делилась, как инфузория-туфелька под микроскопом. И столкнувшись с незнакомым субъектом в длинном коридоре, увешанном оцинкованными лоханями, тазами и стиральными досками, никогда нельзя было знать — гость это, новый жилец или просто *интересный чудак*, перепутавший этажи или номер квартиры.

Не видим резона перечислять полный список квартиросъемщиков, тем паче, что они то и дело менялись, то умирая, то размениваясь, то съезжаясь с родней, а чаще с ней разъезжаясь... Упомянуть, пожалуй, стоит лишь о двух-трех штучных персонажах, из тех, что мелькнут еще разок-другой в нашем кино.

И самыми колоритными из них были:

Тетя Паша с пышной белой бородой, ростом чуть выше стула. Занимала она чулан в кухне, который ныне тоже считался полноценной комнатой.

Тетя Паша была сновидицей (у каждого своя профессия), — она во сне видала покойников. И свежих, и застарелых покойников, которым всегда есть что сказать живым, — за деньги, разумеется. И они говорили: давали указания *за наследство*, мирили передравшихся на поминках детей, советовали — на ком стоит жениться, а кто — бросовый товар... Вся округа *знала за Пашиин удивительный дар*, и бывало, на другое утро после похорон к ней уже стучалась вдова с отекившим от слез лицом, вчера узнавшая о существовании *другой вдовы* своего покойного мужа, или понурый вдовец с какими-то бытовыми вопросами, типа — не скажет ли дорогая покойная Клавдия, куда она заговала облигации последнего займа, курва, що всю комнату он раскардашил, и без толку.

И тетя Паша, как правило, уже держала наготове нужный ответ.

«Все покойники ходят через меня!» — Говорила она со сдержанной гордостью...

Далее просто *идем по жильцам*: дядя Юра Кудыкин — бывший борец и налетчик, бывший моряк и ветеран двух войн, бывший мороженщик и эзк, а ныне рабочий сцены в Театре Юного Зрителя на Греческой, — кристальной чистоты человек, душа общества, гениальный механик и злостный блядун...и нет таких прекрасных слов, какие нельзя было бы о дяде Юре сказать, и мы еще многое о нем скажем.

Затем — *Инвалидсёма*, мастер по ремонту швейных машинок, — всегда в полосатой пижаме и сетчатой шляпе, в сандали на одной ноге (вторая нога — в толстом вязаном носке из козьей шерсти перехвачена бинтом, и потому похожа на бревно вареной колбасы). Считалось, что ходит он на костылях, но он, скорее, летал на них: делал три быстрых шажка, костыли взлетали по бокам — расступись, прохожий! — и лишь четвертый шаг поддерживал костылями, наваливаясь и обвиняя на них всем телом: «Ой, эта болезнь у меня столько здоровье отняла!».

...И, наконец, Любочка, — ныне старушка, а прежде — ого-го! ...

У Любочки биография хвостатой кометы, и ей-же богу, стоит на нее отвлечься, не пожалесте, ибо в шестнадцать годков эта гимназистка забеременела от антрепренера одесского театра и бежала с ним из дому, успев на пересадке в Киеве торопливо избавиться от груза чрева своего, после чего, к счастью (это она всегда подчеркивала благодарным голосом), детей у нее быть уже не могло.

«Основное различие между мной и католической церковью, — говорила Любочка, — в том, что она верит в непорочное зачатие, а я верую в порочное зачатие. Причем, я верую крепко и деятельно, а она — кое-как»...

Кстати, антрепренер крутился в ее орбите всю жизнь, несмотря на многочисленные ее замужества, возникая в самые трогательные и судьбоносные моменты жизни.

«Я сменила пятерых мужей, но любовник у меня всю жизнь был один!» — любила повторять Любочка.

Словом, примчавшись из Киева в Петербург *уже налегке* (во всех смыслах, ибо по пути потеряла и своего антрепренера), Любочка сняла комнату в пансионе «Летний сад», где жили еще две сестры из Витебска, обе социалки, и некий молодой инженер, направлявшийся на работу в Аргентину, но застрявший в пансионе, едва его восхищенный взгляд нащупал задронные прелести недавней гимназистки.

Это было утонченное общество...

На второй день начитанная Любочка послала телеграмму в Баденвейлер, Чехову, и вскоре получила ответ от хозяина пансиона: «Жилец выбыл неизвестном направлении» — что, в общем, нельзя считать абсолютной ложью.

Молодой инженер увез ее в Аргентину, где тщетно пытался создать с Любочкой хоть какую-то видимость семьи, но не преуспел и, в конце концов, бывшая гимназистка написала все тому же антрепренеру покаянное письмо, с призывом о спасении. Тот ответил ей телеграммой: «*Люба вернитесь здесь скоро будет лучше*». Телеграмма датирована сентябрем 1917 года и послана из Москвы.

Она примчалась...

И угодила в стихию, в смерч, тайфун истории, в сердце коего, как принято считать, порхают бабочки, и уютно там обустроилась: вышла замуж за заместителя наркома тяжелой промышленности.

Преданный партии человек, замнаркома, к первой же годовщине свадьбы подарил Любе красную косынку и партбилет, который никогда не пригодился. А

вот что таки пригосилось — это пятикомнатная квартира в Столешниковом, оставленная ей мужем после развода.

Любочка травилась головками спичек, предусмотрительно запивая их молоком.

Очнулась она в объятиях известного дрессировщика...

Словом, была Любочка феерически беспечна и легка, всерьез ни во что не вникала. Никогда в жизни нигде не работала, вначале — как жена замнаркома, потом по привычке. Подружки, портнихи, косметички, мозолистки, маникюрши... Не оставалось денег на жизнь, продавалась комната. Когда все комнаты, кроме ее спальни и чулана за кухней, были проданы и деньги пущены на ветер, в ход пошли камешки и чернобурка, после чего много лет расставлялись ширмы и сдавались койки.

На худой конец, возникал новый мужчина...

Как-то так выходило, что была она знакома со всеми, все про всех знала, знаменитостей не признавала, кумиры толпы в ее устах обращались в пыль:

— Леонид Утесов? — Спрашивала она. — В смысле, Ленька Вайсбейн? Он дальше всех на улице плевал сквозь зубы. Начинал в Зеленом театре. Вот город был! Вот была настоящая демократия! Любый фармазон мог прийти, и сказать: «Хочу исполнить!».

— «Пожалуйста, исполняй!»... Но Ленька Вайсбейн — небрежно добавляла она, — известен был тем, что дальше всех плевался.

Красивой она даже в юности не была — очень веснушчата, и нос как-то неудачно вмонтирован меж близко посаженными глазами. Но дьявольское обаяние окутывало ее недурную фигурку таким плотным облаком, что разглядеть веснушки или нос мужины просто не успевали.

— Я никогда не была хороша собой, — частенько повторяла она не без кокетства, — поэтому, если уж мужина застревал в моих сетях, я старалась, чтоб, пока он поднимается по лестнице, из квартиры доносился запах свежесваренного кофе.

Любочке было под шестьдесят, когда подруга пригласила ее на свадьбу дочери. Она явилась, оглядела многолюдное застолье... — глазу не на ком было отдохнуть! Разве что жених... он был оч-ч-чень неплох: располагающая улыбка, смешливые глаза...

Часа через три она ушла со свадьбы. С женихом. Потом клялась, что не хотела, так само вышло. Этот жених, одессит по рождению и прописке, стал ее последним мужем, и с ним-то она вернулась в родной город с явным облегчением, — тем более что верного антрепренера — друга, любовника, надежной опоры на всех выражах непростой ее женской судьбы, на свете уже не было.

Ян, новый и последний ее муж, оказался очаровательным человеком: добрым, легким и очень остроумным, — типичным одесским «хохмачом».

Соседи Яна любили и уважали, и потому его внезапная смерть потрясла всех. Он был младше Любочки лет на двадцать пять, и любой скандал, который сама же затевала и сама успокаивала, та начинала словами: «Вот когда ты закроешь мне очи!»...

Яна кремировали, и поскольку у Любочки все не доходило руки забрать его прах, дядя Юра Кудыкин сам съездил в крематорий куда-то за поселок Таирова, привез и вручил вдове красивую урну; после чего все соседи стали готовиться и чистить обувь: похороны и поминки по Яну могли стать большим культурным событием двора. Но шли недели и месяцы, а потом уже и годы... Не помогали даже

сновидения тети Паши, в которых Ян слал Любочке убедительные, и уже отнюдь не остроумные просьбы — упокоить, наконец, его прах, а заодно прикупить земельки для собственной могилы.

Все улетало прочь, не задевая легкой ее головы...

Пузатенькая урна с прахом смешливого Яна так и осталась стоять у Любочки на изящном круглом столике у окна, составляя — надо отдать должное ее вкусу — интересный ансамбль. И все вокруг договорились *уже не трогать* вдову с ее большим и красивым горем.

Вечерами, когда хозяйки стряпали *харчна завтра*, вся кухня сияла огнями наподобие бальной залы: у каждого жильца был свой счетчик и своя лампочка над столом, и никто не хотел *одалживаться* у соседей электричеством. Когда за окнами темнело, и прожекторный свет заливал кухню, — открывалась дверь, и в помещенье медленно вливала «Баушка Матвевна», — кроткая старушка, занимавшая пять метров, выгороженных от бывшей ванной комнаты Этингеров. Это были пять темных метров без единой щели света, с какой-то роковой технической невозможностью провести туда электричество, и потому день и ночь озаряемых огоньком двух-трех свечей. Дядя Юра Кудыкин, впрочем, уверял, что электричество в логово «Баушки Матвевны» провести, *как два пальца обоссать*, и даже сам он берется это сделать, просто та тратиться не хочет: старушка, говорил он, «скупа, как рыцарь». (И правда: стоило кому-то из детей подбежать к ней с задорным воплем: «Баушка Матвевна, дай конфетку!» — та добродушно отзывалась: «Говна тобі!»).

Итак, старушка вливалась в ослепительное и ослепляющее пространство коммунальной кухни, ковшиком ладони прикрывая огонь своей гордой пенсионерской свечи: она тоже не желала *одалживаться светом* у соседей...

...Но идемте же, идемте дальше по фасаду, и — если считать по окнам, — то небольшое, но главное по красоте витражное окно (в прошлом ванной комнаты), по-прежнему принадлежит Лиде, бывшей «девочке» из заведения напротив, ныне ядреной и бодрой старухе, исправно метущей Потемкинскую лестницу.

Она по-прежнему намывает на Пасху окно, стоя на подоконнике и до последней капли отжимая тряпку цепкими руками душителя.

— У нас бога нет, кроме Ленина! — Вызывающе кричит вниз, во двор. Лидя варит самогон, и чтобы не привлекать чужого внимания звоном бутылок (окна-то открыты), разливает свое зелье в медицинские грелки — удобно и практично, особенно для докеров, ее клиентов; те легко проносят грелки на территорию порта. Однажды один из них, откупорив Лидин контейнер, жажнул стаканчик, шумно выдохнул и произнес фразу, ставшую в квартире исторической: «Как галошей закусил!» — в новой грелке самогон приобретал пикантный резиновый привкус.

Владку из Заполярья в Одессу привезла сослуживица ее матери, которая очень кстати собралась отдохнуть-подлечиться в одном из одесских санаториев. Так что, Стеша лишь подъехала на троллейбусе к вокзалу, где милая женщина с явным облегчением и вымученной улыбкой сгрузила девочку в жаркие Стешины объятия: «у вас такая активная внучка!».

В первый же день, когда накормленная, выкупанная в тазу на кухне, пе-реодетая в новое желтое, в черный горох, платьице «с фонариками», Владка, как примерная «доця», была выпущена *на люди*, она успела:

украсть у Любочки кольцо с гранатом и подарить его на улице айсору — точильщику ножей и ножниц; рассказать управдому Батракову, что ее папа зарубил топором, разрезал на кусочки и закопал в вечную мерзлоту соседа дядю Борю («а если не верите, дядя, можно откопать и посмотреть — у нас с мертвецами ничо не случается, они как новенькие лежат!»);

перезнакомиться со всеми во дворе, подговорить дворовую ребятню сбе-гать в порт, протыриться на корабль и «сплавать до куда-нить», а когда сие наме-рение было, слава богу, предотвращено подзатыльниками охранника в проходной порта, предложила заменить плавание на трехдневный поход в катакомбы, и хо-рошо дядя Юра, проходя по двору, обратил внимание на подозрительно вдохновен-ные физиономии у всей компашки, готовой выдвинуться в путь, подверг искателей приключений суровому допросу и для острастки накомстылял по шее каждому — на всякий случай.

Короче, *эта* оказалась явно из Этингеров, — по количеству вырабатывае-мой в минуту энергии.

Все, что она делала или говорила, хотелось немедленно переделать и пе-реговорить.

Каждое ее слово было лишнее.

За каждую вторую фразу ее хотелось прибить.

Воспитанию, которым объяли ее две любвеобильные старухи, Владка не поддавалась ни в малейшей степени, будто внутри у нее сидел маленький осатане-лый тайфун, просыпавшийся именно в тот момент, когда более всего событиям и обстоятельствам требовались вдумчивая тишина, осторожность и внимание к каж-дому слову.

С самого детства ее распирала такая радость жизни, такое несокрушимое ожидание ежеминутных чудес, с которыми обыденность конкурировать не могла. Этот стусок энергии уравнивался диким, необъяснимым и беспричинным враньем, враньем *не за ради чего*, просто так, без цели. Это было чистое творчество без претензий на гонорар, густая и красочная живопись сочиненного мира, который она вылепливала щедрыми ритмичными мазками. Да: этот, неизвестно откуда взяв-шийся в девочке врожденный ораторский дар — способность к ритмической речи, — вспыхивал и срабатывал в самые неожиданные моменты самым непредсказуе-мым образом («Хорошая девочка, только в ней три мотора»).

Очень скоро Стеша с Барышней ощутили полное бессилие в вопросе обуз-дания и хоть какого-то управления этим мощным рыжим турбогенератором, а Ба-рышня — та даже с удовольствием наблюдала, как проводив до дверей учитель-ницу, в очередной раз нагрянувшую со скорбной вестью о состоянии Владкиной успеваемости, девчонка врывается в комнату с победным кличем, будто минуту назад разгромила вражеское войско:

— Не слушать Муфту!

Подлая свинья!

Она все врет, чтобы ей было пусто!!!

Я написала на контрольной все...

— ...но выросла капуста, — подсказывала рифму Барышня и, чиркая спичкой, оборачивалась к Стеше: — Иди купи этому трибуну-главарю авиабилет в

Норильск на восьмое число, ее все равно выгонят из школы. А в условиях Заполярья такие мужественные и правдивые люди очень востребованы...

Владка на секунду замирала, приоткрыв рот и заворожено глядя, как дым папиросы сизыми слоями окутывает морщинистое лицо Барышни, после чего спокойно интересовалась у туманного кочана капусты:

— Почему на восьмое...?

Она с горячим энтузиазмом ходила на парады со всем двором: воздушные шары, транспаранты, бумажные цветы и под конец дня — воодушевленные праздничные драки — вот та любимейшая среда, в которой она чувствовала себя своей до доньшка... На ее кудрявую голову Стеша в детстве прикалывала украинский веночек, и Владка давила *гопак* весь день до вечера, пока веночек не сбивался и не повисал на ухе... Обожала огромные компании, любые дружные затеи, игры и *полезные дела на благо родины*; всегда с радостной готовностью выходила на школьные субботники и с упоением сажала деревья.

Когда в мае возвращалась китобойная флотилия «Советская Украина», Владка с толпой соседских ребят бежала ее встречать, и *проканывала* на причал, и весело толкалась среди нарядных моряцких жен и детей, крутясь под ногами потных и красных, с барабанными щеками духовиков, вопя и размахивая алым галстуком, когда серо-белая громада корабля-матки (вон-вон там, на палубе разделявают огромных китов!) — выросла, заслоняя море и небо, и медленно швартовалась, как самый огромный кит, утробно подавая приветственные гудки, — а за ней проходила Воронцовский маяк вереница маленьких — по сравнению с китобойцем — судов-охотников, и огненный драконий глаз маяка жарко попыхивал им вслед...

Она производила впечатление гаубицы: пулеметная речь, бешеный напор рифмованных строк, мгновенная реакция в разговоре на любую тему: она отстреливалась подходящим «случаем из жизни», от которого собеседники *челюсти на пол роняли*, и неслась дальше, перескакивая через все препятствия. Это был коверный в идеальном воплощении.

Цирковое училище рыдало по ней горячими слезами.

Как это ни смешно и странно, школу она закончила: вытянула все та же общественная работа, некогда увенчавшая Ирусю, ее отличницу-мать, добавочными лаврами, а в случае Владки оказавшаяся спасательным кругом, буксиром, что с натугой тащил ее из класса в класс... Так что, школу она все же закончила. Аттестат выглядел жалко, но уж какой есть, надо радоваться, говорила Барышня, что она вообще научилась грамоте.

А вот это был уже обидный выпад со стороны жестокой старухи! Ведь вдобавок к ежеминутному выхлесту идей *по теме* и мгновенному их воплощению в стихах (что особо ценилось в срочных случаях посещения школы разными комиссиями), Владка еще и неплохо рисовала в стиле «а вот заделаем карикатурку к юбилею завуча».

Это были беззлобные и бесхитростные рисунки, обычно снабженные столь же простеньким четверостишием.

Вот типичный образец ее жизнерадостного творчества:

— Директор орден получил! Разве это плохо?!

Чтоб он двести лет прожил и шел с нами в ногу!

И жена чтоб рядом шла, чтоб выросли детки

Под кипучие дела нашей пятилетки!

Мгновенной готовностью *исполнить* Владка напоминала пляжных художников, безотказно вырезающих маникюрными ножничками из листа бумаги профили желающих курортников.

Между тем, годам к шестнадцати это была невозможная красotka такой неотразимой рдянной масти, с такими бесстыжими *кружовенными* глазами, с зефирной кожей, которую нестерпимо хотелось лизнуть, что Стеша то и дело порывалась сделать Ирусе «категорический звонок»: ну, как старухи могли совладать с этой юной кобылицей, беспредельно свободной в любых своих намерениях?

Сейчас уже трудно вспомнить во всех подробностях, каким ветром Владку задуло в художественный мир, как она попала в мастерские и как решилась — все же времена были не то, чтоб пуриганские, но аккуратнее, чем ныне, — позировать гольшом.

Сначала просто согласилась «постоять» для подружки Соньки, студентки художественного училища. И та за несколько сеансов (стоять неподвижно для Владки было хуже казни египетской!) замастырила шикарное «ню». На экзаменационной развеске даже педагоги интересовались, — где она раздобыла такую великолепную модель?

И не сказать, чтоб Владка была как-то особенно хрупка или воздушна — нет, была она, как говорят в Одессе, «кормленная»; и не сказать, чтоб уж ноги какой-то сногшибательной длины... (у одесситок вообще отродясь не было длинных ног; маленькие изящные ступни — были, маленькие ручки — были, ...а длинные ноги... — это ж некрасиво!).

Спустя дней пять Владку разыскал известный скульптор Матусевич, принялся уговаривать *поработать*: у него в полном застое и пыли пребывала скульптура «Юность мятежная».

— А я вам буду платить, моя радость, — сказал он. — Шарфик купиге, шмучочки, конфетки-грильяж. И дело благородное, и красоту вашу увековечим...

Владку же, само собой, прельстили не деньги и не смешное перечисление дурацких шарфиков-конфеток, а вот это солидное и уважительное «мы»: *поработаем, увековечим красоту*, — словно в создании произведения искусства он приглашал и ее, Владку, принять деятельное участие.

Она согласилась, хотя совсем не представляла, как это станет завтра снимать лифчик перед чужим дядькой — не врачом. Оказалось, ни перед кем ничего снимать не нужно: вот тебе ширма, из-за которой ты выходишь...нет, *восходишь* (три ступени вели на деревянный подиум типа эстрадки в каком-нибудь кафе-шантане), *восходишь*, как луна, и прямиком — на небосклон искусства. И вроде даже не голая, а *обнаженная*, а это слово обволакивает тебя, как *непелосом*, высоким художественным смыслом, так что, и стесняться и жаться нечего.

Тут заодно и выяснилось, что Владке совершенно «по фигу» — одетая она, или нет. Держалась она с такой непринужденной доверчивой негой, точно была потомственной натурщицей, отпозировавшей двум поколениям обитателей знаменитого «Улея» на Монпарнасе. И хотя с трудом удерживала неподвижность в течение нескольких минут, а потом каждые четверть часа ныла и требовала перерыва «на чаёчек», творцы передавали ее из рук в руки ради вот этого момента полного паралича ваятеля или живописца, когда, обнаженная, она выходила из-за ширмы, бездумно двигая неподражаемо составленными природой членами, и вос-

ходя на помост, была просто — римлянка, не замечающая рабов... А другие — те, кому она не досталась, — ходили смотреть и восхищенно цокали языками и качали головами.

Что у этой дуры было потрясающим, завораживающим — грудь. Античной красоты и формы, классических пропорций. Так что скульптор Маруся Мирецкая, которой позже повезло получить заказ на реставрацию кариатид в исторических зданиях центра города, форму их грудей восстанавливала по Владкиным умопомрачительным сиськам.

Впоследствии, когда у Владки спрашивали — что она оставила на родине, та глупо и утомительно мелко перечисляла все вещи, выброшенные из тюков лютой таможеней в Чопе, после чего добавляла: «и штук пятнадцать грудей на кариатидах», — по своему обыкновению, даже не в силах округлить умозрительное количество до четного числа.

Пестрая и разной степени трезвости компания, в которую угодила Владка, именовалась художественной средой, и как в любой живой среде, в ней водились, творили, выпивали, мучались вопросами бытия и искусства разные сложные, и по-проще организмы. Среди них были и признанные художники, члены творческого союза, хозяева мастерских, участники официальных выставок и привычные насельники домов творчества. Но были и другие, кто называл себя «нюнконформистами» — за отказ участвовать в советском официозе и потрафлять партийным нормам советского искусства.

Все это была публика колоритная, и судьбами, и пристрастиями, а часто и обликом.

За одним тянулся шлейф семижёнства — и все жёны дружили меж собой, обожая своего *единственного*, в четырнадцать рук вывязывая ему свитера и фуфайки. Другой в бухгалтерию Союза художников являлся исключительно со старым слепым ястребом на руке. Тот сидел, вцепившись в хозяина и сдержанно булькал, наводя ужас на бюрократов.

Тот же Матусевич, когда выходил из запоя в завязку, был интеллигентен, эмоционально рассуждал о том, как важна оппозиция «мертвенной атмосфере застоя», убедительно доказывал, что талантливый и честный человек «не может творить в духоте советской тюремной камеры». Несколько экземпляров его рукописного трактата «Апофеоз тупика» постоянно циркулировали среди понимающих и доверенных людей.

Если же Матусевича закручивал стихийный вихрь протеста, а батарея бутылок под окном пугала даже коллег-художников, то все речи о тупике духовности он заканчивал обычно тем, что мочился в умывальник, непринужденно сопровождая тугой звук струи прочими духовыми эффектами, удовлетворенно при этом поясняя:

— А ссыки без пердыки — шо свадьба без музы́ки!

Владка упивалась своей причастностью к искусству... А художники ее любили за легкость характера и «безотказный свист»: пригласить в компанию Владку было все равно, что повесить над окном клетку с канарейкой — гарантия, что гости не заскучают.

— «Что такое старость?! — Выкрикивала она поверх хмельного застольного шума. — Это когда уже не получается мыть ноги в умывальнике!» — И первая заливалась таким искристым смехом, что не отозваться на него было невозможно...

Она, как Онегин, помнила все городские анекдоты, скабрзные и забавные случаи если не «от Ромула до наших дней», то уж за последние лет десять точно. Правда, лепила все подряд: — «Серп и молот — ритуальные предметы для обрезания!» — «Ну, серп — понятно, а молот — для чего?» — «Для наркоза!»... — успех зависел от степени алкогольного оживления компании...

(А выпить в Одессе было всегда: рядом Молдавия, с ее винами-коньяками и с «Негру де Пуркаль», поставляемым когда-то к столу английской королевы; Одесский завод шампанских вин: полусладкое, сладкое и мускатное... А настоек из фруктов, а знакомые деды из пригородов, что привозили вино канистрами! Ну, а сухим «Рислингом» так просто мыли руки в холеру летом семидесятого).

Почему Владка, с ее феноменальной безбашенностью и легкостью в знакомствах не забеременела от кого угодно из художников, боготворящих эти сочленения прекрасной плоти? От какого-нибудь поэта из литобъединения, от любого из сотен знакомых ей мужчин? От *белого* иностранного студента, наконец, — от какого-нибудь чеха, немца или югослава...

Могла бы, конечно могла — в легкости своей, в хорошем расположении духа, особенно после выпитой бутылки полусладкого вина в интересной компании... — да мало ли!

Но Владка была, как ни дико это звучит, абсолютно целомудренна. Весь жар и грохот ее куда-то несущейся крови, тревога и волнение готовой взорваться сердечной чакры, весь мощный ход парадно выстроенных и устремленных в космос гормонов... — короче, весь яростный пафос ее созревшего и постоянно рифмующего тела, — все ушло в гудок. Очень громкий, практически безостановочный, утомительный для близких и невыносимый для случайных пассажиров гудок. Она была похожа на музыкальный ящик в трактире, куда бросаешь мелочь, и он играет, играет, пока не захлебнется...

Понятно, что на ее любовь претендовали многие, иногда даже покушались: «Я избила его носками!» — и на недоуменно поднятую Барышней бровь: — «Они были твердыми!»...

Иногда из сочувствия к страдальцам она позволяла себя трогать и даже страстно ошупывать...от чего постоянно возникали недоразумения между нею и тем, кто ее великодушие неправильно понимал. Короче, все это не имело никакого отношения к... как бы это выразиться поточнее: к эротике? сексу? — обидно, что в русском языке нет почтенного слова, обозначающее это вековечное и увлекательное занятие... которое, видимо, Владку все же не слишком увлекало, если такая дикая красotka бродила по Одессе нераскупоренной.

— Зачем ты побила старичка? — Пыталась понять Барышня, когда после очередного скандала Владка возникала в дверях квартиры в сопровождении милиционера (те слишком часто вызывались «сопроводить» ее «к месту прописки», и затем, бывало, еще не раз навевались осведомиться — все ли в порядке и нет ли каких жалоб на нее от соседей). — Зачем? Он музыковед, профессор, приличный

семейный человек... — и выслушав пулеметную ленту оправданий, вранья, опять оправданий, да все в рифму, да очень громко, уточняла: — Тогда зачем позволять себя лапать? Ты понимаешь, идиотка, что существует логика отношений? Если у тебя нет намерения отдаться старому крокодилу, то к чему допускать все эти незаконченные увертюры?!

— Он был красивым и потным! — Пускалась Владка в свой сивилий крик. — Он чуть не сдох!!! У него тряслись руки, и на плешь выпадала роса!

Милиционер (обычно это были бывшие сельские мальчишки), глядел на Владку со смесью священного ужаса и циркового восторга, тем более что подконвойные монологи всегда заканчивались ее благодатными слезами:

— И мне его стало безумно ща-а-алко!

...словом, к великому нашему огорчению следует признать, что у Владки была атрофирована некая душевная мышца, та сокровенная секреция, что производит мускус любовной страсти, который, в свою очередь, источает аромат томления плоти и отвечает за позыв к продолжению рода. Так что, продолжения рода вполне могло и не случиться, и *последний по времени Этингер* вполне мог и не появиться на свет...

О своей беременности Владка узнала слишком поздно. Вот уж кто никогда не прислушивался к жизни собственного тела. Никогда она не вела подсчетов, не закрашивала красной ручкой три квадратика в каком-нибудь бабском календаре. Вообще об этом не думала, — может, потому, что была очень здоровой, и никаких недомоганий никогда не ощущала. Владка вообще была, как летучий голландец, не подвластный штормам...

Поэтому ее несколько озадачила оживленная жизнь в глубине собственного организма, толкучая брыкливая жизнь, к которой, в конце концов, она была вынуждена прислушаться.

...Когда кинулись разыскивать чернявого парнишку, выяснилось, что никаких концов и в помине нет, что эта дурында не знает ничего: ни в каком учебном заведении обретался, ни из какой страны прибыл и в какую отбыл, ни, тем паче, его фамилии басурманской. Кругом-бегом ничего, как в худших сентиментальных фильмах. Да и зачем, говоря откровенно, его искать, эту незначительную личность?

— Ну, просто — «Бедная Лиза», — сказала на это Барышня. — Одна надежда, что топиться не побежит и даже глазом не моргнет.

Это была сушая правда: Владка не притихла и бега не притормозила.

Однако упаковать это событие для такой обширной аудитории, как *вся Одесса*, да и просто *наш двор*, — оно как-то требовалось. Как?

В квартире проживал только один специалист по непорочному зачатию: Любочка.

Она уже еле жила — древняя, скрюченная артритом, как ветка платана, что скреблась в ее окошко. И что хуже всего — почти глухая. А посоветоваться Стеша желала втихую: дело было такое, что орать-то незачем. Потому, прихватив листок из тетради и карандаш — ну прям-таки сходка двух шпионов! — Стеша поздно вечером постучалась к ней в комнату.

Оглошшая Любочка, впрочем, отлично все поняла — то ли по губам научилась, то ли тема была уж такая захватывающая, то ли собственный опыт помог

все понять. Разговор Стеша вела осторожно, будто нащупывала каждое слово легкими шажками, хотя сама в то время уже ходила с трудом, правда, еще без палочки.

— Владка беременна, — сказала она, глядя Любочке прямо в слезящиеся, некогда яркие, а ныне тускло-серые глаза. Выждала паузу, убедилась, что событие понято однозначно, и продолжала: — Представляешь, она была в бане и...не туда села. В этих кабинках, знаешь, кто ток не моется, а дезинфицируют хаптурно. Ну, и...

— Степанида... — перебила ее Любочка. — Не советую эту версию. Люди, все же, не идиоты... Не стоит дурить им головы.

Стеша подумала и сказала: — Ладно. Я выясню...

Назавтра постучалась опять, тяжело опустилась в кресло у окна, собралась с духом и проговорила:

— Я выяснила. Она шла по улице, на нее напали трое бандитов, затащили в подвал и изнасиловали. Она еле припшлась на работу и не помнит, — как досидела до конца рабочего дня.

Любочка помолчала, вздохнула...

— Стеша! — Сказала она. — Все же надо еще подумать. Эта версия мне тоже как-то не глянется. Она и никому не понравится.

Стеша прикинула и сказала:

— Правильно, золотая твоя голова! Ладно. Я выясню.

На другой день она выглядела более уверенной: так школьник, которому подсказали решение задачи, призывно тянет руку, потряхивает ею и даже слегка подпрыгивает на скамье, молча и страстно умоляя учителя вызвать его к доске.

— Я выяснила! — Объявила Стеша, почти ликуя. — Он погиб в Афганистане.

— О! — Сказала Любочка. — Это то, что нам надо. Афганистан — это хорошо.

Тут следует пояснить, какими тропинками женщины добрели до Афганистана, как возникла эта идея, как родилось полузапретное слово, страшно мерзавшее в советском воздухе того времени...

Просто, Стеша оплакивала Владку, практически не переставая, не выходя в кухню, не готовя даже обеда, что вообще-то означало — крушение мира... Когда появлялась Владка, которая отнюдь не уменьшила высокоскоростные обороты своей жизни, и ничуть не поблекла и не загрустила, Стеша набрасывалась на нее, плачущим голосом проклиная неизвестного подлеца и мерзавца.

В конце концов, даже не обидчивая Владка не выдержала:

— Да почему, почему — мерзавец? — и выгаращила свои бесстыжие *кружовенные* зенки. — Никакой он не мерзавец. Он просто...просто Валид, вот и все!

— Кто-кто? — Стеша огоропела, перестав рыдать. — Инвалид?

Мгновение Владка смотрела на нее в замешательстве, затем лицо ее прояснилось:

— Да! инвалид войны он, вот он кто! герой за родину! афганец!

— А еще будет лучше, — неразборчиво произнесла Барышня, вставляя зубы (эта священная ежеутренняя процедура производилась ею перед зеркалом, и не всегда получалась с первого раза), — будет еще лучше, — четко повторила она, клацнув зубами, — если он в этом самом Афганистане взял да и своевременно погиб.

Это потребовало еще двух-трех мгновений... И Владка вздохнула с облегчением, и даже вдохновенно захныкала, с разбегу врезаясь в новость — *в Благовещение*, — как в детстве с разбегу врезалась в море:

— Да, он погиб... Погиб он, да! Красавец мой погиб, мой черноглазый со-о-ко-о-ол...

Странно, что на сей раз Барышня как бы даже и обрадовалась событию: может, считала, что пришел момент явиться на сцену жизни *последнему по времени Этингеру?*... Она и впоследствии любила повторять, что «выблядки — соль человечества, золотой его фонд». А вот Стеша убивалась, не стесняясь в выражениях, сидела грузным сиднем на табурете и от бессилия обзывала Владку то шалавой, то дешевкой, то проституткой, то *биксой*...

И перед лицом такого горя — кто может упрекнуть старуху?

— Да никакая она не шалава, и не проститутка, — сказала Барышня. — Слишком большая честь для нее...

И обняв зареванную Стешу, погладила сильно поредевшие ее седые косы.

— Мелкая прощмандовка она, а больше ничего. Да: и пусть, наконец, поменяет эту блядскую фамилию Недотрога, — добавила Барышня. — А то, как бы в городской анекдот не угодить. Пусть, наконец, перепишется в Этингеров, там ей самое место. Там и не такие случались.

Помолчала и добавила задумчиво:

— Дом Этингера, он как море. В нем все растворится...

...И не омраченная ни стыдом, ни совестью, Владка пожелала закатить праздничный обед в честь рождения младенца Леона, причем, не где-нибудь, а в ресторане «Киев», — для чего было отнесено в ломбард (и никогда уже не выкуплено), второе прабабкино кольцо, а согласия на сей гешефт Владка ни у кого не спрашивала.

— Ну, и молодец, — отозвалась невозмутимая Барышня на горестные Стешины рыдания. — Победить этот мир можно только неслышанной наглостью.

И шикарный получился обед, очень *богатый*, ибо смирившаяся, и уже влюбленная в черногривого младенца Стеша, не доверяя искусству шеф-повара, нажарила штук сто воздушных блинчиков с бычками, а также сварила невероятных размеров говяжий язык, при жизни принадлежавший, видимо, не корове, и даже не быку-производителю, а какому-то библейскому Левиафану. Она пригатила его в хозяйственной сумке целым, подозревая, что частями его может раскрасить на кухне ресторанный обслуга. Говяжий язык горбился на блюде в центре стола пупырчатым утесом, благоухал перчиком и лаврушкой, и Стеша отрезала от него куски, наделяя каждого гостя, а язык все не кончался и не кончался...

Тетя Паша-сновидица пела под спидолу, принесенную дядей Юрой, «Койфен бублички», и даже танцевала (в меру возраста, конечно).

— «Одесса, мне не пить твое вино, и не угожить клешем мостовые»...

Дядя Юра, в темно-коричневом костюме, с галстуком-бабочкой на все еще могучей шее, шептал Владке в ухо:

— Посмотри на того седого господина за столиком справа, только незаметно, не пиялся. Он пытался грабить меня в двадцать первом году в подворотне, на углу Старопортофранковской и Большой Арнаутской... А я парнишка мелкий был, но сильный уже тогда. Зубы с тех пор он, конечно, вставил.

— «Скрипач айдыш Мона, ты много жил, ты понял: без мрака нету света, без горя нет удач...»

Потом, когда все уже крепко выпили, Стеша подралась с *девочкой* Лидой, за ее *невинное замечание*, что от черножопых завсегда получаются уж такие красивые детки, такие красивые детки... Перед тем, как вцепиться в жидкую пену ее крашенных хной бывших кудрей, Стеша спокойно заметила — мол, женщина, половина жизни которой прошла под крики «Девочки в залу!», может на старости лет отдыхать по хозяйству и полоскать свое окно, а заодно свой грязный длинный язык...

Кстати, по башке-то Лиде она шарахнула именно языком — говяжьим, тяжелым и скользким, как мокрый булыжник.

«Рахилия, шоб вы сдохли, вы мне нравитесь!..»

А на Владку напал неудержимый хохот, и сквозь икоту она выкрикивала:

— Да он афганец, можете понять?! Герой-афганец, за Родину погиб!!! Гремели пулеметы, пушки били! граната взорвалась — его убили! на радость всем врагам, на горе мне!

...и хохотала, хохотала, пока дядя Юра не подхватил ее, вместе с давно орущим младенцем, и поволок в туалет — мыть ее *рыжую физию* холодной водой. И убеждал ее там, и горячо твердил в жалкое мокрое лицо, истекающее черной тушью собственного производства:

— Владка, ты — мадонна! Не слушай ни единую блядь: ты — мадонна!

И знаете что: ведь он прав. Если спокойно и здраво осмыслить историю с этим нелепым знакомством и юннатским соитием на пляже — без малейшей греховной страсти со стороны, так сказать, принимающей, — то надо согласиться, что для Владки это был учебный эксперимент, бесстрастный опыт, зачатие не порочное. Разве что понесла она не от Святого Духа, и принесла не Спасителя...

Ой, не Спасителя...



Владимир Кузьмук

МЕЖДУ ЭРОСОМ и ТАНАТОСОМ

(окончание. Предыдущие части в №1/2015 и сл.)

В конце концов, о смерти было объявлено, и страна погрузилась в состояние коллективной истерии. Кто горевал по-настоящему, а кто притворялся, чтобы подтвердить верноподданность. Для меня камнем преткновения стало обязательное ношение повязки. Вышагивать по улицам с этим знаком траура было стыдно. Ощущения скорби во мне не было. Да и с повязкой на Украине пересолити как всегда. По предписаниям ЦК символ глубокого горя должен был быть красным с чёрным. И всё вроде сделала как нужно, повязка была чёрной с красными полоскам сверху и снизу. Оказалось наоборот. Повязка должна была быть красной с чёрными полосками. Разница была невелика. Но в центре показалось, что провинция своевольничала не по простодушию, а со смыслом. Кое-кому повязка напоминала красно-чёрный прапор УПА, украинской повстанческой армии. Так шептались на кухне. Но было поздно. Машина была запущена, и украинский вариант скорби пошёл в тираж. Возможно, кто-то и получил за это по первое число, а может во время грызни за трон было не до того. Во всяком случае, я прикинулся больным. Всё сошло с рук. Ни у мамы, ни у бабушки болезнь никаких подозрений не вызывала. Обстоятельства были необычайные, и докапываться до причин моей хвори не было никому дела. Всю неделю я бездельничал, читал, рисовал и слушал музыку. По радио беспрерывно звучал Чайковский, Бетховен, Моцарт. Я сибаритствовал, обжирался бабушкиными котлетами с картофельным пюре, заедал всё квашеной капустой и кислыми огурцами, в общем, наслаждался жизнью, как мог. Каникулы в час печали удались. А главное, не надо было прикидываться и корчить постную мину. После школы приходил Сёмка и приносил последние известия о событиях, и день заканчивался острым их обсуждением. Мои одноклассники демонстрировали скорбь кто как мог во всём многообразии её проявлений. Великовозрастный дурак Жора, красавец и велосипедист, бился в рыданиях в момент погребения вождя. У Жоры были роскошные ноги. Он это знал и охотно демонстрировал их на соревнованиях, когда в рейтузах и шлеме в картинной позе античного героя стоял, опершись на гоночный велосипед. Девчонки из соседней женской школы млели от восторга, кося украдкой на солидный бугорок, знак жоржиной мужественности, вздымающийся под чёрным трикотажем.

Рыдал не только Жорка. Рвала на себе волосы и посыпала голову пеплом вся страна, как и в дохристианские времена при погребении вождей. Не обошлось и без человеческих жертвоприношений. Несколько ревностных почитателей великого учителя растоптали в давке во время траурной церемонии. Их никто не услышал. Предсмертные крики слились с воплями скорбящих

Нынче с возрождением имперских амбиций и церкви сталинский миф набирает силу. Ничего удивительного, если Сосо вскоре причислят к лику святых. Тёмная страна гипербореев напичкана мифами и без них — жить не может. Так считали древние греки. Наверное, они были правы.

Недавно мне довелось побывать в монастыре святого Антония в Египте. Монахи демонстрировали как чудо источник, который пробивался сквозь толщу скал на высоте трёхсот метров над уровнем моря. Дотошные французские экскурсанты тут же стали расспрашивать, искать физическую подоплёку, выдвигать рациональные гипотезы. А моя спутница, истово перекрестившись, с радостным превосходством шепнула мне:

— Теперь ты понимаешь, какая разница между нами и ими? Мы не спрашиваем — мы верим!

— Так нам и надо! — злорадно подумал я. — потому и ходим до сих пор с голым задом! — Но не проронил ни слова.

Древнеиндийская Майя, божественная иллюзия, всегда виделась мне богиней греческого пантеона. Я представлял её Арахной, небесной ткачихой, как на античной краснофигурной вазе. Безостановочно ткёт она полотно, скрывающее плотной завесой тайну жизни от смертных. Даже в возрасте, когда всё уже позади, и пытаешься постичь суть вещей, всмотреться в прошлое, сквозь полуистлевшие хитросплетения нитей ничего не видно, проглядывает лишь тьма, чёрная дыра. Великое ничто. Начало и конец всего сущего. Наверное, это и есть Бог. Единственная реальность. Всё остальное — дело рук Майи. Психотерапия для прикрытия флёрот иллюзий неотвратимость распада на первоэлементы.

Моя болезнь в дни траура была, наверное, единственным реальным последствием увлечения вражескими голосами. А вообще политика, похороны и всё остальное особого интереса не вызывали. Это была не наша игра. Шла она на другой доске, и нам на неё было глубоко наплевать. Политические страсти принимались как неизбежность, вроде дождя или снега, от которых зависело, что надевать при выходе на улицу. Более реальными были пятнадцать минут джаза. Они шли сразу же за информационным блоком. Глушение снималось, как только слышались первые позывные передачи, и полнозвучный бархатистый голос Уиллиса Кановера, достающий до печёнок, торжественно объявлял «This is time for jazz». Душу будоражило предощущение удовольствия, а поджилки постепенно заполняли гормоны, ответственные за счастье.

Отношения с Уиллисом у нас складывались по-разному. Я многое у него взял. Во всяком случае, ориентиры и шкала ценностей оттуда. Это случилось как-то само по себе без особых усилий. Просто слушал музыку. Сёмка вроде бы делал то же, но ничего путного из этого не выходило, всё куда-то улетучивалось, не оставляя никаких следов. Его общение с джазом вылилось в шапочное знакомство типа «здравствуй-пожай», и живо напоминало диалог с Асей Кац.

Ася была сослуживицей Розы, трудилась на педагогической ниве в том же детском саду. Привилегированный садик располагался в бывшем особняке Симиренко на Десятиной, нынешней резиденции английского посла. Вообще-то Ася не бедствовала. Как только Роза овдовела, она решила не оставлять подругу без участия. Хотя участие было только поводом. Всё дело было в телевизоре. Она без конца работала над собой. Упустить такой случай духовного совершенствования она не могла. Регулярно, каждый вечер как на дежурство прибывала она к Розе отвлекать новоиспеченную вдову от дурных мыслей.

— Я знаю какво это остаться одной. — говорила сочувственно Ася, снимая пальто, и тут же плюхалась у телевизора, где проводила остаток вечера. За ней числилось два жениха, и оба пропали без вести. Поговаривали, что оба сбежали. Но Ася каждые три месяца упорно делала запросы в военкомат, и каждые три месяца

получала стандартный ответ. Такие-то такие ни в списках погибших, ни в списках раненых не числятся. Непонятно, почему женихов было целых два. Может быть потому, что у Аси Кац всё было сверх меры. Глаза у неё не вмещались в орбитах и лезли наружу, на щеках было чрезмерно много румян, задница слишком активно пёрла под плечи, а на каждое предплечье, наверное, чтоб сдержать напор снизу, было подложено по тонне ваты. Острыми углами плечи вздымались к небу крылышками ангела. Ася ходила в знатоках модных тенденций. Перелистывая журналы, она убеждённо говорила Розе:

— Удлиненная талия — моя мода!

Роза без возражений соглашалась с подружкой.

Единственно, чем бог обошёл Асю Кац, были волосы. Это было слабое звено. Три ярко-красные волосинки на темени были предметом особых забот и внимания. Чем она их красила неизвестно. Говорила хной. Но хна была дефицитом, достать её было невозможно. Скорее всего, это был левый красный стрептоцид с Евбаза. Кожа под скудной растительностью приобрела тоже красноватый оттенок. Но Асю это не заботило. Её внимание было целиком сосредоточено на причёске. Тут она давала волю фантазии. Каждый вечер Ася являлась в новом «фик-фоке». Она с шиком сбрасывала шаль и ждала аплодисментов. И получала их сполна. Количество вариантов укладки стремилось к бесконечности. Компромиссам места не было. Если бы кто-либо обнаружил повтор, Ася удавилась бы на месте в ту же секунду. Настолько была принципиальна в глобальном стремлении сразить мир.

Ася была ходячей энциклопедией. Завести её на любую тему ничего не стоило. Но лучше было этого не делать. Остановить поток эрудиции было невозможно. Её интеллигентность особенно проявлялась в специфическом, как она считала, интеллектуальном прононсе. Она переняла его от знакомой певицы. Вслед за ней Ася в свой лексикон включила «зачём», «почему» и «что» с твёрдым «чэ». Певицу приучили к такому произношению звукооператоры. За ней был грех свистеть на шпильках. Ася же делала это исключительно из любви к хорошим манерам. Сёмку её «чэ» попросту сшибало с ног. Он провоцировал Асю на интеллектуальные беседы с одной лишь целью услышать «что» и «зачём».

Уставившись ей в рот, он ловил внимательно каждое слово. Асе казалось, что вот, наконец, она обрела достойного слушателя. Она выкладывалась с удвоенной силой. Но под сёмкиной любознательностью скрывалось только элементарное ожидание. Он напряжённо ждал, когда же с уст Аси сорвётся желанное «что» или «зачём». И когда это, наконец, случилось, его начинал давить приступ смеха.

— В чом дело? — недоумённо тарщила глаза Ася. Но это только подливало масла в огонь. Сдержаться не было никаких сил. И у Сёмки начинался приступ истерического хохота. Роза, в конце концов, тоже не выдерживала и присоединялась к Сёмке. Ася только пожимала плечами.

— Не обращай внимания, — всхлипывала Роза. — У него не все дома.

Всё один к одному повторялось и в случае с Уиллисом, Сёмка не слушал музыку, он томился в ожидании. Он ждал, когда, наконец, появятся несколько знакомых ему мелодий, всё остальное пролетало мимо.

Ситуация была его планидой, поведенческим архетипом и с небольшими отклонениями пронизывала всю его жизнь. Он ничего не брал в голову. Это был его фирменный стиль, модус вивенди. С годами он только набирал силу. Сёмка скользил по жизни, избегая её потаённых глубин. Порхание по поверхности создавало иллюзию лёгкости бытия. Он легко входил в контакт с людьми и с такой же

лёгкостью расставался с ними. Это стало отправной точкой его карьеры профессионального жениха. После армии он осел в Ленинграде, округившись в очередной раз. Тут-то он и вошёл во вкус. Выяснилось, что, не прилагая особых усилий, можно жить припеваючи. Брак стал его навязчивой идеей. В брачном ритуале в роли главной персоны он выступал не единожды. Роль была отточена до возможных пределов совершенства. Где нужно он печалился, глаза туманила слёза, где требовалось, он лучился потоками счастья, уста озарялись искренней улыбкой человека вытаскившего выигрышный билет. Все возможные оттенки чувств содержались в палитре мастера. И он пользовался ею виртуозно. Женился он официально не менее восьми раз. Дважды терял паспорт, чтобы получить возможность маневра. Матримониальную неугомонность он оправдывал высокими материями — поисками идеала. Так, во всяком случае, он понимал её сам. Кто его знает? Возможно, это было и в самом деле его предназначением. В последний раз я видел его лет тридцать назад. Он приезжал в гости к отцу. Зяму, невесту за какие заслуги, Бог наградил долголетием. В девяносто с небольшим он выглядел таким крепеньким бодрячком. В отличие от сына. Сёмка как-то погас. В брачной лихорадке он растерял лёгкую беззаботность юности. Годы обнажили его сущность, беспощадно содрав шелуху. В повадках появилась жёсткая целенаправленность охотничьей собаки. Как только на горизонте появлялась дичь, он моментально собирался и делал стойку. Преображался он в мгновение ока. Усталый, помятый жизнью человек вдруг превращался в привлекательного мужчину с блеском в глазах и обходительностью в манерах. Он называл это любовью с первого взгляда. Я наблюдал эту метаморфозу не раз и понимал, что Сёмка без особых усилий мог бы обаять любую женщину. Наверное, Всевышний не будет слишком строг к нему, когда Сёмке будет предъявлен счёт за все его земные прегрешения. Ведь он дарил, хоть и ненадолго, короткие минуты счастья безнадёжным старым девам и изнывающим от любовной жажды вдовицам. То, что он их обирал — их заботы. За любовь ведь надо рассчитываться наличными. Жертвы не заявляли на непутёвого мужа даже в милицию. Надежда на то, что тот одумается, тлела в каждом разбитом сердце. Фотографии усатого шейбоя упорно хранились в семейных альбомах.

Но в моей памяти он запечатлён смешливым подростком, другом школьных лет и наперсником общих затей. Вместе мы составляли идеальный тандем. Я генерировал идеи, Сёмка воплощал их в жизнь. В связке было уютно как у бога за пазухой. Это сослужило мне дурную службу, когда пути наши разошлись. Бурная деятельность Сёмки полностью подавила мою способность к реализации собственных замыслов. Если эта способность вообще когда-либо обитала во мне. Границ своих возможностей я не знал и вечно попадал впросак, совался в те парафии, где поражение было предопределено заранее. В неудачах я обвинял всех, кроме себя. А ларчик просто открывался. Дело было во мне. Если кто-либо и наблюдал за мной сверху, то, наверное, здорово веселился. Метания в лабиринте с высоты выглядели, безусловно, смешными. В туниках я напролом бился головой о стенку в поисках выхода. А следовало всего лишь свернуть в сторону. Я ткнулся к жизни деятельной, но был просто мечтателем. Материализовать ни одну из своих фантазий мне не хватало пороку. Вся энергия уходила в придумки. Невоплощённые они бесследно растворялись в пространстве. Типичный разлад между мечтой и действительностью. Он окрашивал жизнь в трагические тона. Я был обречён свыше. Но не подозревал об этом. В воображении будущее рисовалось триумфальным восхождением к славе и успеху. Что-то вроде лифта. Нажал на кнопку и любой этаж к твоим услу-

гам. Я барахтался в тёплой водичке эйфории, подслащённой грёзами, в уверенности, что булочка уже под носом и что осталось только её заглотнуть. В этом плане мы с Сёмкой мало чем отличались друг от друга.

Наше увлечение пластинками, наконец, вывело Сёмку из тупика хронического безденежья. Перед этим он решил на всякий случай ещё раз попытаться счастья у муз. Заигрывания с ними, правда, ничего путного не приносили, но он не терял надежды. Выбор пал на Терпсихору. С танцами Сёмка накоротке ещё не яхшался. А как знать, может там и лежал прямой путь к успеху. Операцию он провернул без лишнего шума и суеты. Он хотел всех удивить и жаждал сюрпризов. Дважды в неделю Сёмка исчезал из поля зрения. Бебу это не на шутку встревожило. Дознания ни к чему не приводили. Сын молчал как рыба об лёд, а я попросту ничего не знал. В конце концов, друг имел право на личную жизнь. Через некоторое время коллизия разрешилась сама по себе. Сёмкино тайное стало явным. Проект лопнул, и он во всём признался. Покорить мир Сёмка решил народными танцами. Два прихлопа, три прихлопа, и все дела. Классика требовала на много больше усилий и времени. Он определился в танцевальную студию районного дворца пионеров. С ритмикой у него как-то не клеилось, и его приняли условно. На первых порах всё складывалось отменно. Сёмка даже освоил несколько позиций и лихо приседал у станка. Камнем преткновения и непреодолимым препятствием к славе стал падебаск. При его выполнении необходимо было подпрыгнуть и на вытянутых носках ударить одной ногой о другую, а потом приземлиться. Свести ноги он ещё сводил, а вот развести их никак не получалось. Всякий раз он шлёпался на бок. Его уволили без выходного пособия и надежд на будущее. Руководительница прямо так и заявила.

— Научись разводиг ноги — тогда и поговорим. — сказала она беспощадно без сантиментов.

Вердикт был окончательный, обжалованию не подлежал. Все точки над «і» были расставлены. Сёмка всё моментально усёк. Изгнание из храма его не очень обескуражило. Призвания к танцам он не чувствовал. Попытка была так, на всякий случай, авось клонет. Уже во время одной из наиболее изнурительных репетиций в его душе зародилось сомнение. Не слишком ли большая плата эти страдания за призрачный триумф, в вероятность которого он и сам не очень-то верил. Отказ пришёлся весьма кстати и закрыл тему раз и навсегда.

Успех ждал Сёмку на другом поприще. Не хореография раскрыла его дарование, а толкучка. Толчок, так народ называл этот рынок, собирался раз в неделю на пустыре за Байковым кладбищем. Торжище было обнесено глухим забором. Чтобы попасть туда следовало взять билет. Население под присмотром милиции могло продать или купить ношенные вещи и всякое прочее барахло. Это был гигантский секунд-хенд. Хотя торговали там и новым. Купить «бобочку», модную блузу с молниями и вставками другого цвета на плечах, можно было только там. В «бобочках» шеголял весь Киев. Все выглядели как солдаты в униформе. Но у моды свой взгляд на жизнь. Её гримасы и выверты по утверждению историков — бесстрастное свидетельство времени. Спрос на «бобочки» был велик, и подпольное производство трудилось в поте лица. С утра в воскресенье люди с разных концов города тянулись на толчок. Сейчас найти местоположение этого сборища я бы в жизни не смог. Помню только, что ехали туда на трамвае, а потом ещё минут пятнадцать топали пешком.

Любой запрет порождает повышенный спрос. Ничего лучшего придумать нельзя было, чтобы подогреть ажиотажный интерес к западной танцевальной му-

зыке, как только запретить её. Пустоту следовало чем-то заполнять. На официальных вечерах отдыха по предписаниям ведомств культуры и разработкам многочисленных методкабинетов развернулась активная кампания по внедрению танцев прабабушек в жизнь. Мазурка, падеграс, падепатинер и тому подобные па должны были удовлетворять здоровую тягу молодёжи к ритмическим телодвижениям под музыку. Они были, по мнению разработчиков, вполне стерильны и эротикой там не пахло. Нравы поры дилижансов и карет спешно вживлялись в наши головы. Девушки в белых передниках гимназисток прошлого века должны были принимать жеманные позы и приседать в реверансах, а кавалеры подпрыгивать, церемонно кланяться и шаркать носком ботинка по паркету. Зрелище было предельно нелепым и комичным. В эпоху сверхзвуковых скоростей и атомной бомбы весь этот натужный дивертисмент ничего, кроме внутреннего протеста, не вызывал.

Прямая дорога к западным ритмам была расчищена полностью, ни перекрёстков, ни светофоров. Удовлетворить свободу выражения без всяких правил и регламентаций можно было только на частных вечеринках, в домашних условиях.

Собирались обычно у кого-нибудь с соответствующей случаю комнатой. Чем больше, тем лучше. Родителей выпроваживали в гости. Гулять, так гулять! Кучковались в октябре с дальним прицелом. Компания должна была окончательно сформироваться к ноябрьским праздникам и дальше к новому году. Отбор был естественный и спонтанный. Кто-то не вписывался в формат и отлетал, а кто-то попадал в десятку с первого захода. В новогоднюю ночь входили уже сплочённым коллективом.

Гормональная закуска только начинала играть в наших жилах. Робкие объятия запрещённых танцев, игра в бутылочку, невинные поцелуи — всё казалось необыкновенным и прекрасным. Мы торопили время. Хотелось быстрее стать взрослыми. Жизнь не заставила себя ждать. Всё промелькнуло стремительнее, чем предполагалось. В памяти остались только запахи прелых листьев, блики фонарей на мокром асфальте и голос Петра Лещенко. Он был, конечно, некоронованным королём всех наших сборищ. Пластинки с его песенками определяли ранг и статус вечеринки. Без его танго и фокстротов вечер был не на уровне. Достать все эти сокровища проще всего было на толчке. Особенно, ценились пластинки «Колумбия», румынского дочернего предприятия знаменитой американской фирмы с чёрными наклейками и золотистыми буквами. Записи были сделаны ещё до войны. Рижские, более поздние, фирмы «Беллаккорд» шли дешевле. На каждой пластинке на семьдесят восемь оборотов с двух сторон было по одной вещи. Это были пластинки граммофонной эры. Сейчас эти раритеты что-то вроде ископаемых доледникового периода.

Каналом, по которому ходовой товар проникал на рынок, были советские оккупационные войска. Под пластики Лещенко танцевала вся страна. На запрещённых дисках можно было хорошо заработать. Таможня смотрела на пластиночный импорт сквозь пальцы. Одна пластинка шла примерно по стоимости обеда в шикарном ресторане. А их исполнитель в это время доходил в ГУЛАГе от голода и непосильного труда. Парадокс времени, несуразность которого никто не замечал. Лагеря и спекуляция были в порядке вещей. Никому в голову не приходило, что певец ещё жив, и скончался только через год после смерти вождя. Семье сообщили, что от отравления консервами.

Второе место в эмигрантской табели о рангах принадлежало Александру Вертинскому. По популярности он значительно уступал Лещенко. Его музыка была адресована узкому кругу охмурённых кокаином эстетов, танцевать под неё было невозможно, и пластинки с его песнями шли значительно дешевле. Хотя тоже ценились.

В отличие от конкурента он был обласкан вождём. Его возвращение из эмиграции было обставлено с помпой. Он даже получил Сталинскую премию за исполнение роли кардинала в антизападном пропагандистском фильме. И не зря. Только присутствием на экране он уже перечёркивал потуги коллег, изображавших иностранцев. Он был достоин. Западная жизнь знакома ему была не понаслышке.

Вертинского я видел дважды. Впервые я столкнулся с ним зимой на Владимирской. Шаркая фетровыми ботами, прозванными ППЖ, «прощай половая жизнь», он с осторожностью пожилого человека пересекал улицу своего детства, где ребёнком нянька возила его в коляске. Было сыро и холодно. Узнать певца было несложно. Уткнувшись крючковатым носом в воротник, он совершенно не вписывался в пейзаж. Его сутулая несурзая фигура была поздней вставкой из иного контекста.

Во второй раз я услышал его летом в концерте. Это было в оперетте. Афишировалось мероприятие не очень. Всё-таки бывший эмигрант. Что-то не совсем наше и чуть ли не подпольное. Пропустить такое мы с Сёмкой не могли. На сцене легендарный мэтр салонного шансона появился в белом смокинге с атласными отворотами и лауреатской медалью в петлице. На тощей сутулой фигуре пиджак болтался как на вешалке. За роялем сидел его неизменный аккомпаниатор Брехес. Персона, как и сам певец, настолько мифическая, что казалось, что его и вовсе не существует на свете. Призрак запрещённых грамзаписей удивлял своим присутствием на сцене не меньше самого Вертинского. Плотная фигурка в чёрном костюме как нельзя лучше подчёркивала атмосферу нереальности происходящего. Всё было из другого измерения. Публика в старомодных пожелтевших от времени роскошествах, неизвестно из каких целей выползшая на свет, и сам исполнитель, сдержанными поклонами отвечающий на приветствия. Казалось, вот-вот появится опоясанный патронными лентами матрос Железняк и предложит собравшимся освободить помещение. Зал замер. Но этого не случилось. Аккомпаниатор качнулся вперёд и, энергично ударив по клавишам, взял несколько аккордов. Вертинский жестом раненой птицы взмахнул руками вверх и так и оставил их там, бесильно свесив кисти с непомерно длинными пальцами. Жест не возник как импульс изнутри, а был словно спровоцирован откуда-то извне, как будто некто невидимый дёрнул за ниточки понижающую куклу и оживил её на мгновение. Вдруг артист запел. Это произвело ещё более странное впечатление. Одно дело слушать пластинки, другое — живой голос. Это были звуки другого мира. В манере пения было что-то неуловимо немецкое: скандирование с металлом, резко оборванная фраза, подчёркнуто правильный выговор, грассирование. Вертинский «р» произносил как «г». Музыка летела в зал оголоском давно ушедшего прошлого. Даже для тех, кто продолжал им жить. Мир Вертинского был совершенно чуждым и до слёз наивным. Размороженный почти через сорок лет фрукт оказался несъедобным. За прошедшие годы слушателям в борьбе за выживание пришлось пережить такое, что не могло б привидеться эмигранту и в самых суровых ностальгических кошмарах. Все признаки успеха были вроде бы налицо: аплодисменты, цветы. Но разбить невидимую стену отчуждения между сценой и залом так и не удалось. Горькую чашу непонимания артист испил до дна. Страна, которую он оставил около полувека назад, была совершенно незнакомой. Другие люди, другие нравы, другие мысли. Она оказалась не менее чуждой, чем та, из которой он только что возвратился. За стенами бурлила жизнь, не имеющая ничего общего с происходящим в зале.

Одной из составляющих этой жизни и был толчок, узаконенный «чёрный рынок». В основе сёмкиной коммерции лежал извечный принцип торговли «купи подешевле — продай подороже». Моё участие в бизнесе было чисто номинальным. Я больше удовлетворял любопытство. Пластинок почти не покупал. Меня привлекал сам процесс. Что-то вроде охоты. Случайно можно было наткнуться на что-нибудь очень интересное, неизвестно каким образом залетевшее в наши края. Пластинка Марлен Дитрих с её золотыми хитами «Джонни» и «Питер» была таким неожиданным охотничьим трофеем.

Лучшее из добычи оседало в сусеках. Незаметно мы стали обладателями приличного собрания. Коллекцию украшали такие исполнители как Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен, Луи Армстронг, Томми Дорси, Нат Кинг Коул и другие звёзды помельче. Нельзя сказать, чтобы мы охотились за именами. Хотя и не без этого. Просто громкое имя обеспечивало определённый уровень. В условиях покупки вслепую это было немаловажным. Наклейка тоже имела значение. Лучшие записи делались на студиях фирмы «Виктор». И предпочтение мы отдавали именно таким пластинкам. На глянцевої поверхности разных оттенков гладкошерстный фокстерьер, сидя у граммофона, прислушивался к голосу своего хозяина. Надпись “His master’s voice” подтверждала эту догадку.

Сколотить такое собрание за железным занавесом, где само только слово джаз вызвало подозрение, было не так просто. Для подобного подвига надо было обладать хваткой, звериным чутьём и изворотливостью. У Сёмки всего хватало с избытком. Он без конца суетился, куда-то звонил, о чём-то договаривался, с кем-то встречался и тянул меня за собой. Где мы только не побывали. В горячке поиска мы обшарили чуть ли не пол Киева. Мне отводилась роль эксперта или художественного руководителя. Ни одну серьёзную сделку Сёмка не совершал без моего одобрения. Но раскрывать рот, ни при каких обстоятельствах, мне не рекомендовалось. В искреннем восторге я мог ляпнуть что-нибудь такое, от чего цена покупки мгновенно могла взлететь до космических высот. У меня и так всё было написано на физиономии. Скрыть своих эмоций я не мог. И Сёмка убедительно просил ещё не делать идиотской морды. Но это было выше моих сил и не всегда удавалось.

Своими приобретениями мы страшно гордились. Кое-что покупалось для перепродажи или обмена, но главным было пополнение золотого фонда. Жемчужной коллекции считалась одна из ранних записей Эллы Фитцджеральд, ещё совсем девочки, чувствовалось по голосу. Элла пела «Come to me my melancholy baby» из «Ревущих 20-х» Рауля Уолша. В нашем прокате картина шла с обличительным названием «Судьба солдата в Америке». Романтика бутлегерства и трагическая любовная история были так привлекательны, что фильм мгновенно стал культовым, а Джеймс Кегни, Хемфри Богарт, Присцилла Лейн — кумирами. Песенки прочно вошли в репертуар ресторанных оркестров и распевались на каждом углу, а удачные словечки напропалую цитировались почитателями ленты.

Сёмка пыль сдувал с пластинки. Он дышал на неё. Долговязую Ирку он подцепил на Крещатике ради спорта за стиль. На ней были нитяные перчатки в сеточку и модная менингитка, шляпка на темени с пучком тряпичных фиалок. Но когда выяснилось, что Ирка ещё играет на пианино и поёт «Melancholy baby», он готов был таскать эту дыду на руках.

С нами на базар ездил ещё и Мишка из нашего двора. У Мишки дела шли даже круче чем у Сёмки. Но дружеским отношениям это не вредило. Они были скорее сердечными как у братьев по оружию. Мы были единомышленниками.

Мишка не гордился, даже когда потом стал известным директором картины на До-женко. Всякий раз при встрече он от души радовался, обнимал меня за плечи и представлял как самого давнего друга. В 90-е, когда студия свернула деятельность, и работы не стало, он эмигрировал в Германию. Там и умер от вынужденного безделья и тоски.

Мишка был самым ярым поклонником «Судьбы солдата в Америке». Он знал её наизусть.

— Хелло, Миннеола! — говорил он при встрече Таньке, впоследствии своей жене. Этими словами в фильме Кегни приветствовал Присциллу Лейн, героиня которой была родом из Миннеолы где-то под Нью-Йорком. Никогда б и не вспомнил я эту Миннеолу. Всё давным-давно ушло и забылось. Но обстоятельства заставили вновь всплыть на поверхность далёкие воспоминания юности.

Случилось это в Америке, где я не так давно гостил. Мы с Танькой и её очередным мужем торчали в пробке на Лонг-Айленде. Был погожий тёплый денёк бабьего лета. Здесь это называется «Indian summer», индейское лето. Болтали так ни о чём, чтобы заполнить паузу. Неожиданно перед глазами возник указатель со стрелкой. На голубом фоне белыми буквами было написано Minneola. Я протёр глаза. Нет, надпись была не игрой воображения и не кадром из фильма. Она была неопровержимым фактом дня как лесок вдоль дороги и красно-жёлтая листва за окном. Оказалось, Миннеола была не досужей выдумкой авторов картины. Она существовала на самом деле. Она была здесь рядом, рукой подать, в нескольких километрах от трассы. Что-то всколыхнулось во мне. Какие-то пружинки сработали. Прошлое обрело реальные очертания. Я замолк. Рожу у меня перекосило. Мы немного постояли, потом машина впереди проехала несколько метров, и мы двинулись дальше. Указатель проплыл и исчез из поля зрения.

— Что-то случилось? — спросила Танька.

— Всё в порядке, — хрипло сказал я, — Глаза чего-то слезятся.

— Может окно закрыть? — Наверное, она догадалась. Но ничего не сказала. Не хотелось ворошить воспоминания.

А мне припомнилось всё до мельчайших подробностей. «Melancholy baby», дылда Ирка с её ажурными перчатками и музицированием, пластинки и Мишка. Он был повёрнут ко мне светлой стороной. Таким и остался в памяти навсегда.

Вспомнилась и вся давняя воскресная суэта. Поездки на базар и отчаянная Сёмкина борьба за каждый рубль. Доход от его бизнеса был как у еврея из анекдота, который покупал яйца, варил их и перепродавал по той же цене. В общем, навар и свежая копейка. Но кое-что всё же оседало в кармане и обеспечивало Сёмкину финансовую независимость от мамы. Теперь он был совершенно волен в своих денежных тратах и мог преспокойно присобачить себе на туфли модную «манную кашу». Для этого не требовалось никаких просьб и разрешений. А просто нужно было отнести стоптанные башмаки к сапожнику, и там за умеренную плату к старому, ещё приличному верку могли приклеить толстую ребристую подошву, мягкую и пружинистую как губка. Он мог бы теперь выкинуть и ещё что-нибудь более экстравагантное. Купить билет в партер на самую крутую премьеру. И там, из кресла взирать свысока на всю остальную публику. Ведь наша театральная экспансия не ограничивалась только оперой. В сферу интересов входили и драматические театры.

Наш роман с русской драмой, театром имени Леси Украинки, начался бурно и рано. Ещё в ту пору, когда мы были вхожи только на утренние спектакли.

В фойе бельэтажа есть длинный узкий коридор. Единственное его украшение большие круглые плафоны-тарелки, растянувшиеся шеренгой на низком потолке. Так и хотелось допрыгнуть до них, дотронуться хоть кончиками пальцев. Когда в коридоре было пусто, мы не раз пытались воплотить мечту в жизнь. Но дотянуться ни разу не удавалось, хотя старались изо всех сил. В один прекрасный день мечта сбылась. Сёмка в победном прыжке всё-таки ударил по плафону. Он, видимо, попал в самое уязвимое место. То была Ахиллесова пята. Плафон не выдержал. Он сорвался и в ответном ударе так шлёпнул Семёна по лбу, что у того моментально выскочила огромная шишка. Под звон разбитого стекла, мы дали дёру. Как истинные поклонники так просто уйти из театра мы не могли и досмотрели спектакль до конца, притаившись на галёрке.

Потом и в школе и дома Сёмка представлял себя как жертву беззаветной любви к искусству. С эстетической точки зрения фонарь был само совершенство. Он располагался в самом центре лба, как третий глаз у индийских божков, и по форме был совершеннее самой Фудзиямы. В следующие три недели он переливался всеми цветами радуги. Он выдавал такие оттенки, которые и не снились самым выдающимся колористам за всю историю живописи. Сёмка даже немного загрузил, когда отметина Мельпомены окончательно сошла со лба.

Основу репертуара театра составляла русская классика. Если что-то и ставили из советской драматургии, то это было лишь по обязанности. Такие спектакли особенным успехом не пользовались и быстро сходили со сцены. Дольше всех почему-то держались «За тех, кто в море» Бориса Лавренёва из жизни морских офицеров. На сцене было черно от форменных кителей, и решались какие-то морально этические проблемы службы. Это был чисто мужской спектакль. Дамы только подыгрывали.

Другое дело Островский. Вот тут-то было, где разыграться. Хотя никаких экспериментов театр себе не позволял, да и позволить не мог. Дали бы по шапке мгновенно. Вся режиссура, что называется, умирала в актёре. Это был реалистический театр в лучших традициях девятнадцатого века. Эффект четвёртой невидимой стены царил безраздельно. Актёры изо всех сил старались не замечать зрителя. На сцене они по-настоящему неспешно пили чай, помешивая в чашках ложечкой, и жевали бисквиты. Делали всё без дураков. Труппа подобралась интеллигентная. Представлять замоскворецкий быт прошлого столетия особого труда не составляло. Классика не сходила со сцены. Для новой советской элиты без роду и племени это было настоящей школой хороших манер и политеса.

В премьершах тогда ходила Мария Стрелкова, красивая женщина и небезлампная актриса. Её облик запечатлён в александровских «Весёлых ребятах». Лена, претенциозная нпманша, запомнилась не меньше домработницы Анюты Любови Орловой. Снималась она ещё в «Празднике святого Йоргена» с Кторовым, в «Детях капитана Гранта», но у нас в городе она прославилась всё же, как актриса театральная. Внешность у неё была не рабоче-крестьянская. Она умела носить стильные туалеты. В ролях героинь Островского чувствовала себя как рыба в воде. Ей одинаково легко давалась драма и комедия. В «Пигмалионе» Шоу её Элиза была трогательно смешной, но не гротескной. Она нигде не пересаливала. У Стрелковой была культура, вкус и чувство меры. Поговаривали, что звезда всякий раз перед выходом на сцену для куража опрокидывала рюмочку коньяка. Это её и погубило. Она спилась.

Хиггинса играл её муж Михаил Романов, актёр большого дарования. Его коньком были роли рефлекслирующих интеллигентов, разрывааемых противоречи-

ями. Особенно прославился он Федей Протасовым в «Живом труп». Поговаривали тоже, что чтобы увидеть его Федю, любители театра приезжали даже из Москвы. Вообще театр приглашали на гастроли в столицу не единожды.

Сил своих труппа не переоценивала. За трагедии Шекспира все не хваталась. Но всё, что было дозволено из зарубежной классики, ставилось добротнo и качественно.

Мы были завсегдатаями и пересмотрели весь репертуар. Некоторые спектакли даже по нескольку раз. Очень нравилась «Женитьба Фигаро». Собственно благодаря театру я открыл Бомарше. Спектакль был искромётный, заразительный и раскручивался как хорошо заведенная пружина. Заканчивался всегда на подъёме. Это было подлинный триумф лицедейства. Актёры испытывали наслаждение не меньшее чем зрители.

В фаворитах ходила и «Госпожа министерша» Нушича. Позже, когда я увидел её с Марейкой и Пляттом, меня постигло разочарование. Министерша моего детства казалась лучше. Особенно был хорош Петров, сухонький старичок во фраке, цилиндре и с моноклем в глазу, дежурный любовник каждой из жён очередного министра. Контраст между внешностью и назначением был так велик, что зал просто покатывался со смеху.

Здесь же произошло моё открытие и Чехова-драматурга. Собственно к тому времени я уже прочёл все его пьесы. Понять, почему им так восхищались, я не мог пока не увидел «Чайку» на сцене.

Чехов драматург особенный. Шекспира можно просто читать. Не обязательно видеть его на подмостках. Пьесы Чехова без сцены мертвы. Как шарики, из которых выпущен воздух. Секрет его долголетия в партитуре текста. Это своеобразная нотная запись. Её надо правильно воспроизвести, развернуть во времени. Только тогда она раскроет свою магическую притягательность. Дело вовсе не в трёх сёстрах и их проблемах, не в вишнёвом саде или неудачнике дяде Ване. Если бы это было так, их давно бы забыли. Чехову дано было уловить самую тонкую материю жизни — неумолимый бег времени.

Наш современник Джордж Стреллер в постановке «Трёх сестёр» продемонстрировал это наиболее осязаемо. На день рождения Ирине Тузенбах дарит юлу. Её запускают. И пока вертится волчок, в зале висит долгая пауза. Реакция зрителей, как рассказывает режиссёр, всегда была однозначной. К концу вращения весь зал плакал навзрыд. Постановщику удалось найти материальное воплощение невидимого потока, который нас породил, пронизывает своим течением и в конечном итоге нас и поглотит. Подлинный герой чеховских пьес не персонажи, а время. Сатурн, пожирающий своих детей.

В театре амбиций на «Чайку» хватило. Все предписания Станиславского были выполнены. Благодаря им, а может и вопреки, спектакль обрёл дыхание и жизнь. Исполнители были на высоте. Заречную играла молодая Нина Литвинова, не Рената, Ренате только предстояло родиться, Тригорина — Романов, а Аркадину представляла стареющая Стрелкова. Надо сказать очень убедительно. Роль словно была написана для неё. Похоже, актриса выходила на сцену несколько под «шафе». Но это несколько не противоречило образу, скорее даже добавляло дополнительные нюансы. У неё всё летело из рук, казалось, весь мир вокруг ополчился против неё и выгалкивал в Париж, где она была счастлива и беспечна.

Позже в кино, в «Американской ночи» Трюффо знаменитая Валентина Кортезе чем-то напомнила мне Стрелкову. Её полупьяная героиня на репетиции всё

время путала текст, попадала не в ту дверь, но была при этом бесшабашно свободной, ироничной и непосредственной.

Киевская «Чайка», безусловно, была в тени мхатовских постановок. Но и не пыталась стать ровень с их славой. В ней был свой шарм, а главное — трепет жизни, и этого было достаточно.

В те же годы мне удалось повидать и знаменитые «Три сестры» МХАТа. Это был гастрольный спектакль. Ажиотаж царил невероятный. Всем хотелось попасть на живую легенду театра — Аллу Тарасову. Исполнители по возрасту здорово переросли персонажей. Постановка была образцово-показательной. Подлинная школа для всех, кто хотел бы когда-либо замахнуться на Чехова. Паузы были выверены до секунды, нюансы отточены до блеска, подтексты срабатывали в нужных местах, но спектакль не затрагивал ни одной струнки. Он был красивый, но безжизненный как засушенный цветок гербария.

По количеству звёзд на один квадратный метр со МХАТом могла соперничать разве что только наша украинская драма, театр имени Ивана Франко. Как там они уживались вместе — одному Богу известно. Но факт оставался фактом

Мы любили этот театр не меньше русского. В национальном репертуаре с франковцами вряд ли кто мог тягаться. Их искусство имело глубокие корни. Украинская классика была солью этой земли, она органично выростала из фольклора. Персонажи говорили на сочном языке окраин. Спектакли отличались мощью и импровизационной свободой, хватали за душу избытком эмоций.

Беспорными лидерами труппы были Наталья Ужвий и Амвросий Бучма. То, что они делали в «Украденном счастье» Франка выходило за пределы человеческого разумения. С первого появления актёров на сцене зрители попадали под обаяние их харизмы. Со сцены шло мощное излучение. Невидимые токи, отразившись в сотнях глаз, возвращались на подмостки, подзаряжали исполнителей и снова с удесятёрённой силой обрушивались в зал. Обычную мелодраму актёры преводили в ранг античной трагедии. Неотвратимость предначертания захватывала трагической неизбежностью. Герои, как могли, противились судьбе. Но расплата за супружескую неверность была predeterminedена свыше. Избежать убийства было невозможно. Всё катилось к трагической развязке. Актёры играли с такой отдачей, словно возвращали театральное действие к его первоначалам. Это было не представление, а сакральный ритуал. Наглядная демонстрация тщеты человеческих усилий и торжества высшей воли. Исполнители, как жрецы, действовали в каком-то гипнотическом трансе. Назвать это игрой было невозможно. Каждое слово, каждая пауза обладали магической силой. Зал просто трясло от напряжения. Зрители, как и в далёкие времена античности, становились участниками священнодействия. Нам дано было испытать божественный катарсис, который сниходил на греков тысячи лет назад во время представления их трагедий в амфитеатрах. После спектакля и пережитого потрясения на душе было легко и чисто как после весеннего дождя.

Играли в театре и русскую классику. Гоголь на украинском языке звучал совершенно по-новому. «Ревизор» утрачивал свою географическую неопределённость и становился сколком с такой близкой автору полтавщины. Совершенно блистательна в роли городничихи была Ужвий. Особенно врезался в память эпизод, когда она в безудержном полёте фантазии расписывала своё будущее житьё в Петербурге. Это было смешно до слёз. Смех с горьковатым привкусом. Наверно это было то, что хотел видеть на сцене Гоголь.

Но особую славу украинская драма завоевала постановками Корнейчука. Фирменным знаком театра были «В степях Украины». Это был уникальный спектакль. Попытки повторить его ещё где-либо заканчивались провалом. Здесь же он не сходил со сцены много лет подряд. Секрет его шумного успеха крылся прежде всего в исполнителях. Роли были подогнаны на каждого как хорошо сшитые костюмы. Они позволяли блеснуть лучшими сторонами дарования. Галушка, в конце концов, так прилип к Шумскому, что оторвать образ от актёра было уже невозможно. Его и в других ролях воспринимали потом только как Галушку. Всё было доведено до высшей степени совершенства. Даже эпизоды играли звёзды первой величины. Спектакль сверкал россыпью талантов: Милютенко, Добровольский, Няtko, Кусенко, Яковченко, Капка, Омельчук. Персонажи, поделённые в соответствии с канонами соцреализма на хороших и плохих, начинали свою словесную перепалку со знаменитого «Протокол номер один», который торжественно провозглашал Маркевич, милиционер Редька. С его лёгкой руки фраза стала знаменитой и впоследствии вошла в обиход. Все симпатии, вопреки замыслу, принадлежали отрицательным персонажам. Они шпарили суржилом. И были намного острее и реальнее даже своих уличных прототипов. Когда Яковченко-Довгоносик затягивал под гитару «когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг...», зал просто сотрясал от хохота. Это было покруче, чем у Раневской.

Чем больше мы смотрели «В степях Украины», тем больше они нам нравились. Ни одно представление не было похоже на другое. Это была настоящая забава для актёров и зрителей, игра в прямом смысле этого слова. Непредвиденная, всякий раз, как сама жизнь.

Корнейчук был человеком ловким и удачливым, а как драматург не такой уж и бесталаный. Его пьесы по очереди награждались Сталинскими премиями. Он пёк их как блины. Каждые два-три года появлялась новое творение. И тащил он его непременно в театр Франка. Сотрудничал он с франковцами тесно. Тут ему было уютно и всегда везло. Да и методы работы сложились особые. С актёрами он был накоротке. Хорошо знал возможности каждого. В театр приносил нечто совершенно сырое, по сути, рыбу. Так рассказывал мой коллега, отец которого служил в актёрах. В тексте, по меньшей мере, было рациональное зерно. Намечены характеры и обстоятельства. Повод для импровизации достаточный. Автор не держался за каждое слово как за истину в последней инстанции. В конце читки актёры откладывали в сторону рукопись и начинали, что называется, вышивать по канве. Автору оставалось только успевать записывать. После тщательной обкатки возникал канонический текст диалогов.

В этом плане у Корнейчука в предшественниках ходил некто Ржешевский. Пасся он и у нас в украинской драме. Гастролёр умел читать свои опусы с таким жаром и самоотдачей, что худсовет немедленно принимал их к постановке. Ржешевский был столичной штучкой и прохиндей со стажем. По его сценариям пытались ставить фильмы даже такие прославленные режиссёры как Пудовкин. В кино всё это некоторое время сходило с рук. Написать можно было, что угодно. Бумага всё выдержит. А режиссёру, во всяком случае, талантливому такой сценарий полностью развязывал руки. В театре восклицаний и эмоционального бормотания недостаточно. Эйфория читки заканчивалась. Наступали будни, и тут выяснялось, что ставить нечего, пьесы нет. Это был мыльный пузырь с радужными переливами. От прикосновения он лопался мгновенно. А автор с гонораром исчезал в неизвестном направлении. До суда дело не доходило. Поза непонятого гения и теоретическая

основа были надёжной защитой. Время рождало таких героев пачками. Апломб Ржешевского даже оставил след в истории кино. Считать себя околпаченными никому не хотелось, и шарлатанство гения возвели в абсолют. Он вошёл в анналы как теоретик и практик так называемого «эмоционального сценария». Неважно, что его творения были выкидышами. История ведь всегда орудует мифами.

Корнейчук не допускал ошибок Ржешевского. Он был человек гибкий и легко поступался принципами ради пользы дела. Утверждали, что он не брезговал даже услугами литературных «негров». По слухам среди них подвизалась и некая Шарлотта Варшавер, редакторша с телевидения. Будто бы она и была настоящим автором его творений. За верность истине ручаться не могу. Но слухи такие ходили. А вот то, что мэтр был прижимист, оставалось неопровержимым фактом. После премьеры он никогда не накрывал стол на сцене, как требовала традиция. Возможно, он считал своими соавторами и актёров, которые тоже должны были внести свою лепту в премьерный ритуал.

С Корнейчуком мне удалось столкнуться вживую на закате его дней. Он тогда уже перепробовал все возможные должности, какие только были в советской номенклатуре. Завершающим пунктом и вершиной его карьеры был пост председателя Верховной Рады. Синекура, совершенно декоративная должность, приносила почёт, привилегии и приличный доход.

На студии, где я служил редактором, в планах стояла учебная картина о классике драматургии. Ставить её взялась опытная режиссёрша, с условием, что Корнейчук согласится. В тридцатые у мужа дамы с драматургом возник конфликт. Кто-то у кого-то слёр сюжет «Гибели эскадры»: то ли муж у драматурга, то ли драматург у мужа. Вообще-то тема была ничейной и валялась под ногами. Ею даже воспользовался Вишневский в «Оптимистической трагедии». История потопления черноморского флота революционными матросами была широко известным фактом. Из-за чего разгорелся сыр-бор непонятно. Тем не менее скандал разразился изрядный, и след его оставил неприятный осадок. Время сделало своё дело, сгладило обиды. Мэтр не помнил зла и, в конце концов, милостиво дал согласие.

Фильм получился вполне пристойный. Корнейчук рассказывал о себе. Держался на экране просто, без претензий и чванства. Рассказ перемежался отрывками из пьес. Всё бы ничего, но под каноны учебной картина никак не подходила. У нас были опасения, что ортодоксы из методкабинета вернут фильм на доработку.

На сдачу на двух плёнках, когда возможно было ещё вносить поправки, пригласили самого мэтра.

К назначенному часу напряжение достигло предела. Я должен был вести наблюдение в вестибюле и при первом же появлении именитого гостя немедленно дать знать директору.

Я уселся за столиком в кресло, положил ногу на ногу и стал ждать.

— Ну, как полотно? — спросил меня сидевший напротив администратор, известный на студии скептик.

— Да вот, ждём драматурга, — сказал я.

— А тебя, значит, выставили в дозор, — сказал он.

— Что-то вроде, — не успел я ответить, как чуть ли не в дверь студии, куда никогда никто не заезжал, въехала машина, а мимо моего носа стрелой пронёсся директор. Он стремглав распахнул дверь, и в её проёме, сияя дежурной улыбочкой, под ручку с женой Мариной, секретаршей по совместительству, появился Корнейчук. За ним тянулся шлейф свиты. Марина уже давно и думать забыла о време-

нах, когда прозябала на эпизодических ролях подростков в тени корифеев. Она была на плаву, спиной ощущала новый статус и в соответствии с ним, поминутно, как будто на улице стоял космический холод, ёжилась и кокетливо куталась в норковую шубку.

Позади супружеской пары шагал министр просвещения, а за ним министр кинематографии Иванов Святослав Павлович, рослый симпатичный мужчина с интеллигентным лицом. Жизнь столкнула меня с ним позже. Он тогда уже был поверженный, слетел со всех должностей и его топгали ногами, кто только мог. Чтоб как-то выжить, он писал сценарии заказных картин и ходил у меня в авторах. Главный редактор, в прошлом его одноклассник, давал ему заработать. Бывший министр усаживался в моей комнате в кресло и начинал жаловаться на горькую судьбину и людскую неблагодарность. Ему нужен был слушатель. Он много сделал для Параджанова. С его благословения «Тени забытых предков» вышли на большой экран. Тогда Параджанов уже сидел, и Иванову и это ставили в строку.

Позже версию Иванова подтвердил и бывший главный редактор Госкино Новиков. Высокопоставленный чиновник с распадом империи оказался не у дел. Его взяли на работу из жалости простым специалистом, чтобы он мог как-то заработать хотя бы приличную пенсию. По его рассказам Параджанов не меньше ста раз таскал материал картины в министерство. Кадры были настоящим пиршеством для глаз, ожившая живопись и только. Но что делать с ними никто не знал и сам режиссёр в том числе.

В один из дней в недрах заведения родилась мысль. Кто-то предложил скомпоновать всё в новеллы. Идея была продуктивной. Дело сдвинулось с мёртвой точки и пошло на лад как по маслу. Фильм сложился, вроде так и был задуман с самого начала, а Параджанов тут же распушил хвост. Жизнь казалась ему бесконечной красной фестивальной дорожкой, усыпанной лавровым листом. Никто и на минуточку не предполагал, что готовит каждому судьба. Всё было ещё впереди.

А пока компания именитых гостей церемониальным маршем продефилировала мимо. Администратор сказал мне:

— Вот так-то. Когда станешь директором студии, чухаться будешь живее.

Персоны засели в кабинете директора, а я в ожидании просмотра заговаривал зубы мелким сошкам из методкабинета. Судя по их ехидным улыбочкам, ничего хорошего ждать не приходилось.

Корнейчуку, видимо, очень хотелось остаться в памяти потомства. В проекции, когда всех представили, и он узнал, что я по образованию киновед, мэтр тут же рассказал историю из своего кинематографического прошлого. На всякий случай, авось мне запомнится. До войны они в Сочи с Игорем Савченко работали над сценарием «Богдана Хмельницкого». Оба были молоды и в свободное время приударяли за девицами. Фортуна полностью была на стороне Савченко. Каждый вечер тот таскал в свой номер очередную мадам одну другой краше. А Корнейчуку совсем не везло, ничего не получалось, хоть ты тресни.

— Тот плюгавый, маленький, вдобавок заика, а я вроде совсем ничего. — размышлял драматург, — В чём дело?

— Игорь, как тебе это удаётся? — полубоопытствовал он.

— Понимаешь — ответил тот, — я пока выговорю что-нибудь, так бедняжка так страдает, что думает: «Дам ему сразу, а то до полуночи так и не сможет вымолвить ничего членораздельного».

Мужчины заржали, а дамы в смущении замахали руками и начали приторно затыкать уши пальцами. С условностями драматург не церемонился, но тему свернул. Делу время. Режиссёрша нажала кнопку на пульте, и просмотр начался.

По каким-то неуловимым флюидам ощущалось, что картина нравится.

— Замечательно. Поздравляю! — зааплодировал драматург, как только зажёгся свет. И все зааплодировали тоже.

— Какой глубокий фильм! И я там в «Макаре»! Ты меня узнал, Саша? — зашебетала Марина.

— Беру на массовый экран. — сказал Иванов.

— Такого фильма до сих пор ещё не бывало! Лучшего подарка для детей желать невозможно! — добавил министр просвещения. Все знали, зачем их привезли на просмотр и отыгрывали роли как положено по всем правилам.

Директор объединения Яша стоял на стрёме с актами. Режиссёрша скользнула взглядом по бланкам и сквозь натянутую улыбочку зашипела:

— Немедленно переделай всё на готовый фильм! — момент был благоприятный, упускать шанс было непростительно.

Яша был воробей стреляный. Дважды повторять ему было не нужно. Школу жизни он прошёл на Колыме. Перекошенное инсультом лицо было её фирменной отметиной. До войны по заданию райкома он на вокзале кого-то встречал, как выяснилось, не того. За что и загремел в лагеря на двадцать лет. Отдувался по случаю за всех. Коллеги с облегчением умыли руки, сдали не за понюшку табаку. Пронесло и, слава богу. Виноват стрелочник. Это и спасло ему жизнь. Всю войну Яша валил в тайге лес, а не сидел под пулями в окопах. Мне он явно симпатизировал, всё время предлагал халтуру в синагоге. По пятницам гасить свечи должен был гой. Но мне это было как-то ни к чему.

Через пару минут подписанный акт на законченный производством фильм лежал у нас в кармане. Хотя кусок работы по озвучиванию оставался ещё приличным. Методкабинет кисло улыбался и бессильно скрежетал зубами. Их обвели вокруг пальца. Но ничего не попишешь. На акте стоял автограф самого министра. Дело было в шляпе.

Персоны разъехались, и Корнейчук с супругой на чёрной «Волге» тоже. На том всё и кончилось. Больше я его никогда не встречал.

Надежды драматурга на бессмертие не оправдались. С вечностью как-то не сложилось. После распада Союза интерес к его творениям плавно угас. Вспомнили голодомор и другие прелести колхозной жизни. Корнейчук казался певцом режима. Опусы отдавали липой и лакировкой. Имя его стало одиозным. Улицу и станцию метро переименовали. Шумная слава вещь зыбкая и недолговечная. Что совсем недавно представлялось столь нерушимым, рассыпалось вмиг при первых порывах бури. И пьесы, и их создатели ушли в небытие вместе со временем, которое их породило. Актуальными стали другие проблемы, другие герои. Наступала иная эпоха не менее щипичная и беспощадная.

Память с хронологией не церемонится. Её забавы без правил. Всё в одной куче. Зыбкие стены воспоминаний она возводит вопреки логике. Да и строительный материал — бросовый хлам. Казалось, никогда не пойдёт в дело. И всё же мнимые сооружения в истинности намного превосходят подлинные, хотя и мурованы из никчёмных обломков. Незаметные когда-то персонажи и события решительно заявляют о себе, требуют внимания и прут на передний план. Никогда такими они

не были. Или просто делали вид, скрывая подлинную сущность под личиной незначительности. Из вороха вариантов вдруг выплывают пружины и мотивации, обнаруживаются скрытые связи и причины. Прошлое открывается неизвестной доселе стороной. А может это всего лишь игра ума, попытка привнести лад в хаотичность броуновского движения. Так легче дышится. Кроссворд хоть как-то должен быть разгадан, иначе жизнь утрачивает всякую видимость смысла. То, что мудрецы всех времён и народов называли божьим промыслом, упершись лбом в границы познания, похоже, имеет место. Но уж очень хочется верить, что история не просто бессмысленное сцепление биохимических процессов, выстроившихся в эволюционную цепочку в результате слепой случайности.

Из массовых развлечений сталинского времени первое место прочно держал перформанс, который устраивался дважды в году — демонстрации первого мая и седьмого ноября. Преданность делу коммунизма в отдельно взятой стране, по мнению организаторов, измерялась количеством участников. Мероприятие считалось успешным, чем больше демонстрантов проходило перед трибуной. Задрапированное красной тканью дощатое сооружение с золотым гербом из папье-маше было кульминационным пунктом шествия. Всю ночь возле центрального универмага, где обычно воздвигали почётные подмостки, стучали молотки и суетились драпировщики. Позже дело значительно усовершенствовались. Трибуну собирали из заготовленных заранее щитов. Наши кормчие были заложниками мифа. Служение ему требовало периодической проверки стада на лояльность. Шествие длилось иногда до шести-семи часов. На улицу выгоняли, чуть ли не всё население, способное ходить. Ритуал должен был наглядно демонстрировать единодушие и верность народа партии и правительству. Для вождей испытание было не из лёгких. Провести столько времени на ногах не шутка. Меня всегда занимал вопрос, как они справляются с малой нуждой, заодно и с большой — если приспичит. Бесспорно, на трибуне стоял полубоги, но не испаряли же они отходы жизнедеятельности в пространство. Может, внизу за драпировками ставили специальные горшки. Но скорей всего где-то неподалёку стояла спецмашина со всем необходимым. Всё было засекречено. То, что простые смертные делали привычным способом, хозяева жизни вершили в тайне. Мы же легко справлялись с проблемой в ближайших подворотнях.

Вопрос демонстрации был нешуточный, и обойти его без уважительных причин было невозможно. Нарваться на неприятности можно было в раз.

Утром, наспех позавтракав, я торопился к месту сбора. Нужно было не просто прибыть вовремя. Оптимальный вариант был угодить к золотой середине — не опоздать, но и не пригашиться слишком рано. Ранней пташке обязательно могли всучить транспарант или флаг или ещё что-нибудь потяжелее. А это ограничивало свободу действий и прибавляло ряд дополнительных хлопот. Средство массовой агитации следовало вернуть в целостности и сохранности для вторичного использования. Возни с ним было предостаточно. Самое лучшее было прийти, когда всё утряслось, и все слоны розданы. Отделаться тогда можно было лёгким испугом — флажком или бумажными цветами. Но такая удача была делом случая. Могло быть и так и этак. Я доверялся интуиции. Будь что будет. Опоздавшему ничего хорошего не светило тоже. Потом нужно было долго и нудно болтаться в поисках своих.

Вообще-то развести такую огромную массу народа было не так-то просто. Требовалась тщательная подготовка и стратегия. Планы разрабатывались загодя в горкоме и райкомах на бесчисленных заседаниях и совещаниях. К демонстрации готовились как к решающему сражению. Точно определялось время и место фор-

мирования колонн. Исполнители извещались заранее телефонограммами и строгими предписаниями. Наконец день «икс» наступал. Пару часов проходило в сложных манёврах. В бешеном темпе мчались мы куда-то вперёд, потом медленно отступали в сторону, куда-то сворачивали и вновь возвращались на исходные позиции. Похоже, мы пытались замести следы. Райкомовские красномордые дядьки в шляпах и серых габардиновых макинтошах с повязками выкриками направляли непонятливых. Они дирижировали передвижениями. Попетляв кругами по окрестностям, мы, наконец, попадали в нужную лузу, встраивались в колонну. Дальше всё зависело от общего темпа шествия. Иногда мы могли стоять на месте неподвижно целый час. А иногда приличное расстояние бегом покрывали в несколько минут. Мы двигались по Львовской и застревали обычно напротив нынешнего Дома художника. Тогда на его месте стояли двухэтажные домики. Вдоль них, выстроившись в ряд, раскладывали свой товар торговки семечками. Обычно вечерами после школы мы, размахивая портфелями, тащились домой мимо. Портфель нужно было держать крепко. По ходу мы играли в такую игру. Сзади со всего размаху нужно было треснуть кого-нибудь по портфелю. Если тот не мог его удержать счёт становился «один-ноль» в твою пользу.

Заслышав шум, торговки немедленно принимали меры предосторожности и прикрывали товар. Кто этого не делал вовремя, тут же мог поплатиться. Мы начинали пробовать семечки, запуская лапы в мешок. Если после снятия проб там ещё оставалась хоть половина, пострадавшая сторона могла считать, что ей ещё крупно повезло.

Рядом в подвале находилась пекарня по выпечке сдобы. Днём и ночью гудел вентилятор, гоня горячий воздух наружу. Прикрытое металлической сеткой круглое отверстие с лопастями выходило на улицу на уровне человеческого роста. Тёплый ванильный аромат распространялся вокруг. В программу возвращения домой входила кратковременная остановка у райского местечка. Пьянящее дыхание пекарни напоминало о голубых островах, где пальмы растут не в горшках, а просто в земле, и все ходят в трусах и набедренных повязках круглый год.

В доме напротив, где сейчас, торговый центр, жила Верочка, очаровательное существо с пушистой русой косой и серыми лучистыми глазами. Нравилась она мне страшно.

Вечерами Верочка торчала в окне, разглядывая сверху прохожих. Уже на подходе мы начинали делать ей знаки, сманивать на прогулку. Она никогда не жеманилась, согласно кивала и мгновенно выпархивала вниз. Вечерний променады мы продолжали втроём. Сёмка вечно напирал и теснил нас на мостовую. А Верочка всегда говорила при этом:

— Ну, что мы лошади? — Сёмка сторонился, и мы вновь шагали по тротуару.

Верочкины «лошади» буквально сшибали Сёмку с ног — до того запали они ему в душу. Всякий раз, когда Верочка вопрошала, не лошади ли мы, он впадал в восторженный транс. Лошади стали его очередным пунктиком. Он носился с ними как с писаной торбой и совал, куда только мог. В середине серьёзного разговора Сёмка мог вдруг брякнуть «Что мы лошади?» Все в недоумении пожимали плечами. Недогадливость собеседников Сёмка относил за счёт полного отсутствия у них чувства юмора. Ему было наплевать, что суть шутки доступна исключительно нам двоим. Он ощущал себя посвящённым, избранныком и аристократом духа.

Верочка проходила у нас под кличкой Венелиш. Как и я, Верочка была тоже почитательницей Жаннетт Макдональд. В одном из трофейных фильмов, дублиро-

ванных на немецкий, американская звезда произносила Венедиг, Венеция, с интонациями очень похожими на верочкины. Вместо Венедиг нам слышалось почему-то Венелиш. То ли фонограмма была заезженной, то ли дублёрша произносила слова невнятно, но кличка припечаталась к Верочке мгновенно. Так и осталась она навсегда во мне под этим странным именем.

Иногда колонна бросала якорь против дома Борьки, нашего одноклассника. Он жил на втором этаже почти на углу Обсерваторной. Сейчас там стеклянная коробка коммерческого банка. Борька славился умением убедительно врать и уродливостью. Его двоюродная сестра Симка уверяла, что по рассказам матери борькин отец тоже был страшно некрасив до пятнадцати лет, а потом перерос, стал писанным красавцем и предметом въздыхания всей женской половины околотка.

Нос у Борьки нависал над верхней губой, и он легко мог достать его языком. Но это был не его приоритет. Непревзойдённым мастером этого номера был другой наш одноклассник Додик Дондер. Свой трюк он исполнял по заявкам зрителей обычно на уроке, когда преподаватель стоял спиной к нам у доски. Додик поворачивался лицом к классу, складывал язык трубочкой, загибал его крючком кверху и медленно начинал тянуться к носу. Напряжение заметно возрастало. Все замирали. Недоставало только барабанной дроби. Когда язык, наконец, соприкасался с кончиком носа, по рядам пролетал восхищённый выдох. От многократного повторения номер утратил свежесть и новизну, но успеха это не уменьшало. Время добавило фокусу-покусу только совершенство и виртуозность исполнения.

Что касается Борьки, то все с нетерпением ждали, когда же начнётся запланированная наследственная мутация, а из гадкого утёнка он, наконец, превратится в прекрасного лебедя. Метаморфозы вроде бы уже и наступили. Борька начал говорить басом и на щеках появился пушок. Но красоты ему это не прибавило. Он стал ещё уродливее. Никаких комплексов по этому поводу у него не намечалось. Он разрабатывал новую жилу. В ход шла байка о том, какой он великолепный пловец. Дотянуть ему до Тарзана — раз плюнуть. Красавец Джонни Вейсмюллер, экранный Тарзан и чемпион мира по плаванию был кумиром всех мальчишек. Если уж не плавать подобно ему, то издавать дикий вопль с переливами, как тирольский йодль, доступно было каждому. Все мы старались, как могли. Особенно впечатляющими крики были в парадных и высоких подъездах. Резонанс усиливал звук и не раз заставлял вздрагивать обывателей, не пришедших в себя ещё со времён минувшей войны.

От публичного показа выдающихся достижений в плавании Борька всячески увиливал. Но однажды отвертеться всё же не удалось. Это было весной в Пущеводице. Его хитростью заманили на пикник и, что называется, припёрли к стенке. Он стоял на берегу пруда. Отступать было некуда. Позади вся наша компания в предвкушении сенсационного зрелища. Весь в себе, задумчиво устремив взгляд в пространство, Борька обречённо стал расстёгивать штаны. Семейные чёрные трусы до колена ничего хорошего не предвещали, но он решительно полез в воду. По мере погружения в озеро, его левая рука поднималась над поверхностью. Когда вода дошла до шеи, рука застыла над головой как в пионерском салюте. Все замерли. У противоположного берега беззаботно ныряли утки, время от времени поднимая кверху киль. Лёгкий майский ветерок шевелил листвой и рябил воду. Борька выдержал паузу. Затем, будто что-то вспомнив, решительно повернул назад. По ходу он указывал на запястье, приговаривал «часы» и разводил руками. Ничего, мол, не попишешь. Дальше шла мультка о часах. Они, оказывается, были подарком деда.

Доверить их он никому не мог. Пятнадцать рубинов и три алмаза не шуточки. Это была точная копия презента английской королевы своему мужу. Таких экземпляров всего два в мире. И один у него.

История об уникальных часах имела продолжение. Однажды Борька решился и показал их внутренности. Желающие могли заглянуть через увеличительное стекло в святая святых механизма. Ни алмазов, ни рубинов при ближайшем рассмотрении никто так и не заметил. Но ударить в грязь лицом не хотелось. Каждый делал вид. Голый король был не пустой выдумкой сказочника.

Рано или поздно шествие поднимало якоря и сдвигалось с мёртвой точки. Если везло, часам к двум пополудни можно было очутиться на Крещатике. В районе Майдана колонны с Подола и Печерска вместе с нашей сливались в единый поток. Звуки оркестра, усиленные микрофонами, и уханье барабана подогревали настроение. С кафедры у трибуны заказной крикун провозглашал здравицы. Они загодя публиковались в центральных газетах. Набор был одинаково стандартным из года в год. Правда, западные политологи по незначительным изменениям, едва различимым на первый взгляд, делали предположения и догадки относительно политических тенденций при дворе. Ещё о перемещениях и рокировках в верхах они гадали по расположению действующих лиц на трибуне. Но нам до этого не было никакого дела. Инстинкт толпы срабатывал безотказно. Мы размахивали цветами и флажками и дружно орали ура. Время от времени крикун импровизировал и провозглашал славу в честь интеллигенции, машиностроителей, работников торговли, студентов или школьников, в зависимости от того, кто находился в это время поблизости. Связь между партией и народом становилась ещё очевиднее. А мы орали ещё громче. После универмага, перевалив вершину, поток терял силу и начинал рассасываться. Уже на Бесарабке ряды значительно редели. Все торопились домой к праздничному столу. Нужно было отдохнуть, а вечером ещё успеть к салюту.

При Хрущёве количество демонстрантов поубавилось. Испытывать себя на прочность новые правители не желали. В шествиях участвовали уже выборочно. К полудню манифестации обычно завершались. Перводанность веры давно улетучилась. Остался твёрдый осадок привычной показухи. Из всех сил мы ещё пытались продемонстрировать себе и миру прогресс, основанный на липовых цифрах статистики.

Казалось всё так и пребудет до конца дней. Жизнь словно оцепенела и застыла на месте. Но время работает круглосуточно и без выходных. Удержаться на месте невозможно.

Для многих время знак и рука Бога, действенный его инструмент. А для большинства это естественная данность, и никаких мыслей по этому поводу они себе в голову не берут. Некоторые философы даже вообще категорически против времени. Его, по их мнению, и вовсе не существует. Есть лишь психологический феномен сознания. Иллюзия. Отражение биологических процессов в мозгу. Конечно, время неосуждаемо. Его нельзя пощупать или попробовать на вкус. Но его проявление в ежесекундных изменениях вокруг. Невидимые потоки капля по капле вершат своё дело. Рано или поздно они подводят к черте, за которой кардинально меняется всё. Всё становится совершенно иным. А что-то исчезает и вообще навсегда. Ушло из нашего бытия многое, а вместе с ним и демонстрации. Вроде их и не бывало вовсе. В памяти остались только духовой оркестр, марши Покрасса и ощущение полёта. В пору молодости радость жизни можно извлечь из чего угодно, даже из самых, казалось бы, невыигрышных ситуаций. Нам было море по колено и сват не брат!

В истории праздничных шествий, по меньшей мере, два заслуживают особого внимания. Одно — черновильская демонстрация первого мая восьмидесят шестого. Взрыв на ЧАЭС стал предупредительным сигналом. Стоп! Приехали! Дальше поезд не идёт! Граждане освободите вагоны! Той демонстрации судилось стать знаком и началом агонии безумного социального эксперимента, унёсшего миллионы жизней. Если бы постановщику этого грандиозного риелити-шоу длительностью в семьдесят с лишком лет понадобился впечатляющий финал — ничего более эффектного придумать было бы невозможно.

Как обычно демонстранты с портретами партийных бонз и криками ура вышагивали по Крещатику. Правда, было одно существенное отличие в натужной бодрости шага. Совсем неподалёку жерло черновильского реактора безостановочно выплёвывало в воздух тонны радиоактивной пыли. Со стороны празднество выглядело как какая-нибудь манифестация сторонников коллективного суицида. Весь мир терялся в догадках относительно таинственных свойств загадочной славянской души. Но инициаторы торжеств и ухом не вели. Вряд ли кто-либо из них по-настоящему осознавал степень смертельной опасности невидимых частиц взбунтовавшейся материи. Ситуация вышла из-под контроля. Система истощила весь запас императивных импульсов. Взрыв лишил остатка жизненных сил и иммунитета.

Черновильский Первомай закончился грандиозной паникой. Через четыре дня город очнулся от праздничной летаргии и взялся активно навёрстывать упущенное. Поезда на все направления брали штурмом, только бы подальше от проклятого места. Увозили, прежде всего, детей. Убегали все, кому средства и обстоятельства позволяли передвигаться. Через несколько дней город был наполовину пуст. Опустели улицы и магазины, где всегда толкались охотники за дефицитом. А вот что-нибудь да выкинут! В пустынных квартирах было неуютно, и после работы люди старались быть вместе, жались друг к другу от страха и одиночества.

Мы собирались у Таньки на Сакаганского 123 у вокзала. Жили они открытым домом и были хлебосольны и гостеприимны. Татьяна зарабатывала шитьём и в квартире всегда кто-нибудь да околачивался. Её тогдашний муж, безногий Гарик, был надомник и чайник. Работу ему приносили домой сослуживцы какого-то проектного бюро, где они что-то разрабатывали не покладая рук, который год подряд. Друзья по НЛО собирались к вечеру. Все пили водку и каберне от радиации и кучковались по интересам — на кухне любители изящных искусств, в кабинете Гарика ботаники и специалисты по визитам пришельцев из внеземных цивилизаций. Председательствовал доцент университета с молдавско-румынской фамилией. Это придавало ему особый вес, как будто он собственной персоной минуту назад спустился по лестнице с летающей тарелки. Вопрос не стоял, существуют или нет обитаемые миры. Сомнения на этот счёт была далеко позади. То был пройденный этап. Дискуссия шла только о часе и месте приземления инопланетян. Выдвигались самые парадоксальные версии. Самое время было навести, наконец, порядок на этой злосчастной планете.

Впоследствии при подаче документов на ПМЖ (постоянное место жительства) за рубежом с Гариком произошёл казус. КГБ никак не могло с ним расстаться. Он, оказывается, был стукачом. Бумаги долго не хотели подписывать. А потом, видимо, решили — свои люди там тоже не лишни. Гарик, в конце концов, разрешение дали. Ожидали, наверное, что за океаном он непременно внедрится. Но он не внедрился. Времени не хватило. Через несколько лет он заболел и умер, а Татьяне в который раз снова пришлось идти к алтарю. Все способы выхода замуж были

исчерпаны, и на этот раз в ход пошёл иудейский вариант. Я видел видео в Америке. Это было весьма впечатляюще. Особенно когда раввин вдвое младше её сына вдохновенно наставлял раздетую в пух и прах невесту, выдавшую виды, как жить ей дальше в новом качестве супруги. Ничего не попишешь — обычай есть обычай.

На кухне муссировалась другая мистическая версия чернобыльской аварии. Две дамы непосредственные родственницы опального министра кинематографии Иванова, вдова и дочь, оказывается, в своё время предрекали Чернобыль. Но их предсказаниям тогда никто не придал никакого значения. Вещуньи считали слегка не в себе. Дочь Кира брила голову, ходила круглый год в солдатской шинели нараспашку и вообще была сплошным вызовом общественным устоям. А мать увлекалась полтергейстом, эзотерикой и всем таким прочим. Дамы загода продали квартиру и сбежали на Алтай. Их бегство было воспринято как блажь двух пристукнутых. Но сейчас о них вспоминали во всех подробностях с должным пиететом.

Над Киевом, считали те, ещё со времён Владимира Святого сгущается огромная чёрная туча зла. Консистенция перевалила критическую массу. С минуты на минуту облако может обрушиться на землю. Сбывается проклятье волхвов. Тысячу лет назад Владимир совершил великое кощунство, разорил языческие святилища, скovyрнул древние капища, изгнал в дебри Полесья жрецов и накликал на свою голову гнев автохтонных богов, извечных покровителей этой земли. Расплата обязала грянуть через тысячулетие грандиозной катастрофой. На землю падёт пресловутая звезда Полюнь и отравит воду в реках и колодцах. Но город будет спасён заступничеством святых угодников, которые покоятся в лаврских пещерах.

Предсказание вещей дам сбывалось один к одному, как описанному. Ошиблись те всего на два года. В пределах тысячулетия погрешность в десятую процента — детские игрушки. Несчастье, как и значилось в их пророчествах, пришло с Полесья. А дальше — больше. Ветер в течение двух недель, словно на заказ, дул от Киева на северо-запад и гнал смертоносные облака подальше от города на Белоруссию и Россию, а там — на Прибалтику и Скандинавию. На кухне в этом усматривали бесспорное доказательство защиты мощей святых угодников.

Здравый смысл окончательно терял ориентиры в трясине пророчеств, зашифрованных откровений и мистических прозрений.

Главным информационным достижением последних семидесяти лет было отсутствие всякой информации. Основным информационным источником стали слухи. Они опережали все официальные сообщения и, в конце концов, в том или ином варианте всегда подтверждались. Им верили больше любых правительственных сообщений вместе взятых. Главной заботой ТАСС телеграфного агентства Советского Союза было редактирование истории. Событие с его телетайпов выходило таким, что его без поправок тут же мог принять худсовет «Мосфильма» для экранизации. Капитуляция Германии подписывалась дважды — один раз реально седьмого, а второй раз для истории восьмого мая. Сосо не нравился антураж. Капитуляция должна была происходить картинно и только в логове зверя в самом Берлине, хотя ни одного уцелевшего здания в городе не сохранилось. Знамя победы над рейхстагом задним числом для кинокамер водружали не меньше десяти человек, на всякий случай. Но в эфир попал только Мелитон Кантария, грузин, личный презент от Жукова генералиссимусу. Вообще подлинная ценность документальных кадров военной хроники сомнительна. В подавляющем большинстве это несинхронные реальному времени реконструкции событий. Даже захлебнувшиеся атаки противника экранизировались с помощью пленных.

Парад победы в Москве — грандиозный спектакль, понты для истории, с прогнами и генеральной релетидей. В постановке было официально задействовано десять тысяч человек. Через шестьдесят пять лет пенсии участников парада будут получать уже двенадцать тысяч. Герои мифов бессмертны и размножаются и умирают не как обычные люди.

Всё это до боли напоминает чудо сан-францисского «чайна-тауна». Многие его обитатели официально доживают до трёхсот лет. Очередного покойника хоронят тайком от людских глаз и властей и быстренько находят схожую замену на родине. Основная трудность — завезти нелегала незаметно. Документы давно ждут. А внешность — кто их разберёт. Все китайцы на одно лицо.

О возне вокруг победы никто не догадывался, но событие назревало.

С детства я любил поспать. От природы я был соня. Я мог спать в любое время дня и ночи с не меньшим удовольствием. Наверное, я был гипотоник. Этим всё и объяснялось. Бабушка всегда говорила, что так спать, можно проспать царство небесное. Так и случилось. Когда пришло сообщение об окончании войны, я уже спал сладким сном как убитый. Ночное ликование прошло мимо, и я могу вспоминать о нём только по рассказам очевидцев. Известие пришло к ночи. Сидеть с такой новостью в четырёх стенах было невозможно, и народ высыпал на улицы. Стреляли в воздух, кричали, плакали, обнимались, пили на радостях всё, что можно было выпить. Это был неподконтрольный выброс чувств, никем не организованный и никем не направляемый. Спонтанный и естественный всплеск, вырвавшийся наружу после лет регламентированных ритуалов, церемоний и притворства. Такого наша жизнь давно не знала. К утру, стихия вошла в свои берега, и праздник стал приобретать привычные формы.

Крещатик лежал в руинах, и роль центральной улицы перебрала на себя Владимирская. Трибуну возле оперы окончательно не успели разобрать ещё с Первой. Не очень торопились. Победа была не за горами, событие висело на носу. За ночь главный атрибут праздника наспах привели в порядок. И он готов был к употреблению, ублажая глаз подновлённым кумачом и позолотой. Деньк выдался на славу. Ярко светило солнце, было даже жарко. В Золотоворотском сквере набухали пионы. Хотя им было вообще рановато. Но весна была скорая. Да и демонстрация была нештатная во всех смыслах этого слова. Единственная в своём роде, такой демонстрации уже никогда не будет. Наверное, всё население города приняло участие в шествии. Люди шли и шли нескончаемым потоком. Шли вперемешку солдаты и гражданские без табели о рангах и разделения на организации и районы.

Мы пролезли почти к самой трибуне. Милиция на все наши перемещения смотрела сквозь пальцы. Как-никак победа! Все были переполнены светлыми надеждами. На людей обрушился долгожданный мир. Но справиться с ним было не под силу. Переварить в одночасье психологическое испытание войной мы не смогли. Удар был в самый дух. В мирное время мы продолжали жить по законам войны. Других мы уже и не ведали. Экономика катила по накатанным рельсам военного времени. Это оправдало убогость и лишения. Побеждённые вовремя слохватились, стали на мирные рельсы и скоро переплюнули победителей. Мы же продолжали барахтаться в омуте победной эйфории. Без устали пели осанну героям и военным подвигам, слагали легенды и ставили фильмы. Мы были пришиблены войной и глубоко ею травмированы. В эти годы окончательно сложился военный миф, весьма далёкий от истины. Жизнь превращалась в сплошное славословие и служение новоиспечённой святыне. Самые тяжкие годы были возведены в абсолют и сакрализованы. Бог войны правил нашей жизнью.

Мы постоянно с кем-то и с чем-то боролись. За мир во всём мире, против поджигателей войны, бряцали оружием, вооружались и, в конце концов, стали пугалом для всего остального мира. Война продолжалась, но только уже «холодная».

Наша мирная жизнь была пропитана духом милитаризма. В школе обязательным предметом стало военное дело. Преподаватель-военрук был демобилизованным офицером, номенклатурой военкомата. После седьмого класса многие мальчишки шли в военные училища, что-то вроде техникумов. Сверстники щеголяли в военной форме. Девчонкам это страшно нравилось. В особенности на танцевальных вечерах. Курсантов-танкистов прозывали «бананам», а лётчиков — «вентиляторами».

Советская империя начинала угрожающе косить под царскую. Погоны на плечах солдат и офицеров, орденские ленты, униформа, в которую пытались втиснуть чиновников всех рангов даже шахтёров. А милиционеры по всем параметрам напоминали городских из фильмов про революцию.

Особую территорию нашей жизни представлял двор. Этакое государство в государстве. Наподобие Сан-Марино. Вокруг Италия, а внутри совершенно другая страна.

Двор был закрыт и изолирован от внешнего мира. С тыла Г-образную загоулину дома прикрывал трёхэтажный флигель. Все остальные просветы заполняли заборы и глухие стены соседних строений, образуя замкнутое пространство. Типичный городской колодец был заасфальтирован. Только в дальнем конце возвышался грунтовой выступ детской площадки, поддерживаемый прогнившими досками в четыре ряда, чтобы земля не сыпалась на асфальт. На площадку вела деревянная лестница, а посередине наших владений торчало единственное дерево, толстый обрубок вяза с двумя зелёными ветками. К дереву мы приделали турник. Общими усилиями вкопали столб и положили железную перекладину. Иногда туда подвешивались на верёвках качели. По-настоящему кататься на них было жутковато. Если хорошо раскачаться, можно было взлететь над двором до второго этажа с учётом высоты площадки. Вопли неслись страшные, особенно когда садились девчонки. Они вечно просили, чтобы не сильно. Но мы старались, как могли. С превеликим удовольствием толкали их в спину на полную катушку. В долгу они не оставались — вопили как недорезанные, дрыгали ногами, обзывали нас кретинами и идиотами. После такого испытания на прочность, ничего не мешало им тут же тащиться на качели снова за очередной порцией адреналина. Крики и визг, усиленные резонансом, висели над двором с утра до ночи. Охотников покататься всегда было значительно больше пропускной способности аттракциона. Очередь на качели была постоянной. Нельзя сказать, чтобы вся эта суеда особенно вдохновляла обитателей дома. В один прекрасный день нервы сдавали. Терпению наступал конец. И кто-нибудь из жильцов решался на диверсию. Поздно вечером аноним к всеобщему удовольствию пострадавшего взрослого населения тайком под покровом темноты срезал ненавистную дощечку и забрасывал её куда-нибудь подальше, куда глаза глядят.

Утром заседал военсовет. Мы пытались установить личность обидчика, строили планы священной мести. Страсти разгорались не на шутку и достигали немислимых высот. Долго оставаться на точке кипения было невозможно. Пыл постепенно угасал в воинственных призывах. Ожесточение сменялось усталостью. Интерес к поруганным качелям снижался. Мы успокаивались и удовлетворённые сказанным разбрелись кто, куда по своим делам. Очередная затея уже маячила на горизонте и решительно тянула одеяло на себя.

День начинался игрой, ею и заканчивался. И самой захватывающей были прятки. У нас они почему-то назывались жмурками. Ничего увлекательнее в мире не бывает. Даже там наверху в часы досуга небожители, в свободное от работы время, скорее всего, предаются игре в жмурки. Это была божественная игра. Играть мы в неё с такой страстью и самоотдачей, на какие были только способны. Мы забывали о еде. Нас прямо приходилось затыгивать за руку к обеденному столу. Игра могла длиться неделями. В бесконечном рвении прятаться мы обследовали все закутки, куда при обычных обстоятельствах и носа никто бы не сунул. Под двором находилось настоящее подземелье. Обычно мы его обходили стороной. Побаивались. Оно внушало какой-то первобытный страх. Там даже крысы не селились, хотя условия были самые подходящие. Проникнуть в подземелье можно было с торца флигеля. Пологий мощёный старым кирпичом со стёртыми дореволюционными клеймами спуск подводил к двойной дубовой двери с облупившейся краской. Иногда дверь была распахнута. Может быть, её открывал наш дворник Иван Качкарёв, человек основательный и дотошный. Его жизненная программа включала рождение сына. Но ему не везло — как назло получались одни только девочки. Он совсем отчаялся и хотел было на шестой поставить крест. Но с горя запил и решил на последний судьбоносный бросок. Будь, что будет! Жена снова ходила на сносях.

— Иван совсем рехнулся! — считали многие во дворе.

Но Бог смилостивился, и седьмым родился мальчик. Крестины были шумные. Подношения тащил весь дом. Все вздохнули с облегчением. Бабушка тоже подарила два белых ситцевых платка с печатным рисунком. На пелёнки сгодятся.

— Слава богу, надо было в конце концов положить конец безобразиям. — рассуждала сухая, кожа да кости, лифтёрша Бетя, у которой сын сидел в тюрьме.

— Маруся совсем извелась от этих ежегодных подарков судьбы! — пыхтела она папиросой.

Лифтом Бетя жильцов не баловала. График работы у неё, как она утверждала, был скользкий.

— Я тоже живой человек! — обычно говорила Бетя. Брала плетёную из высушенного камыша кошёлку и тащила на рынок. На ручку лифта она вывешивала одну из двух табличек «Ушла в домоуправление» или «Лифт на ремонте». Вторая была не так раздражительна. Ремонт был делом стабильным и привычным, а вот в домоуправлении целую вечность торчать было невозможно.

Несмотря на жалобы, Бетю не увольняли. Где ещё найти охотника на такие деньги? Ставка на должности была копеечная. Да, и при случае вытащить лифтёршу на трудовую вахту было элементарно просто. Всегда была под рукой. Жила рядом в подвале.

В чкаловском крыле дома на третьем этаже в шумной еврейской семейке подрастали сёстры близнецы. Скуластые мордашки отдалённо напоминали азиатов. Их и прозвали Мао-дзе-дунами. После освобождения из тюрьмы остро встал вопрос жизнеустройства бетиного сына. Предложение Бети относительно женитьбы бластного отпрыска на одной из дочерей застало многодетное семейство врасплох. Долгие обсуждения и дискуссии привели семейный совет к одному: решено было принести в жертву кого-нибудь из Мао-дзе-дунов. Выдать замуж ту, которая больше чем сестру напоминала великого кормчего. Мао-дзе-дун долго плакал, но ничего не помогло. Всё было законно. Девочки были уже в кондиции, учились в техникуме, осенью получили паспорта, да и избавиться от лишнего рта было делом не последним. Выхода не было, и молодых окрутили. Вопреки ожиданиям,

босяк оказался мужем лучше многих других. Он берёт и лелеял жену и буквально носил Мао-дзе-дуна на руках как ребёнка. Даже очередную уборку в местах общего пользования делать не позволял. Сам драил полы шваброй в кухне, ванной и коридоре и сам сливал помой в унитаз.

— Сказываются тюремные привычки, — говорили завистники.

Как бы там не было, но Мао-дзе-дун был совершенно на коне. Это было заметно по её сияющей азиатской мордочке. Жили новобрачные в небольшой каморке в подвале, но кровать там помещалась и небольшой столик с двумя стульями. Была там даже ниша с вешалкой для одежды, задрнутая занавеской. По тем временам неслыханная роскошь, о лучшем и мечтать было невозможно. Мао-дзе-дун привнёс уют и тепло в холостяцкую берлогу. Набросил кружевной носовой платок на чёрную тарелку репродуктора, оприходованного Бетей на свалке и подаренного на свадьбу. Над кроватью повесил тряпичное одеяльце, в которое его заворачивали ещё младенцем. А повыше кнопками пришил две открытки «Мишки в сосновом бору» и «Золотая осень». Комнатёнка приобрела совсем уж жилой вид, когда на лампочке появился абажур из рифлёной вощёной бумаги, а на окне марлевая занавеска. В гости молодожёны не ходили и к себе никого не звали. Только вечерами прогуливались вместе, тесно прильнув друг к другу. Муж взялся за ум, говорили все. Прежние замашки остались в прошлой жизни.

У Бети гора свалилась с плеч. Её всё время терзала мысль: что будет, когда сын вернётся? А тут на тебе, счастье подвалило нежданно-негаданно. Пусть новая семейка сама о себе и думает! А у неё и так забот полон рот.

Главной бетинной страстью были выброшенные вещи. Она подбирала их, где могла. В хозяйстве всё сгодится. И стаскивала барахло в подzemелье. Многие жильцы облюбовали там местечко у входа и соорудили себе небольшие сараи. В одном из них хозяйничала Бетя. Она, как и дворник Иван Качкарёв время от времени проветривала свои владения и оставляла дверь подzemелья распахнутой настежь. Оттуда шёл затхлый дух гнили и плесени. Говорили, что из подzemелья можно проникнуть напрямиком в Софию. Туда ведёт подземный ход. Проверить эту версию никто не решался. А вот выйти в подвал с чёрного хода возле бетинной квартиры считалось вполне вероятным. Так или иначе, в один из дней версия наша подтверждение и стала непреложным фактом жизни. Володька, главарь нашей стаи, поддал её проверке собственноручно. Открытие было засвидетельствовано публично и сомнению не подлежало. Задуманная экспедиция была предприятием неведомым и опасным. Готовил Володька нас и себя к нему не один день и решился на рейд не без сомнений и колебаний. Как-никак требовалось пройти в темноте под землёй через весь двор. Как знать, что там. А может и вообще тупик? Положение лидера требует ежечасного подтверждения. Оно накладывает повышенные обязательства перед остальными. Отступать было поздно. И вот решающий день наступил. Володька был во всеоружии. Надел засмальцованную солдатскую телогрейку, взял фонарик и компас и предстал перед дверью подzemелья. Кто-то притаился из дому клубок шерсти, чтобы он воспользовался им как Тезей в лабиринте. Но он отказался. Нити всё равно не хватило бы. Подобно партизану в кино перед ответственной диверсией, он торжественно пожал каждому руку. Потом по правилам подвига, на секунду впал в глубокое раздумье. Учитывая историчность момента, Сёмка тут конечно бы произнёс пару слов для потомства. Но Володька мужественно не проронил ни звука. Помолчал, сколько требовалось, потом решительно толкнул облезлую дверь и, устремившись вперёд, нырнул в темноту. Мы помчались через двор на опережение в подвал чёрного хода. Надо было достойно встретить героя, если бы он всё-таки там появился.

Мы ждали на выходе. Шло время, а его всё не было. В голову приходили разные тревожные мысли. Надо было прихватить с собою хоть мел. Оставлял бы на всякий случай на стенах отметины, чтобы не заблудиться. Минуты ожидания тянулись неммыслимо долго. Но вот за дверью послышался шум и замызганный и грязный герой появился в подвале. Все торжествовали. Подземное царство было покорено без единого выстрела. Ни спасительной нити, ни смертельного оружия не понадобилось. Ни Минотавра, ни каких-либо других чудищ там не оказалось. Авторитет Володьки взлетел до неммыслимых высот. Но повторять свой подвиг он больше не решался. Видно переусилился здорово.

Вновь открытое пространство мы понемногу осваивали для игры в прятки. Особенно нравились закоулки, где было два выхода. Водящий входил в один, а мы сматывались через другой. Самым знаменитым была «бомбёжка», антресоль полуразрушенного сарая в подземеелье. Там можно было сидеть и полчаса, пока водящий обшарит все известные ему уголки снаружи. Но вот, наконец, тёмным силуэтом в проёме появлялся и он, поднявшись по полусгнившей лестнице. Мы старались не дышать. А бедняга, выставив руки вперёд подобно слепцу, осторожно ступал по хлипкому покрытию. Как только он достаточно приближался, мы через пролом, как бомбы из люка бомбардировщика, сыпали поочерёдно вниз. Теперь догнать ему кого-то было уже практически невозможно. Мы мчались к заветной стене, чтобы постучать по ней ладонью и в победном крике: «Тра-та-та! За себя!» засвидетельствовать выигрыш. Водящий мог жмуриться днями — настолько мы изощрились в искусстве прятаться. Игра поглощала нас с головой.

Понятно, что уезжать от такой сладкой жизни к деду в деревню или в пионерлагерь совсем не хотелось, и я упирался, как мог. Как и остальные дружки по играм.

Летнее райское благоденствие дополнял пляж. В жару весь город погружался в оцепенение. Нельзя сказать, что горожане отличались особенным трудолюбием, но в летний зной это достойное качество улетучивалось окончательно. Город одолевала блаженная лень. По приятному ничегонеделанью мы могли легко заткнуть за пояс неаполитанцев. Гоголевский разомлевший персонаж под вишней с варениками, прыгающими прямо в рот, не пустая фантазия автора, а хрустальная мечта, воплощённое коллективное бессознательное. Городская жизнь замирала и перемещалась на Труханов остров. Перебросить такую массу народа с берега на берег было не так-то просто. Пешеходного моста тогда ещё не было и в помине. А метро не грезилось даже в самых смелых фантазиях. Правда, и населения было всего ничего. К пятидесятому году вряд ли доходило до полумиллиона. Масштабы были иные. Эскапада на вокзал на трамвае казалась путешествием за три моря. Хотя до вокзальной площади по нынешним меркам было рукой подать. Каких-нибудь полчаса неспешным ходом. Готовились к экспедиции задолго до отхода поезда. Два-три часа сидения на чемоданах было обязательной составной каждого вояжа.

Город умещался на пятачке. Оббежать его за пол дня ничего не стоило. На левом берегу регулярной застройки вообще не существовало. Только одинокие островки рабочих посёлков, построенных пленными немцами.

На западе город заканчивался «Большевиком». Киностудия Довженко была заложена перед войной на Шулявке, тихой окраине, чтобы транспорт не создавал помех звукозаписывающей аппаратуре. На Нивки надо было выписывать командировку. А Святошин с его дачами и санаториями вообще в городскую черту не входил.

На востоке за Владимирским базаром начиналось дикое поле. Пригородные домишки с вишнёвыми садами, буйно цветущими весной.

А Чоколовский массив начали возводить на выселках только со середины пятидесятых. И считалось это у чёрта на куличках.

С утра пораньше очередь у фуникулёра уже выстраивалась. Надо было до жары поспеть на набережную. Там с рассвета во всю уже трудилось три причала. Жажущих речной прохлады перевозили катера. «Лапти» как их называли. Знаменитое плавсредство и в самом деле живо напоминало разношенный предмет крестьянской обуви, спущенный шутки ради на воду. Капитанский мостик торчал посередине, а на носу и корме располагались стоячие места и сидения по борту. И хоть переезд занимал не более десяти минут, лапоть брали штурмом. Каждому хотелось обязательно сидеть. Ехали компаниями, и кто прорывался первым, занимал места, разбросав по сидениям всё, что было под рукой. Понятно, остальным ждать у пустующей скамейки было глубоко обидно и возмутительно.

— Это форменное безобразие! — потеряв выдержку, бросала пробный камень какая-нибудь толстуха с двумя авоськами, набитыми снедью. — Я вот сейчас возьму и сяду!

— Только попробуйте! — задиристо взвизгнула держательница мест.

Жребий был брошен — толстуха, резко отодвинув круг, с треском утвердилась на скамейке.

— Она заняла место инвалида детства! — трагически сообщила дама публике. Но сочувствия сообщение не находило. Сквозь толпу протискивалась сухая старушонка в белой вязаной крючком пелеринке с дебильного вида подростком.

— Какая неслыханная наглость занимать чужие места! — визжала по ходу старуха, натягивая глубже ажурную шляпку с поникшими полями, будто немедленно собиралась войти в клинч.

— Инвалидам, между прочим, место не на Днепре, а в психушке! — вытирая потоки струящегося пота, бросала толстуха в пространство, — Павловская прямо-таки плачет по вам!..

Острота дебатов приутихла, как только из выхлопной трубы вместе с дымом начинали вылетать чиханья и покашливания мотора. Лапоть отдавал швартовки и брал курс на левый берег. Журчание и плеск воды за бортом действовали успокаивающе. Все мысли устремлялись к цели путешествия. Нетерпение достигало крайних пределов, стоило только катеру стукнуться о старые покрывки на причале пляжа. Вопреки увещаниям капитана и правилам безопасности все беспорядочной толпой начинали выпрыгивать на понтон. Надо было преодолеть ещё с десяток метров по трапу. Причалиг ближе нельзя было из-за мелкоты. Но всем хотелось быстрее очутиться на лоне природы.

Переправа стоила невосполнимого количества нервных клеток. После треволнений обычно плохались на песок и приходили в себя некоторое время. А потом начиналось главное. Распаковывали авоськи и сумки. На покрывале появлялись банки с картошкой, жарким, блинчиками и всякой всячиной. Огурцы, помидоры, лук и редиска были не в счёт. Еды хватало бы на пару дней. Но всё поглощалось в мгновение ока с таким рвением, что казалось, только за тем сюда и ехали. Пляж был воплощением земного рая и беззаботности бытия — солнце, золотой песок, никаких проблем и все полуголые. За райские кущи легко могли сойти заросли лозы. Тут можно было спрятаться от палящих лучей и сходить по малой нужде, а при необходимости и по большой. С высоты противоположного берега на резвости потомков сурово взирал князь Владимир. Святой не то грозил, не то благословлял бронзовым крестом своё стадо. Теперь я твёрдо убеждён — грозил. Почти всех тех пляжников

уже нет и в помине. Все ушли в мир иной. Ангелы господни, наверное, уже давно стёрли с их душ самые сладкие пляжные воспоминания. За то в своё время вся эта братия успевала брать от жизни всё, что могла без оглядки. В воде прохлаждались до посинения, а на солнце жарились до дыма и волдырей на плечах. Дома обильно смазывались кислым молоком, а на следующий день всё повторяли снова.

Новое поколение ценности взрослых не принимало. Мы не носили на голове носовых платков с узелками на концах и презирали папины чёрные трусы по колено. Хотя антрацитовый загар с повестки дня не снимался. Беспечно на песке мы не валялись. Постоянно затевали возню, играли в карты или находили ещё какое-нибудь активное занятие. Главным было перемещение в пространстве. Променнад у воды, где можно было встретиться и переброситься парой-тройкой слов с друзьями. А ещё волейбол. Мяч постоянно попадал в кого-нибудь на подстилках, и это вызывало активное недовольство и протест.

В конечной точке дефиле, вниз по течению в заливишке располагалась спортивная станция «Водник». Там на скамейках мы заседали или плавали на скорость, если у кого случались часы с секундомером. А кто поотважнее даже прыгал с десяти метров. Но обычно мы базировались под грибами. На пару десятков нехитрых сооружений пляжной архитектуры, в конце концов, раскошелились местные власти для повышения уровня культуры в местах массового отдыха трудящихся. Ненавязчивый сервис мы, как могли, приспособили для своих потребностей. Под одним из грибов в кучу сбрасывали обувь и развешивали свои одежки. Позднее, когда цивилизаторские амбиции горсовета шагнули ещё дальше, был возведён деревянный гардероб. Там в ячейках за умеренную плату можно было хранить свои пожитки хоть целый день при условии, что за ценные вещи в карманах администрация ответственности не несёт. Металлические номерки на верёвочке вокруг запястья или на плавках свидетельствовали о приобщении к благам цивилизации.

На вольном просторе окультуренного пространства формировались каноны красоты. С сильным полом всё было ясно. Мускулы и пропорции — ценности вечные. А вот относительно дам мнения тогда и сейчас сильно расходятся. Нынешние гляцевые красотки, замученные диетами, в наше время пасли бы задних где-то в категории худосочных «клизм». Материальность была в цене. Мэрилин Монро сегодня выглядит толстухой, но тогда это реальное чудо поражало близостью к идеалу.

Признанной королевой пляжа считалась Ноннка Гудкова, известная всему Киеву. Её прославленный зад, нерукотворное творение природы, можно было безоговорочно причислять к одному из чудес света без предварительных рейтингов и голосований. Облаком мощного ядерного взрыва клубилось это произведение искусства на пляжном горизонте. Тот, кто лицезрел буйный разгул nonnkinой плоти впервые, тут же терял дар речи. Настолько сильным было впечатление. Это было что-то с чем-то. Знак высочайшего качества в шкале ценностей времени. Силу обаяния своих телес Ноннка хорошо знала, как и все выгодные позиции, в которых её прелести выглядели особенно неотразимыми. С утра до ночи торчала она на виду у воды, время от времени меняя позы. У неё не было ни конкуренток, ни завистниц. Первенство было неоспоримым — настолько её задница была воплощением совершенства. Говорили, что и в университет девушку приняли без экзаменов, хотя одетой Ноннка теряла львиную долю своего шарма. Она, конечно, по праву носила прозвище «царь-жопа».

Королём пляжа был Филя Бриль. Тягаться с Ноннкой он, конечно, и не пытался. Они выступали в разных жанровых категориях. Но стоило только ему взять в руки аккордеон, как становилось ясно, что он за птица. Равных ему на пляже не

было. Инструмент в его руках пел по-особому. Брал он аккорды растопыренной пятернёй, но задевал ещё какую-то, ведомую только ему клавишу. Мелодия сразу приобретала специфическую окраску и прямо-таки переворачивала душу. У него был шикарный инструмент, отделанный настоящим перламутром. Такие пачками везли из Германии и сдавали на продажу в ближайшие комиссионки. От классности ставили и цену. В магазинах они не залёживались. Брали их охотно. Они были главным действующим лицом на всех вечеринках и в ресторанных оркестрах. Играл Филя с жаром и был любимцем публики. Джазовые шлягеры и мелодии из трофейных фильмов собирали толпу. Музыкант охотно выполнял все пожелания и заявки. Ему, наверное, не хватало подлинного признания. Играл он до изнеможения и не ради удовольствия публики, а больше для удовлетворения собственных амбиций артиста.

Сквозь толщу времени радости тогдашней пляжной жизни видятся совершенно идиллически. Из зыбкой дымки воспоминаний они проступают золотисто-медовыми видениями совсем, как на полотнах старых венецианцев.

Полного и окончательного слияния с природой можно было достичь только на Матвеевском заливе. Факт широко известный. Экспедиция туда требовала финансовой поддержки как любая другая, начиная с Христофора Колумба. Для проката лодки необходима была определённая сумма, и мы скидывались, кто сколько мог. От родителей эскапада тщательно скрывалась. На Матвеевском лежал запрет. Место считалось чрезвычайно губельным. Полоса прелестьей отделяла совершенно безлюдное местечко от зоны массового отдыха. Нужно было преодолеть с километр зарослей вперемешку с залысинами раскалённого песка, чтобы ощутить себя робинзонами. Открытое солнцу пространство добавляло дополнительную пикантность приключению. Песок здорово жёг пятки. Хотя Мария Саввишна, мать Гоги, уверяла, что это страшно полезно и что лучшего средства от гайморита и насморка не найти, легче от этого не становилось. Вообще-то гогина маман была дама с придурью. В их комнате на комод в рамке модерн красовалась её давний портрет под сепию. На фото в нахлобученной на глаза модной когда-то широкополой шляпе и в кружевном платье молодая девица кокетливо играла длинной ниткой жемчужного ожерелья. Узнать в ней раздобревшую и обрюзгшую нынешнюю гогину родительницу требовалось немало воображения. Её пропахшие нафталином суждения совершенно не соотносились с днём сегодняшним. Гога их ни во что не ставил, как и все вокруг. Но когда ступни обжигал жар раскалённой солнцем поверхности её сентенции всплывали в сознании невольно.

И ещё минные поля колочек. Надо было здорово поднажать на скорость и по возможности проскочить опасную зону широкими прыжками кенгуру. Игра стояла свеч. На заливе можно было взять напрокат лодку и кататься весь день. Течение там было нулевое. Вырулить на самую серединку не составляло ни малейших усилий. Три-четыре взмаха весла. Безлюдье, вода и солнце рождали ощущение умиротворённости и покоя. Само время, казалось, останавливалось, устав от вечной круговерти. Лишь чайка в бездонной синеве лениво резала крылом тишину. Мы сушили вёсла и отдавались на волю волн. Изредка окунались в тёплую прозрачную воду. Первозаданные силы делали своё дело, отрывали от реальности и погружали в блаженную оцепенелость летнего полдня. Наверное, это и была та самая нирвана, страна обетованная буддистов. Мы достигали её естественным образом без усилий и напряжённой духовной практики. То было опыание жизнью, солнцем и золотыми деньками отрочества.

Лето в наш двор по-настоящему приходило запахом клубничного варенья. Густой аромат с утра до ночи висел в воздухе, заполняя всё окружающее простран-

ство. Клубникой торговали повсюду. Сгружали ящики и весы на тротуаре, где придётся. Тут же выстраивалась небольшая очередь.

— Даю всё подряд! — объявляла взволнованным покупателям продавщица и валила на весы гнилой и мятый товар, зато по дешёвке.

Отборную и дорогую ягоду брали на рынке. Клубники было хоть пруд пруди, и весь дом приступал к священному ритуалу. Шиком считалось купить исходный материал как можно дешевле и самого высокого качества. Славилась этим особенно мадам Шершун. Хотя бабушка не раз уличала её в передёргивании фактов. Мадам любила приврать. За ведро роскошной ягодка к ягодке клубники будто бы платила совершенные копейки. Утаить истину было невозможно. Чтобы вывести обманщицу на чистую воду и ради торжества справедливости бабушка специально шла по следу Шершунихи и приценивалась у тех же торговков. Она была особа бескомпромиссная. Ехидная, как говорила Шкутиха.

— Желаемое за действительное! Ври, да знай меру! — бабушка чистила ягоды на кухне, делилась впечатлениями от шопинга и резала правду-матку, не взирая на лица.

Самым важным компонентом священнодействия был медный таз. Он хранился в хозяйстве каждой семьи. Весь год он пылился в ожидании звёздного часа и, когда его время наступало, становился главным действующим лицом ритуала. Там очищенные ягоды засыпались сахаром и томились, пока не пустят сок. Только тогда начинался собственно технологический процесс. Проходил он в несколько этапов. У каждой хозяйки были свои секреты. Но главное правило — не лезть в массу ложкой — свято соблюдалось всеми. Ягоды должны были сохранить первозданную форму и стать в конце варки полупрозрачными. Пенка снималась только тыльной стороной ложки, а размешивалась масса осторожными покачиваниями таза для создания в нём кругового течения.

Потом наступало время наливки. Вишню тащили тоннами. Сахар окончательно исчезал с прилавков. А на окнах появлялись батареибутылей с завязанными марлей горлышками. Лето было в самом разгаре. После пляжного дня, наспех поужинав, разваренные окончательно мы прохладжались где-нибудь на обрыве над рестораном «Ривьера». Ждали когда ресторанные «лабухи» выдадут наконец-то «Гольфстрим», знаменитый шлягер тех времён. Впервые промелькнул он где-то в «Подвиге разведчика». Почему он стал популярным — объяснить было невозможно. Выудить его из звуковой дорожки культового фильма было задачей непростой. Следовало долго и нудно вслушиваться. «Гольфстрим» всего лишь служил фоном напряжённого диалога. В силу неизвестных причин совсем неприхотливой мелодии нежданно судилось стать знаком времени и изюминкой ресторанных оркестров. Ждать долго не приходилось. Заказывали «Гольфстрим» через раз. Потом ещё эмигрантские «Журавли» — «...здесь под небом чужим я как гость нежеланный». Подвыпившая публика обожала русскую тоску и денег для музыкантов не жалела. Домой можно было отбывать, когда оркестр по нескольку раз отработывал и остальные хиты — трюфейный «Ком цу рюк» и эллингтоновский «Караван». Программа максимум была выполнена. По дороге мы, вконец разомлевшие вяло плелись на ресторанных подёнщиках и возносили до небес филины аранжировки. Они и в самом деле стоили того. Наверное, и на «Ривьеру» мы тащились всякий раз ещё и потому, чтобы окончательно утвердиться в этом.

Ещё со времён Нинки хорошим тоном считалось в Первомайском, бывшем Мариинском саду слушать классическую музыку. Пару раз в неделю, в зависимо-

сти от программы, мы с Сёмкой отправлялись туда. Оркестр, наверное, был одним из лучших за железным занавесом и дирижировал им Натан Рахлин, а потом и Стефан Турчак. Смотреть на молодого дирижёра было одно удовольствие. Он не дирижировал, а шаманил. Миникой и жестами выманивал из оркестра звуки и делал с ними, что хотел. Музыканты были всецело в его подчинении. Это было его войско, а он его полководец. Мы старались усестя поближе сбоку, чтобы не пропустить ничего. И попадали под дирижёрские чары мгновенно. Репертуар был не из худших — Чайковский, Римский-Корсаков, Бетховен... Музыка очищала душу от наносов дня и высвобождала место для фантазий и прожектов, которыми бог нас не обходил. Всё становилось глубоко до лампочки. Мир ещё ярче и заманчивее играл красками. Жизнь влекла в ловушку обещаний. Казалось, времени впереди было бесконечно много. Всё важное откладывалось на потом. Но однажды «потом» вдруг испарилось неизвестно куда и осталось только «сейчас». Да и того совсем в обрез.

Молодость заканчивается в ту минуту, когда всё вокруг незаметно утрачивает прелесть новизны. А к старости и вообще кажется, что всё идёт по кругу. Всё уже было когда-то. Мини носили бабушки, головы брили прадедушки, а в узких брюках щеголяли ещё двести лет назад. Новое — хорошо забытое старое. Молодость — игра в поддавки со временем. Проигрыш обеспечен. Партнёр возвращает ставки с лихвой. Сладость открытий вдруг оборачивается горечью познания. Пир окончен. На дне бокала осадок и кислый привкус похмелья во рту. На смену приходит мудрость Экклезиаста. Ничего нет нового под луной.

Истины эти были не про нас. Наш жизненный опыт только и успел, что открыть завесу. Мы лишь вдохнули заманчивый запах. Не смогли даже, как следует облизнуться. О попробовать на зуб, речи вообще не шло. Испытания ещё только ждали своего часа.

Была у нас во дворе и своя отечественная война только мелкого разлива. Военные действия начались в ту минуту, когда Шпиндовский принялся осуществлять свою заветную мечту. Как всякий реформатор, нарушив ход времён, он проломал дыру в заборе. Со стороны Стрелецкой сквозь брешь он завёз кучу строительного материала и свалил все эти брёвна и доски на детской площадке. Время для агрессии было выбрано верно. Стояла глубокая осень, беспрерывно лили дожди. Мы были заняты школой, и во дворе было пусто.

Тайные планы по сооружению конюшни Шпиндовский вынашивал ещё с лета. К началу зимы на наших исконных землях прислонённый к глухой стене соседнего дома вырос монументальный сарай. Покатая, крытая толем крыша плавно спускалась к воротам на запоре. Сквозь железные скобы просовывался новенький струганный брус с замком на торце. У Шпиндовского была дьявольская пробивная сила и море энергии.

Вообще если человечество вовремя не остановить, оно может наломать дров и зайти Бог знает куда. Выкинуть что-нибудь этакое, что уж совсем ни в какие ворота. Может быть, даже научится воспроизводить прошлое и всех, кто жил когда-то, в том числе и Шпиндовского. Конечно, не из плоти и крови, как обещано верующим в конце дней. Господь не допустит бессовестной конкуренции. А что-нибудь в виде виртуальных клонов. Что-то вроде объёмных кинокадров в формате 3D. Сегодня такое вряд ли по плечу. Даже если рассовать камеры слежения как в супермаркете повсюду. Затея слишком затратная. Потребуется масса специалистов по обработке материала. Да и какой в этом прок?

Разве что как свидетельство обвинения для Страшного суда. И то вряд ли. Там наверху в горних сферах наверняка своя практика слежения и судопроизводства и свои значки в виде каких-нибудь электронных досье или чего-нибудь ещё в том же роде. Иначе процесс божественного правосудия лишится эффекта сиюминутности и растянется на годы.

Судя по темпам, человечество сегодня уж слишком закусило удила и жмёт на все педали с опережением графика. Время, когда ангелы начнут сворачивать небо в свиток, оно приближает с небывалым ускорением. Готовность номер один была объявлена ещё с незапамятных времён, две тысячи лет назад, ожиданье затянулось и вошло в привычку и отмахиваться от пророчеств Апокалипсиса в порядке вещей. Но нынче угроза конца времён стала совсем реальной. Ещё в школе в учебнике географии считалось, что нас два миллиарда. А тут, на тебе, уже и семь. Не прошло и одной человеческой жизни. Я как-то никогда не брал этого в голову. Заострила мысль на факте Жанночка, библиотекарша киностудии. В обеденный перерыв мы всякий раз сталкивались с нею в буфете. Работала она у нас недавно. Крашеная блондинка без возраста в кудряшках щебетала без умолку. Был у неё ещё один существенный недостаток — кривые короткие ножки. Прячала она их под длинной по щиколотку толстой юбкой. Может, там скрывалось ещё что-нибудь такое, чего не следовало знать широкой публике. Возможно, как у царицы Савской икры её были сплошь покрыты чёрной порослью низкорослых волосков. Кто знает? Во всяком случае, щедрая словоохотливость перевешивала все её вместе взятые дефекты с лихвой. Сказать, что она порола полную чушь, было бы несправедливо. В её болтовне проскальзывали крупницы смысла. Но избыток информации слишком давил окружающую среду непосильным грузом.

— Неужели вы думаете, что Земля выдержит десять миллиардов? — как-то обернулась она ко мне из очереди в попытке завязать светский разговор.

— Ничего я не думаю — сказал я.

— Она просто нас стряхнёт! — с милым кокетством конфиденциально пропела Жанночка. Сообщение она свалила на меня с такой твёрдой убежденностью, будто лично две минуты назад получила его из первых рук по самым авторитетным каналам.

На первый взгляд, сентенция не заслуживала ровно никакого внимания. Она проскользнула мимо и долго пылилась в подвалах подсознания. А проросла совсем с другой стороны и без каких-либо ссылок на первоисточник.

С некоторых пор планета наша стала представляться мне огромной заплесневелой горошиной, закотившейся в дальний угол мироздания. Может быть, такой же прокисшей она выделась и с точки зрения творения. Иначе Создатель не запустил бы в неё астероидом при очередной инспекции. Наверное, плесень, эволюционировавшая в плотскую чрезмерность динозавров, здорово раздражала. Удар оказался неточным. Только свернул ось набекрень, но и того хватило. Гигантских порождений естественной истории с поверхности планеты как ветром сдуло. Промашка стоила дорого. Плесень лихорадочно начала плодить бесчисленное множество вариантов. Эволюция, ухватившись за первый попавшийся, свернула, видим о, не в ту степь. В результате появились и мы «гомо сапиенс», возмнившие о себе Бог весть что. С предшественниками, мастодонтами нас объединяет неудержимая тяга к размножению и опасность в любую минуту быть сметёнными с лица Земли. В остальном мы пребываем в полной уверенности, что человечество и есть венец творения, хотя с точки зрения самого завалящего звероящера — мы просто-напросто какое-то болтливое двуногое недоразумение.

Шпиндовский был не самым ярким представителем рода человеческого. Горделивостью он не отличался. А обожжённая солнцем и ветром рожа гориллы больше свидетельствовала о близости к обезьяноподобным предкам. Он принадлежал к исчезающему виду ломовых извозчиков. По камням мостовых города всё ещё тряслись гружёные телеги. Но дни их были сочтены. Грузовички здорово пошатнули основы экологически чистых гужевых перевозок. Шпиндовский об этом и не догадывался. Иначе так яростно не цеплялся бы за свой бесперспективный бизнес.

Уникальность Шпиндовского заключалась и в том, что ко всему прочему он был ещё евреем. Наверное, последним представителем своего племени, подвизавшимся в таком малоприбыльном деле. После победного блицкрига он затаился. Наши поначалу бурные протесты вошли в привычное русло. Война начала принимать затяжной позиционный характер. Сколько мы не строили всяческих козней, сколько не писали во всевозможные инстанции, дело оставалось на прежнем месте, воз нерушимо стоял всё там же. Шпиндовский умел подмазывать не только колёса.

Стеречь своё хозяйство он приставил цепного пса. Немецкая овчарка по прозвищу Дик была свирепой зверюгой, готовой растерзать каждого, кто приблизиться к сараю. Боялись её и взрослые. Она постоянно фигурировала в наших петициях в вышестоящие органы как самый существенный аргумент дискриминации и нарушения права на отдых, гарантированного сталинской конституцией. День Конституции ежегодно отмечали 5 декабря выходным днём.

Для сохранения боевого духа Шпиндовский держал Дика впроголодь. Стоило кому-либо сделать резкое движение в сторону конюшни, как Дик, гремя цепью с рыком и раскрытой пастью, мчался в сторону предполагаемого нарушителя. Он рвал цепь и дико лаял, очерчивая клыки. Словом, связываться со зверем никому не хотелось. Но однажды случилось то, что заставило зауважать пса.

У Толика из нашей компании была младшая сестра. Ей едва минуло пять лет. Мать наряжала Лильку как куклу. Она носила короткую стрижку каре под дочь вождя, как и все девочки того времени. В волосах торчал огромный бант в тон платьицу. Ей строго-настрого запрещено было выходить на улицу и заговаривать с незнакомцами. Не дай Бог, ещё украдут! Такая она была хорошенькая! Вообще гуляла она под присмотром брата, играла большим двцветным резиновым мячом. Толик был занят своими делами и не очень обращал внимания на сестрёнку. Когда всё же на всякий случай решил оглянуться, мяч у Лильки вырвался из рук, подпрыгнул несколько раз и медленно покотил в сторону Дика. У самой стены, словно на прощанье, махнув рукой, он чуть-чуть покачнулся и замер.

— Допрыгалась! — сказал Толик. — Я тебе что говорил — подальше от сарая. Теперь мяч получишь у Шпиндовского только вечером.

Лилька приуныла. Дик нежился на солнышке и лишь приоткрыл глаз. Такая мелочь как мяч не стоила ровно никакого собачьего внимания.

Толик продолжал игру в карты, но следующий взгляд на сестру заставил его оцепенеть мгновенно. Лилька, неспешно ступая, шагала в сторону стены. В тот момент она находилась уже в зоне боевых действий собаки.

Пёс дремал или только делал вид. Изредка теребил ушами, отмахиваясь от мух. Мы все замерли от ужаса, боясь проронить хоть слово. Лилька уверенно шла вперёд. Приблизившись к мячу, она наклонилась и взяла его подмышку. Пёс по-прежнему лежал, не открывая глаз. Так близко к Дикю ещё никто не подступал. Всё дальнейшее запечатлелось в моей памяти на всю жизнь и заставило долго говорить о событии весь дом. Мяча Лильке показалось мало. Как воспитанный ребёнок

Лилька решила выразить благодарность. Она направилась к псу, спокойно переложила мяч в другую руку и, слегка прикоснувшись к голове, стала гладить собаку. Дик шурился и тихонько урчал от удовольствия.

— Хорошая собака! Хорошая собака! — приговаривала она. Сделав дело, как ни в чём не бывало, она повернула к нам. Наверное, среди десяти собачьих заповедей числилась и максима не трогать маленьких. Перед своим собачьим богом Дик был абсолютно чист. Упрекнуть себя ему было не в чем. Пёс встал, широко зевнул во всю свою страшную пасть и, поджав хвост, проковылял в будку и долго там мостился. Наконец, улёгся, высунул голову наружу и ясным взором праведника взглянул на мир.

Всё произошло в считанные секунды, и мы не смогли даже опомниться. Зато событие впоследствии обросло тысячью подробностей. Оно передавалось из уст в уста и стало, в конце концов, частью дворового фольклора.

Наша малая война закончилась так же внезапно, как и началась. И независимо от наших усилий. Словно сроки её были отмеряны свыше.

Была у Шпиндовского единственная дочь — горбунья Руня. Он любил её больше всего на свете. Быть может ещё и потому, что была она увечной. Всё, что он не вершил, он делал ради неё.

Руня носила каблуки, чтобы казаться выше, но и на каблуках всё равно походила на подростка, правда с лицом взрослой женщины. Пышные тёмнорыжие волосы, как у «девушки моей мечты» Марики Рёкк, спускались на плечи и скрывали её увечье. Только она их не красила и не завивала. Они были такими от бога.

Руня была мудра, как старушка, и страшно любознательна. Она знала слова всех модных песенок, имена всех кинозвёзд, всякие истории, сплетни и стихи. Всё это она записывала в тетрадку в чёрной клеёнчатой обложке. С тетрадкой Руня никогда не расставалась, всегда держала при себе. А вдруг что-нибудь подвернётся стоящее! Она находила общий язык и с нами и со взрослыми. Мы ей доверяли, хотя она была дочерью нашего заклятого врага. Руня была беспристрастной. Она держала нейтралитет. И мы её использовали как арбитра в наших играх и спорах. Судила она охотно и справедливо и в некотором роде была членом нашей компании. Жили Шпиндовские на первом этаже окнами во двор, и Руня вечно торчала на подоконнике. Все новости дома она узнавала первой. Как она их находила неизвестно. Неведомыми путями они сами стекались к ней. Она даже знала по имени каждого из самой необщительной семьи с прибалтийской фамилией Гипслис со второго этажа. Новостями она всегда спешила поделиться с другими. Никогда не держала их при себе мёртвым грузом, тут же пускала в дело. Самым страшным испытанием для неё была тайна. Сохранить её она не могла ни под каким видом. Она её давила и угнетала. Проще простого было освободиться от непосильной ноши, и она с облегчением по секрету посвящала в закрытую информацию первого встречного. Из неё могла бы выйти, наверняка, неплохая журналистка. Но неожиданно для всех она заболела и умерла.

Шпиндовский очень горевал. Он не плакал, а время от времени издавал дикий вопль. Это было страшно, и все ему искренне сочувствовали.

После смерти дочери дела его пошли из рук вон плохо. Бизнес покатился под откос. Поначалу пропал Дик. Возможно, хозяин оттащил его на живодёрню. С таким злобным псом вряд ли кто мог ужиться. Хотя бабушка считала, что посади на цепь даже ангела, через день-другой тот тоже бросался бы на людей. Потом исчез мерин, мирное и совершенно бесцветное существо. А потом куда-то девался и сам Шпиндовский. Война зачухла на корню. И только сарай продолжал торчать во дворе памятником тщете человеческих усилий. Всё ушло и забылось.

А вот зимний пейзаж детства остался на редкость нетронутым. Может из-за своей неоднозначности. Зима начало и конец. Зимой мир видится совсем иначе. До нового года ждёшь каникул. Это вроде как взбираться на горку с санками. А после нового года — время совсем другого цвета, как будто летишь с горы. Катись во весь опор куда-то к тёплым денькам с тополиным пухом. Предвесенние предчувствия наполняют душу. Но они не спешат. И хотя весна не за горами, в марте, бывало, так завьюжит, подбросит столько снега, сколько за всю зиму не снилось. Катались на санях обычно на Нестеровской, нынешней Франка. Естественно, на Нестеровской лежало табу. Попасть под машину или сломать себе шею там ничего не стоило. Но кто обращал внимание на запреты? Автомобили по крутой улице ездили редко и летом, а зимой никто и попытки не делал. Горка была приманкой для ребят со всего околотка. Смелчаки постарше спускались даже на коньках и залетали с разгона на Святославскую — Чапаева. При обледенелой колее номер можно было проделать и на санях. Конечно, лёжа на животе лицом вперёд, легко было и в самом деле расшибиться, и мы, на всякий случай, спускались сидя. Скорость набирали приличную. Особенностью спуска были трамплины. Ухабы подбрасывали сани, мы подлетали вверх и орали от восторга. Представляли себя профессионалами настоящих горнолыжных трамплинов, которые видели только в кино.

Лет через двадцать я встречал Новый год в доме у подножья горки. С небес тихо падал пушистый снежок. Всё было белым-бело как в детстве. Мы выгаташили сани и пару раз съехали с горы. Но всё было не так как прежде. Ухабы не подбрасывали. Восторг не появлялся, и орать никаких резонов не было.

Правду говоря, санки в нашей зимней жизни были всего лишь эпизодом. Подлинным событием сезона, конечно, был каток. Праздник, который приходил с наступлением холодов. Ждали его с нетерпением и с надеждой вслушивались в прогнозы. В воздухе висел один вопрос: «Ну что там, залили уже или нет?»

Поход на каток был ритуалом. Он требовал коллективного исполнения. Мы сбивались в стайку и на «Динамо» обычно ходили вместе с девочками. Был ещё стадион Хрущёва, нынешний Олимпийский, но тот не был таким уютным, да и далеко от дома. Бывали мы там, если каток «Динамо» почему-либо был закрыт. Раздевалкой мы никогда не пользовались. Народу там всегда была чёртова уйма, толчея стояла невероятная, вдобавок никогда не было свободных мест. Проторчать в ожидании можно было битый час. Мы шли другим путём. С гардеробщиком ресторана «Динамо» общий язык был найден сразу. Чаевыми его особенно не баловали, и мы тут же договорились. За умеренную плату теперь можно было сваливать свои пожитки у него в закутке без всяких церемоний. Гардеробщику перепала лишняя копейка, да и мы были не в накладе. Правда, до льда приходилось топтать в коньках по асфальту. Зато никаких очередей. Раздевайся и одевайся в любое время да ещё под ресторанный оркестр. Сверху доносилось «Мне декабрь кажется маем» Глена Миллера. А мы, неторопливо шнуруя ботинки, чувствовали себя почти как в Солнечной долине. На катке была музыка советская типа «На крыльчке твоём, каждый вечер вдвоём». Популярной тогда была «Свадьба с приданым» с молодой Верой Васильевой. Стоило только услышать знакомые звуки, как душу охватывало особенное состояние. Яркий свет и плавное скольжение придавали ощущениям чувство полёта и необыкновенной лёгкости. На уроках только и было разговоров, что о катке. Самой большой энтузиасткой катания была малая Иннка из соседней женской школы. Она была небольшого роста и необычайной худобы. Просто-таки диспропорция. Юркая и смешливая, Иннка постоянно подхихикивала над собой. Чтобы

опередить насмешки других, она подыгрывала своей комичной внешности, словом была настоящим клоуном в юбке. Каталась она ужасно. Корова на льду могла вполне составить ей компанию. Как человека без слуха и голоса постоянно тянет петь, Иннка какая-то сила свыше прямо-таки толкала на лёд. Она не могла жить, чтобы хоть раз в неделю не опутить под ногами его скользкую поверхность. Может она воображала себя Соней Хени, одиннадцатикратной чемпионкой мира по фигурному катанию. У неё был недостаток кальция в организме. Кости её были хрупкими как фарфор. Ничего не помогало ни мел, ни толчёная яичная скорлупа с лимоном. Раз в сезон она должна была обязательно что-нибудь сломать — руку, ногу или, на худой конец, палец. Это было что-то вроде жертвоприношения. Без него Иннка находилась в состоянии ожидания и постоянной тревоги. Как только всё положенное свершалось, она моментально успокаивалась. После двух-трёх недель гипса она снова появлялась на катке и скользила по льду отчаянно и бесшабашно вопреки всем правилам и науке. Ничего хуже уже случиться не могло. Самое удивительное, что так оно и было.

По радио регулярно раздавались предостережения об опасностях «паровозика». Это когда каждый хватается двумя руками за талию предыдущего, а потом все синхронно разгоняются как можно быстрее. На вираже хвост обычно заносило. Колонна превращалась в бредень, который с гиканьем и криками сметал на своём пути всё. Без Иннки «паровозик» был не «паровозик». Она обязательно должна была встроиться в самое опасное место и неслась со всеми, пока не образовывалась куча-мала. Её всегда приходилось извлекать из-под самого низа не без усилий. Если это было после гипса, за неё можно было быть абсолютно спокойным. Дважды снаряд в одно и то же место не падал. Но если это было до того, опасения за иннкины конечности зачастую были не напрасными. Тогда её тащили в травм-пункт, а катание продолжалось своим чередом.

Иннкин отец, такой же щуплый, как и дочь, был первой скрипкой симфонического оркестра. Жизнь меня столкнула с ним позже, когда я уже работал на киностудии. Иногда мы записывали оригинальную музыку. И он частенько суетился в редакции, вёл переговоры о количестве инструментов, репетициях, времени записи. Для музыкантов это был левый заработок, и они согласны были играть даже ночью, лишь бы потом развезли по домам. Музыкальным редактором был Яша Цегляр. В композиторах он ходил ещё со сталинских времён. Пописывал песни на случай. Разрешился даже парой оперетт. После войны композиторские вакансии пустовали. Кого убили на фронте, других пустили ко дну как формалистов и космополитов. В песенниках был острый дефицит. А на безрыбье и рак рыба. Яшины песни шли за милую душу. Правда, на слуху они долго не задерживались. Как утверждали злые языки, их исполняли дважды — в первый и последний раз. Завистники есть завистники! Но то, что билеты на его музыкальные комедии давали в нагрузку к «Весёлой вдове» и «Сильве» — неоспоримый факт. Парадоксом времени были пустые залы при кассовом аншлаге. Как бы там не было, а репутация композитора утвердилась за Яшей бесповоротно. В брежневские времена его творческий родник иссяк, и он окончательно осел на нашей студии. На время отпуска его всегда замещал иннкин отец, и тогда первая скрипка являлась на студию каждый день по долгу службы. Вообще Яша был крепкий мужик и дожил до глубокой старости. Ещё в начале двухтысячных шумно справлял очередной юбилей. А иннкин отец ушёл из жизни рано. Рассказывали, когда он умер, к гробу приходили скрипачи и по очереди играли у изголовья. Это рвало душу вдове, и она безутешно

рыдала. Я никогда не сознавался, что хорошо знал дочь первой скрипки в детстве. И ни о чём его не расспрашивал. Как-то всё откладывал. А потом было уже поздно. Как сложилась иннкина жизнь, осталось тайной.

Мой молодой гуру видит наше прошлое без сантиментов и умеет разложить всё по полочкам. Но и он не отрицает божественного начала. Правда, судит о нём иначе. Во вселенских масштабах категорий добра и зла не существует. Бог представляется ему в виде гигантского сгустка энергии, постоянно выплёвывающего и поглощающего конденсат материи. Тот, что устойчивее и может продержаться подольше, реально сущее, и есть истинное, добро с человеческой точки зрения. Все другие варианты, неустойчивые, без будущего, возникающие и тут же гибнущие есть неистинное, зло со знаком минус. Антропоморфная форма Творца в виде человека — всего лишь адаптация божественной идеи для черни. Это знал и Моисей. На горе Синай ему и в самом деле было дано узреть божественный лик, и он ему ужаснулся. Для человеческой малости бесконечно творящий и разрушающий, сияющий нестерпимым светом Бог, лишённый человеческого облика, непостижим. Пророк не рассказал своему народу правды, нашёл подходящий камень и тут же изваял на скрижалях правила общежития — проверенный временем тысячелетний опыт выживания, выдав его за божьи заповеди. Лишней информацией отягощать стадо не стоило. С той поры по этим заветам и живём. Ничего лучшего за пару тысячелетий придумать не удалось, хотя и очень старались.

С его доводами трудно не согласиться. Разумом я принимаю и хайтек, и все самые продвинутые интерпретации вечных истин, но сердце мое навсегда остаётся там в моём времени.

Каток завершился королевским пиршеством. По дороге домой все без исключения заглядывали в забегаловку «Соки и воды» на месте нынешней гостиницы «Крещатик». Здесь торговали газировкой и горячими пирожками, обжаренными в подсолнечном масле. Мы их иронично прозывали пирожки с котятами. Ливерная масса, подозрительная начинка, отдалённо напоминала мясо. Но какая это была вкуснятина! С пирожками мог сравниться только послевоенный гороховый суп с тушёнкой. Всё удовольствие стоило всего ничего. Четыре пирожка по четыре копейки и стакан воды с сиропом крушон — двадцать копеек без сдачи.

Дома я представлял себе опустевший каток. Электрик заходит в щитовую и поочерёдно привычным жестом вырубает рычаги рубильников. Поначалу гаснет одна группа прожекторов. Волоски ещё тлеют красным светом, но вот и они тускнеют. К ней присоединяется ещё одна, и вот уже весь каток постепенно погружается в темноту. Где только что бурлил праздник, теперь тишина и мрак.

Возможно так же поступает с нами и наш отец небесный. Невидимая рука обесточивает время. Память ещё светла, но и её затягивает пучина. Музыканты гасят свечи, собирают с пиюитров ноты, вкладывают инструменты в футляры и расходятся по домам. Как в «Прощальной симфонии» Гайдна. Вроде ничего и не было. Всё ушло и забудется. Кому какое дело до нас! У новых людей своя жизнь, свои заботы и своя мелодия. И только может быть через годы какой-нибудь пыливый ботаник по уцелевшим фрагментам начнёт склеивать былое, но это уже будет совсем не тот коленкор.



Моисей Борода

СВЕТ ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЫ

В ночь с десятого на одиннадцатое января 1950 года в столице созданного волей народов великого и могучего Советского Союза случилось необычное происшествие: кремлёвские звёзды, которые над нами горят и повсюду доходит их свет, перестали выполнять эту важную государственную функцию, поскольку, говоря непротокольным языком, потухли.

Первым заметил это необычное явление стоявший на посту у Боровицких ворот рядовой Алексей Кривошеев.

Рядовой Кривошеев, хотя ему не вменялось в обязанность разглядывать звёзды на кремлёвских башнях, и даже возбранялось смотреть на что-либо кроме машин, въезжающих на вверенный его бдительности участок, в ту ночь, за несколько минут до своей замены вскинул взгляд вверх — и почувствовал что-то неладное. Привычный его глазу свет отсутствовал. Чтобы проверить себя, рядовой Кривошеев, как он позже показал, опустил голову в уставное положение, на долю секунды закрыл глаза, потом открыл их и вновь посмотрел вверх. Сомнений быть не могло: видимые его взору звёзды не горели.

Верный во всём прочем уставу, рядовой Кривошеев немедленно доложил о происшествии начальнику караула. Последний, убедившись, что обнаруженное рядовым Кривошеевым явление продолжает иметь место, передал полученные сведения по инстанции дальше. Вышестоящая инстанция передала их ещё дальше, и в конце концов информация о поведении кремлёвских звёзд легла на стол заместителя начальника отдела по охране Кремля товарища Х. Единственным утешением товарища Х. было то, что обнаруженное рядовым Кривошеевым явление имело место уже после отъезда товарища Сталина на Ближнюю дачу, и даже после того, как товарищ Сталин, прибыв на дачу и поужинав, лёг в постель и заснул.

Раздумывая о том, что ему надлежит делать в сложившейся нестандартной ситуации, товарищ Х. связался со своим начальством, изложил суть дела и попросил указаний. Начальство товарища Х., выслушав его доклад, связалось по телефону со своим начальством, которое, обдумав ситуацию, дало совет позвонить в секретариат члена Политбюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) товарища Георгия Максимилиановича Маленкова, в это время ещё находившегося в своём кабинете, и попросить о возможности доложить об обстановке лично ему — что и было немедленно исполнено.

Член Политбюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) товарищ Георгий Максимилианович Маленков, расспросив о подробностях события, времени его обнаружения и особенно о том, продолжается ли обсуждаемое в беседе явление, поинтересовался в конце разговора, каков круг лиц, оповещённых о происшествии, и приказал никому более о данном деле не сообщать и обязать всех оповещённых к молчанию о нём под угрозой наказания за выдачу государственной тайны.

На этом телефонный разговор товарища Маленкова с его собеседником закончился, и последний, установив, что в данный момент его существованию ничего не угрожает, остался в своём кабинете ждать развития событий и дальнейших ука-

заний. Член же Политбюро ЦК ВКП(б) товарищ Георгий Максимилианович Маленков, ввиду того, что он не видел никаких путей ни заставить кремлёвские звёзды вновь гореть, ни установить, кто стоит за диверсией, вызвавшей прекращение этого горения, решил позвонить своему коллеге по Политбюро, товарищу Лаврентию Павловичу Берия.

Член Политбюро ЦК ВКП(б) товарищ Лаврентий Павлович Берия, узнав голос своего собеседника, заинтересованным тоном осведомился, что дорогого Георгия в такой час беспокоит, и услышав в ответ произнесённое задыхающимся голосом "Кремлёвские звёзды над нами не горят!", спросил, назвав своего собеседника простым именем "Егор", правильное ли время тот нашёл для чтения детских стихотворений. Его собеседник, бледнея от ненависти и желания всадить человеку, находящемуся на другом конце провода, пулю в горло, объяснил, спрятав ненависть в подвздошную область, суть случившегося и попросил совета в том: (а) как заставить звёзды опять светить и (б) кого подключить к поиску саботажников.

Товарищ Лаврентий Павлович Берия с невидимой собеседнику брезгливой улыбкой дал ему дружеский совет: прежде всего проверить чистоту рубиновых стёкол в каждой из звёзд, а также установить, работают ли освещающие звёзды прожекторы, и в случае необходимости заменить в них лампы.

В отношении поиска саботажников товарищ Берия, сославшись на то, что не имеет в настоящее время отношения к органам госбезопасности, посоветовал обратиться к министру этой отрасли товарищу Абакумову. В конце беседы товарищ Берия, извинившись перед товарищем Маленковым за то, что должен прервать их разговор ввиду совещания по атомному проекту, участники которого уже собрались в его приёмной, пожелал своему собеседнику успеха в важном государственном деле и, ещё раз заверив дорогого Георгия в своей всегдашней готовности ему помочь, положил трубку.

Член Политбюро ЦК ВКП(б) товарищ Георгий Максимилианович Маленков, коротко отдохнув от своей беседы с товарищем Берия и понимая, что в его расположении имеется для принятия всех мер и восстановления статус кво не более восьми часов до того времени как товарищ Сталин проснётся на своей даче и захочет узнать о положении дел на данную минуту, отдал распоряжение по проверке рубиновых стёкол и их чистке, а также по проверке освещающих их прожекторов. В отношении же поиска саботажников, действующих на территории Московского Кремля, товарищ Маленков, подумав немного, позвонил министру государственной безопасности СССР товарищу Абакумову и поручил ему в срочном порядке поискать сионистский след в данном акте саботажа и доложить ему о результатах в течении максимум трёх часов.

Министр государственной безопасности СССР товарищ Абакумов ко времени звонка товарища Маленкова успел уже вторично поужинать, и выпив за поздним ужином двести пятьдесят грамм марочного грузинского коньяка "ОС", готовился к ночному допросу арестованных два года тому назад агентов Джайнта и Сиона, действовавших под маской Еврейского Антифашистского Комитета и намеревавшихся захватить все посты в советском государстве, включая области литературы и искусства.

Размышляя о том, кого из этой сионистско-масонской банды он первым возьмёт в оборот, товарищ Абакумов установил, к своему сожалению, что кандидатом для этой процедуры может быть только женщина-академик Лина Штерн, поскольку остальные члены банды находились в состоянии, исключающем применение к ним личных физических возможностей товарища Абакумова. К разочарова-

нию товарища Абакумова, к означенной женщине-академику было запрещено применять телесные приёмы увещания ввиду её занятий вопросами старения, интересовавшими лично товарища Сталина. Последнее составляло, ввиду полученного товарищем Абакумовым задания товарища Маленкова, существенную проблему.

Оказавшись перед дилеммой: (*) доложить товарищу Маленкову о невозможности вскрытия сионистского следа в деле кремлёвских звёзд и (**) постараться получить необходимые сведения нефизическим путём — при всей ненадёжности последнего, товарищ Абакумов принял решение вызвать арестованную женщину-академика в свой кабинет и, действуя методом убеждения, прийти к нужному результату.

Приведенная в кабинет министра государственной безопасности СССР товарища Абакумова женщина-академик Штерн на вопрос министра о сионистском следе в деле негорения кремлёвских звёзд, ответила, что о данном явлении слышит впервые, так как находится в заключении в течение двух лет и не имеет никаких сведений о происходящем за стенами тюрьмы.

На обещание товарища Абакумова развязать ей, старой бляди, язык, арестованная в свойственной ей дерзкой форме общения с облеченными государственной властью товарищами отметила: "так говорит министр с академиком". На угрозу же применить к ней несловесные средства воздействия названная женщина-академик позволила себе дать своему собеседнику совет воздержаться от таких мер, равно как и от угрозы их применения, поскольку её исследования привлекли внимание высших руководителей страны.

На просьбу товарища Абакумова сообщить о деталях сионистско-жидовского заговора против советского государства и о том, каким образом жида могли бы вызвать затухание кремлёвских звёзд, арестованная ответила, что о каком-либо заговоре не имеет ни малейшего понятия, а употреблённое министром слово, начинающееся на "ж", ей незнакомо.

Видя такое отношение арестованной, сознающей своё особое положение, министр государственной безопасности СССР товарищ Абакумов, ограничившись замечанием, что он из этой старой жидовской бляди вытащит всё её нутро и повесит её на её собственных кишках, вызвал конвой и приказал отправить арестованную в камеру.

Тем временем поручение товарища Маленкова в отношении кремлёвских звёзд было выполнено. Проведенная со всей тщательностью проверка не выявила отклонений ни в плане чистоты рубиновых стёкол, ни в плане исправности прожекторов. Однако все попытки заставить звёзды светить оказались тщетными.

Понимая ограниченность времени, отпущенного ему на решение проблемы, товарищ Маленков попытался вновь связаться по телефону с товарищем Лаврентием Павловичем Берия, но телефон последнего не отвечал, из чего можно было заключить, что совещание по атомному проекту ещё не закончилось.

Размышляя над тем, что можно было бы ещё предпринять, член Политбюро ЦК ВКП(б) товарищ Георгий Максимилианович Маленков молил все ему известные силы помочь ему в его положении, одновременно думая о том, что единственным хорошим выходом для него было бы самому уйти из этого мира, избежав предшествующих недобровольному уходу физических процедур. Однако природное жизнелюбие товарища Маленкова одержало победу над его недостойной настоящего коммуниста, и тем более высшего партийного руководителя, мыслью.

В тот момент, когда эта победа была одержана, на столе товарища Маленкова раздался звонок одного из телефонов, и взволнованный голос заместителя ко-

менданта Кремля сообщил радостную весть, что кремлёвские звёзды, чуть было не поставившие под угрозу международный авторитет государства победившего социализма, вновь горят, простирая над миром защищающий его свет.

Товарищ Маленков поблагодарил доложившего за сообщение и приказал ему, во избежание последствий, строго следить за состоянием кремлёвских звёзд и немедленно докладывать лично ему о любых отклонениях от нормы в этом направлении. В заключение товарищ Маленков ещё раз напомнил о необходимости хранить как факт утраты звёздами их свечения, так и факт обретения оногo, в строжайшей тайне. На вопрос собеседника о мерах противодействия распространению соответствующих слухов в ареале Кремлёвского дворца и в особенности за его пределами, товарищ Маленков ответил, что этой проблемой будет заниматься специальный отдел ведомства товарища Абакумова.

Поскольку не могло быть и речи о том, чтобы скрыть от товарища Сталина имевшее место происшествие, товарищ Маленков доложил о нём, как только товарищ Сталин приехал в Кремль. Товарищ Сталин внимательно выслушал доклад, и спросил у товарища Маленкова, как тот относится к вопросу "Ведь, если звёзды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?" и кому этот вопрос принадлежит. Поскольку товарищ Маленков затруднился ответить, товарищ Сталин мягко попенял ему на недостаточное знание современной русской поэзии, а в заключение сказал, что поднимет на ближайшем заседании Политбюро вопрос о назначении товарища Маленкова ответственным за свет кремлёвских звёзд.

Происшедшее событие вызвало пристальное внимание высшего политического руководства страны, в силу чего вопрос о кремлёвских звёздах и их горении был рассмотрен на ближайшем заседании Политбюро ЦК ВКП(б). Результатом явилось следующее, приводимое ниже, постановление:

1. Считать прекращение горения кремлёвских звёзд наносящим существенный ущерб международному авторитету Советского Союза явлением, которое должно быть тщательно изучено, дабы не допустить его повторения.
2. Ходатайствовать перед Верховным Советом СССР о награждении рядового Кривошеева А.В., за проявленную им бдительность на страже интересов СССР, орденом Боевого Красного Знамени.
3. Создать при комендатуре Кремля специальный пост по охране света кремлёвских звёзд.
4. Возложить на члена Политбюро ЦК ВКП(б) товарища Маленкова Г.М. ответственность за свет кремлёвских звёзд и поручить ему общее руководство работами по изучению указанного света и предотвращению его угасания.
5. Поручить министру государственной безопасности СССР товарищу Абакумову В.С. выяснение вопроса о сионистском следе в прекращении света звёзд Кремля.
6. Поручить синоду Русской Православной Церкви разработать комплекс молитв о сохранении света кремлёвских звёзд и его восстановлении в случае нештатных ситуаций.

Такова история угасания и возрождения света звёзд Кремля, как она может быть представлена сегодня на основе имеющихся документов и свидетельств очевидцев.

Не вполне выясненным, правда, остаётся вопрос о том, почему кремлёвские звёзды, невзирая на безупречное состояние рубиновых стёкол, прожекторов и про-

чего, внезапно потухли, и каким образом они так же внезапно засветились своим прежним светом. Проведенные исследования не дали окончательного ответа на эти вопросы, позволив, однако, выдвинуть ряд гипотез.

По одной из них, отказ звёзд светить был следствием тайной молитвы раввинов об отнятии у кремлёвских звёзд света. О возможности существования такой молитвы рассказал своему следователю один из содержащихся в лефортовской тюрьме агентов сионистско-масонской организации Джойнт, долгое время выступавшей под маской Еврейского Антифашистского Комитета. К сожалению, показание это было дано непосредственно перед естественной кончиной подследственного, так что дополнительные сведения по поводу означенной молитвы от него получены не были.

Попытки добиться аналогичных показаний от других арестованных членов названного Комитета, равно как и попытки узнать от них тайную молитву раввинов о ДАРОВАНИИ света кремлёвским звёздам, не привели, несмотря на все усилия следователей, к успеху — в силу чего, а также по другим причинам, данные агенты Сиона, за исключением женщины-академика Штерн, были подвергнуты высшей мере социальной защиты. В принципе, учитывая отношение раввинов к советскому государству и символу его величия — Кремлю, существование еврейской молитвы о даровании света кремлёвским звёздам представляется маловероятным.

По вопросу о том, каким образом кремлёвские звёзды обрели вновь полагающийся им свет, существуют несколько конкурирующих предположений. Наиболее вероятными представляются на сегодня два из них.

Согласно первому предположению, душа радетеля о Москве как Третьем Риме, старца Филофея Псковского, облетая в ту ночь вверенную ей территорию, обнаружила беспорядок, и получив разрешение высших сил устранить этот беспорядок, устранила его. Гипотезе этой, правда, противоречит тот факт, что ни один из расположенных в округности Москвы радаров пролёт какой-либо души не отметил. Не исключено, однако, что чувствительность радаров оказалась для обнаружения души старца Филофея недостаточной.

Более вероятной представляется гипотеза, согласно которой кремлёвские звёзды над нами гореть заставил силой своего взгляда товарищ Сталин.

В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что время, когда произошло вторичное возгорание звёзд, а именно четыре часа четырнадцать минут пятнадцать секунд московского времени, в точности совпадает со временем, когда товарищ Сталин, пробудившись среди ночи и встав с постели, направил свой взгляд в сторону Кремля. Эта гипотеза поддерживается существованием иконописного портрета товарища Сталина на фоне двух изображений Кремля — одного с негорящими звёздами, и другого, на который обращён взгляд товарища Сталина — со звёздами горящими.

Но так или иначе, происшедшее событие, а именно победа кремлёвских звёзд над тёмными силами зла, со всей очевидностью показывает значимость их доходящего повсюду света как силы, несущей миру идеалы добра, человечности и справедливости и указывающей этому миру тот единственно верный путь, по которому он — хочет он того или не хочет — должен будет пойти.



Ян Пробштейн
УОЛЛЕС СТИВЕНС (1879-1955)
В ПЕРЕВОДАХ ЯНА ПРОБШТЕЙНА

Преобладание черного

Ночью у огня
Цвет кустов
И опавшей листвы,
Повторяя себя,
Ворвались в комнату,
Словно листья
Кружась на ветру.
Да, но нахлынул, словно лавина,
Цвет тяжелого болиголова,
И я вспомнил, как кричат павлины.

Цвета их хвостов
Были подобны листьям,
Вращавшимся на ветру,
На сумрачном ветру.
Они пронеслись по комнате,
Точно сорвались с веток болиголова
На землю.
Я слушал, как кричат они — павлины.
Был ли то крик протеста
Против сумрака или самих листьев,
Как пламя
Взвивавшихся языками,
Вращавшихся, как павлины
Вращают хвостами,
Превращаясь в шумное пламя,
Как в джугу болиголовы,
Полные павлиньего крика,
Или то был протест против болиголовов снова?

Я наблюдал из окна,
Как сгрудились планеты,
Словно листья,
Кружившиеся на ветру.
Глядя, как пришла ночь,
Ворвавшись, как цвет тяжелого болиголова,
Я испугался
И вспомнил крики павлинов снова.

Снежный человек

Нужно зимнее сознание,
Чтоб постичь мороз и ветви
Сосен в лапах снежной корки.

Нужно мерзнуть, чтоб увидеть
Можжевельник в льдистом ворсе
И косматый облик елей

Под январским солнцем дальним.
И не думать о страданье
В этом звуке скудных листьев, —

Это звук земли, вобравшей
Ветер, продувающий всё те же
Обнаженные пространства, —

Тот, кто слушает в снегах,
Сам ничто, он зрит ничто,
То, которого там нет, но и то ничто, что есть.

Питер Квинс за роялем

I.

Как пальцы извлекают звук из клавиш,
Рождая музыку, так эти звуки
Из духа ту же музыку творят.

Тогда и музыка — не звук, а чувство,
Влекущее сейчас и в этом зале
Меня к тебе, желаньем наполняя.

Твой стан представить в шелке голубом —
Есть музыка, как струны вождельня,
Разбуженные в старцах встарь Сусанной,

Когда в зеленый вечер, теплый, ясный
Она в саду купалась тихом, старцы
Глядели воспаленными глазами, —

Аккорды дьявольские сотрясали
Басы их жизнью, пульсом пищикато
Звучала в немощной крови Осанна.

II.

В воде зеленой, теплой и прозрачной,
Разнежившись,
Сусанна созерцала
Весны явленья
И, прозревая
Сокрытых образов струенье,
От музыки избытка
Она вздыхала.

В прохладе чувств избытых
Она стояла,
На берег выйдя,
И древнего боготворенья
Росой вечерней
Струились листья.

Когда же в травах тропкой
Идя, дрожала,
За ней ступали робко,
Как бы служанки, ветры
И шаль ее, шая, несли
И покрывало.

Вдруг на руке дыханье
Вспугнуло ночь,
Она оборотилась –
Цимбалов звон
И рев рожков
Со всех сторон.

III.

Потом, как тамбуринов звуки,
Явились византийцы-слуги,

Дивясь, о чем ей убиваться, –
Стояли немо рядом старцы.

Сродни был шепот слуг пугливый
Дождя припеву в косах ивы.

Но факелов явило пламя
Позор Сусанны пред глазами,

И вот, как тамбуринов звуки,
С ухмылками исчезли слуги.

IV.

Краса живет в сознание миг один:
Аркады слепок — лишь узор мгновенный, —
Но во плоти она вовек нетленна.

Пусть плоть умрет, — краса ее живет.
Так зелень вечеров, не угасая,
Как бесконечная волна морская,
Замрет на миг, так пред зимой в сутане
Отходит сад, склонившись в покаянье.
Так умирают молодые девы
Под плач подружек, скорбные напевы.

Из старцев похоть лишь извлек напев
Сусанны и угас он, отлетев, —
Остался Смерти саркастичный скрежет.
А ныне он в бессмертии звучит
Виолончелью памяти и нежит
Нас тайной, с чистотой навеки слит.

Смерть солдата

Жизнь сокращается, смерть ожидаема,
Как осенней порой.
Солдат падет.

Он не станет героем дня,
Не призовет с помпой
Обставить его уход.

Смерть абсолютна, без панихид,
Как осенней порой,
Когда уляжется ветер,

Когда уляжется ветер, а в небесах
Плывут облака тем не менее,
В своем направлении.

Восхитительный вечер

Очень славный вечерок,
Heгг Doktor, и этого довольно,
Хотя чело в твоих ладонях может печалиться

Из-за говорка света
(Пропуская рифы облаков):
Побагровела в саду трава;

Раскинуты руки елей;
Сумерки полны
Червивых метафор.

Парус Улисса

*Под силуэтом паруса Улисс,
Символ искателя, плывущего в ночи
В безмерности морской, свои читает мысли.
«Ибо я знаю, — сказал. — Я емь и право
Имею быть». И правя
Судно под звездным потоком, изрек:*

I.

«Если знание и то, что нам о предмете известно —
Одно, тогда для того, чтоб познать человека,
Надо им стать, для того, чтобы местность познать,
Надо с ней сжиться, — похоже, что так и есть.
А если познать человека значит и всё познать,
А если чувство места и есть то
Что нам о вселенной известно,
Тогда только знание — жизнь,
Единственный свет единого дня,
Единственный путь к единственной простоте,
Глубочайшему утешенью судьбы и мира.

II.

Есть одинокость людская,
Часть пространства и одиночества,
Где знание отринуть нельзя,
Где знание несокрушимо,
Светоносный спутник, рука,
Крепкая мышца, десница, могучий
Ответ, виявший и внемлющий глас,
Для которой наше право и право вне нас
В их единстве превыше всего —
Непобедимая сила,
Путь, предначертанный нам,
Мера ничтожности нашей
Залог величия нашего
И нашей мощи грядущей.

III.

Вот настоящий творец —
Одинокое дерево кольшет багрянцем ветвей —
Мыслитель, лелеющий золото мыслей в уме золотом, —
Лучезарных, возвышенно звонких:

Радости смысла, вырванной из хаоса,
Дарована форма. Тихий свет
Для такого творца — та лампада,
Что подобно ночному лучу,
Расширяет пространство вокруг —
Это сияние тьмы из ничего создает
Такие строения чёрные, такие всеобщие формы
И тёмные зданья, что диву даешься,
Глядя, как перст, не размером огромный,
Все отмечает мановеньем одним.

IV.

Безымянный творец неведомой сферы,
Неведомой, непознаваемой,
Некой данности, словно образ
Аполлона в естестве соприродном,
Образ Рая в краю Утра,
В средоточье себя, грядущего я,
Будущего человека в будущем месте,
Когда и то, и другое известно,
Освобожденье от тайны,
Начало конечного строя
И право человека быть собою,
Наукой, постигающей себя, как Абсолют.

V.

Глубокое дыхание — опора
Для красноречья — коль неотделимо
От знания бытие, то право знать
И право быть — одно. Мы входим в знание,
Когда мы входим в жизнь, и вместе с ней
Мы обретаем знание, но есть
Иная жизнь, лежащая за гранью
Сегодняшнего знания, — затмевает
Она сиюминутный блеск —
Светлее, отдаленней, совершенней —
Ее нельзя достичь, познать лишь можно,
Не волевым усилием обрести,
Но получить путем непостижимым,
Как благодать, ниспосланную свыше, —
Слепящие предчувствия блестяще
Разрешены ярчайшим откровеньем.
Нет карты Рая. Всемогущий Дух
Снисходит на освобожденных смертных.
Мы постепенно узнаем итог,
И каждый человек есть приближенье
К той цельности, когда из сора истин
Прозреньем созидает цельный образ.

В тот день, когда последняя звезда
Открыта будет, смертных и богов
Генеалогию отменят — право
Знать будет равнозначно праву быть.
В ничто сотрется древний символ: мы
Проникнем в сокровенный смысл
За символом, уйдем от пересудов,
Что наполняют гулом купола,
Туда, где в пгичьем гаме оживет
Легенда, словно в искре свет костра.

VI.

Властитель мира и себя, достиг
Или достигнет этого он через
Познание. Мозг его есть слепок мира,
А мир вращается в его сознание:
Сквозь ночь и день круговращенья в диких
Пространствах, вокруг других и солнц, и лун,
Вкруг лета, поперек ветров и зим,
Под стать другим круговращеньям, где
За кругом круг претерпевает мир
В прозрачной оболочке мозга смену
Комедий света и трагедий тьмы, —
Мир, порождение климата, проходит
Все циклы умонастроений мозга,
Цветенье образов его вобрав.

Наш разум обновляет мир в стихе,
В пассаже музыкальном или в мысли
Философа, находит новый смысл
Он в «Иоанн-родил-Иакова»,
В космических полетах, новизной
Меняющих привычный образ мира.

Для поколений мысли сыновьями,
Наследниками человека стали
Деянья разума — единственный завет
И достоянье. Строить жизнь он может
На истине. Что в силах ограничить
Его свободу, коль свобода в знанье?

VII.

Живущий в данности всегда сродни
Конкретной мысли, облеченной в плоть
Среди плантагенетовых абстракций,
Он — та единственная пядь, на кося
Огромные покоятся аркады
Пространства, достоверность ясной мысли,

Рождающейся из недостоверных
Систем, он — та определенность, что
Размоется в безмерности созвездий,
Как проявление строгого закона,
Сводящего к абстракциям конкретность,
Гиганту их на плечи взгромождая.
Абстракции, сей пгичий караван
Величественной матери, как бы
Есть некоего совершенства образ.

То не уловка ловкого поэта —
Сама судьба, что в истине живет.
Нас покоряет вкрадчивость конца.

VIII.

Каков сивиллы образ? Нет, не той,
Не вознесенной и не осенённой
Красой росистых красок соразмерных:
Блистающий в святилище на троне,
Великолепный символ, осиянный
Аркадой радуги, являясь нам,
Венцом и скиптром поражает дух, —
Скипетродержица высоких жизней,
Их средоточье, лучезарный смысл.
А эта — воплощение себя,
Душа-сивилла, чей алмаз бесценный
Есть нищета, сокровища ее
Сокрыты в средоточии земли,
Сей клад — нужда, а посему и образ
Сивиллы, как слепец, наощупь форму,
Убогую, хромую вечно ищет:
Рука, спина, мечта невзрачны так,
Что и не вспомнишь, — столь неузнаваем,
До дыр, в ничто изношен прежний образ.
Ребенок спит и видит жизнь во сне,
И на дорогу женщина глядит.
Когда от этого зависит жизнь,
Они должны воспользоваться правом,
Дает нужда им это право, выдыхая,
Дать имя категориям суровой
Необходимости, наречь их — значит
Создать опору, право опереться,
А значит, право знать свое спасенье,
Посредством знания своего достичь
Иных пределов, плоскость ту, откуда
Блистающая женщина видна
В полнейшем одиночестве, она
Между людей и все ж отчуждена

От человеческого, неземная,
Все боле отдаляясь, застывает.
И все ж, досель непознанное нами,
Нечеловеческое наших свойств,
Известное в неведомом пребудет
Нечеловеческим лишь краткий миг».

*Казалось, что дыханьем монолога
Просторный парус оживил Улисс,
И парус тайной трепетал, как будто
В другую ночь другой вознесся парус,
Ночь рассекая, как морской простор,
И сгусток звёзд в ночи над ним повис.*

Ребёнок, заснувший над собственной жизнью

Среди знакомых тебе стариков
Есть безымянный, погружён
Он в думу тяжкую о всех и вся.

Они ничто вне мирозданья,
Сего единственного разума.
Он изучает их извне и знает изнутри,

Лишь он один их жизнью управляет,
Далёк, и всё же близок, чтобы пробудить
Над изголовьем струны нынче ночью.

Первое тепло

Интересно, жил ли я, как скелет в подполье,
Пытая реальность вопросами,

Земляк всех костяков земли?
Сейчас здесь тепло, о котором я позабыл,

Становится частью реальности, частью
Пониманья реальности,

И стало быть, вознесеньем, ибо я жил
В том, что могу потрогать, ощупать до чёрточки.

Покидая комнату

Ты говоришь. Молвишь: Черты сего дня —
Не скелет, извлечённый на свет из чулана. И я не живой труп.

Тот стишок об ананасе, или тот
О ненасытном уме,

Тот о правдоподобном герое, или тот
О лете, — не такие, что может придумать скелет.

Интересно, жил ли я как в подполье скелет,
Не веря в реальность,

Земляк всех костяков земли?
Сейчас здесь снег, о котором я позабыл,

Становится частью реальности, частью
Пониманья реальности,

И стало быть, возвышеньем, ибо я жил
В том, что могу потрогать, ощупать до чёрточки.

И все ж, ничто не изменилось, кроме
Нереального, словно ничего вообще не изменилось.

Реальность есть творенье августейшего воображенья

В прошлую пятницу, при полном свете пятничной ночи,
Мы поздно ехали из Корнуэлла в Хартфорд домой.

Та ночь не была твореньем стеклодувов из Вены
Или Венеции, недвижно собиравшая время и пыль.

Был хруст силы мельничных жерновов
Под западной вечерней звездой.

То была сила славы, осенявшая вены,
Пока все рождалось, двигалось и исчезало,

Возможно, вдали — превращенье иль пустота,
Зримые превращения летней ночи,

Вытяжка серебра, обретавшая форму,
Но вдруг отринувшая себя самое.

Зыбко вздымалась массивная зыбь вещества.
Ночное лунное озеро не было ни воздухом, ни водой.

Мифология есть отражение местности

Мифология есть отражение местности. Здесь,
В Коннектикуте, мы никогда не жили во времена,
Когда мифы были возможны — Но если бы жили —
Возник бы вопрос об истинности образа.
Образ и создавший его должны быть одной природы,
Он есть продолжение природы творца,
Над ним вознесён. Это он, обновлён, юностью освежён,
И это он растворён в существе его местности,
В деревьях его лесов и в камне его полей
Или — из недр его гор извлечён.

Река рек в Коннектикуте

В краю стигийском есть одна река
Раздольная до чёрных водопадов,
Деревья ж без древесного ума.

На этом берегу реки стигийской
Играет солнце бликами на водах,
Ни тени, ни души на берегах.

Как ту последнюю, отметил рок
Её, но перевозчика здесь нет.
Он не согнётся, волны рассекая.

По виду невозможно распознать
Все это. Ослепляет колокольня
У Фармингтона и Хаддам сияет.

Второстепенность с воздухом и светом,
Абстракция, банальность здешних мест...
Зови рекой поток сей безымянный,

Пространством полный, временами года,
Фольклором чувств; зови его, зови,
Поток, текущий никуда, как море.

О простом бытии

Пальма на грани сознания,
За гранью мысли встает
В бронзовом блеске,

Златоперая птица
На пальме поет чужеземную песню,
Лишённую мыслей и чувств человеческих.

И ты понимаешь, что вовсе не разум
Приносит нам счастье или несчастье.
Птица поет, перья блистают.

Пальма растёт на краю пространства.
Ветер лениво колышет ветви.
Огончатое пичье оперенье качнулось вниз.

Планета на столе

Ариэль был рад, что сочинил свои стихи.
В них было запечатлено время
Или то, что ему полюбилось.

Другими твореньями солнца
Были пустыня и хаос,
И скукоженный пышный куст.

Он и солнце были одно,
И его стихи, хотя и его творенья,
Были также твореньями солнца.

Не важно, выживут ли они.
Важней, чтобы в них была
Неповторимость, личность,

Некое родство, пусть наполовину
Уловленное бедными словами,
С планетой, которой принадлежат.



Анри Труайя

РУКИ

Перевод Эдуарда Шехтмана

Отнюдь не по призванию Жинет Парпен в двадцати три года стала маникюршей в парикмахерском салоне на Елисейских Полях. Ею двигала надежда найти мужа среди клиентуры этого заведения — по преимуществу мужской. Прошло девятнадцать лет, но никто из мужчин, вверявших ей свои руки, не попросил руки её...

Так уж получилось, что, хотя она и не знала себе равных в обращении со щипчиками, пилкой и подушечкой для полирования ногтей, ей не хватало в лице того, что, я не знаю, право, почему, зажигает в мужчине кровь и склоняет его к мысли создать семейный очаг. Высокая, светлая, слегка сутулая, она походила на овцу своими далеко расставленными глазами, удлинённым лицом, мягкой чуть выступающей верхней губой и кротким взглядом травоядного существа. Её движения были неловки, голос дрожащим, она краснела по пустякам и почти не принимала участия в разговорах своих молодых коллег во время перерыва. Единственной уступкой легкомысленным нравам времени были пыльца пудры на её лице и капля другая духов «Фиалка» за ухом. До сорока лет она тяготилась невинностью, что, впрочем, предпочитала называть «моим одиночеством». Но теперь она смирилась со своей участью и даже помыслить не смела, что мужчина подойдёт к ней не за тем только, чтобы остричь ногти. Она имела постоянных клиентов, которые охотнее согласились бы отложить визит в парикмахерскую, чем доверить свои руки другой. А посещали «Кинг-Жорж-Куафюр» отнюдь не простые смертные: промышленники, кинематографисты, звёзды спорта, популярные политики. Любой из них знал в своей жизни десятки маникюрш. Но среди всех они избрали её — это было счастьем и славою Жинет. Когда звонил телефон и потом воркующим голосом мадам Артюр, кассирша, обращалась к ней: «Мсье Мальвуазен-Дюбушар придёт в полчетвёртого, вас надстроит?», она чувствовала нежное покалывание в сердце, как если бы её просили о любовном свидании.

Эта профессия, которую многие из её подруг считали скучной, казалась ей исполненной поэзии и таящей неожиданности. С неизменной готовностью она устремлялась к новому клиенту, садилась против него на табурет, водружала на подлокотник кресла чашку с тёплой водой, куда гость тотчас погружал пальцы. Собравшись будто в клубок, она работала сосредоточенно и молча, в то время как парикмахер, стоя над нею в белом халате и шелкая без усталости ножницами, толковал с клиентом как мужчина с женщиной. Вчерашние бега, политические новости, небрежные замечания о дожде, солнце, пробках на дорогах, сравнительных достоинствах машин разных марок — все эти разговоры долетали до неё вперемежку с кончиками срезанных волос. Время от времени смелый анекдот, который она понимала лишь наполовину, вгонял её в краску и заставлял нагнуть голову ещё ниже. Как и все служащие «Кинг-Жорж-Куафюр», она носила лиловый халат со своими

инициалами. Но тогда как иные из её коллег находили удовольствие в том, чтобы, рискованно наклоняясь, дать взгляду клиента нырнуть достаточно глубоко, она принимала надлежащие меры, чтобы ничей взор не проникал за допустимую границу. Брошь на шёлковой розетке стягивала вырез платья в положенном месте. Быть может, она и заполучила бы мужа, будь менее стыдливой? Иной раз такие мысли приходили ей в голову, но она утешала себя, что никогда не найдёшь счастья, наситую свою природу.

Ежедневное пребывание среди мужчин вносило в её жизнь некоторое безопасное возбуждение: она ни на что определённое не надеялась, но это ей было необходимо как наркотик. Она любила воздух парикмахерского салона, где сладкий аромат косметических средств смешивается с острым чуть затхлым запасом гаснущих сигар, любила блеск отвесной стены зеркал над чередой одинаковых раковин, розовые головы клиентов, что как некие колбасы, покоились на белых подставках, любила снование озабоченных учеников, пришёптывание душевых кранов — всю эту гигиеническую и коммерческую суету, прорезаемую порой телефонными звонками и хлопаньем двери, выходящей на улицу, где с грохотом проносятся автобусы.

Вечером, возвратившись в свою комнату на бульваре Гувийон-Сен-Сир, Жинет чувствовала себя усталой и слегка пьяной. Мужчины, которых она видела в течение дня, роились в её памяти. И совсем не лица их, а руки. Мягкие и влажные или сухие и худые, прошитые голубыми венами или усеянные коричневыми пятнами, иные со множеством волос на фалангах... Она могла бы дать имя каждой кисти. Отделённые до запястья, они плавали в воздухе, как медузы. Некоторые из них являлись ей в сновидениях. Но утром, стоило подняться с постели, как опять ум её был ясен и деятелен.

В одну из майских суббот Жинет, отдыхавшая после ухода клиента, увидела входящего в салон коротконового невысокого мужчину с заметным животиком и круглым лицом, гладким и бледным под ёжиком седых волос.

Чёрный костюм, твёрдый воротник, галстук тёмно-красного цвета и жемчуг в булавке подкрепляли впечатление благодушия и душевного равновесия, исходившего от всего его облика. «Важная птица», — решила Жинет. Во всяком случае она была уверена, что в «Кинг-Жорж» он пришёл в первый раз.

Мягким голосом он попросил для себя парикмахера и маникюршу. Мсье Шарль, который был как раз свободен, пригласил его сесть в кресло у окна. По знаку мадам Артюр Жинет со своим инструментом в маленькой корзинке, не мешкая, подошла к ним. Взяв руку неизвестного, Жинет удивилась: она была горячей, как у лихорадящего. Пальцы странным образом не соответствовали его внешности: худые, в узлах, с длинными желтоватыми ногтями, загнутыми к концу.

— Какя должна их срезать? — спросила она.

— Очень коротко. Как можно короче.

Она сразу догадалась, что с этими ногтями ей придётся повозиться. Но она верила в своё мастерство и качество своих инструментов. Она приступила к большому пальцу со щипчиками. К великому её изумлению стальные челюсти не смогли отхватить и кусочка ногтя. Жинет начала снова. Тот же результат.

— Да-а... — протянул мужчина, — они очень крепкие.

— Ничего, — пробормотала она. — Бывают всякие. Надо чуточку терпения...

Первые щипчики зазубрились, вторые затупились, наконец, третьи после десятка надавливаний надкусили края роговой пластинки. Мсье Шарль уже давно покончил с причёской клиента, а Жинет, напрягши спину, всё боролась с его руками. Никогда она и отдаленно не испытывала таких трудностей с ногтями мужчины. То, что с другими было искусством, здесь стало каторжной работой. Как бы там ни было, думала она, на карту поставлена профессиональная честь. Только победить! Один за другим рвались напильнички из спецкартона, но стальной ещё держался. Жинет орудовала им с таким усердием, что над ногтем поднималось блестящее облако, словно это шлифовали агат.

Закончив работу, она принесла чашку, наполовину заполненную кипятком, и собралась было разбавить его холодной водой, как клиент окнул туда руку.

— Осторожно! — вскрикнула Жинет. — Обожжётесь!

— Пустяки, — сказал он, даже не поморщившись.

Он шевелил пальцами в едва ли не кипящей воде и блаженно улыбался. Его маленькие глазки, утонувшие в припухших веках, напоминали каштаны — цветом и блеском. Жинет смотрела на него в растерянности. Уже в состоянии приятной усталости она снимала шпателем распаренную кожицу.

— Никогда меня не обслуживали так хорошо! — сказал неизвестный на прощанье.

Он дал ей столь щедрые чаевые, что она чуть не отвесила ему поклон.

Вечером в среду, когда Жинет трудилась над левой рукой мсье Креси (какое удовольствие приводить в порядок пальцы патриция!), дверь в салон открылась, пропустив улыбающегося мужчину с брюшком. Это был памятный ей клиент. Он что-то забыл? Как будто нет. Он направился прямо к кассе и попросил поставить его в очередь к м-ль Жинет. Она бросила взгляд на пальцы вошедшего и сразу заметила, что ногти были той же длины, что и в предыдущий визит. Всего только через три дня! Возможно ли это? Она продолжала работу с такой нервозностью, что мсье Креси, раненный очень скоро её неловким движением, вынужден был сделать ей внушение. Униженная таким образом впервые за свою долгую карьеру, она принялась ваткой промокать капли крови, выступившие на мизинце пострадавшего. Он ушёл с нахмуренным лицом, но это почти не взволновало Жинет: все мысли её были обращены к неизвестному, уже сидевшему напротив.

— Как быстро они у вас отрастают! — негромко сказала она, рассматривая руку, которую клиент уложил на подушечку.

— Время — понятие относительное, — откликнулся он с усмешкой, обрадовавшей круги морщин на его лице.

Она не поняла, что он хотел этим сказать; пожевав губами, выбрала самые прочные щипцы из своей корзиночки. Наученная опытом, Жинет на сей раз обрабатывала ногти уже не с такими трудностями. Через час они снова имели парадный вид. Округло обрезанные, подкрашенные розовым камнем, начищенные замшей, они отражали свет, как маленькие зеркала.

— До послезавтра, — бросил он, поднимаясь. Она посчитала это шуткой, но через день он снова был перед ней — с лукавой улыбкой в уголках губ и ногтями, выступавшими на полсантиметра над пальцами.

— Это неслыханно! — прошептала она. — Я ничего подобного не видела с тех пор, как занимаюсь своим ремеслом! Вы советовались с врачом?

— А как же! — воскликнул он. — С десятью, нет, с двадцатью врачами!

— И что они вам сказали?

— О, тут полное единодушие: это говорит об отличном здоровье!

Шутил ли он? Был ли откровенен? Он порождал в ней беспокойство и в то же время она испытывала живейшую радость, держа на коленях эту когтистую горячую руку. Он назвал себя в кассе: мсье Дюброей (фамилия, внушающая доверие, подумала старая дева) и попросил записать его к м-ль Жинет через два дня на полседьмого.

Если бы ногти этого человека не росли столь быстро, она могла бы посчитать, что он ведёт любовную осаду. Но каждый раз он возвращался лишь затем, чтобы сделать маникюр. Осознание этого успокаивало Жинет и одновременно вызывало досаду. Она говорила себе, что он растратит всё своё состояние на уход за ногтями. Хотя они виделись часто, Жинет не отваживалась спросить о его личной жизни, о делах.

А он, со своей стороны, был не из словоохотливых, большая часть её работы проходила в молчании. Это лишь усугубляло смущение Жинет.

Коллеги подтрунивали над ней. Называли мсье Дюброей её «клиентом № 1», «воздыхателем» и даже — это было так неумно и зло — её «врошшим ногтем». Она краснела, пожимала плечами, но, по правде говоря, ничего не льстило ей больше, чем этот взрыв интереса к её личной жизни — первый раз за всё время работы в парикмахерской салоне. Мысли о мсье Дюброе не покидали её ни днём, ни ночью. Она хотела бы посвятить себя исключительно уходу за его ногтями, не теряя времени на других клиентов. Когда он появлялся, у неё будто перехватывало на миг дыхание.

Когда он давал ей чаевые, у неё возникало желание отказаться от них, ибо именно себя она чувствовала обязанной ему.

С первого же дня она заметила, что он не носит обручального кольца. Но разве следует заключить из этого, что он холостяк; быть может, он не придерживается традиции. Впрочем, думала она, с какой, собственно, стати её интересует семейное положение этого господина. Не вообразила ли она, случаем, что обратила бы на себя его внимание, не будь хорошей маникюршей? Его интересовала профессионалка, а не женщина, вот так...

Однажды вечером, в начале восьмого, когда она уже кончила полировать его ногти, мальчик лет десяти, скромно одетый, пришёл за ним.

Едва они вышли на улицу, она буквально прилипла к стеклу, следя за ними. Их фигуры затерялись в толпе. Был ли это сын мсье Дюброе? Никогда она не осмелилась бы спросить его об этом, никогда!

Неделю спустя ребёнок пришёл снова, на этот раз раньше. Мсье Дюброе велел ему подождать и пока посмотреть иллюстрированные журналы.

В семь тридцать они вышли. Салон в этот день закрывался в то же время. Жинет, подгоняемая любопытством, устремилась за ними. Они вышли на Елисейские Поля, останавливаясь перед каждым кинотеатром. Внезапно она увидела, что они исчезли в дверях одного из них, рекламирующего шведский фильм, который молва называла шедевром: «Сладостные укусы любви». Странное зрелище для ребёнка, подумала Жинет. Без сомнения, мсье Дюброей был из отцов новой формации! Никакого морального направления, сомнительное братание вместо должной власт-

ности, отступление изнурённых наставников перед боевыми порядками поднимающихся поколений. В задумчивости постояв перед кинотеатром, она вдруг решила взять билет. Когда глаза привыкли к темноте, она довольно скоро увидела мсье Дюброя. Он сидел в середине зала, сын его — на ряд впереди, как раз перед ним. На экране разворачивались сцены торжествующей похоти. Поцелуи крупным планом, умело растянутые раздевания и экзотические сплетения обнажённых тел. Не дожидаясь конца, Жинет в негодовании удалилась.

На следующей неделе два раза подряд мальчик приходил в парикмахерскую, два раза подряд он покидал её вместе с мсье Дюброем и два раза подряд Жинет, незамеченная, шла за ними в кино, где показывали фильмы, смаковавшие разнузданность плотской любви. Она убеждалась, что сидели они всегда одинаково — мальчик впереди, мужчина сзади. Вконец озадаченная, она уходила раньше, чем вспыхивал свет. На третий раз что-то испортилось в проекторе, и лампы зажглись посреди сеанса. Мсье Дюброй внезапно обернулся и чуть ли не рядом увидел свою маникюршу. Ей показалось, что она умрёт со стыда. Не вообразит ли он, что она шпионит за ним или, того хуже, что она тоже охотница до таких скабрёзных картин. Свет снова погас — она чуть не бегом бросилась вон.

Два дня Жинет с беспокойством ждала прихода своего клиента. Когда он снова предстал перед нею — любезный взгляд и отросшие ногти — она успокоилась. Он спросил, как она нашла фильм.

— Довольно смелый, — ответила она и опустила веки.

И вдруг, собрав всю свою отвагу, обратилась к нему с вопросом, который не давал ей покоя:

— Этот мальчик, мсье... ваш сын?

— Нет, — покачал он головой, — сын моего консьержа.

Жинет не поняла, удовлетворена она этим сообщением или разочарована.

— Это так любезно с вашей стороны водить его в кино, — выдавила она из себя.

— Любезно и удобно, — сказал он ей в тон с лучезарной улыбкой.

— Почему же удобно?

Как вы можете видеть, роста я небольшого. А мне слишком дороги мои удобства, чтобы позволить какому-нибудь верзиле заслонять экран. Вот я и беру место для мальчишки как раз перед собой. И тогда, по крайней мере, я уверен, что досмотрю фильм до конца в отличных условиях.

Такой эгоизм её ошеломил. Этот человек был циником или слегка не в себе?

— Но вы не подумали, что навязываете этому бедняжке зрелище совсем не для его возраста? — не без робости заметила она.

— Никогда не слишком рано учиться жизни.

— Жизнь — не это...

— Ну нет, — возразил он, прищурившись и глядя ей пристально в глаза.

— Это! Только это! И это так забавно, верьте мне!

Сбитая с толку, она склонилась над рукой мсье Дюброя, и пилочка её замелькала с таким проворством, что железо только повизгивало в единоборстве с ногтем. Они долго молчали. Потом он спросил:

— Любите ли вы детей, мадемуазель?

— Да, — прошептала Жинет. И почувствовала, как слёзы наворачиваются ей на глаза. Она продолжала работать как одержимая. Лёгкий запах горящего рогового вещества достигал её ноздрей. Она боролась с охватившим её чувством восторга и потому, будто сквозь туман, услышала низкий голос мсье Дюброя:

— Не хотите ли вы стать моей женой?

Она вздрогнула. Страх и радость горячей волной затопили её сердце. Неспособная принять решение в эту минуту подлинного землетрясения, она пробормотала:

— Что вы такое говорите, мсье? Это невозможно!.. Нет! Нет!

Круглый, благодушный, мсье Дюброй, глядя на неё, улыбнулся глазами, губами, казалось, самой душой.

— Подумайте, — сказал он, вставая. — Я вернусь завтра.

В этот вечер он впервые не дал ей чаевых. Она всю ночь не сомкнула глаз, взвешивая за и против. После двадцати лет надежд на замужество имела ли она право отказаться от представившегося случая? Конечно, она не знает ничего о мсье Дюброе. Он немного беспокоил её тем тёмным, может быть, нечистым, что она угадывала в нём. Но Жинет говорила себе, что у каждой женщины в крови призвание переустраивать этот мир к лучшему и что она сумеет опилить зазубринки в характере Дюброя, как она умела опилить его ногти. Назавтра с холодной решимостью парашютиста, бросающегося в бездну, она ему ответила: «да».

Он предпочёл бы гражданскую церемонию, самую простую, но Жинет, получившая религиозное воспитание, хотела только церковного обряда.

Сын консьержа был их шафером. Приглашенных было немного. Со стороны её — кое-кто из парикмахерского салона, с его стороны — никого.

Во время службы вдруг гасли свечи, орган то и дело выходил из строя, на мальчиков-хористов ни с того ни с сего нападала неудержимая икота. Эти мелкие происшествия не помешали новобрачным принимать с сияющими лицами поздравления друзей.

В тот же день они отправлялись в свадебное путешествие. Мсье Дюброй отказался сказать Жинет, куда он её отвезёт. Она очутилась в роскошном отеле, в Венеции, толком не понимая, как туда попала. Окна комнаты выходили на Большой канал. На возвышении стояла кровать из золочёного дерева. В алябастровых вазах благоухали белые цветы. Восхищённая Жинет спрашивала себя, не видение ли это, навеянное одним из её любимых романов. Она повернулась к мсье Дюброю и, полная признательности, протянула к нему руки. Со сладким замиранием она ждала, чтобы он обнял её и отнёс на брачное ложе, устланное леопардовыми шкурами. Но он оставался неподвижен, с безвольно опущенными руками, лицом сумрачным и полным грусти. Вдруг он попросил у неё разрешение снять башмаки.

— Пожалуйста, друг мой, — сказала она.

Он разулся... Жинет увидела вместо ступней козлиные копыта. Ужаснувшись, она отвернулась, не проронив ни слова.

Утром она проснулась — умиротворённая, чувствуя приятную истому в объятиях мсье Дюброя, одетого в пижаму из ярко-красного шёлка. Быть женой дьявола — не так это и страшно, как казалось ей накануне. Все цветы в комнате из

белых стали красными. На кресле вместо маленького пеньюара, привезённого ею, красовался другой — превосходный, с золотистым кружевом. Распахнутые дверцы шкафов открывали взгляду, наверное, пятьдесят новых платьев, одно красивее другого. Вошёл слуга в ливрее, толкая к кровати столик на колёсах, где в серебряных вазах дразнили аппетит фрукты и пирожные. Когда настала очередь апельсина, они уже были во Флоренции. Потом мсье Дюброй ударял в ладони, и они оказывались в Пизе, Неаполе, Риме.

Картины, которыми днём Жинет восхищалась в музеях, ночью появлялись в её комнате. На заре они возвращались на свои законные места таким же таинственным образом.

После месячного путешествия супруги Дюброй вернулись в Париж и обосновались в частном отеле на границе Булонского леса. Жинет больше не вернулась в парикмахерский салон, но не отказалась тем не менее от своей профессии, потому что её муж один стоил десяти клиентов. Каждый вечер она подолгу ухаживала за его руками с невозможным тщанием, в котором профессиональное мастерство дополнялось супружеской верностью.

Мсье Дюброй отправлялся каждый день к десяти часам на свою работу и возвращался — минуту в минуту — в 18.30. В воскресенье, когда обстоятельства призывали его в город, он управлялся всегда так, чтобы к обеду быть дома. Никогда он не жаловался на свои дела, никогда не отказывал жене в деньгах. В этой атмосфере порядка и безопасности Жинет чувствовала, как расцветают в ней твёрдые буржуазные добродетели. Они жили счастливо и имели много детей с твёрдыми ногтями и раздвоенными копытцами.



Илья Корман

ТРОСТЬ ЛИХТЕНБЕРГА

О рассказе Андрея Платонова «Мусорный ветер».
С историческим вступлением и «собачьим» отступлением

Вступление: Неуслышанное предупреждение

«Уже марширует на учебн<ых> занятиях где-нибудь в Германии тот человек, который убьет меня», — написал Платонов в «Записных книжках» 1933 года. Надо сказать, что подобные настроения — антифашистские — отнюдь не были характерны для советского общества тех лет. Распространено было убеждение, что «немцы — культурная нация, и нечего их бояться». Вспомним яркий образ «деда Семерика» в кузнецовском «Бабьем яре». Многие помнили, что в 1918 году на обширных территориях, уступленных Германии по условиям Брестского мира, немцы вели себя вполне прилично — и отсюда делался всё тот же вывод: «нечего бояться».

Нам возразят: подобные успокоительные настроения были характерны для обывательской массы, а вот интеллигенция, мол, сразу распознала угрозу, исходящую от гитлеризма. Но увы! в интеллигентской среде ситуация была ничуть не лучше. Это ясно показывает «писательская листовка» 1934 года — документ, во многих отношениях замечательный. Приведём, с некоторыми сокращениями, текст листовки, выделив курсивом наиболее интересные строки.

Подпольная листовка, перехваченная сотрудниками секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР в дни работы Всесоюзного съезда писателей [20.08.1934]

Мы, группа писателей, включающая в себя представителей всех существующих в России общественно-политических течений, вплоть до коммунистов, считаем долгом своей совести обратиться с этим письмом к вам, зарубежным писателям. Хотя численно наша группа и незначительна, но мы твердо уверены, что наши мысли и надежды разделяет, оставаясь наедине с самим собой, каждый честный (насколько вообще можно быть честным в наших условиях) русский гражданин. Это дает нам право и, больше того, это обязывает нас говорить не только от своего имени, но и от имени большинства писателей Советского Союза. Все, что услышите и чему вы будете свидетелями на Всесоюзном писательском съезде, будет отражением того, что вы увидите, что вам покажут и что вам расскажут в нашей стране! Это будет отражением величайшей лжи, которую вам выдают за правду. Не исключается возможность, что многие из нас, принявших участие в составлении этого письма или полностью его одобрившие, будут на съезде или даже в частной беседе с вами говорить совершенно иначе. Для того, чтобы уяснить это, вы должны, как это [ни] трудно для вас, живущих в совершенно других условиях, понять, что страна вот уже 17 лет находится в состоянии,

абсолютно исключаящую какую-либо возможность свободного высказывания. Мы, русские писатели, напоминаем собой проститутку публичного дома с той лишь разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой; как для них нет выхода из публичного дома, кроме голодной смерти, так и для нас... Больше того, за наше поведение отвечают наши семьи и близкие нам люди. Мы даже дома часто избегаем говорить так, как думаем, ибо в СССР существует круговая система доноса. От нас отбирают обязательства доносить друг на друга, и мы доносим на своих друзей, родных, знакомых...

Вы устраиваете у себя дома различные комитеты по спасению жертв фашизма, вы собираете антивоенные конгрессы, вы устраиваете библиотеки сожженных Гитлером книг, — все это хорошо. Но почему мы не видим вашу деятельность по спасению жертв от нашего советского фашизма, проводимого Сталиным; этих жертв, действительно безвинных, возмущающих и оскорбляющих чувства современного человечества, больше, гораздо больше, чем все жертвы всего земного шара вместе взятые современники окончания мировой войны...

Почему вы не устраиваете библиотек по спасению русской литературы, поверьте, что она много ценнее всей литературы по марксизму, сожженной Гитлером...

Вы создаете у себя противоянные конгрессы и устраиваете антивоенные демонстрации. Вы восхищаетесь мирной политикой Литвинова. Неужели вы, действительно, потеряли нормальное чувство восприятия реальных явлений? *Разве вы не видите, что весь СССР — это сплошной военный лагерь, выжидаящий момент, когда вспыхнет огонь на Западе, чтобы принести на своих штыках Западной Европе реальное выражение высот современной культуры — философию Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.*

(Это примерно то, что утверждает Виктор Суворов. То, что ныне с таким трудом входит (не входит!) в сознание интеллигенции — что постсоветской, что западной — уже тогда, в тридцать четвертом, понимали и формулировали прозорливые и мужественные авторы листовки — И.К.).

То, что Россия нищая и голодная, вас не спасет. Наоборот, голодный, нищий, но вооруженный человек — самое страшное...

Вы не надейтесь на свою вековую культуру, у вас дома тоже найдется достаточно поборников и ревнителей этой философии, она проста и понятна может быть многим...

Пусть потом ваши народы, как сейчас русский народ, поймут всю трагичность своего положения, — поверьте, будет поздно и, может быть, неправимо!

Вы в страхе от германского фашизма — для нас Гитлер не страшен, он не отменил тайное голосование. Гитлер уважает плебисцит... Для Сталина — это буржуазные предрассудки. Понимаете ли вы все, что здесь написано? Понимаете ли вы, какую игру вы играете? Или, может быть, вы так же, как мы, простигаете вашим чувством, совестью, долгом? Но тогда мы вам этого не простим, не простим никогда...

====

Платонов: уже марширует тот, кто убьёт меня. Подпольные писатели: нам Гитлер не страшен, он уважает плебисцит.

Ну, если уж у подпольных писателей такая путаница в голове, то чего ждать от обывательской массы!

Словом, антифашистская литература была Стране Советов необходима, как воздух — но было её катастрофически, преступно мало.

Отчасти, быть может, это объяснялось тем, что такие понятия, как фашизм или нацизм, в марксистско-ленинской идеологии отсутствовали. Ленин, например, считал высшей стадией капитализма — *империализм*, а никакой не фашизм («Империализм как высшая стадия капитализма»). Германия же, *потерявшая колонии* и опутанная статьями Версальского договора, империалистической страной не была.

(В этом отношении более прозорливым оказался Джек Лондон, чей роман «Железная пята» (1908) предугадал некоторые черты тоталитарного, фашистского государства).

И всё же антифашистская литература — была! И здесь в первую очередь надо назвать имя Георгия Венуса, уроженца Санкт-Петербурга, этнического немца, несколько лет прожившего в Германии, чей роман «Стальной шлем» (1927) показывает становление германского фашизма.

И неудивительно (скорее, символично), что через одиннадцать лет после выхода романа его автор пал жертвой фашизма — советского.

Платонов написал «Мусорный ветер» летом 1933 года (посвящение с упоминанием Лейпцигского процесса — над «поджигателями рейхстага» — очевидно, добавлено позже. Так же, как сноски насчёт «смертной казни посредством топора и палача»), обращался с ним в различные московские журналы — безуспешно. В феврале 1934-го он послал рассказ М. Горькому:

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

При этом посылаю Вам свой рассказ „Мусорный ветер“ и прошу Вас прочесть его. В случае, если Вы найдете рассказ подходящим для напечатания, то прошу поместить его в альманахе „Год семнадцатый“.

Обращение мое непосредственно к Вам вызвано моим тяжелым положением и сознанием того, что Вы поймете все правильно. Обычно же я избегаю быть назойливым.

Если рассказ плох, то прошу вернуть его мне и он будет брошен. Искренне уважающий Вас

Андрей Платонов».

Горький ответил:

«...Рассказ Ваш я прочитал, и — он ошеломил меня. Пишете Вы крепко и ярко, но этим ещё более — в данном случае — подчёркивается и обнажается ирреальность содержания рассказа, а содержание граничит с мрачным бредом. Я думаю, что этот Ваш рассказ едва ли может быть напечатан где-либо. Сожалею, что не могу сказать ничего иного, и продолжаю ждать от Вас произведения, более достойного Вашего таланта».

В годы войны Платонов несколько раз пытался опубликовать рассказ, подвергнув его правке, снижающей экспрессивность и физиологичность, и изменив название на «В 1933 году (Повесть о судьбе одного западного человека)».

Платонов умер в 1951 году, не выполнив заповедь «В России надо жить долго». «Мусорный ветер» был опубликован в 1966-м году.

(См. [3], с. 341-343.)

«Бытие к смерти» физика Лихтенберга

В «Мусорном ветре» поражают сила и единство господствующего настроения. Если попробовать это настроение выразить словами, получится примерно вот что: в условиях гитлеровского режима желательна смерть, желательно старение — ибо оно ведёт к смерти; нежелательна жизнь, нежелательно всё, что способствует её продолжению.

Это настроение присутствует во всех эпизодах, оно их «формирует по своему образу и подобию». Вот, скажем, Лихтенберг выходит в город. День — воскресный, день семейного отдыха. Но Лихтенберг не видит гуляющих, не видит детей... Дети появятся в самом конце рассказа, и это будут мёртвые дети. Так надо, так правильно...

Больше того, «... он вошел в дом. Внутри дома никого не было, в запыленной постели лежал мертвый мальчик. Лихтенберг почувствовал в себе странную легкую силу...». Это присутствие смерти даёт ему силу, окрыляет его — смерти желанной, долгожданной...

Мотивы старения и усталости начинают звучать с первых же строк рассказа. «... к одиннадцати часам утра этот день уже *постарел*... от пылящей *ветхости* почвы... от *тления* всякого живого дыхания ... и летний день стал *смутным, тяжким и вредоносным* для зрения глаз».

Посмотрим глазами Лихтенберга на выходящих из церкви: «... из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки». А через абзац: «На крыльцо католического храма (той же церкви — *И.К.*) вышел римский священник... Затем из церкви появились старухи».

Священник, надо полагать, старше девушек. Но моложе старух. Стало быть, триада *девушки — священник — старухи* есть наглядная иллюстрация принципа *быстрого старения*.

(Самому Лихтенбергу — 30 с чем-то лет: «Он добрался до мертвой крысы и начал ее есть, желая вернуть из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности»).

Это с одной стороны. С другой же стороны, прихожанами церкви оказываются исключительно женщины — это во-первых, а во-вторых — эти женщины оказываются либо девушками, ещё не вступившими в брак («белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа»), либо старухами, уже не могущими рожать («старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства»). Женщин детородного возраста среди прихожанок нет.

Так это видит Лихтенберг, так устроены его глаза — вернее, так диктует ему его безумие. Здесь уместно привести цитату из [2]: «В "Мусорном ветре" торжествует и терпит крах всеильный и одновременно бессильный пол — пожалуй, нигде, ни в одном из "антисексусных" рассказов, ни в самой яростной публицистике начала 1920-х годов Платонов не писал с таким концентрированным отвращением и с такой брезгливостью о физической стороне любви, в своем отрицании ее дойдя до предела».

В воскресный день, день семейного отдыха с детьми — он не видит ни семейных пар, ни детей. Мужчины и женщины, которых он видит в городе, строго

отделены друг от друга: женщины выходят из церкви, мужчины устанавливают памятник Гитлеру и участвуют в митинге после установки.

Да, он «в упор не видит» детей и семейных пар, но он «внимательно и нежно» глядит на дерево, задаёт ему вопрос, он видит, как «живая моль улетела в сухую пустоту».

«— Кто ты? — спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку».

Похоже, что дерево понимает Лихтенберга и отвечает ему.

Что же спросил Лихтенберг? В чём смысл этого простого вопроса: кто ты?

Лихтенберг, по сути, спрашивает у дерева: «Друг ли ты мне?». И дерево отвечает: да.

Лихтенберг «дружит» с деревом, потому что оно не подвластно государственной лжи национал-социализма; он и в концлагере устраивается рядом с деревом: «Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для неопределённого продолжения своей жизни».

Может быть, и трость ему нужна лишь потому, что сделана из дерева?

Зачем физику трость?

Шатался по городу и репетировал.

Б. Пастернак

Да, действительно, то обстоятельство, что трость сделана из дерева, для Лихтенберга существенно. Но есть два более существенных обстоятельства.

Во-первых, трость нужна Лихтенбергу, чтобы казаться старым — иными словами, чтобы *быть ближе к смерти*.

Во-вторых, она нужна для героически-безумного акта: для нападения на памятник.

Дело в том, что Лихтенберг, судя по всему, *заранее* знал, что в воскресенье 16 июля на площади у собора будет установлен памятник Гитлеру, после чего состоится митинг. Он знал примерное время начала митинга, и решил совершить самоубийственный акт — напасть на памятник на глазах у тысяч национал-социалистов.

Лихтенберг обзавёлся тяжёлой тростью — орудием нападения (если только не обзавёлся ею ранее — для ускоренного старения), и, вероятно, обдумал речь, которую произнесёт перед толпой. Все якобы случайные, бесцельные хождения Лихтенберга по городу — на самом деле строго мотивированы. Случайно ли, что Лихтенберг оказался у «небольшой уличной церкви» как раз в момент выхода из неё прихожанок? Нет, не случайно, ибо таким образом он:

1. репетировал сцену у собора — *«мыслитель перед толпой»*;
2. присматриваясь к прихожанам (вернее, прихожанкам) католической церкви, он прощался с надеждой на то, что церковь может выступить против национал-социализма. Отметим, что и памятник будет установлен около *католического* собора.

«Альберт сел где-то в городе среди потоков жары» — почему сел? Просто потому, что ему так захотелось? чтобы отдохнуть? — да, вполне возможно, что эти «очевидные» причины имели место быть. Но главная причина была в другом: Лих-

тенберг *выждал время*, чтобы оказаться на площади к тому моменту, когда она заполнится зрителями («Из центральной улицы города вышла едиனுшная толпа — в несколько тысяч человек ... Толпа приблизилась к памятнику ...»).

Подойдя к грузовику, Лихтенберг произнёс примерно ту же фразу, какую произнесёт немного погодя перед памятником, и ударил машину тростью, как немного погодя ударит памятник. Иными словами, Лихтенберг *репетировал нападение на памятник*. Лихтенберг безумен, но он остаётся мыслителем — с тренированным умом, способным придумывать яркие речи, расчислять время и репетировать сцены.

Если считать, что воскресная служба в церкви заканчивается к полудню («Звонили колокола римской веры»), то выстраивается такая последовательность действий Лихтенберга:

1. Вскоре после 11-ти утра: пробуждение;
2. ударяет жену тростью и выходит из дома;
3. 12-00: оказывается у «небольшой уличной церкви» в момент выхода из неё прихожанок и священника — репетиция сцены *мыслитель перед толпой*;
4. садится «где-то в городе среди потоков жары», рядом с «дружественным» деревом — чтобы выждать время;
5. идёт на площадь у собора, где началась установка памятника;
6. ударяет тростью по радиатору грузовика (вероятно, одного из шести, доставивших на площадь памятник и оборудование для его установки) — репетиция нападения на памятник;
7. свален наземь ударом шофёра — репетиция того, что с ним сделают национал-социалисты;
8. встаёт лицом к ветру и вслушивается в звуки, доносимые из *южных стран* (см. ниже раздел «**Южный магнит**»): т.е. набирается сил для решительного, бесповоротного поступка — с одной стороны, а с другой — опять-таки выжидает время;
9. произносит речь (и тем самым привлекает внимание тысяч людей);
10. нападает на памятник.

Жена-афганка

Почему Платонов сделал жену Лихтенберга — афганкой «из русской Азии»? Ответа у нас нет, мы можем только гадать.

Быть может, афганское происхождение Зельды есть метастаза «восточного» эпиграфа рассказа. А может быть, Платонов каким-то образом знал или предчувствовал, что ему предстоят две поездки в Туркмению — одна в 1934-м году, другая в 1935-м (между прочим, он давно, ещё с двадцатых годов, интересовался ирригацией в Туркестане). После первой поездки он напишет «Такыр», после второй создаст шедевр не только русской, но и мировой литературы — повесть «Джан».

Как бы то ни было, ясно одно: если бы рассказ писался на советском материале, то афганское происхождение жены было бы свидетельством в пользу социализма: раскрепощённая женщина Востока становится полноправным членом общества, женою уважаемого учёного. Но действие происходит в Германии, при нацизме, и потому — всё наоборот, всё плохо: учёный — безумен, а афганская женщина, которой вроде бы

пристало быть скромной, а также терпеливой и выносливой, оказывается «хищной» и сладострастной («эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания...»). Более поздние «Такыр» и «Джан» полностью противостоят такому образу восточной женщины.

Южный магнит

Быть может, наличие жены-афганки станет понятнее после такого фрагмента из [2]: «Если верно, что русских писателей можно условно поделить на тех, кому ближе Север или Юг, лес или степь, горы или равнина, то Платонов принадлежал к числу вторых. Все его развитие в литературе было, не считая, конечно, Москвы, движением от родной Воронежской земли в страну полуденного солнца, не случайно именно этим вектором определялся путь героя «Ювенильного моря»: «День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза». Так шел и Андрей Платонов: от «Епифанских шлюзов» к «Чевенгуру», от «Чевенгура» к «14 красным избушкам», от «Котлована» к «Такыру», от «Технического романа» к повести «Джан» и «Македонскому офицеру», от степи — в пустыню, от чернозема — к пескам».

Всё верно, только стоит ещё добавить «Песчаную учительницу», предшественницу «Такыра» и «Джана».

Интересно, что в предвоенных антифашистских рассказах, «Мусорном ветре» и «По небу полуночи», где действие происходит в Германии и местные географические и бытовые реалии прописаны весьма условно и нечётко, «и потому не могут защитить и удержать главного героя» — именно в этих рассказах ощущимо как бы наличие некоего южного магнита, «разворачивающего героя к югу».

«Мусорный ветер»: «Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию». И далее: «В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека... Лихтенберг повернулся лицом навстречуветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря».

А вот устанавливается памятник Гитлеру: «Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета».

«По небу полуночи»: «Зуммер вышел из штаба на улицу южнобаварской деревни». В штабе он получил приказ лететь в Испанию, то есть на юго-запад.

Короче говоря, платоновские герои-антифашисты «развёрнуты к югу» — и, возможно, поэтому жена Лихтенберга — афганка: «её принесло южным ветром».

Посягательство — и отпор

Но первый удар тростью достаётся не памятнику, не грузовику, сей памятник привёзшему, а — Зельде. Кажется, никто из писавших о «Мусорном ветре» не задавался вопросом, почему это так.

Но как же случилось, что интеллигент, противник насилия в быте...

Даже с учётом безумия поступок Лихтенберга не до конца понятен. Лихтенберг ударяет жену не тогда, когда она его «пилит» — или иным способом проявляет себя как «сволочь безумного сознания» — а наоборот: когда она проявляет заботу о муже.

«Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа...

— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь...

Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился...

— Вставай, Альберт... У меня есть две картошки с ворванью...

А вот как воспринимает это супруг:

«Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия».

Между тем, всё легко объясняется, если учесть, что Лихтенберг постоянно держит в уме предстоящий подвиг: нападение на памятник. Проявляя заботу о супруге, Зельда расслабляет его и ослабляет его решимость — по существу, *посягает на подвиг*. Вот этого-то Лихтенберг и не может снести.

Неожиданно-жестокие слова обратил Иисус к Петру, когда тот попытался отговорить Учителя от намерения идти в Иерусалим и там пострадать: «отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазни!». И Зельда, и Пётр посягают на подвиг, задуманный ближним — на самое святое, что у ближнего есть и может быть. И потому реакция ближнего столь сурова.

Интересный множитель

«С силой своего тела, *умноженного на весь разум*, Лихтенберг ударил дважды палкой по голове памятника». Но ведь Лихтенберг, кажется, безумен? И умножать следует на *безумие*, не так ли?

Но в том-то и дело, что внутри лихтенберговского безумия скрывается разум, причём даже не личный разум Лихтенберга, а — разум человечества. Сказано: «С силой *своего* тела». Но не сказано: «умноженного на весь *свой* разум».

В «Мусорном ветре» *носителем разума оказывается безумец*, и это есть «перевернутое изображение» той исторической ситуации, когда окружающий героя мир «сошёл с ума», став национал-социалистским.

Зеркальный день

Последний день жизни Лихтенберга (в рабочем посёлке) во многом похож на «первый» день (16 июля), причём иногда эта схожесть — «обратная» (как бы в зеркальном отображении).

1. Первый день рассказа имеет чёткую календарную привязку (16 июля), а последний — вроде бы нет, но её можно легко обнаружить. «*В конце лета*, во время очередной ночи» Лихтенберга и Гедвигу Вотман приводят на суд. «*Наутро* Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок ... Начинался *осенний* светлый день». И так,

суд состоялся *летней* ночью, а *наутро* день был *осенний*. Стало быть, суд состоялся 31-го августа, а в посёлок Лихтенберг пришёл 1-го сентября. Как видим, первый и последний дни рассказа имеют чёткую календарную привязку: 16/07 — 01/09, но у первого дня она выставлена напоказ, а у второго — подлежит выявлению.

(Можно предположить, что время действия рассказа примерно совпадает со временем его написания — с двумя оговорками: о посвящении и о сноске. Во всяком случае, такому предположению ничто не противоречит).

2. Одинаково ведёт себя светило. День первый: «Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день». День последний: «издалека поднималось солнце в свою высшую пустоту».

(Вообще надо заметить, что рассказ гораздо более строго структурирован, чем это представляется при первом прочтении. Первоначальное читательское впечатление формируется как бы изнутри лихтенбергского безумия, и потому М. Горький пишет о «мрачном бреде», а Н. Брагина — см. [6] — о сновидении. Н. Брагина исходит из того, что «Рассказ зыбок по форме ... Ни территориальной, ни временной логики в тексте нет». Неудивительно, что она приходит к странному и ошибочным выводам — например, о том, что Зельда реально не существует, а является лишь элементом сновидения Альберта).

3. В посёлке тоже установлен памятник Гитлеру, и тоже в форме бронзового полутела: «Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело». Похоже, что этот памятник есть точная копия памятника у собора. «Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения». Не изменилось ли выражение после ударов тростью?

4. Из городского дома Лихтенберг *уходит*, а в поселковый *приходит*.

5. В городском доме еда есть («две картошки с ворванью»), но Лихтенберг от неё *уходит*. В поселковом доме еды нет, и Лихтенберг берётся её приготовить (мясо своего тела) — и опять-таки не для себя, а сам *уходит* во двор — умирать.

И последний, предсмертный взгляд Лихтенберга обращён — к памятнику: «он слышал, как впитывалась его кровь в ближнюю сухую почву. Но он еще думал; он поднял голову, оглядел пустое пространство вокруг, *остановил глаза на далеком памятнике* спасителю Германии (то есть, мысленно *воспроизвёл* самый главный поступок своей жизни) и забыл себя — по своему житейскому обыкновению».

Похоже, что это *удвоение* предметов и поступков есть следствие своеобразной театрализованности поведения Лихтенберга: сперва *отрепетировать* поступок, а затем его *совершить*.

Жизнь и смерть световой горы

«Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего...». Выражение *стихия света* есть вариант (инобытие!) другого выражения — *световая гора*, а оно, в свою очередь, означает фамилию главного героя: *Лихтенберг*. Гора-Лихтенберг просыпается и начинает действовать и мыслить 16 июля, в высшей точке лета. А умирает — 1 сентября, с приходом осени.

Поэтому можно считать, что «Мусорный ветер» есть рассказ о приходе (пробуждении) и уходе (смерти) страдающего и мыслящего языческого божества. Вот только уход этот — окончательный. «*И воскресенья — не будет*», — сказал поэт.

Отступление: от человека — к собаке

Отметим очень характерный для «Мусорного ветра» ход мысли: «бывшая женщина» — «теперь она зверь». В рассказе чётко звучит мотив одичания, *обратной эволюции* — от человека к животному (и даже ещё дальше: к моли и к растению: «Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту». — *«К кольцецам спущусь и кусоногим»*). «Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на её щеках превратился в шерсть...».

«Я не нахожу простого человека, я вижу происхождение животных из людей» — возглашает он на площади. То же и в помойной яме: «Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. *Лихтенберг сразу понял, увидев эту собаку, что она — бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного*».

Мотив превращения человека в собаку — под давлением жестокого государственного режима — мы находим и в более поздних произведениях, создатели которых не были связаны ни с Платоновым, ни друг с другом. Так, в антифашистском романе «Крест и стрела» американского писателя Альберта Мальца молодой пастор Фриш, протестовавший против подчинения церкви национал-социалистской партии, насильственно превращается в собаку: «Его поставили под фонарем, чтобы он был виден всем ... Ему обрили голову. Разбили очки, чтобы лишить его последнее появление на людях всякого достоинства ... Его принудили стать на четвереньки. Если он пытался подняться, его пинали тяжелыми сапогами ... он был настолько измучен, что не мог даже плакать, не ощущал ничего, кроме ужаса, и ползал, ползал по кругу на четвереньках, смешно выпячивая тощий зад, — ползал и лаял по-собачьи».

В широко известном романе Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку» сокамерник Отто Квангеля, бывший эсэовец, попавший в тюрьму за превышение полномочий, становится собакой добровольно: «Карльхен Цимке, без малейшего содрогания отправивший на тот свет множество людей, теперь дрожал за собственную драгоценную жизнь, и вот в его убогой голове родилась догадка, что можно увильнуть от расплаты за свои деяния, прикинувшись помешанным. Он надумал разыгрывать роль собаки ...».

Обычно он бегал на четвереньках вокруг всей камеры, лаял, лакал из своей миски, как собака, и постоянно норовил укусить Квангеля за ногу ...

Когда же Квангелю изменяло терпение, «пес» набрасывался на него, валил на пол, хватал зубами за горло, и никогда не было уверенности, что игра не примет серьезный оборот».

В повести Георгия Владимова «Верный Руслан» инструктор-кинолог — опекун и дрессировщик лагерных сторожевых собак — натуральным образом (в отличие от Фриша и Цимке) и, так сказать, *сознательно* сходит с ума и превращается в собаку по кличке Ингус:

«Так и не дождавшись своего любимца (убитого при подавлении «собачьего бунга» — *И.К.*), инструктор вот что придумал: стал сам изображать Ингуса ... и все больше эта игра захватывала инструктора, все чаще он говорил: «Внимание, показываю!», и показывал, как если б это делал Ингус, и все лучше у него получалось, — а однажды он взял да и проделал это в

караулке: о чем-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на Главного. Так, с лаем, он и вышел в дверь, открывши ее лбом. Хозяев он рассмешил до слез, но когда они отреготались и решили все-таки поискать инструктора — где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабинку и вызверился на них с порога, рыча и скаля зубы.

— Я Ингус, поняли? Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковод, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав! Гав!».

Руслана» стал рассказ «Брут» чешского писателя Людвика Ашкенази. В этом рассказе пса, отобранного у пожилой женщины, обучают быть сторожевым псом в концлагере, куда в конце концов пригоняют и бывшую владелицу Брута.

Сам Владимир, рассказывая об истории создания «Верного Руслана», ничего не говорит о «Бруте». Но сходство двух произведений — уж там случайное или нет — очень заметно. Оба написаны о сторожевых лагерных псах, и каждое — как бы «от лица» своего пса).

В романе «Адам, сын собаки» израильского писателя Йорама Канюка комендант концлагеря заставляет заключённого, в прошлом — клоуна, играть роль собаки — его, коменданга, собаки.

Но, быть может, самое глубокое исследование треугольника «общество — человек — собака» мы находим у Гюнтера Грасса в «Собачьих годах» (1963) — „Hundejahre“. Здесь, в частности, в собаку «добровольно» превращается ребёнок — девочка Тулла. Целую неделю она делит конуру с чёрным псом Харрасом, сыном чёрного Плутона (т.е., «пса ада»), внуком Перкуна (языческого литовско-балтийского бога-громовержца). Харрас — «пёс-нацист», у которого в начале родословной — волчица «из литовских чащоб». Кроме того, он отец чёрного Принца, а Принца подарили, от имени немецкого населения Данцига, самому фюреру. Тулле же можно считать символом фашизирующей Германии. Тулла пугает другую девочку, Йенни (быть может, цыганку или полуцыганку), Харрасом; натравливает Харраса на музыканта Вернера-Имбса, тайного масона (чего Тулла знать не может, но о чём каким-то злым чувством, видимо, догадывается).

Во вступлении к журнальной публикации романа (см. [5]) М. Рудницкий пишет: «Вспомним, с какой библейской торжественностью перечисляет Брауксель, летописец первой части, собачьи поколения, и это, конечно, неспроста — в них, в этих собачьих родословных, запечатлено вековечное движение от дикости к культуре: черная псина Сента "не хочет обратно к волкам"». Но немного погодя М. Рудницкий уточняет: «Нет, ни человеку, ни человечеству не свойственно стремиться "обратно к волкам", но иногда — вот она, главная болевая точка и мучительная загадка грассовского романа, — случаются в природе и истории генетические тупики, апендиксы эволюции, рецидивы впадения в зверство ... С поразительной художественной пронизательностью романист ставит в один повествовательный ряд историю девочки Туллы, этой маленькой нелюди, и историю воцарения в Германии фашистского режима, причем образ Туллы с первых строк приобретает черты поистине демонические, тогда как приход фашизма показан скорее через быт, во всей повседневной ползучей неприметности его эпидемического триумфа».

Вот какой огромный «собачий» пласт обнаруживается за одной лишь фразой платоновского рассказа.

Ублюдки парами

Ночью Гедвига Вотман будит Лихтенберга, чтобы вместе идти на суд. Почему им надо идти вместе? В пути они не разговаривают, Гедвига даже не смотрит в его сторону. До этой ночи Лихтенберг и не подозревал о существовании Гедвиги Вотман — и вообще женщин в этом концлагере. Очевидно, их объединили в пару по распоряжению свхше.

После суда «судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

— Введите следующую пару ублюдков! — приказал судья далее».

«Ублюдков» вводят парами, каждая пара — это мужчина и женщина. Военный суд хочет убедиться, что пара не способна стать брачной парой, не способна дать потомство.

Убедившись в этом, суд приговаривает пару к смерти.

Ну, с Лихтенбергом всё ясно — он физически увечен, таким его сделали национал-социалисты — он вынудил их сделать его таким. Но Гедвига Вотман — здоровая, молодая, привлекательная женщина. И её приговаривают к смерти не потому, что она коммунистка, и даже не за насмешку над Адольфом Гитлером, а потому, что отказала в любви двум офицерам. Иными словами, она отвергла «любовь при нацистском режиме» — то есть, поступила так же, как Лихтенберг.

Перевёртыш

Сколько вдохновенных и самобытных слов сказали Платонов и его герои во славу техники и её возможностей! — но совсем другой взгляд находим в «Мусорном ветре». Техника освобождает от тяжёлого труда, и к чему же это приводит? «Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать (Гитлера — *И.К.*); кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными.. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? Или он истомился и умер...?»

...Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхали в моторе, не требуя больше ни социализма, ни истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, *в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым*».

Откуда этот глобальный пессимизм? Потом, уже в концлагере, «в бурьяне ... он нашёл обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры «Вселенная — безлюдное пространство». Брошюра была издана *еще пять лет назад* и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами».

Пять лет назад — то есть, в 1928-м году. Вторая половина двадцатых годов — это время сомнений Платонова, время разочарования в способности техники привести человечество к счастью. Конкретно же 1928-й год — это начало форсированной сверхиндустриализации в СССР, принёсшей голод и страдания. Свои сомнения, свой зарождающийся исторический пессимизм Платонов усилил, «довёл

до конца» и — передал в нацистскую Германию, одинокому безумцу с гордой фамилией просветителя — *световая гора*. Однако эта передача вряд ли была сознательной, и не стоит искать здесь никакого хитрого замысла — ну, скажем, усыпить бдительность советской цензуры. Платонов оставался советским человеком, и игры с цензурой ему были чужды.

А. Варламов пишет: «И хотя сто раз правы немецкие исследователи, говорящие о том, что Платонов не знал повседневной жизни Германии 1933 года, что в их стране не было тогда памятников фюреру, не было голода, — зато все это было в Советском Союзе, тем не менее едва ли автор «Мусорного ветра» ... ставил тайной задачей посредством изображения немецкого фашизма разоблачить тоталитарную природу советского строя».

О чём бы ни говорилось в рассказе — о воскресном дне в городе, о смуглой женщине с Востока, о технике — всё говорится не так, как прежде (а что касается женщины с Востока, то и не так, как в будущем), всё оказывается безнадежно плохим, всё либо ведёт к быстрому старению и смерти, либо вовлечено в орбиту национал-социализма, который хуже самой смерти. «Мусорный ветер» — рассказ-перевёртыш, пересматривающий, переоценивающий прежние (и будущие) платоновские темы; отрицательная квинтэссенция всего платоновского творчества.

Литература:

1. Андрей Платонов. Мусорный ветер. В: «Памятники литературы. Андрей Платонов. Рассказы, том 6. Im Werden Verlag, Москва — AUGSBURG, 2004».
2. Варламов Алексей. Андрей Платонов. Серия: Жизнь замечательных людей. Изд-во «Молодая гвардия», М., 2011.
3. Андрей Платонов. «... я прожил жизнь». Письма [1920-1950 гг.]
4. Гюнтер Грасс. Собрание сочинений в четырех томах, том второй: «Собачьи годы», роман. Перевод М. Рудницкого. Харьков «Фолио» 1997.
5. «Иностранная литература», 1996, №5.
6. Н.Н. Брагина, Шуйский государственный педагогический университет. «Мусорный ветер» А. Платонова: Опыт психоаналитического прочтения текста, 2008 г. Адрес в Интернете: >>>
7. Альманах «Россия. XX век». Адрес в Интернете: >>>



Михаил Юдсон

РЕДКАЯ ПТИЦА

О трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка"*)

Роман огромен и стоит на трех томах — полторы тыщи страниц, циклопическое литературное строение, странной и порой гаудиной архитектуры — вот уж где доверху застывшей музыки! Диной Рубиной сотворена и явлена нам трилогия «для Голоса и пичьего хора» — про любовь, войну, приключения, любовь, скитания, возвращение, любовь... Итака далее, заметил бы один мореплаватель.

Пером автора создано вдоволь пространства и достаточно времени: от Алма-Аты до Лондонов-Парижей и прочих Таиландов, плюс вечный шлях от Одессы до Иерусалима с агасферным брожением персонажей. Жизнь — шумный постоялый двор, отель в пять желтых звезд... И ведь написано как сочно и смачно — запахи, звучание, аж мурашки по вкусовым пупырышкам! Снимаю шляпу и обнажаю кипу — святое дело удалось Дине Рубиной — превратить дольную воду прозы в горнее вино музыки.

Гекзаметр даю на отсечение, пред нами одиссея — цветная, звуковая, широко- и широкоформатная. Все движется любовью, учил поэт! Эпос с плеском волн и парусов, скрипом весел и мачт, сладким пением сирен и липким воском в ушах. Коварная Цирцея-Габриэла, на вилле превращающая кошерных мужчин в бесноватых свиней, бегущих к обрыву. Слепляющий в пещере Полифем-Чедрик, безумный араб-великан человек-кирдык. И глухая красавица Айя Каблуква, «редкайя» птица — порой едкая, резкая, колючая, как терновник, но неизменно сладкоголосая. И возлюбленный ся — о, ты прекрасен, подкаблучник мой, ты прекрасен! — уникальный контратенор Леон Этингер, он же героический оперативник по кличке «Кенар руси» («Русская канарейка»), выпускник Москонсерватории, певун того райского сада, что зовется короче: «Моссад». И другие двуногие без перьев, а также истинно пернатые из колена Желтухина — множественные персонажи сей многоголосой «грандиозной саги о любви и о Музыке».

Это я уже заехал в аннотацию, топчусь, так сказать, в прихожей книги, рассматриваю обложки — желтая, красная, синяя — солнце в море катится, в ночное, Павич словарь гонит, Скрябин у огня греется... А я знай вывожу палочки, списываю для благодарного грядущего читателя выжимку содержания: «Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и — алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка пичьего рода — блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. «Желтухин» — первая книга красочной, бурной и многоликой семейной саги...

Леон Этингер — обладатель удивительного голоса и многих иных талантов, последний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний голосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб и со временем — звездой оперной сцены. Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной и очень опасной «охотой», которая приводит его в Таиланд, где он встречает странную глухую бродяжку с фотокамерой в руках. «Го-

лос» — вторая книга семейной саги о «двух потомках одной канарейки», которые встретились вопреки всем вероятностям...



Леон и Ая вместе отправляются в лихорадочное странствие — то ли побег, то ли преследование — через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой «охоты» предопределен: рано или поздно неутомимый охотник настигает жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена. «Блудный сын» — третья, и заключительная, книга, полифоническая кульминация романа Дины Рубиной.

Ага, сага — многолиственное древо текста. Пролог, эпилог, одиннадцать обширных глав. Эх, думаю, пока такая медленная, вялая книжная тля, как я, проползет от корки до корки, напитается соками — немало рецензий утечет! Но кончил на удивление быстро — даже не знаю, к добру ли, больно не хотелось расставаться с героями. Это как когда-то Лейкин делился с Чеховым: «прочел в один засос».

Потому что, во первых строках, «Русская канарейка» написана на редкость мастерски, а, во-вторых, как сегодня говорит Москва, разговаривает Расея — ресурсный текст. То есть богатый пластами смыслов, сюжетными залежами — успевай усваивать! Кажется, что у Рубиной напрочь отсутствует жесткая повествовательная схема, нудная схема суровой «красной нити» — щедрый поток текста, вольноплавно разливаясь, растекается по ручьям и ответвлениям — сад разбегающихся арыков!

Однако, поверьте, всякий роман — скорей, огромный аквариум, или, скажем, клетка с канарейками. Автор (царь, бог и старик Морковный) заводит и подкармливает персонажей — и они движутся, прыгают по жердочке, шевелят жабрами, приникают к обложке, рассматривая нас, расплющив нос, лущат коноплю, плодятся и размножаются. Главное — чтоб были нам живые, а вот это уж как дар даст!

Рубина, будто ее Хисторикус или классический Хроникер, отнюдь не пускает текст на самотек, не оставляет беспризорным. Энергия повествования неустанно подпитывается авторскими комментариями, отступлениями и забеганиями курсивом — когда буквы кренятся вправо, как под западным ветром, гонящим к Востоку. Этот узорный орнамент словно подчеркивает славную сотканность текста, ручную выделку Рубиной.

Проза «Русской канарейки» — полторы, повторю, тысячи страниц — поразительным образом пролетает легко и незаметно, настолько воздушна конструкция и музыкален язык. Роман-оратория. Трилогия-трель: «Три слога: первый скачок, секста вверх, плавное опадание на секунду... воля, простор, неимоверная благая ширь Господнего деяния — и струи пурпурных лучей хлынули, затопляя голубой, леденцовый, ало-желтый воздух собора». Согласитесь, действие действием, закрученность закрученностью, но фон текста важен, его текучее звучание, плавная подсветка, качанье на ветках, аллитерационный рокот, убыстрение — будто Ариадна Арнольдовна фон (!) Шнеллер, любимый мой персонаж, дирижирует хором слов, путеводно распутывая нити событий, ворочая громокипящий клубок сюжета.

Книга меня враз затянула, заразила — ну, текстественно, началась у меня желтуха-вторая, жар-птичья болезнь. Стало мне казаться, видется всяко-разное. Брезжит как бы между тучами и морем, миражит книжно и иное пространство, и канувшее время... В «Русской канарейке» реет Кана, пусть не галилейская, так алма-атинская, Город Большого Райского Яблока. Вдоль цветущих апортовых садов тянется тропа романа — «и простирались сады, и были безбрежны и благоуханны» — звенят в весеннем воздухе «Стаканчики граненные» (исполняют пгички божи), и постепенно устаканивается мысль, что судьба напортила — переселила души не туды. Это же про нас, это мы — жестоковыйное потомство желтухных, «знаменитая желтая линия», череда рассыпчатых канареечных колен! Желток звезды над гнездом... Жили в клетках доисходно... Клеточное строение рабства — поилка-кормушка... Да уж не графья, не грифы по графе! Кесарю — кесарево, а кенарю — кенарево! Так и хочется просипеть про этот эпос сакраментальное: «Канарейка — не еврейка ль?» То-то заливается как-то картаво — этакая одесская «Песя Песей»!

Так в книге возникает очередной вечный город, и они аукаются, отзываются: яблочная Алма-Ата (апорт, Медео) и сказочная Одесса (а порт!.. а мидии!), семейка Каблуковых и Дом Этингеров...

Кто только не говорил прозой за Одессу! Как выражался Инвалидсема: «У нас в Одессе не пишут одни только слепые сифилитики». Казалось бы, все уже описано, помечено, нагнано тьолки, полна шаланда, чего же боле... Прошли мы те круги и все инстанции Фонгана! Но у Рубиной на таях таланта поднимается из моря, вырастает таки еще один фартовый город-порт — и хочется вчитываться, вгрызаться в текст, как в пшенку — хорошо потому что. Зурбаганно, конечно, чуток, гель-гьюшно малость, пышно, эдакая солнечная сторона Мясоедовской... Ибо у Рубиной всегда так, песнопесенно: жизнь сложна, зато ночь нежна, речь южна и какого еще рожна!.. Проснись и пой — пусть по утрам в клозете! Без мрака нету свету, без горя нет удач!..

А впереди уже маячит библейский Иерусалим, и махонький Желтухин, аки птица Рух, закрывает крылами небо трилогии, перелетая, елы-палы, с елки на пальму — о, йеловые переливы Голоса (овсянка, сэр!) и счастливая ловля глосиков!.. Благородный овсянистый напев книги, замечательная раскладистость текста воистину притягательны, «гибкая вольная мелодия» Рубиной по сути сроду — о влечении к счастью. И когда очередной персонаж-желтухаим покидает жердочку жизни, уходит в Неклетие, прикрывает лавочку, ссужает Шему душу, мы понимаем — он возродится, возвратится (с нисаном в сени), неистребимо выкиннет очередной номер, отколет коленце, издаст псалмы и трели... Вечный Житухин!

Читая Рубину, радуешься садовому разнообразию земных блаженств (любимый Босх мой отдыхает), Дина рисует мир ароматным, вкусным, поджаристым, как гренки старика Морковного, заманчивым — вовсе не нужно тащиться в пустыню за манной, живи и будь счастлив здесь и сейчас, наслаждайся «расколотой улыбкой граната», вдыхай, твори, не теряй времени в поисках утраченного, играй хоть на ложках, пой...

Кстати, данный роман Рубиной насквозь музыкален — какая ж проза без баяна?! Лепо ли слова лепить без ритма и метра... «Стаканчики граненные» — безусловно, ведущая мелодия, гран-ария трилогии. Без нее никуда! Экая октава! Но негоже забывать также, что в текст вложена еще и оратория (позовите Генделя, старенького Генделя) — «Блудный сын». Вот, например, как общедоступная «Ариадна на Наксосе» (слышите подмигивающее «на-на-на») — опера внутри оперы, спектакль-матрешка, так и у Рубиной евангельская притча от Луки подвигает «полузабытого немецкого композитора восемнадцатого века Маркуса Свена Вебера» сочинить себе либретто и оснастить музчасть. Дина Рубина лукаво и вдохновенно описывает свой апокриф-мистификацию, изобретательно изображает композитора — Вебера, да не того (как Берлиоз у нас не тот), несет благовую весть от Маркуса, да и вообще в имени Свена Вебера мне слышится, буберится «Ребе с Вень».

Правда, может, я и ошибаюсь — должен с горечью сознаться, что по музыке у меня изрядный неуд, в нотной грамоте не маракую. Сызмальства мне на ухо даже не косопалый шатун-одиночка, а сразу три медведя-богатыря наступили! Изредка подвываю душевно, когда выпью кидушно — вот мой потолок в искусстве. Раньше считал, что вовсе не красота, а глухота спасет мир, этот шумный балаган. Но вот накушался прозы Рубиной — и прозрел ушами, и увидел, что это хорошо — темперированный клавир или там Моцарт в пичьем гаме, царь-канарейка. Начал я понимать, что звуки-то, глядь, не хуже знаков, слышь, что подобные недюжинные тексты, «выпевающие благодарность всему вокруг», не пишутся-пашутся тяжело руками с мозгами, а «рождаются легкими, горлом, трахеей и тем, что бьется под левым ребром».

Весьма понравилась и пара главных героев, что во время любви подобны ангелу с двумя спинами. Глазастая красавица Аяя, фотограф от Бога, регулировщица мгновений — «заклоченный ангел со связанными крыльями», Мария в барочных ариях, Дева в рваных джинсах... И Леон — ангел бывалый, умелый, боец-оперативник, ставший оперным певцом, перековавший, так сказать, мечи на орало, сменивший гнев божий на Голос. Пространство трилогии неустанно расширяется, прирастает жарким Иерусалимом, снежной Москвой, дождливым Парижем, экзотической тайландщиной... А ту Алма-Ату — ату ее, апортную? Нет-нет, и с белых яблонь дым нам сладок и приятен... Ах, как там шел троллейбус номер девять («девятый номер») — от проспекта Ленина до кинотеатра «Целинный»!..

Или взять одиссеевы странствия Леона Этингера — блумный сын, обломок Дома — его блуждания и метания, приключения души и путешествия тела! Всюду надо поспеть этому «русскому кенарю», да и уран, добывают в иранском городе Кенар. Символ символом погоняет... Прямо-таки двуликий Улисс — наш Лео Этингер и Лео Блум, порождение великого ирландца. Завораживающая точность деталей этой прозы — скажем, Париж с его улицами и площадями, рюшами да пиясами описан по-дублински подробно, недаром мелькает и джойсов приют — книжная лавка «Шекспир и компания». А одна пицца чего стоит! Ея ошип и погло-

щенье, благоухание и введение во храм харчевен! При чтении, признаюсь с искренним урчанием, слюна течет рефлекторно и желудочки сжимаются блаженно.

Естественно, образцовый читатель — человек разумный, образованный, любящий книги Рубиной, уловит в романе свои радости, углядит личную радугу в облаке. Я же просто напослед замечу, что трилогия «Русская канарейка» — проза наособицу, не просто замечательная, но и значительная, не часто нынче встречающаяся. Да она и сама редкая птица, дивная певичка кириллицы — Дина Рубина.

*) (Дина Рубина. Русская канарейка. Трилогия. — Желухин. — ЭКСМО: М., 2014. — 480 с. ISBN 978-5-699-71725-5; Голос. — ЭКСМО: М., 2014. — 512 с. ISBN 978-5-699-70684-6; Блудный сын. — ЭКСМО: М., 2015. — 448 с. ISBN 978-5-699-76883-7)



Игорь Ефимов

ЗАКАТ АМЕРИКИ

Саркома благих намерений

(продолжение. Начало в №1/2015)

3. В ФИРМЕ

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом.
Михаил Лермонтов

Переходя со студенческой скамьи на инженерную должность в Советском Союзе, я и все мои сверстники должны были поспешно переучиваться, овладевая жаргоном, на котором власти отдавали команды в промышленной сфере. Ни на каких лекциях, ни в каких учебниках нас не предупреждали, что социалистическое производство не просто управляется идолом по имени План, а что тысячираз этому идолу надо будет приносить в жертву здравый смысл. План только притворялся, будто его можно измерять строгими цифрами, обозначающими число единиц выпускаемой продукции или её общий вес. На самом деле, отбросив рыночное регулирование производства, советские руководители были вынуждены изобретать свой особый слэнг для отдачи команд заводам и фабрикам, в котором ключевым словом являлось слово «показатель».

Изобретением, внедрением и измерением показателей занимался тот отдел интеллектуальной элиты страны, который носил название «экономисты». Это им приходилось ломать голову над тем, как увязывать все нелепости, порождаемые отказом от рынка. Конечно, задать угольной шахте план, измеряемый количеством тонн добытого угля, было несложно. Но что делать, например, с заводом, выпускающим стальной прокат самых различных форм и профилей?

Ага, ему мы зададим план в цифрах суммарного веса продукции.

Что-что? Завод тогда будет стремиться выпускать только тяжёлые балки, двутавры и швеллеры, уворачиваясь от введения прогрессивных облегчённых сплавов? Тогда мы введём новый показатель, оценивающий процент внедрения научных достижений, или экономии отходов производства, или объёма реализованной продукции, или повышения производительности, или... Всё это открывало бескрайнее поле для умственной, словесной и цифровой эквилибристики, которой и занимались бюрократы в заводских бухгалтериях и в надзиравших за ними ведомствах и министерствах.

Выпускника американского университета или колледжа тоже ожидает немало сюрпризов, когда он начнёт заниматься своей профессией. Ему тоже придётся срочно приспособляться к необходимости приносить жертвы здравому смыслу, о чём никто не предупреждал его в учебных аудиториях. Вторая мировая война и последовавшая за ней гонка вооружений сделали правительственные организации мощнейшим участником экономической жизни страны. В роли заказчика и вла-

дельца они оперируют в военной сфере и космической, в строительстве дорог и портов, в авиаперевозках и почтовой связи, и многом, многом другом. Деловой мир Америки всегда относился к социалистическому планированию с пренебрежением. Но именно поэтому он оказался совершенно не готов к замаскированному массовому вторжению вируса социализма с тыла. Невероятное возрастание и расширение участия государства в экономике неизбежно вело к ослаблению рыночных рычагов регулирования, к замене их государственным планированием со всеми его пороками.

Бывшие советские инженеры были изумлены, когда им пришлось в американских фирмах, выполнявших государственные заказы, сталкиваться с такими же случаями массового очковтирательства и расточительства ресурсов, как и в СССР. Много раз мне доводилось слышать от эмигрантов одни и те же истории. «Получили большой заказ на проектирование атомной электростанции. Исходные данные должна поставлять другая организация, которая запаздывает с ними. Наша проектная фирма в ожидании не пытается занять нас какой-то другой работой. Ведь она выписывает государству счёт за потраченные нами рабочие часы. Нас заставляют сидеть без дела за столами, у кульманов и компьютеров. Причём категорически запрещают читать или отвлекаться на интернет. От скуки и безнадёжности хочется иногда завзывать».

Или взять такого гиганта как Почтовое ведомство США (USPS). С одной стороны, оно обладает полной монополией внутри рыночной структуры страны. С другой стороны, чиновникам запрещено вздувать цены на почтовые отправления без достаточных оснований. С третьей стороны, понятие «прибыль» остаётся критерием успеха их деятельности. В результате половина чиновничьего аппарата занята изысканием аргументов для вздувания цен, другая половина — поисками нововведений для растрачивания полученных непомерных доходов.

Будучи независимым издателем, я должен был постоянно пользоваться услугами почтовой службы для рассылки выпущенных нами книг в магазины, библиотеки и индивидуальным заказчикам. Меня поражало, что, при постоянных жалобах на убыточность почтового ведомства, клерки взвешивали мои пакеты на дорогих компьютерных весах, заменявшихся чуть ли не каждый год всё более и более сложными.

В середине 1990-х Почтовое управление заказало и получило тысячи автомобилей для развозки почты, такие бело-синие-красные кубики, не годящиеся ни для чего другого. Фантазии не хватает, чтобы представить, сколько ему это должно было стоить. Зато оно отменило отправку книжных пакетов морем за границу — только по воздуху, втридорога. Зарубежная продажа наших книг резко пошла вниз, европейские магазины отказывались оплачивать непомерно дорогую пересылку. Уверен, что и большие издательства вынуждены были сократить свои отправки. То, что при этом торговый дисбаланс Америки только ухудшался, почтовых социалистов не заботило.

Независимый предприниматель, оперируя на свободном рынке, расплачивается за свои ошибки убытками или полным разорением. Когда государственный чиновник является на рынок со своими заказами, он знает, что разорение ему не грозит. Каким же образом можно стимулировать его, контролировать правильность его решений? Ведь многомиллионная армия штатных и государственных чиновников распоряжается сотнями миллиардов долларов, получаемых от налогоплательщиков на прокладку дорог и каналов, строительство школ и тюрем, ремонт мостов

и общественных зданий, образование и медицинское обслуживание. Как заставить чиновника тратить эти деньги осмотрительно и разумно, не допустить, чтобы на распределение заказов влияли взятки, взаимные услуги, кумовство?

О, для этой цели другие чиновники вырабатывают строжайшие правила, нарушение которых будет чревато тяжёлыми последствиями для карьеры бюрократа — распределителя заказов.

Прежде всего составляется подробное описание требуемой работы. Оно рассылается фирмам соответствующего профиля. Наверное, в первую очередь пытаются привлечь те фирмы, которые уже хорошо зарекомендовали себя высоким качеством работ и деловой честностью? Ни в коем случае! Это будет называться «фаворитизм». Нет, участие в конкурсе на получение заказа каждый раз должно быть окутано полной анонимностью.

Допустим, требуется провести серьёзные ремонтные работы на каком-то объекте. Из списка строительных подрядчиков наугад выбираются восемь или десять, но так, чтобы среди них обязательно был хотя бы один представитель этнических меньшинств и одна женщина. Им рассылаются заказы на составление плана работ и смету. Личные контакты между заказчиком и потенциальным исполнителем запрещены, все переговоры фиксируются на бумаге. Кроме сметы подрядчик должен представить документы, подтверждающие, что он соблюдает все правила расового равноправия при приёме на работу и не имеет деловых отношений с государствами, на которые американским правительством были наложены экономические санкции.

Наконец, сметы и все нужные документы получены — можно выбрать из них самую выгодную и начинать работу?

Ишь, разогнались!

Нет, теперь создаётся комиссия из трёх-пяти бюрократов, которые будут анализировать полученные материалы, выискивать, не закралась ли в них какая-нибудь ошибка или дезинформация. Нужно учитывать, что на этом этапе конкуренты легко могут подбросить членам комиссии достоверные или клеветнические сведения, дискредитирующие соперников. Сколько недель или месяцев уйдёт у комиссии на расследование? О, это несущественно. Главное, чтобы проверка была осуществлена с максимальной тщательностью.

В 1990-е годы возникла необходимость отремонтировать один из мостов в городе Нью-Йорк (Carroll Street bridge in Brooklyn). Предварительные расчёты показывали, что это будет стоить 3,5 миллиона и займёт около трёх лет. Помощник директора строительного отдела, мистер Сэм Шварц, решил, что было бы славно закончить ремонт к дате столетия постройки моста. Он предложил проигнорировать предписанные этапы подготовительного процесса и поручил подчинённым ему инженерам самим составить план и смету. В результате мост был отремонтирован за 11 месяцев, и затраты составили 2,5 миллиона долларов. Мистер Шварц получил строгий выговор за невыполнение тридцати пяти положенных шагов, которые потребовали бы участия шести различных бюрократических агентств.¹

Фактор затрачиваемого времени, как правило, не играет большой роли в бюрократическом планировании. В 1992 году в Чикаго были замечены протечки воды в потолке железнодорожного туннеля, проложенного под рекой Чикаго. Ответственный чиновник обратился к знакомой ему фирме, и та предложила устранить протечку за 75 тысяч долларов. Это показалось чиновнику дороговато, и, чтобы обезопасить себя от обвинений в коррупции, он решил пойти обычным пу-

тём: выставить ремонтный заказ на конкурс. Увы, он не успел получить ни одного нового предложения, потому что через семь недель, 13 апреля 1992 года, потолок туннеля рухнул, воды реки и озера Мичиган хлынули в подвалы деловых зданий в центре города, в трансформаторные подстанции, в котельные, причинив убытков на миллиард долларов.²

Даже наше маленькое издательство «Эрмитаж» в какой-то момент попало под ножи бюрократических правил. Старинный ленинградский друг нашей семьи, журналист и переводчик Кирилл Косцинский, был отправлен в лагерь при Хрущёве за слишком смелые высказывания. Просидев там четыре года, он увлёкся собиранием жаргонных слов, и его коллекция стала основой для собранного им словаря ненормативной русской речи. После эмиграции в 1978 году американские друзья-слависты помогли ему попасть в Гарвардский университет и там получить грант на завершение и издание его словаря в 20 тысяч слов.

Заказ на смету был разослан разным издательствам, включая «Эрмитаж». Я потратил несколько недель, готовя образцы набора с различными шрифтами и финансовые расчёты, отправил всё в администрацию университета. Через год спросил у Косцинского, есть ли какое-нибудь движение со словарём. Он смущённо признался, что декан объяснил ему их правила. Они должны разложить присланные сметы в ряд, от самой низкой до самой высокой, и потом, не утруждая себя анализом, начать с того, что отбросить самую дорогую и самую дешёвую как несерьёзные.

Оказалось, что «Эрмитаж» предложил самую низкую сумму и был, соответственно, вычеркнут из конкурса. «И вы не сказали чиновникам, что знаете Ефимова двадцать лет и что он обычно выполняет обещанное?» — «Я сказал, — ответил Косцинский, — но мне объяснили, что факт нашего знакомства только ухудшает ваши шансы, ибо на сцену выходит фактор “фаворитизма”». Дело тянулось ещё несколько лет, но вскоре Косцинский умер, и словарь его так и не был опубликован.

Вторжение государства в рыночную экономику не ограничивается ролью заказчика-покупателя. Гигантская чиновничья сеть создана для выпуска всевозможных правил, ограничений и запретов, за нарушение которых на фирму могут обрушиться серьёзные кары. Конечно, все эти правила диктуются самыми благими намерениями, все направлены на улучшение жизни и здоровья американских граждан. Но, пытаясь исключить ошибки, некомпетентность и злонамеренность, они одновременно подавляют инициативу и чувство личной ответственности каждого служащего.

Например, давно было замечено, что различные производственные процессы могут обернуться травмами, болезнями или даже смертью работников. Могло ли цивилизованное общество мириться с подобным положением дел? Конечно, нет. И в 1970 году Конгресс постановил создать при Министерстве труда (Department of Labor — DOL) специальный отдел по технике безопасности (Occupational Safety and Health Administration — OSHA).³ Тысячи инспекторов этого отдела могут явиться в любой момент на любой завод, фабрику, строительную площадку и проверить, как выполняются 4000 инструкций по безопасности.

На кирпичную фабрику Глен-Гери в городе Реддинг, штат Пенсильвания, инспекторы OSHA являются не реже двух раз в год и всегда что-нибудь находят. «Особенно их интересуют ограждения. На старых участках фабрики они обнаружили ограждения высотой 39 и 40 дюймов, вместо положенных 42 дюймов, и внесли нарушение в протокол осмотра... Также они вынудили владельцев потратить несколько тысяч долларов на механизм автоматического отключения кон-

вейерной ленты, в случае если зазевавшийся рабочий наступит на неё. Предупредительные плакаты развешены повсюду. Большой плакат ЯД висит на стене склада с песком. Ибо научные исследования показали, что вещество *silica*, содержащееся в песке и выделяющееся при некоторых дробильных операциях, может стать причиной рака».⁴

Судьба инвалида в коляске вызывает импульс сострадания в сердце нормального человека, особенно в стране, которой двенадцать лет успешно управлял полупарализованный президент. Компания по созданию условий, облегчающих жизнь таких людей, охватила все штаты. Все учреждения, все магазины, все библиотеки, все театры обязаны были устроить рядом с входными ступеньками гладкие въезды для инвалидных кресел. В Бостоне я своими глазами видел такой въезд на входе в пожарное депо. (А вдруг инвалиду понадобится зачем-то нанести визит пожарникам?!) Миллиарды долларов были потрачены на все эти перестройки. В автобусных дверях были устроены подъёмники для колясок.

Но что делать с уличными туалетами? Оказалось, что туалет со специальным въездом занимал бы слишком много места и это нарушало бы кодексы устройства уличных тротуаров. Несколько комиссий бюрократических доброхотов в Нью-Йорке обсуждали эту проблему с разных сторон в течение нескольких лет, сравнивали различные модели и проекты, включая канадские, французские, немецкие. В конце концов, пришли к решению, что нельзя унизить инвалидов зрелищем туалетов, в которых им не оставлено места. Лучше мы оставим восемь миллионов жителей и миллионы визитёров вообще без уличных туалетов — ведь высокие идеалы гуманизма важнее низменных нужд.

Государственное регулирование мощно вторгается также в отношения между тружеником и работодателем. Вопрос о допустимой минимальной заработной плате постоянно обсуждается в Конгрессе, лево-либеральный хор постоянно требует её повышения. Она доползла уже до уровня 7.50 долларов в час. Но недавно прошла забастовка работников сети ресторанов «Мак-Дональдс», которые требовали поднять им плату до 15 долларов. «Кто может прожить в Нью-Йорке на нашу зарплату?!», восклицали бастующие и поддерживавшие их политики. Робкие возражения, указывающие на то, что владельцы закусных разорятся и вы останетесь совсем без работы, отметались как пропаганда эксплуататоров, рвачей и кровососов.

«Обзор показал, что 85% канадских экономистов и 90% американских считают, что законы о минимальной заработной плате увеличивают безработицу. Не нужно быть доктором экономики, чтобы понимать: увеличивая цену, вы уменьшаете число возможных покупателей товара. Это относится и к работодателям, которые нанимают меньше работников, когда цена на их труд искусственно вздувается. Подобные процессы происходили во Франции, в Южной Африке, в Новой Зеландии. Стоит ли удивляться тому, что это случилось и в Чикаго?»⁵

Также устанавливаются строгие правила, усложняющие увольнение нанятых сотрудников. Эта мера объявляется средством борьбы с безработицей. На самом деле она приводит к тому, что работодатели боятся нанимать молодых людей с низкой квалификацией на постоянную работу с выплатой бенефитов, стараются оставить их в статусе рабочих по контракту. Сравнение показало, что во многих странах Европы, где социалистическое регулирование зашло ещё дальше, чем в Америке, проблема безработицы только обострилась.⁶

Огромную роль в экономике Америки играют профсоюзы. Мне не довелось лично сталкиваться с проблемами, создаваемыми этими организациями. Знакомый

инженер, получивший работу в компании «Форд», со смехом рассказывал мне, как он попытался перенести свой компьютер из одного кабинета в другой и как испуганные коллеги остановили его, шепча: «Что вы делаете?! Это работа обслуживающего персонала. Их профсоюз может поднять скандал и обвинить вас в том, что вы лишаете работы их членов».

В середине 1930-х президент Франклин Рузвельт поддержал расширение прав профсоюзов в коммерческом секторе. Но разрешить государственным служащим тоже создавать свои профсоюзы и грозить правительству забастовкой большинству политиков тогда казалось просто нелепостью. Это отдавало бы всё население страны на милость какой-то одной профессии. Однако постепенно такие профсоюзы стали возникать на штатном уровне. Они активно поддерживали партию демократов на местных выборах, а те, победив и придя к власти, охотно поднимали зарплаты и пенсии государственным служащим. Численность членов постепенно росла и в 2009 году достигла почти восьми миллионов.⁷

Государственным служащим не разрешается устраивать забастовки, но они могут оказывать давление на правительства штатов другими методами: демонстрациями, обструкциями, массовой неявкой на работу под предлогом болезни. На сегодняшний день средняя зарплата государственного служащего достигла 130 тысяч долларов, что вдвое превышает зарплату в частном секторе. Когда в 2011 году губернатор штата Висконсин — республиканец — призвал учителей и других штатных работников согласиться на некоторые сокращения пенсий, чтобы спасти штат от банкротства, это было встречено бурей протестов. Законодателей обзывали фашистами, посылали письма с угрозами, а одному подсунули под дверь листовку, озаглавленную: ХОРОШИЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ — ЭТО МЁРТВЫЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ.⁸

Довольно сильное впечатление оставили фильмы, описывающие захват профсоюзов мафиозными кланами: «В доках», «Хоффа», «Крёстный отец». То, как профсоюз рабочих автомобильной промышленности довёл своими непомерными требованиями американских автостроителей до кризиса, я мог видеть своими глазами, гуляя по наполовину сожжённым улицам бывшей автомобильной столицы — Детройта. Однако и сегодня американский журналист поостережётся выступить с критикой этих организаций, боясь обвинений в политической некорректности.

Так как граница между рыночным регулированием и социализмом в Америке остаётся размытой, очень часто одним чиновникам приходится изворачиваться, преодолевая рогатки, установленные другими. Например, радиостанция «Голос Америки», будучи ответвлением Министерства информации, обязана строго выполнять правила выплаты своим сотрудникам пенсий, медицинской страховки и прочих бенефитов. С другой стороны, когда в Конгрессе начинается очередная кампания за экономию, от дирекции требуют снижения расходов. Что остаётся делать? «Голос Америки» начинает подталкивать старшее поколение к уходу на пенсию, а их работу передаёт сотрудникам по контракту, не получающим никаких бенефитов.

Перетекание рабочей силы из сферы рыночного производства в сферу государственно-административную идёт неослабнимо. В 2011 году госслужащих стало вдвое больше: 22 миллиона против 11 миллионов в частном секторе. При этом Госдепартамент каждый год выпускает по миллиону «зелёных карточек», дающих иностранцам право состязаться с местными за рабочие места и в итоге получить американское гражданство.⁹

Вмешательство государства в экономическую жизнь часто оказывает парализующее или искажающее воздействие. Но и рынок, оставленный без пристрастия,

часто выкидывает фокусы с последствиями катастрофическими. Ярче всего это продемонстрировало падение энергетического гиганта «Энрон» в 2001 году.

Компания бурно развивалась, торгуя газом и электричеством, а в конце 1990-х перешла и к торговле ценными бумагами на бирже. К тому времени в ней насчитывалось около двадцати тысяч работников в сорока странах мира. Руководством компании, для сокрытия истинного положения дел, были созданы тысячи фиктивных дочерних предприятий, располагавшихся за пределами США. Так на Каймановых островах «разместились» 692 филиала «Энрона».

Принцип действия схемы был прост: через дочерние компании проводились сделки с электроэнергией, позволяющие раздуть стоимость всего конгломерата, на них же перекладывались те долги, которые не попадали в официальную отчётность. В результате показатели «Энрона» росли, руководство получало многомиллионные премии, росла стоимость акций и их пакетов. Налоговому же управлению компания показывала столько убытков, что получила налоговых возмещений на 380 миллионов долларов.

Однако долги не переставали расти, накапливались в геометрической прогрессии. В 2001 году руководство компании начало тайно продавать свои пакеты акций, хотя сотрудникам обещали блестящие перспективы. В октябре компания объявила об убытках в 640 миллионов долларов. Акции «Энрона» стали стремительно падать. Уже в ноябре долг вырос на 2,5 миллиарда долларов. Цена акций упала с 80 долларов до одного. В декабре компания объявила о банкротстве, которое оказалось крупнейшим в истории страны. Уволены были около пяти тысяч сотрудников в США и Европе.¹⁰

Прожить без постоянного заработка человеку нелегко. Но прожить без крыши над головой ещё труднее. Проблемы бездомных вызывают не меньшее сострадание в сердцах американцев, чем проблемы безработных. А там, где есть сострадание, безотказно появляются политики, обещающие применить новые, ещё никем не испытанные способы покончить с очередным бедствием. «Каждый человек имеет право на достойное обиталище! Мы живём не в пещерном веке! Садовая скамейка — не место для ночлега!» В течение последних десятилетий строительство домов сделалось любимым поприщем для доброхотов, верящих в то, что правильное регулирование может решить все социальные проблемы.

Здесь мы незаметно подошли к теме следующей главы, которой дадим название «В доме».

Примечания:

1. Howard, Philip K. *The Death of Common Sense* (New York: Random House, 1995), pp. 64-65.
2. Ibid., p. 60.
3. Ibid., p. 12.
4. Ibid., p. 13.
5. Sowell, Thomas. *Dismantling America* (New York: Basic Books, 2010), pp. 184-185.
6. Sowell, Thomas. *Intellectuals and Society* (New York: Basic Books, 2009), p. 58.
7. Horowitz, David, & Laksin, Jacob. *The New Leviathan* (New York: Crown Forum, 2012), p. 164.
8. Ibid., p. 159.
9. Buchanan, Patrick J. *Suicide of a Superpower* (New York: St. Martin Press, 2011), pp. 14, 16.
10. <http://www.molomo.ru/inquiry/enron.html>.

4. В ДОМЕ

Я строю, строю, строю,
И всё не Рим, а Троию...
Наталья Горбаневская

Кажется, ни одна сфера деловой активности в Америке не окутана такой густой и прочной сетью всевозможных правил и запретов, как жилищное строительство. Множество связанных с этим парадоксальных ситуаций приводит исследователь Филип Ховард в своей книге «Смерть здравого смысла».

В 1988 году монахини ордена «Миссионеры милосердия», возглавляемого знаменитой матерью Терезой, собрали 500 тысяч долларов для устройства ночлежного дома в Бронксе (северный район Нью-Йорка). На 148-ой улице они нашли два подходящих дома, разрушенных пожаром. Город согласился продать им эти остовы по доллару за каждый. Почти два года ушло на создание плана ремонтных работ и согласование его с мэрией. Наконец, в сентябре 1989 работа началась. Однако Провидение в этот момент отвернулось от монахинь, и их благие намерения столкнулись лоб в лоб с благими намерениями сочинителей строительного кода города Нью-Йорк.

Оказывается, этот код с недавнего времени включал в себя правило: в новых и перестраиваемых домах высотой больше четырёх этажей наличие лифта объявлялось обязательным условием. Включение лифта в рабочий план требовало дополнительно 100 тысяч долларов, которых у «Миссионеров милосердия» не было. Напрасно они пытались уговаривать городских чиновников и объяснять им, что отсутствие лифта не будет главной проблемой в жизни бездомных. Никто не обладал правом изменить раз принятое правило или хотя бы сделать исключение. Сгоревшие дома на 148-ой улице остались стоять в своём прежнем виде и давали приют только тем бездомным, которых не смущало отсутствие не только лифта, но также окон и дверей.¹

Советские лидеры с самого начала решали проблему нехватки жилья, вселя людей в общежития и коммунальные квартиры. Иметь одну комнату для семьи из трёх, четырёх, пяти человек, с доступом к одному общему туалету и газовой горелке в общей кухне люди почитали подарком судьбы. Для американцев же 20-го века такой вариант казался недопустимым. На совместное проживание с чужими они соглашались разве что в студенческом общежитии или в солдатской казарме. Отдельная квартира или отдельный дом для каждой семьи сделались непременным требованием. Но как осуществить его на деле? Города начинали разрастаться в высоту — небоскрёбами — и в ширину — сливая бескрайние пригороды в многомиллионные мегаполисы.

Этот процесс сопровождался неуклонным и стремительным ростом цен на жильё. Оставить людей на волю рыночной стихии было, действительно, невозможно. Миллионы стариков, живших в арендованной квартире, не могли бы платить вздорожавшую ренту из своих пенсий. Не имея возможности снять отдельную недорогую комнату в меблированной квартире (такая форма аренды была запрещена законом), они все превратились бы в бездомных. Городские власти в большинстве штатов были вынуждены вмешиваться и принимать какие-то меры. Чаще всего они выносили постановления, запрещающие поднимать арендную плату для старых обитателей, вводили так называемый rent-control.

Установление допустимого потолка арендной платы, конечно, представляло собой грубое нарушение свободы рыночных отношений. По сути оно являлось бессудным отнятием собственности домовладельцев в пользу государства — действие, запрещённое конституцией. Оно подверглось серьёзной критике со стороны таких мыслителей, как Милтон Фридман и Фридрих Хайек. Но и экономисты левого лагеря указывали на его серьёзные недостатки. Швед Ассар Линбек писал: «Во многих случаях контролирование ренты оказалось наиболее эффективным способом разрушить город — если, конечно, не считать бомбардировки».²

Но что было делать с новыми поколениями? Что было делать с миллионами небогатых людей, рвавшихся в большие города, потому что только там они могли найти работу? Миллионы людей, работавших в сфере обслуживания, не могли осилить взлетевшие цены на жильё — как обеспечить для них возможность являться на рабочие места?

Для них было решено строить специальные кварталы, составленные из недорогих домов, в которых квартиры сдавались бы только малоимущим. Как всегда, благонамеренные доброхоты, спонсировавшие эту программу (в Нью-Йорке она называлась «Программа № 8»), не хотели заглядывать всерёд и задумываться над неизбежными последствиями своих благородных порывов. Главным же следствием в данной ситуации стало то, что быть бедным сделалось выгодно, а слегка разбогатеть — просто губительно.

В знакомой мне эмигрантской среде я видел десятки примеров того, как это происходило. Небогатый журналист живёт в Квинсе с женой, матерью и дочерью в снимаемой квартире. Две спальни, гостиная и кухня — это роскошь, по сравнению с тем, что они имели в Советском Союзе. Потом у супругов рождается сын. При этом официально они не зарегистрированы. Значит жена получает права матери-одиночки. А таким, по 8-ой программе, полагается отдельная квартира в квартале для бедных. Она становится на очередь и очень скоро получает квартиру. Туда вселяется подростковая дочь, которая очень скоро уезжает искать счастья в других местах, а квартиру жена журналиста тайно и незаконно пересдаёт за очень приличные деньги.

Другой пример. Немолодая эмигрантка, никогда не работавшая в США и не платившая налогов, едва владеющая английским, хочет переехать из Мичигана в Нью-Йорк, чтобы оказаться поближе к родственникам. Она разузнаёт правила Восьмой программы, списывается с приятельницей, живущей в Квинсе, которая соглашается подыгрывать ей и объявить её жилищкой, снимающей у неё комнату.

Нет, добрый город Нью-Йорк не может допустить, чтобы старая женщина ютилась в комнатке у чужих людей!

Он ставит её на очередь и через полгода вселяет в односпальную квартиру в специальном квартале на юге Манхэттена. Платить за неё она будет в пять раз меньше рыночной цены. Плюс ей гарантируется медицинское обслуживание по программе Медикер и Медикейд, фудстемпы и оплаченная городом индивидуальная помощница. Как при этом город Нью-Йорк может преодолеть жилищный кризис и вообще сводить концы с концами, понять нелегко.

Правила для постройки нового жилья сильно отличаются от штата к штату, но все они так или иначе должны учитывать соображения пожарной безопасности, охраны окружающей среды, прав этнических меньшинств и прочего. Журналисты обратили внимание на то, что в новых городках Среднего Запада дома отстоят друг от друга неестественно далеко. Оказалось, что чиновники, выпускающие правила

застройки, внесли в них пункт: ширина улицы должна быть такой, чтобы две пожарные машины, несущиеся на полной скорости навстречу друг другу, могли безопасно разехаться. Это правило применялось даже в тех городках, которые были слишком малы, чтобы позволить себе иметь собственное пожарное депо хотя бы с одной машиной.³

По нашей семье эпидемия благих намерений застройщиков ударила с совершенно неожиданной стороны. В гостиной нашего дома в Нью-Джерси вдруг просел пол. Что могло случиться? Вызвали ремонтников, и те обнаружили вторжение термитов в подвале. Несущая деревянная балка была проедена ими до кружевного состояния.

— Не беспокойтесь, — успокаивал меня ремонтник. — Балку заменим, пол выровняем. Стоить это вам будет столько-то.

— А что помешает термитам вернуться и повторить разбой? — спросил я. — Нельзя ли поставить балку, пропитанную особыми химикалиями, которые, как я слышал, термитам не по вкусу?

Оказалось, что нельзя. Что где-то когда-то суперзаботливый пожарный чиновник задумался: ведь в случае пожара пропитанная химикалиями балка будет испускать особенно ядовитый дым. Нет, с точки зрения пожарной безопасности, это недопустимо. И, видимо, добился внесения в строительный код соответствующего запрета. То, что в горящем доме человек погибнет и от обычного дыма так же быстро, как-то к рассмотрению не принималось. И то, что миллионы деревянных домов остаются беззащитными перед атаками термитов, было уже проблемой другого ведомства.

Мы вызывали бригады борцов с термитами, те сверлили дыры в грунте вокруг нашего дома, загоняли туда какие-то ядовитые смеси — ничего не помогало. Через два года балка была снова проедена. Пришёл тот же ремонтник, отколупнул коричневую корочку туннеля на бетонной стене, по которому враг добирался до вкусной древесины. Цепочка беленьких разбойников, деловито ползущая по своим важным делам, вызвала у ремонтника ласковую улыбку.

— Кормильцы мои, — сказал он. — Как мне их не любить?

Когда нам пришлось продавать дом и переезжать, пришлось погрузиться в новую пучину ремонтных работ. Приходившие подрядчики называли такие цены, от которых у нас темнело в глазах. Один привёл с собой городского инспектора жилых зданий. Когда я заявил, что названная цена нам совершенно не по силам, инспектор негромко сказал:

— А вы знаете, что я могу объявить ваш дом опасно непригодным для жилья? (По-английски — *condemned*.) И вас выселят из него в 24 часа?

Пришлось залезать в долги и платить, платить, платить...

Повсеместный рост цен на жильё в городах приводил к тому, что многие семьи вынуждены были тратить половину своего дохода, чтобы иметь крышу над головой. Политики-доброхоты не могли смириться с таким положением дел. Лозунг *affordable housing* («жильё по карману») начал набирать силу и в начале 1990-х реализовался в специальных постановлениях Министерства городского строительства (*Department of Housing and Urban Development, HUD*). Эти постановления требовали от банков выдавать определённый процент займов на дома и квартиры представителям этнических меньшинств, даже если эти представители не имели достаточного дохода. Банкам, не выполнявшим введённые квоты, Министерство юстиции вчиняло судебные иски, чреватые крупными штрафами.

К этому моменту зависимость банков от благорасположения штатных и государственных учреждений сделалась очень заметной. Для многих выгодных операций они должны были получать разрешение от соответствующих комиссий. Такие разрешения не выдавались, если банк находился под расследованием на предмет выполнения квот. Поневоле банкиры начинали снижать свои стандарты, выдавать займы, не требуя первичного взноса наличными (down payment), не проверяя кредитоспособность клиента.⁴

В октябре 2002 года президент Буш-младший выступил в Вашингтоне с речью: «У нас в Америке есть серьёзная проблема с неравенством. Меньше половины латино-американцев и афро-американцев имеют собственные дома. Мы должны вместе трудиться, чтобы разрушить барьеры, создавшие этот разрыв. Правительство выдвигает амбициозную задачу: к концу декады увеличить число домовладельцев из меньшинств по крайней мере на 5,5 миллионов».⁵

Давление на банки со стороны правительства возросло после этой речи. Их заставляли выдавать займы даже людям, успевшим разрушить свою финансовую репутацию. Среди афро-американцев число хронических неплательщиков долгов достигало 48%, тем не менее и таким выдавали займы. Сумма займов, выданных банками Фанни-Мэй, Фредди-Мэк и Федерал Хом Лоан Бэнк за период с 1998 по 2008 год возросла на 184 миллиарда каждый год.⁶

Местные власти тоже включались в кампанию улучшения жилищных условий. Они накладывали на строителей всевозможные ограничения под красивыми лозунгами: «открытое пространство», «разумный рост», «охрана природы», «сохранение сельскохозяйственных угодий». «Как и большинство красиво звучащих политических лозунгов, эти тоже исключали непристойное слово из четырёх букв: *цена*».⁷

Цены же на дома при этом неуклонно росли. Например, в прибрежных районах Калифорнии относительно небольшой дом уже нельзя было купить дешевле, чем за полмиллиона. Но кризис не мог остаться в пределах одного штата. Повсеместно банки складывали эти сомнительные займы в некие пакеты ценных бумаг и продавали их на биржах так, будто это были реальные капиталы, обеспеченные солидной недвижимостью. Финансовый мыльный пузырь всё раздувался и наконец в 2008 году лопнул.

По всей стране тысячи домовладельцев, исчерпав свои денежные ресурсы, начали объявлять себя неплатёжеспособными, оставались без крыши над головой. Дома возвращались в собственность банков, но из-за возникшей паники продать их за изначальную цену было невозможно. Кризис рынка недвижимости потряс страну и потребовал вмешательства федерального резерва, что, в свою очередь, увеличило дефицит государственного бюджета.

Аналитики, глядяваясь в происшедшее, наводят обвиняющий палец на всех участников: на банки, выдававшие рискованные займы, на политиков, давивших на них, на Уолл-Стрит, торговавший бумагами весьма сомнительной ценности. Подводя итог, журналист и политический деятель Патрик Бьюкенен пишет: «Финансовая и политическая элита этого поколения показала себя неспособной вести великий народ... За случившейся катастрофой лежит жадность, глупость и некомпетентность огромных масштабов». И дальше приводит пророческие слова Джона Адамса: «Скупость и тщеславные амбиции могут прорвать крепчайшие ячейки нашей конституции, как кит прорывает рыболовную сеть. Американская конституция была создана для людей моральных и религиозных. Ни для какого другого правительства она не годится».⁸

Финансовая катастрофа, поразившая Детройт, подробно описана в книге Чарльза Ле-Даффа «Детройт. Американское вскрытие».⁹ В годы войны этот город называли «арсеналом демократии», потому что там изготавливался весь военный транспорт. Кроме автомобилей, здесь сосредоточилось производство холодильных установок, впервые в массовом порядке стали использовать кредитование, разрабатывались формы отношений между фирмами и профсоюзами. Город богател, рабочие получали очень высокую зарплату.

Но к началу 21-го века всё изменилось. Белое население, спасаясь от преступности и высоких налогов, разбежалось в пригороды, оставшаяся беднота не могла вносить в казну достаточные средства. Из столицы автомобилестроения Детройт превратился в столицу безработицы, столицу безграмотности, в которой дети приносили в школу свою туалетную бумагу, учителя не имели учебных пособий, полицейские — автомобилей. Банды подростков поджигали пустующие дома, чтобы согреться или развлечься. Ведь пожар — дешевле билета в кино, да и кинотеатров почти не осталось.

Большинство политологов считает, что главная причина упадка — близорукая жадность профсоюзов. Их непомерные требования вынуждали автомобильных гигантов Паккард, Форд, Дженерал Моторс, Крайслер переносить производство в южные штаты, в Канаду, за океан. Городские политики в погоне за голосами избирателей разбазаривали городскую казну или давали щедрые обещания, зная, что выполнять их достанется следующей команде чиновников.

В 1950 году население города насчитывало 1,8 миллиона жителей. Сейчас их осталось около семисот тысяч. Задолженность Детройта достигла двадцати миллиардов долларов, и в 2013 году он должен был объявить банкротство. Десятки тысяч пустых или полусгоревших зданий, огромные пустыри, неосвещённые улицы — трудно поверить, что город может когда-нибудь возродиться.

На одном из сайтов, посвящённых Детройту, были размещены две пары фотографий. Первая фотография изображала преуспевающий, цветущий Детройт в 1945 году и рядом — фотография Хиросимы после атомной бомбардировки. Дальше шли рядом две фотографии тех же городов в 2010 году. Подпись: «Кто выиграл войну?».¹⁰

Бездомных можно увидеть во всех крупных городах Америки. Среди них много пьяниц, наркоманов, душевнобольных или просто людей, утративших волю бороться за жизненные блага. Но есть и разряд чудаков, выбравших эту судьбу, как в старину люди выбирали отшельничество в скиту или в пустыне.

Мне довелось познакомиться с одним таким чудаком, ибо мы с ним арендовали соседние помещения в коммерческом складе. В своём я держал книги «Эрмитажа», не поместившиеся в подвале нашего дома, он — свой нехитрый скарб, состоявший из посуды, спальных мешков, палатки, бензинового примуса, старых книг, башмаков, одежды, журналов и прочих отживших вещей, с которыми у него не было сил расстаться. Ночевал он в автомобиле, пенсии ему хватало на еду и бензин. Речь его была спокойной и дружелюбной, но он никогда не заговаривал первым. Видимо, другие люди его не очень интересовали.

Однажды при встрече я спросил его:

— Давно не видел вас. Что-нибудь случилось?

— Нет, всё в порядке. Я просто ездил по южным штатам.

— Какова же была цель вашего путешествия?

— Цель? — переспросил он. Вопрос явно показался ему наивным. — Цель всегда может быть только одна: *познание (knowledge)*.

Пристыженный мудростью автомобильного отшельника, я не нашёлся что ответить.

(продолжение следует)

Примечания:

1. Howard, Philip K. *The Death of Common Sense* (New York: Random House, 1995), p. 4.
2. Jackson, Gregory. *Conservative Comebacks to Liberal Lies* (Ramsey, NJ: JAJ Publishing, 2006), p. 76-77.
3. Howard, op. cit., p. ?
4. Sowell, Thomas. *Dismantling America* (New York: Basic Books, 2010), pp. 140-141.
5. Buchanan, Patrick J. *Suicide of a Superpower. Will America Survive to 2025?* (New York: St. Martin Press, 2011), p. 22.
6. Ibid., p. 23.
7. Sowell, *Dismantling*, op. cit., p. 146.
8. Buchanan, op. cit., p. 25.
9. LeDuff, Charlie. *Detroit: An American Autopsy*. New York: Penguin Books, 2013.
10. Buchanan, op. cit., p. 417.



Журнал «Семь искусств» № 3-4 (61) /2015 — Ганновер:
Семь искусств. 2015. — 411 с., 25,5 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2015

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

